

РУССКАЯ
МЫСЛЬ.

ГОДЪ ДЕСЯТЫЙ.

М А Й.



МОСКВА.

Типо-литографія Высочайше утвержд. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К^о,
Пименовская улица, соб. домъ.

1889.

О Г Л А В Л Е Н І Е.

	Стр.
М. Е. САЛТЫКОВЪ †.	
I. ПУСТОЕ СЕРДЦЕ. (Повѣсть). <i>Окончаніе</i> .—Ф. Э. Ромера . . .	1
II. ХАМЪ. Повѣсть Элизы Ожешковой. Переводъ съ польскаго В. М. Л. <i>Продолженіе</i>	27
III. ГАРДЕНИНЫ, ИХЪ ДВОРНЯ, ПРИВЕРЖЕНЦЫ И ВРАГИ. (Романъ). Часть I, гл. II—IV. <i>Продолженіе</i> .—А. И. Эртеля.	41
IV. ДОКТОРЪ СЕВЪЕРЪ. Романъ Джоржа Кэбля. Переводъ съ англійскаго А. С. П. <i>Продолженіе</i>	100
V. СТИХОТВОРЕНІЯ.—А. М. Федорова	137
VI. СВѢТСКАЯ ДАМА. (Романъ Гектора Мало). Часть I, гл. I— VIII. Переводъ съ французскаго В. М. Р.	138
VII. СТИХОТВОРЕНІЕ.—С. Г. Фруга	194
VIII. ИЗЪ МАТЕРІАЛОВЪ ДЛЯ БІОГРАФИИ А. И. ГЕРЦЕНА.— В. И. Куруты	1
IX. БЕЗСИЛЬНАЯ ЗЛОБА АНТИДАРВИНИСТА. (По поводу статьи г. Страхова: <i>Всегдашняя ошибка дарвинистовъ</i>).—К. А. Тими- ряева	17
X. ВИТТОРИЯ КОЛОННА. (<i>Adolphus Trollope: «A Decade of Ita- lian Women»</i>). <i>Оконченіе</i> .—В. М. С.	53
XI. ПО ЗАКАСПІЙСКОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГѢ. <i>Продолженіе</i> .— Эд. Р. Циммермана	88
XII. УСПѢХИ ВОСПИТАНІЯ ВО ФРАНЦІИ. (<i>Pierre de Coubertin: «L'education anglaise en France»</i>).—Н. К.	102

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное
ТОВАРИЩЕСТВО
ЧАЙНОЙ ТОРГОВЛИ И СКЛАДОВЪ

БРАТЯ К И С ПОНОВЫ.

ПРАВЛЕНИЕ ВЪ МОСКВѢ,
 на Кузнецкомъ мосту, въ домѣ Бр. Третьяковыхъ.

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЬ.

Чай черные № 1 за фун. 3 р. — к.		Чай черные № 5 за фун. 2 р. — к.
" " № 2 " " 2 " 70 "		" " № 6 " " 1 " 80 "
" " № 3 " " 2 " 40 "		" " № 7 " " 1 " 60 "
" " № 4 " " 2 " 20 "		" " № 8 " " 1 " 40 "

Чай развѣшиваются на фунты, полфунты, четверть фунты и восьмушки, причѣмъ восьмушки ииются на цѣны: 23 и 28 коп. за пачку.

СОБСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

въ Москвѣ, С.-Петербургѣ, Варшавѣ, Кіевѣ, Астрахани, Баку, Вильно, Базани, Каменецъ-Подольскѣ, Могилевѣ, Нижнемъ-Новгородѣ, Одессѣ, Ригѣ, Ростовѣ н/Д., Рыбинскѣ, Самарѣ, Саратовѣ, Севастополѣ, Симферополѣ, Смоленскѣ, Тифлисѣ, Харьковѣ, Ярославлѣ, Нижегородской ярмаркѣ, Иолтавѣ, Рязани.

Качество чая какъ въ Москвѣ, такъ и во всѣхъ собственныхъ магазинахъ совершенно одинаково, такъ какъ чай развѣшиваются исключительно въ Главномъ складѣ, въ Москвѣ, откуда и поступаютъ въ собственные магазины.

УСЛОВІЯ ПРОДАЖИ:

Пересылка чая черезъ почту по Европейской Россіи принимается собственными магазинами на свой счетъ и не дѣлается никакой услуги.

При пересылкѣ посредствомъ транспорта и не менѣе 50 фунтовъ дѣлается услуга 10%, всѣ же расходы по отправкѣ относятся на счетъ покупателя.

При выпискѣ чая съ наложеннымъ платежомъ долженъ быть высланъ задатокъ не менѣе 15% съ общей суммы заказа, росписки же агентовъ транспортныхъ конторъ и желѣзныхъ дорогъ, какъ доказательство уплаты наложеннаго на товаръ платежа, должны немедленно высылаться въ тотъ магазинъ, откуда товаръ отправленъ.

Съ 1 Октября 1888 года, кромѣ существующей уступки 10%, всѣмъ покупателямъ, выписывающимъ чай не менѣе какъ на 5,000 руб. въ годъ и болѣе дѣлается еще 2% комиссіи, уплата которыхъ будетъ производиться въ Москвѣ 2 раза въ годъ: 1 октября и 1 апрѣля, но не иначе, какъ на полные 5,000 руб.

ОБЕЗПЕЧЕНІЕ И СБЕРЕЖЕНІЕ.

Страхованіе жизни должно отвѣчать двумъ цѣлямъ: 1) обезпеченіе семьѣ въ случаѣ смерти ея главы; 2) сбереженіе для самого себя на старости. Достиженіе этихъ двухъ цѣлей вполнѣ обезпечивается полисами съ накопленіемъ прибылей въ

Обществѣ Взаимнаго Страхованія жизни

„НЬЮ-ІОРКЪ“.

Капиталь Общества на 1-е января 1888 г.
200.720,907 р.

Публикѣ и агентамъ по страхованію жизни предлагаютъ ознакомиться съ подробностями этихъ комбинацій.

Въ С.-Петербургѣ: Главное Управление для Россіи, Невскій, 22.

Въ Москвѣ: Отдѣленіе Общества, Большая Лубянка, д. Трындиныхъ.

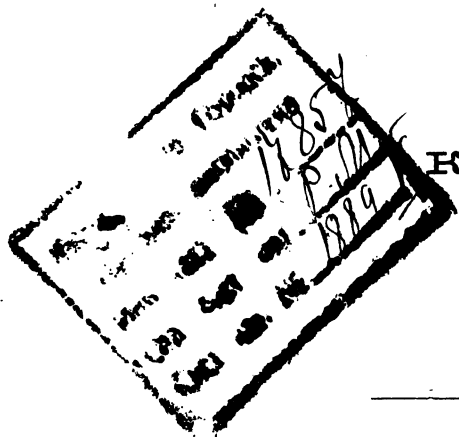
Управляющій Московскимъ Отдѣленіемъ **А. П. Власовъ.**

РУССКАЯ МЫСЛЬ

ЕЖЕМЪСЯЧНОЕ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ.

ГОДЪ ДЕСЯТЫЙ.



КНИГА V.

МОСКВА.

1889.

PRESERVATION
REPLACEMENT
REVIEW order 3/29/84

Типо-литографія Высочайше утвержд. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К°.

AP50
R875
v.10:5
MAIN

ОГЛАВЛЕНИЕ.

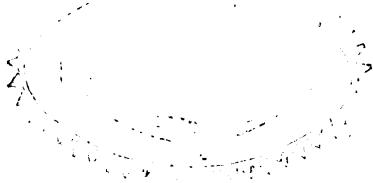
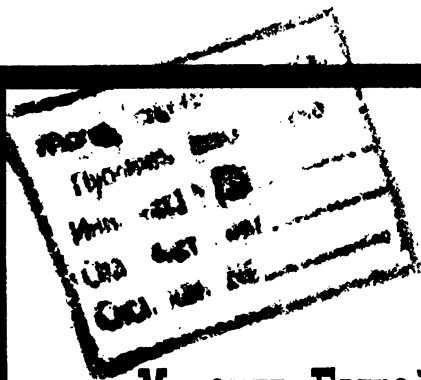
Стр.

М. Е. САЛТЫКОВЪ †.

I. ПУСТОЕ СЕРДЦЕ. (Повѣсть). <i>Окончаніе</i> .—Ф. Э. Ремера.	1
II. ХАМЪ. Повѣсть Элизы Ожешковой. Переводъ съ польскаго В. М. Л. <i>Продолженіе</i>	27
III. ГАРДЕНИНЫ, ИХЪ ДВОРНЯ, ПРИВЕРЖЕНЦЫ И ВРАГИ. (Романъ). Часть I, гл. II—IV. <i>Продолженіе</i> .—А. И. Эртеля.	41
IV. ДОКТОРЪ СЕВЬЕРЪ. Романъ Джоржа Кэбля. Переводъ съ англійскаго А. С. П. <i>Продолженіе</i>	100
V. СТИХОТВОРЕНІЕ.—А. М. Федорова.	137
VI. СВѢТСКАЯ ДАМА. Романъ Гектора Мало. Часть I, гл. I—VIII. Переводъ съ французскаго В. М. Р.	138
VII. СТИХОТВОРЕНІЕ.—С. Г. Фруга.	194
VIII. ИЗЪ МАТЕРІАЛОВЪ ДЛЯ БІОГРАФІИ А. И. ГЕРЦЕНА. — В. И. Куруты.	1
IX. БЕЗСИЛЬНАЯ ЗЛОБА АНТИДАРВИНИСТА. (По поводу статьи г. Страхова: <i>Всегдашняя ошибка дарвинистовъ</i>).—Н. А. Тимирязева.	17
X. ВИТТОРІЯ КОЛОННА. (<i>Adolphus Trollope: «A Decade of Italian Women»</i>). <i>Окончаніе</i> .—В. М. С.	53
XI. ПО ЗАКАСПІЙСКОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГѢ. <i>Продолженіе</i> .—Эд. Р. Циммермана	88
XII. УСПѢХИ ВОСПИТАНІЯ ВО ФРАНЦІИ. (<i>Pierre de Coubertin: «L'éducation anglaise en France»</i>).—Н. К.	102
XIII. ОЧЕРКЪ ИСТОРІИ РУССКАГО ТЕАТРА ДО 1812 г.—Н. П. Колюпанова.	107

852188

- XIV. ВЪ ВОПРОСУ О ПАДЕНІИ ПОЛЬШИ. (*Н. Каръевъ*: «Паденіе Польши въ исторической литературѣ».)—В. М. 125
- XV. ВУМЫСЪ ВЪ САМАРСКОМЪ КРАѢ.—Провинціала. 133
- XVI. ОЧЕРКИ РУССКОЙ ЖИЗНИ. XXXV.—Н. В. Шелгунова. 139
- XVII. ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—В. А. Гольцева. 159
- XVIII. ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ: Смерть М. Е. Салтыкова.—Дѣятельность гр. Д. А. Толстаго.—Назначеніе новаго министра путей сообщенія.—Вопросъ объ институтѣ этого вѣдомства.—Надзоръ надъ банкирскими конторами.—Мѣры въ Балтійскомъ краѣ.—Цензъ по образованію въ городскомъ представительствѣ. 165
- XIX. СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО. XVII передвижная выставка въ Москвѣ.—Двѣ картины г. Семирадскаго: *Фрина на праздникъ Посейдона* и *Передъ купаньемъ*.—Картина г. Брянскаго: *Божоматерь*.—Три картины Франца Жмурко.—Малый театръ: *Благодѣтельница дамы*, комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ г. Мансфельда; *Подъ властью сердца*, драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ г. Ладыженскаго.—Большой театръ: два спектакля въ пользу капиталы на памятникъ Гоголю.—Ан. 188
- XX. СТРАШЕНЪ СОНЪ, ДА МИЛОСТИВЪ БОГЪ.—Н. К. Михайловскаго. 202
- XXI. БИБЛИОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ: I. Книги: Беллетристика.—Исторія.—Политическая экономія.—Статистика.—Юридическія книги.—Сельское хозяйство.—Учебники и дѣтскія книги.—Справочныя книги. II. Периодическія изданія: «Вѣстникъ Европы», *апрѣль*.—«Сѣверный Вѣстникъ», *мартъ—апрѣль*.—«Кіевская Старина», *сентябрь 1888 г.—мартъ 1889 г.*—«Экономическій Журналъ», *январь—мартъ* 183



Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ.

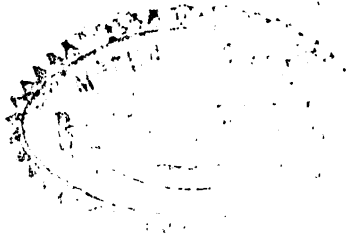
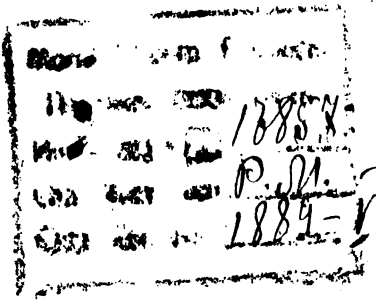
† 28 апрѣля.

Салтыковъ скончался... Умолкъ голосъ, такъ долго, съ такою несокрушимою энергіей будившій въ русскомъ обществѣ сознаніе правды и человѣческаго достоинства. Съ знаменитыхъ *Губернскихъ очерковъ* и до *Помехонской старины* росло и крѣпло великое дарованіе Щедрина, не ослабѣвала его благородная, мужественная проповѣдь, подымавшая въ русскомъ человѣкѣ всѣ лучшія чувства, не дававшая ему оправданія уныло опустить руки и предаться малодушной апатіи. Великъ общественный подвигъ Михаила Евграфовича Салтыкова, и мало ему равныхъ. У насъ въ особенности рѣдко до сихъ поръ бывало, чтобы знаменитый писатель всю жизнь твердо и неуклонно прошелъ по тому пути, который опредѣлился чистыми и великодушными идеалами его молодости. Поэтому-то общественно-литературная дѣятельность Михаила Евграфовича и вызываетъ въ насъ благоговѣйное удивленіе, поэтому-то и особенно горька наша печаль.

Художественное дарованіе Салтыкова переживетъ на многіе и многіе годы наши злобы дня. Даже для ближайшихъ поколѣній въ произведеніяхъ знаменитаго сатирика встрѣтятся намеки и указанія, непонятные безъ комментарія. Жизнь идетъ впередъ, и другой Салтыковъ будетъ дѣйствовать при болѣе благоприятныхъ условіяхъ; но когда-то Россія дождется другаго Салтыкова! Какъ-то осиротѣло чувствуешь себя послѣ роковаго извѣстія о

кончинѣ духовнаго вождя, какъ-то не вѣрится еще, что никогда уже не раздастся болѣе его голосъ...

Тяжела утрата, которую понесла русская литература, русское общество; но вся дѣятельность великаго писателя внушаетъ намъ мужественную увѣренность въ томъ, что нравственное добро не можетъ быть побѣждено, что будущее принадлежитъ тѣмъ завѣтамъ справедливости и гуманности, на служеніе которымъ отдана была дорогая жизнь Михаила Евграфовича Салтыкова.



ПУСТОЕ СЕРДЦЕ *).

(Повѣсть).

VI.

Молодое вино киснетъ скоро.

Варвара Семеновна, прежде всякихъ осмотровъ и созерцаній, пожелала укрыться гдѣ-нибудь въ тѣни, чтобы хоть на короткое время уйти отъ «бѣшеннаго солнца»; какъ она выразилась. И въ самомъ дѣлѣ, въ южной Италиі въ жаркіе мѣсяцы года даже мѣстные жители очень остерегаются прогулокъ среди дня и на открытомъ солнцѣ; остерегаются пройти даже какую-нибудь сотню или двѣ шаговъ. По этому легко судить, въ какомъ незавидномъ состояніи достигли развалинъ дворца мои герои.

Аріану Глѣбовичу, впрочемъ, дѣйствительно удалось найти подъ полуразрушеннымъ сводомъ какой-то уголокъ, защищенный не только отъ солнца, но и отъ дневнаго свѣта вообще: въ немъ царилъ вѣчный сумракъ; на большихъ обломкахъ колоннъ, валявшихся тутъ же, сидѣть было довольно удобно, и Варвара Семеновна съ явнымъ восторгомъ успѣшила овладѣть однимъ изъ нихъ.

«Пропало платьице совсѣмъ! — подумалъ Бѣлопольскій. — Юбку всю отдѣлала еще по дорогѣ; должно быть, и до сихъ поръ на устахъ клочья висятъ. А теперь еще плюхнулась прямо на сырую и грязную плѣсень... Не бережливая барышня!»

— Здѣсь какъ въ погребѣ, славно! — восклицала, между тѣмъ, Щербова.

— Только бы не простудиться вамъ.

— Полноте, я не нѣженка.

Затѣмъ оба новые друга, черезъ-чуръ утомленные, примолкли

*) Русская Мысль, кн. IV.

на нѣсколько минутъ; а въ праздную голову Аріана Глѣбовича тотчасъ забралась мысль о странности настоящаго положенія и всей предъидущей сцены вообще.

«Случается же!—думалъ теперь Бѣлопольскій.—Только сегодня я увидѣлъ дѣвушку въ первый разъ въ жизни, нашелъ ее не симпатичной, часъ тому назадъ признавалъ въ ней чуть не врага... и вотъ уже мы сидимъ съ ней вдвоемъ, одни-однихоньки, въ какой-то полутемной норѣ, и я уже слушалъ нѣчто вродѣ самой интимной исповѣди, и мы уже пообѣщали другъ другу «настоящую, крѣпкую дружбу». Если хотите, все это произошло довольно плавно и естественно; но если одумаешься, то, право, на сонъ похоже...»

— Такъ-то вы себя ведете съ дамами, удостоенные tête-à-tête а при самой романтической обстановкѣ?—вдругъ прервалъ размышленія Бѣлопольскаго насмѣшливый, но ласковой голосъ Варвары Семеновны.—Въ архиисторическомъ погребѣ самого Тиверія, вдвоемъ съ хорошенькою дѣвушкой,—надѣюсь, что вы меня находите хорошенькою?—вы не нашли ничего лучше, какъ заснуть... Стыдно!

— Спать я и не думалъ. А дѣйствительно, мнѣ только что приходила въ голову мысль, будто все наше съ вами знакомство похоже на сонъ.

— Это почему?

— Такъ все быстро, неожиданно...

— А вамъ жаль, что такъ быстро?

— Вы, кажется, напрашиваетесь на комплиментъ...

— Нисколько. Но я всегда сближаюсь быстро. Что-нибудь одно: человекъ мнѣ или не нравится, или ужь нравится.

Аріанъ Глѣбовичъ былъ польщенъ очень пріятнымъ образомъ, но тутъ же самъ себя прочелъ нотацію.

«Однако, вотъ что, любезный другъ!—вдругъ пришло ему въ голову.—Вѣдь, это говорить съ тобой дѣвушка, дочь почтеннаго человека, да еще невѣста. Надобно, значить, опомниться и свести разговоръ на менѣ жгучую почву. А то, вѣдь, этакъ, потихоньку да незамѣтно, можно, пожалуй, и увлечься да сочинить такую пошлость, что потомъ самому за себя краснѣть придется... И очень легко можетъ статься, что эта же барышня первая меня на смѣхъ подыметъ».

— Варвара Семеновна!—сказалъ Бѣлопольскій вслухъ,—я боюсь, что Семень Николаевичъ останется недоволенъ нашею долгою прогулкой.

— Отецъ?... Почему?

«Да неужто же онъ позволяетъ ей бѣгать такимъ образомъ»

съ полудознаемыми молодыми людьми?» — невольно подумалось Бѣлопольскому.

— Отцу какое дѣло? Я не маленькая.

— Конечно... Но, вѣдь, кто какъ смотритъ.

— Я уже давно научила отца понимать, что мною нельзя распорядиться, какъ вещью. У меня есть свой разумъ и своя воля. Я никакихъ командъ не выношу.

Арианъ Глѣбовичъ помолчалъ, неприятно задѣтый грубоватымъ и сухимъ тономъ дѣвушки.

— Даже тѣхъ не выносите, — спросилъ онъ затѣмъ, — гдѣ командиромъ является глубочайшая нѣжность и мучительный страхъ отца за свое сокровище?

— Съ такими мнѣ знаться не приходилось... Мы, вѣдь, съ отцомъ не особенно ладимъ и мало понимаемъ другъ друга.

— Какъ! Съ Семеномъ Николаевичемъ? Но, вѣдь, вы его единственная дочь! Вотъ ужъ не повѣрилъ бы, и... не понимаю.

— А я не понимаю, чему вы такъ удивились. Случай вовсе не особенно рѣдкій. Есть дѣти, которыя не любятъ отцовъ, и есть отцы, которые ненавидятъ своихъ дочерей.

— Однако, не хотите же вы сказать...

— Я не жалуюсь и ничего не хочу сказать! — перебила Варвара Семеновна. — Не мое дѣло судить отца... Но я вправѣ пожалѣть, что природа дала намъ такіе совершенно различные вкусы, понятія и стремленія. Въ этомъ, надѣюсь, ничего непозволительнаго съ моей стороны нѣтъ.

— Конечно... конечно.

— А легко ли мнѣ достается подобное положеніе, объ этомъ могутъ судить люди, близко меня знающіе... Я, вѣдь, тоже видала, какъ въ другихъ семьяхъ ребенокъ — все: на него не надышатся, не насмотрятся, его счастье, его радость — единственная пружина всѣхъ дѣйствій и рѣшеній семьи; о себѣ не думаютъ. Да, такъ любить чужихъ счастливицевъ, даже когда ихъ много... А случается, что и единственной дочери предоставляютъ одинъ возможный выходъ... въ воду.

Вспомнилась Бѣлопольскому старинная поговорка его покойной няни: «ой, не хороша та птица, которая собственное гнѣздо мараеетъ!» Вспомнилась ему и добродушно-снисходительная, честная фигура Семена Николаевича Щербова. Въ душѣ его вдругъ шевельнулась подозрительность и даже нѣчто вродѣ гадливаго чувства относительно хорошенькой собесѣдницы.

«Врешь ты, сударыня! — подумалъ Арианъ Глѣбовичъ. — Еслибъ

тебѣ въ самомъ дѣлѣ тяжело было, не стала бы ты рассказывать объ этомъ первому встрѣчному, повѣрь. А этакъ только съ жиру бѣсятся или комедию ломаютъ... И какъ правдоподобно! Отъ отца хоть въ воду, но того же отца можно въ грошъ не ставить, его же можно научить, что у насъ, молъ, есть «свой разумъ и своя воля». Ну, нѣтъ, обидчивая барышня! Другой даже очень любящій отецъ показалъ бы тебѣ «свою волю» бѣгать съ полужнакомымъ молодымъ человѣкомъ по дворцамъ и погребамъ Тиверіа или заводить нѣжности съ Македонскимъ. Македонскаго я положительно не перевариваю...»

И подъ вліяніемъ этихъ мыслей Аріанъ Глѣбовичъ замѣтилъ очень сухимъ тономъ:

— Сколько я знаю, вашъ батюшка пользуется репутаціей самаго безупречнаго человѣка.

— Еще бы!... Божокъ цѣлаго уѣзда.

— Многія на вашемъ мѣстѣ были бы счастливы и очень бы этимъ гордились.

— То-то и бѣда моя, что именно гордости нѣтъ во мнѣ ни капли, я даже ненавижу гордость, а потому не въ состояніи ни радоваться величію моего папаша, ни раздѣлять его вкусы и стремленія.

— Какіе, напримѣръ?

— Ему бы вотъ, напримѣръ, хотѣлось всегда играть первую роль, смотрѣть на людей сверху внизъ и меня грѣшную выдать чуть не за владѣтельнаго князя... Ну, а я какъ разъ все это ненавижу, всѣ эти самовоздыманія на дыбы, всѣ самообоготворенія и даже всѣхъ владѣтельныхъ жениховъ. Для меня простота и въ людяхъ, и въ обстановкѣ необходима, какъ воздухъ; я люблю именно смиреніе, равенство и даже бѣдность.

— Гм... Однако вотъ очень не дешевое платье вы совсѣмъ разорили за какіе-нибудь полтора часа... Врядъ ли вы въ самомъ дѣлѣ понимаете, что такое простота, и тѣмъ болѣе бѣдность, въ обстановкѣ.

— Очень хорошо понимаю-сь. А это платье мнѣ все равно надоѣло, я его собиралась бросить... По мнѣнію отца, можно дружить и знаться только съ богатыми и видными людьми; а простые, обыкновенные смертные—не по немъ. Какой-нибудь пѣхотный офицерикъ, скромный учитель или даже мелкій дворянчикъ—фи! На что они намъ, Щербовымъ? Ну-сь, а вотъ именно подобному взгляду я сочувствовать не могу и думаю, что, по крайней мѣрѣ, въ этомъ вопросѣ я тоже имѣю право на голосъ. Нельзя, вѣдь, думать и чувствовать по указкѣ!

— Разумѣется. Однако, Александръ Сергѣевичъ Красилинъ, сколько я знаю, ничего общаго съ владѣтельными персонами не имѣеть, и все же вашъ батюшка въ явномъ восторгѣ отъ такого зятя.

— Ну, еще бы! Красилинъ самъ—ни дать, ни взять—такой же, какъ папа: живая щепетильность на ножкахъ... Терпѣть не могу подобныхъ господъ!

— Вотъ тебѣ разъ!—удивился Аріанъ Глѣбовичъ.—Такъ неужто какой-нибудь Македонскій вамъ больше нравится?

У Бѣлопольскаго сорвалось это съ языка такъ неожиданно, такъ само собою, что, опомнившись, онъ страшно переконфузился.

«Но, право же,—подумалъ онъ,—разговоръ у насъ все время идетъ на такія непостижимо-откровенныя темы, что просто нѣтъ возможности остеречься».

— Что вамъ сдѣлалъ Македонскій?—сухо спросила Варвара Семеновна.

— Ровно ничего, разумѣется. Но мнѣ кажется, не смѣшивайте ли вы простоту и бѣдность съ неблаговоспитанностью и пошлостью стремлений? Можетъ быть, Семенъ Николаевичъ является врагомъ только этихъ послѣднихъ свойствъ, но, какъ человѣкъ уже пожившій, скорѣе васъ ихъ подмѣчаетъ... Я даже не рѣшаюсь обвинять его, если онъ ищетъ для васъ жениха побогаче. Во-первыхъ, деньги сами по себѣ вещь недурная; а, во-вторыхъ, именно вы, при всемъ вашемъ пристрастіи къ бѣдности, врядъ ли съ нею помирились бы. Вы съ увлеченіемъ рассказываете объ игрѣ въ крокетъ, объ огромныхъ кавальгадахъ, о вашихъ превосходныхъ лошадяхъ, о цѣлой дюжинѣ экипажей всякаго рода, о паркетахъ, очень удобныхъ для танцевъ, о множествѣ гостей, проживающихъ у васъ чуть не по недѣлѣ, объѣдающихся шпанскими вишнями въ грунтовомъ сараѣ и веселящихся до упаду... Ну-съ, вы имѣете очень оригинальное понятіе «о простой или даже бѣдной обстановкѣ», если воображаете, что она совмѣстима съ подобнымъ образомъ жизни. А кромѣ того я долженъ вамъ замѣтить, что весь этотъ очень дорого стоящій шумъ и возня ужъ, конечно, не могутъ доставлять удовольствія самому Семену Николаевичу... Слѣдовательно, затѣяны они и поддерживаются исключительно ради васъ.

— Сдѣлайте одолженіе, допустите, что я не слѣпа. Не ради меня, а потому, что папа привыкъ играть первую роль, и ему нравится общее поклоненіе. Для меня же онъ и пальцемъ о палець не ударить, будьте увѣрены.

На этотъ разъ нескрываемая злоба и раздраженіе послышались въ голосѣ дѣвушки.

— Изъ чего это видно?

— О, Боже мой! Вамъ, разумѣтся, не видно, но мнѣ... Я уже привыкла, что на людяхъ со мною играютъ любовную комедію, а иногда, даже наединѣ, то-есть вдвоемъ, декламируются чувствительныя сцены отчаянія, страданія, слезъ и клятвенныхъ завѣреній... Хотятъ, чтобы даже я сама вообразила, будто я-то и есть нѣкое безсердечное чудовище. Ха-ха-ха! Это прелесть въ своемъ родѣ. И, вѣдь, знаете, у папы художественный талантъ! Бывали минуты, что, право, я даже смущалась и чуть-чуть ему не вѣрила... Ну, конечно, только до опаматованія.

У Аріана Глѣбовича даже сердце упало.

«Господи! вотъ еще отношенія единственной дочери къ отцу! Сколько же здѣсь, значить, накипѣло, если рѣшаются говорить подобныя вещи съ оника, почти постороннему?... И чего-чего на свѣтѣ не насмотришься!...»

— Варвара Семеновна!—сказалъ онъ вслухъ,—это очень тяжелыя слова... Но увѣрены ли вы въ томъ, что говорите? Не были ли слезы вашего отца настоящими слезами? Не сами ли вы немножко виноваты?

— Ну, конечно, я чудовищная дочь... А «уважаемые родители» всегда правы, это ужъ извѣстно.

— Однако, былъ ли такой случай, чтобы вашъ отецъ, изъ себя любія, не исполнилъ какого-нибудь законнаго вашего желанія? Право, мнѣ кажется, вы осыпаны всеми доступными въ жизни благами, даже въ излишней мѣрѣ...

— Случай... Между нами и сейчасъ идетъ война. Разсудите. Я, напримѣръ, задыхаюсь въ деревнѣ, ненавижу въ ней все: людей, домъ, мѣсто... кажется, даже небо и воздухъ.

— Вотъ тебѣ разъ! Однако, вы же рассказывали...

— Ахъ, Боже мой! Разумѣтся, не лѣтомъ. Лѣтомъ я сама ни на что не промѣняю нашу Козодаевку.

— Такъ. Продолжайте.

— Ну-съ, я умоляла отца окончательно переселиться въ городъ съ тѣмъ, чтобы пользоваться деревней только какъ дачей. Состоянія у насъ на эту перемѣну хватитъ, и еще останется. Мнѣ 18 лѣтъ; кажется, не трудно понять, что я покуда не могу просолить себя вмѣстѣ съ огурцами; мнѣ еще жить хочется. Угадайте теперь отвѣтъ отца.

Но Аріанъ Глѣбовичъ на этотъ разъ смотрѣлъ на дѣвушку съ плохо скрытымъ презрѣніемъ, чего она, впрочемъ, въ жару бесѣды не замѣтила.

— Не берусь...—протянул онъ медленно.

— И хорошо дѣлаете. Отвѣтъ достоинъ не одного простаго смертнаго, а цѣлой іезуитской коллегіи; и та лучше ничего бы не придумала... Стыдно, вѣдь, прямо, сознаться, что мы, молъ, слишкомъ дорожимъ своимъ личнымъ спокойствіемъ, чтобы переѣхать въ городъ, такъ можно повернуть дѣло вотъ какъ: «Варя, дорогая моя!—Дѣвушка стала подражать манерѣ отца, нѣсколько преувеличивая карриатуру,—ты знаешь, что я съ радостью готовъ пожертвовать для тебя всѣмъ. Но подумай: у тебя нѣтъ матери. Я и здѣсь-то, въ деревнѣ, допустилъ тебя до такихъ неблагоразумій, которыя стоили мнѣ много бессонныхъ ночей, много горькихъ думъ и мученій... А что будетъ въ городѣ? Можетъ выйти такая непоправимая катастрофа, которая вовсе погубитъ не только меня, но и тебя». Понимаете, какъ это ловко? И въ городъ переѣзжать не нужно, и я же, чудовище, остаюсь виноватой.

— Варвара Семеновна!—очень сухо заговорилъ Бѣлопольскій,—во-первыхъ, я готовъ своею головой ручаться, что Семень Николаевичъ высказался искренно, отъ души, безъ всякихъ заднихъ мыслей. А, во-вторыхъ, и въ главныхъ, позвольте мнѣ васъ спросить: подумали ли вы сами о томъ, чего именно требуете отъ отца, и это потому только, что въ городѣ вамъ кажется повеселѣе?

— Чего же?

— Почти жизни; да, жизни! Вѣдь, Семень Николаевичъ уже не мальчикъ, онъ пережилъ все свое, личное. Унего осталась одна прекрасная, даже высокая идея: служба землѣ и земству. Это его единственный и послѣдній лучъ интереса въ жизни. И вотъ этотъ-то лучъ вы, полная здоровья, молодой силы и будущности, рѣшились отнять у бѣднаго, одинокаго старика, который, кстати сказать, даже въ васъ, своей единственной дочери, какъ видно, особеннаго сочувствія не встрѣчаетъ.

Варвара Семеновна на этотъ разъ обидѣлась очень серьезно.

— Крайне вамъ благодарна за лестное мнѣніе!—отозвалась она съ насмѣшкой. — Разобрали, какъ по нотамъ. Впрочемъ, я давно знаю, что господа извѣстнаго склада видятъ во мнѣ скопленіе всѣхъ семи смертныхъ грѣховъ... И на здоровье!

— Простите, если я позволилъ себѣ излишнюю откровенность: вамъ самимъ угодно было ее вызвать.

— Не беспокойтесь извиняться; я откровенности всегда рада, какова бы она ни была... По крайней мѣрѣ, узнаешь, съ кѣмъ приходится имѣть дѣло.

«Эге!—подумаешь Бѣлопольскій,— видно, импровизированная-то дружба, какъ и молодое вино, киснетъ скоро».

Обратный путь въ гостиницу мои герои совершили безъ всякихъ приключеній, то перебрасываясь, очень изрѣдка, самыми незначительными фразами, то вовсе умолгая.

Только передъ самой гостиницей Варвара Семеновна вдругъ замѣтила скороговоркой:

— Я буду говорить, что мы не знали, какъ далеко дворецъ Тиверія, рѣшилисъ туда отправиться, все думали, что ужь вотъ-вотъ придемъ, и потому проходили слишкомъ долго. Смотрите же, не выдавайте!

УШ.

Штабсъ-капитанъ не въ духѣ.

Наши дѣйствующія лица вернулись въ Соренто ночью, во-первыхъ, для того, чтобы избѣжать жары и утомленія, а, во-вторыхъ, и съ цѣлью полюбоваться красотой знаменитаго залива при лунномъ освѣщеніи.

Со смѣхомъ и шутками они лѣзли на береговой утесъ, по его безчисленнымъ ступенямъ. Затѣмъ еще съ полчаса, а, можетъ, и больше, проболтали передъ воротами гостиницы, курия сигары и прислушиваясь къ мелодическимъ фразамъ какой-то отдаленной серенады. Аріану Глѣбовичу удалось подмѣтить, при этомъ случаѣ, какъ, разнѣженный звуками мандолины или запахомъ цвѣтущихъ олеандровъ, или красотой луннаго свѣта, Александръ Сергѣевичъ Красилинъ поймалъ руку своей невѣсты и, должно быть, пожалъ ее, она же подвинулась къ нему поближе и отвѣтила ласковымъ, почти влюбленнымъ взглядомъ.

«Чортъ развѣ пойметъ эту барышню!» — заключилъ про себя Бѣлопольскій.

Варвара Семеновна, впрочемъ, по своему обыкновенію, въ общей компаніи была опять очень молчалива. Можетъ быть, она принадлежала къ числу тѣхъ лицъ, которыя умѣютъ быть и бойкими, и даже довольно находчивыми, но только вдвоємъ.

Наконецъ, когда сигары были докурены, мандолина затрепетала и замерла на своихъ послѣднихъ сладостно-жалобныхъ тонахъ, а наши дѣйствующія лица, полунѣхотя, разошлись по своимъ комнатамъ, оказалось, что часовая стрѣлка стоитъ на половинѣ втораго.

Въ виду такого обстоятельства, я нахожу совершенно извинительнымъ, если на другой день, часовъ около девяти утра, Аріанъ

Глѣбовичъ еще лѣниво потягивался на своей постели; тѣмъ болѣе, что онъ, все-таки, уже снялъ крюкъ со входной двери и прозвонилъ, ради полученія утренняго кофе съ хлѣбомъ, масломъ и парюю яицъ въ смятку. Совершивъ таковыя дѣйствія сознательно и съ должною энергіей, онъ, разумѣется, имѣлъ полное право понѣжиться затѣмъ на постели, въ пріятной полудремотѣ, выжидая, каковы будутъ послѣдствія.

И послѣдствія не замедлили.

Только что Аріанъ Глѣбовичъ закрылъ глаза, въ дверь его кто-то постучался рѣшительною рукой.

Совершенно увѣренный, что явился донъ Чичо съ кофе, сливками и всею прочимъ, чему полагается быть на поднось, Аріанъ Глѣбовичъ крикнулъ: «Entrez!»

Но въ комнатѣ раздались грузные, мѣрные шаги, отнюдь не схожіе съ обычною походкой дона Чичо. Бѣлопольскій послѣшилъ открыть глаза, и ему предстала величественная фигура Александра Филипповича Македонскаго.

— Ахъ, извините! — засуетился Аріанъ Глѣбовичъ. — Я никакъ не предполагалъ...

— Пожалуйста, пожалуйста! — успокоивалъ его штабсъ-капитанъ. — Вѣдь, у нашего брата военнаго — санфасонъ, можно сказать; никакихъ этихъ этикетовъ не полагается. Притомъ же, я къ вамъ по дѣлу, такъ ужь тутъ не до церемоній. Позвольте, вы себѣ лежите, а я здѣсь сяду — и будемъ разговаривать.

— Не хотите ли, по крайней мѣрѣ, кофею? Мнѣ сейчасъ принесутъ, такъ за компанію?

По глазамъ Македонскаго тотчасъ было замѣтно, что отъ кофе онъ даже и очень не прочь; но почему-то онъ, все-таки, счелъ нужнымъ отказаться на-отрѣзъ, самымъ рѣшительнымъ образомъ.

— Аріанъ Глѣбовичъ! — началъ онъ затѣмъ, — вы вчера цѣлый день, кажется, извоили пребыть съ г. Щербовымъ?

— Да.

— Ну, и какъ онъ показался?

— На мой взглядъ, это — отличнѣйшій и достойнѣйшій человекъ.

— Нѣтъ-съ, позвольте, я не въ такомъ собственно смыслѣ... А не извоили вы замѣтить, какъ онъ насчетъ расположенія духа: хмуръ, сердитъ? То-есть, не въ отношеніи къ вамъ; разумѣется, а эдакъ... вообще?

— Помигуйте, веселъ и доволенъ какъ нельзя болѣе.

она и про Красилина вретъ; только нѣтъ: выходитъ правда. Правда, впрочемъ, еще хуже; отъ этой-то правды она, можетъ, и хвостомъ завилыла, когда удалось Красилина подцѣпить... Но, вѣдь, мало ли что! Все-таки, давши слово, это подло съ ея стороны-съ.

— Что же Варвара Семеновна говорила вамъ насчетъ Красилина?—осторожно осведомился Аріанъ Глѣбовичъ.

— Сватается, чортъ его возьми! И довольно ему стыдно... Самъ человѣкъ богатый.

— Развѣ богатые не женятся?

— Какъ не женятся! Только богатому-то и жениться бы въ полное свое удовольствіе... по крайней мѣрѣ, я такъ понимаю... а не гнаться за приданымъ.

— Варвара Семеновна настолько хорошенькая...

— Ну, помилуйте, хотя бы и расхорошенькая, а, все-таки, дѣвица своевольная... Мало ли про нее болтаютъ! Да еслибъ не это, развѣ я сумасшедшій, сюда-то заѣхать? Ну, а то подумалось: дай, молъ, попытаю и своего счастья; кто, молъ, знаетъ, какъ дѣло-то обернется... Вотъ тебѣ и обернулось, чего ужъ хуже нельзя!

— Почему вы такъ думаете?

— Развѣ я не понимаю? Одинъ отводъ глазъ. Подожди, да пожди, дай сначала Красилина отвадить, а то отецъ крѣпко за него уцѣпился (еще бы не уцѣпиться!). Нужно время, даже много времени... Очень прекрасно-съ! Да когда ждать-то? и съ чѣмъ?

Александръ Филипповичъ съ ожесточеніемъ выхватилъ изъ жилетнаго кармана два франка шестьдесятъ сантимовъ и преподнесъ ихъ Бѣлопольскому.

— Тутъ вся фортуна-съ. Второй день впроголодь отсиживаюсь, на маломъ раціонѣ, все равно, какъ въ осажденной крѣпости. Баязеть любви, можно сказать.

Аріану Глѣбовичу стало жаль бѣднаго штабсъ-капитана.

— Знаете что!—сказалъ онъ.—Сами вы замѣчаете нѣкоторое колебаніе со стороны Варвары Семеновны... Я тоже... Я не вправѣ говорить, но думаю, что... надѣяться вамъ уже болѣе нельзя. Такъ уѣзжайте-ка вы поскорѣе домой. А деньги на проѣздъ возьмите у меня. Когда-нибудь сочтемся.

Македонскій, словно двинутый пружиною, мгновенно вскочилъ съ мѣста и свирѣпо воскликнулъ:

— Это она просила васъ предложить мнѣ?

— Помилуйте, съ какой стати! Я не имѣю чести пользоваться ея довѣріемъ въ такой степени.

— А я думалъ... Извините, пожалуйста. Но она тоже сейчасъ приказывала мнѣ уѣхать и деньги на дорогу хотѣла взять у отца.

— Сейчасъ?

— Да. Нарочно заходилъ въ монастырежь, тамъ и видѣлись, — у насъ ужь было условлено.

«Однако, — подумалъ Аріанъ Глѣбовичъ, — барышня - то не-утомима!»

— Только это старыя шутки-съ! У насъ, видите ли, женишокъ навернулся получше, такъ ты ужь, можь, убирайся, не мѣшай... Однако, я эту музыку очень понимаю-съ.

— Послушайте, Александръ Филипповичъ, а хотя бы даже и такъ? Вѣдь, ужь вамъ все равно, карту вашу били... Такъ не лучше ли уѣзжать, пока можно?

— Что-съ?

Штабсъ-капитанъ сурово посмотрѣлъ на Бѣлопольскаго.

— Нѣтъ, ужь покорно благодарю-съ! У меня тоже своя амбиція есть. Куда уѣзжать? На хохоть да насмѣшки? Оплеванному ходить? Въ собственныхъ своихъ даже глазахъ трусишкой и подлецомъ быть? Вѣдь, я зналъ, на что ѣду. Нѣтъ, ужь этого русскій офицеръ не сдѣлаетъ-съ... Ахъ, мама, мама, бѣдная! — вдругъ схватилъ себя Македонскій за волосы, но съ такимъ изъ сердца вырвавшимся, хотя и тихимъ, воплемъ, что Аріанъ Глѣбовичъ почувствовалъ, какъ и у него мурашки по спинѣ забѣгали.

Прошла минута молчанія.

Штабсъ - капитанъ разомъ подавилъ свое волненіе, взялъ со стула плохенькую шляпенку - котелокъ и сталъ свидѣтельствовать почтеніе «многоуважаемому Аріану Глѣбовичу» съ своимъ обычнымъ формальнымъ видомъ.

— Позвольте поблагодарить васъ за ласку и участіе, — говорилъ онъ, —которыя вдвойнѣ дороги на чужой сторонѣ и при тяжелыхъ обстоятельствахъ.

Бѣлопольскій смотрѣлъ на него задумчиво и вдругъ, повидимому, на что-то рѣшился.

— Александръ Филипповичъ! — сказалъ онъ, — присядьте еще на минутку и позвольте мнѣ сдѣлать вамъ одно предложеніе... Говорять, спросъ не бѣда.

Македонскій пришелъ въ легкое недоумѣніе, однако, покорно сѣлъ на свое прежнее мѣсто.

— Вотъ что-съ! — объяснилъ Аріанъ Глѣбовичъ. — Поручите мнѣ поговорить о васъ съ Семеномъ Николаевичемъ Щербовымъ. Онъ — человекъ, сколько я могу судить, умный, добросовѣстный

въ высшей степени... ну, и богатый. Хотя случайно, однако, я, вѣдь, былъ свидѣтелемъ, какъ Варвара Семеновна дала вамъ слово, и слышалъ изъ ея собственныхъ устъ признаніе, что именно она завала васъ въ Италію. Ну-съ... сдержитъ ли свое слово Варвара Семеновна, я, конечно, не знаю, и, по правдѣ сказать, не думаю, чтобы отецъ сталъ принуждать ее къ этому. Во-первыхъ, слово, данное одною дѣвицей, безъ согласія родителей, еще нельзя считать окончательнымъ; во-вторыхъ, отецъ, можетъ быть, и самъ связанъ другимъ словомъ... да, наконецъ, мало ли какъ вообще складываются семейныя обстоятельства. Однако, изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы отецъ не былъ отвѣтственъ за поступки своей дочери во вредъ другому лицу. Можетъ быть, вы нѣсколько легко рѣшились на поѣздку сюда, но, все-таки, вы это сдѣлали по приглашенію дѣвицы, все-таки, она дала вамъ слово, — слѣдовательно, вовлекла васъ въ расходы, въ долги, въ неприятную огласку и, можетъ быть, даже въ служебныя затрудненія. Ясно, что вы имѣете право на извѣстное вознагражденіе за весь сдѣланный вамъ вредъ. Семень Николаевичъ — человекъ богатый, добросовѣстный, вліятельный. Мнѣ кажется, что, въ данныхъ обстоятельствахъ, онъ охотно согласится вознаградить васъ за все и сдумаетъ это сдѣлать... Поручите мнѣ переговорить съ нимъ.

Штабсъ-капитанъ выслушалъ длинную рѣчь Бѣлопольскаго съ самымъ напряженнымъ вниманіемъ и даже вслѣдъ за нею просидѣлъ еще минуты двѣ молча, понуривъ голову, ради усиленнаго мышленія. Но затѣмъ онъ взглянулъ на Аріана Глѣбовича и — не то сердито, не то со вздохомъ — произнесъ:

— Сохвизмъ!

— Почему софизмъ?

— Да потому, что папенька сейчасъ же спроситъ: а вы, молъ, милостивый государь, изволили предупредить меня о вашемъ желаніи стащить у меня дочку со всеми приложеніями? Вы, молъ, освѣдомлялись, какъ это мнѣ понравится? А теперь, когда не удалось, такъ вы же и обижены, вамъ же и за убытки еще платить? Помните, это курамъ на смѣхъ.

— Пожалуй, оно и такъ отчасти... Но я, все-таки, повторяю вамъ, что Семень Николаевичъ не откажется сдѣлать въ вашу пользу весьма многое... Я даже готовъ поручиться за это... Почему же вамъ не воспользоваться такимъ случаемъ?

Штабсъ-капитанъ схватилъ въ руки свой рыжій котелокъ и гордо вынырнулъ во весь ростъ.

— Очень вамъ благодаренъ за участіе, — сказалъ онъ, — но го-

ворить съ г. Щербовымъ не трудитесь: это бесполезно. Конечно, я человѣкъ маленькій, не по-свѣтски воспитанъ, можетъ быть, смѣшонъ... или глупъ, какъ пробка... даже очень вѣроятно-съ... Однако, я, все-таки, русскій Его Величества офицеръ-съ и чести своей не замараю-съ. Боли самъ проигралъ, самъ и расплачусь, помимо всякихъ соображеній; а другихъ о томъ просить не стану-съ... Еще разъ позвольте благодарить васъ, и—честь имѣю кланяться!

Арианъ Глѣбовичъ во слѣдъ Македонскому только ругами развелъ.

«Вотъ поди-жь ты! Жениться на большомъ приданомъ, хотябы всякими правдами и неправдами, можно и должно; стянуть у человѣка его единственную дочь, уничтожить его семейное счастье допускается и не предосудительно. А принять отъ того же самага человѣка добровольную услугу или братскую помощь, и, притомъ, въ минуту дѣйствительно безвыходнаго положенія,—этого, изволите ли видѣть, нельзя: офицерская честь запрещаетъ. Хороша мораль? Да-съ, а, все-таки, этоть бѣдный, неразвитый офицерикъ держится за свои убогіе идеалы всею душой, и такихъ между ними, офицерами, большинство. Высоко же развитые господа свой дѣйствительно святой идеалъ очень часто продають за пару грошей, и такихъ между нами—тоже большинство... Эхъ, жизнь, жизнь! Не поймень тебя».

VIII.

Единственная.

Арианъ Глѣбовичъ, одѣвшись, рѣшилъ отправиться на главную сорентскую площадь, въ казино, чтобы почитать утреннія газеты за стаканомъ гранита *). У него вошло это въ обычай, хотя путь отъ гостиницы «Socumella» до площади не близкій: версты полторы.

На самомъ выходѣ изъ воротъ онъ столкнулся съ Семеномъ Николаевичемъ Щербовымъ.

Конечно, обмѣнялись привѣтствіями.

— Вы куда?—спросилъ Щербовъ.

— На площадь, въ казино.

— Значить, по дорогѣ. Я тоже на площадь, оловъ нанимать... Вотъ, кстати, не хотите ли присоединиться къ нашей прогулкѣ? Мы послѣ обѣда всею компаніей ѣдемъ въ Массу.

*) Гранита—сѣбъ, приправленный фруктовымъ сокомъ и сахаромъ.

— А, знаю! Прелестнѣйшая дорога. Если позволите, я присоединяюсь.

— Еще бы! Очень будемъ рады.

Затѣмъ они вмѣстѣ направились къ площади; но дальнѣйшій разговоръ между ними какъ-то не клеился, хотя Арианъ Глѣбовичъ и пытался поддержать его кое-какими банальными замѣчаніями. Удивленный разсѣянностью и молчаливымъ настроеніемъ своего спутника, онъ взглянулъ въ него попристальнѣе и тогда только замѣтилъ, что Щербовъ имѣетъ видъ крайне болѣзненный и встревоженный, хотя старается приккрыть это маскою дѣланнаго равнодушія. Бѣлопольскому почудилось даже, будто на глазахъ старика раза два блеснули предательскія слезинки.

Сдѣлавъ это открытіе, онъ, разумеется, тотчасъ замолкъ, чтобы не надоѣдать огорченному человѣку пустою болтовней. Но Щербовъ, пройдя минуты три въ глубокой задумчивости и съ опущенною головою, самъ вдругъ точно опомнился.

— Простите меня, Арианъ Глѣбовичъ!—заговорилъ онъ.— Это маленькая разсѣянность... Впрочемъ, передъ вами грѣхъ таиться, — даже не разсѣянность, а горе... страшное горе!

И при этомъ словѣ, точно изъ прорванной плотины, долго сдерживаемыя слезы старика вдругъ брызнули ручьями, переполнивъ глубокія старческія морщины.

— Семень Николаевичъ, что вы?—испугался Бѣлопольскій.

— Посудите, вѣдь, она у меня единственная, единственная!—застоналъ Щербовъ. Но вдругъ онъ остановился, замолкъ и, весь блѣдный, схватился одною рукою за сердце, а другою бессильно замахалъ въ воздухъ, какъ бы ища опоры.

— Семень Николаевичъ! Ради Бога, что съ вами?—поблѣднѣлъ и Бѣлопольскій, поспѣшивъ, однако, подхватить старика. — Пойдите, здѣсь близко есть скамеечка въ тѣни... Опирайтесь, опирайтесь на меня сильнѣе. Вотъ! Садитесь... Эхъ, воды-то нѣтъ!

— Не беспокойтесь... У меня... въ карманѣ...

Арианъ Глѣбовичъ быстро вытащилъ у старика изъ кармана небольшой флаконъ съ эфиромъ, раскупорилъ его и далъ Щербову понюхать. Затѣмъ старикъ еще потеръ себѣ виски тою же жидкостью и оправился.

— Простите!—улыбнулся онъ Ариану Глѣбовичу печально.— Кажется, я васъ напугалъ?

— И напугали, и огорчили.

Семень Николаевичъ минутъ пять, молча, съ опущенною голо-

вой, просидѣлъ на скамейкѣ. Наконецъ, онъ, повидимому, на что-то рѣшился.

— Ну!—сказалъ онъ,—видно, ужь такъ Богу угодно... Аріанъ Глѣбовичъ! вашъ батюшка спасъ когда-то мое брѣнное тѣло... но не на радость, положимъ. А вы—снимите страшную тягость съ души моей. Выслушайте исповѣдь несчастнаго старика и развяжите мою совѣсть.

— Если я могу помочь хотя сколько-нибудь....

Щербовъ безнадежно махнулъ рукою.

— Помочь мнѣ въ силахъ одинъ Богъ; но и Онъ не захочетъ, потому что время чудесъ миновало. Впрочемъ, послушайте: говорить тяжело, это пытка... и, въ сущности, не во мнѣ дѣло, я тутъ только такъ... Я хочу сказать, будьте снисходительны, не мѣшайте мнѣ, не преребивайте, не удивляйтесь... Ахъ, я, можетъ быть, заговариваюсь... Ничего. Я знаю, вы меня потомъ извините... Слушайте: послѣ Бога, а, можетъ быть, и больше Бога (въ груди у старика что-то заглохотало), я всегда любилъ свою дочь. Она у меня единственная. Поймите: единое существо въ цѣломъ мірѣ, которое мнѣ близко, которое я вправѣ называть своимъ... Это мое оправданіе. Но я, конечно, понимаю, что подобное идолотвореніе, все-таки, тяжелый, ужасный грѣхъ... Я только не зналъ, какъ безпощадно онъ наказуется.

Сухія, сдержанныя рыданія прервали рѣчь старика. Аріанъ Глѣбовичъ хотѣлъ вскочить, но Щербовъ придержалъ его за руку и успокоилъ.

— Ничего!—говорилъ онъ.—Неужто вы полагаете, что я къ этому еще не привыкъ?

Дѣйствительно, черезъ минуту, подавивъ свои конвульсивныя всхлипыванія, старикъ продолжалъ, хотя нѣсколько измѣнившимся и дрожащимъ голосомъ:

— Ну-съ, молодой человѣкъ, наказанъ я слѣдующимъ образомъ: не только дочь моя меня не любитъ, но и чуждается меня; она, кромѣ того, убѣждена, что и я ее ненавижу, что я подкапываюсь подъ ея счастье или даже спокойствіе, стараюсь отнять у нея всякую, хотя бы маленькую радость, клевету на нее, нарочно выставляю ее на смѣхъ или на позоръ передъ посторонними, нарочно играю комедію, представляясь любящимъ отцомъ. Это все говорить мнѣ въ глаза мое же собственное дитя,—не дальше, какъ сегодня утромъ, была подобная сцена,—то самое существо, надъ кроватью котораго я просиживалъ цѣлыя безсонныя ночи, малѣйшій насморкъ котораго заставлялъ меня стоять на колыбняхъ часами и

потоками горячихъ слезъ вымалывать у Господа сохраненіе моего безцѣннаго сокровища. Вся моя жизнь, всѣ чувства, всѣ мысли— все, все было отдано одному существу, безраздѣльно и безавѣтно. А повело это къ тому, что оно же, это существо, не только ненавидитъ меня, но и домъ, въ которомъ родилось, людей, съ которыми выросло, и, наконецъ, даже собственную свою жизнь. Да, моя дѣвочка тоскуетъ, плачетъ по цѣлымъ днямъ, губить свое здоровье, свою будущность, даже... даже свое доброе имя. И все на одинъ пригвѣзъ: «Пускай! Терять мнѣ нечего».

Старикъ закрылъ лицо руками.

— Она... держитъ себя съ молодыми людьми, — можетъ быть, вы сами замѣтили, — неловко, навязчиво, съ какимъ-то почти наглымъ, вызывающимъ кокетствомъ. Два раза она уже давала слово женихамъ — Богъ знаетъ кому, замѣтите; мнѣ даже совѣстно называть ихъ... И, вѣдь, ни искры чувства любви или уваженія къ этимъ женихамъ! Сама сознается: лишь бы выскочить изъ этого проклятаго дома, хоть какъ-нибудь, хоть куда-нибудь, хоть за кого-нибудь...

Щербовъ застоналъ.

— Скажите, бывало это когда-нибудь прежде, съ другимъ отцомъ?... Впрочемъ, не обо мнѣ рѣчь. Теперь она завлекла Красилина. Какъ онъ не видитъ, не понимаетъ — постигнуть не могу. Но бѣдный малый владеть тутъ все свое сердце; ей же онъ «противенъ еще хуже другихъ», какъ она выражается. Но, имѣя въ виду, что я будто бы изъ гордости два раза помѣшалъ ей выйти за людей бѣдныхъ и невидныхъ (я! что могъ бы я, несчастный старикъ, сдѣлать? Я даже до сихъ поръ не знаю, почему тѣ свадьбы не состоялись), она теперь выбрала человѣка богатаго и съ хорошимъ именемъ, хотя терпѣть его не можетъ. Но нусть-де это будетъ удовлетвореніемъ отцу, съ его маніей величія. Аріанъ Глѣбовичъ, вы знаете Красилина! Только онъ въ душѣ еще лучше, чѣмъ кажется. Олицетворенная чистота, честность и правда. Болѣе теплаго, отзывчиваго и любящаго юноши я еще не встрѣчалъ въ жизни. А, притомъ, онъ мнѣ же вѣритъ, какъ родному отцу... Господи! Что мнѣ дѣлать? Смолчать, собственною рукой толкнуть въ пропасть человѣка, который довѣрчиво спрашиваетъ меня, куда ему здѣсь лучше встать? Совѣсть замучаетъ; пережить это, смотрѣть на это я не могу. Но, съ другой стороны, неужто же я самъ, — самъ, родной отецъ Вари, долженъ скрывать Красилину всю правду, открыть ему глаза? Самъ, собственными руками, я долженъ разстроить свадьбу родной дочери съ такимъ человѣкомъ, котораго лучше и

достоинѣе я не знаю? Какъ взять на себя подобную отвѣтственность? И что скажетъ Варя, которая и безъ того убѣждена, будто я ее ненавижу?... Арианъ Глѣбовичъ! ради Господа, снимите съ меня эту пытку. Если вы можете, научите меня. Вы, сынъ вашего отца, честнѣйшаго изъ честныхъ, который даже героизмъ признавалъ просто своимъ долгомъ, скажите: какъ долженъ поступить честный человѣкъ въ подобномъ случаѣ? Не обращайтесь вниманія на мои личные чувства,—это все равно,—но разъясните, гдѣ мой долгъ, въ чемъ мои обязанности, и я буду вѣчно поминать васъ благодарностью.

Я полагаю, въ тотъ моментъ въ цѣломъ Соренто не было человѣка менѣе способнаго отвѣтить на вопросы Щербова, какъ именно Бѣлопольскій. Глубоко нервный по натурѣ, чуткій и впечатлительный, какъ женщина, онъ былъ рѣшительно подавленъ странною исповѣдью старика, его безнадежнымъ отчаяніемъ и тоскою, которыя сказывались въ каждомъ словѣ, взглядѣ или движеніи бѣднаго отца. Когда же, наконецъ, неожиданное требованіе Щербова было вдругъ и въ упоръ предъявлено именно самому Бѣлопольскому, и, притомъ, на категорическое разрѣшеніе, онъ испугался, какъ ребенокъ.

— Вѣрьте мнѣ, Семень Николаевичъ, — мямлилъ онъ неувереннымъ голосомъ, — что я ничего бы не пожалѣлъ, ни передъ чѣмъ бы не остановился... такъ... такъ глубоко я вамъ сочувствую и раздѣляю... то-есть понимаю ваше мученіе. Но посоветовать... научить... Помилуйте, я до того пораженъ и огорченъ всѣмъ, что слышалъ, что даже съ мыслями не могу собраться самъ-то.

Старикъ горько улыбнулся.

— Немудрено! — шепнулъ онъ какъ-бы про себя и поднялся со скамьи.

IX.

Разсчетъ.

Часа въ четыре, послѣ ранняго (по-итальянски) обѣда, у воротъ гостиницы «*Socimella*» послышался звонкій топотъ копытъ, затѣмъ рѣзкіе, но веселые голоса погонщиковъ ословъ.

Это появились договоренные съ утра для поѣздки въ Массу три осла и одна лошадь (послѣдняя для Варвары Семеновны, которая безусловно воспротивилась всякой мысли о «длинноухомъ способѣ передвиженія»). А черезъ нѣсколько минутъ изъ тѣхъ же воротъ стали появляться, одинъ по одному, и «*loro eccellenze, gl'illustrissimi signori forestieri*», то-есть, попросту, заказчики ословъ.

Первымъ вышелъ Аріанъ Глѣбовичъ и, примостившись въ тѣнь на очень маленькую скамью, предался созерцательному выжиданію.

Затѣмъ, съ хлыстомъ въ рукѣ, въ мужской шляпѣ съ вуалетъ и въ суконной амазонкѣ съ длиннымъ, но приподнятымъ шлейфомъ, появилась Варвара Семеновна, съ виду очень веселая и довольная. Впрочемъ, она не замедлила испытать самое печальное разочарованіе.

— Какъ! Это лошадь?—воскликнула она, узрѣвъ приведеннаго для нея Россинанта.—Батюшки, какая гадость! Ну, я на подобнаго одра ни за что не сяду.

— А гдѣ вы возьмете лучшаго?—отозвался Аріанъ Глѣбовичъ.—И то вы будете платить двѣнадцать франковъ, а мы за своихъ осликовъ только по три.

— Ба! Вы уже здѣсь? Сейчасъ придутъ и папа съ Красилицынымъ. Они дождадутъ горгонцолу и увѣряютъ, что лучшаго сыра на свѣтѣ нѣтъ. Ужъ дѣйствительно, я думаю, нигдѣ больше не ѣдятъ подобную гадость... Однако, у васъ тѣнь; дайте-ка и я присяду.

Бѣлопольскій вѣжливо всталъ, уступая мѣсто.

— Сидите, сидите! Я не очень толста.

— Да, но скамья совсѣмъ маленькая.

— Потѣсимся, ничего. Или вы меня боитесь? Такъ, вѣдь, я не кусаюсь... и даже не злопамятна.

Сѣли такъ, что юбка Варвары Семеновны закрыла оба колѣна Бѣлопольскаго.

Аріанъ Глѣбовичъ, при этомъ удобномъ случаѣ, съ нескрываемымъ удивленіемъ присмотрѣлся къ костюму Щербовой.

«Неужто,—соображалъ онъ,—даже амазонку она притащила съ собой изъ Россіи и возитъ изъ города въ городъ?»

Бросились ему въ глаза очень дорогой матеріалъ и безукоризненно-изящный фасонъ амазонки, хлыстикъ съ золотою ручкой и брошь въ видѣ массивной золотой подковы съ брилліантовыми гвоздиками.

— Гм... — замѣтилъ онъ вслухъ. — Какъ, въ самомъ дѣлѣ, сейчасъ бросается въ глаза, что вы во всемъ любите только простоту...

— Да? — спросила польщенная Варвара Семеновна. — Вамъ нравится мой костюмъ? Дѣйствительно, простой, безъ всякихъ вычуръ.

— Хотя нельзя сказать, чтобъ онъ особенно подходилъ ко второй половинѣ вашихъ вкусовъ.

— Какой?

— А бѣдность-то!

Дѣвушка посмотрѣла на Бѣлопольскаго, очень мило надувши губки.

— Послушайте, вы опять будете браниться? Зачѣмъ вы такой? Этакъ я васъ даже разлюблю.

— А вотъ и мы! — возгласилъ Красилинъ, появляясь подъ руку съ Семеномъ Николаевичемъ. — Что-жь, господа, садимся, что ли?

Онъ первый вскочилъ на самага мелкаго изъ ословъ, такъ что длинныя ноги новаго кавалериста волочились чуть не по землѣ, и неволью думалось, что вотъ-вотъ бѣдный осликъ зашатается и рухнетъ подъ массивною персоной сѣдока.

Выходило даже забавно.

Вслѣдъ за Красилинымъ стали прилаживаться къ своимъ «способамъ передвиженія» и остальные лица.

Но въ эту минуту вдругъ неизвѣстно откуда взялся, словно изъ земли выросъ, Александръ Филипповичъ Македонскій.

Не торопясь, величественный и прямой, какъ палка, онъ подошелъ къ Щербову и вѣжливо ему поклонился.

Семень Николаевичъ тоже приподнялъ шляпу въ отвѣтъ, но вопросительно сощурилъ глаза на пришельца.

— Вы меня, кажется, не узнаете? Штабсъ-капитанъ Македонскій! Имѣлъ честь два раза танцовать на вечерахъ въ вашемъ домѣ.

— Александръ Филипповичъ! Батюшка, простите: въ штатскомъ я, дѣйствительно, васъ не узналъ.

И Щербовъ поспѣшилъ протянуть руку воину-земляку.

— Но... но какимъ вѣтромъ васъ сюда занесло?

— Прибылъ-съ по приглашенію вашей дочери, Варвары Семеновны.

— Какъ! Что это значить? — воскликнулъ Семень Николаевичъ, крайне удивленный.

— Точно такъ-съ. Вообще позвольте мнѣ извиниться, что я рѣшился такимъ необыкновеннымъ порядкомъ, въ такой часъ и въ такомъ именно мѣстѣ явиться къ вамъ для серьезныхъ объясненій. Но меня оправдываютъ особыя обстоятельства... тѣмъ болѣе, что присутствіе г. Бѣлопольскаго при нашихъ объясненіяхъ совершенно необходимо.

— Бѣлопольскаго? Аріана Глѣбовича?

— Точно такъ-съ. Онъ, конечно, подтвердитъ справедливость тѣхъ моихъ словъ, въ которыхъ иначе вы могли бы легко сомнѣваться.

— Позвольте... Но, въ такомъ случаѣ... въ такомъ случаѣ, не угодно ли вамъ, все-таки, хотъ пожаловать въ комнату?

— Зачѣмъ же-съ? По-русски здѣсь все равно никто не понимаетъ, кромѣ тѣхъ, кому даже слѣдуетъ понимать.

— Папа! — воскликнула Варвара Семеновна, которая до этой минуты казалась окаменѣвшей, — попроси г. Македонскаго пожаловать въ другой разъ... хотъ завтра утромъ. А теперь — ѣдемъ; я не стану ждать.

Штабсъ-капитанъ съ едва замѣтною насмѣшкой обернулся къ ней:

— Я васъ не задержу, Варвара Семеновна, не беспокойтесь: мое дѣло — минутное... Семень Николаевичъ! я позволяю себѣ просить у васъ руки вашей дочери, согласіе которой я уже имѣлъ счастье получить раньше.

— Что-съ?

На лбу у Щербова выступилъ потъ крупными каплями.

— Извините меня, но здѣсь, конечно, существуетъ нѣкоторое недоразумѣніе. Я очень благодаренъ вамъ за честь. Но... но дочь моя уже болѣе мѣсяца невѣста другаго лица. Она дала слово Александру Сергѣевичу Красицину.

— Болѣе мѣсяца? Значить, еще недѣли за двѣ до выѣзда изъ Россіи?

— Точно такъ-съ.

Македонскій посмотрѣлъ на Варвару Семеновну, которая, замѣтивъ это, посиѣшила гнѣвно прижать оба свои кулачка къ губамъ, какъ бы повелѣвая штабсъ-капитану онѣмѣть сію же минуту.

Но онъ только плечами повелъ съ легкою улыбкой.

— Тѣмъ не менѣе, — хладнокровно и не повышая голоса обратился онъ къ Щербову, — Варвара Семеновна, за три дня до выѣзда своего изъ Россіи, пригласила сама меня послѣдовать за нею въ Италію, а здѣсь добровольно дала слово выйти за меня замужъ, какъ только будетъ получено ваше согласіе. Аріанъ Глѣбовичъ Бѣлопольскій былъ случайнымъ свидѣтелемъ всего этого объясненія между мною и Варварою Семеновной.

Щербовъ, съ отчаяніемъ, какъ затравленный волкъ, оглянулся на Бѣлопольскаго, который волей-неволей долженъ былъ выступить впередъ.

— Да! — сказалъ онъ, съ явнымъ, однако, отвращеніемъ. — Я подтверждаю, что г. Македонскій говоритъ правду.

Семень Николаевичъ, повидимому, готовъ былъ лишиться

чувствъ. Но Бѣлопольскій подбѣжалъ къ нему, поддержалъ его подъ руку и быстро шепнулъ:

— Не самъ ли Господь посылаетъ вамъ отвѣтъ, котораго вы у меня просили, и разрѣшаетъ трудность, неразрѣшимую для чловѣка? Смѣлѣе!

Щербовъ кивнулъ головою какъ бы въ знакъ согласія и, дѣйствительно, послѣ минутнаго молчанія, повидимому, подавилъ собственное волненіе. Онъ уже серьезно и твердо обратился къ своей дочери.

— Варя, ты слышала? Не оставляй же всѣхъ въ тяжеломъ недоумѣніи. Кому именно изъ этихъ двухъ господъ, — онъ указалъ на штабсъ-капитана и Красилина, — желаешь ты дать свое окончательное слово? О моемъ согласіи не заботься: я одобряю твое рѣшеніе впередъ, каково бы оно ни было.

— Позвольте... на одну минуту! — заявилъ Александръ Сергѣевичъ прерывающимся и дрожащимъ голосомъ. — Чтобы облегчить задачу Варвары Семеновны, я спѣшу самъ отказаться отъ всѣхъ своихъ правъ въ прошломъ и притязаній въ будущемъ. Прошу меня считать внѣ конкурса.

Низко и почтительно поклонившись дѣвушкамъ, онъ затѣмъ живо обернулся къ Щербову:

— Семенъ Николаевичъ! вы понимаете, что...

— Не надо, не надо! — махнулъ рукою старикъ. — Все понимаю, и буду тебя любить попрежнему, какъ родного сына, если ты самъ меня не бросишь.

— Истинно-примѣрный, отцовскій отвѣтъ! — воскликнула Варвара Семеновна, блѣднѣя отъ гнѣва.

Щербовъ холодно и твердо обратился къ ней.

— И такъ, вотъ положеніе, — сказалъ онъ. — Александръ Сергѣевичъ возвращаетъ тебѣ слово, а многоуважаемый Александръ Филипповичъ Македонскій дѣлаетъ намъ честь, предлагаетъ тебѣ руку и сердце. Я, съ своей стороны, еще разъ повторяю, что никому твоему рѣшенію противиться не буду, признавая это отнынѣ не своимъ дѣломъ. Потрудишься же, наконецъ, такъ или иначе покончить сцену, которую ты, можетъ быть, и сама находишь немного странною.

— Меня удивляетъ необыкновенная рѣшимость г. Македонскаго! — очень презрительно, но неувѣреннымъ голосомъ заявила дѣвушка. — Едва ли достойно порядочнаго чловѣка воспользоваться невинною шуткой съ тѣмъ, чтобы навязывать себя выгодной невѣстѣ.

— Шуткой?!—воскликнулъ штабсъ-капитанъ.

— Кажется, это ясно. Неужто вы серьезно могли думать, хотя на одну минуту? Наконецъ, позвольте вамъ замѣтить, что и общественныя наши условія слишкомъ различны для того, чтобы вы могли заблуждаться.

— Однако, не вы ли всегда утверждали, будто любите простоту и скромность, будто вашъ отецъ совсѣмъ задушилъ васъ гордостью, роскошью и притязаніями? Будто вы ненавидите владѣтельныхъ князей, и чѣмъ проще человѣкъ, тѣмъ онъ вамъ милѣе и болѣе по душѣ? А теперь все это—шутка?

Щербовъ горько улынулся; Варвара Семеновна гордо и рѣшительно подняла голову.

— Значить,—сказала она,—вопреки даже очевидности, вамъ, все-таки, угодно вѣрить въ свою неотразимость и въ то, что даже порядочныя дѣвушки сами будутъ преподносить вамъ свое обожаніе и напрашиваться на вашу благосклонность? Это очень счастливый складъ ума, г. Македонскій! Но онъ не совсѣмъ удобенъ для тѣхъ, кого жалость или вѣжливость заставляетъ имѣть съ вами дѣло. Ваше лестное знакомство досталось мнѣ не дешево, а потому я позволяю себѣ просьбу: избавить меня отъ этого слишкомъ дорогаго удовольствія хотя на будущее время.

Варвара Семеновна величественно повернулась къ Семену Николаевичу.

— Отецъ! съ г. Македонскимъ я кончила. А такъ какъ друзей у меня здѣсь нѣтъ, не найдешь ли ты возможнымъ, хоть на этотъ одинъ разъ, подать мнѣ руку и увести меня отъ дальнѣйшихъ оскорбленій?

Штабсъ-капитану казалось, что всѣ рѣчи дѣвушки онъ слышаетъ въ какомъ-то дикомъ и нелѣпомъ снѣ,—до такой степени не ждалъ онъ ничего подобнаго. Но послѣднія слова, наконецъ, отрезвили его.

— Одну минуту! — воскликнулъ онъ такимъ тономъ, что заставилъ всѣхъ невольно оглянуться на него.—Аріанъ Глѣбовичъ! по чести и по совѣсти, какъ передъ лицомъ Бога, сочли вы объясненіе м-ле Щербовой со мною за шутку?

— По чести и по совѣсти, я принялъ его за совершенно серьезное.

Македонскій досталъ изъ кармана письмо и подаль его Бѣлопольскому.

— Пожалуйста, возьмите это, поберегите... И благодарю васъ! Вы—честный человѣкъ.

Затѣмъ изъ другого кармана онъ выхватилъ револьверъ и снова обратился къ Щербовымъ, которые уже стояли рядомъ.

— Ай! что это? Спасите, помогите! — истерически завизжала Варвара Семеновна.

Старикъ Семень Николаевичъ однимъ движеніемъ, быстрымъ, какъ мысль, сталъ впереди дочери, загородивъ ее собою.

Наконецъ, Красилянъ и Бѣлопольскій оба бросились къ штабсъ-капитану.

Александръ Филипповичъ на мгновеніе даже удивился этому переполоху; но затѣмъ улыбнулся очень презрительно.

— Успокойтесь, господа! А особенно вы, м-лле Щербова... Русскій офицеръ—не трусъ и не убійца. На прощанье я вамъ скажу только вотъ что: шутка шуткѣ рознь, и людьми играть грѣхъ. Ну, прощайте и—прощаю вамъ.

Прежде чѣмъ кто-нибудь могъ опомниться, раздался короткій, глухой, ничтожный какой-то выстрѣлъ, —словно вкнутомъ хлопнули,—и мощная, гордо выпрямившаяся фигура Александра Филипповича Македонскаго, какъ снопъ, повалилась на камни, слышенъ былъ даже тупой, отвратительный ударъ головы о помость.

Раздался общій крикъ ужаса...

Х.

Глава послѣдняя и короткая.

Часа черезъ два, когда общее волненіе нѣсколько улеглось, трупъ Македонскаго былъ прибранъ и даже произведено было законною властью первоначальное дознаніе о самоубійствѣ. Варвара Семеновна, съ заплаканными глазами и чрезвычайно надутымъ видомъ, вышла изъ своихъ комнатъ въ небольшой садикъ, состоящій при гостиницѣ «Socinella».

Въ саду она застала Аріана Глѣбовича, задумчиво курившаго сигару, подъ тѣнью померанцевыхъ деревьевъ.

— Не знаете, гдѣ наши: отецъ и Красилянъ?—спросила она.

— Кажется, пошли хлопотать насчетъ похоронъ. А, впрочемъ, навѣрное не знаю.

Затѣмъ молчаніе.

— Какое письмо далъ вамъ этотъ?...

— Если угодно, посмотрите.

«Многоуважаемый Аріанъ Глѣбовичъ! — прочла дѣвушка, — если вы полагаете, что г. Щербовъ, по свойственной ему добротѣ,

согласился бы-помочь моей старушкѣ-матери, которая проживаетъ въ его же уѣздномъ городѣ, то прошу васъ это устроить, хоть на первое время, потому что долго старушка врядъ ли протянетъ. Товарищамъ по полку, если будетъ случай, перепишите мой прощальный привѣтъ. Многимъ изъ нихъ я задолжалъ, когда ѣхалъ сюда, — кому три, кому пять рублей. Пусть меня простятъ. Я считаю, что я со всѣми честно расплатился, чѣмъ могъ: кровью. А другаго у меня ничего не было.

«Штабсъ-капитанъ Македонскій».

Прочитавъ, Варвара Семеновна гнѣвно разорвала письмо на мельчайшіе куски.

— Что вы дѣлаете?! — воскликнулъ испуганный Бѣлопольскій.

— Вотъ еще не доставало, чтобы отецъ въ самомъ дѣлѣ вздумалъ помогать его противной старухѣ! Это... чтобы ужъ окончательно заговорили, будто я дѣйствительно во всемъ виновата? Ни за что не позволю!... Кажется, благодаря Семену Николаевичу, и такъ ужъ будетъ довольно мерзкѣйшихъ сплетней, которыя, по обыкновенію, всѣ обрушатся опять-таки на меня же, и я же останусь виноватой!

Варвара Семеновна торопливо вынула платокъ; слезы, одна за другою, катились по ея щекамъ.

— При чемъ же здѣсь, однако, Семенъ Николаевичъ? — удивился Бѣлопольскій.

— Ну, да, ну, да, конечно! Онъ всегда чистъ! Всегда все умѣетъ свалить на другихъ... Настоящій-то отецъ, который дѣйствительно живетъ только для своей дочери... Да развѣ бы онъ допустилъ что-нибудь подобное? Онъ скорѣе разорвалъ бы на куски этого... этого...

— Кого, покойнаго? Такъ онъ самъ себя разорвалъ... И согласитесь, что человекъ, рѣшившагося умереть, довольно трудно укротить угрозами... Притомъ же, не отецъ вашъ довелъ Македонскаго до отчаянія...

— Ну, такъ, такъ! Валите все на меня. Я къ этому привыкла. А мой милый папаша еще станетъ благодѣтельствовать противной старухѣ, — непременно станетъ, вотъ увидите! — и всѣ будутъ удивляться его великодушію, его христіанскимъ чувствамъ и добродѣтелямъ. А родную дочь этого образцоваго христіанина затопчатъ въ грязь, и милый папенька не протянетъ ей даже пальца, за который она могла бы ухватиться... Ахъ, все это такъ хорошо мнѣ извѣстно, такъ знакомо, такъ неизбѣжно!

И Варвара Семеновна разливалась горькими слезами.

— Напрасно вы плачете, — сказала ей, наконецъ, Аріанъ Глѣбовичъ. — Это въ вамъ даже не идетъ какъ-то.

— Не идетъ? — удивилась она, вдругъ приостанавливая слезы.

— Да, не идетъ.

— А что же ко мнѣ идетъ? — улыбнулась она уже съ нѣкоторымъ задоромъ.

Плетъ! — не выдержавъ долѣе, Аріанъ Глѣбовичъ, и почти бѣгомъ бросился вонъ изъ сада.

Ф. Ромеръ.

Х А М Ъ *).

Повѣсть Элизы Ожешковой.

III.

Осенній день клонился къ вечеру; по небу тянулась вереница темныхъ, тяжелыхъ тучъ. Маленькая принѣманская деревушка словно вся вымерла,—на улицѣ и на дворахъ не было видно ни одной человѣческой души. Только кое-гдѣ начинали показываться огоньки въ маленькихъ подслѣповатыхъ окошечкахъ.

Посреди этой тиши и безлюдья Павелъ стоялъ у дверей своей хаты, точно столбъ, врытый въ землю. Безсознательно отъ времени до времени онъ подносилъ къ губамъ давно потухшую коротенькую трубочку и также безсознательно опять опускалъ руку. Глазъ его не было видно изъ-подъ козырька низко надвинутаго картуза, но по губамъ и подбородку постоянно пробѣгала судорога, точно онъ старался сдерживать рыданіе или стонъ боли. По временамъ онъ бормоталъ что-то неясное и замолкалъ опять, не сводя взора съ рѣки и широко раскинувшихся полей на другомъ берегу.

За Нѣманомъ послышался громкій окликъ: паромъ, паромъ! Двери хаты Бозлюка отворились и выпустили двухъ человѣкъ. Черезъ нѣсколько минутъ паромъ уже подвигался къ противоположному песчаному берегу, на которомъ неясно вырисовывались силуэты пароконной брички. Подъ темными, низкими тучами, на темномъ фонѣ лѣниво текущей рѣки и паромъ, и двое сидящихъ на немъ людей казались какими-то странными привидѣніями. Мѣрно, тихо, безъ малѣйшаго шума и нлеса, Филиппъ и Данилка то наклонялись назадъ, то выпрямлялись, глубоко погружая весла въ темную влагу.

Павелъ глубоко вздохнулъ и проговорилъ медленно:

*) *Русская Мысль*, кн. IV.

— О, Господи Ты Боже мой!

Неизвестно, видъ ли паромъ, или какая-нибудь промелькнувшая въ его головѣ мысль возвратила его къ дѣйствительности, только онъ вздрогнулъ и поправилъ на головѣ картузь.

На гору съ трудомъ вѣзжала пароконная бричка, а изъ-за угла хаты Козлюка показалась высокая фигура Филиппа. Чтобы выгадать время, онъ перелѣзъ черезъ плетень и теперь остановился въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Павла.

— Павелъ,—заговорилъ онъ,—не гнѣвайся на насъ... Мы сейчасъ урядника перевозили черезъ рѣку и рассказали ему все.

— А что такое вы ему рассказали? — съ трудомъ спросилъ Павелъ.

Филиппъ слегка наклонилъ голову и почесалъ въ затылкѣ.

— А то, что Франка куда-то дѣвалась, что вотъ ужъ недѣля, какъ ея не видно,—тихо сказалъ Филиппъ.

Павелъ вскинулъ на своего собесѣдника гнѣвные глаза.

— Чортъ васъ за языкъ тянулъ! — глухо проговорилъ онъ.

— Я, можетъ быть, и не сказалъ бы... что мнѣ за дѣло до того? — началъ оправдываться Филиппъ,—это все Данилка... такъ и такъ, говорить, панъ урядникъ, такъ и такъ... убѣжала!

Пароконная бричка вѣхала на гору и остановилась у воротъ хаты Филиппа. Сидящій въ бричкѣ человекъ, закутанный въ пледъ, заговорилъ слегка насмѣшливымъ голосомъ:

— Что, Кобыцкій, говорятъ, у тебя жена пропала?... Убѣжала, что ли? Можетъ быть, ее разбойники убили? или, можетъ быть, она утопилась, а? Отчего же ты полиціи знать не далъ? Можетъ быть, ее скоро и отыскали бы. Развѣ тебѣ ее не жалко, а? Такая красивая бабенка пропала, а онъ себѣ и въ усъ не дуетъ... Стыдился бы, братецъ... Ха-ха-ха!

Урядникъ смѣялся, а трое людей, стоявшихъ передъ хатой, съ очевиднымъ нетерпѣніемъ ожидали отвѣта Павла. Можетъ быть, онъ начнетъ бранить пропавшую жену или станетъ просить урядника разыскать ее во что бы то ни стало и наказать самымъ строгимъ образомъ. Но Павелъ молчалъ до тѣхъ поръ, пока урядникъ не пересталъ смѣяться, и потомъ отвѣтилъ спокойно и важно:

— Она не убѣжала, не утопилась, и никакіе разбойники ее не убили. Она пошла къ роднымъ...

— Эге! — вступился Данилка, — къ роднымъ пошла... неизвестно только, когда вернется!

Филиппъ пригравнулъ на брата, а Павелъ продолжалъ:

— Полиціи я не давалъ знать, и никогда давать знать не буду, потому что тутъ никакой полиціи не надо, — я для нея полиція.

Онъ поднялъ голову. Въ его голосъ слышалось раздраженіе.

— Ой, какой гордый, пхе! — разсердился въ свою очередь урядникъ и съ неудовольствіемъ прибавилъ:

— Такъ, значить, ты далъ ей позволеніе, а?

— Далъ, — не колеблясь ни на минуту отвѣтилъ Павелъ.

Данилка не могъ сдержаться и расхохотался во все горло.

— Ну, коли такъ, то здѣсь и дѣлать нечего! Пошелъ!

Бричка двинулась съ мѣста и вскорѣ скрылась за поворотомъ. Павелъ обернулся къ стоящимъ позади его людямъ. Его глаза свѣтились какъ раскаленные уголья.

— А вы языкъ держите покрѣпче на привязи, — съ гнѣвнымъ движеніемъ закричалъ онъ, — смиренъ я, смиренъ, а и меня разозлить можно... Что вамъ за дѣло, куда она пошла и когда вернется, скоро или нескоро? Если она и сдѣлала что-нибудь дурное, то мнѣ, а не вамъ. Вотъ что! А на самомъ-то дѣлѣ она и мнѣ ничего дурнаго не сдѣлала... Въ роднымъ пошла, съ моего позволенія пошла. Такъ вы и знайте. Зажмите ротъ и чтобы я никогда вашей болтовни не слыхалъ...

— Охъ, Павлуша, — жалобно заголосила Уляна, — видно, совсемъ ты насъ не любишь, коли такъ кричишь на насъ... А все это, — Уляна сильно понизила голосъ, — изъ-за этой шельмы, негодницы...

Услышавъ голосъ сестры, Павелъ немного смягчился.

— Не кричу я на васъ, — спокойно отвѣтилъ онъ, — а только прошу и приказываю не дѣлать того, что мнѣ не нравится. Я, вѣдь, вамъ ничего такого не дѣлаю... не дѣлайте и вы... А она къ роднымъ пошла, съ моего позволенія пошла, и скоро ли придетъ, не скоро ли, только мнѣ одному извѣстно. Вотъ вамъ мое послѣднее слово... помните же!

Онъ неторопливо переступилъ черезъ плетень и пошелъ по направленію къ своей хатѣ. Бозлюки тоже ушли домой. Павелъ оставался одинъ подъ кровомъ унылой, непогожей осенней ночи. Вотъ поднялся вѣтерокъ и зашелестилъ обнаженными вѣтвями деревьевъ. Тучи опускались все ниже и окутывали своимъ пологомъ всѣ ближайшіе предметы. Для жителей деревни начиналась самая скучная пора дня, потому что посидѣлки еще не начались.

Въ рощицѣ на кладбищѣ печально закричала сова; точно въ отвѣтъ ей скригнули чьи-то ворота, изъ густаго мрака выдѣлилась темная фигура и остановилась передъ Павломъ.

— Павелъ!—прошептала она.

— Что? Кто здѣсь?—испуганно спросилъ Павелъ, точно просыпаясь отъ глубокаго сна.

— Чего ты торчишь у хаты, словно часовой? Ночь теперь, — сколько ни гляди, ничего не увидишь. Иди въ хату, слышишь? Ну, иди же, а то люди подумаютъ, что ты съ ума спятилъ или на тебя нашло что-нибудь.

Фигура шептала тихо, хотя слова ея не заключали въ себѣ ничего таинственнаго, и, кромѣ того, на улицѣ не было никого, кто могъ бы подслушать ихъ. Такимъ голосомъ обыкновенно говорятъ люди у постели тяжело больныхъ или умирающихъ.

— Слышишь, Павелъ? иди въ хату. Что ты тутъ стоишь? Вотъ и дождь собирается.

Такая настойчивость начинала возмущать Павла.

— Что тебѣ нужно отъ меня, Авдотья? Чего ты пристала ко мнѣ?—сердито и также шепотомъ заговорилъ онъ.—Отстань, говорю тебѣ! Если захочу, такъ цѣлую ночь простою... не твое это дѣло!

— А вотъ и не простишь! Не дамъ я тебѣ пропадать ни за что, ни про что! Мало, видно, я больныхъ видала и на ноги ставила! И тебя поставлю!

Очевидно, положеніе, въ которомъ находился теперь Павелъ, она считала болѣзненнымъ. Еще утромъ, встрѣтившись съ нимъ на улицѣ, она окинула его пытливымъ взглядомъ и покачала головою.

— Иди въ хату, я тебѣ кое-что про Франку расскажу. Максимъ сегодня пріѣхалъ изъ города: говорить, видѣлъ ее. Если пойдешь въ хату, все расскажу, а не пойдешь, то и оставайся такъ, какъ скоть безчувственный или какъ дитя неразумное, своей пользы не понимающее.

Недаромъ говорила такъ Авдотья. Сколько разъ, когда, бывало, хворалъ ея сынъ Максимъ, а потомъ ея маленькіе внучата, она останавливалась надъ ними съ ложкой, наполненной горькимъ лѣкарствомъ, и повторяла: «если выпьешь лѣкарства, меду дамъ, а нѣтъ, то оставайся, какъ скоть безчувственный».

— Если пойдешь въ хату, о Франкѣ расскажу, а нѣтъ, то такъ и оставайся... Что мнѣ, цѣлую ночь, что ли, подъ дождемъ стоять?

Павелъ поправилъ фуражку на головѣ.

— Мнѣ нечего узнавать о ней...—проговорилъ онъ,—я самъ о ней все знаю... къ роднымъ пошла.

Онъ говорилъ теперь точно такъ же, какъ разговаривалъ недавно съ урядникомъ, — рѣзко и нетерпѣливо. Но теперь дѣлать ему больше ничего не оставалось, какъ идти въ хату. Авдотья, какъ тѣнь, слѣдовала за нимъ.

— У, какъ у тебя холодно! Дня три, должно быть, не топлено. Ъль ты сегодня что-нибудь или нѣтъ? Должно быть, ничего не ѡль, коли огня въ печкѣ не было. Ну, давай сѣрники! Сейчасъ я огонь разведу и ужинъ тебѣ сварю. Эхъ ты, старый дурень! Давай сѣрники! гдѣ они?

— Почему я знаю? Поищи сама, коли хочешь.

Павель грузно опустился на лавку у окна. Авдотья только ворчала, отыскивая спички, наконецъ, нашла, подожгла охапку щепокъ и бросила ихъ въ черную пасть печи.

Въ угрюмой комнатѣ замелькали живыя тѣни и старуха мало-по-малу разболталась:

— Вотъ тебѣ и огонь, и ужинъ я тебѣ приготовлю, и въ хатѣ тепло станетъ. Солонина-то есть у тебя, что ли? Галушки я тебѣ съ солониной сдѣлаю, а? Другое что-нибудь долго варить, а это въ одну минуту. Потомъ мы посидимъ съ тобой, потолкуемъ, а если хочешь, я и ночевать тутъ у тебя останусь... Все-таки, не одинъ будешь. Долго ты бобылемъ живѣ, да, все-таки, отвыгѣ, должно быть, за послѣднее время... Э! да ты думаешь, я этихъ вещей не знаю? Я все знаю... такъ-то! Когда *мой* умеръ, то сердце у меня такъ схватывало, что, кажется, останься я на минуту одна, такъ сейчасъ и померла бы. Да мнѣ некогда было одной оставаться, — дѣти умереть не дали... за дѣтьми смотрѣть нужно было... ну, и *подгрудникъ* пила. Я и тебѣ *подгрудника* принесу... это такая трава, что какъ напьешься ея, сразу на сердцѣ тебѣ легче станетъ. Завтра чѣмъ-свѣтъ затоплю тебѣ печку и побѣгу домой... Слава Богу, силы у меня хватить и съ двумя хозяйствами управиться. Доброму человеку въ горѣ помочь — развѣ это малое дѣло? Господь за это грѣхи отпустить, да и ты, когда оправившись, рыбки намъ принесешь...

Она готовилась было бросить въ печь новую охапку щепокъ, какъ вдругъ почувствовала, что кто-то схватилъ ее за руку.

— Не зажигай огонь! Ради Бога, не зажигай огонь! — проговорилъ у ней надъ самымъ ухомъ голосъ, проникнутый такимъ страданіемъ и отчаянною тоской, что Авдотья въ страхѣ оглянулась назадъ.

— Отчего? — спросила она и подняла пухъ горящихъ щепокъ къ наклонившемуся надъ ней лицу Павла. — А-а-а! на что ты похожъ! Поглядишь-ко въ зеркало... самъ себя испугаешься.

На лбу Павла образовались двѣ глубокихъ морщины, губы искривились въ судорогѣ, а широко открытые глаза неподвижно глядѣли куда-то, не видя ничего передъ собою.

— Не зажигай огня, — повторилъ онъ, — статься надо мной, не зажигай!

— Отчего? — сердито спросила Авдотья.

— Не спрашивай, сдѣлай милость великую, только не зажигай.

Павель помолчалъ съ минуту и потомъ съ усилиемъ проговорилъ:

— Мнѣ показалось, что это она стоитъ передъ печкой и огонь разводить.

Онъ вырвалъ изъ рукъ Авдотьи горящія щепки, бросилъ ихъ на землю и затопталъ ногами. Въ комнатѣ воцарился мракъ, среди котораго еле выдѣлялась еще болѣе темная фигура Авдотьи. Долго стояла она у печки, подперевъ рукою щеку. Должно быть, болѣзнь Павла гораздо серьезнѣе, чѣмъ она предполагала. Это, вѣрно, отъ наговора или отъ дурнаго глаза. Отъ наговора лучше всего *кочетниковъ* помогаетъ. Она подошла къ сидящему на лавкѣ Павлу и заговорила тихимъ голосомъ:

— А Максимъ объ ней вѣсть изъ города привезъ.

Павла совсѣмъ не было видно въ темнотѣ. Слышался только его голосъ, полный непреоборимаго упорства:

— Никакихъ мнѣ вѣстей о ней не нужно. Къ роднымъ она пошла, съ моего позволенія пошла.

Авдотья сѣла на другую лавку противъ окна.

— Послушай, Павель, ты или самъ дуришь, или людей добрыхъ дурачить хочешь. Чтѣ пустяки такіе болтать, коли всѣ знаютъ, что она не къ роднымъ пошла, а просто убѣжала отъ тебя? Съ лакеемъ тѣхъ господъ, что лѣтомъ во дворцѣ жили, убѣжала. Я сама не разъ и не два видѣла, какъ она бѣгала во дворецъ, а когда нельзя было, эту шельму, Марцелу, посылала. И лакея видѣла, какъ онъ по берегу прохаживался и ее дожидался. Въ черномъ сюртукѣ, завитой весь, какъ баранъ, надушенъ весь... Марцела говорить, что это духи и помада... чортъ его знаетъ. А та взяла, да и врѣзалась въ него. Бариномъ его Марцелѣ называла. Довольно, — говорить, — я на хамовъ насмотрѣлась, барина, — говорить, — хочу. Ужъ очень ей эти духи да помады понравились. Разъ во дворцѣ вечеринку они устроили въ кухнѣ, танцы, и она туда полетѣла. А въ это время ты цѣлую недѣлю на рѣкѣ пробылъ, рыбу ловилъ. Съ этой вечеринки она вернулась, какъ сумасшедшая, и долго одна въ хатѣ танцевала. «Охъ, Марцела! — гово-

рить, — какой онъ хорошенькій, какъ танцуетъ и какое у него обращеніе!» А потомъ, когда господа начали собираться въ городъ, она сначала опечалилась было, а потомъ опять развеселилась. Говорить Марцелъ, что лакей подбиваетъ ее возвратиться въ городъ и поступить на мѣсто; онъ будетъ ходить къ ней каждый день, водить ее на гулянья и на вечеринки. «Убѣгу, — говоритъ, — ей-Богу, убѣгу! Что я, въ неволю, что ли, себя запродала? Что мнѣ свѣтъ, что ли, не миль? Убѣгу!» И убѣжала! Чтобъ ей, мерзавкѣ, ни дна, ни покрывши!... А ты еще родныхъ какихъ-то выдумалъ. Думаешь, что людей одурачишь. Тутъ всякій ребенокъ знаетъ, что это за родные...

Она замолкла и съ нетерпѣніемъ ждала, что скажетъ Павелъ. Должно быть, начнетъ проѣливать Франку, жалѣть о своей неосторожности, что женился на такой... Долго пришлось ждать Авдотъѣ, прежде чѣмъ Павелъ проговорилъ хриплымъ голосомъ:

— А, вѣдь, поглялась!

Въ этихъ словахъ звучало только одно безконечное изумленіе. Авдотья не могла сдержаться и воскликнула громко:

— Да ты въ самомъ дѣлѣ, что ли, не зналъ ничего?

Павелъ ничего не отвѣчалъ; немного погодя, Авдотья снова заговорила. Рассказывала она, что вчера ея сынъ, Максимъ, возилъ въ городъ продавать овесъ и встрѣтился съ Франкой. Идетъ она подъ ручку съ какимъ-то кавалеромъ, — вѣроятно, съ тѣмъ самымъ лакеемъ. Увидала Максима, кивнула ему головою и говоритъ: «Ну, Максимъ, кланяйся всѣмъ въ деревнѣ и скажи, чтобъ они писали письма къ родителямъ». Зубы оскалила и пошла вслѣдъ за своимъ кавалеромъ. Максимъ только плюнулъ. «Охъ, матушка, — говоритъ потомъ, — такая меня охота разбирала хлестнуть ее кнутомъ по плечамъ, да боялся, чтобъ въ полицію не забрали».

Вотъ теперь Павелъ непременно заговорить, непременно начнетъ бранить Франку самыми несносными словами. Но Павелъ опять повторилъ то же самое:

— А, вѣдь, поглялась!

— Попъ свое, а чортъ свое! — разсердилась Авдотья. — Что ему ни вбивай въ голову, а онъ только удивляется. И чего ты глаза безъ толку таращишь?

Въ комнатѣ воцарилось мертвое молчаніе.

— Ты, Павелъ, и руками, и ногами перекреститься долженъ, что избавился отъ этой шельмы и опять можешь жить попрежнему. Чего тебѣ недостаетъ? Хата у тебя есть, деньжонки водятся, съ сосѣдями живешь въ ладу. Чего горевать и убиваться? Охъ!

хоть бы всёми добрымъ людямъ такъ хорошо было жить на свѣтѣ, еслибъ ты такимъ дурнемъ не былъ. Живи по-Божьему, въ мирѣ да согласіи съ добрыми людьми, а на свое горе плюнь.

Не знала Авдотья того, что есть на свѣтѣ люди съ душою на столько глубокою, что разъ любовь запала въ нихъ, то не вырвешь ее никакими средствами. Сердце болитъ и ноетъ отъ нанесенной глубокой раны, а уста не могутъ раскрыться и выговорить слова осужденія, потому что надъ всёми чувствами преобладаетъ чувство жалости къ тому, на кого должно пасть это слово. Какъ обвинять того, кому обязанъ самыми лучшими, самыми радостными мечтами своей жизни, проклинать ту душу, за которую готовъ и радъ пожертвовать своею душой, съ горькою усмѣшкой презрѣнія вспоминать о тѣхъ дняхъ, когда для насъ, и только для однихъ насъ, такъ ярко сіяло солнце, птицы распѣвали самыя веселыя пѣсни, цвѣты разливали лучшія благоуханія? Все это могло быть сномъ, заблужденіемъ, маревомъ, проблескомъ молніи, послѣ котораго воцарился густой, непроглядный мракъ, но вины въ томъ нѣтъ ничьей, а если и есть чья-нибудь, то скорѣе наша, но не того существа, котораго нашъ языкъ не согласится обвинять ни за какія блага міра. Бываютъ такія натуры, но Авдотья, несмотря на весь свой жизненный опытъ, ничего не знала о нихъ. Не зналъ и Павелъ того, что составляетъ сущность его натуры; онъ чувствовалъ только, что если бы его подвергли самымъ страшнымъ мукамъ, если бы передъ нимъ предсталъ ангелъ Божій и заставлялъ бы его говорить, онъ не сказалъ бы о Франкѣ ничего дурнаго, ни въ чемъ не обвинилъ бы ее, не просилъ бы отомстить ей за свои разрушенныя надежды.

— А знаешь, кума?—заговорилъ онъ послѣ долгаго молчанія,— во всемъ, что случилось, я виноватъ, никто, какъ я... Первое: рѣдко отгонялъ я отъ нея чорта святою молитвой; второе, когда, увидалъ ея взбалмошность и узналъ о томъ лакеѣ, не пересталъ выходить изъ хаты. Нужно было получше стеречь ее, побольше учить страху Божьему... съ глазъ не спускать... она бы и осталась, а теперь пропала по моей винѣ... и себя я сгубилъ, и ее... скорѣе ужъ она меня обвинять можетъ, чѣмъ я ее...

Авдотья, которая при первыхъ словахъ Павла жадно насторожила уши, вскорѣ разочаровалась и пробормотала себѣ подъ носъ:

— Одурѣлъ! совсѣмъ одурѣлъ!

Она встала съ лавки и проговорила вслухъ, полушутливо, полусердито:

— Ну, сегодня съ тобой пива не сваринь. Ложись-ка лучше

спать. Можеть быть, какъ проспишься, Господь Богъ возвратитъ тебѣ разумъ. А я здѣсь съ тобой переночую. Хотя ты и одурѣлъ, а мнѣ, все-таки, тебя жаль. Какъ тебя одного-то оставить?

Она перекрестилась, положила подъ голову свою ватную кофту и улеглась на лавкѣ. Со двора доходилъ унылый крикъ совы да стукъ дождя. Къ этимъ звукамъ примѣшивался еще одинъ. То былъ человѣческій голосъ.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Отче нашъ, иже еси на небесѣхъ...—горячо вырывалось изъ измученной груди Павла. Онъ сильно ударялъ себя въ грудь. «Боже, милостивъ буди ей грѣшной! Боже, милостивъ буди ей грѣшной!» Обыкновенно Павелъ кончалъ свою молитву словами: «Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшному», а теперь...

На другой день, проснувшись раннимъ утромъ, Авдотья увидала сквозь отворенную дверь, что Павелъ въ сѣняхъ занятъ какою-то работой. Онъ стоялъ на колѣняхъ и что-то мѣсилъ на глиняномъ полу. Авдотья встала съ лавки и заглянула въ дверь. Да, Павелъ мѣшаетъ съ глиной надѣманскихъ мотыльковъ (такъ называемую *ящичу*) и лѣпитъ изъ нихъ большіе шары. Авдотья очень хорошо знаетъ, для чего это дѣлается. Шары всплываютъ на поверхность воды, глина осѣдаетъ внизъ, а бабочки остаются наверху и служатъ приманкой для рыбы.

— Рыбу ловить поѣдешь? — немного удивилась добродушная старушка.

— Да, поѣду; сегодня, должно быть, уловъ будетъ хорошій.

Авдотья пошла въ хату и растопила печь. На этотъ разъ Павелъ не сказалъ ей ни слова, и черезъ нѣсколько минутъ молча сѣлъ за столъ и отрѣзалъ себѣ ломоть хлѣба. Теперь онъ казался такимъ же, какъ и прежде, только щеки его немного ввалились, да подъ глазами образовались темносиніе круги. Также молча сѣлъ онъ миску похлебки, всталъ съ мѣста, взвалилъ себѣ на плечи мѣшокъ съ глиняными шарами и подошелъ къ Авдотѣ.

— Спасибо, кума, за дружбу и за все... спасибо. Да наградить тебя Богъ.

Павелъ говорилъ тихо, но ласково, и протянулъ Авдотѣ свою заскорузлую руку. Старуха расчувствовалась и еле сдерживалась, чтобъ не расплакаться.

— Нѣ за что, нѣ за что...—торопливо отвѣтила она.—Слава Богу, что Господь возвратилъ тебѣ разумъ.

Она вышла изъ хаты посмотреть, какъ Павелъ будетъ спускаться къ рѣкѣ. Босыя ея ноги по щиполку увязли въ гризи, а мор-

щенистая рука судорожно крестила вслѣдъ уходящему. Давно уже знала она его, нянчила на своихъ рукахъ, видѣла, какъ онъ растетъ и мужаетъ на ея глазахъ, и привыкла считать его за хорошаго, добраго человѣка. Определить свои чувства къ нему она не могла, да и не пыталась, точно также какъ Павелъ не могъ бы определить, какъ глубоко уязвлено его сердце при видѣ его попорченной любви и разрушенныхъ надеждъ. Такія чувства, не опредѣлимые, не называемые по имени, выпадаютъ на долю незамѣтныхъ, мелкихъ людей; но какъ бы мало эти люди ни говорили, чувствовать они могутъ, какъ и всѣ другіе.

Но, что бы ни творилось въ сердцѣ Павла, онъ жилъ попрежнему и держалъ себя такъ же, какъ и прежде. Только щеки его осунулись, въ головѣ прибавилось больше сѣдыхъ волосъ, да блескъ, который иногда вспыхивалъ въ его голубыхъ глазахъ, угасъ навсегда. Теперь онъ уже не казался моложе своихъ лѣтъ, хотя работалъ такъ же, какъ и прежде, — даже больше: когда можно — на рѣкѣ, когда нельзя — въ полѣ и около хаты.

Своего поля у него не было, но когда на Нѣманѣ однажды разыгралась буря, о ловлѣ и думать было нечего, Павелъ пошелъ къ зятю и спросилъ, все ли поле у него вспахано. Филиппъ признался, что не успѣлъ еще приготовить двухъ десятинъ, — за паромомъ такъ много хлопотъ, а Данилка еще неспособенъ къ полевой работѣ. Павелъ молча запрягъ лошадь и пошелъ пахать поле. Теперь ему нужно было какое-нибудь занятіе, безъ дѣла ему становилось тошно. Но случались дни, когда и дѣла никакого подыскать невозможно, — ни на рѣкѣ, ни въ полѣ. Тогда Павелъ выходилъ на дорогу, съ которой въ первое время по уходѣ Франки долго не спускалъ глазъ, и шелъ, не зная куда и зачѣмъ идетъ, до тѣхъ поръ, пока на землю не спускались сумерки.

Въ одинъ изъ такихъ дней Павелъ возвратился домой, зажегъ лампу и вынулъ изъ печки горшокъ съ похлебкой, которую приготовилъ еще утромъ. Сермяга его промокла насквозь, но онъ не снималъ ее. Усѣвшись на лавкѣ и машинально черпая ложкой въ мискѣ, онъ не сводилъ глазъ съ огня, въ которое угрюмо глядѣла непроглядная тьма ноябрьской ночи. Казалось, Павелъ въ первый разъ видитъ такую тьму и пытливо вглядывается въ нее, вслушивается въ завываніе вѣтра и стукъ дождя въ оконную раму.

Долго сидѣлъ Павелъ, затѣмъ собралъ остатки своей скудной трапезы и принялся чинить сѣть. Стальная игла быстро мелькала въ его привычныхъ рукахъ, петли ложились одна рядомъ съ другою правильными, ровными ячейками. Все тихо кругомъ, если бы

только не тѣ голоса, которые не перестаютъ вѣчно слышаться въ человѣческой душѣ, несмотря на то, шумомъ или мертвою тишиной окруженъ онъ въ данную минуту. Эти голоса не мѣшаютъ течью жизни своимъ обычнымъ русломъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, ни мало не зависятъ отъ жизни, нисколько не настраиваются по ея камертону. И Павелъ, несмотря на то, что весь углубился въ свою работу, вдругъ поднявъ голову и напрягъ слухъ... Нѣтъ, это лаетъ желтый кудлатый Курта на дворѣ Козлюка. На кого онъ можетъ лаять въ такую позднюю ночную пору? Вслѣдъ за его лаемъ не послышатся ли у ограды легкіе, несмѣлые шаги человѣка, не рѣшающагося подойти сюда поближе? Нѣтъ, Курта гавкнулъ нѣсколько разъ и замолкъ, а шаговъ не слышно. Иголка опять замелькала въ рукахъ Павла. Вонъ въ углу завозились мыши. Павелъ обернулся и увидалъ, какъ вдоль стѣны быстро-быстро промелькнулъ маленькій звѣрокъ съ черными, точно бисеринки, глазками.

— Вотъ глупая тварь!—усмѣхнулся Павелъ.—Чего она боится? Пришла бы ко мнѣ, я бы ей хлѣба накрошилъ.

Въ сѣняхъ скрипнуло,—это, вѣрно, дверь скрипнула. Павелъ снова насторожилъ уши. Можетъ быть, кто-нибудь вошелъ въ сѣни и боится дотронуться до щеколды, дрожа отъ холода и страха? Онъ всталъ, положилъ на столъ сѣть и иголку и съ лампой въ рукахъ вышелъ изъ горницы. Огонь лампы освѣтилъ всѣ сѣни, лѣстницу, приставленную къ стѣнѣ, ведро съ водой, боченокъ съ квашеною капустой. Нѣтъ ничего. Вѣроятно, Павелъ, возвращаясь домой, не плотно прикрылъ дверь, а теперь вѣтеръ распахнулъ ее настежь. А, можетъ быть, и не вѣтеръ? Можетъ быть, кто-нибудь хотѣлъ войти въ хату, но испугался недружелюбнаго приѣма, и теперь стоитъ гдѣ-нибудь, сиротливо съѣжившись подъ навѣсомъ? Павелъ поставилъ лампу на боченокъ и медленно обошелъ всю хату кругомъ, зорко всматриваясь въ темноту. Нигдѣ ни души человѣческой, только старый Курта подбѣжалъ къ нему и ласково лизнулъ его руку. Павелъ вернулся домой и принялся было за работу, какъ вдругъ замѣтилъ, что собака прокралась за нимъ въ комнату и теперь глядитъ на него своими умными, умоляющими глазами.

— Бѣдняга ты!—вздыхнулъ Павелъ, отрѣзалъ кусокъ хлѣба, далъ собакѣ и ласковымъ, хотя и рѣшительнымъ голосомъ приказалъ ей выйти изъ хаты.—Бѣдное животное! Холодно ему на вѣтру, подъ дождемъ, да что-жь дѣлать? Нужно кому-нибудь стеречь сарай и хлѣва отъ злаго человѣка. У всякой твари свое горе и свои невзгоды. Отчего это такъ? Кто его знаетъ!...

Павель надолго задумался надъ этимъ вопросомъ, — задумался надъ странною, неразрѣшимою загадкою страданія всего свѣта, только не умѣлъ ни опредѣлить ее какъ слѣдуетъ, ни назвать по имени.

Во всѣ непогожія ночи лампа Павла горѣла на узенькомъ подоконникѣ его окошка. Издали, съ пустаго поля, съ размокшихъ дорогъ, огонь лампы долженъ былъ казаться слабымъ, тусклымъ починкомъ. Видали его только парни и дѣвки, собирающіеся на вечеринки къ Бозлюкамъ, но вниманія не обращали никакого. Судьба Павла перестала интересовать всѣхъ, въ особенности съ той минуты, какъ онъ зажилъ своею прежнею, спокойною жизнью. Даже Филиппъ и Уяна рѣдко заглядывали къ нему. Только Данилка иногда подкрадывался къ его окошку и потомъ хохоча сообщалъ всѣмъ собравшимся, что *старикъ* сидитъ и читаетъ.

— Ей-Богу, читаетъ! — повторялъ онъ, ударяя себя, для болѣе убѣдительности, кулакомъ въ грудь, — книжку читаетъ!

Но и это обстоятельство никого не занимало, — во всей деревнѣ давно уже знали, что Павла жена учила читать.

Какимъ же образомъ Павель опять засѣлъ за книжку?

Дѣло было такъ. Однажды, возвратившись домой послѣ неудачной ловли, онъ тяжело опустился на лавку и машинально началъ оглядывать давно знакомую обстановку своей хаты. Вотъ за этими ивовыми корзинами больше всего возятся по вечерамъ мыши, вонъ стоитъ пустой сундучокъ Франки, вонъ красный шкафъ... и глаза Павла надолго остановились на немъ. На шкафѣ лежала книжка въ истрепанномъ, полинявшемъ переплетѣ. Лежала она между лампой и самоваромъ, на томъ самомъ мѣстѣ, куда ее положила Франка, въ послѣдній разъ придя домой изъ костѣла. Прошло три мѣсяца съ той поры, какъ Павель не засталъ ее дома, прождалъ до поздней ночи и, только увидавъ ее раскрытый, пустой сундукъ, понялъ, что она ушла. Франка ничего не взяла изъ собственности мужа, пальцемъ ни до чего не дотронулась, но свои вещи забрала всѣ до послѣдняго лохмота, до послѣдней поломанной пуговицы. Одну только вещь она не взяла съ собою — книжку... Какимъ образомъ Павель до сихъ поръ могъ не замѣтить ее? Азбуку онъ выучилъ давно, но самый процессъ чтенія, попрежнему, казался ему дѣломъ до крайности труднымъ.

Долго Павель сидѣлъ, не спуская взора съ книжки, затѣмъ взялъ ее въ руки, сѣлъ на лавку, поближе къ окошку, и отгнулъ доску переплета. Большія буквы запрыгали передъ его глазами, слагаясь въ прихотливые, недоступные для пониманія узоры. Па-

ведь не видалъ ихъ больше трехъ мѣсяцевъ, отвыкъ... Когда-то онъ было начиналъ уже понимать кое-что, а теперь, кажется, опять позабылъ. Попробовать развѣ?... Прошли двѣ минуты, прежде чѣмъ Павелъ могъ вспомнить первую букву.

— С...—протянулъ онъ. Но потомъ дѣло пошло на ладъ.— Служба... служба...—Павелъ самодовольно улыбнулся и продолжалъ:—Гос... Господня... или... или...

Такимъ образомъ онъ разобралъ всю заглавную страницу книжки, вплоть до года ея изданія,—цифры для него были совершенно незнакомы. Дѣлать нечего, пришлось перевернуть страницу и приступить разбирать слѣдующую.

— Годъ... за... кю... ча... еть... годъ...

Съ отчаянными усиліями, впиваясь глазами въ каждую букву, Павелъ, наконецъ, осилилъ двѣ первыя строчки и прочиталъ:

— Годъ заключаетъ въ себѣ двѣнадцать мѣсяцевъ, пятьдесятъ двѣ недѣли...

Онъ давно зналъ, что въ году двѣнадцать мѣсяцевъ, пятьдесятъ двѣ недѣли, тѣмъ не менѣе, это свѣдѣніе, вычитанное имъ изъ книжки, привело его въ восторгъ. Ему сдѣлалось жарко, онъ чувствовалъ себя утомленнымъ гораздо больше, чѣмъ послѣ самой тяжелой работы. За окномъ уже слышалось пѣніе пѣтуховъ,—значитъ, приобрѣтеніе свѣдѣнія, что годъ заключаетъ въ себѣ двѣнадцать мѣсяцевъ и пятьдесятъ двѣ недѣли, стоило Павлу цѣлаго длиннаго зимняго вечера.

За этимъ вечеромъ слѣдовалъ цѣлый рядъ такихъ же вечеровъ. Павелъ прочиталъ уже все о праздникахъ, о постахъ, объ обязанностяхъ христіанина къ Богу, ближнимъ и самому себѣ. Однажды онъ собрался было приступить къ главѣ, трактующей о св. Тайнахъ, когда къ нему пришла Авдотья. На дворѣ стоялъ конецъ декабря. Прочитавъ въ теченіе шести недѣль восемь страницъ, Павелъ начиналъ уже читать, не прибѣгая къ складамъ. Онъ хорошо помнилъ, какъ, бывало, взбѣшенная до крайности Франка кричала надъ его ухомъ: «Читай безъ складовъ, дуракъ! безъ складовъ читай!» А когда Павелъ, несмотря на все свое желаніе, не могъ исполнить этого приказа, Франка вырывала изъ его рукъ книжку и съ чувствомъ своего превосходства, которое пересиливало въ ней даже раздраженіе, показывала, что такое значитъ читать безъ складовъ.

Авдотья была въ горѣ; внуки ея все хворали, одинъ умеръ недавно, младшаго сына въ солдаты взяли...

Павелъ старался ее утѣшить, говорилъ, что жизнь и смерть зависятъ отъ Бога, что безъ Его воли ни одинъ волосъ не спадеть

съ головы человѣка. Мало-по-малу Авдотья начинала успокоиваться, наконецъ, утерла глаза концомъ платка и таинственно спросила:

— Ну, а о той... ничего не слыхалъ?

Въ ея еще не обсохшихъ глазахъ свѣтилось любопытство. Она давно не видала Павла, — можетъ быть, въ его жизни произошло что-нибудь особенное.

Павель долго молчалъ, а затѣмъ медленно отвѣтилъ:

— Ничего я объ ней не слыхалъ, ничего не знаю. Господь только одинъ знаетъ, что съ нею дѣлается... гдѣ она...

Онъ опять смолкъ.

— Охъ, бѣдная, несчастная! Снова на бродяжную жизнь пошла, на горе да на людское издѣвательство!... А я-то думалъ, что спасъ ее отъ гибели, и въ сей жизни, и въ будущей спасъ. Нѣтъ, сама не захотѣла, не выдержала. Чистая пьяница, хоть водки и въ ротъ не беретъ. Бѣдная она, несчастная!

Онъ махнулъ рукою.

— Никакого ни грѣва, ни злобы противъ нея я не имѣю. Себя обвиняю, не ее. Видно, иначе нужно было поступать съ ней.

— Да, конечно, иначе, конечно... — горячо замѣтила Авдотья. — Воли ты ей много далъ, работать не заставлялъ... въ постелькѣ, бывало, до полудня валяется...

— Еслибъ она возвратилась, — задумчиво продолжалъ Павель, не обращая вниманія на слова Авдотьи, — тогда бы я иначе...

— Зачѣмъ ей возвращаться? Не возвратится... Марцела изъ города пришла, говоритъ — ее тамъ давно нѣтъ. Должно быть, за своимъ лакеемъ потащилась.

Глаза Павла свергнули было, но онъ опустилъ голову и промолчалъ.

Авдотья просидѣла нѣсколько минутъ и ушла.

На дворѣ свирѣпѣла вьюга и завывала на тысячу голосовъ.

Павель загасилъ лампу, легъ спать, но долго ворочался съ боку на бокъ. Сонъ бѣжалъ отъ его глазъ, и въ голову приходили незванныя-непрощенныя мысли. Долго еще слышался его шепотъ, болѣе похожій на стонъ:

— Боже, милостивъ буди ей грѣшной! Боже, милостивъ буди ей грѣшной!

В. Л.

(Продолженіе слѣдуетъ).

ГАРДЕНИНЫ, ИХЪ ДВОРНЯ, ПРИВЕРЖЕНЦЫ И ВРАГИ *)

(Романъ).

II.

Вотчина господъ Гардениныхъ. — Обходъ Капитана Аверьянча. — Варооломеичева вожжа. — „Кроликъ“. — Какъ разбирались подначальные люди въ настроеніи конюшаго. — Любимецъ Ѳадей. — Дѣти „Волшебницы“. — Коннозаводскіе мечты и идеалы. — „Любезный“. — Ѳедоткинъ случай.

Сельцо Анненское, Гарденино тожь, было въ началѣ семидеся-
тыхъ годовъ необыкновеннымъ захолустьемъ. До одной желѣзной
дороги считалось отъ него версть восемьдесятъ, да и та недавно
выстроилась. Другую же, верстахъ въ тридцати, только что стро-
или. Почта доходила въ Гарденино какими-то неимовѣрными зиг-
загами. О томъ, что дѣлалось на бѣломъ свѣтѣ, знали тамъ смут-
но и гадательно. Правда, какъ только подрались пруссаки съ ав-
стрійцами, въ контору, по распоряженію барыни, выписывался
Сынъ Отечества, но читался онъ плохо и, такъ сказать, больше
по обязанности: чтобъ не пропадали барскія деньги. Выписывался
еще *Журналъ Коннозаводства*. Вещь маловѣроятная, но въ Гар-
денинѣ не представляли себѣ отчетливо, что такое земство, глас-
ный судъ, телеграфъ, желѣзная дорога, банкъ. Что касается «гу-
берніи», то она представлялась гарденинскимъ обитателямъ въ ка-
комъ-то загадочномъ туманѣ. Разумѣется, самый городъ знали, и
не только тотъ, но и ближайшій уѣздный, затѣмъ — Бозловъ, Елецъ
и даже Тамбовъ. Но знали въ этихъ городахъ нѣкоторыя зданія,
нѣкоторыя улицы и затѣмъ немногихъ людей, съ которыми прихо-
дилось вести дѣла: лошадиныхъ барышниковъ, хлѣбниковъ, прасо-
ловъ. Ничего другаго, никакихъ общественныхъ, увеселительныхъ,

*) *Русская Мысль*, кн. IV.

административныхъ, городскихъ и земскихъ учрежденій не знали, исключая до нѣкоторой степени одного «управителя». Затѣмъ, несмотря на то, что въ конторѣ получался *Сынъ Отечества*, предпочитали имѣть о событіяхъ «живыя» свѣдѣнія. Именно эти свѣдѣнія, начиная отъ самыхъ достовѣрныхъ и кончая самыми фантастическими, служили тою связью, посредствомъ которой Гарденино сплеталось съ уѣздомъ, съ губерніей, съ Россіей и, наконецъ, со всѣмъ міромъ. Понятно, что достовѣрность уменьшалась сообразно съ лѣстницей этихъ величинъ, хотя и не во всемъ. Такъ, напримѣръ, кое-что о происшедшемъ въ Парижѣ или въ Петербургѣ знали лучше и достовѣрнѣе, чѣмъ о томъ, что произошло въ своемъ уѣздномъ городѣ. Знали, напримѣръ, что на всемірной выставкѣ императоръ Наполеонъ купилъ лошадей такого-то русскаго завода и заплатилъ столько-то; что тамъ же русскій жеребецъ «Бедуинъ» прошелъ трехверстную дистанцію въ столько-то минутъ и осрамилъ американскихъ и англійскихъ рысаковъ; что въ Петербургѣ въ запряжкѣ императрицы появились темносѣрыя лошади и потому цѣна на темносѣрыхъ лошадяхъ поднялась; что кобыла завода Стаховича опять взяла призъ на Невѣ; что рожь, вмѣсто Москвы, пошла на Кенигсбергъ и Либаву; что министромъ будетъ назначенъ тогда-то такой-то, потому что его сестра сама говорила объ этомъ барынѣ и барыня распорядилась, чтобы «заѣздить» пару сѣрыхъ для своего брата, который въ «генералахъ» у новаго министра; что въ Россіи скоро введутъ «ландверъ», ибо барынѣ уже посовѣтовали «ихніе знакомые» и Рафаила Константиныча пустить «по военной». Затѣмъ, все, что не сопривасалось съ непосредственными интересами Гарденина, представлялось либо въ фантастическихъ, либо въ какихъ-то смутныхъ очертаніяхъ: Ташкентъ, генералъ Черняевъ, драка пруссаковъ съ австріяцами и французовъ съ пруссаками, и т. д., и т. д. Все это, конечно, говорится объ усадьбѣ и о главныхъ лицахъ двора, — деревня и дворовая мелкота сюда не входятъ, ибо у нихъ были интересы ужъ совсѣмъ особенные.

Мѣсто въ Гарденинѣ было живописное и привольное, хотя и не такое командующее, какъ барскія усадьбы на берегахъ Дона, Воронежя, Битюка и другихъ тамошнихъ рѣкъ. Тѣ усадьбы сидятъ на мѣстахъ холмистыхъ, крутыхъ, видны за много верстъ, точно онѣ съ гордостью озираются на смиренныя села и деревни, распростертыя у ихъ подножія, на кроткія и покорныя равнины, уходящія въ даль... Гарденино же забралось въ самую степную глушь и притаилось тамъ безъ излишней высококомѣрности и безъ особенно вы-

зывающей красоты. И не одно Гарденино. Тихая степная рѣчонка Гнилуша на протяженіи пятидесяти верстѣ течетъ вдоль глубокой лоцины и впадаетъ въ густо-заросшій камышомъ заливъ Витюка. Тамъ, гдѣ не беспокоили эту рѣчонку и не преграждали ей путь, она текла себѣ узенькою полоской, скромно пряталась въ камышахъ, исчезала въ заросляхъ тальника и осинника, скоплялась въ неподвижные плесы, гдѣ было поглубже и поспокойнѣе. Пустынно было на ея берегахъ, поросшихъ мелкою и мягкою травкой, конскимъ щавелемъ и одуванчиками. Ничего живаго и посторонняго. Только проплачетъ чибеска, коснувшись изогнутымъ крыломъ невозмутимой поверхности плеса, прогудитъ унылая вышь; пронзительно свистнетъ сурогъ на ближнемъ холмикѣ—и опять глубокая тишина.

Но въ трехъ или четырехъ мѣстахъ, тамъ, гдѣ крутая лоцина раздавалась и береговые склоны были отлоги, еще съ прошлаго столѣтія «осѣли» господа, переселили крестьянъ изъ другихъ губерній, перехватили рѣчонку, заставили ее бѣжать по скрыни и двигать мельничными колесами, развели на пустынныхъ берегахъ сады, настроили каменныхъ и деревянныхъ зданій. И жалкая рѣчонка превращалась тамъ въ свѣтлые и широкіе пруды. Въмѣсто одного только неба, да вѣчно трепещущаго осинника, да высокаго и стройнаго, какъ стрѣла, конскаго щавеля и мохнатыхъ кистей камыша, отражались въ ней ярко-выбѣленные постройки, ярко-зеленныя и красныя крыши, узорчатая ограда, толстыя ветлы на плотинѣ, садъ и роци, — густые клены, душистыя липы, сверкающія веселымъ серебромъ березы. Тамъ и сямъ на прудахъ плавали гуси и утки, оглашая воздухъ криканьемъ и нестерпимо-шумнымъ гоготаньемъ. Мельница содрогалась отъ тяжелыхъ поворотовъ колесъ и торопливой работы жернова... Посуетившись на мельницѣ, рѣчонка, какъ сумасшедшая, спадала внизъ подъ колеса, бурлила и шумѣла тамъ, вырывая въ гнѣвѣ глубокой омутъ, потомъ мало-по-малу успокоивалась, съ звенящимъ лепетомъ пробѣгала мимо ветляка, засѣвшаго за мельницей на влажной и низкой почвѣ, мимо деревенскихъ огородовъ и конопляниковъ, и, достигая полей, снова превращалась въ смирную и лѣнливую рѣчку, еле двигающую свои воды. И опять плакала надъ ней чибеска, шумѣлъ камышь да стонала вышь, уныло нарушая важную и задумчивую степную тишину.

Вотъ на берегахъ одного изъ такихъ широкихъ и свѣтлыхъ прудовъ, —самаго широкаго по теченію Гнилуши, —и раскинулось Гарденино. На лѣвой сторонѣ—«красный дворъ», на правой—че-

резь шютину—«экономія». «Красный дворъ» совсѣмъ походилъ на городокъ. Съ трехъ сторонъ тянулись огромныя канюшни—заводская, рыскастая, полугривная, маточная, холостая, каретная, рабочая, два жеребятника, манежъ, каретный сарай; потомъ—кладовыя, ледники, кухня, прачечная и бывшая трапезная, а теперь флигелекъ экономки Фелицаты Никаноровны. Замыкая дворъ со стороны сада, возвышался барскій домъ съ мезониномъ, съ балконами, выходящими на прудъ, окруженный цвѣтниками и густыми кустами сирени. За домомъ и позади одной стороны двора развѣтывался десятинахъ на пятнадцати столѣтній садъ. Весь дворъ былъ обнесенъ каменною узорчатою оградой. Да и вообще все на «красномъ дворѣ» было каменное; выбѣленное и покрытое желѣзомъ. Рядомъ съ дворомъ черезъ широкую дорогу тянулись опять-таки каменные, но уже съ тесовою и камышевою крышею, флигеля для служащихъ. Тутъ были: застольная, контора, шорня, мастерская, тутъ жили наѣзники, кучера, семейные конюхи, ключники, кузнецы, шорникъ, волесникъ, поварь Лукичъ, лакей Степанъ, конторщикъ Агей Данилычъ, конюшій Капитонъ Аверьянычъ и, наконецъ, въ особомъ домикѣ, самъ «управитель» Мартинъ Лукьянычъ Рахманный. Внизу, надъ самымъ обрывомъ рѣчки, сердито вытекающей изъ-подъ мельницы, тѣснились невидные съ «краснаго двора» и, по правдѣ сказать, пребезобразныя клѣтушки, хлѣвы и погреба семейной дворни, покрытые гнилою соломой, обваленные навозомъ, покосившіеся, съ таинственными выходами и переходами. Для ясности послѣдующаго разсказа надо замѣтить, что у всей этой дворни тамъ, за рѣкою, близъ деревни была «даренка»—по пяти сажень земли на каждую семью; у нѣкоторыхъ изъ дворни были тамъ и собственные избы, какъ, на примѣръ, у столяра Ивана Федотыча; но какъ-то такъ повелось, что почти всѣ остались жить въ барскихъ флигеляхъ, потому что остались каждый на своей должности и, попрежнему, получали «мѣщину» съ прибавкой небольшого жалованья, что и обозначало вѣсть съ совершеннымъ освобожденіемъ отъ розогъ, что они ужъ больше не крѣпостные, а вольные.

На другой сторонѣ пруда просторно раскинулись кашары, варки, овины, амбары, рига и, наконецъ, гумно, обнесенное глубокою канавой съ ветлами. На этомъ гумнѣ къ августу мѣсяцу скоплялось болѣе сотни огромныхъ скирдовъ разнаго хлѣба, который затѣмъ и молотился вплоть до марта мѣсяца.

Широко расположился отставной бригадиръ Юрій Гарденинъ, основавшій въ 1768 году сельцо Анненское на пожалованной зем-

лѣ и переселившій сюда изъ орловской своей вотчины сто двѣнадцать душъ мужскаго и женскаго пола, — такъ широко, что деревни, теперь ужъ въ 74 двора и 310 ревизскихъ душъ, приютившись внизъ по теченію Гнилуши, занимаетъ мѣсто чуть не вдвое меньше господской усадьбы и жметъ себѣ, охваченная съ двухъ сторонъ господскимъ выгономъ, господскою рощей и господскими полями.

Раннее мартовское утро. Въ длинныхъ и широкихъ корридорахъ «рысистойа отдѣленія» торопливо ходятъ люди съ охапками сѣна, съ желѣзными гарницами и ведрами. Двери теплыхъ и сильно пахнущихъ навозомъ «денниковъ» растворяются, слышится ласковое и нетерпѣливое ржаніе, сухой шелестъ сѣна, плескъ воды, равномерное смурьганье скребницъ и щетокъ, гремитъ желѣзо объ ясли, раздаются сердитый, охрипшій со сна голосъ: «Ну, дьяволъ, куда лѣзешь!»

Въ томъ концѣ корридора, гдѣ въ тусклое запыленное окно пробивается косою, ярко-розовый свѣтъ восходящаго солнца, сидитъ на ларѣ съ овсомъ маленькій и кругленькій человѣчекъ въ голубомъ сюртукѣ старомоднаго покроя съ буфами и низкою таліей. Онъ сидитъ на корточкахъ, не спѣша покуриваетъ изогнутую пѣнковую трубочку и поплевываетъ сивозъ зубы. Конюхи, одинъ за другимъ, подходятъ къ ларю, зачерпываютъ овесъ и разносятъ по денникамъ.

Вдругъ голубой сюртукъ изъясняетъ волненіе и озабоченно спрашиваетъ:

— Фодоть, Фодоть! ты, тово... Бролику, что ли?

— Бролику, Онисимъ Вареоломеичъ.

— А вотъ, тово, подожди... Подожди, братъ, тутъ дѣло не совѣмъ... Эй ты, братъ Фодоть! Надо, братъ, все по порядку, — и онъ съ живостью спрыгиваетъ съ ларя, нагибается и что-то быстро, съ таинственнымъ видомъ, бормочетъ надъ гарнцемъ. Круглолицый, румяный Фодотка, съ бѣлымъ пушкомъ на верхней губѣ, едва перемогаетъ смѣхъ. Наконецъ, Онисимъ Вареоломеичъ облегченно вздыхаетъ и выпрямляется. — Ну, неси, братъ. Теперь неси, — говоритъ онъ, хитро подмигивая Фодоткѣ, — теперь, братъ, тово... посодѣйствуетъ! — и только хочетъ опять влѣзть на ларь, какъ вдругъ оглядывается въ темную глубину корридора, торопливо засовываетъ въ карманъ трубочку и, отбѣгая отъ ларя, кричитъ несвойственнымъ ему грознымъ и дѣловымъ тономъ на того конюха, который въ эту минуту опять изругалъ лошадь «дьяволомъ»: — Эй, чего невѣжничаетъ... тово! Чего чертыхаешься, мужланъ?... Ужели не понимаешь, какъ съ лошадей обращаться?

Въ темной глубинѣ корридора, лицомъ къ свѣту, обозначилась странная фигура. Круглые, съ мѣдный пятакъ глаза сверкали, какъ у филина; межъ этихъ огненныхъ глазъ выступалъ носъ съ необычайно длиннымъ клювомъ; вдоль туловища въ два ряда отсвѣчивали какія-то блестящія пятна... Чудовище стояло неподвижно и не сводило своихъ круглыхъ глазъ съ растеряшагося Онисима Вареоломеича. Онисимъ Вареоломеичъ бросался, какъ угорѣлый, подъ этимъ взглядомъ, визгливо покрикивалъ на конюховъ, пригоршнями собиралъ съ пола разсыпанное сѣно и, точно какую драгоценность, бережно относилъ его въ первый растворенный денникъ. Тѣмъ временемъ чудовище мигнуло своими глазищами, двинулось вдоль корридора и остановилось у денника, на двери котораго уже можно было разобрать слово, нацарапанное мѣломъ: «Кроликъ». Фодотка проворно откинулъ крючекъ, распахнулъ дверь; чудовище посопѣло, потолкало суковатымъ костылемъ около порога и перенесло въ денникъ огромныя, похожія на лодки, ноги. Суетливый Онисимъ Вареоломеичъ въ одно мгновеніе ока очутился подлѣ, отстранилъ Фодота, вѣжливо взялся за дверь и, наклонясь воѣмъ корпусомъ, съ неописуемою тревогой сталъ глядѣть въ спину чудовища. Кроликъ всхрапнулъ, вытянулся, насторожилъ уши и, отворотившись отъ овса, внимательнымъ и недоумѣвающимъ взглядомъ обвелъ вошедшаго. Пыльный розовый лучъ пробивался въ маленькое окошко денника. И этотъ лучъ упалъ на чудовище, освѣтилъ высокій пуховый картузь съ длиннымъ и прямымъ козырьгомъ, подклееннымъ зеленою бумагой, необыкновенно большіе серебряныя очки, блѣдное лицо съ твердо сжатыми тонкими губами и съ выраженіемъ какой-то угрюмой важности, нависшія брови, коротко подстриженную сѣдую бороду, щетинистые усы, зеленое ватное пальто изъ грубаго и жесткаго, какъ листовое желѣзо, «демикотона», похожее своимъ покроемъ на удлиненный колоколь, два ряда огромныхъ, едва не въ чайное блюдце, лакированныхъ пуговиць... Однимъ словомъ, этотъ лучъ освѣтилъ конюшаго Капитона Аверьяныча.

— А подстилки опять мало?—внушительно произнесъ Капитонъ Аверьянычъ, поговорявши костылемъ около своихъ ногъ.

• Онисимъ Вареоломеичъ изогнулся до невозможности.

— Кажись, вдосталь, Капитонъ Аверьянычъ... Самолично надсматривалъ, — пролепеталъ онъ, заикаясь.

— То-то самолично. Ты бы на овесъ-то поменьше шепталъ, а смотрѣлъ-то бы поаккуратнѣе... Самолично!

— Что касающе насчетъ шептанья, я, то-есть, тово, Капитонъ

Аверьянычъ... Я къ тому теперича, чтобы какъ-никакъ посодѣйствовать. Старичекъ меня научилъ, Капитонъ Аверьянычъ.

— Чего? Какой такой старичокъ? Ты, Вареоломеевъ, юлишь, я замѣчаю, а дѣла отъ тебя ни на грошъ. Поди сюда.

— То-есть, къ вамъ пойти, Капитонъ Аверьянычъ?

— А къ кому же? Аль боишься? Эхъ ты горе-наѣздникъ!

— Зачѣмъ же-съ? Я собственно, чтобы не толкнуть васъ... темненько-съ... А то я, тово...—и, незамѣтно перекрестивъ себя подъ жилеткой, Онисимъ Вареоломеичъ мужественно перешагнулъ порогъ.

— Иди сюда. Это что? Подстилка? Хочешь, чтобы обезножила лошадь? Пощупай-ка ногу, —и Капитонъ Аверьянычъ, нагнувшись, съ силою поднялъ за щетку переднюю ногу Кролика. Кроликъ вырвалъ ногу и шарахнулся въ сторону. Онисимъ Вареоломеичъ кубаремъ вылетѣлъ изъ денника; на немъ лица не было, губы его тряслись. Оедотка прыснулъ въ руку и съ притворнымъ участіемъ прошепталъ: «Аль зашиблись, Онисимъ Вареоломеичъ?»

— Оедотка!—сердито сказала Капитонъ Аверьянычъ, —выведи на дворъ Кролика. —Затѣмъ онъ опять поговорялъ и постучалъ костылемъ, перенесъ черезъ порогъ свои ноги въ несоразмѣрно большихъ калошахъ и зашагалъ по корридолу. Онисимъ Вареоломеичъ, изгибаясь и вѣжливо повиная поясницей, семенилъ сзади. Они вышли изъ корридора въ огромныя сѣни, гдѣ было еще совсѣмъ темно. Но тутъ Онисимъ Вареоломеичъ съ опасностью жизни ринулся впередъ, хлопнулся всѣмъ тѣломъ въ ворота и стремительно отлетѣлъ вмѣстѣ съ ними въ сторону. На дворѣ было совсѣмъ свѣтло, и стѣны конюшенъ весело и привѣтливо алѣли, озаряемая утреннимъ солнцемъ. Капитонъ Аверьянычъ сощурилъ глаза, приложилъ ладонь къ козырьку и оглядѣлся; затѣмъ отошелъ къ стѣнѣ, около которой былъ насыпанъ красный песокъ, и оперся на свой суковатый костыль. Трепетавшій Онисимъ Вареоломеичъ привязалъ ворота, запахнулъ сюртучекъ и искательно посмотрѣлъ въ очки Капитона Аверьяныча. Но тотъ хранилъ суровое молчаніе. Въ конюшнѣ послышался быстрый топотъ, раздался звонъ подковъ и на свѣтъ вылетѣлъ большой караковый жеребецъ, увлекаемая на тугомъ поводу Оедотку въ красной рубашкѣ и въ фартукѣ. Оедотка проѣхала нѣсколько шаговъ на подошвахъ, оправился, закричалъ свирѣпымъ голосомъ: «Но-о-о, ты, лѣшій!»—и, перехвативъ правую рукой поводъ около самой морды Кролика, поставилъ его близъ стѣны на несокъ. Кроликъ повелъ огненнымъ глазомъ, красиво отдѣлилъ хвостъ, фыркнулъ, вздрогнулъ, стройно вытя-

нулся и сталъ, какъ вкопанный. Онисимъ Варѳоломеичъ тоже вострепнулся, закричалъ неистово-громкимъ голосомъ и погрозилъ Кролику. Тотъ спокойно и немножко презрительно посмотрѣлъ на него.

— Не юли, — кратко сказалъ Капитонъ Аверьянычъ и махнулъ на Онисима Варѳоломеича, какъ на муху. Кроликъ отчетливо выдѣлялся на свѣтло-розовой стѣнѣ конюшни. Это была длинная лошадь, съ неособенно широкою, но удивительно мускулистою грудью, съ прямою шеей, съ «подыжеватými» ногами и низко поставленнымъ хвостомъ. На взглядъ неопытнаго человѣка она, пожалуй, не была красива. Плечо, на примѣръ, показалось бы слишкомъ длиннымъ и слишкомъ косымъ, «бабки» слишкомъ изогнутыми, такъ называемый «локоть» — длинень, «почка» — высока, челюсти — черезъ-чуръ раздвинуты, «подпруга» — очень глубока. Развѣ признаки высокой породы подкупили бы такого неопытнаго человѣка въ Кроликѣ: огромные, широко посаженные глаза, тонкая кожа, лоснящаяся, какъ атласъ, выпуклыя связки, сухая голова съ рѣзко очерченными ноздрями, точно изъ мѣди вылитые мускулы. Но знатокъ и любитель рѣзвыхъ лошадей пришелъ бы въ одинаковый восторгъ какъ отъ этихъ признаковъ «породы», такъ и отъ характерныхъ статей, некрасивыхъ на взглядъ неопытнаго человѣка. Эти некрасивыя стати изобличали въ Кроликѣ большую рѣзвость и большую силу.

Капитонъ Аверьянычъ не пришелъ, однако, въ восторгъ. Онъ обошелъ вокругъ лошади, внимательно осматривалъ ее, пробурчалъ что-то себѣ подъ носъ. Лицо его не измѣняло высокомернаго и недовольнаго выраженія.

— Антикъ! — сладко пролепеталъ Онисимъ Варѳоломеичъ.

Брови Капитона Аверьяныча сдвинулись еще больше.

— Стати на удивленье, призовыя! — добавилъ Онисимъ Варѳоломеичъ.

Капитонъ Аверьянычъ нагнулся и поднялъ за щетку правую переднюю ногу. Кроликъ покосился на него, но стоялъ смирно въ этомъ неудобномъ положеніи.

— Чортъ! Я говорилъ: мокрецы заведутся. Смотри, ужъ раздѣдать стало.

Онисимъ Варѳоломеичъ нерѣшительно наклонился къ ногѣ.

— Настилала, Капитонъ Аверьянычъ, — пробормоталъ онъ, — самолично надсматривала.

Капитонъ Аверьянычъ внезапно побагровѣлъ, выпустилъ ногу Кролика и выпрямился во весь свой необыкновенно высокій ростъ. Быстро подошелъ онъ къ Ѳедотѣ, у котораго ужъ побѣдѣли и за-

тряслись губы, ткнулъ его съатимъ, будакомъ прямо въ лицо, отчего Ѳедотка судорожно откинулъ голову, не рѣшаясь, однако, даже на мгновеніе выпустить поводъ, и, прошипѣвъ сэвозъ стиснутые зубы: «ты не могъ присмотрѣть, такой-сякой... веди!» — зашагаль къ другимъ конюшнямъ.

Онисимъ Вареоломейчъ винулся было вслѣдъ за нимъ, потомъ вдругъ сообразилъ что-то, отирянулъ назадъ и побѣжалъ вслѣдъ за Броликомъ, котораго уже вводили въ денникъ.

— Какъ же это, Ѳедотикъ, а? — торопливо заговорилъ онъ конюху, — ты, тово... оплошалъ, братъ, оплошалъ!

Ѳедотка снялъ съ Бролика недоуздокъ, затворилъ дверь и, отплюнувшись, вытеръ зубы фартукомъ: изъ десенъ сочилась кровь.

— Аль влетѣло? — хладногровно спросилъ старый конюхъ Василій, вытирая только что вымытыя руки.

— Да я-то чѣмъ оплошалъ? — огрызнулся Ѳедотка, не отвѣная Василью. — Всѣмъ стлали породну. Вы бы сами зашли въ денникъ-то, да и поглядѣли. Тоже наѣздникъ называется — къ лошади боитесь подойти.

— Эка, эка, что сказалъ — боитесь! Я, братъ, тово... къ чорту войду и то не побоюсь. У меня, братъ, слово такое есть...

— Съ Вареоломейчемъ у насъ не шути, — съ серьезнымъ видомъ сказалъ Василій, — вотъ только бы намъ съ нимъ на призы выѣхать: всѣхъ осраимъ!

— А что-жь ты думаешь, и осрамлю, — сказалъ Вареоломейчъ, вынимая и закуривая свою изогнутую трубочку. — Ты, тово; дядя Василій... ты, можетъ, шутишь, а я тебя прямо говорю — осрамлю!

— Какія шутки! На кормъ шепчешь, въ санки сядишься — шепчешь... И гдѣ это ты научился, голова?

— И осрамлю, — упрямъ повторилъ Онисимъ Вареоломейчъ, смутно догадываясь, что дядя Василій смѣется надъ нимъ, и не зная, обижаться ли ему на эти насмѣшки, или притвориться, будто не замѣчаетъ. Тѣмъ временемъ Ѳедотка постлалъ свѣжей соломы Бролику, другіе конюхи вывели корридоръ, прибрали ведра и мѣры, заперли наглухо денники, вымыли руки и, подшучивая надъ зуботычиной, полученной Ѳедоткою, и надъ трусостью наѣздника, пошли завтракать въ застольную. Онисимъ Вареоломейчъ, поплеывая и посасывая трубочку, замкнулъ ларь съ овсомъ, осмотрѣлъ, все ли въ порядкѣ, и тоже направился домой. Ѳедотка остался дежурнымъ. Дядя Василій пошелъ рядомъ съ наѣздникомъ.

— Вотъ теперь Наумъ Нефедовъ беретъ призы, — ты думаешь,

онъ проста беретъ?—говорилъ Онисимъ Вареоломенчъ, помахывая ключемъ на пальцѣ.

— Гдѣ проста! Тоже, поди, слово какое знаетъ,—соглашался дядя Василій.

— А, то-то, «слово»! Мнѣ, вотъ, Микитка-поддужный сказывалъ: онъ, говорить, безъ каверинскаго колдуна, какъ безъ рукъ. Что съѣздить къ нему, то и возьметъ призъ,—что съѣздить, то и возьметъ. Ужели мы не понимаемъ? Да все, братъ, на словѣ держится. Вотъ теперь Капитонъ Аверьяновъ на меня нападаетъ... А знай-ка я на него слово, небось бы изъ гостей у меня не выходилъ. Гдѣ это видано—наѣзднику руки не подаетъ; я тогда, снова-то, протянулъ ему руку, а онъ эдакъ посмотрѣлъ и тово... палецъ! ей-Богу, одинъ палецъ выставилъ.

— Ну, это ты не говори, онъ и барышнику иному только что палецъ протянетъ. Человѣкъ гордый.

— А почему? Эхъ, погляжу, погляжу, добуду я на него слово. Ей-Богу, добуду. Ужь я его обратаю!

— Да пожалуй что тебѣ невозможно безъ эфтаго.

— Ужь добуду! Ужь вижу, что надо его въ хомутъ ввести!

— Вонъ Ѳадей, говорятъ, приворожилъ.

— Ну, вотъ-вотъ. Что такое Ѳадей?—такъ-себѣ, конюшника... А поди, силу какую взялъ. Нѣтъ, безъ слова на ихняго брата...—и Онисимъ Вареоломенчъ посасывалъ изъ своей трубочки, вертѣлъ ключомъ и съ шикомъ отплевывался на добрыя двѣ сажени разстоянія.

Когда Капитонъ Аверьянычъ бывалъ въ раздраженномъ состояніи духа, онъ имѣлъ привычку сильно стучать костью подъ ногами и мрачнымъ басомъ напѣвать себѣ въ бороду: «Болъ славень нашъ Господь въ Сионѣ»; тогда туча лежала на его важномъ лицѣ и глаза изъ-за очковъ метали злобѣщія искры. Такое состояніе было, однако же, не особенно часто. Еще рѣже видѣли Капитона Аверьяныча веселымъ, когда онъ бывалъ шутливъ и разговорчивъ, хоть и отнюдь безъ потери своего достоинства. Чаще же всего,—и даже, можно сказать, постоянно,—Капитонъ Аверьянычъ былъ сухъ, молчаливъ, сосредоточенъ, смотрѣлъ строго и серьезно и вѣчно мурлыкалъ какой-то невразумительный духовный напѣвъ, совсѣмъ, впрочемъ, не похожій на «Болъ славень». Все населеніе завода, исключая лишь нѣсколькихъ очень почтенныхъ и очень заслуженныхъ людей, рассчитывало образъ своего поведенія и свои слова съ этими признаками. Когда гудѣло «Болъ славень», тутъ лучше всего было не попадаться на глаза: за малѣйшій промахъ, за нич-

тожнѣйшую оплошность, за слово, сказанное невпопадъ, нужно было ожидать всего худшаго. Здѣсь не говорится о зуботычинѣ или объ ударѣ костью, — на языкѣ гарденинскихъ конюховъ того времени не это считалось самымъ худшимъ; но случалось, что Капитонъ Аверьянычъ, не преломивъ своего гнѣва «домашнимъ способомъ», произносилъ одно только грозное слово: «въ контору!» — а это означало безповоротный и рѣшительный «разсчетъ». Это означало для двороваго человѣка не получать болѣе «мѣщины», не получать каждое 1-е число 3 р. 33 $\frac{1}{2}$ к., а не то и цѣлыхъ 4 рублей, не получать «поводковыхъ», «праздничныхъ», «по случаю приѣзда господъ», квартиры въ барскомъ флигелѣ; это означало — ломать хлѣвушекъ, продавать корову, клѣть, свинью, разставаться съ пригрѣтымъ угломъ, съ сосѣдами, съ обществомъ въ застольной, съ привычнымъ образомъ жизни, съ обязанностями, унаслѣдованными отъ отца и дѣда, и пускаться — куда? — неизвѣстно. Впрочемъ, такихъ поистинѣ трагическихъ случаевъ было съ самой воли всего два или три. Обыкновенно, дѣло кончалось проще — выбитымъ зубомъ или синякомъ подъ глазами.

Когда же Капитонъ Аверьянычъ былъ въ обыкновенномъ состояніи духа, его боялись, какъ огня, безъ особенной и настойчивой нужды не заговаривали съ нимъ, относились къ нему съ великою почтительностью, но и не бѣгали отъ него, а каждый проявлялъ свое усердіе, въ чемъ ему было назначено. И, разумеется, все веселилось и зубоскалило другъ надъ другомъ, когда Капитонъ Аверьянычъ былъ веселъ и давалъ нѣкое соизволеніе шутникамъ и зубоскаламъ.

Уже сказано, что были исключенія изъ тѣхъ людей, которые приноравливались и приспособлялись къ душевному настроенію Капитона Аверьяныча. Въ числѣ исключеній нужно назвать кучера Никифора Агапыча, давнишняго завистника и тайнаго врага могущественнаго конюшаго; втораго наѣздника, Миная Власова, убѣденнаго сѣдинами, но мало способнаго старца; маточника Терентія Иваныча; конюха Полуекта, имѣвшаго на своемъ попеченіи заводскихъ жеребцовъ, и, наконецъ, конюха Ѡадея, ходившаго за жеребятами. Всѣ, кромѣ Ѡадея, были старые гарденинскіе слуги. Иные изъ нихъ старше самого Капитона Аверьяныча. Бучеръ Никифоръ, живившійся на любимой горничной покойнаго барина, имѣлъ даже одно время надежду смѣстить Капитона Аверьяныча, но, въ концѣ-концовъ, все-таки, оказалось, что баринъ любилъ своихъ лошадей больше сѣроглазой Ѡетиньи и удовольствовался только тѣмъ, что совершенно отдѣлилъ отъ коннаго завода

кучерское вѣдомство и далъ Никифору подь началъ двухъ кучеровъ и одного подростка-форейтора. Конюхъ же Ѡадей хотя не былъ крѣпостнымъ Гардениныхъ и происходилъ изъ загадочнаго и неопредѣленнаго званія «приписныхъ» (къ чему приписныхъ, онъ и самъ не зналъ), а по возрасту годился въ сыновья Капитону Аверьянычу, былъ у сего послѣдняго на особомъ счету, что въ Гарденинѣ, какъ мы уже видѣли, объяснялось Ѡадсевой «ворожкой» и нѣкоторымъ «словомъ».

Во всякомъ случаѣ, многіе вздохнули съ великимъ облегченіемъ, когда Капитонъ Аверьянычъ, грозно напѣвая «Болъ славенъ» и стуча костью по мостовой двора, направился прямо изъ рысистаго отдѣленія въ жеребятникъ.

Въ растворенномъ тепломъ и скудно освѣщенномъ помѣщеніи топилось у корытъ множество кобылокъ и коньковъ годоваго возраста. Среди нихъ, что-то копясь и стуча въ корытъ, стоялъ человекъ низенькаго роста, съ бороною во всю грудь, въ неловко сидящемъ полушубкѣ и съ смѣшною, похожею на колпакъ, шапкою на кудлатой головѣ. Увидавъ, что свѣтъ, падающій въ ворота, кѣмъ-то заслоненъ, онъ досадливо обернулся, — въ рукахъ у него была сѣчка, чѣмъ рубить морковь, — но тотчасъ же его маленькое сморщенное лицо озарилось пріятною и добродушною улыбкой.

— Ахъ, ѣдятъ-те мухи-комары, я думалъ, это Евдокимка заслонилъ, — сказалъ онъ пѣвучимъ, мягкимъ голосомъ, — здравствуй, Аверьянычъ. Вотъ стою, все крошу, чтобъ помельче. Трудно имъ крупное — то жевать. Чистые ребята! Ишь, ишь, гляди, вороненькій-то... Ахъ, братецъ ты мой. Ну-ка, дурашка, дай, дай сюда, гдѣ тебѣ эдакій оболдонъ разжевать! — Онъ осторожно вынулъ изо рта жеребенка кусокъ моркови и, не спѣша, медленнымъ и аккуратнымъ движеніемъ разрѣзалъ его на-трое и, посмотрѣвъ на Капитона Аверьяныча, размѣялся: — Ну, чистые, братецъ ты мой, дѣтишки, ѣдятъ ихъ мухи-комары! Вонъ, вонъ, смотри, гнѣденькая-то, съ чулочками-то на заднихъ ножкахъ, — отъ Атласнаго она, что ли, — ну, такая-то забавница, такая-то воструха! Ишь, ишь, за ухо мышастенькаго теребить. Вотъ я тебя, шельма! Али этоть, съ отмѣтинкой на губѣ... такой-то продувной. Чуть не доглядишь, сейчасъ за ухо спааетъ... вотъ тебѣ и на! А не кусается, вѣжливъ. Вотъ этоть, Волшебнигышъ, строгъ, разбойникъ. Ну, ну, смотри ты у меня! Но что-жь это за красота, волки его ѣшь! Поди, подростеть, не уступить Любезному. Ну, Аверьянычъ, выросилъ ты коней... — Ѡадей ходилъ въ толпѣ жеребятъ, ласково и любовно поглядывалъ на нихъ, гладилъ, чесалъ ихъ «подъ зѣбрами»; тотъ,

что съ отмѣтинкой на губѣ, сунуль его теплою мордочкой прямо въ губы, другой положилъ ему голову на плечо и, вѣроятно, находя такое положеніе очень для себя удобнымъ, съ аппетитомъ хрустѣлъ морковью. Вдругъ Ѡадей, только теперь замѣтившій, что Капитонъ Аверьянычъ не выговорилъ ни слова, взглянулъ на него и пересталъ улыбаться. — Эге! ты никакъ сердить, Аверьянычъ? Аль порядки какіе?

Капитонъ Аверьянычъ помычалъ и съ неохотою процѣдилъ сквозь зубы:

— М-да... навздникъ все этогъ.

— Онисимъ? Ахъ, ѣдятъ его мухи-комары! Ну, что-жь, ну, ничего, братецъ ты мой. Авось справится, Авось! — И опять разсіялъ: — Гляди, гляди, со звѣздочкой-то что раздѣлываетъ. У, коростовый! такъ и хапаетъ, такъ и норовитъ вырвать изо рта. Ну, чистые ребяташки!

— Говорять, Ефимъ воейговскій безъ мѣста, — сказалъ Капитонъ Аверьянычъ.

— А что, Онисима расчестъ хочешь? Ну, что-жь, разыщемъ Ефима, попытаемъ. Это ничего. А, можетъ, Онисимъ справится, забодай его корова? Аль нѣтъ? Ну, какъ знаешь, какъ знаешь, можно и Ефима нанять... Эй, эй, ты, головастикъ! ишь, вѣдь, на-туживается, ишь, ѣдятъ-те мухи-комары...

Изъ жеребятника Капитонъ Аверьянычъ уже съ значительно пониженнымъ гудѣніемъ прошелъ въ маточную.

— Ну, мы нонѣ съ радостью, Аверьянычъ, — встрѣтилъ его маточникъ Терентій. — Волшебницѣ Богъ конька далъ.

Внезапно туча сбѣжала съ лица Капитона Аверьяныча, его сурово сжатые губы раздвинулись радостною, дѣтскою улыбкой.

— Давно? — спросилъ онъ, быстро устремляясь впередъ.

— Да вотъ только что управились. Надо быть, опять вороной. На лбу звѣзда, лѣвая задняя въ чулкѣ.

Другіе маточники, подручные Терентія, окружили Капитона Аверьяныча съ веселыми и возбужденными лицами.

— Я посмотрѣлъ эдакъ на свѣтъ, — торопливо рассказывалъ одинъ, — эге! говорю, дядя Терентій, вѣдь, конекъ!

— А шельма-то какая, малъ, малъ, а какъ мотнетъ головой, — чуть опомнился, сейчасъ и насторожился, разбойникъ! — поспѣшилъ другой.

— Вылитый отецъ! — съ восторгомъ сообщалъ третій.

Вдоль темнаго и очень теплаго корридора, въ денникахъ, обшитыхъ тесомъ не болѣе какъ на полтора аршина отъ полу, стояли

жеребья кобылы и матки съ голенастыми сосунками. Спѣшащая и возбужденная толпа какъ будто взволновала ихъ; тамъ и сямъ слышалось безпокойное ржаніе; молодыя матки подымали головы, заостряли уши и ревниво оглядывались на своихъ сосунковъ; болѣе опытные смотрѣли на проходящихъ съ выраженіемъ покойнаго любопытства; старуха Визанурша, жеребая уже въ девятнадцатый разъ на своемъ вѣку, ограничилась тѣмъ, что лѣниво подняла сонное вѣко и затѣмъ съ прежнимъ равнодушіемъ принялась шевелить губами. Отворили дверь. Капитонъ Аверьянычъ перешелъ порогъ; тусклый свѣтъ падалъ въ маленькое, выходящее на сѣверъ, окно. Красивая Волшебница тревожно вытянула шею; головастый сосунокъ, весь еще мокрый, трепещущій на своихъ несоразмѣрно высокихъ ножкахъ, смѣшно толкался у ея ногъ. Капитонъ Аверьянычъ ласково погладилъ Волшебницу и сѣлъ на корточки, чтобы лучше рассмотреть жеребенка; но было темно; въ другое время и при другихъ обстоятельствахъ онъ бы кратко и строго произнесъ: «огня!» Теперь же его голосъ, сразу пріобрѣвшій какіе-то несвойственные ему добродушные звуки, выговорилъ: «Ну-ка, ребята, засвѣтите огоньку, а то не размотришь. Ишь, шустрый, шельмецъ!»

Зажгли свѣчку. Дѣйствительно, это былъ конекъ, теперь неопредѣленной мышастой масти, но въ будущемъ непременно вороной или караковый. Звѣздочка на лбу и чулокъ на ногѣ до смѣшнаго напоминали такія же отмѣтины у его знаменитаго отца, лучшаго производителя гарденинскаго завода, Недотроги 3-го. Опытный взглядъ Капитона Аверьяныча даже прозрѣлъ въ сосунокъ и инныя сходства съ отцомъ—въ спинѣ, въ разстановкѣ маглаковъ, въ глубокой подпругѣ. И за всѣмъ тѣмъ въ очертаніи головы и шеи Капитону Аверьянычу чудилась наслѣдственность матери: лебединый изворотъ, сухой «гулиновскій» профиль. Безмѣрно довольный и счастливый, онъ выпрямился и опять потрепалъ Волшебницу: «Умница», — проговорилъ онъ, на что не менѣе счастливая Волшебница отозвалась тихимъ и довольнымъ ржаніемъ.

— Ну, Терентій Иванычъ, зайди въ контору получить тамъ. За эдакого коня полагаю тебѣ три цѣлковыхъ. И вы, ребята, ужъ зайдите. Я скажу управителю.

— Ладно. Ужъ, можетъ, и удосужусь завернуть, — равнодушно отвѣтилъ Терентій Иванычъ, не спуская глазъ съ сосунка, и добавилъ съ живостью: — ишь, ишь, бестія! ишь, теребить! Ну-ка, Ерема, пособи ему ходы-то найти.

Остальные конюхи хоромъ поблагодарили Капитона Аверьяныча. Тѣмъ временемъ Федотка, оставшись на дежурствѣ, сѣлъ ло-

жоть мягкаго, густо посоленнаго хлѣба, собралъ крошки съ подола рубахи и тоже покидалъ ихъ въ ротъ, записъ все это водою прямо изъ ведра и, перекрестившись на темненькую иконку Фрола и Лавра, досталъ изъ-за ларя гармонику. Пытливо и нѣжно осматрѣлъ онъ ее, сдулъ пылъ съ клавишей, отеръ подоломъ золоченые мѣха, затѣмъ влѣзъ на ларь къ самому окну, разостлалъ полушубокъ, сѣлъ, поджавъ подъ себя ноги, и, тихо посапывая отъ усиленной аккуратности, сталъ связывать ниточкой средній и безымянный пальцы правой руки. Онъ давно и—увы!—напрасно добивался отчетливо играть «трепака»; «дѣвичью» онъ умѣлъ хорошо играть, «бычка» и «барыню» — порядочно, но здѣсь нужно было брать сразу два лада и это никакъ ему не давалось. Теперь извѣстный гармонистъ, поддужный Ларька, научилъ его связать пальцы и такимъ манеромъ дѣйствовать. Онъ пробовалъ уже два раза, несмотря на великій постъ, и, дѣйствительно, какъ будто стало выходить. Растянувъ мѣха и перебирая пальцами, онъ сталъ наигрывать, посапывая носомъ и шевеля губами въ тактъ игры. Потъ лилъ съ него градомъ, свѣсившіеся на глаза волосы золотились отъ горячихъ лучей солнца. Вдругъ онъ вздрогнулъ и быстро сунулъ гармонику подъ полушубокъ. Страхъ изобразился на его румянномъ лицѣ. Изъ сѣней кричалъ Капитонъ Аверьянычъ: «дежурный!» Однако, страхъ Федотки быстро миновался: по второму возгласу онъ уже угадалъ, что Капитонъ Аверьянычъ не сердитъ, и бойко крикнулъ, соскакивая съ своего возвышенія:

— Я-съ, Капитонъ Аверьянычъ!

— Федотикъ? — добродушно переспросилъ Капитонъ Аверьянычъ, — ну-ка, малый, выведи мнѣ Любезнаго.

Если бы Федотка и не догадался по голосу Капитона Аверьяныча, что гнѣвъ его прошелъ, то онъ непременно догадался бы объ этомъ теперь, когда приказано было вывести Любезнаго. Въ самые добрые и хорошіе часы Капитонъ Аверьянычъ любилъ смотрѣть на эту лошадь и, посмотрѣвъ на нее, становился еще добрѣе и благо-склоннѣе. Дѣло въ томъ, что за все существованіе завода еще не бывало такого «четырехлѣтна» въ гарденинскихъ конюшняхъ. Изъ всей «ставки», — а въ ней считалось восемнадцать жеребцовъ, — только Любезный да Броликъ не назначались къ продажѣ. Бролика совсѣмъ не выводили барышнякамъ, Любезнаго же выводили только ради особаго щегольства и, притомъ, очень крупнымъ барышнякамъ, извѣстнымъ какъ любители и знатоки. Обыкновенно порядокъ выводи былъ таковъ: сначала показывали худшихъ и малорослыхъ, затѣмъ все лучше и крупнѣе. Любезный выводился семнад-

цатьми. Въ первый разъ, въ нынѣшней февралѣ мѣсяцѣ, когда ставку показывали «Григорь-Григоричу», знаменитому московскому барышнику и, къ тому же, страстному любителю, онъ, при взглядѣ на Любезнаго, едва не обомлѣлъ, но, съ обычною своею стойкостью, сдержался и притворно-равнодушнымъ взглядомъ осмотрѣлъ лошадей. Капитонъ Аверьянычъ кривилъ лицо и странно мигалъ глазами отъ скрытаго наслажденія и торжества.

— Что, Григорь-Григоричъ, назовъ? — не утерпѣвши, спросилъ онъ; когда Любезнаго увели, а барышникъ, все-таки, молчалъ.

— Ничего себѣ. Ребра маненько плоски, — хладнокровно отвѣтилъ тотъ, стараясь не смотрѣть въ лицо Капитону Аверьянычу.

— Плоски?...

— Да и крестецъ будто свихловать.

— Свихловать?... — Капитонъ Аверьянычъ насмѣшливо прищурился, помолчалъ и вдругъ, сдѣлавъ высокомерное лицо, выпалилъ: — непродажень!

— Что-жь, такъ и запишемъ. Себѣ въ заводъ оставляешь?... Нечего сказать, стоить. А я бы, не въ примѣръ прочимъ, пожалуй, особнячкомъ его купилъ. Возьми полторы тысячи.

— Непродажень.

— Эй, возьми. Ну, хочешь тыщу семьсотъ? — У «Григорь-Григорича» загорались глаза и по лицу начинали проступать пятна: вѣрный признакъ, что онъ начиналъ сердиться и приходитъ въ азартъ.

— Ни за сколько.

— Фу, голова дубовая! Знаешь ли, годъ его продержу, — онъ прямо государю императору въ шарабанъ поступитъ. Слава-то вашему заводу!

— Нѣтъ, Григорь-Григоричъ, давайте ужъ лучше въ другихъ торговаться, а эфота оставимъ. Вѣдь, ребра плоски... — глумился Капитонъ Аверьянычъ.

— И двѣ тыщи не хочешь? Ну, ладно, время, снимай рубашку, благо я изъ себя вышелъ: 2,500 — и больше ни слова!

— Непродажень, — отвѣтствовалъ Капитонъ Аверьянычъ.

«Григорь-Григоричъ» совершенно взбѣсился.

— Тифу!... тифу!... такъ вотъ на же тебѣ, на! не нужно мнѣ твоихъ лошадей!... не покупаю!... Чортъ съ вами совсѣмъ съ идолами!

Такъ и уѣхалъ, не купивши «ставки».

Любезный былъ сынъ Недотроги 3-го и той же самой Волшебницы, которая такъ встаети ожеребилась сегодня конемъ. Капито-

ну Аверьянычу тѣмъ особенно былъ приятенъ этотъ приплодъ, что Волшебницу онъ приобрѣлъ въ заводъ уже послѣ смерти стараго барина. Въ противоположность прежнему гарденинскому рысаку нѣсколько тяжелыхъ и сырыхъ статей, въ дѣтяхъ Волшебницы, рожденной въ знаменитомъ заводѣ Тулинова, обозначался какой-то новый типъ: лошадь выходила очень крупная, но не сырая, съ сильными и развитыми челюстями, но не тупорылая, какъ прежде, съ мягкой, шелковистою шестью, съ удивительною шеей; съ крѣпкими и сухими мускулами, рѣзвая и горячая. Это не была призовая лошадь, — по крайней мѣрѣ, призовая на короткія нынѣшнія дистанціи; Кроликъ, напримѣръ, тоже новый типъ въ Гарденинѣ и тоже предметъ особаго увлеченія Капитона Аверьяныча, не въ примѣръ больше соотвѣтствовалъ названію «рысака». Но въ душѣ Капитонъ Аверьянычъ не любилъ Кролика такъ, какъ онъ любилъ дѣтей Волшебницы. Съ Кроликомъ у него связаны были мечты о необыкновенномъ прославленіи гарденинскаго завода; когда онъ думалъ о Кроликѣ, ему мерещились золотые кубки въ господскомъ кабинетѣ, императорскіе призы, медали, отчеты въ газетахъ и въ *Журналѣ Коннозаводства*, порамленные соперники, гремящее имя господъ Гардениныхъ... Любезный же говорилъ его сердцу, какъ говоритъ самодовлѣющая красота; онъ любовался имъ, ни о чемъ не помышляя; онъ носилъ его въ своемъ воображеніи. И только на днѣ души сладостно удовлетворялась его гордость, что это онъ, Капитонъ Аверьянычъ, а не кто-либо другой, вывелъ такую лошадь въ заводъ Гардениныхъ.

И въ самомъ дѣлѣ, нужно было долго подумать и побезпокоиться; прежде чѣмъ придти къ удачной мысли «скрестить» двѣ отрасли, примирить два основныхъ теченія въ орловскомъ чистокровномъ типѣ. Константинъ Ильичъ Гарденинъ не гнался за этимъ. Еще отъ отца принялъ онъ заводъ, въ которомъ превозмогалъ типъ тяжелой, сыроватой, мясистой и крупной лошади. Такихъ лошадей съ большою охотой покупали въ хорошую городскую упряжь. Они были смиренны, немножко вялы и очень сильны. Впослѣдствіи, такъ какъ Константинъ Ильичъ изъ скупости мало «освѣжалъ кровь», въ заводѣ стали появляться «наливы» и «шпаты». На призахъ во все время существованія завода гарденинская лошадь не появлялась, если не считать Бычка, который взялъ императорскій призъ въ 1852 году; но, по правдѣ-то сказать, взялъ только потому, что была жесточайшая грязь и дистанція равнялась десяти верстамъ.

Только, спустя два года послѣ воли, старикъ Гарденинъ умеръ и Капитонъ Аверьянычъ очутился единовластителемъ, онъ

тотчас же принялся за осуществление своей давнишней мечты. Гарденинская лошадь требовала обновления. Нужно было добиться большей сухости въ мускулахъ, лучшей шеи, болѣе прямой спины, а, главное, болѣе огня, рѣзвости и признаковъ благородной породы. Тѣмъ не менѣе, ему дорога была и старая гарденинская лошадь, — ея, по преимуществу, вороная масть, чуть не шестивершковый ростъ, сила, выносливость, кротость и послушливость въ запряжкѣ. Капитонъ Аверьянычъ забиралъ къ себѣ толстыя заводскія книги и длинныя зимніе вечера заставлялъ конторщика Агея Данилыча читать ихъ вслухъ (самъ онъ умѣлъ только подписываться «Офиранофъ»); днемъ отправлялся въ кабинетъ покойнаго барина, всматривался въ портреты знаменитыхъ лошадей, развѣшенные на стѣнахъ въ золотыхъ рамахъ, припоминалъ, соображалъ, ходилъ какъ тѣнь въ звонкихъ опустѣлыхъ комнатахъ и все гудѣлъ себѣ въ бороду. Наконецъ, взялъ съ собою маточника Терентія, объѣхалъ и осмотрѣлъ Хрѣновое, Пады, Мартинъ, Чесменку, ближніе и дальніе заводы Воронежской и Тамбовской губерній. Въ этой-то поѣздкѣ было имъ приобрѣтено двѣнадцать матокъ и три жеребца, изъ которыхъ Витязь сталъ отцомъ Бролика, а Волшебница ожеребила Любезнаго и тѣмъ щедро вознаградила Капитона Аверьяныча за всѣ претерпѣнныя имъ хлопоты, сомнѣнія и тревоги. Броликъ общалъ начатъ собою новую эру призовъ, Любезный — облагородить типъ и возвысить, по крайней мѣрѣ, въ полтора раза цѣнность старой гарденинской лошади.

Ловко и щегольски показавъ Любезнаго, Фодотка былъ удостоенъ Капитонъ Аверьянычемъ слѣдующаго разговора:

— Ты чего тутъ на музыкѣ-то на своей пилишь, аль разговѣлся? Чай, люди грѣхи замаливаютъ.

— Я учусь, Капитонъ Аверьянычъ.

— То-то... учусь. Все небось норовишь дѣвку оболстить. Какая у тебя: Аришка? Матренка? Секлетиншка?

Фодотка ухмыльнулся и промолчалъ.

— А Бролику подостлалъ соломы?

— Подостлалъ-съ, Капитонъ Аверьянычъ.

— Какъ это ты, братецъ: малый, поглядѣть на тебя, тямкій, а даль маху?

— Съ нимъ не сообразишь, Капитонъ Аверьянычъ! Ужъ больно человекъ онъ неосновательный. Смѣхъ сказать: наѣздникъ — въ денникъ боится войти.

— Ну, вамъ-то онъ съ руки. Не взыскиваетъ. Вамъ, дармоѣдамъ, того и надо.

— Никакъ нѣтъ-съ, Капитонъ Аверьянычъ. Намъ лишь бы взыскивали за дѣло. А съ нимъ никакъ не сообразишь. Вы гнѣваетесь, а отъ него порядка никакого нѣтъ-съ. Его и Броликъ ни во что не ставитъ. Ей-Богу-съ.

— А ты съ Броликомъ-то говорилъ?

— Видно-съ, Капитонъ Аверьянычъ.

— Ну, въ эти дѣла, малый, вникать не тебѣ.

— Я только къ слову, признаться...

— Ты на лошади крѣпко держишься?

— Какъ же-съ! съ измалѣтства.

— Ну, ладно. Ларьку, я вижу, нужно изъ модужныхъ прогнать. Избаловался. Пошлю его на хуторъ коньковъ стеречь. А ты присматривайся. Богъ дастъ, поведемъ Брелика на бѣга,—ты подужнымъ будешь.

Федотка оторопѣлъ отъ радости.

— Воля ваша,—пролепеталъ онъ.

— А старшихъ не суди,—продолжалъ Капитонъ Аверьянычъ,— не твоего ума дѣло. Онисима я, можетъ, и уволю, а, все-таки, дѣло не твое.—Онъ вынулъ двумя пальцами серебряную монету изъ жилетнаго нармана и, вытянувъ руку, долго разсматривалъ эту монету на свѣтъ; наконецъ, протянувъ Федоткѣ:—это что, двугривенный?

— Двугривенный-съ, Капитонъ Аверьянычъ.

— Возьми. Дѣвкамъ на прянни. Какъ ее—Алена? Степанида?... Да смотри у меня: недосмотришь; заведутся мокрецы,—всѣ виски повыщиплю.

— Какъ можно-съ...—сказалъ Федотка и разсмѣялся глупымъ, счастливымъ смѣхомъ.

Красный дворъ опустѣлъ. Въ конюшняхъ оставались только дежурные. Капитонъ Аверьянычъ прислонилъ ладонь къ глазамъ, посмотрѣлъ на солнышко и медленно побрелъ со двора. У воротъ онъ подумалъ одно мгновеніе, хотѣлъ идти домой, но вдругъ загудѣлъ въ бороду и, задумчиво разбивая костью комки сохшейся грязи, поворотилъ за красный дворъ, въ степь. Это была его любимая прогулка, когда ему хотѣлось остаться одному и о чемъ-нибудь крѣпко подумать.

III.

Виды управителя. — Стень. — Урокъ исторіи. — Урокъ кулачнаго права. — „Авось, крѣпостныхъ-то теперь нѣту!“ — Кое-что изъ философіи. — Точки въ жизни „вольнаго“ чело-вѣка. — Гнѣвъ на милость. — Весна и весенніи мысли. — „Столица“ Гардѣяни; о Николаѣ, о системѣ хозяйства, о „вольтерьянцѣ“ Агѣй и о томъ, какъ пришлось увѣщаніе студенту академіи.

Въ то же самое мартовское утро, когда Капитонъ Аверьянычъ совершалъ свой обходъ, Мартинъ Лукьянычъ Рахманный взду-малъ объѣхать поля, чтобъ осмотрѣть озими и узнать, скоро ли мож-но будетъ сѣять овсы. Весна была ранняя, мартъ близился къ кон-цу, и хотя въ дологахъ мѣстахъ кое-гдѣ и снѣгъ снѣжокъ, отъ земли давно уже шелъ паръ, и тамъ и сямъ пробивалась молодая трава. Озими начинали зеленѣть; на деревьяхъ наливались, крас-нѣли и лопались почки; вешнія воды угрощались и ручьи въ ло-щинахъ, вмѣсто неистоваго рева, стремились къ рѣкѣ съ дѣни-вымъ и неспѣшащимъ бормотаньемъ.

У вральца управительскаго флигеля дожидалось трое: староста Ивлій, сивобородый мужикъ въ кафтанѣ изъ смураго крестьянска-го сукна, въ высокой шляпѣ, съ длинною бѣркой въ рукахъ; кон-торщикъ Агѣй Данилычъ, сгорбленный и сухой, «рябой изъ лица», широкій въ кости чело-вѣкъ, бритый, съ подвявнаною щекой и от-ромнымъ фіолетовымъ носомъ, въ тепломъ долгополомъ пальто и въ ватномъ картузѣ съ наушниками, и управительскій дучерь За-харъ, обросшій волосами по самые глаза. Все трое держали въ по-воду осѣдланыхъ лошадей и молчали. Поодаль отъ нихъ, съ теат-ральной посадкой, гарцевалъ на красивой гнѣдой «полувровкѣ» без-бородый юноша, съ едва примѣтнымъ нушвомъ на губѣ, единствен-ный сынъ давно уже овдовѣвшаго Мартина Лукьяныча. Юноша безъ нужды склонялся то на ту, то на другую сторону, откидывал-ся назадъ, натягивалъ и опускалъ поводъ, посматривалъ уградкою на свои новые, высокіе сапоги съ голубыми висточками и блестя-щими лакированными голенищами и, видимо, тагъ и горѣлъ отъ снѣдавшаго его внутреннего восторга.

— Что за сапожки-то отдали, Николай Мартынычъ? — спросилъ староста Ивлій.

— Семь, дядя Ивлій. Вѣдь, хороши, а? — и юноша вытянулъ ногу. — Ну, ужъ Боронатъ не подгадить! Смотри, носокъ какой пустилъ... чистый квадратъ! Говорить, по самой первой модѣ. Чего ужъ! «На Стечкина барина, говорить, шью».

— Сапожки ловкіе. Въ подъемѣ будто бы узеньки.

— О, ничуть, нисколько, дядя Ивлій! — горячо возразилъ юно-

ща. — Это только со стороны оказывается... я тебя уверяю. Смотри, смотри, я вот шевелю ногой... Смотри, как просторно.

— Чего уж просторно! — насмѣшливо выговорилъ Захаръ. — Не ты вчера ночью въ конюшню-то прибѣгала, Ѳедотку молишь сапоги-то съ тебя стащить? Да опосля того мыломъ ихъ съодѣло натирали? Щеголи!...

Юноша покраснѣлъ,

— Вотъ ужъ всегда выдумаешь, Захаръ Борисычъ! — воскликнулъ онъ.

— Чего выдумаешь! Свела тебя съ ума Грунька Нечаева; ты ради ей и принимаешь муку. Вотъ папеньга узнаетъ, какъ въ окны-то по ночамъ шастаешь, да къ Василисѣ ходишь, — не похвалить. Или тоже: управительскій сыночекъ въ дружбу съ конюхами входить, съ Ѳедоткой за панибрата... Буды превосходно!

— Только папенькины деньги зря переводите, — сказалъ Агей Данилычъ страннымъ дискантомъ, совершенно несоотвѣтствующимъ его большому росту, подвязанной щекѣ и серьезному, съ какимъ-то трагическимъ выраженіемъ, лицу.

Юноша вспыхнулъ до самой шеи, хотѣлъ что-то отвѣтить, но только презрительно усмѣхнулся и сильно дернулъ поводомъ. Въ это время на крыльцѣ показался самъ Мартинъ Лукьянычъ — средняго роста осанистый человѣкъ, русый, съ легкою просѣдью въ оладистой бородѣ, въ солидномъ «купеческомъ» картузѣ и въ синей бекешѣ. Староста Ивлій и кучеръ Захаръ сняли шапки, — одинъ Агей Данилычъ, повлдонившись, тотчасъ же опять накрылся, — Николай скромнехонько и неподвижно сидѣлъ на своемъ гнѣдомъ коникѣ. Мартинъ Лукьянычъ сказалъ: «здрате», натянулъ на ходу зеленыя замшевыя перчатки и, принявъ отъ Захара поводъ, ловко и грузно вскочилъ на своего длиннаго бураго мерина Ваську. Васька пошатнулся, закричѣлъ, но тотчасъ же оправился и, какъ слѣдуетъ доброй лошади, натянулъ поводъ. Вслѣдъ за Мартиномъ Лукьянычемъ, наскоро нахлобучивъ шляпу и придерживая бирку подъ мышкой, влѣзъ тяжело, по-мужицки, какъ-то животомъ, староста Ивлій на косматую кобылку мышастой масти, и взобрался, долго привскакивая на одной ногѣ, Агей Данилычъ на необыкновенно высокаго управительскаго коренника. Всѣ тронулись за Мартиномъ Лукьянычемъ, ѣхавшимъ впереди развалистою иноходью съ ловкостью и увѣренностью человѣка, съ самаго дѣтства получившаго привычку къ верховой ѣздѣ. И въ посадкѣ всѣхъ этихъ людей сказывались ихъ характеры и положеніе. Такъ и видно было по Мартину Лукьянычу, что это ѣдетъ человѣкъ властный, независимый, со-

знающій свою силу, — однимъ словомъ, гарденинскій управитель. По тому, какъ трусилъ на своей утробистой кобылѣ сивовобородый мужикъ, искательно наклоняясь впередъ и выпрямляясь на стременахъ, всякій бы узналъ, что это староста Ивлій; по неуклюжей и смѣшно, но свободно сидящей фигурѣ Агея Данилыча, котораго коренникъ несъ на себѣ степенною и скорою «ходю», немудрено было заключить, что это ѣдетъ человекъ характера мрачнаго и сосредоточеннаго, привыкшій къ уединеннымъ мечтамъ и къ перу, и, наконецъ, по тому, какъ гнѣдой коникъ все покушался галопировать, грязь удила, крутилъ шею, высоко и красиво вскидывалъ переднія ноги и вообще доставлялъ неописанное наслажденіе своему сѣдоку, безпрестанно мѣнявшему позу ради живописности, — видно было, что неслась легкомысленная, самоувѣренная, влюбленная въ самоѣ себя юность. Подъ копытами лошадей хлюпала грязь и жирными комьями отлетала изъ-подъ ногъ галонирующаго гнѣдаго коника.

Осмотрѣли кусты, озими, плотины въ полевыхъ прудахъ, доѣхали до опушки лѣса, попробовали пашню, приготовленную подъ овесъ, — оказалось, что черезъ три дня можно сѣять: овесъ любить ранній сѣвъ; «кидай меня въ грязь — буду князь», — сложена о немъ пословица... И съ пашни повернули степью. Солнце сіяло ослабительно. Съ полей то и дѣло взлетали жаворонки и съ звонкими трелями подымались въ голубое небо. Въ малѣйшихъ котловинахъ и углубленіяхъ почвы стояли озера вешней воды, сверкая на солнцѣ, какъ осколки зеркала. Надъ ними безпрестанно опускались дивія утки, тяжело разрѣзая воздухъ своимъ грузнымъ и неуклюжимъ полетомъ. По мочелинамъ бродили какія-то голенастыя птицы. Иногда въ вышинѣ правильнымъ треугольникомъ тянули гуси со стороны юга или слышны были крики журавлей, похожіе на отдаленные трубные звуки. Отовсюду несло славною и здоровою свѣжестью, пахло разрытою землею и тѣмъ запахомъ возникающей растительности, отъ котораго такъ сладко и томительно расширяется грудь. Всѣмъ было хорошо въ этомъ ликующемъ и сверкающемъ просторѣ. Даже по трагическому лицу Агея Данилыча разлилось что-то ласковое и благоденственное. У Николая радостно блистали глаза... Мартинъ Лукьянычъ благодушно щурился, опершись рукою въ колено и похлопывая натайкой крутыя бедра неумоимаго Васьки. Въ сторонѣ отъ ихъ пути, посрединѣ гладкой, какъ скатерть, степной равнины, одиноко стоялъ высокій кўрганъ, — что-то вродѣ маленкихъ столбиковъ виднѣлось на его вершинѣ. Мартинъ Лукья-

нычъ натянулъ поводъ—и всё стали, какъ вкопанные. Отъ кургана доносился пронзительный свистъ. Это были сурки.

— Ишь, подлецы, выдѣлываютъ!—сказалъ, добродушно улыбаясь и оглядываясь на своихъ спутниковъ, Мартинъ Лукьянычъ, и вдругъ пригнулся, ударилъ Ваську и во весь духъ помчался къ кургану. Всё поскакали вслѣдъ за нимъ. Влажная степь загудѣла подъ копытами. Николай первый взлетѣлъ на курганъ и, красиво откинувшись на сѣдлѣ, кричалъ, что есть силы:

— У, какая даль!

Остановились и стали смотрѣть. Одинъ староста Ивлій слѣзъ съ своей кобылы, мѣшкотно подтянулъ подпруги и съ видомъ величайшаго глубокомыслия сталъ ширять биркой въ сурчинныя норы. Бругомъ видно было на много верстъ. Вдали, около красноватаго сада, весело блестя крыши Гарденина и гладкая, какъ разлитое масло, поверхность пруда. Во всё стороны развертывалась ровная степь, тянулись желтыя, зеленыя и черныя поля, синѣли одинокими шапками ольховыя и осиновыя кусты. По направленію къ Битюку сверкали кресты сельскихъ церквей, бѣлѣлись колокольни. За ними простиралась неясная сизо-голубая даль, съ странными проблемами и неопредѣленными очертаніями лѣсовъ, кургановъ и безчисленныхъ стоговъ: тамъ начиналась «Графская степь»^{*)}). Мартинъ Лукьянычъ задумчивымъ окомъ осматривалъ окрестности.

— Вонъ Лисій Верхъ, видишь?—указалъ онъ сыну на лѣсокъ, едва синѣвшій на горизонтѣ.

— Вижу, папенька.

— Вплоть до того «вѣрха» всё было Гарденинское.

— Куда же эдакая уйма дѣвалась, Мартинъ Лукьянычъ?—спросилъ староста Ивлій, опираясь подбородкомъ на бирку.

— Куда?... А приказные-то на что? Чего хочешь оттягаютъ.

— Народъ вѣрно что озарной, — съ готовностью согласился староста.

— Но какъ же, папенька, оттягаютъ?

— Очень просто. Юрію Николаичу пожаловала царица 30,000 десятинъ ненаселенной земли вотъ въ этихъ мѣстахъ. Замѣть себѣ: ненаселенной! — въ этомъ вся штука. Ну, Юрій Николаичъ и послали братца выбрать. Тотъ выбралъ честь честью, обозначилъ грань, обозначилъ, гдѣ быть усадьбѣ, куда крестьянъ поселить, и поѣхалъ въ Воронежъ. Туда-сюда, приказные говорятъ: «Дай ты-

^{*)} Такъ называется въ Воронежской губерніи огромное пространство земли, принадлежавшей когда-то графу А. Г. Орлову-Чесменскому, а нынѣ перешедшей ко многимъ, болѣею частью титулованнымъ, владѣльцамъ. Почти вся „степь“ въ арендѣ у купцовъ.

сяну рублей». Онъ — брату: такъ, молю, и такъ. Юрій Николаичъ гордый былъ человекъ, самостоятельный, одно слово — гвардеецъ: «Знать, говорить, не хочу. Какъ, говорить, чтобъ царица жаловала, а разная тварь издѣвается? Ни копейки!» — И собственно-ручно пишетъ письмо намѣстнику: такъ, молю, и такъ, — вотъ что у тебя дѣлается. Ну, сколько времени прошло, приходитъ изъ Воронежа донесеніе — въ сенатъ тамъ, что ли: «Гарденину-де пожаловано 30 тыс. ненаселенной земли, а въ тѣхъ-де мѣстахъ столько пустопорожней земли не оказывается: сидятъ села вольныхъ однодворцевъ и землю пашутъ. А есть-де по рѣкѣ Гримушѣ 7,000, да оттолева въ пятнадцати верстахъ 1,000 десятинъ и та земля свободна». Что такое значитъ? Юрій Николаичъ къ брату: «поѣзжай, узнай». Тотъ въ Воронежъ: что такое? почему? какіе однодворцы? А крапивоное сѣмя только зубы свалить: «пожалѣли, молю, тысячи рублей — 22 тыс. десятинъ и ундлили промежь нальцевъ». Что же они, разбойники, придумали: въ какой-нибудь годъ собрали три села и посадили на Битюкѣ! И откуда — никто не знаетъ. Вонъ красуются, все на кровной гарденинской землѣ.

— Что же, папенька, царица-то неужто не велѣла отобрать?

— Дуракъ! развѣ она можетъ противъ закона? Нѣтъ пустопорожней земли — и нѣтъ. Она ужъ ему въ Полтавской губерніи тысячу душъ пожаловала въ отместку.

— А за какія заслуги ему награда такая вышла? — спросилъ Николай.

— Былъ городъ Измаилъ, — Юрій Николаичъ городъ Измаилъ въ полонъ бралъ, — внушительно сказалъ Мартинъ Лужьянычъ, искоса поглядѣвъ на конторщика.

— Городъ Измаилъ съ отиѣнно-жестокаго приступа свѣтлѣйшій князь Александръ Васильичъ Суворовъ - Риминскій побѣдилъ, — отчеканилъ Агей Данилычъ, — это, ежели хотите знать, и у Волтера описано.

— Ну, ужъ ты, Дымкинъ, извѣстный фармазонъ, — съ неудовольствіемъ отвѣтилъ Мартинъ Лужьянычъ и сталъ спускаться съ кургана.

— Мартинъ Лужьянычъ! — вдругъ вскрикнулъ староста Ивлій, зорко всматриваясь въ степь, — вѣдь, это никакъ *галманы* шлѣются? Безиремѣнно они сурковъ ловятъ.

— Такъ и есть. Стрѣляй-ка къ нимъ да останови!

Староста Ивлій пригнулся къ самой шеѣ лошади и пустилъ ее вскачь, размахивая локтями и биркой. Видно было, какъ онъ остановилъ людей, ѣхавшихъ цѣликомъ по степи. Подъѣзжалъ рысцей

и Мартинъ Лукьянычъ съ остальными. На самодѣльныхъ дрожкахъ сидѣлъ съ мѣшкомъ, въ которомъ копошилось что-то живое, и съ одностволкой за плечами молодой малый въ кафтанѣ, съ растеряннымъ и перекосившимся отъ испуга лицомъ. Другой, рыжебородый, здоровый однодворецъ въ бѣлой льняной рубахѣ съ красными ластовицами, вырывалъ, съ выраженіемъ какой-то угрюмой злобы, возжи изъ рукъ старосты Ивлия и ругался. Огромный, косматый «битюкъ» спокойно стоялъ въ оглобляхъ. Мартинъ Лукьянычъ, какъ только увидалъ ссору, внезапно побавровѣлъ, сдѣлалъ какое-то звѣрское, изстуженное лицо и съ грубыми ругательствами помчался къ рыжебородому однодворцу.

— Чего ты, болванъ, смотришь? — заревѣлъ онъ на Ивлия. — Бей его! — и, замахнувшись, что есть силы, началъ хлестать рыжебородаго нагайкой по лицу и по чемъ попало. Тотъ бросилъ возжи, схватилъ Ваську подъ уздцы и, какъ-то рыча отъ боли и отчаянія, сталъ тянуть его къ себѣ.

— Бей!... що-жь, бей!... — хрипло кричалъ онъ. — Бей, душегубецъ!

Староста Ивлий старался попасть биркой по рукамъ однодворца и дребезжающимъ голосомъ повторялъ:

— Брось, окаянный, поводья! Говорять тебѣ — брось!

Наконецъ, Мартинъ Лукьянычъ опустил нагайку и съ искаженнымъ лицомъ подѣхалъ къ молодому малому.

— Что въ мѣшкѣ? — спросилъ онъ, задыхаясь отъ гнѣва и усталости.

— Сурки, ваше степенство, — пролепеталъ тотъ бѣлыми, какъ мѣлъ, губами.

— Сурки? А вотъ я тебѣ покажу.

И Мартинъ Лукьянычъ, наклонившись съ сѣдла, ударомъ кулака сшибъ шапку съ малаго и, уцѣпившись за волосы, сталъ его таскать. Малый покорно вертѣлъ головою по направленію Мартинъ-Лукьянычевой руки. Рыжебородый стоялъ въ сторонѣ и отчаянно ругался.

— Дьяволь толсторожий!... Ишь, мамонъ-то набилъ, брѣхатый чортъ!... Твой онъ, що-ль, звѣрь-то?... Все норовите захватить! Подавишься, не проглотить... Погоди ты, пузанъ, появишь у насъ на селѣ... я тебѣ рано морду-то исковыряю... Погоди, кровопивецъ!...

На него никто не обращалъ вниманія.

— Выпусти! — скомандовалъ Мартинъ Лукьянычъ. Малый съ торопливостью развязалъ мѣшокъ и тряхнулъ имъ. Сурки, прихрамывая, отбѣжали въ степь.

— Анафемы безчеловѣчныя, — сказалъ управитель, посмотрѣвъ на ковыляющихъ сурковъ, — гдѣ канганы?

— Въ стогу спрятали, ваше спенство, въ Сидоркиной оладинѣ.

— Смотрите у меня другой разъ! — пригрозилъ Мартинъ Лукьянычъ и поѣхалъ прочь. Руки его дрожали, губы тряслись. Рыжебородый, не переставая ругаться, схватилъ возжи, сѣлъ и потянулъ своего «битюка». Долго было видно, какъ онъ обращалъ по направлению къ кучкѣ верховыхъ свое окровавленное лицо и съ какимъ-то заливающимся визгомъ угрожалъ кудаками. На его бѣлой спинѣ пестрѣли черныя полосы отъ нагайки.

— Зачѣмъ же эдакъ бить, Агей Данилычъ? — шепотомъ проговорилъ Николай, стараясь удержатъ трясущуюся отъ волненія нижнюю челюсть.

— А необразованнаго человѣка нельзя не бить, если вы хотите знать, — равнодушно сказалъ Агей Данилычъ.

— Но все-жь таки этакъ нельзя, — упрямо повторилъ Николай и отѣхалъ отъ конторщика.

Староста Ивлій былъ совершенно доволенъ. Во-первыхъ, потому, что онъ первый замѣтилъ контрабанду, а, во-вторыхъ, потому, что вмѣстѣ со всѣми «барскими» раздѣлялъ презрительное и высокомерное отношеніе къ однодворцамъ. Такое отношеніе выказывалось въ то время во всемъ: «барскіе» не упустили случая посмѣяться надъ однодворцами и передразнить ихъ говоръ: *каго* и *чаго*, вмѣсто «кого» и «чево», *що*, вмѣсто «што», — поглумиться надъ ихъ манерой одѣваться: толсто наворачивать онучи, носить широчайшіе, съ безчисленными складками сапоги, кафтанъ съ приподнятыми плечами и высокимъ воротомъ, уродливыя кички и паневы у бабъ. По праздникамъ «барскіе» и «однодворцы» не ѣздили другъ къ другу. Даже въ церкви норовили становиться отдѣльно. Почти не было примѣровъ, чтобы «барскую дѣвку» отдавали за однодворца или однодворку за барскаго. Однимъ словомъ, походило на то, что живутъ рядомъ иноплеменники и питаютъ другъ къ другу настоящее враждебное чувство. Вотъ почему суровая политика «усадебъ» въ отношеніи къ однодворцамъ находила полнѣйшее сочувствіе въ деревнѣ и староста Ивлій былъ совершенно доволенъ.

— Что за народъ? — отрывисто спросилъ Мартинъ Лукьянычъ, указывая вдаль нагайкой.

— Это-съ наши мужики землю дѣлятъ, — отвѣтилъ староста Ивлій.

Мартинъ Лукьянычъ молча повернулъ туда.

Большая толпа крестьянъ, видимо, волновалась и находилась въ необычайной ажитаци. Изъ сплошнаго шума вырывались пронзительные и тонкіе фальцеты, густые басы, задорно дребезжащій бабій голосъ. Впрочемъ, баба была всего одна и главнымъ-то образомъ изъ-за нея и шелъ такой шумный говоръ. Когда подъѣхалъ управитель, все сразу смолкло и одинъ за другимъ сняли шапки. Только баба успѣла произнести еще нѣсколько необыкновенно задорныхъ словъ. Это была полная, румяная, разбитная солдатка Василиса съ черными плутовскими глазами. При взглядѣ на нее Мартинъ Лукьянычъ, и безъ того сердитый, еще болѣе насупился. Онъ приподнял картузь и процѣдилъ «здрасте», на что послѣдовалъ гулъ привѣтствій. Тѣмъ временемъ староста Ивлій бочкомъ подъѣхалъ къ толпѣ и, опасливо взглянувъ на Мартина Лукьяныча, шеннулъ возлѣ стоящему старику:

— Зачѣмъ Василису-то принесло? Смотрите, въ гнѣвъ не введите: серчаетъ страсть!

Старикъ тотчасъ же нырнулъ въ толпу, и тамъ и сямъ тихо и возбужденно заговорили:

— За Гараськой блюдите... Гараську, дьявола, напередъ не пускайте!... Сердить!... Василиску-то дерните... Ахъ, пропасти на нее нѣту!

— Ты зачѣмъ здѣсь?—спросилъ Мартинъ Лукьянычъ Василису.

— Что-жь, Мартинъ Лукьянычъ,—бойко затараторила баба, успѣвшая плутовски подмигнуть Николаю, отчего тотъ покраснѣлъ и отъѣхалъ за толпу, — доколѣ же безъ земли-то мнѣ оставаться? Ужели мужикъ-то мой обѣвокъ въ чистомъ полѣ? Чать, гнули, гнули хребты-то на господѣ, а тутъ до чего довелось—и земельки не даютъ. То ли мы воры какіе, то ли нашей заслуги не было? Все му міру землю даешь, а мнѣ—на поди, ни пядени! Мнѣ, чать, съ дѣтьми-то малыми пить-ѣсть надо. Мужикъ на службѣ, не родимца ему тамъ дѣлается, а я все равно, что вдова—вся тутъ!

— Староста! — крикнулъ Мартинъ Лукьянычъ, — зачѣмъ она здѣсь?

Выступилъ тщедушный сѣденьгій старичокъ, съ мѣдною медалью на груди и съ заплатаннымъ треухомъ въ рукахъ.

— Вотъ пришла, отецъ,—прошамкалъ онъ, улыбаясь деснами.— Мы говорили, зачѣмъ? Сказано: нѣтъ тебѣ земли. Ну, она приволоклась. «Подайте, говорить, мою часть». А какая ея часть? Вѣдь, отъ твоей милости прямо сказано, чтобъ не давать.

Вдругъ черноволосый, румяный, съ блестящими бѣлыми зубами,

молодой мужикъ, до сихъ поръ стоявшій позади, рѣшительно на-
двинулъ картузь на голову и началъ расталкивать локтями стари-
ковъ, употреблявшихъ всё усилія, чтобы отгѣснить его въ тол-
пу... «Куда, дѣшій, прешь? — заговорили со всѣхъ сторонъ въ
полголоса, — уймись! Осадите его, старички!... Дядя Арсеній, чать,
ты отецъ, наступи ему на языкъ-то — больно длиненъ!... Бартузь-
то сними, оглашенный!...»

— Остынь, Гараська!... Тебѣ говорю — остынь! — сказалъ дя-
дя Арсеній, хватая Гараську за полы.

— Не тронь, батюшка, не глупѣе другихъ! — огрызнулся тотъ
и, сразу поднявъ голосъ до крика, набросился на старосту: — Бакъ
ты можешь такъ разсуждать? Какой ты послѣ этого міру слуга, ста-
рый чортъ? Тебѣ какое дѣло, что управитель сказалъ?... Барыня
землю всему міру сдаетъ, а ужъ это дѣло наше, кому какую часть
на жребій положить... Мы на міру всё равны. Ахъ, ты, продажная
твоя душа!

— Можеть, сколько на нихъ горбы-то гнули! — подхватила
Василиса, въ свою очередь наступая на старосту. — Что твои сно-
хи въ конторѣ полы моютъ, такъ ты и виляешь нашимъ-вашимъ?...
Я твоей Акулькѣ еще рано глаза-то выцарапаю... Ты, старый па-
раликъ, за какія такіа дѣла трескаешь чай въ конторѣ?...

— Ну, будя теперъ война! — пробормоталъ староста Ивлій и
укоризненно помоталъ головой на мужиковъ.

— Ребята, гоните ее въ три шеи, — насильственно-спокойнымъ
голосомъ сказалъ Мартинъ Лукьянычъ.

Поднялся невообразимый шумъ. Василису схватили подъ руки
и поволокли изъ толпы. Она отбивалась и пронзительно визжала.

— Митревна, Митревна, — сказалъ ей староста Ивлій, увѣрив-
шись, что Мартинъ Лукьянычъ не смотритъ въ его сторону, — ты
хоть міръ-то пожалѣй!

Одни кричали на Гараську, другіе — на его отца, беспомощно
разводящаго руками.

— Эка баринъ выискался! — горланилъ Гараська, размахивая
руками, но избѣгая, однако, смотрѣть на Мартина Лукьяныча. —
Авось, крѣпостныхъ-то теперъ нѣту!

Мартинъ Лукьянычъ подозвалъ Ивлія, что-то сказалъ ему и,
махнувъ конторщику и Николаю, уѣхалъ съ ними. Суматоха стих-
ла; всё мало-по-малу успокоились. Гараська, въ картузь набе-
решь, сидѣлъ, поджавши подъ себя ноги, и, злобно посмѣиваясь,
крутилъ цыгарку; красный платокъ Василисы видѣлся далеко по
дорогѣ въ деревню...

Но тутъ староста Ивлій объявилъ, что Гараскиному отцу, Арсенію Гомозкову, земли давать не приказано. Вновь поднялся страшный шумъ. Гарасьва вскочилъ и закричалъ еще яростнѣе, чѣмъ прежде. Дядя Арсеній совѣмъ растерялся.

Проѣхавъ версты двѣ шагомъ, Мартинъ Лукьянычъ пришелъ въ себя и совершенно успокоился.

— Эка народецъ!—выговорилъ онъ.

— Избаловались, если хотите знать,—пискнулъ Агей Данилычъ.—А! какое слово сказалъ: «врѣстныхъ теперь нѣту»! Лучше было, дуракъ, лучше было. Заботились о тебѣ, о дуракъ!

— Да что онъ за солдатку-то всунается? Ему-то что?

— Тутъ, папенька, кажется, романъ, — робко сказалъ Николай.

— Гм... Ну, ничего, пускай ихъ безъ земли останутся. Экой грубиянъ! Вѣдь, попрежнему, что съ нимъ съ эдакимъ дѣлать? Одинъ разговоръ—въ солдаты,

— Онъ, папаша, очень ужъ работникъ хорошій: когда на покосъ, всегда первымъ идетъ. Или скирды власть... ужасно ловко верха выводитъ.

Мартинъ Лукьянычъ промолчалъ на это и немного спустя сказалъ:

— Дай-ка закурить, Николая! Агей Данилычъ, ты нонче притотовь-ка списокъ, кому овесъ сѣять,—завтра надо, Господи благослови, и повѣщать. Фу, благодать какая стоять!

Около сада, на обширномъ лугу вилаась кольцомъ плотно убитая дорожка. Это была такъ называемая «дистанція» для испытанія рысистыхъ лошадей. Въ самомъ центрѣ круга стояла бесѣдка. На ея ступеняхъ сидѣлъ теперь, опираясь подбородкомъ на костыль и задумчиво смотря вдаль, конюшій Капитонъ Аверьянычъ.

Мартинъ Лукьянычъ слѣзъ съ сѣдла и подошелъ къ нему. Они пожали другъ другу руки. Слѣзли затѣмъ съ лошадей и Агей Данилычъ съ Николаемъ. Тому и другому Капитонъ Аверьянычъ протянулъ указательный палецъ лѣвой руки.

— Какъ дѣла? Овесъ гошается сѣять?—спросилъ онъ.

Мартинъ Лукьянычъ сказалъ и тоже сѣлъ на ступеньку бесѣдки. Агей Данилычъ и Николай стояли и держали лошадей.

— Ну, а у васъ что?—спросилъ Мартинъ Лукьянычъ.

— Да что, Варεоломеева прогнать придется. Какіе съ нимъ призы!

— Я давно вамъ говорилъ. Какъ же теперь быть?

— Слышно, что Ефимъ отъ Воейкова отошелъ. Грубъ онъ и часомъ пьеть, но, по крайности, дѣла своего мастеръ. Придется послать за нимъ.

— Что-жь, пошлемъ. Эдакъ, значить, въ июнѣ не поведемъ Броника въ Хрѣновое?

— Куда поспѣтъ! Къ лошади нужно примѣниться. Я ужь давно замѣтилъ — Онисимъ ему ходъ скрутилъ. Съ начала зимы прикидывали 6 минутъ 10 секундъ, а постомъ гляжу—6 м. 18 с. Что Богъ дастъ на тотъ годъ, пятилѣтвомъ.

— Ну что-жь, пошлемъ за Ефимомъ, а на тотъ годъ, дастъ Богъ, и оберемъ призы. Я давно вамъ говорилъ, что Онисимъ—дрянь.

Всѣ помолчали.

— Вотъ ты, фармазонъ,—сказалъ конюшій Агею Данилычу,—смотри, велелѣпіе какое... Что есть красно и что есть чудно!—и онъ неопредѣленно махнулъ рукою въ пространство.

Передъ вечеромъ во флигель къ управителю пришелъ Арсеній Гомозковъ съ сыномъ Гараською. Мрачно нахмуреннаго и кусающаго себѣ губы Гараську онъ оставилъ въ сѣняхъ, а самъ явился передъ Мартиномъ Лукьянычемъ, долго молилъ его и ваялся у него въ ногахъ. Наконецъ, вышелъ въ сѣни, умоляющимъ шепотомъ что-то долго говорилъ съ Гараськой и вмѣстѣ съ нимъ вошелъ опять въ комнаты. Тѣмъ временемъ Мартинъ Лукьянычъ послалъ за чѣмъ-то Николая къ Фелицатѣ Никаноровнѣ, кухарку Матрену отправилъ за мукою на мельницу и остался одинъ. Гараська какъ вошелъ, такъ и остановился у порога. Видъ у него былъ угрюмый и жалкій.

— Вотъ что хочешь, то и дѣлай съ нимъ, Мартинъ Лукьянычъ,—сказалъ Арсеній, по своей привычкѣ безпомощно разводя руками,—а мы тебѣ не супротивники.

Мартинъ Лукьянычъ, не глядя на Гараську, сказалъ:

— Ну, что-жь съ нимъ толковать? Возьми вонъ въ кухнѣ вѣшникъ. Тамъ изъ лозинокъ есть. Пускай ложится...

Арсеній торопливо вышелъ. Гараська, стараясь удержать нервную дрожь и всхлипыванія въ горлѣ, началъ раздѣваться.

Вечеромъ въ контору пришли «за приказаніемъ» староста Ивлій, старшій ключникъ Дмитрій, овчаръ, мельникъ и садовникъ. Агей Данилычъ записалъ дневную выдачу и приходъ продуктовъ. Мартинъ Лукьянычъ ходилъ по конторѣ, заложивши руки за спину, и задумчиво курилъ папиросу, выпуская дымъ колебками. На завтра все было приказано.

— Да, я и забылъ,—вдруг останавливаясь, сказалъ онъ старостѣ,—пусть Арсенію жеребій положить. Сколько онъ записалъ подѣ яровое?

— Три десятины-съ.

— Ну, пусть. Ступайте съ Богомъ.

— Тамъ мужики къ вамъ пришли,—доложилъ мельникъ Демидычъ, оглянувшись на дверь.

— Что тамъ? Здрате. Что вамъ нужно?

Вошли мужики, въ томъ числѣ и Арсеній Гомозковъ.

— Бѣ вашей милости, Мартинъ Лукьянычъ; пожалуй намъ овсеца взаймы. Обсѣяться нечѣмъ. Кое на подушное продали, кое въ извозѣ, а годъ, самъ знаешь, какой былъ. Заставь Бога молить.

— Агей Данилычъ, хватить у насъ овса до новаго урожая?

Конторщикъ отвѣчалъ утвердительно.

— Сколько же вамъ?

— Да намъ бы, вотъ, коли милость ваша, по три четверти на дворъ. Дядя Арсеній, тебѣ сколько?

— Мнѣ—пять, Мартинъ Лукьянычъ,—неувѣреннымъ и робкимъ голосомъ сказалъ Арсеній,—мнѣ безъ пяти четвертей дѣлать нечего. Не обезсудьте.

— Ну, что-жь... Отпусти, Дмитрій. Запиши, Агей Данилычъ, въ книгу. Смотрите только—къ Покрову отдать! Ступайте съ Богомъ.

Ночью собиралась первая гроза и гдѣ-то вдали неясно грохоталъ громъ. Бѣспкимъ и мирнымъ сномъ спала усадьба. На мельницѣ лѣниво и тоже какъ будто съ просонья шумѣла вода, пущенная мимо колесъ. Одинъ Николай не спалъ. Долго онъ ворочался на своей постели и безпокойно прислушивался. Разныя мысли лѣзли ему въ голову: о томъ, что нехорошо *до крови* бить людей, о томъ, что у него новые сапоги, что Агей Данилычъ странный человекъ, и т. п... А посреди этихъ безпорядочныхъ мыслей грезился ему захватывающій степной просторъ, звенѣли въ ушахъ журавлиные крики и трели жаворонка, мельгало смуглое лицо Груньки Нечаевой и что-то сладкое, счастливое, томительное стѣсняло грудь и вызывало на глаза странныя, безпричинныя слезы.

На другой день изъ волости привезли почту; между прочимъ, было письмо Фелицатѣ Никаноровнѣ изъ Петербурга. Бояющій, въ ожиданіи письма отъ сына, давно сидѣлъ у Мартина Лукьяныча и, не получивъ, сдѣлался мрачнымъ, поскрипывалъ зубами, гудѣлъ, но не уходилъ, куда ему слѣдовало. Мартинъ Лукьянычъ нетерпѣ-

ливо шагала по комнатѣ, безпрестанно посматривая въ окно. Даже сидѣвшій въ отдаленіи Николай испытывалъ нѣкоторое безнокое-ство. Дѣло въ томъ, что барыня обыкновенно писала, въ одно и то же время, и управителю, и экономѣ, а теперь управителю не было письма, и вотъ, пославши конторщика къ Фелицатѣ Никаноровнѣ, всѣ ждали, нѣтъ ли чего новаго и важнаго. Фелицата Никанорова не замедлила прибѣжать, — она всегда ходила какою-то кропотливою мелкою рысцей. Это была маленькая, тщедушная старушка, въ темненькомъ платицѣ, съ живыми движениями и прозрачно-желтымъ въ мельчайшихъ морщинкахъ лицомъ. Въ ея рукахъ бѣлѣлось уже распечатанное и прочитанное конторщикомъ письмо отъ барыни. Истиво перекрестившись на образа, она поздоровалась, съѣла и внезапно всхлинула.

— Или что нехорошее пишутъ, Фелицата Никаноровна? — тревожно спросилъ Мартинъ Лукьянычъ.

— Что!... Видно, и новѣйшее лѣто не приведетъ Создатель господъ повидать, — сказала Фелицата Никаноровна. — Лизанька захворала.

Управитель въ значительной степени успокоился: это не касалось хозяйства.

— Что съ ними приключилось? — спросилъ онъ, дѣлая участливое лицо.

— Пишутъ ихъ превосходительство: пезапно, незнапно стряслось. Все думали въ деревню, а нѣ докторъ въ Италію посылаетъ. Подробно-то не описываютъ, — ну, а видно, сколь обезпокоены. Тутъ и вамъ, батюшка, есть мѣстечко: недосужно писать-то въ особицу, очень грустятъ. Еще бы, Господи! барышня на выданьи, только женишка бы подыскать, — да развѣ станеть за ними дѣло? — а тутъ этакое произволеніе!

Она вынула платокъ, свернула его комочкомъ и вытерла свои слезящіяся глазки.

— Очень ужъ докторамъ вѣрили, — замѣтилъ Мартинъ Лукьянычъ, благоговѣйно погружаясь въ чтеніе письма.

Онъ теперь совершенно успокоился: объяснилось и то, почему барыня не написала ему отдѣльно.

— А какъ же наукамъ не вѣрить? — выговорилъ Капитонъ Аверьянычъ, изъ гордости не рѣшавшійся спросить, нѣтъ ли чего о сынѣ; — Ученому человѣку нельзя не вѣрить. Вотъ хоть бы взять Ефрема Капитоныча...

— Ну, батюшка, ты ужъ лучше не говори про своего самовольника! — встрепенулась Фелицата Никаноровна и даже румянецъ

проступилъ на ея крошечномъ личикѣ, — хорош! куда хорош! Послушай-ка, что госпожа-то нишетъ.

— Что такое? — спросилъ Капитонъ Аверьянычъ, напрасно стараясь придать равнодушное выраженіе внезапно дрогнувшему лицу.

— Какъ же! Заботятся о немъ, ихъ превосходительство комнату ему приказали дать... Да не подумайте, Мартинъ Лукьянычъ, какую-нибудь комнату, — гувернерскую! (Ричарду-то, слава Богу, прогнали!). Мало того, смилостивились и въ харчахъ: позволили съ кастеляншей за однимъ столомъ кушать. И вдругъ, ѣдетъ къ нему Климонъ Алексѣичъ, — самого дворецкаго изволили послать! — а твой дебоширъ чуть не въ шею его! Каково вамъ это покажется?

Капитонъ Аверьянычъ въ свою очередь успокоился: ему представилось, что онъ услышитъ что-нибудь ужасное.

— Ну, ужъ и въ шею! — проговорилъ онъ недоувѣрчиво. — Ну-кось, прочитайте, Мартинъ Лукьянычъ, что онъ тамъ натворилъ?

Управитель прочиталъ.

— Невѣжливо обошелся, а вы говорите — въ шею! Само собою — гордецъ; не будь онъ студентъ Императорской академіи, конечно, слѣдовало бы всыпать горячихъ. Но вотъ, подико-сь, — достигъ! Своимъ умомъ добился. Года три пройдетъ, отецъ — то мужикъ останется, а онъ, эва! дворянинъ. Не таковский Ефремъ Капитонычъ. Коли ужъ драть, надо было съ издѣтства въ это вникнуть, а ужъ въ Императорскую академию влѣзъ, — поздно.

Капитонъ Аверьянычъ высказалъ это, какъ будто осуждая сына, но въ его голосѣ и въ выраженіи лица сквозило тайное удовольствіе, и Фелицата Никаноровна полнѣйшее право имѣла подумать: «ты и самъ-то такой же самонадѣянный!»

Мартинъ Лукьянычъ дочиталъ письмо и, бережно сложивъ его, возвратилъ Фелицатѣ Никаноровнѣ.

— Насчетъ коннаго заводу нѣтъ приказаній? — спросилъ конюшій.

— Ничего, Капитонъ Аверьянычъ, — отвѣтилъ управитель. — Приказываютъ лошадей не готовить, больше ничего. Приѣзда не будетъ. Деньги велѣно высылать... какъ его городъ-то? — дозвольте, Фелицата Никаноровна на минуточку, — во Флоренцію. Значить, въ Итальянское государство. Придется изъ Воронежа трансфертомъ.

Николай сидѣлъ тутъ же и сначала прислушивался, а потомъ сталъ развертывать *Смысл Отечества* и просматривать фельетоны и то, что напечатано мелкимъ шрифтомъ. Онъ былъ радъ, что гос-

пода не прїѣдутъ. Правда, онъ только еще годъ какъ жилъ съ отцомъ и, слѣдовательно, узнать господъ ему не было случая, но живя у тетки, верстахъ въ шестидесяти отъ Гарденина, ему приходилось прїѣзжать къ отцу и гостить здѣсь, когда были господа, и онъ очень хорошо помнилъ то чувство приниженности и опасливаго настроенія, которое овладѣвало тогда усадьбою. Помнилъ, какъ отецъ водилъ его на поклонъ къ господамъ, заставлялъ шаговъ за двадцать отъ барскаго дома снимать шапку, цѣловать ручку у генеральши, почтительно вытягиваться и опять-таки снимать шапку при встрѣчѣ съ барчуками и съ барышней. Помнилъ, какъ и отецъ, и такой уважаемый и важный человекъ, какъ Капитонъ Аверьянычъ, стояли въ вытяжку и съ обнаженною головой не только когда барыня говорила съ ними, но когда просто проходила мимо, и какъ при ея отъѣздѣ и прїѣздѣ они раболѣпно цѣловали у ней ручку. Все это Николаю, воспитанному на глухомъ и свободномъ отъ барскаго вмѣшательства теткинѣмъ хуторѣ, представлялось ужасно неприятнымъ.

Впрочемъ, одна лишь Фелицата Никаноровна искренно была огорчена, что господа не прїѣдутъ. Мартинъ Лукьянычъ и конюшій, видимо, огорчались только изъ приличія. Это не значило, чтобъ они были рабы лукавыя. Напротивъ, оба какъ бы срослись съ помѣстьемъ, добросовѣстнымъ и честнѣйшимъ образомъ покладали душу на его процвѣтаніе. И немудрено. Конюшій происходилъ изъ вѣрныхъ; былъ еще купленъ свекромъ Татьяны Ивановны у извѣстнаго воронежскаго помѣщика и коннозаводчика Домогацкаго, вмѣстѣ съ рысистымъ жеребцомъ Недотрогой Первымъ (огуломъ за 1,200 рублей ассигнаціями); а управитель, хотя и происходилъ изъ мценскихъ мѣщанъ, однако, мало напоминалъ «искови-бе вольнаго человека», какъ любилъ иногда говорить о себѣ. Оба были весьма преданные люди. Но эта преданность только отчасти относилась къ господамъ Гарденинымъ, а главнымъ-то образомъ и по преимуществу: у Мартина Лукьяныча — къ гарденинскому хозяйству, у конюшаго — къ гарденинскому конному заводу. Совѣмъ другое дѣло Фелицата Никаноровна. Свою часть она тоже очень цѣнила и, пожалуй, не мало гордилась «гарденинскими индѣйками» и особою породой куръ, заведенною еще лѣтъ сорокъ тому назадъ, но смыслъ то ея жизни былъ только въ семейныхъ радостяхъ и печаляхъ господъ Гардениныхъ.

— Вотъ, папенька, пишутъ, какъ ведется хозяйство въ Помераніи, — сказалъ Николай, воспользовавшись тѣмъ, что въ разговорѣ старшихъ наступилъ перерывъ.

— Ну, что же изъ этого?—съ пренебреженіемъ спросилъ Мартинъ Лукьянычъ.

— Очень ужь будто бы хорошо. Огромный доходъ и все отлично дѣлается. По агрономіи.

— Пжюнь, братъ! все это вздоръ. Нѣмчуришки хвастаться горазды, а въ газетахъ и рады пропечатать.

— Охъ, ужь подлинно, батюшка, что горазды,—воскликнула Фелицата Никаноровна,—теперь подумаю: Ричарду прогнали, а Адольфъ Адольфыча оставили... Къ чему? То ли дѣло обоихъ бы, шаромыжниковъ...

— Агрономы! — насмѣшливо выговорилъ Капитонъ Аверьянычъ,—любопытно бы посмотрѣть на нихъ безъ нашего-то хлѣба. Жрали бы эту... какъ ее? вику, что ли! Воля была, сколько, вѣдь, этихъ агрономовъ господа повыписали: Павловъ, Савельевъ... У Павлова какой заводъ изгадили, Савельевъ, спасибо, въ-время догадался, разогналъ. И, вѣдь, какую араву! Павловъ-то человѣкъ сорокъ, кажется, махнулъ!

— Что-жь, не въ похвалбу сказать... Помните, Константинъ Ильичъ, царство имъ небесное?—произнесъ Мартинъ Лукьянычъ.—Какъ настаивали изъ Саксоніи нѣмцевъ выписать. Изъ Саксоніи нѣмцевъ, а отъ Бутенопа—машины. Не надо, доглядываю, ваше превосходительство! Извольте обождать, все оборотится на прежнее. Буда тебѣ какъ горячились!

— Ань и оборотилось!

Мартинъ Лукьянычъ съ достоинствомъ выпрямился.

— Зачѣмъ же нѣмцы, спрашивается? Почему—Бутенопъ? Конечно, я не ровняю съ прежнимъ. Но это потому, что грустно за нихъ, анафемовъ. Теперь я какъ смотрю на мужика?—очень хладнокровно. А попрежнему мнѣ во всякую мелочь нужно было вникнуть: и жену не бьетъ ли, и не пьянствуетъ ли, и въ-время ли на своемъ полѣ убрался, и почитаетъ ли отца-мать. Словно за малымъ ребенкомъ ухаживали. Ну, что-жь, не понравилось—какъ угодно. Наша изба съ краю.

Капитонъ Аверьянычъ одобрительно помычалъ, простился и ушелъ.

— Да, тяжело вольному человѣку,—задумчиво выговорила Фелицата Никаноровна,—сколько горестей! Вотъ Ефремъ. Будь крѣпостные, ну, отдали его въ Хрѣновое въ коновальскую школу, кончилъ бы, воротился къ отцу—къ матери. И господамъ-то на пользу. А тутъ на: изъ Хрѣновой въ Харьковъ, изъ Харькова, не унялся, въ столицу шмыгнулъ. Легкое ли дѣло!... Обдумывай, хло-

почи, тянись, мать плачетъ. А ужъ за господами все, бывалоче, обдумано. Отраднo это, милые мои, когда воли своей не имѣешь, — охъ, какая забота снимается!

— Ну, ужъ нѣтъ-съ, — съ горячностью вскрикнулъ Николай, — легче, кажется, удавиться!

Отецъ строго посмотрѣлъ на него и сказалъ:

— Помолчи. Не вламывайся зря. Смотри у меня, братъ...

— Ну, что вы, Мартинъ Лукьянычъ?... Юноша! Господь съ нимъ, — проговорила Фелицата Никаноровна и ласково поглядѣла на сконфуженнаго и оробѣвшаго Николая. — Что, Ни́колушка, привыкаешь, голубчикъ, къ хозяйству? Не скучаешь безъ тетеньки?

— Привыкаю-съ. Я у тетеньки тоже занимался, Фелицата Никаноровна.

— Чѣмъ ты тамъ занимался? Баглуши билъ, — прервалъ его отецъ. — Тридцать десятинокъ распашки, чѣмъ тамъ можно заниматься? И сестра-то Анна баглуши бьетъ, и ты билъ. Спросите его, что они зимой дѣлали? Либо мотки разматывали, либо романы читали. Валяеть ей съ утра до ночи Ринальдо-Ринальдини какого-нибудь, а старая дура плачетъ. Я самъ люблю чтеніе, но развѣ это занятіе? Только и хорошаго, что насобачился читать прекрасно. Не повѣрите, лучше меня, право. И пишетъ превосходно.

— Ты бы, голубчикъ, пришелъ какъ-нибудь изъ Филарета мнѣ почитать. А я тебя пастылкой угощу.

— Слушаю-съ, Фелицата Никаноровна.

— Ничего, ничего, пріучается, — продолжалъ Мартинъ Лукьянычъ благосклоннымъ голосомъ, — глупъ еще, горячъ. Осенью, смотрю, стадо коровъ загналъ. Чье? — спрашиваю. — Нашихъ, гарденинскихъ. — Зачѣмъ же? — На зеленяхъ ходили. — Да, болванъ, говорю, зелена-то, вѣдь, мерзлыя? — Мерзлыя. — Вреда нѣтъ? — Вреда нѣтъ, да не пускай на барское. Ну, взялъ его, пощипалъ маленько, велѣлъ выпустить.

Фелицата Никаноровна засмѣялась и сказала:

— Да ужъ, Ни́колушка, слушайся папашеньки. У господъ Гардениныхъ отродясь было безъ обиды, за то Господь и посылаетъ сторицею, — и, добавивъ со вздохомъ: — только вотъ Лизанька-то обмоглась бы... — торопливо приподнялась, попрощалась и побѣжала къ себѣ.

— Какъ же, папаша, — обиженнымъ тономъ заговорилъ Николай, — ѣдемъ мы съ вами на дрожкамъ и вдругъ вижу на барскихъ жнивахъ ихняя скотина. Пастухъ сидитъ какъ ни въ чемъ не бывало, въ жилейки играетъ. Увидалъ васъ, вскочилъ, захопалъ

кнутомъ, будто сгоняетъ скотину. А мы проѣхали, я оглянулся: онъ закинулъ кнутъ за плечо и опять въ жилийки, а скотина какъ была, такъ и осталась на барской землѣ. Хорошо вы не оглянулись!

— Вотъ и вышелъ дуралей. А я безъ тебя-то не зналъ? Онъ долженъ страхъ имѣть. Онъ его и имѣетъ. Видитъ, что управитель, онъ и бѣжить сломя голову. А зачѣмъ ему сгонять, коли нѣтъ вреда и я молчу? Вотъ захвати ты его въ хлѣбѣ или рядомъ съ барскимъ скотомъ, ну, тогда иное дѣло. Да и то не загонять, а полыснуть его хорошенько нагайкой, онъ и опомнится. Къ чему? Олнодворцы запустятъ—загоняй. Этихъ нечего баловать. А своихъ никакъ не моги. Свои приучены, чутьемъ знаютъ, куда можно пустить, куда нѣтъ. Вотъ выгонъ около деревни. Выгонъ-то нашъ, а скотина на немъ по всякій часъ мужицкая. По-твоему какъ: загонять? штрафы брать? (Николай промолчалъ). Вотъ то-то и есть. Безъ барскаго выгона мужикамъ прямо петля. Зачѣмъ же мы будемъ зря петлю-то затягивать? Понадобится—затянемъ, а пока Богъ съ ними. Развѣ есть надобность людей обижать, разсуди-ка? Нужно, чтобъ люди изъ повиновенія не выходили, чтобъ господамъ отъ нихъ польза была, а обижать, Никогда, никого не слѣдуетъ. Скажу не въ похвальбу: хотя же покойникъ баринъ и разгнѣвался тогда, что я землемѣру Стервятникову подарилъ корову и выдалъ въ видѣ взятки пятьдесятъ рублей, но потомъ неоднократно спасибо мнѣ говорилъ. Деревня у насъ вотъ гдѣ (Мартинъ Лукьянычъ сжалъ кулакъ). Если стиснуть—пошевелиться невозможно. Однимъ водопоемъ можно со свѣту сжить. Но я этого никакъ не желаю. Ты видишь, какъ я обращаюсь съ народомъ? Подочти-ка, сколько долговъ ропущено. Нѣтъ такого двора. Ни въ чемъ нѣтъ отказу. Разумѣется, богачъ Шашловъ не осмѣлится ногой ступить на барскій дворъ... За то и намъ не отказываютъ. Пожалуй, вонъ господинъ Головятниковъ до того дошелъ: дѣвки на Троицу въ его степь за цвѣтами пошли—штрафъ! Не говоря ужъ о ягодахъ или въ лѣсъ по грибы и по орѣхы. И глупо. У меня за всѣмъ ходи. Конечно, чтобъ на глаза не попадались, имѣли страхъ. И что же выходитъ? Головятникова жгутъ, Головятниковъ судится, у Головятникова въ сентябрѣ пшеница стоитъ некошенная, а у насъ, братъ, все слава Богу, все во-время. И много дешевле другихъ. Такъ-тоса, дурачокъ!...—и, помолчавъ, прибавилъ со вздохомъ:—Ахъ, дѣти, дѣти...

Тѣмъ временемъ Капитонъ Аверьянычъ зашелъ за конторщикомъ и пригласилъ его съ собою составлять письмо къ сыну.

Но нужно рассказать объ Агеѣ Данилычѣ. Какъ уже извѣстно

читателю, онъ слылъ въ Гарденинѣ за вольнодумца и безбожника. Но его вольнодумство не только никого не заражало, а никого и не возмущало. Трудно сказать—почему. Такъ ужъ было принято—извинять Агея Данилыча и смотрѣть на него, какъ на чудака. Съ другой же стороны, со стороны его честности и письменныхъ познаний, всѣ очень цѣнили и уважали его. Уважала и цѣнила даже Фелицата Ниганоровна, кѣторая одна изъ всего Гарденина не смѣялась надъ его «продерзостными словами» и неизмѣнно отплевывалась и крестилась, когда онъ въ ея присутствіи,—что случалось, однако, очень рѣдко,—извергалъ ихъ. Тѣмъ не менѣе, только Агей Данилычъ писалъ ей письма къ барынѣ, былъ посвящаемъ во всѣ интимности гарденинской семьи. Впрочемъ, гарденинскія преданія смутно упоминали, что, помимо умѣнья Агея Данилыча краснорѣчиво владѣть перомъ и помимо его примѣрной скромности, были и особыя обстоятельства, вслѣдствіе которыхъ Фелицата Ниганоровна относилась къ нему мало того, что съ довѣріемъ, но и съ глубокою нѣжностью. Кое-кому изъ старожиловъ было извѣстно, а иные слышали отъ отцовъ, что нѣкогда камердинеръ Агей питалъ любовную страсть къ нянюшкѣ Фелицатѣ,—это относилось приблизительно къ двадцатымъ годамъ текущаго столѣтія; извѣстно было и о печальной развязкѣ этого крѣпостнаго романа, о томъ, какъ былъ жестоко наказанъ и сосланъ въ орловскую деревню камердинеръ Агей, какъ онъ приставленъ былъ пасти свиней, одѣтъ въ лапти и въ посконную рубаху. Послѣ Фелицата обратилась въ Фелицату Ниганоровну, прилѣпилась всею душой къ барской семьѣ и на вѣкъ осталась дѣвицей, Агей же произведенъ былъ въ конторщики и тоже никогда не помышлялъ о женитьбѣ. Отъ природы угрюмаго и сосредоточеннаго нрава, Агей Данилычъ со времени своего несчастья въ особенности сдѣлался нелюдимымъ, полюбилъ уединеніе и мечты, сталъ углубляться въ книги. Приближенный въ качествѣ камердинера къ барину,—тому самому Ильѣ Юрьевичу, съ которымъ «гнѣвный императоръ Павелъ за однимъ столомъ кушалъ», Агей перенималъ отъ него взгляды и понятія достаточно кощунственные. Илья Юрьевичъ въ свое время славился по этой части, хотя за столомъ «гнѣвнаго императора», конечно, славился и по другимъ частямъ. Затѣмъ, въ старомъ и давно покинутомъ орловскомъ домѣ Агею Данилычу случилось найти сочиненія Вольтера, переложенныя на русскій языкъ еще при Екатеринѣ; *Иума Маттея*, книжку, изданную въ Москвѣ въ 1802 году и тогда же запрещенную; еще десятка два затхлыхъ, заплеснѣвъшыхъ томиковъ въ прочныхъ кожаныхъ переплетахъ, на толстой синеватой

бумагъ, написанныхъ тѣмъ наивно-свободнымъ и увѣреннымъ языкомъ, которымъ столь извѣстенъ понесть XVIII вѣка. Съ тѣхъ поръ Агей Данилычъ ужь и не разставался съ этими книгами, рѣшительно пренебрегая всякими другими позднѣйшаго происхожденія. Среди гарденинской двора онъ держался одиноко, замкнуто; рѣдко, рѣдко проявлялась въ немъ потребность общительности, но и тогда онъ, вмѣсто того, чтобы идти куда-нибудь въ гости, предпочиталъ посидѣть въ такомъ публичномъ и свободномъ мѣстѣ, какъ застольная. У него же въ каморкѣ никто и никогда не бывалъ и, обыкновенно, если приходили за нимъ по дѣлу, то лѣтомъ стучали въ окно, а зимою останавливались у запертыхъ изнутри дверей и говорили: «Агей Данилычъ, въ контору, управитель требуетъ!» или: «Капитонъ Аверьянычъ зоветъ!» или: «Пожалуйте, Агей Данилычъ, къ Фелицатѣ Никаноровнѣ письмо писать!»

Въ письмѣ къ сыну Капитонъ Аверьянычъ, прежде всего, велѣлъ помѣстить, что «родители огорчены тѣмъ, что онъ разгнѣвалъ ихъ превосходительство и былъ столь дерзокъ съ уважаемымъ барскимъ слугою, который не даромъ же отличенъ и превозвышенъ». Послѣ этого слѣдовалъ совѣтъ: поскорѣе, пока господа не уѣхали за границу, попросить прощенія у генеральши, ибо «ласковое теле двухъ матокъ сосеть» и «плетью обуха не перешибешь». Затѣмъ шли обычные увѣщанія; одинаковыя во всѣхъ письмахъ Капитона Аверьяныча: вѣровать въ Бога, почаще ходить въ церковь, слушаться начальниковъ и наставниковъ, почитать старшихъ, беречь копейку на черный день, не водиться съ дурными людьми, не пить хмѣльнаго и, по заповѣди «чти отца и мать твою», всячески помнить родителей. Бое-что изъ этихъ увѣщаній рѣшительно противорѣчило взглядамъ Агея Данилыча, заставляло его язвительно ухмыляться, выпускать «дерзкія» словечки, нетерпѣливо вертѣться на мѣстѣ, тѣмъ не менѣе, онъ продолжалъ писать цвѣтисто и съ усердіемъ, къ полнѣйшему удовольствію Капитона Аверьяныча.

— Пиши, — говорилъ онъ, — что родители оченно умоляютъ пріѣхать повидаться, хотя же бы на одинъ денекъ... Сколько, можетъ, годовъ не видѣлись, — вѣдь, какъ уѣхалъ въ Харьковъ, такъ и канулъ! — а лѣта наши ужь не маленькія. Пиши, что очень прискорбно... и что грѣхъ столько годовъ... — Голосъ Капитона Аверьяныча дрогнулъ и пресѣкся; онъ быстро отвернулся, чтобы незамѣтно для Агея Данилыча вытереть слезинку. Впрочемъ, Агей Данилычъ не подавалъ вида, что замѣчаетъ «слабость» Капитона Аверьяныча: низко склонившись надъ листомъ бумаги, онъ рачи-

тельно выводилъ буквы и оглянулся лишь тогда, когда Капитонъ Аверьянычъ, твердымъ и насмѣшливымъ голосомъ сказалъ:

— Что, аль загнулся, фармазонъ?

— Никакъ-съ, — какъ ни въ чемъ не бывало, отвѣтствовалъ Агей Данилычъ, — и не такія цидулы можемъ составлять-съ.

Тутъ же находилась и супруга Капитона Аверьяныча, но она не осмѣливалась говорить при мужѣ, проворно шевелила чулочными спицами, краснѣла, вздыхала и тихо плакала, стараясь, чтобы слезы не падали на работу. Въ концѣ письма Капитонъ Аверьянычъ обратился къ ней съ тѣмъ же тономъ снисходительной шутовливости, какъ и къ конторщику:

— Мать, что отъ тебя-то будетъ? Написать: двадцать, мошь, дюжинъ носковъ посылаешь по телеграфу? Аль пусть пришлетъ изъ Питера колбасы жеребьячей въ подарокъ?... Вѣдь, эти студенты безперечь кобылятину ѣдятъ... Правда, что-ль, Агей Данилычъ?

«Мать» испуганно ахнула, перекрестилась и, вротко улыбаясь, сказала:—И ужь, Капитонъ Аверьянычъ... Право, что придумае-те!...—затѣмъ, всхлипывая, трепещущимъ голосомъ обратилась къ конторщику:— Напиши, батюшка Данилычъ, напиши: касатигъ мой... чадо мое однородное... да когда же, глазочекъ мой ясенъ-кій, дождусь-то я тебя?...

— Ну, ну, разрюмилась, — остановилъ ее Капитонъ Аверьянычъ, строго нахмуривая брови. «Мать» схватила чулокъ и мелкими шажками, робѣя, усиливаясь сдержатъ рыданія, удалилась за перегородку.

IV.

Хуторъ на Битюхѣ.—Агаеокъ Козель.—Какъ онъ проводилъ время.—Ареей Суко-валъ и столляръ Иванъ Ѳедотычъ.—Разговоръ о „превозвышенномъ“.—Николай оскорб-ляется.—Философія Ивана Ѳедотыча.—„Дѣлатели мади, страха и любви“.—Повѣсть о томъ, какъ Иванъ Ѳедотычъ женился на Татьянѣ.

— Николь! вели-ка запречь дрожки, съѣзди на хуторъ, — ска-завъ Мартинъ Лузьянычъ, — осмотри съ Агаеокломъ стога, обой-ди низовой лѣсъ: нѣтъ ли порубки. Вообще, посмотри, какъ онъ тамъ. Да смотри у меня, ежели у него какая компанія, — не при-ставай, онъ тебѣ не товарищъ. Ты, братъ, всячески долженъ дер-жаться въ сторонѣ отъ двора. Вотъ ходишь къ столяру, прося-живаешь до поздней ночи... Ну, это, положимъ, еще ничего: Иванъ Ѳедотычъ серьезный, самостоятельный человекъ, но съ Агаеокломъ

подалше себя держи. Недаромъ ему прозванье—Козель. Да! не забыть бы: скажи, какъ пойдешь къ Ивану Ѳедотычу, когда же онъ рамы-то парниковыя сдѣлаеть?

— Онъ, папенька, третьёво-дни шестую раму связаль.

— Вѣдь, ишь, копаются. Вотъ и хорошій, поглядѣть, человекъ, а сколь лѣнивъ, анаема. Ты пострадай его, скажи—со стороны, молю, хотять нанять. Теперь пришла весна, онъ и пойдетъ съ удочками шататься. Нынче, сказываютъ, чѣмъ свѣтъ на Битюкъ поперъ. Лѣнтяй!

Но это произнесено было Мартиномъ Лукьянычемъ безъ всякаго раздраженія, и въ выраженіи его лица, въ звукъ голоса ясно было видно, что, несмотря на лѣность и копотливость Ивана Ѳедотыча, Иванъ Ѳедотычъ былъ въ его глазахъ человекъ хотя и низшій, но все-жь-таки уважаемый и почтенный.

Николай проворно собрался, сунулъ украдкою въ карманъ горсть отцовскихъ папирозъ и по твердой степной дорогѣ отправился за пятнадцать верстъ на хуторъ. Гарденинскій хуторъ стоялъ на берегу Битюка, «на самомъ пригрѣвѣ», какъ говорили, потому что холмъ, на которомъ онъ стоялъ, склонялся къ югу. Это было тихое и очень пустынное мѣсто. Не далеко отъ него, вверху, битюцкая долина расширялась и рѣка дѣлилась на нѣсколько теченій, образуя острова съ заливными лугами и лѣсомъ. Главное течение было не у хутора, а на противоположной сторонѣ долины, въ верстѣ отъ хутора. Здѣсь же, подъ холмомъ, выгибался дугою рукавъ, образуя нѣчто вродѣ того, что на Волгѣ называютъ «затономъ». Здѣсь вода была постоянно невозмутима и гладка, какъ въ налитомъ блюдѣ. Съ холмистаго берега глядѣлись въ нее постройки хутора—веселый флигелекъ, обмазанный бѣлою глиной, плетневые варки, рубленая конюшня. Со стороны острова отражались въ ней высокіе, непролазные камыши и густой, перепутанный жирными и цѣпкими травами «низовой лѣсъ». Лѣтомъ въ этомъ лѣсу была постоянная влага, стояло непрерывное затишье, пахло сыростью, гнилью, болотными растеніями и въ сказочномъ изобиліи росла ежевика. Зимой водились волки и лисицы. Добрую половину года, съ октября до первыхъ чиселъ мая, хуторъ былъ почти необитаемъ. Только съ мая, когда выростала трава въ степи, туда пригонялись табуны. Въ июнѣ шелъ покосъ, степь оживлялась лѣсками, кострами, дружнымъ звукомъ косъ, видомъ таборовъ, копенъ и быстро возникавшихъ стоговъ. Осенью жизнь замирала, оставалось слушать, какъ шумитъ вѣтеръ, гоняя перекасти-поле по степи, какъ идутъ непрерывные, унылые дожди, бормочеть и шепчеть

вершинами оголенный лѣсъ, да смотрѣть на свинцовое небо, на поблекшую и мокрую траву, на сердито вздутый Битюкъ. Зимой еще того скучнѣе становилось на хуторѣ: сѣтробы со всѣхъ сторонъ облегали постройки, вьюги и метели наводили тоску, открытый сѣверному вѣтру лѣсъ гудѣлъ мрачно и зловѣще, по ночамъ выли волки. Вообще, звѣрье становилось до того неистовымъ, что даже среди дня подступало къ хутору и, случалось, разрывало хуторскихъ собакъ у самыхъ оконъ занесеннаго снѣгомъ флигелька. Чтобы жить здѣсь круглый годъ, не бояться волковъ, ненастья, лихихъ людей, скуки, надрывающаго шума лѣснаго и унылыхъ завываній метели, и, притомъ, чтобы жить въ полномъ одиночествѣ и уединеніи, казалось бы, нуженъ былъ человѣкъ съ особенно аскетическими наклонностями, человѣкъ, приверженный къ серьезному размышленію, къ истязаніямъ плоти, — однимъ словомъ, такой человѣкъ, который бы совершенно разочаровался въ соблазнахъ и сквернахъ міра и только бы и мечталъ о «матери - пустынѣ». А, между тѣмъ, по странному распоряженію судьбы, круглый годъ жилъ на хуторѣ — въ качествѣ прикащика, ключника и сторожа вмѣстѣ — развеселый человѣкъ, извѣстный на добрыя двадцать верстъ, въ ближнихъ и дальнихъ селахъ, подъ именемъ Козла. Былъ онъ гарденинскій крѣпостной, въ свое время оказалъ барину какую-то темную услугу, получилъ за то отпускную и вотъ эту должность на хуторѣ. И жилъ здѣсь вотъ уже лѣтъ двадцать подрядъ. Какъ только съ хутора угоняли табуны, ни работниковъ, ни кухарки не полагалось Агаюклу. Онъ самъ долженъ былъ готовить себѣ ѣду, доить корову, убирать лошадь, отгребаться отъ снѣга, осматривать и оберегать «низовой лѣсъ» и стога въ степи. Полагалось ему только шесть лихихъ собакъ да старое севастиопольское ружье. Затѣмъ въ недѣлю разъ присылали изъ Гарденина провизію и печеный хлѣбъ, въ мѣсяць разъ — жалованье, состоящее изъ синенькой бумажки.

Съ дороги, ведущей изъ Гарденина, хуторъ, хотя и стоялъ на холмистомъ мѣстѣ, открывался внезапно, совсѣмъ вблизи, потому что къ нему приходилось подѣзжать изъ лощины и у самаго хутора обогнуть невысокій бугорокъ. Николай ѣхалъ себѣ не спѣша, покуривалъ папирсы, неопредѣленно мечталъ, прислушивался къ птичьимъ голосамъ, свисту и криканью, смотрѣлъ на желтую траву, на высокое теплое небо, по которому лѣниво двигались рѣдкія весеннія облака, на долину рѣки, которая открылась передъ нимъ совсѣмъ близко отъ хутора, съ своими покраснѣвшими, оживающими лѣсами, съ затопленными лугами и полянами, съ рядомъ церк-

вей, бѣлѣвшихъ въ отдаленіи. Вотъ и повертокъ, и знакомый бугорокъ съ старою ракикой на вершинѣ... Вдругъ, обогнувши этотъ бугорокъ, шагахъ въ двадцати отъ себя, Николай увидалъ такую картину. У веселой бѣлой избы, на твердо притоптанномъ, залитомъ солнцемъ мѣстѣ Агаеокль безъ шапки въ ситцевой рубахѣ, опоясанной ниже толстаго брюха, съ балалайкой въ рукахъ, отхаживалъ «барыню». Ныряя, присѣдая и выдѣлывая ногами удивительныя штуки, онъ увивался вокругъ бойко семенящей съ платочкомъ въ рукахъ молодой грудастой бабы. Балалайка издавала подымающіе звуки; Агаеокль частою скороговоркой приговаривалъ: «Ходи изба, ходи печь—хозяину негдѣ лечь! Ахъ, барыня съ перхватомъ—подпиралася ухватомъ... А-ахъ, барыня съ переборомъ—почевала подъ заборомъ!»—и вскрикивалъ, взмахивая балалайкой: «Дѣлай, Акулька! сыпь горячихъ, въ ротъ тебѣ ягода!» Баба игриво отшатывалась отъ плясуна, наступала на него грудью, жеманно помахивала платочкомъ, манила къ себѣ, притопывала въ ладъ игры подкованными котами, приговаривала: «Охъ, що-жь, що-жь, що-жь да мой мужъ не хорошъ... Ахъ, сѣрые глаза рѣжутъ сердце безъ ножа!.. Любила я тульскихъ, любила калуцкихъ, елецкаго полюбила—сама себя погубила!» На заваленкѣ, положи кисти рукъ на согнутыя правильнымъ угломъ колѣни, какъ-то странно и неподвижно выпрямившись, сидѣлъ старикъ съ копною сѣдыхъ волосъ на головѣ, съ гладко выбритымъ, морщинистымъ лицомъ, въ пальто, подпоясанномъ веревочкой, и благосклонно улыбался на пляску. Увидавъ Николая, Агаеокль съ трескомъ «оторвалъ» аккордъ, остановился плясать и, посмѣиваясь мелкимъ рассыпающимся смѣшкомъ, переваливаясь низко подтянутымъ брюхомъ, пошелъ къ нему на встрѣчу. Его румяныя толстыя щеки такъ и тряслись, глазки щурились, почти пропадая въ лучистыхъ морщинкахъ, между алыхъ губъ виднѣлись крѣпкіе зубы съ большою щербиной въ верхнемъ ряду.

— А, Миколушка!—воскликнулъ онъ нѣжнымъ, немного пришепетывающимъ голоскомъ, оправляя на ходу свои сѣдые кудри и бородку клинушкомъ.— Другъ любезный! Тебя ли видимъ?... Твое ли распрекрасное лицо? Вотъ, матушка, какъ раздѣлываемъ... Подъ орѣхъ, чтобы не было прорѣхъ!

— А, вѣдь, никакъ великій постъ, Агаеокль Иванычъ,—смѣясь сказалъ Николай, слѣзая съ дрожекъ.

— Постъ? это точно, другъ закадычный. И великій, сказываютъ. Какъ, отецъ, великій, что-ль?—Онъ повернулся къ старику сидѣвшему въ той же неподвижной позѣ и съ тою же благосклон-

ною улыбкой, и плутовски подмигнулъ ему. И вдруг засуетился. — Ну, да что тутъ толковать по пустякамъ. Давай лошадь-то, матушка, я ее подь сарай поставлю. Агулька! подогрѣй, дура, самоваръ. Не знаешь, гость какой?—управителевъ сынъ, неотеса! Другъ, чего желаешь: яишенику? молочка? Грѣхъ, говоришь? Это точно. А-ахъ, и справедливы же твои слова, радость моя незабвенная! Ну, вотъ Иванъ Ѳедотычъ огуньковъ наловилъ, ушицу смастеримъ. Агуличка, краля моя нарисованная! свари ты, другъ милый, ушицы... да съ лучкомъ; да съ перчикомъ. И какъ разлюбезно, братцы мои, время проведемъ!—Онъ весело подмигнулъ Николаю, живая въ слѣдъ уходившей бабѣ, и, съ неумовимымъ выраженіемъ лукавства и нѣжности, сказалъ:—Хороша? Постановъ-то, постановъ-то какой, миляга! Съ Масляной у меня живетъ. Изъ Щучья.

— А прежняя-то гдѣ, Агаеокль Иванычъ? У тебя на Святкахъ никакъ другая была?

— Лукерья-то?—Агаеокль такъ и затрясся отъ смѣха. —Сбыль, голубокъ ты мой хорошенькій, сбыль! Вотъ прилипла, прилипла... ну, нѣтъ моихъ силовъ! Я вѣдь, другъ, этакъ не уважаю, чтобы очень прилипать. Съ какой стати? Погулялъ, поразсѣялся, провелъ разлюбезное время—и съ колокольни долой. Вотъ какъ, матушка, по-нашему, по-стариковски! А она — нѣтъ, Луша-то, — ей приятно, чтобъ поканителиться. Ну, что дѣлать, —пришелъ, соколь ты мой, мясоѣдъ, стали волки свадьбами ходить, я и зачни ее пужать, и зачни. Завоютъ въ лѣсу, —эге! скажу, Лукерья, чуть ли нашъ смертный часъ подходитъ, кайся, дѣвка, въ грѣхахъ... Пужаль такъ-то, пужаль—глядь, на мое счастье, волки середь бѣла дня кобеля разорвали—Орѣлку. Такъ и располосовали, мошенники, въ дрызгъ, вонь у ракиты. Гляжу, любезный человекъ, гляжу: моя Лукерья—давай Богъ ноги! Да до чего, вѣдь, сердешная, —пока я сани запрягъ, пока что, она ужъ около Выселковъ качаетъ! Эхъ, та ужъ больно тѣломъ была рыхла—тѣсто, братецъ ты мой!

— Ну, Агаеоклей, истинно про тебя сказано, что ты Козель, — произнесъ старикъ, все продолжая улыбаться и здороваясь за руку съ Николаемъ.

— Отецъ, Иванъ Ѳедотычъ, да я развѣ отрекаюсь?—сказалъ Агаеокль. —Миколушка! отрекался я когда-нибудь? Ужь извѣстно, народъ прозоветъ, такъ, недаромъ. Я и не отрекаюсь, голубъ ты мой сизой!

— И съ чего къ тебѣ женщины льнуть?—посмѣиваясь, проговорилъ Иванъ Ѳедотычъ. —Виски сѣдые, пузанъ, щербатый. Тебѣ, чай, лѣтъ подь пятьдесятъ будетъ?

— А что-жь ты думаешь, прямо будетъ пятьдесятъ годовъ. Это точно. Ну, поди-жь ты, милый человекъ, — лѣнуть! — и онъ въ веселомъ недоумѣннн развелъ руками. — Болтають про меня — присуху знаю. Обдумаютъ, что сказать? Не то что присушать — я и самъ, братцы вы мои, удивляюсь, съ чего онъ лѣзуть, дуры! Ну, на подарки я простъ, это нечего говорить. Я, вѣдь, не задумаюсь шелковый платокъ аль янтари подарить. Но все-жь таки, други мои драгоценные, удивительный этотъ народъ — бабы!

— Самъ-то ты удивительный, — сказалъ Иванъ Федотычъ и вдругъ лицо его перестало улыбаться и глаза сдѣлались вротки и задумчивы.

— Ну, я приберу лошадь. Миколушка, иди-ка въ избу, чайку пошьемъ. Иди, иди, я, братъ, не ревнивъ! А ты, Иванъ Федотычъ, какъ насчетъ чаю?

— Нѣтъ, ужъ достаточно. Вы пейте, управляйтесь съ дѣлами, а я пойду — еще съ удочкой посижу. Хочется мнѣ безпремѣнно леща поймать. Татьяна моя очень до нихъ охотница. А тогда подойду къ вамъ, похлебаю ушицы.

Агаѳоклъ опять засмѣялся, и когда Иванъ Федотычъ, сгорбившись и накрывшись старою касторовою шляпой съ изгрызенными полями, пошелъ къ рѣкѣ, — сказалъ Николаю въ полголоса:

— Разлюбезное время проведемъ, миляга! Изъ Боровой поселился Ареѳей Сукновалъ прїѣхать... Не знаешь? Умственный, грамотный мужикъ, все изъ божественнаго доискивается. Новую вѣру обдумываетъ. Ему и любопытно съ Иваномъ Федотычемъ сразиться. Это они ужъ въ третій разъ стыкаются. И-ихъ! соболекъ ты мой горностаевый, и люблю я, братецъ ты мой, стравить эдакихъ начетчиковъ, книжниковъ, мудрецовъ! За первое удовольствіе! — и, легонько толкнувъ Николая по направленію къ избѣ, добавилъ: — Иди-ка, иди, потопчись вокругъ бабы, при мнѣ-то, глядишь, не подпуститъ.

Николай покраснѣлъ и съ застѣнчивою улыбкой пошелъ къ избѣ. Вдругъ Агаѳоклъ восторженнымъ голосомъ окликнулъ его отъ сарая:

— Другъ милый, сколь хорошо! Солнышко... травка... цвѣточки... Журавлики переваливаются въ небесахъ... А-ахъ, братецъ ты мой, до чего разлюбезно жить на свѣтѣ!

Однако, Николай, увидавъ въ полурастворенную дверь согнутую фигуру бабы, раздувавшей самоваръ, почему-то застыдился, не посмѣлъ войти въ избу и, закуривъ папироску, сѣлъ на заваленкѣ. Агаѳоклъ, управившись съ лошадью, подошелъ къ нему, усѣлся рядомъ и, побалтывая ногами и посмѣиваясь, сказалъ:

— Что, аль не по скусу? Ну, ужь,—одноворка, соколъ мой, съ тѣмъ возьми! А я ихъ, признаться, страсть люблю, этихъ одворокъ. Вотъ еще, радость ты моя; есть у меня въ Боровой на примѣтъ...—Онъ искоса поглядѣлъ въ дверь и тотчасъ же измѣнилъ предметъ разговора.—Ягодка! не отвѣдаешь ли наливочки, а? рюмочку - другую? Ежевичная, андѣль мой. Нѣтъ? А я, признаться, самъ-то ее мало потребляю, но для бабъ держу: ха-а-рошая привада! И гости иные угощаются... ничего! Сколь же часты гости у меня, матушка, уму непостижимо. Что дѣлать, любить меня, старика. Ты только, миляга, папашенькѣ не болтай: страсть я его боюсь. Вотъ, братецъ мой, какое дѣло: теперь его, да еще конюшаго Бапитона я такъ и почитаю замѣсть грозы. Бричать, шумять... къ чему? что хорошаго? Я, голубенокъ ты мой прятненькій, крика никакъ не могу выносить. Я робокъ. Ежели на меня цыкнуть покрѣпче, я прямо ослабну.

— Нельзя, вѣдь, Агаеогль Иванычъ, порядокъ требуетъ.

— Порядокъ, говоришь? Вотъ это точно. Это—справедливыя твои слова. Я иной разъ на волковъ такъ-то погляжу, братецъ ты мой: вотъ разбойники зайчатъ рѣжутъ. Ну, а потомъ и подумаю: значить, порядокъ такой, значить, предустановлено. Ну, чортъ ее дери, нечего тутъ толковать! Такъ вотъ насчетъ гостей, милый человѣкъ. Ты не подумай—такой ужь я до компаніи охотникъ... А вотъ страсть моя—людей стравливать промежь себя. Вотъ на той недѣлѣ... ха-ха-ха!...—Онъ такъ и заголыхался отъ смѣха,—лебяжскій молоканинъ съ дьячкомъ изъ Щучья сразились. Ну, что-жъ ты думаешь, другъ разлюбезный. Едва рознялъ. Прямо дьячка за косу отволокъ отъ молоканина. А то еще—желейшниковъ стравливаю. Этихъ больше по веснѣ. Вотъ Пѣтапка изъ Бужновки—страшный завистной на желейкахъ играть!.. Прямо, узнаю, какой объявится мастеръ по этой части, съѣзжу и стравлю съ Потапкой. Да у меня, Миколушка, безперечь ратоборство происходитъ. Ономясь объ Масляной пѣсельниковъ стравилъ—Гаврюшку Прокуровскаго да Андришку изъ Гороховки. Здорово, подмелцы, раздѣлывали! Али насчетъ пляски... Ну, другъ, насчетъ пляски да еще балалаечной игры я вотъ что тебѣ скажу: сколько ни есть въ округѣ плясуновъ и балалаечниковъ—всѣхъ перепляшу и переиграю, ей-Богу! По правдѣ тебѣ сказать, я и за Агулькой-то больше изъза пляски погнался. Влить ей ежели стаканчика три, эдакъ чтобъ разсолодѣла,—начнетъ откалывать, уноси ты мое горе во чистое поле... Да что тутъ толковать!—Онъ сорвался съ мѣста, схватилъ лежавшую подлѣ балалайку, тряхнулъ кудрями и сдѣлалъ ловкую

выступку. — Хочешь? Ты прямо говори — желаешь? Сейчасъ въ дребезги разворочаемъ... — и какимъ-то пѣвучимъ, разгульно-изнеможеннымъ голоскомъ, прищуривая глазки, усмѣхаясь алыми, точно выкрашенными губами, вскрикнулъ: — вхи... вхи... вахи — ну! Бахи, вахи, вахикала, полну избу накликала, еще бы вахикати, да некуда кликати!.. Эй, Агулька! щеки писанныя, брови сурмленные, повадка картинная, походка павлиная!..

— Оставь, Агаюкль Иванычъ, — густо краснѣя, сказалъ Николай, — неловко какъ-то... ни съ того, ни съ сего — плясать.

Агаюкль быстро успокоился, сѣлъ и отложилъ балалайку.

— Это точно, — добродушно согласился онъ, — это справедливыя твои слова, что неловко. Ну, вотъ, братецъ ты мой, Иванъ Федотычъ меня любить. Что я и что онъ, самъ можешь понимать, другъ разлюбезный... Прямо можно сказать не ложно — божественный человекъ; а вотъ любить, въ ротъ ему малина. Ну, и я здорово ему подверженъ... ума — палата, братецъ мой. Захочется ему, эдакъ, о божественномъ поговорить, я никакъ не полѣнюсь: сейчасъ, Господи благослови, на пѣгашку, вразъ достану кто занимается эфими дѣлами. Я, птенчикъ ты мой драгоценный, даромъ что живу въ дикомъ мѣстѣ, на всю округу знаю, кто до чего охотникъ. И вотъ соберу ихъ... И имъ-то любопытно, и мнѣ потѣха. Вотъ теперъ Ареюя раздоставъ: этотъ самъ упросилъ сравить его съ Иваномъ Федотычемъ... ухъ, зазвонистый мужичишка! Послушаемъ, послушаемъ... разлюбезное, братецъ мой, время проведемъ!

Вдругъ какая-то уморительная мысль пришла въ голову Агаюкль; сдерживая душившій его смѣхъ, онъ толкнулъ Николая въ бокъ и, указавъ въ сторону рѣки, прошепталъ:

— Леща пошелъ ловить!... А-ахъ, чудеса, братъ, на свѣтѣ... Леща ли ей нужно?... Дуракъ, дуракъ! — и потомъ съ отвисшею нижней губой подмигнувъ Николаю: — Ты часто у нихъ пребываешь, какъ насчетъ Татьяны — то? У, и товаръ же, братецъ ты мой, — первый сортъ!

— Вотъ еще выдумалъ!

— Ну, чего? Ну, чего, дурашка, румянѣешь?... Хе-хе-хе! Аль я не понимаю? Бабъ есть ли двадцать годовъ, — шестнадцати онъ ее, старый тетеревъ, замужъ взялъ, — красоты — на рѣдкость поискать, и вдругъ вы бы зѣвать стали. Да что, чортъ ее дери! прямо — грѣхъ зѣвать съ такою бабой. Вѣдь, онъ весь сплюсился, сохся, Иванъ-то Федотычъ, вѣдь, Танюшѣ съ нимъ маятъ одна, а тутъ эдакъ подъ бокомъ душа-паренечекъ, въ соку, миленькій, при-

гоженькѣй... Охо-хо-хо, какая сладость, братецъ ты мой, въ вашихъ дѣлахъ съ Татьяной!

Николаю и омерзительны были слова Агаеокла о столяровой женѣ, и, вмѣстѣ, новы, интересны и завлекательны. Стыдясь почему-то разувѣрять Агаеокла, сказать правду, то-есть, что онъ никогда и не думалъ о Татьянѣ въ этомъ-то смыслѣ, что смотрѣлъ на ея красоту не то что равнодушно, а не смѣло, безъ всякихъ помысловъ, что не произнесъ съ нею десяти словъ за всѣ полгода, какъ бываетъ у Ивана Ѳедотыча, Николай притворнымъ и даже нѣсколько плутовскимъ голосомъ повторилъ: «Вотъ еще выдумалъ, Агаеоклъ Иванычъ!»—и, какъ только сказалъ это, почувствовалъ, что солгалъ, что наклепалъ что-то скверное на жену Ивана Ѳедотыча—и разсердился на себя и на Агаеокла.

— Ну, вотъ что, Агаеоклъ Иванычъ,—грубо сказалъ онъ,—мнѣ некогда съ тобой толковать: папенька приказалъ низовой лѣсъ осмотрѣть, нѣтъ ли порубки. Да стога не побиты ли у тебя чужою скотиной.

— А чайку-то, безцѣнный?

— Я пилъ. Надо дѣло дѣлать.

— Это точно, братецъ мой. Это—справедливыя твои слова. Ну, погоди, шапку сейчасъ ухвачу, поѣдемъ стога смотрѣть. Будто бы на мой взглядъ нѣтъ урону. Эй, Агуля! приглуши покамѣсть самоваръ, можетъ, Ареѣй подѣдетъ.

И они вдвоємъ на Николаевыхъ дрожжахъ отправились смотрѣть стога.

Тѣмъ временемъ, дѣйствительно, прѣхалъ Ареѣй Сугновалъ, пришелъ съ рѣки Иванъ Ѳедотычъ,—Агулина собрала имъ чай, и они, медленно потягивая красноватую жидкость изъ блюдечекъ, бесѣдовали о возвышенныхъ предметахъ. Возвратившись изъ степи, убѣдившись затѣмъ, что въ низовомъ лѣсу стоитъ еще вода и осматривать его невозможно, Николай вспомнилъ наказъ отца не засиживаться у Агаеокла, но сильнѣйшее желаніе посмотрѣть на Ареѣя, послушать его разговоръ съ Иваномъ Ѳедотычемъ и—что грѣха таить?—перемолвиться о томъ, о семъ съ Агулиной, которую онъ видѣлъ только мелькомъ, сейчасъ же подсказало ему, что передъ отцомъ можно оправдаться вотъ чѣмъ: ловили-де рыбу съ Иваномъ Ѳедотычемъ и потому случилось промедленіе. Николай зналъ, что когда сошлется на Ивана Ѳедотыча, отецъ не будетъ сердиться. Поставивши подъ сарай лошадь, рядомъ съ буланкой Ареѣя, Николай и Агаеоклъ вошли въ избу. Это была чистая, выбѣленная горенка съ «голландскою» печью, съ твердо утоптанымъ

глинянымъ подомъ, свѣтлая, веселая и уютная. За самоваромъ сидѣлъ и наливалъ чай Иванъ Ѳедотычъ, напротивъ него—черноволосяый худощавый мужикъ, съ живыми, необычайно серьезными и блестящими глазами. Между ними помѣщался мальчикъ лѣтъ десяти, въ ловко сидящемъ кафтанчикѣ изъ грубаго крестьянскаго сукна, съ вышитымъ воротомъ льняной рубашки, остриженный въ кружокъ, такой же черноволосяый, какъ и Арееій, и съ такими же живыми, но еще съ дѣтскимъ выраженіемъ, глазами. Это былъ сынишка Арееія. Акулина съ степеннымъ лицомъ слушала, сидя у печки, и проворно шелкала орѣхи.

Приходъ Николая съ Агаеокломъ на минуту прервалъ разговоръ, но мало смутилъ бесѣдующихъ. Только Арееій вопросительно вскинулъ глазами на Николая, да съ снисходительною, торопливою усмѣшкой пожалъ руку Агаеоклу. Иванъ Ѳедотычъ нашелъ, однако же, нужнымъ сказать, кивнувъ въ сторону Николая:

— Это сынокъ управителя нашего. Ничего, артельный паренъ, свой. Присаживайся, Николай Мартинычъ, — и тотчасъ же перешелъ къ тому, что было прервано: — Но въ такомъ разѣ какъ же ты, Арееій Кузьмичъ, понимаешь объ адѣ?

Арееій тряхнулъ волосами, отставилъ блюдечко съ горячимъ чаемъ и только что хотѣлъ отвѣчать, какъ Агаеоклъ, усѣвшійся за столъ рядомъ съ Николаемъ и напрасно старавшійся придать серьезность своимъ плутовски-смѣющимся глазамъ, сказалъ Николаю:

— Другъ безцѣнный, съ молочкомъ не желаешь ли?

Николаю сдѣлалось стыдно, что въ присутствіи такихъ людей Агаеоклъ заговорилъ о молокѣ.

— Что ты! — сказалъ онъ, отмахнувшись, — чай я не Агей Данилычъ.

— Ахъ, братецъ мой, опять забылъ... Грѣхи!

Лицо Арееія внезапно дрогнуло и около рта пробѣжала неприятная нервная судорога. Круто повернувшись къ Ивану Ѳедотычу, онъ заговорилъ искреннимъ и убѣжденнымъ голосомъ:

— Басательно адовыхъ мужъ, Иванъ Ѳедотычъ, я разсуждаю точь-въ-точь какъ Исаакъ Сиринь проповѣдывалъ. Прочитай-госъ слово восемьдесятъ-девятое и девяностое. Али еще ловчѣй сказано въ восемнадцатомъ словѣ. Очень мудро! — и Арееій проговорилъ множество цитатъ.

— А вотъ, господа честные, и яшенга! — вскрикнулъ Агаеоклъ, вскакивая на встрѣчу Акулинѣ.

Однако, почти вся сковорода цѣликомъ досталась Агаеоклу.

Иванъ Ѳедотычъ опять сказалъ: «Не потребляю»; Николай съ притворнымъ отвращеніемъ отвернулся; Арефій съѣлъ одну ложку.

Агаѳокль выскребъ до-чиста сковороду, съ удовольствіемъ причмокнувъ, отеръ губы подоломъ рубахи, засмѣялся и, обращаясь сначала къ Николаю, а потомъ къ Ареѳію, сказалъ:

— Вотъ, Миколушка, и погушали. Поѣвши, попиши, не выдѣзть ли намъ на солнышко, да не отвѣдать ли наливочки, ась? Ежевичная у меня, братцы, — первѣющій сортъ! Какъ въ эфтомъ разѣ обозначено въ книгахъ?

. Всѣ засмѣялись, вышли и съѣли на заваденку, но наливку пить не стали.

— Потолкуйте еще, други любезные, — сказалъ Агаѳокль, сладко потягиваясь и почесывая брюхо. — Страсть люблю умныхъ рѣчей послушать, — и, съ цѣлью подзадорить Ареѳія, обратился къ Ивану Ѳедотычу: — Тагъ какъ, отецъ, значить, Ареѳію Бузьмичу анаѳема выходить?

Однако, этотъ подходъ не сдѣлалъ впечатлѣнія: Ареѳій только слабо усмѣхнулся, Иванъ же Ѳедотычъ и не разслышалъ. Онъ съ умиленіемъ оглядывался по сторонамъ, смотрѣлъ на небо, въ которомъ звонко пѣли жаворонки, на холмы, гдѣ едва пробивалась зеленая травка и желтѣли ранніе цвѣточки. Широко развернутая даль синѣла и сіяла передъ нимъ въ горячихъ солнечныхъ лучахъ, съ ея церквами, селами, лѣсами, лугами, зеркальнымъ разливомъ рѣки и рядомъ высокихъ кургановъ на берегу долины, и, казалось, навѣвала на него кроткія и любовныя мысли. Лицо его становилось все яснѣе, блѣдныя старческія губы складывались въ благостную, неизъяснимо ласковую улыбку. Николай сидѣлъ въ сторонкѣ и курилъ, стараясь выпускать дымъ колечками; онъ все еще находился въ непріятномъ, уязвленномъ настроеніи.

— Сколь мудро устроенъ міръ Божій! — счастливо вздыхая, сказалъ Иванъ Ѳедотычъ. — Для чего, подумаешь, свара, обида, ложь, человѣконенавистничество, заботы о кускѣ?... Кажная былиночка, кажная что ни-на-есть махонькая тварь славить Господа!

Ареѳій, опершись на руку, смотрѣлъ ничего невидящими глазами и о чемъ-то пристально думалъ. Агаѳокль, повидимому, остался недоволенъ такимъ мирнымъ и молчаливымъ настроеніемъ; онъ, прикрывшись ладонью, легонько зѣвнулъ и, сказавъ: «Э! надо еще лошадку твою напоить, Миколушка», — поднялся съ заваденки и пошелъ къ сараю.

— Ты говоришь: ложь, обида, свара, человѣконенавистничество, — вдругъ заговорилъ Ареѳій и глаза его заблестали. — Гдѣ

тьма, тамъ теперь осіяніе, братецъ мой. Ходилъ я нонѣ зимою по Саратовской губерніи, сукна валялъ, пришелъ въ одну деревню... Вотъ, поглядѣлъ я, святое дѣло-то укрѣпляется! Живутъ по-братски, сиротъ привѣчаютъ, голодныхъ кормятъ, за хворыхъ работу справляютъ, дѣлжки нѣтъ, кабаковъ нѣтъ... Промежь себя не продаютъ, не покупаютъ, есть излишекъ — бери... Ахъ, сколь пріятенъ плодъ возрастаетъ отъ святаго писанія!

— Не вездѣ такъ-то, Арееій Бузьмиць. Въ нашихъ мѣстахъ что-то не слышать.

— Не отлыпивай, Иванъ Ѳедотычь, — горячо сказалъ Арееій, возвышая голосъ, — чего отлыпиваешь? Богъ разумъ тебѣ далъ, любовь далъ, уста далъ красно глаголати... Чего-жь ты упираешься, какъ норовистая лошадь? Эй, Иванъ Ѳедотовъ, берегись! не будь рабомъ лукавымъ, не гнѣви Господа Бога! Вотъ третій разъ съ тобой толкуемъ отъ писанія... Въ чемъ несогласны, скажи? Оспаривалъ ли ты меня своими словами? Все изъ отцовъ, все изъ отцовъ. А чуть доведется самому, ты и молчишь, и улыбаешься. Зачѣмъ такъ-тося бобы разводить? Въ кимвалы намъ съ тобой бряцать, что ли? Недосугъ, Иванъ Ѳедотычь, въ кимвалы бряцать... ой, жатва велика, а жнецовъ нѣту-ти. Ты думаешь, задаромъ Царь-Батюшка изъ вавилонскаго плѣна васъ ослобонилъ, волю далъ? Шалишь, Иванъ Ѳедотовъ, не задаромъ. Прежде ты во грѣхахъ купался, а передъ Богомъ за тебя помѣщикъ отвѣчалъ; ты былъ рабъ, все равно, что скоть безеловесный. Ну - кося, теперь-то кто за тебя отвѣтитъ? Не вилай, Иванъ Ѳедотовъ, — вилай, другъ, некогда.

— Арееій Бузьмиць, видишь? — сказалъ Иванъ Ѳедотычь и голосъ его дрогнулъ. — Видишь? — повторилъ онъ, указывая рукою вдаль, — храмы Божіи... вотъ маленько годя гулъ пойдетъ колокольный: народушко къ вечернямъ поллететъ... говѣть, молиться о грѣхахъ: «Господи, Владыко живота моего... Господи, Владыко живота моего!» Ахъ, другъ, другъ... сколь жалко этого! — Онъ махнулъ рукою и отвернулся.

— А я вотъ что тебѣ скажу, Иванъ Ѳедотычь, — помолчавши, промолвилъ Арееій, — заостенѣла твоя душа. По человѣчеству жалко тебя, нечего и толковать. Но для-ради дѣла Господняго, для-ради жатвы Его великой, объ одномъ молю Бога: пушай бы, какъ Юва, пробралъ тебя, пушай бы сокъ-то изъ тебя повыжалъ... Пострадать тебѣ нужно, Иванъ Ѳедотычь! Крестъ на себя принять... бремена тяжкія и неудобъ-носимыя возложить! Вотъ ты о Богѣ-то скорѣе бы вспомнилъ, упираться-то пересталъ бы! Прости, Христа ради.

— Что-жь, можетъ, и правда твоя, Ареей Бузьмичь, — благодушно согласился Иванъ Ѳедотычь.

— Эхъ, драгоценное это мѣсто—гардениискій хуторъ! — помолчавъ, сказалъ Ареей, очевидно, желая переменить разговоръ, — и кого Господь попустилъ жить здѣсь, не въ осужденіе будь сказано Агаеоклу Иванычу!... Больше полугода — пустыня; слѣда нѣту; лица человѣческаго не видно. Что бы тутъ можно устроить во славу Господа! Вѣдь, иной разъ до чего нужда укрыть человѣка, побесѣдовать безъ лишнихъ людей, собраться, принять посланца изъ дальнихъ мѣсть... А на селѣ все-то неловко, все-то глаза, да уши, да языки. Завидное мѣстечко! — и вдругъ, будто что вспомнивъ, повернулся къ Николаю, низко поклонился и сказалъ съ какимъ-то дѣловымъ, заботливымъ выраженіемъ на лицѣ: — Прости меня, вьюноша, ради Христа! Обидѣлъ я тебя, истину живымъ языкомъ выговорилъ. Прости, пожалуйста! Баюсь, горячь я: гдѣ бы нужно любовью, а языкъ мой неистовъ — согрубить. Прости, сдѣлай милость!

— Что ты, что ты, Ареей Бузьмичь? Я и не думалъ сердиться, — покраснѣвши, отвѣтилъ Николай и въ ту же минуту почувствовалъ, что любить и уважаетъ этого человѣка. — Я, дѣйствительно, не читалъ Евангелія, — торопливо сказалъ онъ, путаясь въ словахъ и желая какъ можно скорѣе обвинить себя, — я не думалъ... я... можетъ, ты и правъ. У насъ тетка очень религіозный человѣкъ... я только одинъ годъ живу съ папашей... И вообще посты... тетка замѣчательно строго требовала... Я вообще мало думалъ объ этомъ.

— Надо, парень, думать. Ты грамоту, чай, твердо знаешь, — вникай. Глупостевъ, небось, много прочиталъ, а святое писаніе проглядѣлъ. Эдакъ невозможно.

И какъ только Ареей проговорилъ это, — какъ говорятъ младшимъ: съ обидною снисходительностью и поучительно, — такъ Николай снова почувствовалъ, что терпѣть не можетъ этого человѣка, и снова оскорбился и сказалъ Ивану Ѳедотычу:

— Вы со мной не поѣдете, Иванъ Ѳедотычь? Мнѣ пора. Надо еще поглядѣть, не шлятся ли однодворцы въ степи... Вчера папенька здорово двоихъ отгладилъ.

Ареей былъ однодворецъ и Николай думалъ уязвить его этими словами.

Свѣжѣло. По Битюку звонили къ вечернѣ, степь отливала краснымъ въ огнѣ косыхъ солнечныхъ лучей, когда Николай съ Иваномъ Ѳедотычемъ возвращались въ Гарденино. Иванъ Ѳедотычь

сидѣлъ назади съ удочками и корзиной, въ которой неподвижно лежали красноперые окуни и два золотистыхъ леща; длинныя ноги его едва не волочились по землѣ, сдвинутая на затылокъ шляпенка открывала кроткое, свѣтящееся тихимъ умилениемъ лицо. Онъ что-то напѣвалъ про себя, медленно переводя глаза отъ высокаго неба, гдѣ двигались розовыя облака и звенѣли птицы, къ озеру, къ лѣсу, вдали, къ курганамъ, за которыми въ тонкомъ струящемся туманѣ виднѣлись кусты и степь, и островерхіе стога. Николай правиль. Лошадь бѣжала неторопливою рысцой.

— И не нравится мнѣ этотъ Ареѳій! — сказалъ Николай, съ особеннымъ шикомъ сплевывая сквозь зубы, какъ недавно научился у Ѳедотки.

— Что такъ, душенька? — отозвался Иванъ Ѳедотычъ, не сразу выходя изъ своей созерцательной задумчивости.

— Да что же, Иванъ Ѳедотычъ! вдругъ какой-то мужикъ и осмѣливается есть скоромное. Это смѣшно.

— Ну, дружокъ, не говори, что мужикъ. Какая память! какая память! И сурьезный, самостоятельный человѣкъ. Это ты не говори.

— Онъ, никакъ, въ свою вѣру васъ обращалъ? — насмѣхаясь надъ Ареѳіемъ, сказалъ Николай.

— Какая же его вѣра особенная? — неохотно отвѣтилъ Иванъ Ѳедотычъ и, помолчавъ, добавилъ: — а ежели что не по душѣ мнѣ въ Ареѳіи, такъ это рьяность его. Къ чему? Силѣмъ не спасешься и не спасешь. Онъ *дѣлатель мзды*, вотъ что плохо.

— Какъ, Иванъ Ѳедотычъ? — мзды? Развѣ ему платятъ за это?

— Ну, душенька, кому платить! А сказаніе есть такое — о трехъ мнихахъ. Былъ мнихъ Ѳедосѣй и Лука, и Ѳома. Жили въ горѣ, спасались. И говоритъ одинъ человѣкъ: вотъ три мниха и всѣ трое великой жизни и одинаково понимаютъ спасеніе. Какъ такъ? — спрашиваютъ человѣка. И говоритъ: шель я дорогою, встрѣтилъ Ѳедосѣя: несетъ вязанку дровъ, пошатывается отъ непосильнаго бремени. И подумалъ я про себя: надо его испытать, — разскочился, прыгнулъ ему на горбъ, такъ и придавилъ вмѣстѣ съ вязанкой. Поднялся Ѳедосѣй, оправился, поклонился, побрелъ, куда ему слѣдовало, ни слова мнѣ не сказалъ. Вотъ пошелъ я дальше, вижу: идетъ Лука, въ рукахъ выдолбленная тыква — воду несетъ къ себѣ на гору. Постой, думаю, по эдакой жарѣ да идти за водой въ долину — великій трудъ для старца, дай, я его соблазню. И ударилъ по тыквѣ и разлилъ воду. Ничего не сказалъ Лука, поклонился, поднялъ тыкву, спустился опять въ долину. Иду я опять, вижу Ѳому: сгорбился, опирается на влѣку, присматривается къ

травъ, кореньевъ ищетъ... Подбѣжалъ я къ Ѳомѣ, ударилъ его въ щеку. И Ѳома ничего не сказалъ, поклонился, нагнулся къ землѣ, зачалъ клюкой ковырять — корешекъ выкапывать. Вотъ отчего всё трое великой жизни и одинаково понимаютъ спасеніе. И *никто* сказалъ тому человѣку: не всё великой жизни и не одинаково понимаютъ спасеніе: ступай въ крипту, стань за дверями, слушай. И пошелъ человѣкъ въ крипту и прислонился у входа и сталъ слушать. Первый сказалъ Ѳедосѣй: «Несъ я вязанку дровъ и вдругъ выскочилъ неистовый человѣкъ, вспрыгнулъ на меня и повалилъ. Спасибо, отцы, я во-время опомнился, Бога побоялся, а то бы нагналъ ему въ загорбокъ». И проговорилъ вслѣдъ за Ѳедосѣемъ Лука: «Было и мнѣ искушеніе: выбилъ человѣкъ у меня изъ рукъ тыкву съ водой; такъ-то мнѣ жалко его стало, братья! согрѣшилъ, думаю, несчастный, впалъ въ соблазнъ, обидѣлъ старца. Его-то жалко, а за себя радуюсь: я гнѣвъ преломилъ въ себѣ, отошелъ отъ грѣха, со смиреніемъ претерпѣлъ обиду. Это мнѣ зачтется». Ѳома ничего не говорилъ и только плакалъ. «О чемъ плачешь, авва?» — спросили его Ѳедосѣй и Лука. И отвѣчалъ Ѳома: «Какъ же мнѣ не плакать? Великій грѣхъ нанесъ себѣ человѣкъ, содѣлалъ грѣхъ, поддался искушителю; плачу отъ жалости по томъ человѣкъ». И еще его спросили: какой грѣхъ и въ чемъ искушеніе, но старецъ молчалъ и не переставалъ — плакалъ горькими слезами. И тогда *никто* сказалъ тому, кто стоялъ у входа крипты: слушай и различай *дѣлателей страха, мзды и любви*... Вотъ такъ я, душенька, и Арсея понимаю: любви въ немъ мало! Что-жь книги? На книги всякій можетъ сослаться. Дѣло не въ книгахъ.

— Но удивительно, съ какою заносчивостью онъ говорить! Я не понимаю, Иванъ Ѳедотычъ, ужели онъ только одинъ уменъ, а всё дураки? Отецъ Григорій смыслить, я думаю, почище его; да и вы, можетъ, во сто разъ больше его прочитали всякихъ книгъ, однако же, не скоромитесь и въ церковь ходите.

— Эхъ, Николай Мартынычъ, молоденежь ты, душенька... Человѣку многое не дано знать и никто не знаетъ... Ой, многое не дано!

Иванъ Ѳедотычъ помолчалъ, глянулъ въ высь; на его выпѣвшихъ глазахъ проступили слезы и онъ сказалъ растроганныхъ, умиленнымъ голосомъ:

— Экая благодать-то! Экая благодать! — И еще помолчалъ и, будучи не въ силахъ сдержать свою сообщительность и, вмѣстѣ, боясь наскучить Николаю, спросилъ его притворно-равнодушнымъ, дѣловымъ голосомъ:

— Я тебѣ, Николай Мартинычъ, не рассказывалъ, какъ я на Танюшѣ женился?

— Нѣтъ, Иванъ Ѳедотычъ, не рассказывали, — отвѣтилъ Николай, невольно вспомнивъ при этомъ соблазнительные намеки Ага-еокла и стыдливо опуская глаза.

— Вотъ какъ было дѣло. Я изстари любилъ почитать и побесѣдовать о превозвышенномъ. И, когда былъ молодъ, нечего сказать, посмотрѣлъ свѣтъ. Я, вѣдь, подаренъ Гарденинымъ-то, а былъ князей Ахметовыхъ дворовый человѣкъ. И остался я отъ родителей сироткой. Ну, князь, царство ему небесное, — это, значить, отецъ будетъ нашей барыни, — и соваль меня туда и сюда. Тромбону отдавалъ учится, въ повара, по шорной, по кондитерской, по столярной части. Одно время оказался у меня басъ, душенька, — ну, сейчасъ меня, добраго молодца, въ пѣвчіе снарядили. Сломался маленько погода басъ, взяли изъ пѣвчихъ, вродѣ какъ камердинеромъ приставили къ молодому князю, братцу нашей барыни. Я съ молодымъ княземъ прожилъ въ Москвѣ три года, мало того — въ чужихъ краяхъ, въ городѣ Парижѣ побывалъ: изо дня въ день равнымъ счетомъ два мѣсяца. Помню, пристрастился тамъ князь къ картежной игрѣ, все до ниточки спустилъ... кушать-то нечего, каштаны, бывало, жаривалъ его сіятельству, овощей питались... Пошатался, душенька! Ну, опосля того, какъ-то на Татьянинъ день, князь и подарилъ меня сестрицѣ. Призвала меня Татьяна Ивановна, спрашиваетъ: «Что же ты, Иванъ, можешь?» — «А что - жь, говорю, сударыня, все могу: по шорной, по кондитерской, по столярной части, могу и за повара, и ноты не забылъ, ежели потребуется, и лакейское дѣло знаю, — что прикажете, то и буду исполнять». — «Унасъ, говорить, все это есть, только столяра нѣту, — будь ты, Иванъ, столяромъ». Такъ съ тѣхъ поръ, душенька, я и не отхожу отъ верстака, вотъ ужъ двадцать восемь лѣтъ... И былъ у барина приближенный лакей, Емельянь. Умственный человѣкъ. И завязалась у насъ съ Емельяномъ великая дружба. Вотъ какъ бывало: управится по своему лакейскому дѣлу, придетъ ко мнѣ въ мастерскую, — напролетъ ночи просиживали... все насчетъ души и изъ божественнаго. А то и свѣтскія книги читывали: романы, повѣсти, стихи; рассказывали другъ дружкѣ исторіи... И купила барыня у господъ Вельяшевыхъ горничную себѣ, такъ бѣлолицынькая, Людмилой звали. Вотъ, вижу, прошло сколько времени — не по себѣ мнѣ сдѣлалось отъ Людмилы: напала тоска, спать не сплю, сосеть. Извѣстно, плотская любовь. Съ другой же стороны замѣчаю, и съ Емельяномъ что-то неладное творит-

ся: изъ лица потемнѣлъ, глаза ввалились, задумываться началъ. Жалко мнѣ сдѣлалось друга. Сидимъ однажды и такъ-то грустно... «Другъ, говорю, великій, Емельянъ Петровичъ! откройся, душечка, отчего твоя печаль?» А онъ мнѣ тѣмъ же оборотомъ: «Откройся и ты, Иванъ Фодотычъ, и съ тобой, вижу, что-то не совсѣмъ ладно». — «Что-жь, говорю, таится мнѣ нечего: уязвила меня Людмила-горничная, а приступиться боюсь по великой своей робости». Вижу, смѣнился съ лица Емельянъ Петровъ, затряслись губы, отвѣчаетъ глухимъ голосомъ: «Такъ я и зналъ. Недаромъ Людмилу въ краску бросаетъ, какъ ты въ барскій домъ приходишь; видно, не по-пусту она какъ юла вертѣлась, — ты въ барыниномъ будуарѣ замки врѣзалъ: и нѣтъ ей нужды, а все егозить вокругъ тебя»... А мнѣ, признаться, и самому мерещилось, что Людмилѣ-то тово... любя я; ну, отъ великой своей робости отгонялъ такія мысли. Тутъ же, какъ услыхалъ Емельяновы слова, не выдержалъ и возрадовался: «Другъ, говорю, сколь я счастливъ безмѣрно, и сказать тебѣ не умѣю!» Глаза-то мнѣ замстило, что на немъ лица нѣтъ. И вдругъ вскочилъ Емельянъ съ мѣста, глянулъ на меня, плюнулъ: «А мнѣ чортъ съ вами!» говорить... хлопнулъ дверью, ушелъ. Вразъ все ровно осіяло меня: значить, и онъ чахнетъ отъ Людмилы. Ну, осіять-то осіяло, а, видно, душенька, истинно сказано: плотская любовь изъ человѣка звѣря дѣлаетъ. Зачалъ я съ тово раза улучать время — съ Людмилушкой встрѣчаться, зачалъ слова ей говорить прелестныя, сдѣлалъ шкатулочку красного дерева, — подарилъ... Однимъ словомъ, прямо надо сказать — дѣло наше пошло на ладъ. Объ Емельянѣ же Петровѣ и думать позабыли. Тѣмъ временемъ, смотрю, бросилъ онъ ко мнѣ ходить, встрѣтитъ когда — не кланяется, угрюмый, злой сдѣлался. И замѣчаю, два раза меня баринъ изругалъ: копѣтко-де работаю. «Ты, говорить, все глупые разговоры разговариваешь, да съ глупыми книжками барскія свѣчи жгешь, я тебя, говорить, научу знать свое мѣсто». Грустно мнѣ сдѣлалось: вижу, Емельянова работа, онъ барину въ уши нашепталъ. Ну, однако, улучилъ время, перемолвился съ Людмилей, — не сказалъ ей, что думаю на Емельяна, а вотъ, молъ, такъ и такъ, баринъ мнѣ огорченіе сдѣлалъ, обидѣлъ напрасно... Перемолвился, говорю, выронила она словечка два, опять мнѣ весело стало на душѣ... И по нѣкоторомъ времени работалъ я въ барскомъ кабинетѣ, — какъ сейчасъ помню, этажерку пристраивалъ надъ письменномъ столомъ. И лежала на столѣ портфель. Ну, кончилъ я, душенька, свою работу, собралъ инструментъ, пошелъ къ себѣ въ мастерскую. Только что хотѣлъ фартукъ снять, обѣдать идти,

вдруг прибѣгаетъ Андрюшка-козачекъ, зоветъ къ барину. Что, думаю, такое? Иду... Вижу, баринъ внѣ себя, мечется по кабинету, самъ какъ свѣкла багровый. А это у Гардениныхъ ужъ первый признакъ: сдѣлается красенъ, значить, въ великомъ гнѣвѣ. Горячіе господа. Смотрю, и Емельянъ Петровъ стоитъ, смотритъ на барина, лигъ вражескій, злобный, меня будто и не замѣчаетъ. Не успѣлъ я выронить слова, хотѣлъ спросить, зачѣмъ призвали, баринъ такъ и накинулся на меня: «Ты, кричить, изъ портфели сторублевую ассигнацію взял? Признавайся!» — «Никакъ нѣтъ, говорю, сударь». — «Какъ же, кричить, нѣтъ, когда Емельянъ проходилъ мимо дверей и самъ видѣлъ?» — «Никакъ нѣтъ», говорю. Бинулся на меня баринъ, ударилъ по щекѣ... разрѣзалъ перстнемъ около уха. Увидѣлъ кровь, разъярился еще того больше, ударилъ въ другую щеку. «Признавайся!» — кричить. Нѣтъ мочи, какая взяла меня тоска. «Емельянъ Петровичъ, говорю, бойся Бога! Когда же я бралъ? Я пришелъ въ мастерскую и фартука не успѣлъ снять... прикажите обыскъ сдѣлать». А Емельянъ поглядѣлъ на меня ѣдакъ въ упоръ, —вижу, не его взглядъ, чужой, сатанинскій, — усмѣхнулся и говорить барину: «Какъ теперь, Константинъ Ильичъ, обыскъ дѣлать? Онъ, поди, успѣлъ схоронить. Достаточно того, что я своими глазами видѣлъ, какъ онъ въ портфель лазилъ». Баринъ только взвизгнулъ, метнулъ на меня глазами, видитъ, весь я въ крови передъ нимъ стою, не захотѣлъ марать рукъ, закричалъ: «Ведите его на конюшню!» Ну, повели меня, душенька, на конюшню, высѣкли... Слегъ я въ постель опосля этого: безмѣрно захворалъ. И что-жь ты, дружокъ, думаешь? Лежу, бывало, трудно мнѣ, весь въ жару, поверотиться невозможно отъ чрезвычайной боли... а съ души тѣмъ временемъ точно скорлуна какая, точно чешуя сваливается. О комъ ни подумаю, всѣхъ-то мнѣ жалко, а пуще всего Емельяна Петрова жалѣю: стало быть, думаю, болитъ его душа, коли онъ на такой грѣхъ великій пошелъ. И все, бывало, плачу, исхожу прискорбными слезами... Люди полагаютъ, о томъ я плачу, что въ солдаты меня везти: баринъ повелѣлъ забрить, а я и думать забылъ о солдатчинѣ. Однако, сталъ обморгаться, опять Людмилушка припомнилась; пошло лѣзти въ голову, какъ бы мнѣ съ ней словомъ пережолвиться, повидати ее, на дѣвичью красоту полюбоваться. Ну, такимъ бытомъ, пролежалъ я, душенька, недѣль семь, на седьмой недѣль мнѣ Богъ радость послалъ: упростила за меня барыня, вышло распоряженіе въ солдаты меня не отдавать, а только чтобы на господскіе глаза не показывался. Вотъ однажды сижу я, дружокъ, подъ окошечкомъ —

приятный такой вешний день!—гляжу, люблюсь, радуюсь этакъ... вдругъ, вижу, бѣгутъ люди съ баграми, съ веревками, кричатъ: «Емельянъ Петровичъ утопился!» Такъ мнѣ и пронзило въ сердце! Всталъ я, вскочилъ, хотѣлъ бѣжать, зашатался на ногахъ, грохнулся объ полъ, долго лежалъ безъ памяти. Пришелъ въ себя, испилъ водицы, доплелся къ окошку, вижу—тихий, благодатный вечеръ стоитъ. И такъ-то сладко соловушка заливается въ барскомъ саду. И вспомнилъ я, какъ мы дружили съ Емельяномъ, о чемъ бесѣдовали, изъ-за чего разожглись другъ на друга... Сижу, схватился за виски, хлынули слезы, рыдаю въ голосъ. Вдругъ, слышу—человѣкъ говорить, поднялъ глаза, — Капитонъ Аверьянычъ, — онъ и тогда ужъ былъ конюшимъ. «О чемъ плачешь, голова?»—спрашиваетъ.— «Какъ же мнѣ, говорю, не плакать? Емельянъ Петровичъ утопился». Капитонъ Аверьянычъ и глаза вытаращилъ. «Когда?»— «Да вотъ съ часъ тому времени; бѣжали люди съ баграми, съ веревками, кричатъ: утопился!» Посмотрѣлъ онъ на меня, покачалъ головою. «Поди, говорить, проспись: ничего такого не было; я, говорить, только что отъ барина, Емельянъ и доглядывалъ обо мнѣ». Задрожалъ я, трясусь отъ радости, хочется мнѣ одному побыть. Отеръ слезы. «Ну, что-жь, говорю, Капитонъ Аверьянычъ, значить, это мнѣ отъ болѣзни отъ моей померещилось. Извините, что обезпокоилъ». Поглядѣлъ онъ эдакъ на меня, ушелъ. Дождался я, душечка,—сумерки пали, и много обдумалъ, сидючи у окошка, милую тварь Божию слушаючи. Пали сумерки, попытался я съ мѣста сойти—нѣту твердости въ ногахъ, врядъ ли дойду. А за мной старушка одна ухаживала, Ероеевна, вотъ тетка доводилась конюху Полуекту. Позвалъ я старушку, молю ее: «Сходи ты, болѣзная, къ Емельяну Петровичу, скажи: Христомъ Богомъ, моль, просить Иванъ придти». И что-жь ты думаешь? Пришелъ, вѣдь, душенька! Слова не сказалъ—пришелъ. И, видно, недаромъ мнѣ послано было видѣніе: пожелтѣлъ человекъ, въ глазахъ—безуміе, уста кривятся. Увидѣлъ я его, разорвалась во мнѣ душа, кинулся я къ нему въ ноги, какъ малый ребенокъ захлипалъ. «Прости, говорю, другъ! Я тебя въ дьяволовы руки предалъ!»—и растворилось его сердце... Ну, что говорить, процѣли пѣтухи, уснулъ соловушка, а мы сидимъ обнявшись—плачемъ несказанными слезами.

Иванъ Федотычъ всхлипнулъ и выморкался съ пронзительнымъ звукомъ.

— Я къ чему веду?—продолжалъ онъ, оправляясь.— Въ орловской деревнѣ мебелировку тогда новую дѣдали, я и отпросился, чтобъ меня послали. Воротился по веснѣ въ Анненское, вижу—женать

Емельянъ Петровичъ. Ладно, хорошо живутъ. Ну, только Господь, видно, не захотѣлъ счастья ему послать. Пожилъ онъ съ Людмилой Митревной два годочка, родила она дѣвчурочку, захворала съ родовъ, померла. Впалъ Емельянъ въ отчаянность, зачалъ пить, зачалъ должность свою забывать. Поглядѣлъ, поглядѣлъ на него бафинъ, жалко ему испытаннаго слугу, а съ другой стороны и безъ лакея никакъ невозможно, — выдалъ ему вольную, подарилъ десятину земли, отпустилъ на всѣ четыре стороны. Взялъ себѣ другаго лакея. И вотъ тутъ-то, душенька, наступила для меня и радостная, и прискорбная жизнь. Прискорбіе — на Емельяна гляючи, радость — на дѣвочку, вотъ на супругу-то мою на теперешнюю. Емельянъ совсѣмъ спился, началъ по кабакамъ, по трактирамъ ходить, весь оборванный, въ грязи. Бывало, скроется съ глазъ — по недѣлямъ его не видимъ; придетъ — жалость на него глядѣть: несмѣлый, убитый, людей стыдится... все норовитъ какъ-нибудь украдкой Татьянушу приласкать: либо волосики ей погладить, либо ручку тихонько чмокнуть, — въ губки-то не осмѣливался. Ну, выдержишь его, сошьешь одѣжу, разговоришь... глядь — скроется, опять закатился на цѣлый мѣсяцъ. А мы тѣмъ временемъ все съ Татьяшей свыкаемся, да свыкаемся. Ну, вотъ... что теперь? — да вотъ пять лѣтъ будетъ на красную горку: и насмѣшили мы дворню съ Татьяной Емельяновной, сочетались бракомъ... Емельянъ былъ еще живъ; такъ спустя какой-нибудь мѣсяцъ и померъ у насъ на рукахъ. А надо тебѣ сказать, душенька, за полгода окончательно бросилъ пить и все прихварывалъ. Трогательный сдѣлался, вроткій, умиленно поглядѣть. Отъ вѣнца такъ-то пріѣхали мы съ Татьяной — ну, тутъ гости, народъ, — а онъ ухватилъ эдакъ меня за руку, а другой — Татьянину руку ухватилъ: «Ну, говорить, нелицемѣрный другъ, смотри, квиты мы съ тобой, али нѣтъ?» — а у самого слезы капъ, капъ, капъ... Что-жь ты думаешь, душенька, и меня слеза проняла! И никто, кромѣ насъ двоихъ, не уразумѣлъ Емельяновыхъ словъ: наши съ нимъ тайныя дѣла мало кто и знаетъ въ дворнѣ, развѣ старики которые.

Иванъ Федотычъ помолчалъ и вдругъ застѣнчиво и весело воскликнулъ:

— Вотъ, душенька, Николай Мартынычъ, какимъ бытомъ женился я на Татьянѣ!

А. Эргель.

(Продолженіе слѣдуетъ).

ДОКТОРЪ СЕВЬЕРЪ *).

Романъ Джоржа Кэбля.

XXVIII.

Счастливыя событія.

Мистрисъ Райле, простившись съ Ричлингами, безъ труда нашла себѣ квартирантку на ихъ мѣсто, хотя увѣрила, что ежедневно чувствовала ихъ отсутствіе болѣе, чѣмъ могла бы выразить словами. Новая квартирантка была худая, желтая, изсохшая шестидесятилѣтняя швея, аккуратно платившая деньги за квартиру, но, судя по тому, что говорила о ней ирландка мистеру Ристофало, это была «незавидная компанія для нея, привыкшей уже къ обществу, такъ сказать, перваго сорта».

Ристофало заходилъ въ ней часто. Онъ былъ человѣкъ не многорѣчивый, да и направленіе его мыслей не способствовало веденію длинныхъ разговоровъ, но вся жизнь его, съ самаго дѣтства была полна приключеній всюду и постоянно, на сушѣ и на водѣ, непрерывною цѣнью слѣдовавшихъ одно за другимъ. Такимъ образомъ, лучше и легче всего было для него улаживать свою собесѣдницу страшными и трогательными разказами о самомъ себѣ и о приключеніяхъ и опасностяхъ, которымъ онъ подвергался. Говорилъ онъ о себѣ безъ хвастовства, часто даже съ умилительною скромностью, и не разъ вызывалъ слезу состраданія въ своей слушательницѣ.

— И когда подумаешь, что вы всего этого могли бы избѣгнуть! — сочувственно вставляла она. А на вопросъ: «какъ?» — она молча утирала глаза.

Бывали тоже случаи, когда разказы Ристофало вызывали со стороны ирландки припадки совершенно безумнаго хохота, во время которыхъ, въ полномъ забытіи своей обычной важности, она

*) *Русская Мысль*, кн. IV.

отъ восторга била себя по бедрамъ или хлопала его по плечу такъ усердно, что чуть не сбрасывала со стула.

— Вотъ небылицу несеть!

— Да право же, такъ все и было, какъ рассказываю.

— Врешь, Рафаиль Ристофало!... Ужь признавайся миѣ, какъ на духу признавайся, что заврался... соловей ты эдакой!...

Однажды, когда, выразивъ ему, такимъ образомъ, свой восторгъ и удивленіе, она собиралась хлопнуть его еще разъ по спинѣ, онъ вдругъ преспокойно взялъ ее за руку и продержалъ ее въ своей, какъ ни въ чемъ не бывало, до конца разсказа.

Въ этотъ вечеръ онъ долго засидѣлся у мистрисъ Райле. Наконецъ, забравъ свою шляпу изъ-подъ стула, на которомъ сидѣлъ, онъ всталъ и протянулъ руку на прощанье.

— Вамъ что нужно, сэръ?—воскликнула она, — мою руку? Да... это моя рука, прошу васъ этого никогда не забывать! Убирайтесь отсюда, да поскорѣе, не то... А позвольте васъ спросить, сэръ, почему это вы стали такъ рѣдко посѣщать меня, а? Ну - ка, говорите-ка?... Ага! я все знаю!... Смотри, ужь тутъ-то хоть не соври!...

— Занять по горло. Во всякое время дня и ночи навѣщаль бы... кабы могъ.

— Га-га!... занять по горло! Какъ бы не такъ!... Знаемъ мы, какое тамъ занятіе!... Бѣгаешь за дѣвчонками - итальянками на фруктовомъ рынкѣ, небось! Вотъ оно занятіе-то какое!... Ужь по глазамъ вижу, что врешь... лучше молчи... знаю тебя! Какая-нибудь дѣвчонка и теперь, небось, поджидаетъ тебя, га-га!... Убейся къ ней, а сюда и носа не показывай; слышишь?

— Пускай будетъ такъ:

Съ этими словами итальянецъ въ третій разъ взялъ ее за руку, и, понридержавъ ее, продолжалъ стоять передъ нею, глядя ей прямо въ лицо своими честными, простыми и добрыми глазами.

— Прощай, Кетъ.

Она смутилась и, безпомощно дернувъ руку, жалобно и покорно проговорила:

— Нехорошо такъ со мной обращаться, мистеръ Ристофало. У меня есть фамилія:..

Она съ упрекомъ взглянула на него, но итальянецъ продолжалъ стоять и смотрѣть на нее все тѣми же невозмутимыми глазами.

— Вы, можетъ быть, находите, что сказать только Кетъ и ничего болѣе слишкомъ коротко?—сказалъ онъ. —Ну, хорошо, такъ пусть будетъ Кетъ Ристофало.

— Нѣтъ,—отвѣчала мистрисъ Райле, отворачиваясь и опускавая глаза.

— Буду всегда оберегать васъ, ужь не безпокойтесь,—продолжалъ итальянецъ,—васъ и мальчишку Майга,—обоихъ. Буду всю жизнь покоить и охранять, вотъ увидите.

Въ митрисъ Райле что-то какъ будто порвалось.

— Мистеръ Ристофало,—воскликнула она, съ жаромъ тыча себѣ пальцами въ грудь,—вы не знаете, что такое сердце женщины, сэръ! Нѣ-ѣ-ѣ-тъ, сэръ! вы не знаете! Мы требуемъ, прежде всего, любви, да!

— Да,—сказалъ итальянецъ,—да, да,—прибавилъ онъ, кивая ей головою,—да, такъ и надо.

— Ахъ, мистеръ Ристофало!—продолжала ирландка,—зачѣмъ вы ухаживаете за мной и говорите сладкія рѣчи, когда вамъ, въ сущности, до Бетъ Райле никакого дѣла нѣтъ? Вѣдь, вы ее не любите и вы это прекрасно знаете,—и слеза блеснула на ея рѣсницахъ.

— Нѣтъ, люблю,—возразилъ итальянецъ,—само собою разумѣется, что люблю васъ. — Говоря это, онъ не шевельнулъ ни пальцемъ, ни единымъ мускуломъ лица.

— Да-а? любите? — порывисто заговорила вдова, тяжело дыша. — Да-а? любите? — чуть-чутьку любите, не такъ ли, мистеръ Ристофало? Но этого недостаточно! Я хочу...—громкимъ голосомъ добавила она, восторженно поднимая глаза къ небу,—я хочу... чтобы... меня... меня... обожали выше всего на свѣтѣ!

— Такъ и будетъ,—подтвердилъ Ристофало,—да, можете быть спокойны: выше всего на свѣтѣ!

— Рафаилъ Ристофало,—съ азартомъ воскликнула она,—вы обманываете меня! Зачѣмъ вы пришли сюда? Никто васъ не звалъ... и вы это можете подтвердить, сэръ, во всякое время, потому что это неопровержимый фактъ... вы пришли и застали врасплохъ бѣдную, одинокую и довѣрчивую вдову и завладѣли моимъ сердцемъ,—да, завладѣли; тогда какъ я твердо намѣревалась во второй разъ не выходить замужъ.

— Не плачь, Бетъ... Бетъ Ристофало,—невозмутимымъ голосомъ отвѣтилъ итальянецъ, одною рукой тихонько обхватывая ея талію, а другою трепля по щекѣ.—Не плачь, Бетъ Ристофало.

— Молчи!—закричала она вдругъ, какъ бы вытѣкая себя отъ гнѣва, и съ мнимымъ уязвленнымъ достоинствомъ отодвинулась назадъ.—Молчи! ага! такъ ты думаешь, что уже дѣло въ шляпѣ и

что я уже Кетъ Ристофало, да? Небось, подождешь маленько еще! Раньше двухъ недѣль и не думай... ни-ни!

И дѣйствительно, въ началѣ мая, двѣ недѣли спустя, бракъ ихъ состоялся.

На другой день, вечеромъ, Ричлингъ зашелъ къ доктору Севьеру, когда онъ занимался въ своей библіотекѣ, и позабылъ его оживленнымъ описаніемъ свадьбы Ристофало и мистрисъ Райле, на которой молодой человекъ присутствовалъ наканунѣ. Доктора тоже приглашали, но онъ отдѣлался подъ предлогомъ разныхъ неотложныхъ дѣлъ. Ричлингъ въ этотъ вечеръ былъ неузнаваемъ: его обычная сдержанность исчезла и онъ весь отдался описанію и даже представленію мимикой смѣшныхъ и своеобразныхъ сторонъ разношерстнаго общества, приглашеннаго на свадьбу Ристофало. Онъ такъ удачно подражалъ наивной вульгарности нѣкоторыхъ изъ бывшихъ на свадьбѣ ирландцевъ, что въ первый разъ за многіе годы докторъ громко разсмѣялся.

— Докторъ,—вдругъ сказалъ Ричлингъ, когда они оба успокоились; на лицѣ его показалась немного странная улыбка, такъ что докторъ началъ недоумѣвать про себя, что бы она означала,—докторъ, извините, пожалуйста, что я принесъ это сюда, но въ вашу контору мнѣ такъ трудно попасть...—и съ этими словами онъ подошелъ къ столу; всунувъ руку въ боковой карманъ своего платья.

— Что это такое? — спросилъ докторъ, хмуря брови. Улыбка Ричлинга сдѣлалась еще радостнѣе.

— Это счетъ,—сказалъ онъ.

— Какой?

— Счетъ всѣхъ разновременныхъ ссудъ и займовъ, которые я отъ васъ получилъ, съ начисленіемъ процентовъ.

— Да?—холодно произнесъ докторъ.

— А вотъ,—продолжалъ счастливый Ричлингъ, вынимая изъ нижняго кармана свертокъ банковыхъ билетовъ,—вотъ вся сумма цѣликомъ.

— Да?—и докторъ съ холоднымъ пренебреженіемъ взглянулъ на деньги. —Вамъ все это, я вижу, доставляетъ большое удовольствіе, Ричлингъ. Вы, вѣроятно, тѣшите себя мыслью, что чувствуете и дѣйствуете въ данномъ случаѣ, какъ надлежитъ всякому порядочному человеку чувствовать и дѣйствовать и т. д. Вамъ, однако, доказывать мнѣ свою порядочность излишне, она мнѣ давно уже извѣстна. Извольте положить все это обратно въ свой карманъ: я васъ увѣряю, мнѣ непріятно смотрѣть на эти деньги. Неужели вы воображаете, что я ихъ возьму?

— Вы обѣщали взять ихъ, когда давали ихъ мнѣ взаймы.

— Гм... но я не сказалъ, когда возьму.

— Какъ только я буду въ состояніи ихъ вернуть, — возразилъ Ричлингъ.

— Я не помню такого обѣщанія, — упорствовалъ докторъ, принимаясь за газету. — Отъ подобнаго обязательства я, во всякомъ случаѣ, себя освобождаю.

— Но я васъ не освобождаю, — настаивалъ Ричлингъ, — и Мэри также не освобождаетъ.

Докторъ помолчалъ немного, прежде чѣмъ отвѣтить. Скрестивъ ноги и руки, онъ, наконецъ, сказалъ:

— Это — негѣлая гордость, Ричлингъ.

— Мы это знаемъ, — отвѣтилъ молодой человѣкъ, — мы и не отрицаемъ, что такое чувство до извѣстной степени сюда примѣшивается. Но я, право, не знаю, когда бы поступали люди какъ слѣдуетъ, если бы имъ приходилось руководствоваться только однимъ совершенно чистымъ мотивомъ...

— Въ такомъ случаѣ, вы должны предполагать, что и я, въ моемъ отказѣ взять эти деньги отъ васъ, руководствуюсь не однимъ мотивомъ, а смѣшанными.

— О!... — засмѣялся Ричлингъ, у котораго въ продолженіе всего разговора радость такъ и прорывалась наружу. — Нѣтъ, докторъ, вы — совсѣмъ другое дѣло. Мнѣ кажется, что у васъ врядъ ли когда и могъ быть смѣшанный, не чистый мотивъ.

Докторъ не отвѣчалъ и задумался.

— Мы очень хорошо знаемъ, докторъ, что мы могли бы принять отъ васъ такую услугу изъ весьма даже похвальнаго, быть можетъ, духа смиренномудрія, но если мы этого не дѣлаемъ, то, право, не изъ одного только чувства гордости.

— Неужели? — безпощадно возразилъ докторъ. — Изъ чего бы другаго это могло быть, интересно знать?

— Какъ вамъ сказать? Я, право, затрудняюсь выразить вамъ свою мысль... Если хотите, я назову это чувство простымъ убѣжденіемъ, что выплатить долгъ, когда можно, всегда лучше и справедливѣе и что... — Ричлингъ заговорилъ тутъ быстрѣе, — наша прямая обязанность въ жизни быть когда только можемъ на сторонѣ справедливости, а рассчитывать на милосердіе слѣдуетъ только тогда, когда мы къ тому вынуждены. Развѣ не такъ, докторъ? Вѣдь, это ваши собственные принципы!

Докторъ, не глядя на него, спросилъ:

— Откуда взялась у васъ такая мысль?

— Не знаю; отчасти явилась она сама собою, отчасти...

— Отчасти отъ Мэри; — перебилъ докторъ. Онъ протянулъ къ Ричлингу свою длинную бѣлую руку. — Хорошо, я согласенъ, дайте мнѣ эти деньги.

Ричлингъ, пересчитавъ ихъ, положилъ ихъ ему въ руку. Докторъ свернулъ ихъ и вложилъ въ бумажникъ.

— Развѣ вамъ доставляетъ удовольствіе разставаться съ вашимъ, тяжело добытымъ, заработкомъ, Ричлингъ?

— Зарабатывать никогда не можетъ быть тяжело, — возразилъ Ричлингъ, — тяжело брать взаймы.

Докторъ согласился.

— Платить же старые долги, — продолжалъ Ричлингъ, — мнѣ, конечно, пріятно, но я чувствую себя счастливымъ не только поэтому... — договорилъ онъ, подойдя къ камину и облокотясь на него.

— Да, у васъ какое-то особенно счастливое лицо сегодня, — замѣтилъ врачъ, — улыбка такъ и не сходитъ съ него, совсѣмъ какъ у влюбленнаго мальчишки, получившаго первое посланіе любви.

— Я все надѣялся, что вы меня спросите о причинѣ.

— Въ чемъ же дѣло, Ричлингъ?

— У Мэри родилась дочь.

— Вотъ какъ! — воскликнулъ докторъ, вскакивая со стула и съ сіяющимъ лицомъ хватая руку Ричлинга.

Ричлингъ отъ волненія только могъ разсмѣяться и порывисто провелъ себѣ пальцами по глазамъ.

— Докторъ, — проговорилъ онъ, наконецъ, когда врачъ снова сѣлъ, — мы хотѣли бы дать ей имя... — и онъ замаялся, не смѣя взглянуть на врача, — мы хотѣли бы, съ вашего согласія, дать ей имя...

Докторъ почти испуганно посмотрѣлъ на него и Джонъ робко проговорилъ:

— Алисы.

Ужъ не слезы ли это блеснули въ глазахъ холоднаго и суроваго доктора Севьера? Губа его дрогнула, онъ наклонилъ голову въ знакъ согласія и невнятно проговорилъ:

— Хорошо.

Наступило долгое молчаніе. Оно было прервано Ричлингомъ, который всталъ и простился съ докторомъ.

Врачъ не удерживалъ его, но у самой двери спросилъ:

— А что, Ричлингъ, если лѣтомъ у насъ явится эпидемія, не уѣдете ли вы?

— Нѣтъ, не уѣду.

XXIX.

Э п и д е м і я .

20 іюня 1858 года появленіе въ Новомъ - Орлеанѣ перваго случая заболѣванія желтою лихорадкой вызвало вниманіе и опасеніе врачей. Вслѣдъ затѣмъ въ іюнѣ же появился второй случай. Печать въ то время не считала нужнымъ сообщать такіе факты публикѣ, не желая тревожить ее: такіа извѣстія не могли нравиться читателямъ объявленій. Съ тѣхъ поръ многое измѣнилось, но въ то время докторъ Сѣверъ, для котораго всякая таинственность, всякое замалчиваніе были почти такъ же ненавистны, какъ и ложь, имѣлъ полное основаніе приходить въ негодованіе.

— Вотъ увидите, — часто говаривалъ онъ, указывая на городъ изъ своихъ оконъ, — все общество, весь городъ передъ наступающимъ бѣдствіемъ, какъ страусъ, спрячетъ голову въ песокъ!

Онъ послалъ немедленно за Ричлингомъ.

— Я хотѣлъ во-время васъ предупредить, — сказалъ онъ. — Берегитесь, эпидемія приближается.

— Развѣ не бываетъ единичныхъ случаевъ... безъ всякихъ дальнѣйшихъ послѣдствій? — спросилъ Ричлингъ.

— Да, бываетъ.

— Можетъ быть, и эти случаи...

— Ричлингъ, помните, что я васъ во-время предупредилъ.

— А вашихъ двоюродныхъ сестеръ вы уже отправили домой, докторъ?

— Онѣ уѣзжаютъ завтра. — Помолчавъ немного, докторъ прибавилъ: — Теперь наступило время, когда вы должны принять то или другое рѣшеніе, поэтому я и предупреждаю васъ. Уѣзжайте сейчасъ, если вы не хотите подвергнуться всѣмъ опасностямъ эпидеміи.

— Какъ велика смертность отъ этой болѣзни? — продолжалъ разспрашивать Ричлингъ.

— Отношеніе измѣняется, смотря по временамъ года; въ среднемъ, приблизительно, умираетъ одинъ изъ семи или восьми заболѣвшихъ. Но вы подвергаетесь большому риску, Ричлингъ. Вы далеко не крѣпкій человекъ, да и, вдобавокъ, нездоровы.

Ричлингъ стоялъ, задумчиво размахивая шляпой.

— Увѣрю васъ, докторъ, что для меня даже и выбора не можетъ быть. Я бы не могъ теперъ явиться передъ Мэри, когда она

особенно нуждается въ матеріальной помощи, бросивъ дѣло и всякую надежду устроить нашу жизнь въ будущемъ. Да, кромѣ того, Рейзенъ не можетъ обойтись безъ меня, — прибавилъ онъ съ ребяческиимъ самодовольствомъ.

— Ричлингъ, это ужь совсѣмъ нелѣпо, даже глупо!

— Да, конечно, я знаю, — поспѣшно подхватилъ Ричлингъ, — я совершенно понимаю, что еслибъ онъ могъ обойтись безъ меня, то онъ бы меня не держалъ.

Но докторъ жестомъ принудилъ его замолчать.

— Не то, не то... вопросъ вовсе не въ томъ, можетъ ли Рейзенъ обойтись безъ васъ, а въ томъ, можете ли вы обойтись безъ него?

— То-есть вы хотите сказать, не нарушу ли я отъѣздомъ своимъ какого-нибудь обязательства? — спросилъ Ричлингъ.

— Ну, да, конечно.

— Во всякомъ случаѣ, докторъ, я не могу оставить его. Онъ далъ мнѣ возможность жить, и я не могу бросить его теперь изъ-за какого-нибудь риска заболѣть. И еслибъ я это сдѣлалъ, мнѣ кажется, что мы оба, Мэри и я, не могли бы съ спокойною совѣстью глядѣть другъ другу въ глаза.

— Дѣлайте, какъ знаете, — возразилъ докторъ. — Есть нѣкоторыя условія и въ вашу пользу: часто такіе тѣлесныя, слабые субъекты, какъ вы, даже лучше переносятъ эпидеміи, чѣмъ полнокровныя и здоровыя люди.

— Я увѣренъ, что Мэри раздѣляетъ мое мнѣніе въ этомъ дѣлѣ, — весело подхватилъ Ричлингъ, — и мнѣ кажется... — тутъ онъ раскашлялся, но продолжалъ, улыбаясь: — что и вы думаете совершенно такъ же.

— Я и не говорилъ, что нѣтъ, — возразилъ докторъ, на лицѣ котораго не было и тѣни улыбки. Онъ досталъ перо и написалъ рецептъ. — Вотъ вамъ рецептъ для вашего кашля, принимайте это нѣсколько времени, какъ указано.

— Еслибъ я заболѣлъ лихорадкой, — сказалъ Ричлингъ задумчиво, — Мэри захочетъ пріѣхать ко мнѣ.

— Но она не должна и думать объ этомъ! — воскликнулъ докторъ.

— Вы не пустите ее сюда, докторъ, не правда ли? Дайте мнѣ слово.

— Можете быть спокойны на этотъ счетъ: я самъ буду въ томъ порукой!

Предсказанія доктора сбылись. Къ первому августа насчиты-

вали уже сто тридцать смертных случаевъ отъ желтой лихорадки. Весь городъ при этомъ извѣстїи содрогнулся, но онъ еще не вполне зналъ, что его ожидало впереди. Населеніе сначала сотнями, затѣмъ тысячами бросилось бѣжать изъ города; многіе запоздавшіе заболѣвали и умирали на пути. Но не все поддались паническому страху: многіе продолжали заниматься своими дѣлами, даже дѣти играли на улицахъ; дни, попрежнему, шли своею неизбѣжною чередой и свѣтлое голубое небо продолжало обливать городъ палящими солнечными лучами или, нахмурившись, орошало его теплымъ лѣтнимъ дождемъ. Какъ странно было смотрѣть на эту природу съ ея невозмутимою красотой! Съ теченіемъ времени по всемъ улицамъ потянулись нескончаемыя похоронныя процессїи. Доктора уже не откликались на отчаянныя призывы, которыми пытались останавливать ихъ посреди улицы, и всюду видѣлись опустѣвшіе дома.

Между прочимъ, изъ пекарни «Звѣзды», гдѣ жилъ Ричлингъ, вывезли одинъ за другимъ пять гробовъ и готовился шестой. Въ августѣ насчитали одиннадцать тысячъ смертныхъ случаевъ, въ сентябрѣ — столько же. Заболѣлъ однимъ изъ первыхъ Рейзенъ, который неуклонно посѣщалъ больныхъ своихъ товарищей, провожая ихъ до самой могилы; вслѣдъ за нимъ заболѣла и жена его.

Ричлингъ встрѣтился съ докторомъ Севьеромъ въ домѣ Рейзена и остановилъ его у входа въ комнату больного вопросомъ:

— Надѣюсь, что вы не сочтете безразсуднымъ съ моей стороны, если, ухаживая за этими людьми, я рискую...

— Нѣтъ, — равнодушнымъ тономъ отвѣтилъ докторъ, который самъ былъ испытанный и все извѣдавшій уже на этомъ поприщѣ ветеранъ.

Сказавъ это, онъ вошелъ въ комнату больного; при этомъ та легкая тѣнь самодовольства, которая прозвучала неволью въ словахъ Ричлинга, исчезла, какъ дымъ.

И Рейзенъ, и жена его, оба выздоровѣли, но братъ булочника и десять рабочихъ пали жертвами эпидемїи. Одинъ только Ричлингъ изъ всего заведенїя остался невредимъ въ то время, какъ больные многими несосчитанными тысячами наполняли городъ, и еще одиннадцать тысячъ смертей въ октябрѣ прибавилось къ предшествующимъ.

— Просто непонятно для меня, какъ я не заболѣлъ до сихъ поръ, — говорилъ Ричлингъ.

— Совѣтую потребовать немедленно разъясненїя, — сумрачно и иронически замѣтилъ на это докторъ.

Наконецъ, свирѣпая болѣзнь стала утихать, какъ бы насытив-

шись своими жертвами. Исчезла она совершенно отъ перваго утренняго мороза и далекий непрерывный гулъ возвращающагося къ жизни города, попрежнему, доносился до слуха загорѣлыхъ дѣвчонокъ и парней, къ вечеру загоняющихъ своихъ коровъ по окрестнымъ болотамъ и нескончаемымъ пригороднымъ лугамъ.

Мы иногда называемъ море жестокимъ, когда оно, разбивая корабль съ сотнями людей и немилосердно уничтожая жизнь, продолжаетъ, какъ ни въ чемъ не бывало, рябиться и улыбаться на солнцѣ; какъ же назовемъ мы и что скажемъ про тѣ волны людскія, частицу которыхъ и мы составляемъ, когда онѣ, обмывая собственныя могилы, весело и не задумываясь бѣгутъ впередъ въ погоню за наживой и честолюбивыми мечтами, только на секунду останавливаясь, чтобы выразить нѣкоторое соболѣзнованіе надъ участью тысячей людей, умершихъ еще вчера на ихъ глазахъ, — людей, которые, въ сущности, какъ и они, могли не умереть? Всѣ эти вопросы задавалъ себѣ докторъ Севьеръ, отложивъ номеръ газеты, столбцы которой были переполнены радостными изъясненіями по поводу возвращающагося въ городъ торговаго и свѣтскаго оживленія и похвалами благотворительности и человѣколюбію, проявившимся во время эпидеміи.

Докторъ не видался нѣкоторое время съ Ричлингомъ. Наконецъ, молодой человѣкъ зашелъ однажды къ нему въ контору, съ лицомъ, веселое выраженіе котораго показалось доктору немного напускнымъ, что указывало на нѣкоторое внутреннее смущеніе.

— Докторъ, — сказалъ Ричлингъ торопливо, — вы уже ѣдете? Я не могъ никакъ выбрать другое время...

— Здравствуйте, Ричлингъ.

— Вотъ цѣлая, недѣля какъ я стараюсь попасть къ вамъ, — продолжалъ Ричлингъ, вынимая бумагу изъ кармана. — Докторъ...

— Ричлингъ... — и въ голосѣ доктора звучала особенная строгость.

Ричлингъ взглянулъ на него, какъ смотреть испуганный ребенокъ на грозовую тучу.

— Это подписной листъ? — спросилъ докторъ, пальцемъ указывая на бумагу.

— Да.

— Не трудитесь разворачивать его, — и докторъ сдѣлалъ жестъ рукою, какъ бы отталкивая бумагу отъ себя. — По чьей инициативѣ?

Ричлингъ назвалъ фамилію знакомаго доктору молодаго пастора, котораго онъ встрѣчалъ не разъ у изголовья больныхъ во вре-

ми эпидеміи и къ которому проникся глубокимъ уваженіемъ за его самоотверженіе и человѣколюбіе. Докторъ стоялъ чернѣе тучи, но, услышавъ имя пастора, улыбнулся. Ричлингъ при этой улыбкѣ измѣнился въ лицѣ.

— Не тотъ ли это маленькій пасторъ, который шепелявить?— спросилъ врачъ.

— Онъ, дѣйствительно, иногда шепелявить,—отвѣчалъ Ричлингъ съ сдвѣленнымъ неудовольствіемъ въ голосѣ и, не глядя на доктора, началъ сворачивать листъ.

— Подождите,—остановилъ его докторъ указательнымъ пальцемъ,—деньги эти собираются съ какою цѣлью?

— Чтобы оказать помощь переполненному вслѣдствіе эпидеміи сиротскому приюту.

Въ голосѣ Ричлинга, когда онъ отвѣчалъ, слышалось еще стѣсненіе и горечь отъ сдвѣннаго негодованія. Но докторъ не обратилъ на это вниманія; онъ спокойно взялъ бумагу изъ рукъ Ричлинга, скрестилъ ноги и, махая бумагой, какъ бы въ подтвержденіе своихъ словъ, сказалъ ему:

— Ричлингъ, въ прежнія времена мы шли въ монастыри, а теперь мы собираемъ деньги по подпискѣ для сиротскихъ приютовъ. Ровно девять мѣсяцевъ тому назадъ, желая предостеречь городъ, я увѣщевалъ управленіе города принять мѣры противъ угрожающей заразы и заранѣе предупреждалъ, что если этого не сдѣлаютъ, то городу придется заплатить жизнями тысячей людей и громаднымъ увеличеніемъ количества безпомощныхъ сиротъ. Тогда еще я не ожидалъ, что эпидемія появится въ нынѣшнемъ году, но зналъ, что она можетъ явиться во всякое время, и мы сами накликали на себя этотъ бичъ... Ричлингъ! мы его заслужили...

Ричлингъ никогда еще не видалъ своего друга въ такомъ непривлекательномъ видѣ. Онъ пришелъ къ нему со всеѣмъ своимъ юношескимъ пыломъ, проникнутый возвышенною пользою дѣла, за которое онъ взялся, и вполне убѣжденный, что другъ его, благородство котораго было ему такъ хорошо извѣстно, съ жаромъ поддержитъ его. Когда онъ взялся отнести подписной листъ къ доктору Северу, ему была непонятна поспѣшность, съ которой маленькій пасторъ ухватился за его предложеніе,—теперь ему все сдѣлалось ясно, и онъ стоялъ передъ докторомъ, совершенно онѣмѣвъ отъ неожиданности. Онъ отвѣчалъ чисто-механически, съ видомъ чловѣка, уклоняющагося отъ незаслуженныхъ нареканій друга, которому онъ не можетъ поставить ихъ въ вину.

— Вы не можете, однако, утверждать, что только тѣ умерли, ко-

торые виноваты?—спросилъ онъ, чувствуя свою безпомощность. Докторъ же, не задумываясь, выпалилъ ему въ отвѣтъ:

— Конечно, нѣтъ. Посмотрите-ка на сотни маленькихъ дѣтскихъ могилъ! Если бы погибли только виноватые, то можно было бы думать, что наступаетъ день Страшнаго суда. Есть люди, которые много говорятъ о милосердіи Божіемъ, проявляющемся будто бы особенно явственно въ мирныя и счастливыя времена, а же нахожу, что нѣтъ большаго проявленія этого милосердія, какъ во времена страшныхъ бѣдствій, при которыхъ одинаково поражаются и виновныя, и невинныя! Ричлингъ, только одно безпредѣльное милосердіе въ соединеніи съ безконечною силой, имѣющею безграничность цѣлой вѣчности впереди, можетъ относиться съ такою пощадою, съ такимъ терпѣніемъ!

Ричлингъ оставался нѣмъ. Докторъ развернулъ подписной листъ и принялся громко читать:

— «Провидѣніе въ своихъ неисповѣдимыхъ путяхъ...» Какъ не стыдно!...

— Что такое?—удивился Ричлингъ.

— О, Ричлингъ! какое несправедливое и незаслуженное обвиненіе! Ничего неисповѣдимаго, недоступнаго нашему пониманію въ этомъ дѣлѣ нѣтъ! Мы топчемъ въ грязь и пренебрегаемъ предписаніями книги законовъ природы и навлекаемъ на себя самихъ ея кары! Послушайте, Ричлингъ,—и докторъ повернулся къ нему, какъ бы начиная новый рядъ аргументовъ,—вы, кажется, читаете Библию, не правда ли?... Да, да, вѣрно, читаете. Но я бы хотѣлъ, чтобы вы никогда не забывали, что и книга природы имѣетъ свои законы, и тотъ, кто не исполняетъ ихъ, тоже грѣшникъ. И въ этомъ писаніи нѣтъ ни евреевъ, ни язычниковъ, а оно предписываетъ свои законы всему человѣческому обществу, и если оно ихъ не исполняетъ, то за послѣдствія оно же само отвѣчаетъ,—и не въ будущей жизни, а теперь, тутъ же, на землѣ!

— И такъ, вы хотите этимъ сказать,—замѣтилъ Ричлингъ, протягивая руку, чтобы взять бумагу назадъ,—что давать деньги должны только тѣ, которые своею небрежностью наполнили пріюты?

— Да, именно это,—подтвердилъ докторъ,—да!—но бумагу онъ не отдалъ и, направившись къ столу, раскрылъ ее и подписался. Глаза Ричлинга невольно слѣдили за его перомъ; при видѣ суммы, пожертвованной докторомъ, онъ воскликнулъ:

— Ахъ, докторъ! вѣдь, такъ много никто не давалъ...

— Вѣрно, ошиблись,—сказалъ докторъ.—Ричлингъ, неужели вы считаете филантропію своимъ призваніемъ?

— Развѣ это не призваніе каждаго изъ насъ?—возразилъ Ричлингъ.

— Я не объ этомъ васъ спрашиваю.

— Да, но вы задаете такой вопросъ,—замѣтилъ Ричлингъ, улыбаясь,—на который никто не захочетъ отвѣчать.

— Хорошо, не отвѣчайте. Однако, вотъ что я вамъ скажу, Ричлингъ,—продолжалъ докторъ, длиннымъ своимъ пальцемъ указывая на карманъ, въ которомъ исчезъ подписной листъ,—это дѣло несомнѣнно хорошее, какъ бы вы его ни предпринимали,—въ качествѣ ли филантропа, или нѣтъ,—оно пользу свою принесетъ. Но это только азбука благотворительности. Ричлингъ, когда благотворительность принимаетъ видъ филантропіи, будьте насторожѣ. Помоему, благотворительность, по возможности, должна ограничиваться внутреннимъ *мотивомъ*, готовностью помочь. Филантропіи всѣ склонны отрицать значеніе органическаго устройства общества, и какъ только оно хромаетъ гдѣ-нибудь, они стремятся замѣнить его какою-нибудь филантропическою машиной. Все это неправильно, Ричлингъ. Надо и тутъ дѣйствовать, какъ дѣлаетъ искусный врачъ,—надо помогать природѣ.

Ричлингъ покосился на доктора и въ недоумѣніи взерошилъ свои волосы; затѣмъ онъ глубоко вздохнулъ и, взглянувъ опять на доктора, недовѣрчиво улыбнулся и потеръ себѣ лобъ рукою.

— Вы этого не признаете?—съ удивленіемъ спросилъ докторъ.

— Ахъ, докторъ!...—воскликнулъ Ричлингъ съ жестомъ отчаянія,—мы совсѣмъ другъ друга не понимаемъ. Мнѣ кажется, что въ жизни нѣтъ дѣла болѣе достойнаго и высокаго; оно мнѣ представляется...—Докторъ перебилъ его:

— Да, но только съ точки зрѣнія чувства, Ричлингъ... Ричлингъ!—и докторъ, волнуясь, опять приблизился къ нему,—если вы ужъ *хотите* быть филантропомъ, то вы должны, прежде всего, сдѣлаться хладнокровнымъ человѣкомъ.

Ричлингъ громко расхохотался, но смѣялся онъ не отъ души.

— Ну, что-жь?—возразилъ его другъ, пожимая плечами, какъ бы отказываясь отъ дальнѣйшаго спора. Но когда Ричлингъ всталъ, чтобы идти, докторъ удержалъ его.—Постойте! я знаю, что у васъ мало свободнаго времени, но скажите Рейзену, что я васъ задержалъ.

— Дѣло не въ Рейзенѣ, а въ самой работѣ,—отвѣчалъ Ричлингъ; онъ сѣлъ, однако, опять на мѣсто.

— Ричлингъ, въ раннія времена человѣколюбіе, въ общественной своей формѣ, являлось въ видѣ монахини, перевязывающей раны на полѣ битвы. Не съ тѣхъ поръ оно успѣло принять видъ менѣе

женственный и научилось проявлять себя смѣло и сильно. Прежде оно только могло облегчать и исправлять послѣдствія зла, теперь же оно съ помощью знаній имѣеть возможность вліять на причины зла. И вотъ, вамъ бы я сказалъ: предоставьте эту азбучную, чисто-моціональную благотворительность монахинямъ и благотворительнымъ обществамъ. Дѣло хорошее, и предоставьте его имъ; если можете, помогайте имъ деньгами.

— Мнѣ кажется, я понимаю, что вы хотите сказать, — проговорилъ Ричлингъ медленно и задумчиво.

— Я очень радъ, если вы поняли меня, — возразилъ докторъ съ замѣтнымъ облегченіемъ.

— Но это налагаетъ еще болѣе серьезную отвѣтственность на крѣпкихъ, сильныхъ людей, въ особенности на мужчинъ, если я васъ вѣрно понялъ, — замѣтилъ Ричлингъ какъ бы вопросительно.

— Безъ сомнѣнія! На людей твердыхъ духомъ, мужчинъ и женщинъ безразлично; на тѣхъ, которые обладаютъ достаточною силой, чтобы рубить безошадно дерево до самаго корня, до причинъ вещей, и рубить не переставая, настойчиво, терпѣливо, пока не рухнетъ то зло, которое они подкапывали и которое, въ силу своей крѣпости, требовало такой долгой работы, прежде чѣмъ можно было разрубить его на куски и побросать въ огонь. Ричлингъ, собирайте, если хотите, валежники для препровожденія времени, но не воображайте, чтобы въ этомъ заключалось ваше призваніе! Скажите, чему вы улыбаетесь?

— Вашему высокому мнѣнію обо мнѣ, — отвѣчалъ Ричлингъ. — Докторъ, я не думаю, чтобы я былъ пригоденъ къ чему-нибудь лучшему, но я готовъ попробовать.

— Вздоръ! — Докторъ не любилъ самоуниженія. — Ричлингъ, уменьшайте число безпомощныхъ, брошенныхъ сиротъ... Но для этого вамъ не ложка нужна, а топоръ, чтобы вырубить старые корни зла. Ваіяйте на уменьшеніе преступленій и пороковъ, уничтожайте нищету, уменьшайте процентъ смертности среди рабочихъ и бѣдныхъ классовъ, улучшайте ихъ помѣщенія, ихъ больницы, оздоравливайте ихъ мастерскія, просвѣщайте ремесленниковъ... Ахъ, Ричлингъ, вотъ я вамъ проповѣдую, а самъ я ничего не исполнилъ! Учитесь на моихъ ошибкахъ!

— Вы не можете сказать, чтобы вы не исполнили этого! — воскликнулъ Ричлингъ.

— Нѣтъ, не исполнилъ, — повторилъ докторъ, — и вотъ, я убѣждаю васъ холоднымъ разсудкомъ умѣрять вашу благотворительность, а самъ всегда все дѣлалъ сторяча, со страстью.

— А мнѣ послѣднее больше по-сердцу,—съ живостью отвѣчалъ Ричлингъ.

— Вы бы должны, болѣе чѣмъ кто-либо, ненавидѣть такой способъ дѣйствій,—возразилъ его другъ,—такъ какъ это было причиной всѣхъ вашихъ несчастій. Ричлингъ, страсть—слабость, а высшая справедливость безстрастна. Помните слова Юнга: Богъ только милосердный былъ бы Богомъ несправедливымъ. Въ наше время благотворительность, чтобы дѣйствительно заслуживать это имя, должна проявляться не подъ вліяніемъ чувства, а руководствуясь знаніемъ. Чувство необходимо, но оно должно идти въ слѣдъ, а не руководить. Вотъ вамъ хоть одинъ примѣръ. Повинуясь чувству, не хотѣлось бы продавать тамъ, гдѣ можно дать, но это уже старый, никуда негодный способъ благотворенія. Новый, разсудочный способъ неизмѣримо лучше: слѣдуя ему, никогда не станешь давать никому—ни лицу, ни обществу—тамъ, гдѣ можно продать. Вы, Ричлингъ, инстинктивно приложили это правило къ себѣ самому, такъ начните прикладывать его къ другимъ.

— Это ужъ совсѣмъ другое,—не задумываясь возразилъ Ричлингъ.—Прикладывать его къ другимъ—не мое дѣло.

— Нѣтъ, ваше дѣло: вы не имѣете права поступать относительно другихъ иначе и хуже, чѣмъ поступаете относительно себя.

— А что же скажутъ про меня?... По крайней мѣрѣ... нѣтъ, не то... а...

У доктора голосъ слегка дрожалъ, когда онъ отвѣтилъ ему:

— Они скажутъ о васъ: «я зналъ тебя, что ты человѣкъ жестокій». Однако, Ричлингъ,—продолжалъ онъ болѣе спокойнымъ голосомъ,—я долженъ вамъ сказать, что если вы захотите, какъ говорите, провести долгую и полезную жизнь, вы должны, прежде всего, послушаться моего совѣта. Вы должны на время отказаться отъ всякихъ такихъ плановъ и выбросить пока всѣ эти мысли изъ головы. Еще разъ повторяю вамъ: вы должны, прежде всего, постараться возстановить свое здоровье и привести его въ то состояніе, въ которомъ оно было... до вашего заключенія въ тюрьму, вы слышите? Когда вы этого достигнете, вы можете сейчасъ же начать дѣйствовать, чего я отъ души желаю для васъ. Сдѣлайте такъ, чтобы общество измѣнилось, — путемъ продажи, конечно, было бы лучше всего, но врядъ ли это возможно, — звѣрскую систему тюремнаго заключенія, представляющую у насъ полное отрицаніе правосудія и служащую рассадникомъ пороковъ и преступленій. Кстати, вы вѣрно знаете, что Рафаила Ристофало опять засадили въ тюрьму со вчерашняго вечера?

Ричлингъ вскочилъ на ноги.

— За что? Неужели онъ...

— Онъ нашелъ того, кто его обокралъ, и убилъ его.

Ричлингъ собирался уйти, но приостановился, такъ какъ докторъ, вставъ съ своего стула, снова заговорилъ.

— Ристофало хитеръ и опытенъ въ этомъ дѣлѣ: онъ не будетъ тамъ особенно страдать. Онъ уже договорился со сторожемъ и ему дали удобное помѣщеніе. Прощайте!

Когда Ричлингъ ушелъ, докторъ тоже взялъ шляпу и перчатки.

«Да, — думалъ онъ, медленно спускаясь по лѣстницѣ, — я часто ошибался».

И такъ, докторъ не только училъ другихъ, но и самъ научался: онъ почувствовалъ, что въ жизни не все заключается въ борьбѣ со зломъ: должно быть, есть еще нѣчто другое. Когда нуждались въ деньгахъ, чтобы помочь несчастнымъ сиротамъ, къ нему не обращались прямо, а посылали: всѣ сторонились, какъ бы боясь его. Даже Алиса, его милая и умершая Алиса плакала, бывало, отъ восторга, когда онъ ей улыбался, и дрожала, когда онъ хмурился. Недостаточно бороться со зломъ: всякій, казалось, начиналъ чувствовать, что борьба направлена лично противъ него. Ахъ! если бы хоть одинъ человѣкъ могъ понять и не осуждать строгихъ на видъ, но, въ сущности, прекрасныхъ и добрыхъ побуждений этого печальнаго, одинокаго существованія!

XXX.

С о м н ѣ н і я .

Зима 1859 года передъ самой междуособной войной прошла для Ричлинга въ усиленной работѣ при пекарнѣ. Рейзень съ его помощью завелъ у себя паровую машину и Ричлингъ, надѣясь этимъ способомъ достигнуть болѣе дешевыхъ цѣнъ на хлѣбъ, съ жаромъ поддерживалъ нѣмца во всѣхъ этихъ начинаніяхъ. При томъ же, его давнишняя любовь къ механикѣ могла здѣсь найти себѣ полное примѣненіе; онъ одинъ во всей хлѣбопекарнѣ отчетливо понималъ значеніе и смыслъ новаго механическаго производства и ему даже удалось внести въ него нѣкоторыя усовершенствованія, о которыхъ онъ съ восторгомъ и гордостью писалъ длинныя письма Мэри. Его примѣръ заразилъ добродушнаго Рейзена, который окунулся въ новое дѣло со всѣмъ рвеніемъ прежнихъ молодыхъ лѣтъ, забывая въ пылу соревнованія, что годы и силы его были уже не тѣ. Докторъ

Северь, посѣтивъ однажды Ричлинга въ пекарнѣ «Звѣзды» и замѣтивъ слишкомъ усердное отношеніе къ дѣлу Рейзена, предостерегъ его и совѣтовалъ бросить все на время и поѣхать къ морю отдохнуть. На это нѣмецъ, указавъ на Ричлинга и улыбаясь до ушей, твердилъ только: «Пошлите лучше его,» — и больше ничего не хотѣлъ слушать. Докторъ прописалъ ему лѣкарство, но когда Рейзенъ замѣтилъ, что подъ влияніемъ его онъ засыпалъ, когда Ричлингъ былъ на работѣ, преспокойно вышвырнулъ лѣкарство изъ окна. Для доктора, такимъ образомъ, не было неожиданностью, когда Ричлингъ нѣсколько времени спустя пришелъ къ нему и съ тревожнымъ лицомъ сообщилъ, что Рейзенъ сошелъ съ ума. Оба отправились вмѣстѣ къ больному, рѣшивъ уговорить мистрисъ Рейзенъ немедленно помѣстить мужа въ первоклассную лечебницу для душевнобольныхъ. По пути Ричлингъ узналъ отъ доктора, что уже за шесть мѣсяцевъ передъ тѣмъ Рейзенъ сдѣлалъ распоряженіе на случай своей смерти или болѣзни, въ силу котораго, съ согласія жены, все веденіе ихъ дѣлъ переходило въ руки Ричлинга. Молодой человекъ, сознавая всю щекотливость такого положенія, былъ глубоко смущенъ и озадаченъ этимъ извѣстіемъ; онъ хотѣлъ немедленно отказаться отъ мѣста въ пекарнѣ, но докторъ убѣдилъ его остаться, доказывая ему, что бросить несчастную мистрисъ Рейзенъ въ такомъ безпомощномъ положеніи было не только щекотливо, но и невозможно. Пріѣхавъ въ пекарню, докторъ долго убѣждалъ жену Рейзена согласиться на помѣщеніе больнаго въ лечебницу, но такъ и уѣхалъ, не добившись ничего и съ полною безнадежностью на выздоровленіе ея мужа.

Ричлингъ всю зиму устраивалъ свои дѣла такъ, чтобы имѣть возможность съѣздить къ Мэри при наступленіи весны, но теперь объ этомъ уже не могло быть и рѣчи: чего бы ни стоило ему въ душѣ такое рѣшеніе, оно было принято имъ просто, безъ всякихъ колебаній и жалобъ на судьбу и докторъ Северь остался доволенъ его твердостью. Единственнымъ утѣшеніемъ для Ричлинга было, сидя поздно ночью въ бѣдной своей каморкѣ, доставать пачку писемъ отъ Мэри и перечитывать ихъ, переживая съ ними все, что было ему такъ дорого и въ прошломъ, и въ мечтахъ о будущемъ. Иногда чтеніе этихъ писемъ ободряло и подкрѣпляло его, но не всегда. Бывали дни, и теперь они наступали все чаще и чаще, когда Ричлингъ оставался, въ особенности по прочтеніи этихъ писемъ, подъ гнетомъ какого-то внутренняго недовольства, которое не ускользнуло отъ пронипательности доктора.

Въ одно изъ своихъ посѣщеній больнаго Рейзена докторъ, при

выходѣ изъ пекарни, направляясь къ своему экипажу, вдругъ повернулся къ Ричлингу и неожиданно сказалъ ему:

— Ричлингъ, вы уже разлюбили вашу работу?

— Почему вы спрашиваете? — спросилъ молодой человѣкъ, краснѣя.

— Такъ... я уже не вижу въ васъ той радости, которую вы испытывали вначалѣ. Работа ваша дѣлается вамъ въ тягость, не такъ ли?

Ричлингъ опустилъ глаза.

— Я не хотѣлъ, чтобы вы замѣтили это, докторъ.

— А я боялся и ожидалъ этого момента съ самаго начала, — возразилъ врачъ.

— Я не понимаю — почему.

— Я видѣлъ, что ваше рвеніе вначалѣ было немного неестественно и экзальтировано, и я ожидалъ со страхомъ минуты, когда вамъ опять придется рассчитывать на поддержку въ себѣ бодрого настроенія чувствомъ необходимости и долга. Вы долго идеализировали трудъ, но, наконецъ, его тягость одолеваетъ васъ и вы чувствуете ничѣмъ необъяснимое недовольство, не правда ли?

— Не знаю; я только чувствую себя какъ-то опять съжившимся, какъ будто я меньше, чѣмъ прежде.

— Это меня не удивляетъ, — все это происходитъ отъ чувства недовольства.

— Не можетъ быть, докторъ! Вслѣдствіе неудовлетворенности, я, напротивъ, стремлюсь къ большому и мнѣ кажется, что никогда еще я не чувствовалъ такого желанія найти болѣе широкое примѣненіе для моихъ силъ. Но что я могу сдѣлать, оставаясь здѣсь? Я бы могъ... я долженъ былъ бы...

Врачъ положилъ руку на плечо молодаго человѣка.

— Стойте, Ричлингъ. Не говорите этого: такъ многіе говорятъ, а вы не изъ многихъ. Это все фразы, говорите лучше: я долженъ... я буду... Ричлингъ, знаете, въ первый разъ, какъ я лечилъ вашу жену, оставшись со мной наединѣ, она умоляла меня не дать ей умереть, ради васъ. Она сама не сознавала настоящей причины этой мольбы, но развѣ вы не угадываете ее? Дѣло въ томъ, что вы не можете обойтись въ жизни безъ нравственной поддержки вашей жены. Вы и теперь нуждаетесь въ Мэри, чтобъ идти прямо и стойко по намѣченному пути, и она васъ однимъ робкимъ, любящимъ взглядомъ удержала бы на немъ.

— Докторъ, — возразилъ Ричлингъ, — вы, кажется, хотите задѣть мое самолюбіе?

— Что-жъ изъ этого? Вы охотно говорите, что любите ее и скучаете безъ нея, но ваше мужское самолюбіе не допускаетъ, чтобы вы нуждались въ ея нравственной опорѣ, а развѣ это не правда?

— Это не будетъ правдой, — сказалъ Ричлингъ, шутливо грозя кулакомъ, — я не донущу до этого.

И въ смѣхѣ его чувствовалась легкая обида.

— Ричлингъ, — и докторъ передъ уходомъ задержалъ его на минуту пальцемъ, — поймите меня. Человѣкъ, который не чувствуетъ потребности имѣть въ женѣ нравственную опору для себя, недостойнъ и имѣть такую жену.

— Однако, докторъ, — подхватилъ Ричлингъ, — вы-то какъ разъ доказываете мнѣ противное.

— Нѣтъ, Ричлингъ, нѣтъ. Я не былъ достоинъ ея и Богъ отнялъ ее у меня.

Ричлингъ, по желанію доктора Севьера, попытался убѣдить жену Рейзена взглянуть на дѣло леченія ея мужа не съ точки зрѣнія ея личныхъ чувствъ, а фактовъ, настоятельно требующихъ болѣе спокойнаго и объективнаго отношенія. Говорилъ онъ съ ней долго, до головокруженія, но она не могла отрѣшиться отъ своихъ предвзятыхъ мыслей и сантиментальностей. Наконецъ, разсердившись, она обвинила его въ корыстныхъ побужденіяхъ; когда же онъ, послѣ этого, потребовалъ немедленнаго разчета, она въ самыхъ смиренныхъ и дружескихъ выраженіяхъ попросила у него прощенія, но осталась при своихъ предразсудкахъ, находя поддержку себѣ въ такихъ же добродушныхъ и невѣжественныхъ сосѣдяхъ и друзьяхъ, какъ и она сама. Послѣ всѣхъ этихъ безнадежныхъ разговоровъ и недоразумѣній, неудивительно, если Ричлингъ возвращался къ своимъ печамъ и счетамъ, сознавая, что исчезла та временная бодрость, которую слова доктора какъ будто возстановили въ немъ: онъ чувствовалъ себя подавленнымъ и уничтоженнымъ.

— Гдѣ я и что я? — Отвѣта не было. Разлука съ Мэри, которая когда-то причиняла ему такую нестерпимую боль, утратила теперь свою остроту, но за то давила и грызла его всею своею тупою и гнетущею тяжестью.

Въ эту самую ночь Ричлингъ написалъ женѣ; что онъ писалъ — неизвѣстно, но онъ чувствовалъ все время, что не былъ въ надлежащемъ настроеніи, и съ первою же почтой Мэри ему отвѣчала:

«Не лучше ли мнѣ пріѣхать? Одно слово отъ тебя — и я пріѣду. Я отправлюсь съ пароходомъ въ Чикаго, оттуда по желѣзной дорогѣ до Баиро и опять на пароходѣ отъ Санъ-Луи до Новаго-Орлеана.

Съ Алисой я не буду чувствовать себя ни одинокою, ни беззащитною и за ней присмотрѣть мнѣ не трудно. Ахъ! Джонъ, я иногда бываю настолько малодушна, что изъ всѣхъ нашихъ невзгодъ это время разлуки мнѣ кажется всего невыносимѣе. Когда мы съ тобой болѣли и голодали вмѣстѣ, мы, все-таки, были *вмѣстѣ*. Напиши одно только слово: приѣзжай, и я приѣду съ невыразимымъ восторгомъ. Съ тѣмъ, что ты накопилъ, да съ такимъ прочнымъ мѣстомъ, какъ у тебя теперь, развѣ нельзя было бы намъ начать снова жить вмѣстѣ? Алиса и я можемъ прекрасно помѣститься въ пекарнѣ. Милый Джонъ, скажи только слово—и черезъ нѣсколько дней мы будемъ съ тобой. Я, все-таки, прежде всего, полагаюсь на твое благоразуміе и прошу тебя не дѣлать уступокъ моему нетерпѣнію: я знаю, что ты рѣшишь лучше меня. Мать моя очень ослабѣла за это время, но теперь ей лучше. Я давно подозрѣвала, а теперь ясно вижу, что мой мужъ, мой дорогой и милый мужъ, нуждается во мнѣ больше всѣхъ, и вотъ я ѣду; я ѣду къ тебѣ, Джонъ, если только ты позовешь меня къ себѣ.

«Твоя Мэри».

Ричлингъ три раза перечелъ письмо жены и даже не улыбнулся. Онъ сознавалъ, что вызвалъ это письмо, и чувство это мѣшало ему предаваться безъ оглядки наплыву восторга. Въ то время, какъ онъ медленно складывалъ письмо, въ комнату вошла мистрисъ Рейзенъ. Былъ одинъ изъ тѣхъ удушливо-жаркихъ весеннихъ вечеровъ, которые иногда въ Новомъ-Орлеанѣ даютъ непріятно чувствовать, что зима прямо перешла въ лѣто. Жена булочника стояла передъ Ричлингомъ, всунувши свои громадныя красныя руки въ жарманы необъятнаго фартука и съ своими тремя, лоснящимися отъ пота, подбородками.

Она привѣтливо поздоровалась съ своимъ управляющимъ. Ричлингъ спросилъ ее о состояніи здоровья ея мужа.

— Онъ спокоенъ, мистеръ Ричлингъ, и ему вообще гораздо лучше, а то рѣшительно для меня было бы непонятно, почему онъ дѣлается съ каждымъ днемъ все спокойнѣе и сидитъ себѣ смирно, ни съ кѣмъ не говоря.

— Мистрисъ Рейзенъ, жена моя хочетъ, чтобы я ее вызвалъ сюда,—сказалъ Ричлингъ, указывая ей на письмо,—чтобъ опять попрежнему жить здѣсь со мной.

— Что вы, мистеръ Ричлингъ!

— Да.

— Право, вотъ ужъ не повѣрила бы! — и съ этими словами она съѣла. — Какъ разъ въ началѣ лѣта! Что же это такое? А вы

миѣ говорили, мистеръ Ричлингъ, что ваша жена благоразумная женщина. Да, я-то знаю, что всѣ молодыя женщины одурѣваютъ, когда дѣло касается ихъ мужей. Вотъ и ваша жена такая же: пріѣдетъ и спуститъ всѣ деньги, которыя вы накопили; да еще, вдобавокъ, и здоровье матери ея слабѣтъ! Не уснѣтъ она пріѣхать сюда, какъ придется обратно натить.

— Что же это такое, мистрисъ Рейзенъ?—взволнованно замѣтилъ Ричлингъ. — Вы говорите такъ, какъ будто вамъ не хочется, чтобъ она сюда пріѣхала.

— Ну, да... конечно! Вѣдь, и вы не хотите этого?

Ричлингъ напряженно засмѣялся.

— Миѣ кажется, что для меня естественнѣе было бы желать ея пріѣзда, мистрисъ Рейзенъ. Развѣ намъ не говорили въ церкви: «что Богъ сочеталъ, того человекъ да не разлучитъ»?

— Никто и не собирается васъ разлучать, мистеръ Ричлингъ! Однако, я не понимаю, почему она хочетъ пріѣхать сюда. Развѣ я васъ не достаточно оберегаю?—и она вышла изъ комнаты со слезами на глазахъ.

Три дня Ричлингъ обдумывалъ письмо Мэри и не отвѣчалъ ей. Проходя черезъ дворъ пекарни на третій день вечеромъ, онъ вдругъ почувствовалъ легкое и знакомое прикосновеніе къ своему плечу. Хотя было темно, онъ обернулся и шепотомъ сказалъ:

— А, Ристофало!

— Какъ поживаете?—отвѣтилъ Ристофало, не измѣняя голоса.

— Какимъ образомъ вы здѣсь? — спросилъ Ричлингъ. — Вы убѣжали изъ тюрьмы?

— Нѣтъ, я только вышелъ подышать свѣжимъ воздухомъ. Я здѣсь съ надзирателемъ тюрьмы или, лучше сказать, съ однимъ изъ сторожей; вернемся какъ-нибудь ночью. Имѣете извѣстія отъ жены?

— Имѣю, — сказалъ Ричлингъ въ совершенномъ недоумѣніи. — Но какъ это можетъ быть: вы и вашъ тюремщикъ вмѣстѣ прогуливаетесь?

— Да почему-жь и нѣтъ? Вышли просто подышать воздухомъ, вотъ и все. Онъ остался тамъ, на улицѣ: можете отсюда видѣть его. Вонъ тамъ, смотрите, валяется на ступенькѣхъ передъ дверью совершенно пьяный! — и итальянецъ самодовольно улыбнулся, но только на минуту. — Я только что былъ у Бетъ, захотѣлось миѣ повидаться и съ вами.

— Вы отдаете визиты, я вижу?—замѣтилъ Ричлингъ.

— Да, именно. Жена ваша здорова?

— Да, спасибо; здорова. А, кстати, Ристофало, что бы вы сказали, еслибъ я вызвалъ ее сюда и мы опять зажили бы попрежнему вмѣстѣ? Вѣдь, пора, кажется, не такъ ли?

— А что вы-то сами думаете?—спросилъ Ристофало.

— Я ничего не могу сказать, такъ какъ я не рѣшилъ этого вопроса. Вотъ три дня хожу и все думаю объ этомъ. Вамъ должно казаться это удивительною мелочью для трехдневнаго...—Ричлингъ остановился, разсчитывая на несогласіе своего собесѣдника.

— Да,—подтвердилъ Ристофало,—конечно, мелочь. Скажите мнѣ, она объ этомъ васъ просить? Я полагаю, что вы ее подбили на это, а?

— Я не вижу, почему бы вамъ такъ полагать, — сухо замѣтилъ Ричлингъ.

— Не знаю почему, — сказалъ итальянецъ, — такъ мнѣ кажется... такъ часто поступаютъ мужья. — Наступило молчаніе. Затѣмъ онъ проговорилъ: — Не торопитесь, не пускайте ее сюда, пока...

— Пока что?

— Пока не увидите, въ какую сторону кошка прыгнетъ.

— Что вы хотите этимъ сказать? — спросилъ Ричлингъ, напрямленно смѣясь.

— А то, что у насъ будетъ война,—объяснилъ Ристофало.

— Го-го! вы жестоко ошибаетесь, Ристофало!

— Не знаю, — отрѣзалъ итальянецъ, — мнѣ такъ кажется; война неизбежна. Я просматриваю ежедневно всѣ газеты нашей тюрьмы... другаго дѣла у меня и нѣтъ тамъ. Въ будущей зимѣ, навѣрное, будетъ война!

— Ристофало, увѣряю васъ, человѣкъ вашего темперамента не можетъ и представить себѣ, до какой напряженности иногда доходятъ дѣла въ Америкѣ безъ всякой войны. Мы, американцы, не похожи на васъ, итальянцевъ.

— Совсѣмъ не похожи, правда, — согласился Ристофало съ странною улыбкой. — Если бы не Бетъ, я бы теперь отправился въ Италію.

— Если бы не Бетъ и не городская тюрьма, — замѣтилъ Ричлингъ.

— Изъ тюрьмы я выйду, когда захочу.

— И вы бы присоединились къ Гарибальди, не правда ли?

Въ то время только что получены были извѣстія о Гарибальди изъ Сициліи.

— Да, — съ сверкающими глазами сказалъ итальянецъ, — я знакомъ съ Гарибальди.

— Неужели?

— Да. Я плавалъ съ нимъ, когда онъ былъ капитаномъ корабля. Онъ знаетъ меня.

— И, навѣрное, онъ васъ узналъ бы сейчасъ, — съ жаромъ подхватилъ Ричлингъ.

— Да, онъ меня не забудетъ, — спокойно отвѣтилъ итальянецъ. — Ну, прощайте, я долженъ идти. Посоветуйте женѣ переждать еще немного.

— Не... знаю, посмотримъ... Ристофало!

— Что?

— Я хочу бросить пекарню.

— Лучше не бросайте. Держитесь ужъ одного чего-нибудь.

— А почему же вы всегда мѣняли? Я не помню, чтобы вытѣмъ же дѣломъ занялись три дня подрядъ!

— Ну, это—большая разница!

— Да въ чемъ скажите: я не понимаю!

Но итальянецъ только улыбнулся, пожимая плечами. Уходя, онъ сказалъ:

— Мистеръ Ричлингъ, если вы хотите вызвать жену, то ужъ вы не можете бросить мѣсто; а если вы хотите бросить мѣсто, то вы ужъ не можете вызвать жену. Прощайте.

Ричлингъ остался одинъ съ своими размышлениями. Онъ рѣшилъ отбросить всякія мечты въ сторону и написалъ Мэри, чтобъ она переждала лѣто, не рискуя здоровьемъ, и пріѣхала позднѣе, когда силы матери ея окрепнутъ.

Черезъ день или два послѣ отправленія письма онъ заболѣлъ и слегъ въ постель. Кашель не давалъ ему спать и онъ досадовалъ на него въ особенности потому, что не могъ объяснить себѣ, какъ могъ онъ простудиться въ такую теплую весеннюю погоду. При первомъ же посѣщеніи доктора Севьера мистрисъ Рейзенъ удалось мелькомъ сообщить ему о желаніи Мэри и о томъ, какой совѣтъ она дала Ричлингу по этому случаю.

— Вѣроятно, онъ послѣ этого и не позвалъ жены?

— Да, такъ и не позвалъ.

— Ну, такъ лучше было бы и не вѣшпиваться вамъ въ это дѣло, мистрисъ Рейзенъ, — рѣзко отвѣтилъ докторъ и пошелъ въ комнату Ричлинга.

— Ричлингъ, почему вы не посылаете за вашею женой?

Больной, вонхнувъ отъ волненія, тревожно заметался на кровати и приподнялся на подушкѣ.

— Ахъ, докторъ,—проговорилъ онъ, недовѣрчиво глядя на него,—какъ же мнѣ вызвать ее сюда съ ребенкомъ именно теперь, когда начинается лѣтняя жара?

Онъ задумался на мгновение и затѣмъ добавилъ:

— Мнѣ кажется, докторъ, что вы это предлагаете мнѣ, какъ рецептъ противъ моей тоски. Неужели у васъ хватило бы духу сказать мнѣ, что въ этомъ и состоитъ моя болѣзнь?

— Нѣтъ, вы не этимъ больны. У васъ скверный кашель, отъ котораго вамъ надо беречься; но и тоску тоже мы не можемъ не принять въ расчетъ, а, вѣдь, вы сами знаете, какъ скоро Мэри и... маленькая дѣвочка излечили бы васъ въ этомъ отношеніи.

— Я не могу ихъ вызвать сюда, докторъ,—сказалъ Ричлингъ.—Если ужъ дѣлать это для излеченія тоски, то только если бы Мэри, а не я захворала этою болѣзью.

— Ну, мистрисъ Рейзенъ,—холодно сказалъ докторъ, обращаясь къ нѣмкѣ, которая провожала его до кареты,—надѣюсь, что вы не забудете моей просьбы.

— Я исполню ее въ точности, докторъ,—былъ смиренный и послушный отвѣтъ, такъ что доктору стало немного совѣстно своей рѣзкости.

— Мистеръ Ричлингъ мнѣ сказалъ, что къ осени онъ все приготовить къ пріѣзду мистрисъ Ричлингъ.

— Вотъ прекрасно!—воскликнула булочница, своимъ добродушнымъ восторгомъ напоминая своего мужа.—Я именно это и совѣтовала ему!—добавила она, энергично потирая свои громадные руки, пока докторъ отъѣзжалъ.

Очень скоро послѣ этого она имѣла радость видѣть Ричлинга опять на ногахъ и на работѣ и съ истинно-материнскою заботливостью продолжала слѣдить за нимъ.

XXXI.

Печать торъмы.

Настало лѣто,—лѣто 1860 года, сухое и жаркое. Все вниманіе, всѣ помыслы обратились на бѣшеную президентскую кампанію передъ осенними выборами; все другое отошло на второй планъ. Извѣстія, получаемыя съ каждымъ пароходомъ изъ Европы о блестящихъ побѣдахъ свободы и обновленія Италіи въ лицѣ Гарибальди, даже яростная партизанская война въ Мексикѣ, со-

ставляющая для Нового-Орлеана такой животрепещущий вопрос, — все теперь утратило значение въ виду обостренія тѣхъ сложныхъ политическихъ вопросовъ, въ разрѣшеніи которыхъ каждый съ опасеніемъ давно уже ждалъ исхода для жизненнаго спора между двумя половинами американской націи. Собранія конвентовъ уже кончились, списки кандидатовъ были составлены и партіи устраивали митинги, собранія, говорили рѣчи и т. д.

Вся жизнь сосредоточилась съ страшнымъ напряженіемъ на одномъ вопросѣ. Всѣ—мужчины, женщины и дѣти—всѣ дѣлались участниками борьбы, которая, казалось, поглотила все. Вмѣстѣ всѣ стояли за конституцію, за союзъ, а каждый въ отдѣльности, даже Ричлингъ, за проведеніе собственныхъ идей. На груди у всѣхъ, безъ различія пола и возраста, видѣлась на ленточкѣ маленькая, круглая медаль съ изображеніемъ кандидата въ президенты на одной сторонѣ и вице-президента—на другой. Я полагаю, что почти излишне прибавлять, что Кетъ Ристофало, по совѣту своего мужа, одна изъ первыхъ занялась торговлей этими медалями, какъ сама, такъ и чрезъ посредство разношниковъ. Для продажи устраивались маленькіе прилавки на самыхъ видныхъ и бойкихъ мѣстахъ, на тротуарахъ и площадяхъ города.

Одинъ изъ такихъ прилавковъ появился на углу пассажа, образуемаго почтовою конторой, который соединялъ тогда двѣ улицы. Зданіе почтамта тянулось по обѣимъ сторонамъ пассажа съ безчисленнымъ множествомъ отверстій для бросанія и полученія писемъ. Однажды Ричлингъ, стоя у одного изъ такихъ отверстій и готовясь вскрыть конвертъ только что полученнаго письма съ штемпелемъ Мильуоки, вдругъ увидѣлъ человѣка, который изъ всѣхъ силъ бѣжалъ мимо него къ выходу пассажа; смертельная блѣдность его лица поразила Ричлинга. За нимъ гналась толпа людей, которая ревяла вслѣдъ за нимъ:

— Повѣсить его! повѣсить его!

— Пойдемте, — шепнулъ Ричлингу небольшой, коренастый человѣчекъ, схватившій его за руку и тянувшій его за собою вмѣстѣ съ бѣгущею толпой: это былъ Ристофало. Оба со всѣхъ ногъ бросились къ выходу пассажа. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него, на улицѣ, они нашли несчастнаго уже окруженнаго и съ веревкой на шеѣ.

Итальянецъ какъ тигръ, однимъ скачкомъ бросился на толпу, стоящую около несчастной жертвы, разбрасывая по сторонамъ все, что было по пути. Кто-то въ толпѣ прицѣлился въ него револьверомъ. Ричлингъ однимъ ударомъ вышибъ пистолетъ изъ державшей его руки и оружіе перелетѣло черезъ головы ближайшихъ рядовъ.

Въ эту минуту въ рукѣ Ристофало блеснулъ длинный кинжалъ; лѣвою рукою онъ держалъ веревку и, наклонясь впередъ, искалъ глазами, въ кого бы всадить свой ножъ. Какой-то незнакомецъ послѣпно сказалъ что-то по-итальянски Ричлингу и тоже всунулъ ему въ руку кинжалъ громаднѣйшей величины. Но какъ разъ въ эту минуту наступило внезапное затишье. Ристофало уже стоялъ передъ Ричлингомъ съ спокойною улыбкой и обезоруженный, а рядомъ съ нимъ видна была стройная, невозмутимая и сильная фигура Смита Изарда. Онъ говорилъ съ толпой, а въ это время съ десятокъ полицейскихъ успѣли собраться около него. Окончивъ рѣчь свою, онъ сдѣлалъ движеніе рукою, чтобы разогнать собравшуюся толпу.

— Расходитесь по своимъ дѣламъ!

И толпа начала рѣдѣть. Тогда Изардъ, положивъ руку на плечо бѣглеца, обратился къ полиціи:

— Снимите веревку съ этого человѣка, а потомъ сведите его на вокзалъ и охраняйте его тамъ, пока онъ не будетъ въ безопасности.

Объясненіе, которымъ онъ успокоилъ толпу, оказалось весьма простымъ. Спасенный человѣкъ былъ торговецъ президентскими медалями. Въ это несчастное для него утро, раскупоривъ новый пакетъ медалей, онъ не замѣтилъ, что среди массы медалей съ портретами Бреккенриджа и Лѣна попалось нѣсколько медалей съ изображеніемъ Линкольна: въ этомъ и заключалась вся его вина. Ошибка произошла на фабрикѣ какого-нибудь сѣвернаго штата и намѣреніе продавать медали въ честь Линкольна торговцу и въ голову не приходило.

— Не говорилъ ли я вамъ?—сказалъ итальянецъ Ричлингу, удаляясь съ нимъ отъ мѣста драки.—Ручаюсь вамъ, что будетъ война: она уже начинается.

— Для меня война началась въ тотъ день, когда я женился,—замѣтилъ Ричлингъ.

Ристофало молча выжидалъ дальнѣйшаго объясненія, наконецъ, спросилъ:

— Какъ это такъ?

— Ахъ, я напрасно объ этомъ заговорилъ,—возразилъ Ричлингъ,—я не могу вамъ объяснить.

— Ну, и ладно,—отвѣчалъ итальянецъ. Помолчавъ немного, онъ добавилъ:—Я слышалъ, какъ Смитъ Изардъ назвалъ васъ по имени. Какимъ образомъ онъ васъ знаетъ?

— Я себя и представить не могу!

Итальянецъ махнулъ рукою.

— Впрочемъ, это ваше дѣло, а не мое.—Затѣмъ, опять помолчавъ, онъ сказалъ:—Кажется, вы спасли мнѣ жизнь сегодня.

— Ничего особеннаго я не сдѣлалъ,—замѣтилъ Ричлингъ.

Въ тотъ же день онъ опять слегъ на два или три дня и ему было очень тяжело, когда докторъ Севьеръ приписалъ его заболѣваніе этимъ нѣсколькимъ минутамъ возбужденія и физическаго напряженія на улицѣ.

— Но, во всякомъ случаѣ, Ричлингъ, вы это хорошо продѣлали,—утѣшалъ его докторъ.

— Да, ужъ нечего сказать!—поддержала его Кетъ Ристофало, зашедшая посѣтить больного одновременно съ докторомъ,—вы справедливо говорите, докторъ!

Мистрисъ Рейзенъ тоже выразила свой восторгъ. Когда объ женщины вышли изъ комнаты, Ричлингъ немедленно обратился къ доктору съ вопросомъ:

— Докторъ, послѣдній разъ, когда я лежалъ, вы говорили, что я болѣнъ отъ тоски, теперь вы говорите, что отъ возбужденія, но, въ сущности, я вижу, что ни отъ того и ни отъ другаго. Скажите мнѣ, что это со мною дѣлается? Что это за болѣзнь, изъ-за которой мнѣ приходится лежать?

— Ричлингъ,—медленно проговорилъ докторъ,—говоря по истинѣ, вы получили ее въ тюрьмѣ.

Больной, положивъ руки себѣ подъ голову, лежалъ молча и неподвижно, какъ бы въ раздумьѣ.

— Да,—сказалъ онъ немного погодя, и опять замолчалъ.

— Да, я такъ и думалъ. И неужели физическія силы мнѣ измѣняютъ именно теперь, когда онѣ мнѣ такъ нужны?

И Ричлингъ глубоко вздохнулъ.

— Надо все сдѣлать, чтобы этого не было,—возразилъ докторъ.—Я, вѣдь, другъ мой, только и сказалъ вамъ объ этомъ, чтобы показать вамъ всю необходимость держаться вдали отъ всей этой кутерьмы, отъ всѣхъ этихъ маршировокъ по ночамъ, сборищъ и возни.

— Да неужели же я такъ всю жизнь... всю жизнь проведу, отказываясь отъ всего?—въ полголоса проговорилъ Ричлингъ.

— Успокойтесь, Ричлингъ, и теперь отдохните и не разговаривайте больше. Не всегда же придется отъ всего отказываться! Больной человекъ всегда думаетъ, что настоящее и есть все будущее. Сначала выздоровѣйте, а для этого вамъ нужно, прежде всего, душевное спокойствіе. Газетъ совсѣмъ не читайте, лучше читайте Библию; я самъ пробовалъ для успокоенія читать ее.

Въ голосѣ доктора при этомъ было столько задушевности и онъ такъ тепло посмотрѣлъ на молодаго человѣка, нѣжно отводя у него съ лица его вьющіеся волосы, что Ричлингъ почувствовалъ себя взволнованнымъ и отвернулся.

— Не надо унывать, Ричлингъ!—сказалъ докторъ уже болѣе твердымъ голосомъ и кладя руку на плечо больного. — Черезъ два или три дня вы будете на ногахъ. Прежде чѣмъ успѣете оглянуться, лѣто пролетитъ, а тамъ настанетъ время для пріѣзда Мэри.

Ричлингъ съ веселою улыбкой протянулъ ему руку на прощанье.

XXXII.

Н а ю г ѣ.

Тревожное лѣто медленно проходило. Ричлингъ, слѣдуя совѣту доктора, держался въ сторонѣ отъ политическаго движенія и жилъ только надеждой на скорое свиданіе съ Мэри. Кругомъ все волновалось и движеніе съ каждымъ днемъ разрасталось и принимало все болѣе и болѣе угрожающій видъ. Докторъ Севьеръ съ глубокимъ и напряженнымъ вниманіемъ слѣдилъ за состояніемъ политическаго барометра и съ волненіемъ прислушивался къ отдаленному грому приближающейся грозы.

Лѣто было очень душное, жаркое и вредное для больныхъ, несмотря на то, что желтая лихорадка не появлялась. Силы бѣднаго Рейзена не выдержали: онъ умеръ на рукахъ своей жены и Ричлинга.

Съ наступленіемъ октябрьскихъ прохладныхъ дней, въ Новомъ-Орлеанѣ закончился одинъ изъ самыхъ оживленныхъ коммерческихъ годовъ, начало которыхъ тамъ обыкновенно считается съ сентября. Ни одинъ изъ жителей этого богатаго города не подозрѣвалъ, что подобнаго года съ его золотою жатвой не придется увидѣть горделивой южной столицѣ раньше четверти столѣтія. И для Джона настала, наконецъ, моментъ, когда послѣ многихъ отсрочекъ, въ одномъ изъ своихъ писемъ, дрожащею отъ волненія и радости рукой, онъ написалъ Мэри давно желанное слово: пріѣзжай! Идя съ драгоценнымъ письмомъ въ рукѣ по направленію къ почтѣ, онъ набрелъ на цѣлую толпу, окружающую редакцію газеты *Picaune*, съ волненіемъ раскупающую послѣднія печатныя извѣстія о президентскихъ выборахъ, исходъ которыхъ ожидался съ часу на часъ. Ричлингъ тутъ же встрѣтился съ знакомымъ ему сердобольнымъ маленькимъ пасторомъ, только что съ величайшими

усиліями вырвавшимся изъ толпы съ послѣднимъ политическимъ бюллетенемъ, смятымъ въ рукѣ. Они пошли вмѣстѣ подъ руку и пасторъ на ходу громко читалъ извѣстія, въ то время какъ лавочки и разнощики жадно ловили его слова по дорогѣ.

— Это ужасно, ужасно!—повторялъ маленькій пасторъ, взволнованно сунувъ бюллетень въ карманъ.

— Эй! мистеръ Ричлингъ,—крикнулъ въ эту минуту Нарцисъ и какъ стрѣла промчался мимо нихъ къ конторѣ редакціи.

— Вотъ онъ счастливъ,—замѣтилъ Ричлингъ.

— Въ такомъ случаѣ, онъ одинъ только и счастливъ сегодня въ Новомъ-Орлеанѣ,—сказалъ пасторъ со вздохомъ.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Ричлингъ,—передъ вами другой счастливый человѣкъ. Вы видите это письмо? Я сейчасъ отправляю его; немедленно же, по полученіи его, жена выѣдетъ сюда.

Маленькій пасторъ, находясь подъ гнетущимъ впечатлѣніемъ избранія Линкольна, началъ убѣждать Ричлинга потерпѣть еще нѣсколько времени, не вызывать жены какъ разъ въ такое время, когда можно было ежеминутно ждать, что весь югъ поднимется на ноги. Но, видя, что убѣжденія его не дѣйствуютъ, онъ, наконецъ, уговорилъ его зайти къ доктору Севьеру и спросить его совѣта. Ричлингъ согласился тѣмъ болѣе, что контора доктора была по близости. Докторъ былъ дома.

— Что случилось, Ричлингъ?—спросилъ онъ, вставая и идя къ нему на встрѣчу.—Какъ ваше здоровье?—и при этихъ словахъ онъ особенно внимательно взглянулъ на молодого человѣка.

— Я написалъ Мэри, чтобы она ѣхала,—отвѣчалъ Ричлингъ, съ видимымъ утомленіемъ опускаясь въ кресло.

— Письмо уже послано?

— Вотъ оно; я несу его на почту.

Докторъ съ особенною рѣшительностью сѣлъ, скрестилъ ноги и взялъ со стола тотъ самый бумажный ножъ, которымъ онъ размахивалъ два года съ половиной тому назадъ, во время разговора съ Мэри и Джономъ наканунѣ ихъ разлуки.

— Ричлингъ, выслушайте меня. Я уже нѣкоторое время обдумывалъ этотъ вопросъ и рѣшилъ сдѣлать вамъ одно предложеніе. Забудьте, я все принялъ въ расчетъ, и васъ, и Мэри, и событія кругомъ насъ, и политическое состояніе страны... и будущее,—словомъ, я все взвѣсилъ. Я лучше, чѣмъ кто бы то ни было, знаю васъ съ физической и духовной стороны, васъ и Мэри, конечно. И такъ, не думайте, чтобы я вамъ дѣлалъ свое предложеніе подъ вліяніемъ минутнаго влеченія, и потому напередъ рассчитываю на ваше

согласіе. Ричлингъ, я вамъ дамъ взаймы двѣ или двѣ съ половиной тысячи долларовъ, которые вы можете получить какъ и когда угодно, а вы пойдете домой, уложите ваши вещи и на полгода или даже на цѣлый годъ поѣзжайте къ себѣ на родину и отдохните въ обществѣ вашей жены и вашего ребенка.

Ричлингъ глядѣлъ на него въ безмолвномъ удивленіи.

— Вы шутите, докторъ? Вы не можете думать...

— Я ничего не думаю, а я хочу, чтобы вы сдѣлали такъ, какъ я вамъ предлагаю.

— Это невозможно!

— Ричлингъ, пришлось ли вамъ хоть разъ пожалѣть, что вы послѣдовали моему совѣту?

— Нѣтъ, ни разу. Но это... неисполнимо. Что же это такое будетъ—бросить на удовольствіе все то, что я добылъ въ теченіе четырехлѣтней борьбы?! Я васъ не понимаю, докторъ!

— Сразу и не выяснишь вамъ; толковать объ этомъ пришлось бы долго и много.

— Нѣтъ, да и думать объ этомъ не стоить,—проговорилъ Ричлингъ въ полголоса, какъ бы про себя.

— Идите домой, обдумайте мое предложеніе и завтра рѣшите,—наставлялъ докторъ.

— Это бесполезно.

— Въ такомъ случаѣ, вызовите Мэри. Попшите ваше письмо.

— Вы серьезно говорите, докторъ?—изумился Ричлингъ.

— Да, совершенно серьезно. Пускай Мэри пріѣдетъ и скажи-те ей, что я посоветовалъ ей это сдѣлать.

При этихъ словахъ, замѣтивъ слезы на глазахъ Ричлинга, докторъ отвернулся, но не надолго. Подавивъ свое волненіе, онъ подошелъ къ Ричлингу, который всталъ, чтобы идти, и взялъ его за руку.

— Да, Ричлингъ, вызовите ее сюда, если вы не хотите сами ѣхать. Сдѣлайте это сейчасъ; вѣдь, вы знаете, я хочу, чтобы вамъ было хорошо, чтобы вы были счастливы.

— Еще одинъ вопросъ, докторъ! Какъ вы думаете, будетъ у насъ война?

— Не знаю, но если она и будетъ, все равно, уже настала пора вамъ тремъ соединиться. Прощайте.

Письмо пошло въ тотъ же день.

Смутныя, тяжелыя времена, на ряду съ общими опасеніями, возбуждаемыми неизвѣстностью будущаго, въ то же время, часто пробуждаютъ въ отдѣльныхъ личностяхъ новыя, спавшія дотолѣ

надежды. Не говоря уже о Ричлингѣ, который весь отдался счастью ожидаемаго приѣзда Мэри и который, несмотря на новую отсрочку ихъ свиданія, вслѣдствіе болѣзни ей матери, продолжалъ надѣяться на скорое осуществленіе своей мечты, другіе тоже мечтали и надѣялись. Нарцисъ, рѣшившись, наконецъ, просить доктора о прибавкѣ себѣ жалованья, несмотря на категорическій отказъ послѣдняго, съ еще болѣею увѣренностью продолжалъ надѣяться получить ее: креолу показалось, какъ онъ самъ разсказывалъ Ричлингу, что докторъ, отказывая ему, въ существѣ дѣла не былъ такъ взбѣшенъ противъ него, какъ съ перваго взгляда могло показаться, — «да, кромѣ того, вы знаете, мистеръ Ричлингъ, — добавилъ креолъ, — пока живъ человѣкъ, онъ все продолжаетъ надѣяться, вотъ и я такъ».

Для мистрисъ Ристофало возможность войны возбуждала особенно свѣтлыя ожиданія, такъ какъ мужа ея въ такомъ случаѣ должны были выпустить изъ тюрьмы и назначить капитаномъ въ армію.

И у доктора Севьера, несмотря на его одинокое существованіе, были тоже свои надежды въ это тревожное время. Онъ волновался за участь своего госпиталя, своихъ больныхъ, своего города, своего штата, боялся за будущее Ричлинга и Мэри и переживалъ живѣйшія надежды и опасенія за участь великаго братства и единства Американскихъ штатовъ.

Нѣсколько недѣль прошло въ этихъ волненіяхъ, наконецъ, докторъ Севьеръ попытался опять уговорить своего молодого друга ѣхать къ женѣ:

— Ричлингъ, — настаивалъ онъ, — поѣзжайте домой, къ женѣ. Я долженъ васъ предупредить, что ваша болѣзнь серьезна и угрожаетъ вашей жизни.

— Развѣ опасность отъ болѣзни будетъ меньше, когда я поѣду домой? — возразилъ Ричлингъ.

Докторъ молчалъ.

— Война будетъ у насъ, не правда ли? — продолжалъ Ричлингъ.

— Навѣрное, будетъ.

— Неужели вы полагаете, докторъ, что солдаты вернутся домой, какъ только они почувствуютъ, что жизнь ихъ въ опасности? — спросилъ Ричлингъ, улыбаясь.

— Это совсѣмъ другое дѣло, Ричлингъ: то поле битвы.

— Развѣ и это не то же самое, докторъ? Что такое жизнь, какъ не поле сраженія для каждаго изъ насъ?

Докторъ нетерпѣливо отвернулся, не удостоивъ его отвѣтомъ. Однако, черезъ минуту онъ рѣшительно сказалъ:

— Мы раненыхъ уносимъ съ поля сраженія!

— Да, но сами они не покидаютъ его добровольно, — твердо отвѣчалъ Ричлингъ.

— Кроме того, — продолжалъ докторъ, вставая и направляясь большими шагами къ огню, — опытный генералъ имѣетъ право, когда нужно, повести войска къ отступленію.

— Да, это такъ, но... впрочемъ, можетъ быть, мнѣ лучше не говорить того, что я хотѣлъ сказать...

— Нѣтъ, говорите.

— Генералъ не предоставляетъ врачу рѣшать этотъ вопросъ. Докторъ, — продолжалъ Ричлингъ, глядя въ лицо другу и какъ бы извиняясь передъ нимъ за только что сказанное, — вы сами говорите, что знаете лучше всякаго другаго все то, что Мэри и мнѣ пришлось пережить... почти все, по крайней мѣрѣ... и вы знаете такъ же, какъ мы съ ней все это переносили. Подумайте сами: если бы моя жизнь, такимъ образомъ, теперь оборвалась, окончилась, то въ чемъ же послѣ этого заключался бы вообще смыслъ жизни? Вѣдь, его бы не было, не было! Нѣтъ, докторъ, такъ не можетъ, не должно кончиться. Мэри и я... — и на одно лишь мгновеніе его голосъ дрогнулъ; но онъ тотчасъ оправился и твердо договорилъ: — насъ обоихъ ожидаетъ долгая и полезная жизнь. Я говорю такъ, основываясь на простѣйшемъ здоровомъ смыслѣ... такъ не должно кончиться...

Докторъ быстро отвернулся, подошелъ къ огню и замолчалъ...

Наконецъ, раздался и въ Новомъ-Орлеанѣ бой барабановъ, — не тотъ шуточный бой, который въ мирныя времена служилъ, бывало, потѣхой дѣтямъ, а тотъ, которымъ созывались войска въ сраженіе и на смерть. Городъ былъ неиззнаваемъ: парады, маршировки, знамена, султаны, ржанье коней, пушечные салюты, балы, концерты, угощенія въ честь отѣзжающихъ, разноцвѣтные мундиры, военный шумъ и блескъ все вытѣснили, все затмили. Улицы были запружены войсками, и одинъ полкъ за другимъ подъ громъ барабановъ, каждый съ своими нарядными маркитантами, проходилъ напутствуемый прощальными привѣтствіями населенія, занимавшаго всѣ балконы и всѣ окна домовъ. Прошли такимъ образомъ вашингтонская артиллерійская батарея, орлеанскій батальонъ, зуавы съ ихъ красными шароварами и фесками и бѣлыми штиблетами, прошли и стрѣлковые батальоны, а съ ними и капи-

танъ Ристофало, и нашъ маленькій пасторъ въ должности военнаго капеллана. Вся набережная была завалена военною аммуницией и пароходы то и дѣло выгружали отовсюду собиравшіяся войска: шли войска изъ Опелузаса, изъ Аттанаса, изъ Техаса, со всего Юга. Уже много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, но и теперь еще звучить въ ухахъ ихъ тяжелый мѣрный шагъ на широкой гранитной мостовой, когда они двигались среди полночной тишины, и помнится, какъ въ ихъ рядахъ сверкали при лунномъ свѣтѣ тѣ самыя птыки и сабли, которые такъ скоро должны были обогрѣться братскою кровью.

Между прочими и Нарцисъ, назначенный лейтенантомъ въ батальонъ пѣшихъ стрѣлковъ, покинулъ городъ въ самомъ восторженномъ и счастливомъ настроеніи. Прощаясь въ послѣдній разъ съ роднымъ городомъ съ палубы отходящаго парохода, онъ чувствовалъ, что оставляетъ за собой всю скуку и однообразие своего чернильнаго дѣла: вся тягость жизни, трудъ, заботы, стѣсненіе, — все, по мѣрѣ того, какъ пароходъ удалялся, медленно погружалось на его глазахъ въ воды Поншартренскаго озера. Передъ нимъ открывался весь міръ, веселая солдатская жизнь и путь къ военной славѣ: такъ отправился на войну молодой креоль, отдаваясь всецѣло радостнымъ надеждамъ и наплыву молодой, безпечной удали, и такъ же радостно и безпечно падъ онъ, сраженный пулей, съ саблей въ рукѣ и съ крикомъ «ура», въ рядахъ своихъ товарищей.

Съ отходомъ войска Новый-Орлеанъ опустѣлъ и замеръ. Осталась только старая, инвалидная конфедеративная гвардія, да иностранный легіонъ, справляющіе свои ежедневные неинтересныя смотры; торговля затихла, женщины занимались щипаніемъ корпии, въ таможднѣ заготавливались лафеты, на литейныхъ заводахъ отливались громадныя пушки, улицы начинали заростать травой, а бѣдныя солдатскія жены собирались кучками на «Свободномъ Рынкѣ» въ трепетномъ ожиданіи извѣстій съ войны.

XXXIII.

Н а с ѣ в е р ѣ .

Однажды утромъ, въ послѣднихъ числахъ мая 1861 г., два челоуѣка, повидимому, негодіанты, вышли изъ боковой улицы на главный проспектъ города Нью-Йорка, такъ называемый «Бродвэ», и остановились на углу, въ ожиданіи благопріятнаго момента для перехода на другую сторону.

— Даже въ то время, когда южныя штаты готовились къ отпа-

деню, — проговорилъ одинъ изъ нихъ среди грохота экипажей, — я не думалъ, что они нарушатъ союзъ.

У говорящаго было краснощекое, доброе лицо съ мягкимъ подбородкомъ и привѣтливыми глазами, въ то время какъ болѣе молчаливый собесѣдникъ его отличался узкимъ лицомъ, тонкими ноздрями, живымъ и слегка вызывающимъ взглядомъ. Онъ не сразу отвѣтилъ, затѣмъ, быстрымъ взоромъ окинувъ шумную улицу, сказалъ:

— Бродвѣ, право, удивительная улица.

Выпрямившись во весь ростъ и жадно оглядываясь во всѣ стороны, онъ, повидимому, наслаждался кипучею жизнью своего города, шумомъ и движеніемъ его многотысячнаго населенія, коммерческимъ блескомъ и безконечною вереницей многоэтажныхъ зданій.

— Интересно бы знать, сколько людей въ одинъ часъ успѣваютъ пройти у этого угла, гдѣ мы стоимъ? — замѣтилъ краснощекій, слѣдя за быстротой и количествомъ проходящихъ мимо нихъ пѣшеходовъ, но, не получивъ никакого отвѣта, возвратился къ своей первоначальной темѣ. — Я просто не вѣрилъ возможности такого событія, — сказалъ онъ. — Вспомните результаты голосованія на Югѣ въ прошломъ ноябрѣ, вспомните, какъ держалъ себя Новый-Орлеанъ; судя по всему этому, можно было вполнѣ ожидать, что на сторонѣ отдѣленія не будетъ болѣе двадцати пяти процентовъ всего населенія, не такъ ли?

Собесѣдникъ его, между тѣмъ, не обращая никакого вниманія на его слова, внимательно слѣдилъ за двумя женщинами, стоящими на тротуарѣ рядомъ съ ними, повидимому, задержанными, какъ и они сами, невозможностью сразу перебраться на другую сторону. Одна изъ нихъ была толстая, красная женщина, весьма уже зрѣлыхъ лѣтъ; одѣтая въ черное, хотя и не бѣдное, но очень дурно сшитое платье, другая была изящная, молодая и красивая женщина съ выраженіемъ какой-то установившейся печали въ глазахъ и въ углахъ рта. Она держала за руку маленькую трехлѣтнюю толстощекую дѣвочку, которую не замѣтилъ наблюдающій ихъ негодіантъ, пока старуха не подняла ее на руки съ крикомъ:

— Смотри, малютка, смотри! Видишь, какіе флаги? И сколько ихъ! Все флаги, флаги, флаги, ихъ тысячи!...

Дѣвочка, повидимому, осталась недовольна фамиллярностью чужой женщины; сжавъ недовольныя губки, она при первомъ удобномъ случаѣ выскользнула изъ ея рукъ.

— Отсюда намъ не пройти, — сказалъ молчаливый негодіантъ.

— Вѣрно, ждуть здѣсь прохода войскъ: всѣ огна домовъ заняты зрителями.

— Подождемъ и посмотримъ, — предложилъ краснощекій, и, получивъ согласіе молчаливаго товарища, онъ съ удивленіемъ воскликнулъ, глядя на изумительное зрѣлище, которое представляла въ эту минуту главная улица Нью-Йорка: — Нѣтъ, сэръ, этого я никакъ не думалъ когда-либо увидать! — и съ этими словами онъ указалъ на Бродвэ, огромное движеніе котораго, вдругъ чѣмъ-то задержанное, направилось въ обратную сторону, подобно теченію громадной запруженной рѣки.

Все вниманіе улицы сосредоточилось на той сторонѣ, откуда ожидалось интересное появленіе.

— Наконецъ-то и мы взялись серьезно за дѣло и теперь стало ясно, что и Югъ не шутилъ все это время, — продолжалъ добродушный человѣкъ.

— Врядъ ли Югъ смотритъ на дѣло серьезно, чѣмъ мы, — замѣтилъ болѣе рѣшительный изъ обоихъ собесѣдниковъ.

— Я очень надѣялся на мирные переговоры, — возразилъ краснощекій.

— А я ни на минуту не рассчитывалъ на нихъ, — отвѣчалъ другой.

— Время, пережитое нами до объявленія войны, было ужасно... всѣ ждали, что будетъ дѣлать Линкольнъ по вступленіи въ должность, — продолжалъ краснощекій. — Моя жена была въ то время на Югѣ у родныхъ своихъ и все откладывала свое возвращеніе сюда, въ надеждѣ на лучшія, болѣе спокойныя времена, а тутъ вдругъ войска заняли границы и замкнули цѣпь, такъ что проѣхать ей удалось только съ величайшимъ трудомъ.

— Я никогда не сомнѣвался въ томъ, что будетъ дѣлать Линкольнъ, — сказалъ остроглазый и при этомъ онъ толкнулъ локтемъ своего сосѣда, указывая на молодую женщину, однимъ ухомъ прислушивающуюся къ ихъ разговору, хотя она стояла на половину отвернувшись отъ нихъ. Словоохотливый товарищъ его немедленно отвѣтилъ шепотомъ:

— Это и есть та самая молодая лэди, съ которой я ѣхалъ въ вагонъ всю дорогу изъ Чикаго.

— Не время теперь для дамъ путешествовать одиѣмъ, — пре-бормоталъ другой.

— Она надѣялась попасть на пароходъ въ Новый-Орлеанъ и ѣдетъ туда къ мужу.

— Должно быть, мужъ — мятежникъ, изъ южанъ.

— Нѣтъ; она говоритъ, что онъ принадлежитъ къ сторонникамъ союза.

— Какъ бы не такъ!—недовѣрчиво проговорилъ остроглазый.— Во всякомъ случаѣ, она опоздала. Послѣдній пароходъ ушелъ: онъ, можетъ быть, и вернется, а, можетъ быть, и нѣтъ!— и затѣмъ изъ-за плеча товарища онъ снова пристально взглянулъ на нее, въ то время какъ она, нагнувшись къ дѣвочкѣ, поправляла ея шляпку и тихо отвѣчала на ея вопросы.

— А кто знаетъ, можетъ быть, это шпионка?—прошепталъ онъ своему товарищу.

Тотъ смѣясь повернулся къ нему, готовясь шутливо отвѣтить на шутку, но, замѣтивъ серьезное выраженіе лица своего собесѣдника, презрительно фыркнулъ ему въ лицо и отвѣтилъ въ полголоса:

— Будьте покойны, она совершенная лэди, въ полномъ и лучшемъ смыслѣ этого слова.

— Ну, а этого нельзя сказать про ея компаньонку,—подхватилъ остроглазый.

— Идутъ!—громко замѣтилъ его товарищъ, глядя вверхъ по улицѣ. Всѣ взоры обратились въ ту сторону. Отрядъ полицейскихъ шелъ впереди, очищая дорогу и сворачивая въ боковыя улицы фургоны, телѣги, экипажи, омнибусы,—словомъ, все, что было на пути; за ними подъ тучей развѣвающихся платковъ стройно надвигалась тѣсно сомкнувшаяся синяя колонна съ свергающимъ гребнемъ штыковъ и военнымъ оркестромъ впереди. Музыка молчала, колонна приближалась подъ оглушающимъ трескомъ однихъ барабановъ.

Остроглазый таинственно толкнулъ товарища.

— Послушайте,—шепнулъ онъ. Толстая спутница молодой женщины заговорила въ эту минуту.

— Вотъ странная встрѣча! Вы искали ново-орлеанскій пароходъ, а я гамбургскій, такъ мы и встрѣтились; да такъ и не знали бы другъ друга, если бы агентъ не переспросилъ:— «И такъ, ваша фамилія мистрисъ Рейзенъ?» Вы услышали ее. Вамъ стѣло только заговорить, какъ меня тутъ же осѣнило: это, должно быть, мистрисъ Ричлингъ!—подумала я.

Молодая женщина, уже слышавшая этотъ рассказъ два или три раза въ теченіе одного часа, не особенно внимательно слушала ее: дѣвочка теребила ее за платье и задавала ей вопросы; нѣсколько разъ слышно было, какъ молодая женщина тихимъ голосомъ удовлетворяла ея любопытство, говоря: «да, Алиса». Между тѣмъ, вдо-

ва Рейзена, не смущаясь, продолжала свой рассказъ, сама наслаждаясь имъ:

— Вы знаете, мистеръ Ричлингъ не разъ говорилъ мнѣ: «Мистрисъ Рейзенъ, не закрывайте пекарню, продолжайте дѣло!» Но тутъ какъ-то случилось, что паровая машина испортилась, всѣ литейные заводы были заняты исключительно отливкой ружей и пушекъ и вотъ я себѣ и сказала: у меня есть деньги, лучше мнѣ обратиться по-добру по-здорову къ себѣ домой. Однако, я обратилась къ доктору Севьеру съ вопросомъ: «А что будетъ дѣлать, скажите мнѣ, мистеръ Ричлингъ, когда я уѣду?» Докторъ, узнавъ, что у меня осталось много муки на рукахъ, посоветовалъ мнѣ все передать ему; онъ былъ причиной моего обогащенія. Я такъ и сдѣлала. «Впрочемъ, докторъ, — говорю я ему, — это все еще не то, что слѣдуетъ: вѣдь, это не постоянное жалованье». А онъ мнѣ въ отвѣтъ: «Вы знаете, у меня бухгалтера нѣтъ, онъ отправился на войну, а мнѣ нуженъ помощникъ...»

Въ эту минуту раздался около нихъ ревъ мѣдныхъ инструментовъ и заглушилъ ихъ голоса; толпа сдвинулась съ края тротуара къ домамъ.

— Дайте мнѣ поддержать дѣвочку, — проговорилъ краснощекий добрякъ и осторожно посадилъ себѣ ребенка на плечо въ ту минуту, какъ мѣрными шагами, среди восторженныхъ криковъ, маханья шляпъ и платковъ, подходило къ нимъ войско, сверкая штыками на утреннемъ солнцѣ подъ развѣвающимся звѣзднымъ знаменемъ Союза. И вдругъ вся эта колонна, вторя военной музыкѣ, идущей впереди, заплѣла своими хрипылыми солдатскими голосами подъ ритмъ собственныхъ шаговъ.

Наэлектризованная толпа съ неописаннымъ энтузіазмомъ и съ криками восторга подхватила солдатскую пѣсню, и слезы текли по щекамъ не одного только нашего молчаливаго и строгаго знакомаго, пока проходила освободительная многотысячная армія, распѣвая вмѣстѣ съ народомъ пѣсню о Джонѣ Броунѣ, умершемъ за свободу.

Мэри стояла и тоже плакала, и не отъ страха, какъ замѣтилъ молчаливый остроглазый сѣверянинъ. Всѣ они напутствовали армію, спасительницу Союза, въ ея подвигъ и правомъ дѣлѣ. Больше четверти столѣтія уже прошло съ тѣхъ поръ, и мы, южане, признаемъ правоту Сѣвера, хотя и оплакиваемъ преждевременную смерть столькихъ молодыхъ, здоровыхъ силъ.

А. П.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Элегія.

Глухая ночь. Опять съ страдальческой тоской,
Облокотясь въ нѣмомъ безсильи на перила,
Стою я одинокъ надъ сумрачной рѣкой,
Въ гранитныхъ берегахъ почившей, какъ могила.
Нѣтъ звѣздъ и далеко до утренней зари.
Ненастно... Въ два ряда, рѣкой темнозеркальной,
Горятъ таинственно и скупю фонари,
Какъ ночью факелы процессіи печальной.
И на душѣ темно, и больно, что прошла
Вся жизнь забитою и для другихъ незримой,
Средь гнета пошлости, паденія и зла,
Въ гранитныхъ берегахъ нужды невыносимой.
Да, больно, тяжело, что нечѣмъ вспомануть
Мнѣ молодость и жизнь, отцвѣтшую такъ рано;
Что сердце замерло, истерзанная грудь
Охвачена тоской, какъ дымкою тумана;
Что я, какъ инвалидъ, стремлюся на покой,
И тускло надъ душой горять воспоминанья,
Какъ погребальныхъ свѣчъ тоскливое мерцанье,
Какъ мрачныхъ фонарей убогое сіянье
Надъ этой сумрачной, безмолвною рѣкой.

А. Федоровъ.

СВѢТСКАЯ ДАМА.

Романъ Гектора Мало.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Улица Шампюнетъ, одна изъ самыхъ большихъ въ Монмартрѣ, была еще недавно простою пригородною дорогою, совершенно неза-селенною и далеко отстоявшею отъ Парижа, отъ котораго отдѣлялась валомъ и безконечно длинною стѣною кладбища, изолировавшею ее настолько, что человѣкъ незнающій не могъ предположить даже существованія здѣсь, рядомъ, такого могущественнаго и полнаго жизни города.

Идя отъ Сентъ-Уэнскаго предмѣстья по безконечно-длинной улицѣ Пуассоньеръ, можно было встрѣтить только винныя лавочки, помѣщавшіяся въ нижнихъ этажахъ невзрачныхъ домишекъ, лѣсные склады подрядчиковъ, громадныя зданія начальныхъ школъ, плодовые сады и безконечныя пустыри.

Въ этихъ обширныхъ пустыряхъ по обѣ стороны дороги разстилалась лѣтомъ посѣрѣвшая отъ пыли зелень и полусгнившіе заборы тянулись за заборами. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ виднѣлись странныя постройки, болѣе похожія на амбары и сарай, чѣмъ на дома, напоминающія скорѣе селенія дикарей, чѣмъ жилища цивилизованныхъ людей.

Въ одной-то изъ такихъ усадебъ, имѣющей два выхода: одинъ на улицу Шампюнетъ, другой—въ переулокъ, идущій отъ улицы Маркодетъ, въ сторожкѣ, сколоченной изъ тесу и крытой смоленымъ картономъ, жилъ старый разнощикъ газетъ, прозванный дѣдушкой Трипомъ. Онъ платилъ за свое помѣщеніе исполненіемъ обязанностей сторожа усадьбы. Сосѣдніе пустыри обходились безъ сторожей, но такъ какъ здѣсь было нѣсколько строеній—на улицѣ слесарня, въ

переулкъ складъ перевозчика мебели, среди двора маленькій одноэтажный домикъ и противъ него досчатая сторожка, вродѣ той, гдѣ помещался сторожъ, то необходимъ былъ дворникъ, чтобы отпирать ворота утромъ и запираеть вечеромъ.

Если взглянуть съ улицы на одноэтажный домикъ, примыкавшій къ общей стѣнѣ цимлянаго завода, откуда доносилось безпрерывное пиленіе, то по фасаду съ огромными стеклянными рамами казалось, что это непременно мастерская художника или скульптора, который, ставя требованія дешевизны выше удобствъ и удовольствія, не побоялся забратъся въ такую глушь.

Лѣтомъ дикій виноградъ обвивалъ красную крышу маленькаго домика, а зимой плющъ покрывалъ свою зеленью его стѣны. Между тѣмъ какъ весь дворъ былъ заваленъ обломками и заросъ сорною травой, передъ домикомъ разстился зеленый коверъ, образуя садикъ, среди котораго разросся бузинный кустъ съ опущенными, на подобіе зонта, вѣтвями. Дѣйствительно, эта мастерская была выстроена однимъ начинавшимъ карьеру скульпторомъ, жившимъ въ ней въ то время, когда, работая въ уединеніи съ утра до ночи, избѣгая какихъ бы то ни было развлеченій и знакомствъ, онъ имѣлъ сношенія только съ моделями и заказчиками, и оставившимъ ее въ тотъ самый день, когда счастье улыбнулось ему и онъ понялъ, что свѣтскіе люди, какъ бы ни желали имѣть статую, подписанную его славнымъ молодымъ именемъ, не рѣшатся предиринять такой дальній путь, чтобы достигнуть до его мастерской.

— Улица Шампіонетъ?... Гдѣ это улица Шампіонетъ?

— Кварталь Великихъ Карьеръ.

Это все равно, что сказать Бандійскій или Сенарскій лѣсъ.

Когда Трипъ налѣпилъ ярлыкъ, что «сдается мастерская съ квартирой», онъ думалъ, что отъ дѣйствія непогоды и дождя ему не разъ придется мѣнять его, прежде чѣмъ явится новый постоялецъ, такъ какъ онъ нисколько не заблуждался относительно красоты и пріятностей того квартала, гдѣ жилъ поневолѣ. Какъ бѣденъ и одинокъ долженъ быть тотъ художникъ, который захочетъ похоронить себя здѣсь! А, между тѣмъ, черезъ недѣлю явился охотникъ, который, осмотрѣвъ помещеніе, состоявшее изъ мастерской, одной маленькой комнаты и довольно просторной кухни, сказалъ, что беретъ его.

Такъ, сразу, не торгуясь! Дѣдушка Трипъ былъ пораженъ. Старикъ былъ честный человекъ, и такъ какъ онъ запросилъ дороже, рассчитывая, что будутъ торговаться и придется уступить, то его немного смущало, что тотъ сразу согласился. Не слѣдовало ли дать

этому наивному наемщику возможность хоть отчасти вернуть то, что онъ добровольно терялъ? По его мнѣнію, слѣдовало.

— Конечно, тутъ будутъ кое-какія передѣлки, — замѣтилъ онъ.

— Я самъ прикажу сдѣлать тѣ, которыя найду для себя нужными.

Было отъ чего придти въ отчаяніе! Кто же этотъ странный господинъ?

— Ваша фамилія?

— Жофруа.

— Художникъ?

— Нѣтъ.

— Скульпторъ?

— Нѣтъ.

Ни художникъ, ни скульпторъ! Такъ зачѣмъ же онъ занимаетъ эту мастерскую, и въ этомъ проклятомъ кварталѣ, который онъ, Трипъ, сейчасъ же покинулъ бы, если бы имѣлъ возможность нанять квартиру въ другомъ мѣстѣ, въ Монтрюжѣ, на примѣръ, куда онъ всегда мечталъ переселиться, какъ только улучшатся обстоятельства?

Все болѣе и болѣе недоумѣвая, Трипъ разглядывалъ незнакомаго господина. Это былъ молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати восьми, тридцати, котораго по рѣшительной походкѣ, изящнымъ манерамъ, прямому взгляду и отрывистой рѣчи можно было принять за офицера, если бы не его черная окладистая борода, въ которой не было ничего военнаго. Трипъ былъ не изъ тѣхъ людей, которые съ перваго взгляда опредѣляютъ общественное положеніе того, кого видятъ; но онъ многіе годы былъ чистильщикомъ платья и ему показалось, что костюмъ молодого человѣка не подходящъ для офицера.

Продолжая разспросы, обязательные для него, какъ для дворника, онъ, безъ сомнѣнія, разузнаетъ кое-что.

— А какъ насчетъ условія?

— Я заплачу впередъ.

— У насъ принято наводить справки; хозяинъ требуетъ этого.

— Вы ему скажите, что я пріѣхалъ изъ провинціи.

— Не потрудитесь ли вы придти завтра?

Хозяинъ былъ очень радъ, что нашелся желающій снять эту мастерскую, которая, онъ боялся, простоятъ у него незанятою нѣскольکو мѣсяцевъ, и ухватился за неожиданный случай взять жильца, кто бы онъ ни былъ. Что ему за дѣло, что молодой человѣкъ не далъ никакихъ

справокъ, разъ онъ заплатитъ впередъ? Можетъ быть, это влюблен- ный нанимаетъ уединенный домикъ для свиданій; а если это воръ, желающій укрыться, то нѣтъ опасности, что онъ украдетъ усадьбу; къ тому же, онъ заплатитъ впередъ.

На слѣдующій день новый жилецъ явился въ сопровожденіи печ- никовъ и подъ его руководствомъ сейчасъ же начались работы, все увеличивавшія изумленіе Трипа.

Такъ какъ былъ сентябрь, то онъ допускалъ, что въ этомъ свозномъ домикѣ, построенномъ прямо на землѣ, могла явиться необходимость въ менѣ первобытномъ отопленіи, чѣмъ то, которымъ довольствовался неприхотливый скульпторъ, заботившійся един- ственно о томъ, чтобы не замерзла его глина. Но въ работѣ печни- ковъ не было ничего, что могло бы принять форму печи или ками- на. Они расположились въ кухнѣ и изъ кирпича и пластинокъ изъ огнеупорной глины начали выкладывать что-то странное, чего Трипъ никакъ не могъ понять. Раздосадованный тщетными догадками и подстрекаемый любопытствомъ, онъ рѣшился, наконецъ, спро- сить:

— И что это за машины, братцы?

— Не видите развѣ? Печи.

Трипъ, хотя жизнь его была не изъ сладкихъ, и въ старости остался такимъ же веселымъ, какъ былъ въ молодости, — онъ любилъ пошутить и посмѣяться. Смѣшной, даже комичный, съ круглою, какъ шаръ, головой, съ бѣгающими глазами, освѣщающими его подвиж- ную бородатую физиономію, онъ любилъ насмѣхаться надъ людь- ми и ему поѣтому часто казалось, что смѣются надъ нимъ самимъ.

— Печи! — воскликнулъ онъ. — Да вы смѣтаетесь надо мной!... По крайней мѣрѣ, не хлѣбныя печи!

— Нѣтъ, печи эмальировщиковъ.

Эмальировщикъ, значитъ, его жилецъ, — ни художникъ, ни скульпторъ!

Трипъ не былъ невѣждой, онъ зналъ, что такое эмаль; у него даже была маленькая кастрюля, эмальированная внутри, въ кото- рой яйца варились гораздо лучше, чѣмъ въ печкѣ, но онъ и не былъ настолько глупъ, чтобы не понять, что его жилецъ нанялъ эту ма- стерскую не для фабрикаціи подобнаго рода кастрюль; его жилецъ — господинъ, а не простой рабочій, это видно по его манерамъ, по то- му, какъ онъ говоритъ съ людьми, безъ фамильярности, но и безъ грубости, а также и по тонкости его бѣлья.

Послѣ того, какъ печники окончили постройку печей въ кухнѣ и устроили еще въ мастерской печь съ теплопроводными трубами,

началась постепенная перевозка мебели. Сначала привезли изъ магазина и поставили въ маленькую комнату металлическую кровать, поразившую Трипа, затѣмъ мебель для мастерской оказалась ему не менѣе удивительной: большой орѣховый столъ, старинный коммодъ съ золочеными бронзовыми украшеніями, диванъ съ вышивками, два кресла, обитыя тисненою кожей, два стула, покрытые краснымъ лакомъ, — развѣ все это не было необыкновенно? Наконецъ, карета отъ Бонъ-Марше оставила у Трипа два скатанныхъ ковра съ ярлыками, которые заставили его призадуматься: на одномъ стояла цѣна 475 фр., на другомъ 525 фр., — сколько надо зарабатывать, чтобы тратить такія суммы на ковры, и не особенно большіе, и не новые, и вовсе не необходимые!

Послѣ печниковъ и поставщиковъ мебели явились обойщики, чтобы повѣсить занавѣси и портьеры, и домикъ былъ готовъ для приема хозяина.

Онъ пріѣхалъ какъ-то рано утромъ; Трипъ, возвращаясь домой изъ своего обхода, видѣлъ, какъ онъ вышелъ изъ извозничьей кареты; на немъ былъ дорожный костюмъ, коротенькая куртка, круглая шляпа и въ рукахъ пледъ, — ничего естественнѣе, такъ какъ онъ пріѣхалъ изъ провинціи; но странно, что у него не было багажа: отчего онъ не привезъ съ собой платья и бѣлья?

Трипъ нашелъ нужнымъ проводить его до дому и отпереть дверь; со шляпой въ рукѣ онъ остановился было у двери, но новый жилецъ попросилъ его войти.

— Можете вы взять на себя веденіе моего хозяйства? — спросилъ онъ.

— Это зависитъ отъ условій.

— Я заплачу вамъ столько, сколько вы спросите.

— Я не это хотѣлъ сказать. Извините, что я плохо выразился, и не думайте, что я могъ такъ отвѣтить на честное предложеніе. Дѣло не въ цѣнѣ, а въ часахъ, которые вы выберете, такъ какъ я не располагаю своимъ временемъ: днемъ отъ четырехъ до восьми я разношу вечернюю газету, ночью отъ часа до девяти или десяти утреннюю...

— Двѣнадцать часовъ ходьбы!...

— Да, каждый день аккуратно, не пропуская ни одного, ни даже зимой, когда идетъ градъ и снѣгъ. Подписчикамъ нужна газета въ обычный часъ, а если замѣнишь себя, выходитъ путаница и недовольство. Къ счастью, ноги у меня крѣпкія и сердце здоровое. Надо зарабатывать хлѣбъ, не правда ли? Такимъ образомъ, я возвра-

щаюсь ровно въ десять часовъ, такъ какъ отъ Ножента до Парижа не близко.

— Ну, что же, десять часовъ для меня удобное время.

— Но я долженъ вамъ сказать, что въ десять часовъ я еще не свободенъ. Хотя вы никогда не видали моей жены, она у меня, все-таки, есть и уже три года лежитъ въ постели, разбитая параличомъ. Когда я возвращаюсь, я долженъ, прежде всего, заняться ею, сварить ей кофе, такъ какъ и въ постели хочется ѣсть. Такимъ образомъ, я не могу освободиться ранѣе одиннадцати часовъ.

— Положимъ, одиннадцать, двѣнадцать, если хотите; вы выберете тотъ часъ, когда вамъ нечего дѣлать. Мнѣ нужно только, чтобы около двѣнадцати часовъ вы приносили мнѣ завтракъ, когда я буду работать. Что касается постели, вы будете ее стлать, когда вамъ удобнѣе. Я, впрочемъ, не часто буду здѣсь ночевать: нѣсколько разъ въ мѣсяцъ.

Такъ какъ Трипъ съ любопытствомъ взглянулъ на него, онъ прибавилъ, чтобы объяснить свои странныя, повидимому, отлучки:

— Я много путешествую.

Трипъ попробовалъ спросить:

— Для вашихъ работъ?

Но онъ не получилъ отвѣта, и его разочарованіе выразилось въ комической гримасѣ, вызвавшей улыбку на серьезномъ лицѣ Жофруа.

— Такъ какъ я не буду сегодня ночевать дома, — продолжалъ онъ, — я, уходя, отдамъ вамъ ключъ.

— Если вы уѣдете послѣ трехъ часовъ, то меня не будетъ дома и сторожка будетъ заперта.

— Въ такомъ случаѣ, отнесите этотъ ключъ слесарю и прикажите ему сейчасъ же сдѣлать точъ-въ-точъ такой же.

— Этотъ слесарь работаетъ по электричеству; а не замки, и потому не стѣдуетъ: когда вашъ предшественникъ уходилъ, онъ вѣшалъ ключъ на гвоздь въ плющъ, гдѣ я и бралъ его и гдѣ онъ приходилъ его, когда возвращался.

— Это первобытно.

— Нѣтъ никакой опасности: ключъ хорошо спрятанъ.

— Ну, такъ покажите мнѣ этотъ гвоздь.

Въ ту минуту, какъ Трипъ отворилъ дверь, красивый рыжій воть смѣло вошелъ въ мастерскую, поднявъ хвостъ еверху и иди прямо, точно онъ былъ дома.

— Каково, это Дьяволо! Вотъ такъ штука!...

— Въ чемъ штука?

— Да что, онъ опять вернулся. Надо вамъ сказать, что этотъ котъ принадлежитъ скульптору, — красивое, какъ вы видите, животное, которымъ можно дорожить. Конечно, онъ взялъ его съ собой, переѣзжая; на другой день котъ вернулся сюда: съ бульвара Блиши до улицы Шампионетъ нашелъ дорогу! Я отнесъ его, но онъ опять вернулся. Я еще разъ отнесъ и вотъ онъ снова здѣсь. Что мнѣ дѣлать съ тобой, мой бѣдный Дьяволо?

Повертѣвшись въ мастерской и обнюхавъ каждую вещь, котъ вернулся къ Трину и, мурлыкая, началъ тереться у его ногъ, выгнувъ спину, выпрѣвивъ хвостъ, поднявъ уши и широко отерывъ глаза.

— Что будетъ съ тобой? — сказала Трипъ, поглядивъ его по спинѣ.

— Развѣ вы не отнесете его назадъ?

— Хозяинъ его не велѣлъ; онъ мнѣ сказалъ, что если онъ убѣжитъ въ четвертый разъ, онъ отказывается отъ него и чтобы я не трудился его приносить; если онъ любитъ больше свой кварталъ, чѣмъ хозяина, то пусть онъ добровольно выбираетъ. Только что-то будетъ съ нимъ? Мы не можемъ позволить себѣ роскоши держать кошки, привыкшей къ хорошей нищѣ, какъ Дьяволо.

— Если онъ любитъ такъ свой домъ, его не надо лишать его.

— Онъ уже лишенъ.

— Вы отворите ему двери.

Трипъ захохоталъ.

— Дьяволо ходить не черезъ двери.

— Вы отворите ему окна.

— И не черезъ окна.

— Гдѣ же тогда?

— Въ дыру, а его дыра задѣлана. Если вы потрудитесь войти въ кухню, вы увидите.

Дѣйствительно, въ кухонной стѣнѣ, на пятьдесятъ сантиметровъ отъ полу, видна была глиняная штукатурка, еще не успѣвшая засохнуть.

— Вотъ гдѣ была его дыра, — сказала Трипъ. — Внутри ее закрывали картономъ, повѣшеннымъ на гвоздь: Дьяволо бросался со двора, какъ наѣздицы черезъ серо, когда ему являлась охота войти, а изнутри ему стоило только оттолкнуть картонъ, чтобы пролѣзть. Это было прелюбопытно!

— Ну что-жъ, вы сдѣлаете все такъ, какъ оно было, — вы будете давать ему пищу, къ которой онъ привыкъ...

— Печенку и молоко.

— И онъ будетъ счастливъ.

Ц.

Мой жилецъ...

Это слово не сходило съ устъ Трипа, было главною темой его разговоровъ съ сосѣдами, которые, хотя и насмѣхались надъ тѣмъ, какъ онъ гордъ, что имѣеть жильца, тѣмъ не менѣе, охотно слушали его рассказы и обсуждали ихъ между собою.

А, между тѣмъ, жизнь этого жильца была очень проста, но именно эта-то простота и поражала его сосѣдей и заставляла работать воображеніе, подстрекаемое любопытствомъ.

Когда онъ былъ дома, онъ безвыходно работалъ съ утра до вечера, никогда не принимая никого, и это уже казалось страннымъ: его предшественникъ, скульпторъ, принималъ натурщиковъ, натурщицъ, заказчиковъ, литейщиковъ и иногда друзей, наполнявшихъ мастерскую громкими спорами и взрывами хохота. Здѣсь кипѣла жизнь и молодость, здѣсь веселились, теперь же точно все вымерло или совершались какія-то темныя дѣла, требующія тишины и тайны; вечеромъ, а иногда и ночью, окна озарялись фантастическимъ свѣтомъ странныхъ цвѣтовъ, и часто изъ трубы вылетало яркое пламя. Что творилось здѣсь?

Во всякомъ случаѣ, что-нибудь нечестное. Въ самомъ дѣлѣ, вечеромъ, окончивъ работу, Жофруа обѣдалъ у виннаго торговца въ Сентъ-Уэнскомъ предмѣстьѣ и его можно было видѣть въ общей залѣ, за отдѣльнымъ столикомъ. Онъ ни съ кѣмъ не заговаривалъ первый и односложно отвѣчалъ, если обращались къ нему, что, впрочемъ, случалось рѣдко. Хотя эти обѣды, составлявшіе обычный столъ виннаго торговца, и не были особенно роскошны, но они были достаточно сытны, чтобы не ужинать вечеромъ. Что касается завтрака, то всѣ знали, что Трипъ, возвращаясь, приноситъ жильцу или порцію, взятую у виннаго торговца, или кусокъ ветчины изъ колбасной, и что онъ, не отрываясь отъ работы, съѣдаетъ его въ мастерской, запивая стаканомъ воды. Трипъ достаточно распространялся объ этомъ стаканѣ воды, чтобы всѣ знали эту характерную черту и находили ее необъяснимой: пьютъ воду, когда нечѣмъ заплатить за бутылку вина или, болѣе скромно, за кружку, — здѣсь этого не могло быть; ничто не указываетъ на то, чтобы онъ нуждался или мало зарабатывалъ, — доказательствомъ служить то, что онъ тратитъ пять су на печонку и три на молоку для кошки, а за восемь су можно купить полъ-литра вина. Если бы еще онъ былъ болѣнъ, тогда была бы понятна его воздержность, — при нездоровьи вино можетъ быть вредно; но стоитъ только взглянуть на

его твердую и легкую походку или посмотрѣть, какъ онъ ходитъ въ длинной черной блузѣ взадъ и впередъ по мастерской, чтобы убѣдиться, что это здоровый мужчина, не знающій, что такое болѣзнь.

Еще болѣе странные факты возбуждали толки интересовавшихся имъ болтуновъ, такъ какъ улица Шампюнетъ не была такъ многолюдна, чтобы въ ней можно было затеряться въ толпѣ, какъ въ Парижѣ. Такъ, онъ никогда не получалъ писемъ; поставщики оставляли у Трипа металлическіе листы, химическіе продукты, угольщикъ часто привозилъ коксъ, комиссіонеры никогда ничего не привозили: не странно ли это въ человѣкѣ работающемъ и, слѣдовательно, имѣющемъ заказчиковъ, съ которыми онъ долженъ имѣть сношенія; а, между тѣмъ, заказчики никогда не являлись къ нему и самъ онъ никогда не писалъ имъ. Въ такомъ случаѣ, для кого же онъ работалъ?

Его манера работать также была странна. Иногда въ продолженіе недѣли онъ не выходилъ изъ мастерской, жилъ, спалъ тамъ и снаружи можно было видѣть окна, залитыя свѣтомъ, казавшимся такимъ фантастическимъ въ особенности потому, что хотѣлось, чтобы это такъ было. Потомъ онъ исчезалъ и оставался долго въ отсутствіи, не предупредивъ даже Трипа и не сказавъ, когда вернется.

Буда уѣзжалъ онъ? Работать въ провинцію.

Этотъ отвѣтъ давали расположенные къ нему люди и Трипъ первый. Но если это такъ, то почему не получалъ онъ писемъ передъ отъѣздомъ?

Другіе, не принадлежащіе къ числу расположенныхъ, находили другое объясненіе, казавшееся менѣе неправдоподобнымъ: наивны тѣ, кто вѣрилъ въ эмальировщика; онъ просто фальшивый монетчикъ, фальшивыя монеты дѣлалъ онъ, когда его окна свѣтились по ночамъ и, чтобы спускать фальшивыя монеты, онъ путешествовалъ по провинціи и за границу. Разъ, когда онъ заплатилъ гдѣ-то иностранную золотую монету, его думали уличить на мѣстѣ преступленія; и хотя мѣняла въ предмѣстьѣ Билиши признала ее за настоящую золотую монету Франца-Иосифа, стоящую восемь австрійскихъ гульденовъ, тѣмъ не менѣе, легенда о фальшивомъ монетчикѣ продолжала распространяться; на него, правда, не доносили, но за то знали, чего держаться.

Если бы онъ не былъ фальшивымъ монетчикомъ, т.-е. человекомъ, зарабатывающимъ столько, сколько онъ хочетъ, развѣ тратилъ бы онъ восемь су ежедневно на кошку? Развѣ сталъ бы онъ ѣздить на извозчикѣ въ мастерскую, какъ онъ всегда дѣлалъ, бро-

сая, такимъ образомъ, тридцать пять су, между тѣмъ какъ ему приходилось проводить за работой иногда не болѣе часа? Но такъ какъ легенды, какъ бы глупы онѣ ни были, рѣдко принимаются безъ возраженій, нашлись другіе чудаки, которые изъ духа противорѣчія не допускали, чтобы онъ былъ фальшивымъ монетчикомъ. Колдунъ? Да, и это не трудно доказать, но фальшивый монетчикъ—никогда въ жизни! Доказательства его колдовства безчисленны и, не пересчитывая ихъ всѣхъ, уже одни окружающія его животныя доказывали, что онъ колдунъ и не можетъ быть ничѣмъ инымъ: во-первыхъ, желтый котъ, котораго онъ своими чарами заставилъ поинуть стараго хозяина, давъ ему дьявольскую силу, руководившую имъ чрезъ кладбище, находящееся на дорогѣ между улицей Клиши и Шампюнетъ; потомъ, неизвѣстно откуда, какъ-то осенью, прилетѣвшій въ мастерскую снигирь, гдѣ онъ и остался, принимая участіе во всѣхъ таинственно совершавшихся тамъ колдовствахъ. Люди, косившіе на дворѣ траву, видѣли ихъ въ мастерской и ихъ позы указывали на то, что это не простыя животныя. Жилецъ ходилъ взадъ и впередъ передъ раскаленною печью, надѣвъ на глаза очки съ металлическою сѣткой, вѣроятно, для того, чтобы не отравиться своими снадобьями, и помѣшивалъ щипцами свою адскую стряпню. Боть важно сидѣлъ на заднихъ лапахъ, обвивъ ихъ хвостомъ; снигирь помѣщался большею частью на карнизѣ печнаго навѣса, насвистывая колдовскіе напѣвы; не надо быть ученымъ, чтобы понять эту музыку, обязательный акомпаниментъ магическихъ операцій, и всѣ слышавшіе ее не могли ошибиться; при томъ же, снигиря звали Пистономъ, что было не менѣе знаменательно.

Когда Трипу говорили о фальшивомъ монетчикѣ и колдунѣ, онъ пожималъ плечами и отвѣчалъ шутками; но когда его заставляли дать доказательства, что Жофруа не колдунъ и не фальшивый монетчикъ, Трипъ сердился и со всѣмъ краснорѣчіемъ, на которое онъ былъ способенъ, повторялъ, что его жилецъ эмальировщикъ и ничего болѣе: на металлическихъ пластинкахъ онъ рисовалъ разведенными въ водѣ красками фигуры, деревья, поля, памятники и затѣмъ клалъ ихъ въ печь, гдѣ эти краски обжигались. Но его отрицанія и объясненія встрѣчались не сочувственно: ему заплатили за то, чтобы онъ говорилъ это, и онъ нечестно заработалъ бы деньги, если бы сознался, что его жилецъ—фальшивый монетчикъ или колдунъ; ему приказано было говорить «эмальировщикъ», онъ и говорилъ. Но что же это за ремесло, которымъ занимаются такъ, что никогда не являются покупатели?

А, между тѣмъ, Трипъ былъ правъ: его жилецъ былъ эмальиров-

щикъ, собственно художникъ-эмальировщикъ, такъ какъ они существуютъ еще, и если мы не живемъ во времена, когда Пеннко, Лимузинъ и Куртей рисовали прекрасными эмали, которыя принадлежатъ къ лучшимъ произведеніямъ искусства шестнадцатаго вѣка, и когда Петито создавалъ свои красивые портреты, то тамъ и не находимся въ ту эпоху, когда искусство рисованія по эмали было совершенно брошено; талантливые артисты Пюелинъ, де-Бурелъ, Мейеръ, де-Серръ, отказавшись слѣдовать за посредственными художниками послѣдняго вѣка, возстановили традиціи великихъ французскихъ эмальировщиковъ; въ числѣ ихъ есть новопришедцы: Грандомъ, Горниэ, которому для того, чтобы сдѣлаться вторымъ Леонардомъ Лимузиномъ, недоставало только, чтобы его узнало высшее общество или поддержалъ предприимчивый человѣкъ, который сдѣлалъ бы для эмали то, что Декъ сдѣлалъ для гончарнаго искусства. Имъ-то наследовалъ жилецъ Трипа, и когда вечеромъ освѣщались окна его мастерской, онъ не занимался ни фальшивыми монетами, ни колдовствомъ, а просто обжигалъ свои рисунки по эмали.

III.

Уже три мѣсяца, какъ Жофруа жилъ въ маленькомъ домикѣ на улицѣ Шампюнетъ, и любознательство занимающихся имъ было не болѣе удовлетворено, чѣмъ въ первое время: иногда онъ являлся аккуратно каждый день, иногда недѣлями пропадалъ. Въ октябрѣ его часто видали въ мастерской, отсюда онъ выходилъ только обѣдать. Въ ноябрѣ же онъ исчезъ такъ, что даже Трипъ не имѣлъ о немъ никакихъ извѣстій и ни одного письма не пришло на его имя; и только въ декабрѣ онъ началъ, попрежнему, приходить утромъ и уходить вечеромъ около семи часовъ; рѣдки были тѣ дни, когда его не видали, для него не существовало ни воскресній, ни, что еще страннѣе, понедѣльниковъ.

Въ тотъ годъ зима была суровая и морозы, начавшіеся въ декабрѣ, послѣ непродолжительнаго перерыва, возвратились въ началѣ января и уже не прекращались: снѣгъ, градъ, гололедица, при болѣе теплой температурѣ, смѣнялись сильными морозами. Если центръ Парижа былъ очищенъ отъ снѣга, то не то было на окраинахъ его и особенно въ кварталѣ Великихъ Барьеръ, гдѣ улицы по большей части были недоступны ни для экипажей, ни даже для пешеходовъ: тамъ, гдѣ снѣгъ не лежалъ громадными затвердѣлыми массами, ребятишки устраивали катки, гдѣ разсѣянные прохожіе

могли сломать себѣ шею, если имѣли несчастіе унасть, причеиъ торжествующіе мальчишки бомбардировали ихъ свѣчками.

Несмотря на дурную погоду, многихъ державшую взаперти, Жофруа почти ежедневно приходилъ въ свою мастерскую между девятью и десятью утра или же въ часъ. Съ тѣхъ поръ, какъ начались морозы, его постольку возбуждалъ новые толки: вѣрно, много зарабатываетъ эмальировщикъ, если можетъ покупать мѣховыя шапки и шубы.

Не надо быть особенно свѣдущимъ, чтобы знать, что рабочіе не носятъ мѣховыхъ вещей и что густой, мягкой, какъ пухъ, и волнистый мѣхъ его шубы и шапки стоятъ не дешево.

Какъ улица, такъ и дворъ не были расчищены и только двѣ дорожки прорѣзывали ихъ бѣлоснѣжный коверъ: одна, узенькая, вела прямо отъ воротъ къ мастерской, другая, болѣе широкая и съ колеями, — къ складу перевозчика. Когда Жофруа приходилъ въ девять часовъ, онъ не останавливался около сторожки дворника, гдѣ несчастная параличная старуха была въ это время заперта одна, чтобы кто-нибудь не потревожилъ ея, и проходилъ прямо въ свою мастерскую, отпирая ее ключомъ, который снималъ въ ящикѣ съ гвоздя; затѣмъ, такъ какъ Трипъ еще самъ не возвращался въ это время, онъ затоплялъ печь хворостомъ и коксомъ, заранѣе приготовленными; обрадованный его возвращеніемъ, рыжій котъ, мурлыкая, терся вокругъ его ногъ, а синигрь издавалъ радостныя восклицанія или насвистывалъ фаустовскій вальсъ или *Miserege* изъ *Троватора*. Когда же онъ приходилъ въ часъ или позднѣе, Трипъ, завидя его, торопливо выбѣгалъ изъ сторожки и съ фуражкой въ рукѣ здоровался съ нимъ всегда съ тою же фразой:

— Печка затоплена.

И, войдя въ мастерскую, Жофруа могъ тотчасъ же приниматься за работу.

Какъ-то разъ, придя немного ранѣе девяти часовъ, Жофруа, вмѣсто того, чтобы сейчасъ же затопить печь, что было необходимо, такъ какъ морозъ въ этотъ день еще усилился, сталъ разсматривать камень, находившійся передъ печкой, на которомъ лежало нѣсколько крошекъ хлѣба. Не притрогиваясь къ этимъ крошкамъ, онъ осторожно затопилъ печь и развернулъ мокрыя тряпки, въ которыя закутанъ былъ маленькій бюстъ, начатый имъ для того, чтобы попробовать на нежъ приложеніе эмали.

Прошло около получаса, какъ онъ работалъ, когда постучали въ дверь; это былъ Трипъ, только что вернувшійся и прибѣжавшій къ своему жильцу, не заходя даже къ больной женѣ.

— Я пришел затопить печь...

— Но она уже топится.

— Ночь была очень холодна; одинъ изъ моихъ подписчиковъ поручилъ мнѣ принести ему термометръ и въ карманѣ подъ пальто термометръ спустился на семь градусовъ ниже нуля; я безпокоился, не проникъ ли морозъ въ мастерскую и не замерзли ли тряпки на бюстѣ.

— Къ счастью, нѣтъ.

— Вчера вечеромъ, предвидя сильный морозъ, я положилъ въ печь побольше коксу и хорошенько прикрылъ его.

— Термометръ остановился на четырехъ выше нуля.

— Тѣмъ лучше; это успокаиваетъ меня. Я сейчасъ вернусь узнать, что вамъ будетъ угодно къ завтраку.

— По поводу завтрака, вы ѣли здѣсь вчера, затопляя печь?

— Ыль?—спросилъ Трипъ съ изумленіемъ.

— Да, ѣли корку хлѣба.

— Я никогда не ѣмъ въ мастерской, даже утромъ, хотя, возвращаясь изъ моего ночнаго обхода, я страшно голоденъ; семь лѣтъ ходьбы растрясуть желудокъ.

— Значитъ, вчера вечеромъ вы не приносили хлѣба?

— Никогда въ жизни.

— Въ такомъ случаѣ, что это такое?—спросилъ Жофруа, указывая на разбросанныя передъ печкой крошки.

Трипъ наклонился, внимательно посмотрѣлъ и, поднявъ одну изъ крошекъ, раздавилъ ее пальцами.

— Это какъ будто крошки.

— То же думаю и я.

— Только это не могутъ быть крошки.

— А, между тѣмъ...

— Можетъ быть, вы сами скушали вчера корку послѣ завтрака?

— Нѣтъ.

— Я ничего не понимаю, такъ какъ я увѣренъ, что вчера послѣ завтрака я вывелъ полъ такъ, что на немъ не осталось ни одной крошки.

Наклонившись, онъ еще разъ посмотрѣлъ на полъ.

— Къ тому же, это хлѣбъ съ черною коркой, а не длинный хлѣбецъ, какой вы кушаете.

— Можетъ быть, Дьяволо принесть корку?

— Онъ принесетъ корку? Этого не можетъ быть! Это одолженіе съ его стороны, что онъ ѣсть печенку и пить молоко; онъ бы убѣжалъ изъ дому, если бы его заставили ѣсть корки.

— Можетъ быть, мышь принесла ее?

— Мышей нѣтъ и потомъ, если бы даже случайно одна и забѣжала, Дьяволо конечно, не далъ бы ей спокойно изгрызть корку передъ печкой.

— Не свалились же эти крошки съ неба!

— Конечно.

Трипъ съ безпокойствомъ взглянулъ на своего жильца.

— Потомъ, — продолжалъ Жофруа, — вы сказали сейчасъ, что Дьяволо дѣлаетъ намъ одолженіе, что ѣсть печенку и пьеть молоко.

— Его порціи слишкомъ велики, онъ никогда не голоденъ.

— А какимъ же образомъ его тарелка съ печенкой и чашка съ молокомъ теперь всегда пусты?

— Это правда; я думалъ, что у Дьяволо улучшился аппетитъ, и радовался этому.

— А теперь?

— Теперь...

Трипъ остановился на минуту.

— Теперь... я не знаю; нѣтъ, я, право, не знаю; я ничего не понимаю! Откуда-нибудь должны же явиться эти крошки!

Жофруа указалъ на два темныхъ пятна на лежащемъ недалеко отъ печи коврѣ.

— А это что такое?

Трипъ снова наклонился и внимательно разсмотрѣлъ эти два пятна.

— Это ничего, — отвѣтилъ онъ, — вода.

— Я тоже думаю, что это вода, но не можете ли вы мнѣ объяснить, какимъ образомъ эта вода очутилась здѣсь?

— Я не приносилъ.

— Я тоже.

Трипъ поднялъ голову и посмотрѣлъ на рамы, освѣщавшія мастерскую сверху; но эта рама находилась не надъ ковромъ и, такимъ образомъ, немислимо было, чтобы растаявшій снѣгъ, капая со стекла, образовалъ эти пятна.

— Конечно, эта вода не накапала съ потолка, — продолжалъ Жофруа, — но, можетъ быть, она образовалась изъ снѣга, принесеннаго на ногахъ и растаявшаго?

— Это возможно.

— Во всякомъ случаѣ, не я его принесъ. Можетъ быть, вы принесли? Вчера вечеромъ, придя затопить печь, вы не помните, на вашихъ сапогахъ былъ снѣгъ?

— Я входилъ не въ сапогахъ. Когда исходишь столько, сколь-

ко приходится мнѣ, то, придя домой, сейчас же сѣвшишь снять сапоги; это всегда первое, что я дѣлаю, придя, и вчера я сдѣлалъ это, какъ и каждый день: когда я приходилъ топить печку, на мнѣ были мои деревянные башмаки, которые я оставилъ у двери и вошелъ сюда въ носкахъ; значить, я не могъ принести снѣгу со двора.

— А, между тѣмъ, коверъ не могъ намочнуть самъ.

Трипъ взглянулъ на коверъ, на шельца, посмотрѣлъ наверхъ, внизъ, во все углы.

— Вы придумали что-нибудь?—спросилъ онъ, наконецъ.

— Я думаю, не входилъ ли кто-нибудь сюда.

— Кто бы могъ войти?

— Тогда какъ объяснить эти крошки и эти нитки?

Вмѣсто отвѣта, Трипъ быстро окинулъ взглядомъ всю комнату.

— Развѣ недостаетъ чего-нибудь?—воскликнулъ онъ.

— Я не замѣтилъ.

— Никто, значить, не входилъ, такъ какъ только воры могли забраться сюда.

— О, было бы чего красть!—отвѣтилъ Жофруа, улыбаясь.

Трипъ былъ удивленъ, и жестъ, которымъ онъ обвелъ всю комнату, ясно показывалъ, что, по его мнѣнью, воры могли здѣсь сильно поживиться. Во всю свою жизнь онъ видѣлъ только двѣ мастерскія: мастерскую скульптора, въ которой вся мебельровка состояла изъ стола для моделей и лавокъ, и мастерскую новаго жильца, казавшуюся ему въ сравненіи съ простотой первой роскошною; конечно, воры не могли бы унести большаго орѣховаго стола, ни комода, ни дивана, ни креселъ, ни стульевъ, ни кровати, ни матраца; но развѣ ковры не были цѣнны? развѣ часы, висящіе на стѣнѣ, не стоили того, чтобъ ихъ украсть? А книги, портьера, раздѣляющая мастерскую отъ спальни, простыни, одѣяла,—развѣ всего этого нельзя выгодно продать? Такъ какъ ничего изъ всего этого не украдено, то нельзя допустить, чтобы въ мастерскую входили воры. Кромѣ того, какимъ образомъ могли они войти, когда окна не сломаны?

— Да очень просто: черезъ дверь,—отвѣтилъ Жофруа.

— Какъ могутъ они знать, что ключъ спрятанъ въ плюцкъ? И, зная это, какъ найти его? Для этого надо, чтобы видѣли, какъ мы снимали или надѣвали его на гвоздѣ.

— Развѣ этого не могло быть?

— Вы нашли ключъ въ двери или на гвоздѣ?

— На гвоздѣ, какъ всегда.

— Если бы воръ вошелъ, снявъ ключъ со стѣны, потрудились ли бы онъ, уходя, повѣсить его туда, гдѣ онъ висѣлъ?

— Я говорилъ себѣ все это; но есть фактъ, противъ котораго всѣ разсужденія ничтожны: эти крошки и эти пятна, которыя не могли появиться на камнѣ и на коврѣ какимъ-то чудомъ. Какъ объяснить ихъ—вотъ задача. Я не хочу дольше задерживать вашъ завтракъ, можете идти,—мы послѣ возобновимъ этотъ разговоръ.

И Жофруа снова принялся за работу. Во время завтрака онъ возобновилъ съ Трипомъ разговоръ о крошкахъ и пятнахъ.

— Я обошелъ всю усадьбу,—сказалъ Трипъ,—и могу достоверно сказать, что никто не перелѣзалъ черезъ заборъ, такъ какъ на сѣгугу нѣтъ ни одного слѣда. Воръ, слѣдовательно, вошелъ въ мою комнату, которая запирается на ночь, или въ камитку перешивовъ, которая тоже запирается.

— Запирается она или нѣтъ, это зависитъ отъ степени заботливости того, кто долженъ запираться.

— Но зачѣмъ могутъ залѣзть въ мастерскую, какъ не затѣмъ, чтобы украсть?

— Тотъ же вопросъ задаю и я себѣ.

— Не слѣдуетъ, значить, оставлять ключъ на гвоздѣ, если, какъ вы предполагаете, имъ отперли дверь; на будущее время можно сдѣлать второй ключъ: одинъ вы будете уносить съ собою, другой—оставлять въ моей стѣножкѣ.

Но мысль носить при себѣ чуть не фунтовой ключъ не понравилась Жофруа, и именно эта-та мысль заставила его тогда согласиться оставлять ключъ на гвоздѣ въ паяцѣ.

— Это не объяснило бы мнѣ, кто приходилъ сюда,—отвѣтилъ Жофруа,—а именно это-то я и хотѣлъ бы знать. Сегодня я не въ первый разъ замѣчаю доказательства того, что кто-то приходитъ сюда; вчера были, третьяго дня также, и именно это-то повтореніе вселило мнѣ въ голову подозрѣніе, которое я отбрасывалъ сначала, какъ бессмысленное. Такъ какъ приходятъ не красть, то зачѣмъ приходятъ? Этотъ вопросъ долженъ быть выясненъ и онъ будетъ выясненъ сегодня же ночью: я буду сегодня ночевать здѣсь и, если понадобится, и завтра, и послѣзавтра.

— А если это воръ?

— Мы увидимъ.

— Подумайте, воръ, которому грозитъ опасность быть пойманнымъ, будетъ защищаться.

— У меня будетъ оружіе.

Трипъ, дорожившій своимъ жильцомъ, хотѣлъ удержать его отъ

этого неосторожного поступка, но Жофруа заставил его замолчать, сказавъ, что онъ твердо рѣшился и уже придумалъ планъ: въ пять часовъ онъ выйдетъ изъ мастерской, чтобы отправиться въ Парижъ, въ семь часовъ вернется, а въ восемь—Трипъ, по обыкновенію, явится затопить печь; уходя, онъ запретъ выходную дверь и повѣситъ на гвоздь ключъ; если тотъ или тѣ, кто оставили эти крошки передъ печкой, захотятъ войти и эту ночь, что весьма правдоподобно, то, найдя ключъ на гвоздѣ, они подумаютъ, что мастерская пуста, и смѣло войдутъ туда и будутъ захвачены.

— Если бы вы позволили мнѣ остаться съ вами,—рискнулъ попросить Трипъ,—я бы не пошелъ сегодняшнюю ночь.

Но Жофруа, поблагодаривъ его, отказался; онъ хотѣлъ остаться одинъ и старику пришлось уступить.

— Главное,—замѣтилъ Жофруа,—не разговаривайте со мной сегодня вечеромъ и дѣйствуйте такъ, какъ будто вы одинъ.

IV.

Въ приказаніяхъ Жофруа было сдѣлано только одно упущеніе: когда въ восемь часовъ Трипъ съ фонаремъ въ рукѣ вошелъ въ мастерскую, чтобы зажечь огонь въ печкѣ, онъ, прежде всего, началъ искать своего жильца и, не находя его, хотѣлъ отдернуть портьеру, отдѣляющую спальную; она не подалась; тогда онъ догадался, кто удержалъ ее, и, нагнувшись, спросилъ шепотомъ:

— Можетъ быть, вы проголодаетесь ночью, такъ я принесъ хлѣба и кусочекъ ветчины, которые положу въ кухонный буфетъ.

Затѣмъ, не дожидаясь отвѣта, онъ сдѣлалъ то, что сказалъ, и принялся за свое ежедневное занятіе: изрѣзалъ на тарелкѣ кусокъ сырой печенки, вылилъ въ чашку большой стаканъ молока—ужинъ Дьявола; потомъ, насколько можно было, наполнилъ печку коксомъ и когда огонь разгорѣлся, покрылъ его слоемъ угольной золы и завернулъ на половину ключъ, чтобы уравновѣсить тягу. Онъ кончилъ всѣ свои дѣла, но не уходилъ, размышляя передъ печкой съ фонаремъ въ рукѣ; черезъ нѣкоторое время онъ снова подошелъ къ портьерѣ.

— Подумайте еще разъ, баринъ,—произнесъ онъ шепотомъ,—я могъ бы остаться съ вами.

— А кто бы заперъ дверь,—отвѣтилъ Жофруа въ тонъ,—кто повѣсилъ бы ключъ на гвоздь?—Трипъ не сообразилъ этого: конечно, запереть дверь и повѣсить ключъ можетъ только тотъ, кто уйдетъ и не вернется.

Пришлось новиноваться и уйти. Скоро скрипъ шаговъ по снѣгу доказалъ, что Трипъ направился домой.

Жофруа началъ ждать, расположившись на креслѣ за портьерой и положивъ около себя на стулъ свѣчу, спички и револьверъ.

Время шло; въ мастерской трещалъ огонь, изрѣдка вспыхивая и освѣщая на минуту всю комнату. Пистонъ безмолвно сидѣлъ наверху своего насѣста, а Дьяволо, только что пришедшій черезъ дырѹ, пристроился на колѣняхъ своего хозяина, мурлыкая и потягиваясь; снѣгъ хрустѣлъ отъ мороза и изрѣдка драницы и цинковые листы какъ будто трескались и отрывались отъ дѣйствія холода; съ тиканьемъ часовъ это были единственные звуки, нарушавшіе ночную тишину.

Закрывъ глаза и наостривъ уши, Жофруа, сидя на креслѣ, размышлялъ все о томъ же вопросѣ: кто могъ приходить въ предъидушія ночи и передъ кѣмъ онъ очутится лицомъ къ лицу, такъ какъ онъ не сомнѣвался, что кто-то приходилъ? А такъ какъ этотъ визитъ повторялся нѣсколько разъ, то весьма возможно, что онъ повторится и сегодняшнюю ночь.

Но кто? Воръ?—онъ не боялся его. Когда воры забираются въ жилой домъ, они совершаютъ свои дѣла въ первый же разъ и скрываются, чтобы дѣйствовать въ другомъ мѣстѣ. А этотъ гость возвращался. Не зная всего, что говорили о немъ въ окрестностяхъ улицы Шампионетъ, Жофруа не былъ слѣпъ, чтобы не замѣтить, что онъ вызывалъ любопытство людей: онъ видѣлъ взоры, которыми его провожали, когда онъ проходилъ, и видѣлъ губы, шепчущія слова, предметомъ которыхъ былъ, конечно, онъ. Развѣ не могло случиться, что одинъ изъ этихъ любопытныхъ захотѣлъ проникнуть въ интересующую его тайну и вошелъ въ мастерскую, узнавъ случайно, гдѣ спрятанъ ключъ? Что онъ хотѣлъ видѣть внутренность этой таинственной мастерской—легко объясняется, гораздо же менѣе то, что онъ возвращался и возвратится. Тутъ было что-то неясно и любопытный былъ, повидимому, также невозможенъ, какъ и воръ.

Часовъ въ девять рама, сдѣланная въ потолокъ, освѣтилась серебрянымъ свѣтомъ, наполнившимъ мастерскую, придавая определенныя очертанія предметамъ и оставляя въ тѣни только противоположную часть той, откуда падалъ свѣтъ; луна выплывала на безоблачномъ небѣ и, отражаясь въ покрывающемъ землю и крыши снѣгъ, принимала свѣтовую силу электрическаго фокуса. Разбуженный этимъ ослѣпительнымъ потокомъ свѣта, падающимъ какъ разъ на насѣсть, Пистонъ проснулся и, думая, вѣроятно, что это раз-

свѣтаеть, началъ насвистывать Дюнкирхенскій карильонъ. Почти въ ту же минуту Жофруа показалось, что снѣгъ захрустѣлъ подъ ногами, но онъ уже цѣлый часъ слышалъ на дворѣ подобное хрустѣніе, такъ что задалъ себѣ вопросъ, не ошибается ли онъ: вѣроятнѣе, это морозъ.

Шумъ, между тѣмъ, сдѣлался явственнѣе: очевидно, кто-то шелъ по мерзлому снѣгу дорожки; если бы онъ сомнѣвался, поза Дьявола разсѣяла бы эти сомнѣнія: вскочивъ и настороживъ уши, онъ слушалъ, полуобернувшись къ входной двери; Пистонъ замолчалъ.

Листья плюща зашелестѣли: кто-то снималъ ключъ съ гвоздя, вслѣдъ за тѣмъ вложилъ его въ замокъ и тихонько, осторожно отворилъ и затворилъ дверь. Не вставая съ кресла, не дѣлая ни одного лишняго движенія и не передвигая ногъ, Жофруа наклонился впередъ и, отодвинувъ немного портьеру отъ стѣны, сталъ незаметно слѣдить за всѣмъ, что происходило въ освѣщенной части мастерской. Дверь находилась въ тѣни и потому онъ не видѣлъ вошедшаго; но по звукамъ шаговъ онъ могъ различить, что тотъ былъ одинъ и что походка его была очень легка.

Почти тотчасъ же онъ вышелъ изъ тѣни на свѣтъ и Жофруа увидѣлъ мальчика въ старой фетровой шляпѣ и истрепанной темной курткѣ. Не представлялось, конечно, ничего ужасающаго и револьверъ не понадобится.

Быстро пройдя мастерскую, мальчикъ направился къ печкѣ, къ которой приложилъ обѣ руки съ торопливостью замерзающаго.

Въ эту минуту Дьяволо соскочилъ съ колѣнъ своего хозяина и, выпрямивъ хвостъ и выгнувъ спину, направился къ мальчику, какъ къ другу.

— А, это ты, Дьяволо! Ты хочешь погрѣться? Мы устроимъ себѣ тепло, въ которомъ ты, конечно, не такъ нуждаешься, какъ я.

Голосъ его былъ нѣженъ, даже слишкомъ нѣженъ для мальчика его лѣтъ, чистъ, мелодиченъ, съ лѣвучимъ, неинного протяжнымъ акцентомъ, въ которомъ не было ничего парижскаго. Въмѣсто того, чтобы встать, онъ сѣлъ на паркетъ передъ печкой, отрывъ дверцу такъ, что жаръ падалъ ему прямо на лицо и на грудь.

— Брр... какъ хорошо, — прошепталъ онъ.

Дрожь передернула его плечи, зубы стучали, какъ будто передъ этими пылающими угольями онъ сильнѣе ощущалъ чувство заморозившаго его холода, чѣмъ когда былъ на дворѣ.

Онъ положилъ шляпу около себя и его голова оказалась не болѣе похожей на голову жулика, чѣмъ голосъ. Жофруа видѣлъ ее, озаренную красноватымъ свѣтомъ углей, и былъ пораженъ нѣжностью

и красотой профиля: съ нѣжнымъ цвѣтомъ лица, голубыми глазами съ длинными золотистыми рѣсницами и коротко остриженными блѣдыми волосами, вьющимися, какъ у ребенка, этотъ мальчикъ былъ дѣйствительно хорошъ.

Жофруа, заинтересованный этимъ лицомъ, полнымъ страданія и муки, не всталъ съ своего мѣста, какъ думалъ раньше, — онъ хотѣлъ посмотрѣть.

Согрѣвшійся спереди, мальчикъ повернулся къ печкѣ спиной; надо было сильно промерзнуть, чтобы выносить силу жара на такомъ близкомъ разстояніи. Дьяволо, котораго онъ взялъ на колѣни, когда онъ сидѣлъ лицомъ къ огню, очень скоро вскочилъ съ своего мѣста, хотя и привыкъ къ такому жару, который можетъ выносить только кошка.

«Этотъ бѣдняга приходитъ просто грѣться», — подумалъ Жофруа.

Это было весьма правдоподобно, такъ какъ, посидѣвши недолго спиной къ огню, онъ опять перевернулся и, разувшись, протянулъ ноги къ огню, придвигая и отодвигая ихъ, смотря потому, обжигалъ онъ ихъ или нѣтъ; голыя пятки выскакивали изъ протыравленныхъ чулокъ. Онъ поставилъ сапоги рядомъ съ собою на коверъ и Жофруа понялъ, отчего происходили замѣченные имъ пятна, — больше ничего, какъ растаялъ снѣгъ, прижесанный на сапогахъ.

Настало, повидимому, время показаться: больше онъ ничего уже не увидитъ, сколько бы ни смотрѣлъ. Но онъ ошибся; въ ту минуту, какъ онъ хотѣлъ раздвинуть занавѣсъ, мальчикъ, снова обувшись, поднялся на ноги.

Вмѣсто того, чтобы направиться къ двери, онъ пошелъ въ кухню, откуда принесъ тарелку, на которую Тришъ нарѣзалъ печенку для Дьяволо, и, показывая тарелку, позвалъ его:

— Дьяволо, поди сюда... иди ужинать!

Но, вмѣсто того, чтобы невиноваться, Дьяволо презрительно отвернулъ голову.

— Такъ ты не голоденъ сегодня? Счастливый, желалъ бы я быть на твоёмъ мѣстѣ!

Дьяволо, разсердившись на то, что мальчикъ подставилъ ему тарелку подъ носъ, вспрыгнулъ на столъ, чтобы избавиться отъ этого угощенія; но такъ какъ тарелка послѣдовала за нимъ и туда, онъ прыгнулъ на шкафчикъ, гдѣ началъ спокойно лизать свои лапы, чувствуя себя въ безопасности.

— Такъ ты не хочешь?

Ботъ закрылъ глаза.

— Я не обижу, значить, тебя, если съѣмъ половину твоего ужина?

Неужели этотъ мальчишка начнетъ ѣсть печенку сырою, какъ какое-нибудь плотоядное животное? Какъ онъ долженъ быть голодень!

— Ты, счастливецъ, не такъ голодень, какъ я, — сказалъ онъ. «Несчастный!» — подумалъ Жофруа.

И жалость смѣнила любопытство, но онъ, все-таки, не всталъ съ своего кресла.

Изъ мастерской мальчикъ прошелъ въ кухню, гдѣ Жофруа не могъ его видѣть, но по шуму могъ слѣдить за нимъ.

Хотя кухня и не была особенно богата кастрюлями, блюдами, сковородами, въ ней было, все-таки, нѣсколько вещей необходимыхъ, по мнѣнію Трипа: котель для нагрѣванія воды, кастрюля, чтобы варить яйца, и сковорода; Жофруа слышалъ, какъ мальчикъ снялъ котелокъ съ гвоздя и наполнилъ его подъ экраномъ водой.

Вернувшись въ мастерскую, онъ очутился въ освѣщенной полость и Жофруа могъ видѣть, какъ онъ клалъ въ котелокъ часть находившихся на тарелкѣ кусковъ печенки, считая:

— Одинъ, два, три...

Досчитавши до тринадцати, онъ остановился:

— Ровно половина, — сказалъ онъ, взглянувъ на кошку, — а такъ какъ ты не голодень, то, я думаю, съ тебя хватитъ тринадцати кусковъ.

Сказавъ это, онъ поставилъ котелокъ на огонь и, сходявъ еще разъ въ кухню, принесъ оттуда довольно большую жестяную чашку и, сѣвъ передъ печкой, поставилъ ее между ногъ; затѣмъ онъ вынулъ изъ кармановъ куски хлѣба, которые началъ ломать; нѣкоторые, падая, производили такой сухой звукъ, точно были каменные или затвердѣлые отъ мороза. Но еще страннѣе было то, что ни одинъ кусокъ не походилъ на другой; тутъ были и куски вѣнскаго хлѣба, и обломки розановъ, и вѣсоваго хлѣба, такъ что очевидно было, что они не были куплены въ булочной, а собраны кое-гдѣ, и видъ ихъ былъ довольно неаппетитенъ.

Но мальчикъ рассуждалъ иначе, и, осторожно, почти благоговѣйно ломая ихъ, клалъ ихъ въ чашку. Между тѣмъ, котелокъ началъ кипѣть, и такъ какъ онъ стоялъ на самомъ краю печки, то легкій запахъ супа распространился по всей комнатѣ. Не трудно было догадаться, что онъ въ самомъ дѣлѣ варилъ супъ изъ кусковъ печенки, отнятыхъ у Дьявола, и что онъ выльетъ бульонъ на корки, которыя наломалъ. Вспомнивъ, какъ мальчикъ отсчитывалъ куски, дѣля ихъ

съ Дьяволом, Жофруа умилился: этотъ бѣдняга не былъ, очевидно, негодяежь; другой на его мѣстѣ не подумалъ бы дѣлать и взять бы всю тарелку себѣ; она, вѣрно, не нужна этому жирному коту, если онъ сердится и убѣгаетъ, когда ему предлагаютъ ѣсть.

Хотя Жофруа и понималъ теперь суть дѣла, но ему хотѣлось до-смотреть до конца. Зачѣмъ прерывать? Спѣшить нечего было, такъ какъ этотъ бѣдный мальчикъ и не подозрѣвалъ, что за нимъ слѣдятъ два глаза; интересно было оставить его дѣйствовать на свободѣ,—это была сама природа, захваченная врасплохъ.

Супъ кипѣлъ; отъ времени до времени мальчикъ наклонялся, чтобы посмотреть или, вѣрнѣе, втянуть его запахъ: онъ расширялъ ноздри и полураскрывалъ глаза, нетерпѣливо ожидая, когда можно будетъ ѣсть. Изъ бокового кармана куртки онъ вытащилъ какой-то предметъ странной формы, который Жофруа сразу не разобралъ, но скоро онъ разглядѣлъ, что это половинка оловянной ложки, отъ которой осталась только частичка ручки, сломанной по серединѣ, и лопаточка, годная, все-таки, ѣсть супъ при условіи, если употребляющей ее не боится окунуть пальцы въ супъ.

Кушанье варилось еще очень не долго, но голодный мальчикъ не могъ больше терпѣть; взявъ котелокъ, онъ вылилъ супъ на свои борки и распространившійся запахъ кушанья вызвалъ Дьявола изъ его апатіи; онъ медленными шагами приблизился, чтобы понюхать чашку, и тотчасъ же отошелъ съ такимъ видомъ, точно хотѣлъ сказать, что подобная стряпня не можетъ соблазнить такого важнаго синьора; вскочивъ на шкафъ, онъ презрительно слѣдилъ за этимъ жалкимъ ужиномъ.

Мальчикъ помѣшалъ супъ своею коротенькою ложкой, и хотя онъ еще кипѣлъ, началъ его ѣсть, обжигая себѣ ротъ, какъ передъ тѣмъ онъ обжогъ передъ печкой лицо и спину; изрѣдка онъ останавливался, чтобы подуть на хлѣбъ, но не надолго. По мѣрѣ того, какъ онъ ѣлъ, его блѣдное лицо покрывалось румянцемъ и теплота, проникая понемногу внутрь, придавала его взгляду живость, которой не было раньше: жизнь возвращалась къ нему. Супъ простылъ немного и онъ ѣлъ правильнымъ движеніемъ безъ остановокъ, не теряя ни секунды: ложка ударялась объ чашку правильно, черезъ извѣстный промежутокъ времени; конечно, ни одинъ супъ, приготовленный самою искусною кухаркой, не былъ съѣденъ съ такимъ аппетитомъ, какъ этотъ свѣтлый бульонъ, въ которомъ плавало нѣсколько полусваренныхъ кусочковъ печени. Удары ложки были такъ часты, что чашка скоро оказалась пуста; тогда онъ чисто выскоблилъ ее, такъ, чтобы ни одна крошка не осталась на днѣ. Кон-

чить, онъ посмотрѣлъ на чашку такимъ выразительнымъ взглядомъ, что смыслъ его былъ ясенъ: уже нуста!

Теперь, что будетъ онъ дѣлать?

Онъ спряталъ ложку въ карманъ и, вставъ, отнесъ чашку и кетлеокъ въ кухню, гдѣ вымылъ ихъ и повѣсилъ на гвозди, съ которыхъ снялъ. Жофруа думалъ, что онъ уйдетъ, и хотѣлъ уже выйти изъ своей засады, когда увидѣлъ, что онъ опять вернулся къ печкѣ, гдѣ долго простоялъ, не грѣясь, — ему, очевидно, не было холодно, — но грустно задумавшись, точно не зная, на что рѣшиться, или какъ будто мысль его улетѣла къ тяжелому для него времени.

Въ то время, какъ онъ стоялъ, поджавъ голову къ огню, освѣщенный луною, Жофруа показалось, что онъ увидѣлъ на его щекахъ слезы, — во всякомъ случаѣ, онъ, тяжело вздохнувъ, сдѣлалъ жестъ, чтобы смахнуть ихъ; но вдругъ онъ встряхнулъ себя точно для того, чтобы прогнать тяжелыя воспоминанія, быстро взялъ со шкафа Дьявола и прижалъ его къ груди, лаская и цѣлуя:

— Ты славный котъ, — говорилъ онъ, — хорошій, и мой другъ... вѣдь, мы друзья?

Непослушный нѣсколько минутъ тому назадъ, Дьявола позволялъ теперь распорядиться собой и, отказываясь отъ пищи, охотно принималъ ласки. Нѣсколько минутъ мальчикъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, обращая къ котикѣ нѣжныя рѣчи безъ опредѣленнаго смысла, подобно тому, какъ кормилица ласкаетъ ребенка или дѣвочка куклу, — это была потребность излить избытокъ чувствъ, подобно тому, какъ нѣсколько минутъ тому назадъ его промерзшее тѣло требовало тепла и пустой желудокъ пищи.

Убаюканный кодьбою, котъ заснулъ; тогда мальчикъ осторожно, не будя его, положилъ его на кресло и самъ придвинулъ къ печкѣ коверъ. Зачѣмъ понадобился ему этотъ коверъ? Неужели онъ ищетъ передъ печкой?

Мальчикъ сталъ на колѣни и, перекрестившись, началъ молиться про себя; его лицо, его поза, — все въ немъ выражало горячее усердіе и онъ молился не одними устами, а всѣмъ сердцемъ; если есть въ живописи избытій сюжетъ, то это молитва: сколько мучениковъ и мученицъ, сколько святыхъ и набожныхъ людей художники всѣхъ школъ изображали на колѣняхъ во время молитвы, отъ экстаза до отчаянія; но воспоминанія Жофруа не находили ни одного выраженія болѣе краснорѣчиваго въ свѣдѣйскости, какъ то, которое онъ въ дѣйствительности видѣлъ въ настоящую минуту передъ глазами.

Понемногу увлеченный молитвою, юноша, который теперь со-

всѣмъ не былъ похожъ на мальчишку, громко произнесъ нѣсколько словъ своей молитвы:

— Боже мой, сжапись... спаси меня!... Есть ли кто-нибудь несчастнѣе меня, одинокаго, лишеннаго поддержки, замерзающаго отъ холода и умирающаго отъ голода? Молю Тебя, Боже, если Ты въ Своей мудрости не находишь меня достойнымъ Твоей помощи, возьми мою жизнь. Ты видишь, я изнемогаю; у меня нѣтъ больше ни силъ, ни воли; слабость, ницета измучили меня.

Слезы отчаянiя текли по его грустному лицу и рыданiя прерывали каждую фразу; онъ поднималъ голову, опущенную до сихъ поръ на грудь, его глаза приняли восторженное выраженiе, какъ будто онъ смотрѣлъ и видѣлъ выше мастерской, и онъ произнесъ на незнакомомъ Жофруа языкѣ:

— Oh bewinden wader, beschermt my, spreckt voor my en verlaet uwe ongelukkige dogter neet.

Онъ замолчалъ, но все еще продолжалъ стоять, сложивъ руки, молясь сердцемъ послѣ того, какъ уста смолкли; затѣмъ онъ поднялся съ колѣнъ, взялъ коверъ, лежащiй передъ диваномъ, и положилъ его рядомъ съ тѣмъ, который уже былъ придвинутъ къ печкѣ. Онъ легъ на одинъ изъ нихъ, закрывшись другимъ и подложивъ подъ голову руку, вмѣсто подушки.

Жофруа нечего было ждать, надо было показаться раньше, чѣмъ мальчикъ заснетъ, и нѣкоторыми вопросами дополнить то, что онъ видѣлъ: интересный субъектъ былъ этотъ мальчикъ, такой беззащитный въ нѣкоторыхъ отношенiяхъ и выказывающiй столько осторожности и скромности въ другихъ.

Жофруа чиркнулъ спичкой. При этомъ звукъ мальчикъ сбросилъ коверъ, которымъ былъ накрытъ, и моментально очутился на ногахъ. Но Жофруа, быстро войдя въ мастерскую, не далъ ему времени убѣжать.

— Не бойтесь, — сказалъ онъ, — вамъ не сдѣлаютъ никакого зла.

V.

Опустивъ глаза и дрожа всѣмъ тѣломъ, мальчикъ стоялъ среди комнаты, не смѣя взглянуть на Жофруа.

— Увѣряю васъ, — заговорилъ онъ, наконецъ, чуть слышно, — что я не воръ; все обличаетъ меня, и, все-таки, я не воръ.

— Отсюда, — отвѣтилъ Жофруа, указывая на занавѣску, — я видѣлъ васъ съ той минуты, какъ вы вошли сюда.

Но эти нѣсколько словъ, вмѣсто того, чтобы успокоить его, увеличили его смущеніе.

— Вы меня видѣли?—прошепталъ онъ.

— Видѣлъ и слышалъ.

— Я умираю отъ голода и холода,—сказалъ онъ, отвертывая голову, чтобы скрыть краску стыда, покрывшую его лицо.

— Какъ пришла вамъ въ голову мысль войти въ эту мастерскую?

— Я очень виноватъ, простите меня.

— Я слышалъ сейчасъ вашу молитву: вы просили Бога сжалиться надъ вами,—можетъ быть, Онъ исполнилъ вашу просьбу...

Мальчикъ безнадежно покачалъ головою.

— И посылаетъ вамъ помощь, о которой вы просили. Что, если я тотъ, кого Онъ посылаетъ, чтобы поддержать васъ?

— О, господинъ!—воскликнулъ мальчикъ, въ первый разъ поднявъ глаза.

Ихъ взгляды встрѣтились и свергнувшій въ глазахъ мальчика огонь тронулъ Жофруа.

— То, что вы мнѣ скажете, можетъ рѣшить вашу судьбу. Я готовъ принять въ васъ участіе, но раньше мнѣ надо знать, кто вы. Ваша манера входить ночью въ эту мастерскую не можетъ расположить въ вашу пользу, вы должны это понимать.

— Даже очень.

— Но, съ другой стороны, то, что я видѣлъ и слышалъ, смягчило это первое впечатлѣніе; можетъ быть, есть причины, оправдывающія вашъ неосторожный поступокъ,—холодъ, голодъ...

— Дѣйствительно, голодъ и холодъ толкнули меня. Повѣрьте, что я не... жуликъ, хотя и кажусь имъ...

— Кто вы?—вотъ что надо прежде всего узнать.

Этотъ вопросъ, повидимому, смутилъ и затруднилъ его.

— Вы не обязаны отвѣчать,—продолжалъ Жофруа,—я не судья, не жандармъ, чтобы допрашивать васъ; правда, вы нахальнымъ образомъ забрались ко мнѣ, но я оставляю это. Но только поймите, что для того, чтобы принять въ васъ участіе, я долженъ знать, жуликъ вы или нѣтъ, какъ вы это отрицаете.

Онъ остался въ той же смущенной позѣ и, ничего не отвѣчая, опустил глаза.

Жофруа захотѣлось ободрить его:

— То, что я видѣлъ,—сказалъ онъ,—заставляетъ меня предполагать, что вы не жуликъ.

— Нѣтъ, клянусь вамъ.

— Но могу ли я повѣрить этому? Вы понимаете, что я спрашиваю васъ не для того, чтобы удовлетворить пустое любопытство?

— О, конечно! Увѣряю васъ, что меня глубоко трогаетъ то, какъ вы говорите со мной, а также... участіе, которое вы, повидимому, принимаете во мнѣ.

— Это участіе искренно, я не могъ равнодушно смотрѣть на ваше отчаяніе и хотѣлъ бы облегчить его, если это будетъ въ моихъ силахъ. Какимъ образомъ мальчикъ въ ваши годы могъ дойти до такого отчаянія? У васъ нѣтъ работы?

— Нѣтъ.

— Не знаете ремесла?

— Нѣтъ.

— А!

— Я знаю, что это преступленіе—не знать ремесла.

— Преступленіе... нѣтъ.

— Недостатокъ, по крайней мѣрѣ; обыкновенно видятъ лѣнтя или жулика въ томъ, кто не знаетъ ремесла, а, между тѣмъ, можно не быть ни тѣмъ, ни другимъ...

— Вы потеряли родителей; я понялъ это изъ нѣсколькихъ словъ, произнесенныхъ вами вслухъ.

— Вы понимаете по-фламандски?!—воскликнулъ онъ въ ужасъ, бросающемся въ глаза.

— Нѣтъ, я и не зналъ даже, что заключительныя слова вашей молитвы были произнесены по-фламандски.

Ужасъ смѣнился вздохомъ облегченія и съ торопливостью, указывающей на то, что въ этой фламандской фразѣ была какая-то тайна, онъ началъ объяснять ее.

— Это было возваніе къ отцу; я просилъ его покровительства и заступничества.

Если было только это, то почему мысль, что его возваніе къ отцу могла быть понята, такъ сильно смутила его?

Жофруа хотѣлъ бы, чтобы объясненія этого несчастнаго, къ которому онъ невольно чувствовалъ симпатію, были ясны и откровенны, и его разсердило, что онъ натолкнулся опять на недомолвки и тайну.

— Наконецъ,—продолжалъ онъ болѣе строгимъ голосомъ,—вы найдете естественнымъ мой вопросъ: какимъ образомъ у васъ явилась мысль проводить ночи въ моей мастерской?

— Я вижу, что сержу васъ, тогда какъ я такъ бы хотѣлъ быть достойнымъ вашей милости; простите мое замѣшательство и стыдъ,—я все вамъ скажу:

Уже нѣсколько минутъ Жофруа слышалъ на дворѣ тяжелые шаги, остановившіеся у двери. Какъ разъ въ ту минуту, когда мальчикъ кончилъ свою фразу, раздался стукъ въ дверь.

— Кто тамъ?—спросилъ Жофруа.

— Это я, — отвѣтилъ голосъ Трипа. — Передъ уходомъ я хотѣлъ узнать, не нуженъ ли я вамъ, по, услыхавъ голоса, я постучалъ.

— Благодарю, — отвѣтилъ Жофруа, — вы не нужны мнѣ сегодня вечеромъ, будьте спокойны, но завтра утромъ приходите, какъ только освободитесь.

— Слушаю - съ. Покойной ночи, господинъ Жофруа. Морозить!...

И Трипъ удалился медленными и тяжелыми шагами.

Съ тѣхъ поръ, какъ Жофруа вышелъ изъ-за занавѣса, онъ стоялъ передъ дверью, загораживая ее; онъ подошелъ къ печкѣ и, придвинувъ кресло, сѣлъ.

— Возьмите стулъ, — сказалъ онъ, — и сядьте около печки, — такъ удобнѣе будетъ разговаривать. Еще одно: не смотрите на меня какъ на жандарма, а думайте лучше, что ваша просьба о заступничествѣ, обращенная къ отцу, услышана и можетъ быть исполнена, если вы этого захотите.

Потомъ, принявъ болѣе дружескій тонъ, онъ прибавилъ, улыбаясь:

— Надѣюсь, вы не побоитесь теперь огня?

— О, нѣтъ!

Мальчикъ сѣлъ.

— Я изъ Дюнгирихена, — началъ онъ, наконецъ, тихимъ голосомъ, — и этимъ объясняется, что я говорю по-фламандски. Я потерялъ мать пять лѣтъ тому назадъ, а съ тѣхъ поръ, какъ исчезъ мой отецъ, прошло шесть мѣсяцевъ.

— Исчезъ?

— Мой отецъ былъ морякъ и много лѣтъ занимался крупнымъ рыбнымъ промысломъ, но послѣ кончины моей бѣдной матери рѣшилъ бросить его. Онъ любилъ меня и не хотѣлъ по нѣскольку мѣсяцевъ оставлять меня одного. Оставшись на сушѣ, онъ не поступилъ ни въ магазинъ, ни выбралъ никакого ремесла, а рѣшилъ заниматься мелкимъ рыболовствомъ. Несмотря на болѣзнь матери, длившуюся болѣе пятнадцати мѣсяцевъ, у насъ оставались еще кое-какія сбереженія; онъ истратилъ ихъ на покупку лодки, — не новой, конечно, но могшей прослужить нѣсколько лѣтъ, — и взялъ къ себѣ двухъ старыхъ товарищей. Въ теченіе четырехъ лѣтъ и четырехъ мѣсяцевъ дѣла наши шли почти хорошо; доходъ былъ не-

великъ, но, все-таки, достаточенъ для того, чтобы существовать. Въ это время я учился въ школѣ. вмѣсто того, чтобы взять меня оттуда послѣ перваго причастія, какъ поступили съ большинствомъ моихъ товарищей, отецъ захотѣлъ меня оставить, и такъ какъ я зналъ немного болѣе, чѣмъ другіе, по той простой причинѣ, что я больше времени учился, учителя полюбили меня и занимались со мною изъ всѣхъ предметовъ сколько возможно было. Вотъ какимъ образомъ я не знаю ремеслъ; по грамматикѣ, ариметикѣ, исторіи, рисованію я знаю больше, чѣмъ обыкновенно учатъ въ школахъ, ремесла же ни одного не знаю.

— Сколько вамъ лѣтъ?—спросилъ Жофруа.

Вопросъ былъ очень простъ и отвѣтъ на него не могъ, казалось бы, представлять никакого затрудненія, но Лотѣ минутой колебался, прежде чѣмъ отвѣтилъ:

— Пятнадцать лѣтъ,—произнесъ онъ, наконецъ, и тотчасъ же торопливо заговорилъ, точно не желая оставлять подъ впечатлѣніемъ этого отвѣта.—Послѣ четырехлѣтняго употребленія, лодка состарилась и снасти испортились; требовалась основательная починка, многое надо было сдѣлать заново: лопнетъ ли веревка, разорвется ли парусъ отъ напора вѣтра,—это вопросъ жизни или смерти для рыболова. Къ несчастью, денегъ не было; ждали удачи, ждали счастливаго улова и продолжали ѣздить въ старой лодкѣ: если вчера вернулись благополучно, то почему бы не вернуться и сегодня?—и они ежедневно отправлялись въ морѣ, не обращая вниманія на погоду, такъ какъ мы существовали исключительно рыбною ловлей. Мой отецъ былъ слишкомъ хорошии морякъ, чтобы не понимать опасности, какой онъ подвергался, но приходилось или презирать ее, или оставаться на сушѣ, а ни онъ, ни его товарищи не могли оставаться. Я не знаю, помните ли вы, что весна прошлаго года была очень дурная; въ Дюнкирхенѣ она была ужасна; сѣверный вѣтеръ смѣнялся проносящимся, какъ ураганъ, западнымъ; на морѣ произошло нѣсколько крушеній какъ большихъ кораблей, такъ и рыбацкихъ лодокъ. Мой отецъ выѣзжалъ, между тѣмъ, каждый день и его только лодка выплывала въ море. Какъ-то ночью въ концѣ марта съ середины на четвергъ поднялась страшная буря и хотя мы жили въ подвальномъ этажѣ,—въ Дюнкирхенѣ всѣ бѣдные люди помѣщаются въ подвалахъ,—мы слышали, какъ она свирѣпствовала до самаго утра. Къ счастью, отецъ былъ дома и мнѣ пріятно было слышать завыванія разсвирѣпѣвшей бури, сознавая, что мы вмѣстѣ. Во время прилива буря на время стихла и вѣтеръ измѣнилъ направленіе; думая, что возвратилась хорошая

погода, отецъ хотѣлъ ѣхать на ловлю; я старался отговорить его, но напрасно. «Завтра пятница, — отвѣтилъ онъ мнѣ, — рыба будетъ дорога; какъ бы мало мы ни наловили, мы ее выгодно продадимъ». Предчувствіе говорило мнѣ, что я не долженъ допускать, чтобы онъ ѣхалъ, но у меня уже было столько предчувствій не оправдавшихся, что я не рѣшился настаивать. Я хотѣлъ, по крайней мѣрѣ, посмотрѣть, какъ онъ поѣдетъ, и пошелъ ждать его на Лейгенерскую башню; проѣзжая, онъ сдѣлалъ мнѣ знакъ рукою... послѣдній...

Мальчикъ остановился на минуту; голосъ его дрожалъ, глаза наполнились слезами.

— Я хотѣлъ проводить отца насколько могъ, — продолжалъ онъ, — но лодка, подгоняемая восточнымъ вѣтромъ, бѣжала по каналу скорѣе моего; когда я дошелъ до конца бона, на морѣ виднѣлась одна только черная точка, мелькающая вдали, и на всемъ безконечномъ пространствѣ не замѣтно было ни одного паруса. Во время ночнаго прилива отецъ долженъ былъ вернуться. Часы ожиданія долги для женъ и дѣтей моряковъ, въ эту же ночь они были безконечны. Пронеслось нѣсколько порывовъ вѣтра, но буря не возобновилась, что нѣсколько успокоило меня. Какъ только разсвѣло, я отправился въ Лейгенеръ; мнѣ сказали, что за ночь въ гавань не возвращалось ни одного корабля, ни одной лодки. Я дошелъ до конца бона: на морѣ ничего не было видно. Началось ожиданіе. Вы можете себѣ представить, каково оно было; съ каждою минутой оно становилось все мучительнѣе и мучительнѣе. На третій день было напечатано въ какой-то газетѣ, что корабль, возвратившійся въ Калѣ, встрѣтилъ опрокинутую лодку, вѣроятно, нашу, перевернутую порывомъ вѣтра. Знакомые старались увѣрить меня, что отецъ не могъ погибнуть; онъ былъ хорошимъ пловцомъ; ему, навѣрное, встрѣтился какой-нибудь предметъ, за который онъ ухватился, а одинъ изъ множества проѣзжающихъ въ этихъ мѣстахъ кораблей спасъ его. Я допускалъ гибель его товарищей, но его — я возмущался при одной мысли, что это возможно, и вѣрилъ, когда мнѣ говорили: «Почему бы кораблю, идущему въ Россію, въ Средиземное море или Америку, не захватить его?» Надо было ждать отъ него извѣстій. И я ждалъ этихъ извѣстій въ теченіе шести мѣсяцевъ, каждый день утрачивая частицу надежды, за которую я такъ упорно цѣплялся, что даже теперь, рассказывая вамъ это, я задаю себѣ вопросъ, не пришли ли эти извѣстія въ Дюнкирхенъ въ мое отсутствіе и я не знаю ихъ? Вотъ до чего дошло мое безумство!

— Бѣдное дитя!

— Вопреки настояніямъ тетки, живущей въ Парижѣ, я остал-

ся въ Дюнкирхенѣ. Когда я написалъ ей о постигшемъ меня несчастіи, она отвѣтила, чтобы я ѣхалъ къ ней, но я не могъ покинуть Дюнкирхена, желая оставаться дома, чтобы встрѣтить отца, когда онъ вернется. Наконецъ, я не могъ дольше оставаться въ Дюнкирхенѣ; нагрянули кредиторы отца и продали все, что у насъ было. Я написалъ теткѣ, отвѣтившей, что она будетъ ждать меня, и, дѣйствительно, я увидѣлъ ее на вокзалѣ, когда вышелъ изъ вагона съ полными слезъ глазами, проплакавъ всю дорогу.

Мальчикъ остановился и замѣшательство, которое онъ уже выказалъ раньше, сдѣлалось настолько сильно, что онъ уже не могъ его скрыть.

— Вы видите меня въ страшномъ затрудненіи, — произнесъ онъ, наконецъ. — Я сознаю, что для того, чтобы быть достойнымъ сочувствія, которое вы мнѣ выказываете, и заслужить ваше довѣріе, я долженъ говорить съ вами откровенно, безъ недомолвокъ, ничего не утаивая, а, между тѣмъ, это невозможно. Я остался только два дня у этой тетки, выписавшей меня въ Парижъ, и я не могу сказать вамъ, почему я бѣжалъ отъ нея. Вы поймете, что причины должны были быть очень серьезны, потому что, когда я ушелъ отъ нея, у меня не было въ карманѣ двадцати су и я никого не зналъ, къ кому бы могъ обратиться съ просьбою найти мѣсто или работу.

— Ну, такъ не говорите этихъ причинъ, — сказала Жофруа.

— Эта тетка — не сестра отца, она — жена дяди. Выйдя отъ нея въ полночь, я не зналъ, куда направиться, и не смѣлъ идти впередъ, ожидая разсвѣта. Я рѣшилъ пріютиться на какомъ-нибудь вокзалѣ. Моя тетка живетъ въ окрестностяхъ улицы Лафайетъ, а я зналъ, что эта улица ведетъ на вокзалъ, черезъ который я ѣхалъ въ Парижъ. Я пошелъ по направленію, куда двигался народъ, и очутился передъ ярко освѣщеннымъ зданіемъ вокзала. Я довольно удобно устроился въ уголкѣ на скамейкѣ. Что за бѣда, что не придется спать одну ночь? Но скоро большая зала, полная шума и движенія, когда я вошелъ, опустѣла; настала тишина, двери захлопнулись, огни потушили. Я понялъ, что ушелъ послѣдній поѣздъ и что меня сейчасъ выгонять или спросить, что я здѣсь дѣлаю. Я вышелъ. Мнѣ пришла въ голову мысль пойти въ залу для прібытія поѣздовъ, но, взглянувъ на расписаніе, висящее на стѣнѣ, увидѣлъ, что первый поѣздъ придетъ около четырехъ часовъ утра. Приходилось, такимъ образомъ, отказаться отъ этой надежды, и я очутился одинъ на темной, пустой и безлюдной площади вокзала. Тутъ только я понялъ весь ужасъ моего положенія и одно-

чества: ни одного экипажа, ни одного прохожаго, дома заперты, улицы тянутся бесконечно, все точно вымерло. На меня нашло отчаяніе: я погибъ, я бродяга въ этомъ громадномъ Парижѣ; мнѣ негдѣ пріютиться, некому помочь мнѣ, а въ моемъ карманѣ осталось только нѣсколько грошей. Не арестуютъ ли меня? Эта мысль вернула мнѣ силы; того, кто идетъ по дѣлу, не арестуютъ. Надо было идти. Не зная, куда повернуть, направо или налево, хотя мнѣ совершенно безразлично было, куда идти, я услышалъ стукъ экипажей и въ концѣ улицы увидѣлъ, какъ промелькнулъ мерцающій огонекъ двухъ маленькихъ фонарей. Тамъ была жизнь, движеніе, и я направился туда. На встрѣчу мнѣ, когда я дошелъ до конца улицы, ѣхали телѣги, нагруженные капустой, морковью, мѣшками съ картофелемъ, среди которыхъ сидѣли крестьяне въ кафтанахъ и цвѣтныхъ платкахъ, повязанныхъ поверхъ фуражекъ; я послѣдовалъ за ними, думая, что они приведутъ меня на рынокъ. Дѣйствительно, спустившись по узкой и извилистой улицѣ...

— Вы пришли на рынокъ.

— Именно. Такъ какъ вы знаете, что такое рынокъ ночью, то мнѣ нечего говорить вамъ, какое облегченіе я почувствовалъ среди этой толкотни людей и телѣгъ; единственно, чего я боялся, это — чтобы, видя меня снующимъ безъ всякаго дѣла среди занятыхъ людей, меня не спросили, что мнѣ надо. Къ счастью, меня никто не спросилъ и, тщательно избѣгая однѣхъ и тѣхъ же улицъ и палатокъ, чтобы меня не замѣчали все на одномъ и томъ же мѣстѣ, я могъ пробыть тамъ до утра. Я смутно надѣялся, что наступившій день, вмѣстѣ съ ночнымъ мракомъ, разсѣетъ и мой страхъ. Наступило утро и я былъ все въ томъ же затрудненіи, даже еще болѣе, такъ какъ долженъ былъ принять какое-нибудь рѣшеніе. Но какое? Блуждая по улицамъ въ окрестностяхъ рынка, я видѣлъ нѣсколько рекомендательныхъ бюро; я рѣшился войти въ самое скромное на видъ, прося какого-нибудь мѣста, какого угодно, за какую угодно плату и на какихъ угодно условіяхъ. Но меня, прежде всего, спросили, есть ли у меня бумаги и пять франковъ, чтобы внести за записъ; не имѣя ни бумагъ, ни денегъ, я вышелъ и остановился на улицѣ въ той же нерѣшительности, какъ былъ ночью на площади вокзала. Можетъ быть, тотъ, кто знаетъ Парижъ, у кого есть родные, знакомые, связи и кто умѣетъ искать, можетъ найти себѣ мѣсто или работу; я же не зналъ Парижа, у меня не было ни друзей, ни овязей и, вѣроятно, я не умѣлъ искать, такъ какъ меня грубо гнали отовсюду. Идя наугадъ прямо впередъ, не зная куда и по какимъ улицамъ я прохожу, я добрелъ до почти пустынныхъ улицъ, гдѣ

дома были рѣдки и пустыри тянулись одинъ за другимъ. Ночь надвигалась и морозъ, небольшой днемъ и утромъ, началъ вѣять, полурастаявшіе на солнцѣ ручьи покрылись льдомъ. Подавленный усталостью и еще больше отчаяніемъ, я, конечно, не могъ провести на ногахъ всю эту ночь, какъ предъидущую; я не садился уже шестнадцать часовъ и съѣлъ только кусокъ хлѣба въ полфунта. Между тѣмъ, я понималъ, что могъ быть на улицахъ лишь дѣлая видъ, что иду куда-нибудь: сколько времени еще могутъ выдержать мои ноги? Когда я проходилъ мимо строящагося дома, оттуда вышли рабочіе, которыхъ я принялъ за плотниковъ; одинъ изъ нихъ, запирая ворота, крикнулъ: «Всѣ вышли?» Никто не отвѣтилъ изнутри дома; тогда онъ заперъ ворота висячимъ замкомъ и скорымъ шагомъ догналъ товарищей. Я шелъ сзади ихъ; проходя мимо забора, я замѣтилъ, что между составлявшими его досками было разстояніе настолько большое, что я могъ бы, пожалуй, пролѣзть; я продолжалъ дорогу, но какъ только стемнѣло, я вернулся и, выждавъ, когда улица опустѣла, пролѣзъ между этими досками. Я чувствовалъ себя счастливымъ, растянувшись, какъ въ постели, въ кучѣ стружекъ; крыша надъ головой, стѣны вокругъ; мнѣ казалось, что я былъ спасенъ. Я былъ такъ утомленъ, что сейчасъ же заснулъ, но холодъ разбудилъ меня и, чтобы не замерзнуть, я долженъ былъ опять ходить, тогда какъ я такъ надѣялся отдохнуть. По крайней мѣрѣ, я могъ не бояться прохожихъ и городскихъ и, согрѣвшись немного отъ движенія, снова заснулъ въ стружкахъ, пока холодъ не разбудилъ меня. Ночь была длинна; когда шаги на улицѣ возвѣстили мнѣ приближеніе утра, я растался съ моими стружками и снова началъ свое странствованіе. Этотъ день былъ не счастливѣе предъидущаго: отовсюду меня прогнали. Я запомнилъ названіе моей улицы и старался вертѣться въ той сторонѣ, чтобы не потерять ее; вечеромъ я пролѣзъ опять черезъ заборъ и растянулся на моей постели, спрашивая себя, проснусь ли я, и не засну ли здѣсь вѣчнымъ сномъ. Такъ продолжалось четыре дня и четыре ночи. Это безконечное хожденіе по растаявшему снѣгу и грязи, лежаніе на щепкахъ, въ мусорѣ и известкѣ привели мое черное платьѣ въ такой видъ, что когда я осмѣливался постучать въ дверь, ее захлопывали передо мною, какъ передъ бѣшеною собакой.

При словѣ «черное платьѣ» Жофруа удивленно взглянулъ на мальчика; тогда онъ съ замѣшательствомъ спохватился:

— На мнѣ было тогда не то, которое вы видите.

Это объясненіе было очень просто и естественно, почему же онъ смутился, говоря его? И отчего въ этомъ разсказѣ, гдѣ каждое

слово дышетъ искренностью, встрѣчаются изрѣдка пункты, гдѣ эта искренность какъ будто ослабѣваетъ и уступаетъ мѣсто сдѣлкѣ? Въ ту минуту, когда эти страданія и это отчаяніе трогали сердце, какая-нибудь недомолвка рѣзко охлаждала волненіе и симпатію.

— Я не все время ходилъ, — продолжалъ онъ, — при всякомъ удобномъ случаѣ я останавливался, такъ какъ стоя отдыхаешь; за цѣлый день ходьбы ноги такъ отяжелѣютъ, что ихъ еле передвигаешь. Какъ-то разъ подъ вечеръ я поднимался по одному предмету и дошелъ до того мѣста, гдѣ подъемъ дѣлается круче: по обѣ стороны улицы стояла толпа и, смѣясь, смотрѣла на старика, запряженнаго въ маленькую телѣжку, которую онъ везъ среди улицы и не могъ сдвинуть съ мѣста; эта телѣжка была наполнена плетеными стульями, не представлявшими особенной тяжести, но усилившійся къ вечеру морозъ покрылъ растаявшую днемъ улицу ледяною корою, на которой старикъ скользилъ. Надѣвъ на плечи ремни, держа обѣими руками оглобли, онъ, весь перегнувшись впередъ, тянулъ телѣжку изъ всѣхъ силъ; когда онъ выпрямлялся, отъ напряженія видѣнъ былъ потъ, капавшій, несмотря на холодъ, съ его шеи на грудь. Наконецъ, онъ какъ-то поскользнулся и упалъ на колѣни и тогда мальчишки встрѣтили его паденіе хохотомъ и криками: «Встанеть! нѣтъ, не встанеть!»... Это былъ сѣдой старикъ, котораго иссушили годы и утомленіе; безъ жалобы, не взглянувъ даже на насмѣшниковъ, онъ поднялся и съ невозвѣрнымъ усиліемъ сдвинулъ, наконецъ, телѣжку. Такъ какъ онъ поѣхалъ, то смотрѣть на него было уже не интересно и толпа отправилась своею дорогою, онъ — своею. Я шелъ по одному направленію съ нимъ; скоро подъемъ сдѣлался снова скользкимъ и крутымъ, старикъ опять не могъ подниматься. Замѣтивъ это, я сошелъ на улицу и подтолкнулъ сзади. «Такъ, — сказалъ онъ, не оборачиваясь, — хорошій толчокъ не мѣшаетъ!» Съ моею помощью мы легко поднялись на гору, гдѣ онъ остановился. Я хотѣлъ продолжать свой путь, но онъ позвалъ меня: «Я не разстанусь съ вами, не поблагодаривъ васъ!» И изъ этой благодарности, произнесенной имъ задыхаясь, я узналъ, что послѣ смерти сына, скончавшагося въ больницѣ, онъ возитъ телѣжку одинъ, что онъ занимается починкой соломенной мебели или, вѣрнѣе, ѣздитъ по улицамъ, собирая стулья, которые передаетъ хозяину; послѣ починки онъ снова развозитъ ихъ къ тѣмъ, у кого взялъ. Ему недоставало сына не только чтобы подталкивать телѣжку сзади или помогать ему везти, но еще чтобы кричать: «вотъ перебивщикъ стульевъ!» — такъ какъ у него голосъ былъ слабъ и разбитъ, а молодой и звонкій голосъ

слышенъ лучше. У меня блеснула мысль: «Еслибъ я замѣнилъ вамъ сына?» Онъ удивленно взглянулъ на меня, но когда я разсказалъ ему свое положеніе, онъ согласился взять меня на моихъ условіяхъ: за кровать и пищу.

— И вы не остались у него?

— Вскорѣ послѣ этого онъ схватилъ воспаленіе легкихъ и слегъ въ больницу; я очутился опять среди улицы такимъ же несчастнымъ, какъ былъ до встрѣчи, такъ какъ мы должны были хозяину за квартиру и онъ выгналъ меня, не позволивъ ничего взять. Тогда-то, слѣдуя за фуррами живущихъ здѣсь перевозчиковъ, я вошелъ въ эту усадьбу не съ улицы, а съ переулка, когда ушли перевозчики, и забрался въ одну изъ фуръ подъ старыя ковры, въ которыя перевозчики упаковываютъ болѣе хрупкую мебель. Я думалъ, что усадьба пуста и что мнѣ нечего будетъ бояться до слѣдующаго утра. Было такъ холодно, что я не могъ заснуть, и думалъ, что если я проведу здѣсь всю ночь, меня найдутъ завтра мертвымъ. Но я былъ въ такомъ изнеможеніи, что эта мысль не огорчала меня: не лучше ли конецъ? Не моя была бы вина, — я не искалъ смерти, она сама явилась ко мнѣ. Чего мнѣ жалѣть? Ужь, конечно, не жизни! Молодости? — къ чему она мнѣ?

— И тогда?

— Я говорю это вамъ для того, чтобы вы поняли, что я дошелъ до такого отчаянія, которое дѣлаетъ способнымъ и на подлость, и на безумство. И такъ, я думалъ, что засну безпробудно, когда услышалъ скрипъ шаговъ по снѣгу. Я высунулъ голову изъ-подъ ковровъ и посмотрѣлъ: человекъ, вашъ дворникъ, направлялся къ мастерской, постучалъ въ дверь и вошелъ. Когда дверь отворилась вновь, онъ былъ не одинъ: вы сопровождали его; лунный свѣтъ падалъ какъ разъ на васъ обоихъ и я васъ хорошо разглядѣлъ. Вы сказали ему: «Увѣрены вы, что огонь не потухнетъ?» Онъ отвѣтилъ: «Будьте покойны, баринъ, онъ продержится всю ночь, и если вы придете завтра въ мастерскую раньше меня, въ ней будетъ еще тепло». Затѣмъ онъ заперъ дверь и я видѣлъ, какъ онъ повѣсилъ ключъ на гвоздь въ плющъ; я слышалъ, какъ ключъ зазвенѣлъ, ударившись объ гвоздь. Отъ голода и холода, — въ тотъ день я ничего не ѣлъ, — мысли мои путались, голова ослабѣла, но я, все-таки, понялъ, что въ этой мастерской, которая была передо мною, огонь будетъ грѣть всю ночь, что никто не придетъ туда до утра, что ключъ былъ тутъ и что стоило его только взять, чтобы не умереть отъ холода... Ахъ, господинъ, надо испытать, что такое холодъ, — холодъ, давно заледенившій вашу кровь,

заставляющий стучать зубы и передергивающий васъ, какъ въ конвульсіяхъ, чтобы понять, что значитъ эта мысль, что въ нѣсколькихъ шагахъ отъ васъ горитъ огонь, что около него можно согрѣться...

— Я понимаю.

— Какъ я не умеръ отъ холода, я не понимаю. Можетъ быть, оттого, что привыкъ къ нему; у насъ рѣдко топили, — моряки не зябки, — а послѣднее время я проводилъ столько часовъ и днемъ, и ночью на берегу моря, ожидая моего бѣднаго отца, что привыкъ къ стужѣ. Но холодъ, который я ощущалъ тогда, а также и въ строящемся домѣ, и блуждая по улицамъ, не былъ похожъ на тотъ, который я испытывалъ въ фурѣ подъ коврами. Днемъ я согрѣвался ходьбою, въ строящемся домѣ я тоже могъ ходить, двигаться, прыгать, когда чувствовалъ, что замерзаю. Въ фурѣ я долженъ былъ лежать неподвижно и мало-по-малу мною овладѣвало оцѣпенѣніе, смерть, вѣроятно. Нѣсколько минутъ тому назадъ я говорилъ, что она будетъ избавленіемъ, что если она возьметъ меня, кончатся мои страданія, но, увидѣвъ возможность избѣжать ея, я уже не думалъ этого. Кромѣ того, огонь манилъ меня, я видѣлъ, я слышалъ, какъ онъ горитъ. Съ другой стороны, я говорилъ себѣ, что если меня застанутъ въ этой мастерской, меня арестуютъ, какъ жулика, и это удерживало меня. Но, наконецъ, искушеніе было слишкомъ сильно: что бы тамъ ни было, я, по крайней мѣрѣ, согрѣюсь. Можетъ быть, я уже потерялъ тогда рассудокъ; во всякомъ случаѣ, поставьте себя на мѣсто человѣка, доведеннаго голодомъ и холодомъ до иступленія, и моя вина покажется вамъ менѣе тяжелою.

— Она не очень тяжела, особенно въ глазахъ того, кто, какъ я, видѣлъ, какъ вы вели себя въ этой мастерской.

— Я долго прислушивался; все было тихо. Тогда я вышелъ изъ фуръ и направился по дорогѣ, идущей отъ склада къ сторожкѣ дворника, чтобы попасть на дорогу, ведущую къ вашей мастерской только тамъ, гдѣ онѣ скрещиваются, такъ какъ важно было не оставлять своихъ слѣдовъ на снѣгу. Если луна помогала мнѣ направляться, за то она подвергала меня опасности быть замѣченнымъ, и, проходя этотъ громадный дворъ, я дрожалъ, точно собирался совершить преступленіе. Не услыхавъ ни малѣйшаго шума, я дошелъ до вашей двери, которую отворилъ взятымъ въ плющъ ключомъ. Снаружи еще я слышалъ, какъ трещитъ огонь въ печи. Я осторожно затворилъ дверь и хотѣлъ броситься къ печкѣ, какъ вдругъ, пораженный, остановился: кто-то насвистывалъ знакомый

миѣ мотивъ, который я слыхалъ тысячу разъ: «Дюнкирхенскій трезвонъ!» Я остановился, охваченный и ужасомъ, и волненіемъ. Значить, есть кто-нибудь въ этой мастерской, которую я считалъ пустою? И моя первая мысль была, что я погибъ. Но тогда зачѣмъ, вмѣсто того, чтобы схватить меня, миѣ насвистываютъ мой родной мотивъ, который каждый день наигрываетъ нашъ колоколь, сдѣлавъ его извѣстнымъ? Кто дѣлаетъ миѣ этотъ сюрпризъ? Что подобная мысль пришла миѣ въ голову, вѣдь, это безуміе, не правда ли?

— О, нѣтъ.

— Я посмотрѣлъ вокругъ и никого не увидѣлъ: мастерская была также залита луннымъ свѣтомъ, какъ сейчасъ, и только одна ея часть была въ тѣни, откуда-то и доносился свистъ. Машинально, самъ не понимая, что дѣлаю, я произнесъ въ полголоса: «Такъ какъ мы изъ одной страны, не отталкивайте меня!» Тотчасъ же раздался взмахъ крыльевъ и птица, пролетѣвъ освѣщенную часть, опустилась на верхнюю перекладину рамы: тамъ она нѣсколько разъ наклонила голову, точно кланяясь, и начала опять свой мотивъ.

— Она дѣйствительно кланялась.

— Я успокоился и началъ грѣться около печки. Вмѣстѣ съ тепломъ, охватывавшимъ меня, возвратилось ощущеніе голода и жажды. Какъ разъ въ ту же минуту я услышалъ въ сосѣдней комнатѣ какой-то шумъ, похожій на лаганіе собаки или кошки, и подумалъ, что найду тамъ пить. Войдя, я увидѣлъ Дьявола передъ чашкой молока. Онъ подошелъ ко миѣ, обнюхалъ; и, не обращая на меня болѣе никакого вниманія, улегся на диванъ. Я сознаюсь, у меня не было болѣе силъ противустоять искущенію, я взялъ чашку и выпилъ все, что тамъ оставалось; я былъ такъ голоденъ; а онъ такъ сытъ, что не притрогивался къ тарелкѣ, полной сырой говядины. Вернувшись къ печкѣ, я растянулся на коврѣ и проспалъ такъ до половины шестаго. Около шести часовъ я вышелъ; луна уже зашла, и я, осторожно ступая, чтобы не услышали моихъ шаговъ, пробрался опять черезъ весь дворъ къ калиткѣ.

— Въ какой день это было?

— Четыре дня тому назадъ. Морозъ, охватившій меня на улицѣ послѣ этой чудной ночи, проведенной у огня, напомнилъ миѣ, что я выпилъ только чашку молока Дьявола и что, прежде всего, надо позаботиться о кускѣ хлѣба. Мой хозяинъ, въ своей горькой жизни много разъ остававшійся безъ гроша денегъ, говорилъ миѣ, что тотъ, кто захочетъ, не умретъ съ голода; я зналъ, что есть рестораны, гдѣ по утрамъ даютъ ѣсть бѣднымъ, и что въ

окрестностяхъ Парижа есть домъ, гдѣ всѣ проходящіе получаютъ два су и фунтъ хлѣба. Я могъ пойти въ эти рестораны и во многіе трактиры, могъ также попросить эти два су и фунтъ хлѣба, но это значило просить милостыню. Во время нашихъ разговоровъ, часто сводившихся на эту тему, онъ говорилъ мнѣ также, что въ ресторанахъ выкидываютъ на улицу много хорошихъ вещей: цѣлые хлѣбцы, куски говядины, плоды, и чтобы собрать ихъ, надо только придти пораньше. Оттуда-то у меня и тотъ хлѣбъ, который, вы видѣли, я размачивалъ сегодня вечеромъ супомъ; какъ онъ ни противенъ, я, все-таки, предпочелъ его, чѣмъ просить милостыню. Эти четыре дня я напрасно искалъ мѣста или работы: обойщикъ, къ которому мы возили стулья, обѣщалъ меня помѣстить къ другому хозяину, но такъ какъ у занявшаго наше мѣсто былъ осель, чтобы возить телѣжку, я оказался ему не нуженъ. Если я очень уставалъ или замерзалъ, то я входилъ въ вокзалъ, въ церковь, откуда уходилъ, какъ только меня начинали разсматривать, и вечеромъ приходилъ сюда. Вотъ какимъ образомъ я, вынужденный страшною нищетой, забрался въ вашу мастерскую.

— Нищета теперь кончится. Я достану вамъ работу, которой вы не могли найти... Я надѣюсь, по крайней мѣрѣ. А пока вы будете защищены отъ холода и не испытаете больше голода, я обещаю вамъ это. Для начала вы проведете ночь на этомъ диванѣ, а завтра мы подумаемъ. Ваша молитва исполнена.

— О, господинь!...

— Мой долгъ помочь вамъ, но что-то говоритъ мнѣ, что это будетъ удовольствіемъ.

Глаза мальчика наполнились слезами и слова остановились въ его сжавшемся горлѣ.

— У меня... сердце... сжимается, — произнесъ онъ, наконецъ.

— Не только сердце, — произнесъ Жофруа, стараясь улыбнуться, — но и желудокъ.

Сходивъ въ кухню, онъ принесъ оттуда хлѣбъ и ветчину, купленные Трипомъ на всякій случай.

— Вашъ супъ только раздражилъ аппетитъ, — сказалъ онъ. — Съѣшьте это.

— Но это, вѣроятно, вашъ ужинъ?

— Когда я хорошо пообѣдаю, я не ужинаю.

Пока хлѣбъ и ветчина исчезали, Жофруа сходилъ въ кухню, откуда принесъ бутылку вина и графинъ съ водой, и подаль мальчику. На диванѣ лежалъ пледъ, завернутый въ ремень; онъ развернулъ его, говоря:

— Вы накроетесь этимъ пледомъ.

— Мнѣ такъ хорошо было на коврѣ.

— Вамъ лучше будетъ на диванѣ. Осторожность, заставлявшая васъ довольствоваться ковромъ, не нужна теперь.

Хлѣбъ и ветчина были съѣдены.

— Теперь мы можемъ спать, — сказалъ Жофруа. — Я оставляю васъ.

Онъ направился въ свою комнату, но, отдергивая портьеру, обернулся:

— Какъ васъ зовутъ? — спросилъ онъ.

Отвѣтъ послѣдовалъ только послѣ минутной паузы, и прежнее смущеніе изобразилось на его лицѣ.

— Лотьё, — произнесъ онъ, наконецъ.

— Покойной ночи, Лотьё.

— Покойной ночи!

VI.

Повинуясь полученному наканунѣ приказанію, Трипъ постучалъ въ дверь мастерской, какъ только вернулся изъ своего обхода. Уже цѣлый часъ работалъ Жофруа, а Лотьё, молча усѣвшись въ уголкѣ мастерской, съ любопытствомъ слѣдилъ за нимъ. Это не былъ вчерашній растрепанный и грязный мальчишка: поднявшись чуть свѣтъ, онъ побѣжалъ въ кухню, гдѣ нашель воду, мыло, полотенца и щетки; его почернѣвшее лицо посвѣтлѣло и, несмотря на загаръ, было нѣжно и красиво; руки были красны, но красивой формы, съ продолговатыми пальцами и прозрачными ногтями; онъ застегнулъ свою старательно вычищенную куртку и галстукомъ прикрылъ изорванную рубашку.

Замѣтивъ его, Трипъ остановился, разглядывая его.

— Вотъ тотъ, кто оставлялъ ночью кронки передъ печкой и снѣгъ на коврѣ, — сказалъ Жофруа.

— Я сейчасъ же отведу его къ комиссару, — отвѣтилъ Трипъ.

— Вы отведете его въ магазинъ, гдѣ купите рубашки, чулки и платки.

— Не можетъ быть!

— Это хорошій мальчикъ, который умеръ бы отъ холода, если бы наша печка не согрѣла его. Когда онъ расскажетъ вамъ свою исторію, вы увидите, что его преступленіе не очень велико.

Трипъ былъ пораженъ, но не противорѣчилъ.

— Если вамъ угодно, я согласенъ.

— Хотя онъ прилежный и способный мальчикъ, у него нѣтъ ни мѣста, ни работы,—надо будетъ ему найти.

— Что онъ умѣетъ дѣлать?

— Ничего и все.

— Значить, нѣтъ ни одного ремесла въ рукахъ?

— Нѣтъ, за то у него есть доброе сердце въ груди.

— Можеть быть, его можно будетъ помѣстить сверхштатнымъ въ мою редакцію. Но тамъ, вѣдь, ничего не получишь въ ту ночь, которую проведешь не на ногахъ; кромѣ того, это трудно: надо ходить съ двѣнадцати до девяти часовъ утра.

— Я буду ходить,—сказалъ Лотъё.

— Надо знать Парижъ, а онъ не знаетъ,—замѣтилъ Жофруа.

— Ну, да видно будетъ! Когда я одѣну мою бѣдную жену и напьюсь кофе, я приду за этимъ молодымъ человѣкомъ.

Когда Трипъ вернулся, Жофруа далъ ему два золотыхъ, но старикъ возвратилъ ему одинъ.

— Слишкомъ много,—сказалъ онъ,—одного достаточно: двѣ рубашки по три съ половиной франка—семь франковъ; двѣ пары чулокъ по тридцати су, три франка; шесть платковъ по десяти су—три франка,—всего тринадцать франковъ.

И онъ мигнулъ глазомъ, какъ бы говоря, что не стоить дѣлать глупостей изъ-за мальчишки, котораго никто не знаетъ; счастье, что его ведутъ въ магазинъ, а не къ комиссару, какъ онъ того заслуживаетъ. Но когда они вернулись съ покупками, настроеніе Трипа, повидимому, измѣнилось и изъ враждебнаго, какимъ оно было сначала, перешло въ доброжелательное.

— Молодой человѣкъ разсказалъ мнѣ свою исторію,—сказалъ онъ.—Онъ, правда, славный мальчикъ и много испыталъ, больше, чѣмъ слѣдовало. Я думаю, что съ него достаточно. А также я думаю, что его не слѣдуетъ помѣщать въ редакцію.

— У васъ другіе планы?—спросилъ Жофруа.

— Вотъ мои планы: хотя моя бѣдная старуха очень плоха, она, все-таки, работаетъ въ постели. Она придѣлываетъ обертки къ тетрадоцкамъ папирозной бумаги. Это не трудно, такъ какъ она даже въ силахъ дѣлать, и, конечно, молодой человѣкъ сейчасъ же пойметъ: надо завязать узелъ на резинкѣ, просверлить дырку, отрѣзать иголку и налѣпить картинку.

Эти объясненія относились къ Лотъё, но Трипъ обратился къ Жофруа:

— А какія хорошенькія картинки! Онъ, навѣрное, понравились бы вамъ, сударь, какъ художнику: «Клятва въ залѣ Jeu de Paume»,

«Марія-Антуанета на эшафотѣ», «Последніе заряды». Весь расходъ состоитъ въ покупкѣ картофельной камеди, стоящей франкъ фунтъ, а фунта хватитъ надолго. Конечно, при этой работѣ не получишь большихъ денегъ; она оплачивается франкъ тысяча и мая старуха не можетъ слѣдять болѣе семи, восьми сотъ въ день; но она стара, разбита параличемъ и лежитъ въ постели. Молодой, здоровый и не лѣнтяй можетъ дойти до трехъ тысячъ въ тринадцать или четырнадцать часовъ; а три тысячи составляютъ три франка, не считая того, что не треплются башмаки; нечего бояться ни холода, ни снѣга, — это чисто и здорово. Если это нравится молодому человѣку, онъ можетъ начать хоть сейчасъ.

— Такъ какъ же? — спросилъ Жофруа.

— О, я не нахожу словъ благодарности...

— Не за что благодарить, — продолжалъ Трипъ. — Моя старуха будетъ рада, что ей будетъ съ кѣмъ поболтать. Если ноги не ходятъ, то языкъ двигается.

— А квартира?

— Вотъ тутъ напротивъ есть сторожка; хозяинъ охотно сдать бы ее за восемь франковъ въ мѣсяцъ. Если взять на прокатъ кровать и еще нѣкоторые предметы, то все будетъ стоить не дороже двѣнадцати, пятнадцати франковъ въ мѣсяцъ. Бсть же, если молодой человѣкъ не прихотливъ, можетъ съ нами; это будетъ дешевле, чѣмъ въ трактирѣ.

VI.

Когда Жофруа, кончивъ въ три часа работать, проходилъ мимо сторожки привратника, онъ остановился и постучалъ въ дверь.

— Какъ дѣла? — спросилъ онъ.

Трипъ отворилъ дверь.

— Молодой человѣкъ принялся сейчасъ за дѣло; онъ уже получилъ свою тысячу. Дѣло пойдетъ!

Юноша, выйдя изъ другой комнаты, гдѣ онъ занимался подъ руководствомъ параличной старухи, подтвердилъ эти слова:

— Это очень легко, — сказалъ онъ.

— У него золотыя руны, — прибавилъ Трипъ съ удивленіемъ.

Работа кипитъ въ его рукахъ.

На другой день, пока Жофруа принимался за работу, Трипъ, доканчивавшій уборку мастерской, возобновилъ свои похвалы молодому человѣку.

— Онъ положительно хорошій мальчикъ, — говорилъ онъ, —

не надо других доказательствъ, если послушать, какъ онъ говорить объ васъ: онъ понимаетъ, чѣмъ обязанъ вамъ, и сознаетъ, что вы спасли ему жизнь.

— Это было вполне естественно.

— Естественно было бы, если бы вы, какъ только онъ вошелъ, схватили его за шиворотъ и передали полицейскимъ. Въ счастію, вы человекъ покойный и имѣли возможность принять его за то, что онъ есть на самомъ дѣлѣ. Знаете, какой сюрпризъ онъ приготовилъ мнѣ сегодня утромъ? Когда я вернулся изъ своего ночного обхода, комната моей бѣдной старухи оказалось прибраною и такою чистой, какою она никогда не была, огонь былъ зажженъ и кофе сваренъ. Подумайте, какъ мнѣ это было приятно, — мнѣ, которому послѣ девяти часовъ ходьбы предстояла вся эта возня: мнѣ оставалось только сѣсть и кушать, какъ какому-нибудь буржуа, вернувшемуся въ свой домъ, гдѣ ведется примѣрное хозяйство: женщина не могла бы быть внимательнѣе этого «мальчугана».

Жофруа почти ежедневно слышалъ похвалы мальчугану.

— Опрятенъ, какъ дѣвушка, — говорилъ Трипъ, — честная дѣвушка, разумѣется. Онъ такъ ухаживаетъ за моею бѣдною старухой, такъ добръ къ ней, что она полюбила его, какъ собственнаго ребенка. При недостаткѣ свободнаго времени и необходимости отнимать у дня нѣсколько часовъ для сна, чтобы не упасть отъ усталости, я долженъ былъ многимъ пренебрегать; теперь все прибрано и вычищено въ нашей коморѣ, точно у насъ слуги. И все это онъ успѣваетъ дѣлать, не теряя даромъ ни одной минуты: я думалъ, что больше трехъ тысячъ тетрадокъ нельзя сдѣлать, а онъ успѣваетъ три тысячи пятьсотъ.

Жофруа рѣдко видѣлъ мальчика; если Лотье не прятался, то онъ и не искалъ случая встрѣчаться.

Но какъ-то утромъ онъ съ смущеннымъ видомъ вошелъ въ мастерскую.

— Я не мѣшаю вамъ, г. Жофруа? — робко спросилъ Лотье.

— Нисколько, и я даже очень радъ васъ видѣть. Трипъ часто говорить мнѣ объ васъ, о томъ, какъ онъ тронутъ вашимъ вниманіемъ и заботами о его больной женѣ...

— Я дѣлаю то, что могу; они такъ добры ко мнѣ.

— А вы... какъ нравится вамъ эта новая жизнь?

— Я былъ бы неблагодарнымъ или безумцемъ, если бы не былъ счастливъ: здѣсь покой, безопасность, я зарабатываю болѣе, чѣмъ мнѣ нужно; въ сравненіи съ адомъ, который я пережилъ, это рай.

Потомъ, точно торопясь поскорѣе сказать то, что его стѣсняло, онъ прибавилъ:

— И именно этотъ заработокъ, который мнѣ удалось отложить за мѣсяць, привелъ меня къ вамъ.

И онъ послѣдно положилъ на столъ завернутый въ бумагу сверточекъ, издавшій металлическій звукъ.

— Что это такое?—спросилъ Жофруа.

— Это деньги, которыя вы давали мнѣ займы на покупку бѣлья.

— Вы непременно хотите отдать мнѣ эти деньги?

— Да, г. Жофруа, если вы позволите.

— Мнѣ было бы пріятно подарить вамъ эти нѣсколько вещей.

— Повѣрьте, г. Жофруа, а отдаю вамъ эти деньги не для того, чтобы имѣть возможность сказать, что я вамъ больше ничего не долженъ. Всю свою жизнь я буду считать себя въ долгу передъ вами за то, что вы сдѣлали для меня, но я хотѣлъ бы, чтобы деньги не примѣшивались къ моей благодарности.

— Пусть будетъ по-вашему, но на одномъ условіи: если вы когда-нибудь будете въ стѣсненныхъ обстоятельствахъ, вы прямо обратитесь ко мнѣ. Нельзя никогда быть увѣреннымъ въ завтрашнемъ днѣ; если вамъ будетъ плохо, помните, что у васъ есть другъ, на котораго вы можете рассчитывать.

Говоря о неизвѣстности завтрашняго дня, Жофруа напроорочилъ несчаствіе: черезъ нѣсколько дней послѣ этого разговора Триць объявилъ ему, что, вслѣдствіе измѣненій въ коммерческихъ договорахъ, фабрика папирсной бумаги, торгующая на вывозъ, вынуждена была остановить фабрикацію.

— Что будете вы дѣлать?

— Старуха примется опять за стеклярусъ; но меня беспокоитъ мальчикъ: стеклярусъ—дѣло не мужское. Я постараюсь помѣстить его въ редакцію, но только нелегко ему будетъ: ночная ходьба хороша такому старому кашею, какъ я, созданному для усталости, но въ его годы это тяжело; я знаю, что онъ крѣпокъ, такъ какъ выдержалъ голодь и холодъ, но, все-таки, я бы хотѣлъ для него что-нибудь другое.

— Но что?

— Я не знаю.

— Ищите вы съ своей стороны, я буду съ своей.

— А пока?

Жофруа подумалъ минуту.

— Когда кончится ваша работа?

— Она не кончится, а ужь кончилась.

— Ну, такъ пришлите мнѣ Лотъё; пока мы подыщемъ ему что-нибудь, я надѣюсь дать ему занятіе и заработокъ.

Лотъё не замедлилъ явиться.

— Мнѣ нуженъ натурщикъ, — сказалъ Жофруа, — хотите имъ быть? Я только что хотѣлъ искать кого-нибудь, когда Трипъ сообщилъ мнѣ о случившемся: Пока мы не найдемъ вамъ чего-нибудь определеннаго, это, все-таки, двѣ обезпеченныя недѣли.

Лотъё смутился, покраснѣлъ, поблѣднѣлъ и стоялъ съ опущенными глазами, ничего не отвѣчая. Жофруа смотрѣлъ на него съ изумленіемъ: отчего такое простое предложеніе могло смутить его?

— Бойтесь вы, что скучно будетъ позировать? — спросилъ онъ.

— Нѣтъ, г. Жофруа. Я боюсь только, съумѣю ли я позировать такъ, чтобы быть вамъ полезнымъ.

— Не беспокойтесь объ этомъ; это мое дѣло.

— Хотя я никогда не служилъ ни для кого натурщикомъ, я знаю, что надо сохранять одну позу, и я боюсь, что не въ силахъ буду сдѣлать это.

— Если только это, то не беспокойтесь.

— Во время класса рисованія у насъ были иногда живыя модели и происходили вѣчныя недовольства.

— Я никогда не сержусь, къ тому же, я позволяю сохранять не все время позу.

Лотъё испуганно обвелъ глазами комнату, точно ища какого-нибудь указанія, которое открыло бы ему, какую позу ему придется принять.

— Мнѣ нуженъ этюдъ головки для агварели, — продолжалъ Жофруа. — Позднѣе, мы попробуемъ бюстъ.

Лотъё, повидимому, успокоился.

— Когда вы желаете начать? — спросилъ онъ.

— Сейчас. У насъ еще два или три свѣтлыхъ часа.

Пока Жофруа приготовлялся работать, Лотъё гладилъ Дьявола, выгнувшаго спину и выпрямившаго хвостъ; за этотъ мѣсяцъ они такъ сдружились, что Дьявола большую часть дня пропадалъ въ сторожкѣ Трипа, гдѣ игралъ съ новымъ товарищемъ или спалъ на его колѣняхъ.

— Какъ долженъ я позировать? — спросилъ Лотъё.

— Какъ хотите, возьмите позу самую естественную и самую удобную, стоя, сидя, — мнѣ все равно.

Лотъё стоялъ около постамента для бюстовъ; онъ облокотился на него и повернулъ голову въ сторону Жофруа, смотря на Писто-

на, усѣвшагося наверху мастерской и старавшагося разными штуками обратить на себя вниманіе.

— Хотите такъ?

— Очень хорошо.

И Жофруа началъ работать серьезно, отрываясь отъ работы лишь для того, чтобы взглядывать на Лотье. Онъ собственно въ первый разъ смотрѣлъ на него: онъ привыкъ къ блѣлокурому, розовому мальчику съ голубыми глазами, непохожему на парижанина, и никогда не обращалъ на него вниманія. Блѣлокурый, розовый, голубые глаза, — все это какъ разъ соответствовало задуманному имъ типу, и поэтому — то ему пришла въ голову мысль написать съ него этюдъ, который годится потомъ для эмали. Разсматривая его теперь взглядомъ художника, проникающимъ внутрь, чтобы хорошенько понять и воссоздать, онъ былъ пораженъ нѣкоторыми характеристичными чертами, удивлявшими его.

За этотъ мѣсяць, который Лотье провелъ за работой въ закрытомъ помѣщеніи, пятна отъ загара и мороза, испортившія лицо во время бѣдствія, исчезли и цвѣтъ лица его приобрѣлъ бѣлизну и нѣжность, которой могла бы позавидовать женщина. Растерянное и отчаянное выраженіе его взгляда смягчилось, и въ его глубокихъ, ясныхъ голубыхъ глазахъ выражались покой и непорочность, поразительно напоминавшіе выраженіе извѣстныхъ головокъ Мемлинга; его такъ поразило это, что онъ высказалъ вслухъ.

— Знаете вы Мемлинга? — спросилъ онъ.

— Брюгскаго художника?

— Да, я вижу, что вамъ извѣстно, по крайней мѣрѣ, его имя.

— Я читалъ, что онъ, несчастный и больной, постучалъ въ зимнюю ночь въ двери одного монастыря, куда его приняли, и чтобы заплатить свой долгъ, онъ нарисовалъ картины, которыми пріѣзжаютъ любоваться въ этотъ монастырь.

Жофруа удивленно взглянулъ на него.

— Вы не обманули меня, — замѣтилъ онъ, улыбаясь, — сказавъ, что по исторіи вы знаете болѣе, чѣмъ обыкновенно учатъ въ школахъ. Я не зналъ этого факта въ жизни Мемлинга. Говоря о брюгскомъ художникѣ, я хотѣлъ замѣтить, что нахожу между вами и лицами на его картинахъ въ больницѣ св. Іоанна нѣкоторое сродство.

Лотье покраснѣлъ.

— Брюгге не далеко отъ Дюнкирхена, — сказалъ онъ, — и это сродство, можетъ быть, объясняется просто фламандскимъ характеромъ.

— Но Мемлингъ изображалъ рѣдкій теперь фламандскій типъ: я объѣхалъ всю Фландрію и не встрѣтилъ въ такихъ золотистыхъ волосъ, такого нѣжнаго румянца и бѣлизны, такого яснаго взгляда, какими отличаются лица Мелисинга, также какъ и ваше.

На этотъ разъ румянецъ сбѣжалъ съ лица Лотье; онъ поблѣднѣлъ точно отъ сильнаго волненія.

«Какая странная натура!» — подумалъ Жофруа, замолчавъ и продолжая уже про себя замѣчанія, которые онъ дѣлалъ, рассматривая свою модель.

Сеансъ съ небольшими перерывами для отдыха продолжался до вечера.

— Мы возобновимъ завтра утромъ, — сказалъ Жофруа, — но такъ какъ я не знаю, когда мнѣ можно будетъ придти, то я прошу васъ быть здѣсь съ утра. Если я запоздаю, вы почитаете до моего прихода, проведете время, какъ хотите. Дьяволо и Пистонъ не будутъ огорчены, если я запоздаю.

Придя на другой день около десяти часовъ, Жофруа засталъ Лотье рисующимъ карандашомъ Дьяволо, важно растянувшася на столѣ съ сознаниемъ собственнаго достоинства. Поглощенный работою, Лотье не слышалъ шаговъ; увидѣвъ Жофруа, онъ хотѣлъ спрятать рисунокъ, но было уже поздно.

— Вы рисуете? — спросилъ Жофруа.

— Я шалилъ на ненужномъ клочкѣ бумаги.

— Покажите мнѣ.

— О, господинъ Жофруа! — пробормоталъ Лотье въ смущеніи.

— Вы боитесь развѣ меня?

Эта фраза заставила его рѣшиться; онъ протянулъ листъ бумаги.

— Да это хорошо, очень хорошо! — воскликнулъ Жофруа съ удивленіемъ. — Относительно рисованія вы обманули меня не болѣе, чѣмъ относительно исторіи.

Жофруа опустился на стулъ, на которомъ сидѣлъ Лотье передъ Дьяволо, не измѣнившимъ позы, и сравнилъ рисунокъ съ моделью.

— Вѣрный взглядъ, хорошо и точно передано. Сколько времени вы употребили на это?

— Около часа.

— Вы много рисовали съ натуры?

— Да, много; дома больше, чѣмъ въ школѣ. Я рисовалъ все, что видѣлъ. Это забавляло меня.

— А что говорилъ вамъ учитель, когда вы показывали ему рисунки?

— Что изъ меня можетъ что-нибудь выйти.

— Что?

— Этого никогда не опредѣляль; работайте, — говорилъ онъ, — и я работаль, не спрашивая ни о чемъ больше.

— Но у васъ же былъ планъ?

— Былъ и даже нѣсколькѣ, т.-е. смутныя надежды, мечты; но такъ какъ я не могъ осуществить ихъ въ Дюнкирхенѣ, то я прогоняль ихъ. Я никогда не разстался бы съ бѣднымъ папой, а онъ никогда не отказался бы отъ моря.

— Примите, пожалуйста, позу, — сказалъ Жофруа.

Во время работы мысли Жофруа были, повидимому, далеки отъ того, что онъ дѣлалъ; онъ не произнесъ ни слова.

Когда настало время отдыха, онъ сказалъ Лотьѣ, что если онъ хочетъ продолжать свой рисунокъ, онъ можетъ съ четверть часа заняться имъ. Но всѣ поиски за Дьяволо были тщетны.

— Такъ какъ Дьяволо нѣтъ, — замѣтилъ Жофруа, — возьмите Пистона; онъ будетъ очень доволенъ позировать.

Въ то время, какъ Дьяволо дѣлалъ видъ, что онъ не замѣчаетъ, что имъ занимаются, Пистонъ былъ счастливъ лишь тѣмъ, что на него смотрѣли, съ нимъ разговаривали или хвалили его. Въсто того, чтобы, подобно Дьяволо, изображать равнодушiе и важность, онъ всячески старался обратить на себя вниманiе, и какъ только Жофруа или Трипъ входили въ мастерскую, онъ садился передъ ними, вытягивался на ножкахъ, наклонялъ голову и успокоивался только тогда, когда ему отвѣчали поклономъ.

При первомъ же зовѣ Лотьѣ раздавался радостный крикъ, и, вытянувшись на ножкахъ и нахохливъ перья, Пистонъ началъ одну арию изъ своего репертуара. Чтобы заставить его спокойно сидѣть, Лотьѣ надо было только отъ времени до времени обращаться къ нему съ рѣчью, и онъ, охорашиваясь, начиналъ новую пѣсню.

— Никогда у Пистона не было такого праздника, — засмѣялся Жофруа.

У Лотьѣ тоже былъ праздникъ: положивъ картонъ на колѣни, онъ рисоваль, не теряя ни секунды, съ лицомъ, освѣщеннымъ счастливею улыбкой, говорящею о томъ, какъ много удовольствiя доставляетъ ему эта работа. Жофруа, наблюдая за нимъ, не ошибался относительно этой улыбки.

— Продолжайте, — сказалъ онъ, когда кончилось время отдыха, — мнѣ надо обдечь одну доску. Мы будемъ рисовать позднѣе, а пока можете кончать вашъ рисунокъ.

Но въ этотъ день въ трубѣ не было тяги и когось долго не раз-

горался. Лотъё нарисовалъ довольно много, о Пастояхъ Жофруа сказалъ то же, что о Дьяволо:

— Очень хорошо, отлично. — Потому, быстро мѣняя разговоръ, онъ спросилъ: — Вы рѣшились раздобыть гаветы, если Трипу удастся васъ помѣстить?

— Какъ же иначе? Я согласенъ на все, лишь бы не впасть въ прежнюю нищету.

— Вамъ бы лучше хотѣлось рисовать, не правда ли?

— Не мнѣ разсуждать о томъ, чего бы хотѣлось, чего нѣтъ!

— Но если бы вы могли зарабатывать хлѣбъ рисованьемъ, были бы вы довольны?

— Это было бы болѣе, чѣмъ я могу надѣяться.

— Я не обещаю, что это удастся, но постараюсь устроить; къ счастью, у насъ время есть, такъ какъ вы нужны еще мнѣ. Вашу позу, пожалуйста.

Только когда печка достаточно накалилась, Жофруа прервалъ свою акварель, но Лотъё не принялся за рисованіе. У него уже давно явилось желаніе узнать, что такое эмаль; въ ту самую ночь, когда онъ вошелъ въ мастерскую и, при лунномъ свѣтѣ, увидѣлъ нечи съ навѣсами, онъ спросилъ себя, у кого онъ находится? Съ тѣхъ поръ разговоры Трипа съ женой о работахъ ихъ жилища увеличили его любопытство, удовлетворить которое ему ни разу не удалось: онъ хотѣлъ воспользоваться представляющимся теперь случаемъ.

— Вы позволите мнѣ смотрѣть? — спросилъ онъ, преодолевая свою робость.

— Охотно. Вы знаете, что такое эмаль?

— Кажется.

— Что же?

— Не есть ли это плавкое вещество, которымъ рисуютъ по металлу и облигаютъ на огнѣ, гдѣ оно плавится, чтобы сдѣлать его нестираемымъ?

— Вѣрно. Что знаете вы объ эмали?

— Ничего, развѣ только то, что были знаменитые эмальировщики въ Лиможѣ.

— Это уже кое-что! И я знаю многихъ свѣтскихъ людей, т. е. людей, получившихъ такъ называемое высшее образованіе, которые не знаютъ даже этого и умерли бы отъ напряженія, прежде чѣмъ придумали бы опредѣленіе, соответствующее вѣшему. Именно эмаль, вродѣ первыхъ лиможскихъ художниковъ, я хочу сейчасъ обжигать; это проба, такъ какъ я обыкновенно рисую не это.

Онъ открылъ ящикъ и вынулъ оттуда мѣдную дощечку, форматомъ въ четверть листа, съ рисункомъ свѣтлою и темною красками, изображающимъ библейскую сцену.

— На этой мѣдной дощечкѣ, — сказалъ онъ, показывая ее Лотью, — прежде всего, положили слой черной эмали, которую, пропустивъ сквозь огонь, сдѣлала вестираскою; этотъ фонъ я покрылъ бѣлою эмалью, сдѣлавшеюся сѣрой отъ проевѣчивающаго чернаго цвѣта; затѣмъ я нарисовалъ сцену, которую хотѣлъ изобразить, выскабливая тѣ части, которыя должны быть темными, и открывая, такимъ образомъ, черную эмаль. Эта дощечка обжигалась нѣсколько разъ и теперь ее надо обжечь въ послѣдній, чтобы припаять къ предыдущимъ слоямъ эти свѣтлыя мѣста золота, которыя, какъ вы видите, держатся только на адрагантовой камеди.

Онъ открылъ печь, раскаленную до бѣла; красный свѣтъ наполнилъ темные углы мастерской и Лотью, подошедшій посмотреть поближе, отскочилъ съ обожженнымъ лицомъ. Жофруа снялъ вислиця на стѣнѣ очки съ тонкою металлическою сѣткой и надѣлъ на носъ; затѣмъ, взявъ длинными щипцами дощечку, всунулъ ее въ печь такъ, чтобы жаръ падалъ на нее какъ съ нижней печи, такъ и съ верхней.

Лотью, стоявшій на нѣкоторомъ разстоянн, видѣлъ, какъ дощечка мѣняла цвѣта и постепенно принимала различные оттѣнки. Черезъ нѣсколько минутъ Жофруа вынулъ ее.

— Пусть остынетъ; сейчасъ увидимъ, удалась ли она.

По улыбкѣ, освѣтившей лицо Жофруа, когда онъ черезъ нѣсколько минутъ взглянулъ на нее, Лотью понялъ, что она вполне удалась.

— Знаете, о чемъ я думалъ сейчасъ? — сказалъ Жофруа. — Видя, съ какою любознательностью вы слѣдите за мной, я думалъ, что, можетъ быть, эмаль можетъ дать вамъ тотъ заработокъ, который мы ищемъ; и даже больше.

— Вы думаете...

— Нѣтъ, я не думаю о художественной эмали, т. е. объ одноцвѣтной, какъ эта, или цвѣтной, какъ я рисую; чтобы достигнуть болѣе или менѣе удовлетворительныхъ результатовъ, надо долго учиться, а у васъ нѣтъ времени; въ настоящую минуту, по крайней мѣрѣ, и, кромѣ того, есть другое соображеніе, рѣшительное для васъ: это то, что художественная эмаль не обезпечиваетъ занимающихся ею. Если находятся любители, платящіе двадцать, пятьдесятъ, сто тысячъ франковъ за древнюю или выдаваемую за такую эмаль, то мало встрѣчается такихъ, которые соглашаются

заплатить нѣсколько сотъ франковъ за современную эмаль, какъ бы замѣчательна она ни была, и это будетъ такъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока критика, вмѣсто того, чтобы просвѣщать публику, будетъ гоняться за модой, записывая только ея капризы. Но рядомъ съ художественною эмалью есть эмаль промышленная, принимаемая къ драгоцѣннымъ вещамъ изъ металловъ: браслетамъ, брошкамъ, пуговицамъ, пряжкамъ, къ этимъ безчисленнымъ парижскимъ бездѣлушкамъ, и она-то, не требуя такихъ серьезныхъ занятій, можетъ дать заработокъ. Что вы скажете?

— Я не нахожу словъ благодарности.

— Проще всего было бы, если бы вы находились въ другихъ условіяхъ, поступить на обученіе къ эмальеровщику; но такъ какъ вы именно въ такихъ условіяхъ, что не можете отдавать всего времени, не зарабатывая ничего, то для васъ это не подходяще и учиться вы должны здѣсь, подъ моимъ наблюденіемъ и на этихъ печахъ, которыя въ вашемъ распоряженіи. Въ тѣ часы, когда вы не будете для меня моделью, вы будете работать, и, рисуя гораздо лучше большинства занимающагося промышленною жизнью, я увѣренъ, вы сдѣлаете быстрые успѣхи. Когда я учился этому искусству, я имѣлъ сношенія съ многими эмальеровщиками, чтобы изучить ихъ пріемы... Я повидаюсь съ ними и они мнѣ укажутъ, какъ скорѣе достигнуть, чтобы вы зарабатывали себѣ пропитаніе; если, достигнувъ этого, ваше честолюбіе будетъ выше, вы сами увидите, возможно ли будетъ осуществить его, во всякомъ случаѣ, у васъ въ рукахъ будетъ ремесло, что самое главное.

— Я общаюсь вамъ всю жизнь. Помните, кому я этимъ обязанъ!

Въ слѣдующій же отдыхъ Лотьё взялъ свой первый урокъ; дрожащею рукой обмакнувъ онъ въ лавендную эссенцію, замѣняющую скинидаръ эмальеровщикамъ, тоненькую висточку, которою долженъ былъ начать свой рисунокъ по маленькой дощечкѣ, покрытой составомъ эмали. Съ какою гордостью надѣлъ онъ на носъ очки съ сѣткой! Съ какимъ страхомъ протянулъ дощечку въ огонь! Что-то выйдетъ? Въ первый разъ она покорибилась, во второй эмаль вздулась. «Но это неизбѣжныя неудачи, — сказалъ Жофруа, — избавиться отъ которыхъ научить время».

На слѣдующій день Жофруа не пришелъ и Лотьё могъ цѣлый день посвятить работѣ, повторяя одинъ смѣлъ, чѣмъ при учитель, первый полученный урокъ. Во весь день онъ ни минуты не отдыхалъ, только пообедалъ на ходу. Когда въ полночь Тригъ проснулся, чтобы идти въ редакцію, онъ увидѣлъ среди тьмы ночной мас-

терскую, озаренную красноватымъ свѣтомъ, разливающимся изъ открытой двери печи. «Что тамъ случилось? Не поджегъ ли мальчикъ мастерскую?» Онъ прибѣжалъ и увидѣлъ Лотьё съ неладнымъ лицомъ за работой. «Пора спать ложиться», — произнесъ онъ покровительственно. — «Сейчасъ; мнѣ осталось только нѣсколько минутъ!» Эти нѣсколько минутъ продолжались до трехъ часовъ, тогда только онъ легъ, но, вмѣсто того, чтобы идти домой, растянулся на диванъ; скорѣе отъ сознанія необходимости, чѣмъ отъ усталости, которой онъ не сознавалъ. Никогда въ жизни онъ не чувствовалъ себя такимъ бодрымъ, полнымъ вѣры и силъ. Возбужденный работою, разгоряченный печкою, обжегшей ему лицо и руки, онъ долго не могъ заснуть. Ему ежеминутно вспоминались слова Жофруа: «Если ваше честолюбіе выше, чѣмъ зарабатываніе хлѣба насущнаго, вы увидите, возможно ли будетъ осуществить его!» — и онъ не могъ отдѣлаться отъ этой мысли. Давно проснулось въ немъ это честолюбіе, въ тотъ день еще, когда его дюнкирхенскій учитель сказалъ, что изъ него можетъ что-нибудь выйти. Если до этой минуты онъ подавлялъ его, то только потому, что начать осуществленіе своей мечты онъ могъ только разставшись съ отцомъ, чтобы переселиться въ Парижъ. Теперь онъ здѣсь, въ Парижѣ, и никогда, конечно, не вернется въ Дюнкирхенъ. Такъ почему бы и нѣтъ? Почему этотъ новый учитель не продолжитъ того, что началъ первый, почему?...

Долго спустя послѣ того, какъ онъ легъ на диванъ, Лотьё удалось заснуть и во снѣ ему грезилось, что подобно Мемлингу, заплатившему своими картинами свой долгъ благодарности брюгской больницѣ, онъ покрывалъ стѣны этой мастерской громадными декоративными эмальми, любоваться которыми прѣзжали изъ всѣхъ странъ въ улицу Шампюнетъ.

VIII.

Уроки шли, чередуясь съ сеансами позированія, дававшими Лотьё необходимое для существованія.

— Будьте терпѣливы, — говорилъ Жофруа, — я помню о васъ, но то, чего бы мнѣ хотѣлось, трудно найти; во всякомъ случаѣ, въ этомъ ожиданіи хорошо то, что вы можете работать и набивать себѣ руку.

— Увѣряю васъ, что я не теряю терпѣнія; меня беспокоитъ только, что вы столько хлопочете изъ-за меня.

— Меня забавляетъ имѣть ученика.

Эта фраза, хотя и искренняя, не была вродѣ справедлива: занятія съ Лотье болѣе, чѣмъ забавляли его. Жалость, которую онъ сразу почувствовалъ къ бѣдному мальчику, быстро обратилась въ симпатію, и когда Жофруа увидѣлъ, что онъ такъ охотно и усердно работаетъ, такъ жаждетъ учиться; когда, вмѣсто мальчика, не знающаго никакого ремесла и лишеннаго умственнаго развитія, какому долженъ былъ быть этотъ несчастный, онъ встрѣтилъ свѣтлый умъ съ расширеннымъ образованіемъ крогозоромъ, въ соединеніи съ честнымъ, прямымъ характеромъ, его симпатія перешла въ чувство дружескаго участія.

Съ другой стороны, интересъ первыхъ сеансовъ еще не пропалъ и чѣмъ болѣе онъ смотрѣлъ на мальчика, тѣмъ болѣе находилъ его страннымъ и невольно думалъ о немъ. Все въ немъ было странно: его манера бѣгать, когда онъ игралъ съ Пистономъ, манера становиться на колѣни, когда онъ ласкалъ Дьявола, растянувшася на ковръ, нѣжная свѣжесть его лица и доброта его голубыхъ глазъ, какъ будто бы не согласовавшаяся съ выказанною во время бѣдствія рѣшительностью.

Но эти странности и противорѣчія не мѣшали Жофруа съ каждымъ днемъ все болѣе привязываться къ этому мальчику. Когда остановилось производство папиресной бумаги, Жофруа допустилъ, что Лотье сдѣлается разнощикомъ газетъ—средство такъ или иначе заработать хлѣбъ. Разсмотрѣвъ же его въ мастерской, онъ рѣшилъ, что этотъ трудъ будетъ слишкомъ тяжелъ для не особенно крѣпкаго мальчика; и у него явилась мысль сдѣлать изъ Лотье работника амальровщика. Но, увидѣвъ, послѣ рисунковъ съ Дьяволомъ и Пистона, и особенно послѣ первыхъ опытовъ съ амалью, какою ловкостью обладаютъ его руки и какимъ быстрымъ соображеніемъ одаренъ этотъ мальчикъ, Жофруа захотѣлъ для него большаго. Пусть онъ будетъ сначала работникомъ, это необходимо и даже представляеть выгоды, но надо, чтобы работникъ занимался своимъ ремесломъ при такихъ условіяхъ, чтобы не погибъ въ немъ артистъ, если въ немъ, действительно, былъ артистъ.

Подобныя требованія сдѣлали его поиски очень трудными, и такъ какъ они усложнились еще препятствіями—нежеланіемъ, отказомъ со стороны матроновъ, для которыхъ Лотье могъ бы работать, то времени прошло довольно много.

Наконецъ, какъ-то утромъ Жофруа съ довольнымъ видомъ вошелъ въ мастерскую, гдѣ уже давно работалъ Лотье.

— Наконецъ-то ваше дѣло выгорѣло и, мнѣ кажется, мы имѣемъ все, чего могли бы желать; вы будете порядочно получать, а,

между тѣмъ, ваше время не будетъ съ начала до конца года поглощено всегда однимъ и тѣмъ же дѣломъ, которое, въ концѣ-концовъ, дѣлаетъ изъ работника машину.

— Какое дѣло?—спросилъ Лотье съ любопытствомъ.

— Кресты «Почетнаго легіона» и иностранные ордена. Эти кресты состоятъ по большей части изъ двухъ чеканенныхъ изъ серебра пластинокъ, положенныхъ крестъ на крестъ и эмальированныхъ; работа эмальировщика заключается въ томъ, чтобы наполнить углубленія и обжечь ихъ на очень жаркомъ огнѣ, чтобы окисъ серебра не желтила бѣлой эмали. Съ вашею ловкостью рубль вы въ четыре дня выучитесь въ совершенствѣ этому ремеслу и легко можете дѣлать въ день пятнадцать крестовъ. Такъ какъ ордена съ короной оплачиваются по семидесяти пяти сантимовъ, то вы можете получать въ день пятнадцать франковъ.

— Пятнадцать франковъ!—воскликнулъ Лотье въ восторгѣ.

— И даже больше, когда получите иностранные ордена, оплачивающіеся еще дороже. Но пятнадцать франковъ въ день не значить каждый день. Передъ четырнадцатымъ іюля, передъ первымъ января продавцы орденовъ даютъ заказы, затѣмъ слѣдуетъ перерывъ работы на нѣсколько мѣсяцевъ. Надо будетъ изъ пятнадцати зарабатываемыхъ франковъ дѣлать сбереженія, чтобы жить на нихъ въ то время, когда только изрѣдка вамъ будутъ давать иностранные ордена. Но эти перерывы будутъ хороши тѣмъ, что позволятъ вамъ работать для себя... чего я и искалъ.

Лотье хотѣлъ его поблагодарить, но онъ прервалъ:

— А теперь становитесь въ позу; черезъ четыре дня вамъ дадутъ ваши первые ордена и у меня какъ разъ остается время для раздуманнаго мною этюда.

Лотье направился къ постаменту.

— Какъ?—спросилъ онъ.

— Стоя, корпусъ прямо, голову въ три четверти, расстегните вашу курточку и жилетку.

Лотье выказалъ смущеніе, не ускользнувшее отъ Жофруа.

— Если вы боитесь холода,—замѣтилъ онъ,—затопите печь.

Лотье исполнилъ приказаніе необыкновенно медленно; всегда живой и предупредительный, онъ точно хотѣлъ протянуть время.

— Готово?—спросилъ Жофруа.

— Да, г. Жофруа!

Расстегнувъ курточку и жилетку, онъ неловко облокотился на постаментъ, смущенно опустивъ глаза.

— Поднимите глаза, — сказал Жофруа, — смотрите прямо вперед и повернитесь грудью ко мнѣ; теперь выпрямитесь.

Все это было исполнено такъ неохотно, что Жофруа недоумѣвалъ, что съ нимъ такое; не могъ же онъ быть недовольнымъ тѣмъ, что сейчасъ узналъ?

— Развяжите галстукъ.

Лотьё исполнилъ приказаніе только послѣ минутнаго колебанія.

— Разстегните рубашку и откройте вѣроть.

Послѣ новаго колебанія онъ разстегнулъ рубашку, но не открылъ вѣрота, какъ этого требовали, а, напротивъ, поправилъ такъ, точно хотѣлъ помѣшать ему распахнуться.

— Мнѣ надо видѣть начало шеи, — сказалъ Жофруа.

Лотьё не шевельнулся; тогда, выведенный изъ терпѣнія, Жофруа всталъ и подошелъ къ нему.

— Вотъ такъ! — сказалъ онъ, взявъ голову обѣими руками, чтобы придать ей нужную позу.

Тогда онъ замѣтилъ, что Лотьё дрожить и, взглянувъ на него, увидѣлъ, что онъ былъ блѣденъ, а губы побѣлѣли. Думая, что онъ испугалъ его своимъ рѣзкимъ движеніемъ, онъ хотѣлъ его успокоить и тихонько, деликатно, кончикомъ пальцевъ открылъ рубашку, откинувъ ее на обѣ стороны на плечи.

Но онъ неожиданно отскочилъ назадъ въ тотъ самый моментъ, какъ Лотьё испустилъ глухой крикъ и закрылъ лицо обѣими руками.

— Простите ли вы мнѣ когда-нибудь? — прошепталъ онъ.

Послѣдовала минута молчанія, потомъ Жофруа направился изъ мастерской въ кухню и въ дверяхъ произнесъ:

— Одѣньтесь!

Когда онъ вернулся, Лотьё, уже одѣтый, стоялъ около выходной двери.

— Куда вы? — спросилъ Жофруа.

— Не долженъ ли я уйти отсюда? — отвѣтилъ Лотьё, не обращивъ низко опущенной головы.

— Отчего уйти?

— Я обманулъ васъ.

— Есть основанія этого обмана?

— Если бы вы знали...

— Подумайте, не долженъ ли я узнать?

Лотьё стоялъ, обернувшись къ нему спиной и держась за ручку двери. Жофруа сжался надъ его смущеніемъ, происшедшимъ, очевидно, не единственно отъ открытія его обмана.

— Подите, сядьте здѣсь, — сказалъ онъ. — Если вы можете съ кѣмъ-нибудь говорить откровенно, то неужели вы не чувствуете, что это со мною?

— Я бы давно признался вамъ, если бы смѣлъ надѣяться, что то сочувствіе, которое вамъ внушилъ несчастный мальчикъ... вы перенесете и на молодую дѣвушку.

— А почему бы нѣтъ, если она, эта молодая дѣвушка, заслуживаетъ сочувствія?

Такъ какъ она молчала, не смѣя приблизиться и не рѣшаясь поднять глазъ, Жофруа захотѣлось вывести ее изъ затрудненія и вопросами поночь объяснить.

— Не въ мужскомъ же платьѣ пріѣхали вы въ Парижъ, я надѣюсь?

— Нѣтъ, г. Жофруа; когда я уѣхала отъ тетки, на мнѣ было еще мое черное траурное платье.

— То, что вы сказали мнѣ о теткѣ; значитъ, правда?

— Да.

Жофруа, вспомнивъ ея смущеніе, когда она говорила объ этой теткѣ, понялъ теперь то, что казалось ему неяснымъ, когда онъ считалъ Лотье мальчикомъ.

— Не будемъ говорить объ этомъ, — сказалъ Жофруа, чтобы избавить ее отъ новаго смущенія.

— Въ черномъ платьѣ, драповомъ пальто и фетровой шляпѣ скиталась я по улицамъ въ ту страшную ночь. Вы, сжалившійся надъ страданіями мальчика; вы поймете, каковы были муки дѣвушки, никогда не покидавшей роднаго города и заблудившейся въ этомъ ужасномъ Парижѣ, о которомъ она такъ много слыхала. Не мальчику отказывали и прогоняли; когда я просила работы, а дѣвушкѣ. Выходя изъ магазиновъ, гдѣ мнѣ передъ носомъ захлопывали дверь, я, воючая по тротуарамъ мое жалкое черное платье, думала, что не то было бы, если бы я была мужчиной. И какъ много не было бы, сколькихъ ужасныхъ словъ я не слыхала бы, если бы на мнѣ было мужское платье! Честная дѣвушка не таскается по улицамъ; сбзнаніе чувства презрѣнія, которое я должна была возбуждать, дѣлало меня еще застѣнчивѣе и нервнѣе. Вы поймете, какъ робко попросила я старика, которому помогла вести телѣжку, замѣнять мною умершаго сына. «Дѣвушка, — сказалъ онъ, — чтобы надо мною смѣялись? Нѣтъ, не надо». Я ему отвѣтила, что дѣвушка можетъ имѣть такія же руки и ноги, какъ у мальчика. «А платье?» Это платье, приличное въ первый день, какъ я очутилась на улицѣ, отъ ходьбы по грязи, снѣгу, отъ проведенныхъ

въ мусорѣ и известкѣ ночей, сдѣлалось предметомъ отверженія и обвиненія; я чувствовала, что достаточно взглянуть на это оборванное платье, чтобы, не говоря ни слова, прогнать отовсюду носящую его. «Если я переодѣнусь мальчикомъ?» — спросила я съ отчаянною настойчивостью. — «А это?» — отвѣтилъ старикъ, указывая на мои волосы. — «Ихъ можно обрѣзать». Не успѣла я договорить этой фразы, какъ остановилась. У меня были густые длинные волосы... и, простите меня, это была моя гордость, я находила ихъ прекрасными.

— И вы дорожили ими?

— Но отступленія не было; къ тому же, подумавъ, я поняла, что и послѣ размышленій мнѣ пришлось бы повторить то, что я сказала необдуманно. «Правда, ихъ можно обрѣзать, — сказала она, — и, продавъ ихъ, получить нѣсколько грошей на покупку мужскаго платья». Я не могла ни разсуждать, ни отказываться; надо было думать не о волосахъ, а о позорѣ, голодѣ, смерти и я говорила себѣ, что если бы мнѣ раньше пришла въ голову эта мысль, я избѣжала бы многихъ несчастій. Я ошибалась; такъ какъ, если бы я отправилась продавать ихъ одна, я едва ли получила бы что-нибудь. «Не годится для продажи! — сказала парикмахеръ, — въ Парижѣ нѣтъ этого цвѣта». Начался настоящій торгъ, и не только цвѣтъ, но и толщина волоса, и длина были негодны для продажи, пяти су не стоила унція. Послѣ продолжительной торгони сошлись на трехъ франкахъ за унцій и, когда я почувствовала на шеѣ холодныя ножницы, я не могла удержать слезъ. «Они выростутъ», — сказала мнѣ парикмахеръ. Я оплакивала прошедшее, не будущее, такъ какъ для меня не было будущаго. Вотъ что вынудило меня надѣть мужское платье:

— Отчего вы не сказали этого прежде?

— Развѣ вы почувствовали бы въ дѣвужьей жалость, внезапно пробудившуюся въ васъ къ мальчигу?

— Не послѣ?

— Мальчикъ могъ сдѣлаться разнощикомъ газетъ, дѣвушка... нѣтъ; кромѣ того, мнѣ стыдно было признаться. А, между тѣмъ, мнѣ страшно хотѣлось признаться, особенно въ послѣднее время, когда мнѣ казалось, что вы смотрите на меня съ подозрѣнiемъ.

— Съ подозрѣнiемъ? Нѣтъ. Но я находилъ иногда, что вы — странный мальчикъ.

— Впрочемъ, говоря вамъ мое имя, я полупризнавалась вамъ и думала съ минуты на минуту, что оно откроетъ вамъ истину.

— Ваше имя?

— Лотъё, по-фламандски переводъ Изабеллы: Lotjé!

Она замолчала, не смѣя взглянуть на Жофруа.

Послѣдовала минута молчанія, мучительная для нея: ея жизнь рѣшалась въ этотъ моментъ.

— Дѣйствительно, — произнесъ, наконецъ, Жофруа, — у васъ были основанія молчать; вы видите, что я хорошо сдѣлалъ, заставивъ васъ высказать ихъ.

Она вздохнула.

— Можетъ быть, вы были правы, — продолжалъ Жофруа, — предполагая, что незнакомая дѣвушка не возбудила бы во мнѣ такой жалости, какую я почувствовалъ къ мальчику. Но теперь я знаю, что это за дѣвушка, и предположенія, могущія вызвать мое недовѣріе, теперь невозможны. И такъ, не бойтесь, чтобы мое расположеніе къ вамъ измѣнилось. Конечно, положеніе странно, но я не принадлежу къ тѣмъ людямъ, у которыхъ случайности положенія мѣняютъ чувства или руководятъ ихъ поступками. Сочувствіе, внушенное вами часъ тому назадъ, осталось неизмѣннымъ и то, чего я хотѣлъ для васъ часъ тому назадъ, хочу и теперь. За тѣхъ, кто дастъ вамъ работу, будьте также покойны: имъ безразлично, будетъ эта работа исполнена мужчиной или женщиной.

В. Р.

(Продолженіе слѣдуетъ).

ВЕСНОЮ.

Встерь вольный вѣсть въ полѣ,
Травкой ранней шевеля...
Птичка бѣдная въ неволѣ,
Пѣсня грустная моя!
Встань, проснись, моя родная,
Безотрадная моя!
Посмотри: звеня, сияя,
Плещеть, бьется, какъ живая,
Оливенная струя.
То отхлынетъ въ вольномъ бѣгѣ,
То въ прибрежью вновь прильнетъ,
Замираетъ въ сладкой нѣгѣ,
Тихо дышетъ и поетъ...
И, пѣвучей струйкой вторя,
На сияющемъ просторѣ
Зеленѣющихъ дуговъ
Льются сотни голосовъ.
И гремитъ ихъ перекличка,
Свѣтлой радостью звеня...
О, запуганная птичка,
Пѣсня грустная моя!
Встань, проснись, волной пѣвучей
Влейся въ этотъ хоръ могучій,
Въ этотъ яркій перезвонъ,
Что гремитъ со всѣхъ сторонъ.
И, напившись воли, свѣта,
Жизнью, радостью согрѣта,
Пой странѣ моей родной
Дни веселья, дни расцвѣта,
Озаренные весной.
Пой про зори золотыя,
Про вечернюю росу,
Про побѣги молодые,
Про колосья наливные,
Да про звонкую косу,—
Про надежды, про зарницы,
Свѣтъ души, сиянье дня...
Встрепенись, моя орлица,
Пѣсня вольная моя!...

С. Фругъ.

Изъ матеріаловъ для біографіи Александра Ивановича Герцена.

Мнѣ шель десятый годъ, когда Александръ Ивановичъ Герценъ, въ 1847 году, навсегда оставилъ Россію; тѣмъ не менѣе, я довольно живо помню его самого, жену его Наталью Александровну и двухъ сыновей; помню также его отца, Ивана Алексѣевича Яковлева, мать Луизу Ивановну и часто бывавшихъ у Герцена друзей его, Николая Платоновича Огарева и Тимофея Николаевича Грановскаго. Старшій сынъ Герцена, Александръ,—крестникъ моей матери, года на полтора моложе меня,—былъ необыкновенно умный, живой мальчикъ, развитой не по лѣтамъ и часто пу-скавшійся въ сужденія, несвойственныя его возрасту. Мы иногда играли съ нимъ. Не знаю, помнитъ ли онъ, а мнѣ особенно живо вспоминается одна наша ссора, загорѣвшаяся по поводу такихъ сужденій. Наслушавшись отъ отца и его друзей восторженныхъ похвалъ свободолюбивой Франціи и ея политической жизни, восьмилѣтній Саша началъ однажды пресерьезно доказывать мнѣ ея неизмѣримое превосходство передъ Россіей и споръ нашъ кончился ссорой и даже легкой потасовкой. Живо врѣзалась мнѣ также въ память наружность втораго сына Герцена—Николая, прелестнаго, къ сожа-лѣнію, глухонѣмаго ребенка, лѣтъ четырехъ*), блѣнурого, съ большими, задумчивыми голубыми глазами, очень похожаго на свою мать.

Онъ былъ любимцемъ бабушки Луизы Ивановны, почти не отходилъ отъ нея и съ ней же впоследствии утонулъ въ Средиземномъ морѣ. Какъ живой, встаетъ въ моей памяти отецъ Герцена—довольно высокий, сухой старикъ, всегда больной, одѣтый въ халатъ, съ ермолкой на головѣ, без-выходно сидѣвшій въ своей огромной спальнѣ, которую онъ сдѣлалъ себѣ изъ большой гостиной. Я немножко боялся его, несмотря на то, что онъ всегда былъ ласковъ и, повидимому, любилъ дѣтей. Саша постоянно за-

*) Онъ родился 30 декабря 1843 г., какъ видно изъ письма Герцена къ Витбергу отъ 7 января 1844 г., напечатанномъ въ запискахъ Т. П. Пассека *Изъ дальнихъ мѣстъ*, т. II, стр. 179.

бѣгалъ къ дѣду, а за нимъ, хотя и не охотно, входилъ къ нему и я. Къ этимъ дѣтскимъ впечатлѣніямъ присоединяются рассказы о Герценѣ моей матери и нѣкоторыя личныя воспоминанія о немъ изъ болѣе поздняго времени.

Наталя Александровна очень любила мою мать и называла ее не иначе, какъ «мамаша», а себя — ея «дочерью по душѣ». Сближеніе Герцена съ нашимъ семействомъ произошло въ то время, когда онъ, переведенный изъ Вятки во Владиміръ, числился въ канцеляріи моего отца, служившаго тогда владимірскимъ гражданскимъ губернаторомъ. Въ теченіе двухъ лѣтъ-слишкомъ (съ 1838 по 1840 г.) онъ бывалъ у насъ почти ежедневно и давалъ уроки моимъ двумъ сестрамъ. Со времени оставленія имъ Владиміра до того, когда сперва онъ (съ конца 1842 г.), а потомъ и мы (съ начала 1845 года) сдѣлались постоянными жителями Москвы, Герценъ и его жена находились въ перепискѣ съ моею матерью.

Часть этихъ писемъ сохранилась; это обстоятельство, а также надежда на содѣйствіе нѣкоторыхъ лицъ, близкихъ покойному Александру Ивановичу, подали мнѣ мысль собрать и издать нѣкоторые матеріалы для его біографіи и этимъ вызвать, можетъ быть, обнаруженіе другихъ матеріаловъ и писемъ, касающихся жизни и дѣятельности этого публициста. Но такъ какъ собраніе возможно-полнаго матеріала потребуетъ не мало времени, а, между тѣмъ, изъ имѣющихся у меня писемъ Александра Ивановича и Натальи Александровны Герценовъ тридцать шесть относятся къ періоду съ августа 1839 года по январь 1842 года, то я рѣшаюсь предложить пока вниманію читателей настоящій отрывокъ изъ предполагаемаго мной къ изданію біографическаго матеріала. Конечно, письма Герцена и его жены къ моей матери носятъ чисто семейный характеръ и не заключаютъ въ себѣ почти никакихъ указаній ни на его литературную дѣятельность, ни на связи его съ другими замѣчательными дѣятелями той эпохи; но, съ одной стороны, онѣ выясняютъ нѣкоторыя біографическія подробности, съ другой — не лишены интереса сами по себѣ: письма Александра Ивановича, какъ обращенія его эпистолярнаго слога и игриваго остроумія, письма Натальи Александровны, какъ прекрасная характеристика той полной прелести, тихой семейной жизни, которою они за это время наслаждались, и той безконечной привязанности къ дѣтямъ, которою дышетъ каждая ея строчка. Большая часть писемъ писана ими обоими, только иногда писала — одна Наталья Александровна, изрѣдка — одинъ Александръ Ивановичъ. Его письма и даже приписки я привожу почти цѣлкомъ, — изъ писемъ его жены дѣлаю болѣе или менѣе пространныя извлеченія.

I.

Получивъ разрѣшеніе жить въ столицахъ, Герценъ воспользовался имъ и во второй половинѣ августа 1839 года, оставаясь еще на службѣ во Владимірѣ, пріѣхалъ съ женой въ Москву. Въ своихъ запискахъ Герценъ

говорить, что оставилъ Владиміръ въ началѣ 1839 года, но, очевидно, ошибается. Владиміръ онъ оставилъ окончательно весной 1840 года, а первый разъ посѣтилъ на довольно продолжительное время Москву осенью 1839 года. Въ іюнь и іюль послѣдняго года онъ былъ еще во Владимірѣ и 13 іюня у него тамъ родился первый ребенокъ—сынъ Александръ; а о томъ, что онъ и жена его въ первый разъ пріѣхали въ Москву 23 августа 1839 года, свидѣтельствуетъ письмо ихъ отъ 26 числа этого мѣсяца. Вотъ это письмо:

«Милостивая Государыня

Юлія Теодоровна!

«Вотъ уже мы и пользуемся вашимъ позволеніемъ писать и пишемъ изъ Москвы, куда довольно благополучно пріѣхали въ среду *) вечеромъ въ 7 часовъ. Малышка было занемогъ, но, кажется, ему гораздо лучше; Наташа перенесла дорогу очень хорошо. Я еще не оглядѣлся, еще не понимаю себя въ Москвѣ и потому ничего не могу сказать о себѣ, слишкомъ много чувствъ и воспоминаній, и мыслей, и знакомыхъ лицъ, и знакомыхъ улицъ, и пыли, и колокольнаго звона, и новостей, и все это въ ужасномъ беспорядкѣ сыплется въ голову, а у меня голова гораздо не такъ помѣстительна, какъ у общаго знакомаго нашего—слона, котораго я еще разъ имѣлъ удовольствіе видѣть въ Ундолахъ **).

«А главное, что все то вмѣстѣ такъ сухо, скучно и такъ пережѣнилось въ 5 лѣтъ, что мнѣ подчасъ становится грустно по нашей пустой улицѣ, въ началѣ которой М. И. Алякринскій ***), а въ концѣ ничего нѣтъ, грустно по Владиміру, т.-е. хотѣлось бы идти къ вамъ—такого искреннаго привѣта намъ здѣсь нѣтъ, гдѣ же взять? Можетъ, въ Петровскомъ, ну, тамъ я еще не былъ; а говорятъ, что все туда выѣзжаетъ дышать пылью.

«Истинно, Юлія Теодоровна, здѣсь мы со всякимъ днемъ яснѣе, свѣтлѣе понимаемъ вашу дружбу, ваше вниманіе; вы избаловали насъ. О, дай Богъ, чтобы съ января и вы переѣхали въ Москву!

«Впрочемъ, дурное впечатлѣніе пройдетъ; большіе города, это—большія поэмы; надобно вчитаться, чтобы постигнуть поэзію Данта, такъ и Москва—поэма немного водянистая, съ большими маржами, съ пробѣлами, но лишь только приживемся, поймемъ поэму въ 40 квадратныхъ верстѣ.

«Батюшку я засталъ довольно здоровымъ, онъ усердно кланяется и свидѣтельствуетъ свое почтеніе вамъ и Ивану Емануйловичу ****), повторяя, что до гроба будетъ считать себя облагодѣтельствованнымъ Иваномъ Емануйловичемъ. Присоедините къ этому и отъ меня подтвержденіе тѣхъ чувствъ преданности, въ которыхъ, я думаю, Иванъ Емануйловичъ и не сомнѣвается.

*) 29 августа 1839 года было въ субботу, слѣдовательно, среда была 28.

**) Невадолго до отъѣзда Герцена изъ Владиміра туда приводили громаднаго слона. Ундоль—деревня по дорогѣ изъ Владиміра въ Москву, между Владиміромъ и гор. Покровомъ.

****) Инспекторъ владимірской врачебной управы.

*****) Иванъ Емануйловичъ Куруга—мой отецъ.

«Объщанное мною относительно Прасковьи Петровны *) начинает сбываться, нѣсколько добрыхъ знакомыхъ общались достать ей мѣсто, но я къ ней тогда напишу, когда навѣрное узнаю.

«Приѣхала ли Софья Ѳеодоровна **)? Сдѣлайте одолженіе свидѣтельствуите ей мое почтеніе, также Евгениі Ивановѣ, Ольгѣ Ивановѣ ***), а ученицамъ ****) учительскій поклонъ. Засимъ позвольте мнѣ замолчать, но не прежде, какъ повторивши (и, притомъ, не перомъ, а сердцемъ, всемъ сердцемъ) тѣ чувства искренняго уваженія, съ которыми и т. д.

«А. Герценъ».

Москва, 1839 г., августа 26.

На томъ же листѣ (большаго формата) пишетъ и Наталья Александровна:

«Вотъ какъ мы далеко отъ васъ, бездѣнная маман! Собираться въ Москву весело было, а разставаться съ вами грустно, я бы ужъ готова была и воротиться. На дорогѣ Саша былъ хорошъ, а приѣхавши сюда занемогъ и два дня я была не своя; теперь, слава Богу, ему лучше, несмотря на то, я далека отъ того, чтобъ такъ жаловаться на Москву, какъ Александръ,—нѣтъ, я въѣзжала съ восхищеніемъ и до сихъ поръ не насмотрюсь на нее; онъ, кажется, сердитъ на нее за меня, потому что минуты нѣтъ для отдыха... Вы меня простите, сдѣлайте маман, что еще до сихъ поръ я не исполнила вашу комиссію, ей-Богу, некогда было, къ слѣдующей портѣ непременно постараюсь приготовить; вмѣстѣ съ шерстями вы получите портретъ слона; онъ сдѣлалъ такое впечатлѣніе на меня, что я не могла выдержать, чтобъ не нарисовать его портретъ.

«На этотъ разъ письмо мое коротко и пусто, я еще не образумилась, безпрерывно новые предметы, новыя лица, минуты нѣтъ свободной, и теперь я встала чѣмъ-свѣтъ для того, чтобъ написать вамъ нѣсколько строкъ; недаромъ я не люблю разсѣянную жизнь,—она лишаетъ истинныхъ, душевныхъ удовольствій и даритъ за нихъ пустыми, сухими.

«Прощайте, ангелъ мой, мамашенька, обнимаю васъ, цѣлую и т. д.

«Ваша Наташа».

Въ слѣдующемъ письмѣ отъ 31 августа Наталья Александровна благодаритъ мать за первое полученное отъ нея письмо, извѣщаетъ, что по ея совѣту обращалась къ доктору Рихтеру и что онъ не нашелъ въ ея болѣзни ничего опаснаго.

«Такъ хочется все и обо всѣхъ знать,—говоритъ она въ этомъ письмѣ,—слетать хоть на минутку во Владиміръ, взглянуть на васъ. Хорошо

*) Прасковья Петровна Медвѣдова, которую Александръ Ивановичъ зналъ еще въ Вяткѣ.

***) Софья Ѳеодоровна Кашпель—старшая, незамужняя сестра моей матери.

****) Евгениі Ивановна Палеологъ и Ольга Ивановна, впоследствии вышедшая за С. М. Лионъ—мои старшія сестры.

*****) Мои сестры—Клавдія Ивановна (умершая еще въ 1847 г.) и Людмила Ивановна.

здѣсь, хорошо и тамъ; я не привыкла къ разсѣянной жизни, мнѣ секунды не даютъ остаться одной...»

За письмомъ Натальи Александровны вскорѣ слѣдовали изъ Москвы еще три письма: отъ 6, 12 и 14 сентября.

Москва, 6 сентября 1839 г.

«Милостивая государыня
«Юлія Феодоровна!

«Нѣтъ, благодарить за ваше второе письмо лучше я не буду, потому что не умѣю высказать всего, а одну долю мало. Начну просто съ повѣствованія о нашемъ житьѣ-бытьѣ въ градѣ Москвѣ. Наташа почти здорова, «маленькая собака» *) тоже здорова, слѣдственно у меня на душѣ весело и досужно присматриваться и вглядываться въ Москву. Важнѣйшее, что я здѣсь узналъ, состоитъ въ томъ, что модные духи называются *racioni* и пахнутъ алоемъ, что Жуковский получилъ аренду и деньги впередъ за 25 лѣтъ, что Блекшмидтъ дѣлаетъ чудесную мебель (а прогоря я общалъ Ольгѣ Ивановнѣ заказать ему табуретъ къ фортепіано, но не заказалъ, потому что онъ меньше 250 руб. не беретъ), что князь С. М. Голицынъ намѣренъ дать балъ, а митрополитъ сказать рѣчь на закладѣ храма. Мнѣ кажется, что все это знать скучно; вотъ какова Москва, даже Жуковский въ ея разказахъ является не поэткомъ, а арендаторомъ. Москва только по костюму похожа на Европу; я рѣшительно недоволенъ ею въ нынѣшній пріѣздъ. Одна изъ самыхъ замѣчательныхъ статей для меня былъ нашъ старый, забытый каменный домъ. Я бродилъ по пустымъ комнатамъ его и сердце билось: въ этотъ домъ я переѣхалъ ребенкомъ (въ 1824 г.) и прожилъ 9 лѣтъ. Тутъ родилась первая мысль, первый восторгъ; тутъ душа распустилась изъ почки, тутъ я былъ юнъ, неопытенъ, чистъ, свѣжъ. Я всматривался въ стѣны: черты карандашемъ остались, разные нарѣзки, какъ было 10 лѣтъ тому назадъ, и будто я 1839 года тотъ юноша 1829? Я *pater familias*, я титулярный совѣтникъ, я *возвращенный*, не можетъ быть! Прямѣривая прежнія комнаты къ душѣ, вижу, сколько душа перемѣнилась, къ лучшему ли?—можетъ; къ изящнѣйшему ли?—не знаю. Однако, очень глупо занимать собою.

«Днемъ десять разъ, по крайней мѣрѣ, бываемъ мы во Владимірѣ, т. е. у васъ. Я всегда былъ очень недоволенъ, что человекъ ограниченъ пространствомъ, ну, какъ это можно снести такое притѣсненіе? Хотѣлъ сегодня вечеромъ быть у васъ—нельзя, отчего?—оттого, что люди не умѣютъ побѣдить версты. Но это придетъ, я вѣрую, что откроютъ средства ѣздить изъ Москвы завтракать къ *Tortoni* въ Парижъ, обѣдать—въ Лондонъ и послѣ на концертъ въ римскую консерваторію—одними сутками! Есть же въ Москвѣ церковь, построенная въ 24 часа—«Иліи обыденнаго». А ви-

*) Такъ называлъ маленькаго Сашу Герцена сынъ старшей сестры моей Е. И. Палеологъ, жившей въ 1839 г. во Владимірѣ; онъ старше на 1 годъ и 9 мѣс. перваго сына Герцена.

дети Богъ, я сейчас бросилъ бы Москву съ готовящеюся иллюминаціей ея и явился бы съ Наташей къ вамъ и сълѣ бы возлѣ пялецъ, въ которыхъ, я думаю, распустилось много и много цвѣтовъ послѣ нашего отъѣзда, и отдохнулъ бы не отъ усталы, а отъ треска, шума и хлопотливаго бездѣлья. Въ концѣ сентября я думаю это совершить очью, до тѣхъ поръ позвольте письменно засвидѣтельствовать вамъ и т. д.

«Александръ Герценъ».

«Р. S. Государь прѣхалъ 3 и пробудеть до 15. Закладка будетъ 8 или 9 *). Дѣло Прасковьи Петровны (которое какъ гангрена терзало меня) приводится къ концу. М-ше Жарнье рѣшается ее взять съ дѣтьми».

Въ томъ же письмѣ Наталья Александровна пишетъ:

«Здравствуйте, мой ангелъ мамашенька!

«Второе письмо ваше второй разъ заставило навернуться слезамъ благодарности на глазахъ, слезамъ умиленія и истиннаго, полнаго, неограниченнаго счастья. О, дай Богъ, чтобы послѣ новаго года и вы переселились въ Москву,—безъ васъ скучно здѣсь. Я еще рѣшительно не была нигдѣ и нѣтъ желанія, но Александръ непрежѣнно хочетъ свозить меня въ театръ. Вчера Сашѣ привили оспу, теперь онъ блажитъ и потому я не могу писать,—мысли и руки не повинуются мнѣ... Благословите вашего крестника... Прощайте» и т. д.

Какъ это, такъ и большинство послѣдующихъ писемъ Натальи Александровны рисуютъ ее домохозяйкой, всецѣло преданной своему ребенку и семьѣ, не любящей свѣтскихъ удовольствій и, несмотря на свою молодость, находящей полное удовлетвореніе въ тихой семейной жизни.

12 сентября 1739 г. Герценъ пишетъ:

«Милостивая Государыня

«Юлія Θεодоровна!

«Получили мы послѣднее письмо ваше съ тѣмъ же восторгомъ и радостью, съ тою же благодарностью, какъ и предъидущія. Много видѣлъ я здѣсь, живу разсѣянно, а бѣдная Наташа такъ вполне посвятила себя Сашѣ, что не участвуетъ ни въ чемъ. 10 сентября была закладка: похороны Витберговой славы, колыбель извѣстности Тона. Шествіе весьма было торжественно: духовенство, гвардія, посланники и тысячи народа на крышахъ, на заборахъ, въ окнахъ; самая рама—Замоскворѣчье съ своими церквами, хижинами и огромными зданіями дѣлала еще торжественнѣе картину. Видѣлъ я и Сильфиду, маленькое, воздушное, граціозное творенье, *être rarissime*—Санковскую. Мила, очень мила! Видѣлъ я Паскевича; онъ гораздо выше Санковской и безъ крылушекъ, за то съ цѣлою системой звѣздъ. Видѣлъ принца Лейхтенбергскаго, а отъ принца до его полка—одинъ шагъ. Лишь только я запечаталъ и отослалъ къ вамъ мое прош-

*) Закладка храма Спасителя.

ное письмо, явился къ намъ Христофоръ Павловичъ *). Съ искреннимъ восхищеніемъ приняли мы его; онъ представился намъ репрезентентомъ всѣхъ васъ. Скоро вы увидите его; ей-Богу, мнѣ грустно по Владиміру; быть можетъ, я скорѣе приѣду, нежели вы думаете.

«Середь писанія я былъ прерванъ, во-первыхъ, Христофоромъ Павловичемъ, который былъ такъ добръ, что раздѣлилъ нашъ обѣдъ сегодня, и, вторыхъ, Егоромъ Ивановичемъ **), который сообщилъ мнѣ, что въ конторѣ уже получены бумаги отъ Ивана Емануиловича обо мнѣ. Опять долженъ я благодарить, опять знавъ того драгоценнаго для насъ вниманія, которое согрѣло нашу владимірскую жизнь и останется однимъ изъ самыхъ лучшихъ воспоминаній въ нашей жизни. Прошу васъ передать эти чувства Ивану Емануиловичу.

«Всѣ наши свидѣтельствуютъ и т. д.

«Александръ Герценъ».

Владиміръ *
1839 г., сент. 11.

«* Сейчасъ увидѣлъ ошибку. Видите ли, какъ Владиміръ безпрестанно у меня въ головѣ?»

Изъ письма на томъ же листѣ Натальи Александровны видно, что въ это время они думали уже объ обратномъ переѣздѣ во Владиміръ.

«Скоро писать не нужно будетъ, — говоритъ она, — мы уже думаемъ о возвращеніи во Владиміръ; пока вы тамъ, онъ много перевѣшиваетъ Москву». «Бѣдный мой Саша въ жестокомъ насморкѣ», — увѣдомляетъ она въ концѣ письма, какъ и всегда поглощенная заботами о своемъ ребенкѣ.

Письмо отъ 14 сентября — шутивое посланіе, которое Герценъ вручилъ для доставленія нѣкому Лихареву, хлопотавшему о полученіи должности врача во Владиміръ:

«Милостивая Государыня

«Юлія Θεодоровна!

«Вотъ какое было положеніе Венъямина Франклина, жившаго посланникомъ въ Парижѣ: каждое утро являлось къ нему множество особъ, просившихъ рекомендательныя письма къ Вашингтону, — особы, хотѣвшія *par anti-cipation assaier la république*. Что дѣлать? Не дать письма — совѣстно передъ просителемъ, дать — совѣстно передъ собою. Какъ же быть? Неужели человекъ, выдумавшій громоотводы, не найдется? Онъ и нашелся, сталъ всѣмъ давать рекомендательныя письма такого содержанія:

«May dea General!

«Le porteur de cette lettre m'est parfaitement inconnu, or il n'y a pas cause de le croire mauvais — je vous le recommande donc... etc. ***).

*) Христофоръ Павловичъ Палеологъ — мужъ моей сестры Евгеніи Ивановны, служившій въ то время въ лейхтенбергскомъ гусарскомъ полку.

**) На что здѣсь намекаетъ Александръ Ивановичъ — не знаю.

***) „Любезный генералъ! Податель этого письма мнѣ совершенно неизвѣстенъ, слѣдовательно, нѣтъ основаній предполагать, что онъ дурной человекъ, а потому я вамъ его рекомендую“... и т. д.

«То же случилось со мной, когда я приѣхалъ въ старшій свѣтъ, какъ Франкингъ, а именно—меня познакомили съ г. Лихаревымъ, который желаетъ получить убійственное мѣсто (лѣвара) во Владимірѣ, несмотря на то, что его зовутъ Федоромъ Григорьевичемъ. Этотъ Федоръ Григорьевичъ проситъ неотступно способствовать его погребальнымъ видамъ и говорить, что онъ честный и бѣдный человекъ, вслѣдствіе чего я ему посоветовалъ, во-первыхъ, какъ можно болѣе натирать виски оподельдохомъ, принимать матныя капли бутылками *) и, во-вторыхъ, молиться Діонисію Ареопагиту. Наконецъ, рѣшился даже дать ему это письмо для доставленія вамъ, зная ангельскую доброту, съ которой вы готовы протянуть руку помощи каждому просящему, и зная это по собственному опыту.

«Простите меня!...»

Въ концѣ письма Герценъ прибавляетъ:

«Огаревъ здѣсь. Москва расцвѣла.

«Въ заключеніе прошу свидѣтельствовать мое почтеніе Ивану Емануиловичу, Софьѣ Феодоровнѣ и всѣмъ. Ей-Богу, мы васъ очень, очень любимъ и уважаемъ. Наташа, вѣроятно, будетъ писать сама, да и мужу въ жениныхъ дѣлахъ не идетъ въ доносчики.

«До гроба уважающій А. Герценъ».

Того же числа Наталья Александровна пишетъ:

«Вотъ, неоцѣнимая паша, Александръ мнѣ и строчки не далъ написать, а самъ наполнилъ все письмо пустяками; право, мнѣ совѣстно за него, но я убѣждена въ вашемъ снисхожденіи.

«Слава Богу, Александръ помирился съ Москвой. Приѣздъ друга усладилъ все. А я до сихъ поръ не вижу ничего, кромѣ дѣтской; Марья Львовна **) нездорова и не можетъ бывать у меня, а я не могу оставлять моего Саму и навѣщать ее, къ тому же, хлопоты искать нянюшку (съ прежней мы принуждены были разстаться), изъ десяти не было ни одной, которая бы удовлетворяла моимъ желаніямъ; день и ночь я неразлучна съ моимъ Самей, оспа идетъ какъ надо,—дай - то Богъ, чтобъ благополучно окончилась: насъ застала стужа съ невставленными окнами. А. Александра, напротивъ, вовсе не вижу...

«Вся ваша Н. Герценъ».

Въ запискахъ своихъ Герценъ говоритъ, что Н. ***) приѣхалъ за нѣсколько мѣсяцевъ прежде него въ Москву. Это, повидимому, противорѣчитъ только что приведенному письму отъ 14 сентября; но Огаревъ вернулся изъ ссылки въ Москву дѣйствительно ранѣе перваго приѣзда туда Герценовъ и, вѣроятно, только временно уѣзжалъ изъ Москвы, куда затѣмъ возвратился въ сентябрѣ 1839 года.

*) Здѣсь, повидимому, Александръ Ивановичъ намекаетъ на моренковскій оподельдохъ и матныя капли, привилегіей на продажу которыхъ пользовался инспекторъ владимірской врачебной управы Алякринскій, усноивленный изобрѣтателемъ этихъ предметовъ Моренковымъ; будущій начальникъ Лихарева.

**) Марья Львовна Огарева—жена Н. П. Огарева.

***) Этою буквой Герценъ обозначаетъ друга своего Николая Платоновича Огарева.

Въ письмѣ отъ 20 сентября Н. А. Герценъ пишетъ:

«Другъ мой мамашенька!

«Я еще не отвѣчала на послѣднее ваше письмо, да вѣрю, вѣрю, что вы съ удовольствіемъ получаете наши письма, вѣрю, потому что онѣ полны не пустыми словами, а истинными чувствами. Милосердому Богу казалось мало счастья, пославши намъ другъ друга, Онъ послалъ намъ васъ... право, говорить много не умѣю и не стану... Новаго я вамъ ничего не нахожу сказать,—далѣе десяти шаговъ отъ своего крыльца я не была нигдѣ. Къ счастью, Огаревы наняли близко насъ, а то бы я не имѣла возможности и Марію видѣть часто. Грозный мой повелитель Мерзугеъ держитъ меня въ большомъ повиновеніи. Я было оставила мѣсто Александру, но у него ужасно разболѣлась голова и онъ не можетъ писать. И я заключу мое письмо душевнымъ почтеніемъ и т. д.

«Вся ваша Н. Герценъ».

Въ письмѣ безъ числа, писанномъ между 21 и 25 сентября, Наталья Александровна поздравляетъ мою мать съ именинами моего отца (26 сент.), а Александръ Ивановичъ приписываетъ только одну строчку:

«Мнѣ даже для поздравленія не оставлено мѣста».

Не могу отказать себѣ въ удовольствіи привести изъ этого письма нѣсколько строкъ, интересныхъ по заключающейся въ нихъ наивной чертѣ характера Натальи Александровны:

«... Ахъ, мамашенька! теперь я съ повинною головой къ вамъ,—гдѣсе! гдѣсе!... Александра не было дома, когда человекъ Елизаветы Павловны *) принесъ ваше письмо,—я, по обыкovenію, чрезвычайно обрадовалась, сказала «благодари» и распечатала письмо,—«ахъ», но ужъ человека не было и я не успѣла спросить квартиры Елизаветы Павловны. Можете вообразить, какъ это меня мучаетъ, но Александръ утѣшаетъ меня, говоря, что есть средство отыскать ихъ; не знаю, что-то будетъ нынѣшній день?

«Александра не было дома»... а будь онъ дома, конечно, этого не случилось бы.

«Уже въ этомъ письмѣ она говорить: «Пора проститься съ вами, душещца мамашенька, увидимся скоро, тогда наговоримся»; изъ письма же ея отъ 28 сентября 1839 года видно, что она и Александръ Ивановичъ собирались оставить въ этомъ мѣсяцѣ Москву. Говоря о томъ, какую тревогу причиняютъ ей страданія ея малютки, она пишетъ: «...Болезнь его задержала насъ въ Москвѣ, 26 мы совсѣмъ было собрались въ путь. Мой бѣдный Саша такъ хвораетъ, пресильный насморкъ и жаръ, по цѣлой ночи я не сплю, здѣсь Капацинскаго **) нѣтъ и разлучить насъ не кому, онъ со мной въ одной комнатѣ. Иные увѣряютъ, что ужъ у него рѣжутся зубки; чтобъ ни было, невыносимо видѣть страданія малютки; минутами онъ веселъ, обыкновенно вскрикиваетъ во снѣ и послѣ долго не утѣшенъ;

*) Елизавета Павловна Безобразова—жена тогдашняго предсѣдателя владимірской удѣльной конторы и мать писателя В. П. Безобразова.

**) Докторъ во Владимірѣ.

не знаю, чѣмъ все это кончится... но Господь милосердъ, я вѣрую въ Его благость!»

1 октября 1839 года Герцены были уже опять во Владимірѣ, какъ видно изъ письма Александра Ивановича отъ этого числа къ Витбергѣ, напечатанному въ *Воспоминаніяхъ* Т. П. Пассекъ *), а изъ сохранившагося у меня письма Герцена отъ 29 сентября 1839 г. къ моей теткѣ, жившей въ это время во Владимірѣ, видно, что они выѣхали изъ Москвы 30 числа этого мѣсяца. Въ письмѣ этомъ онъ говоритъ: «Вотъ мой обозъ, состоящій изъ сундука, трехъ ящиковъ, одного повара, одной прачки и трѣхъ дѣтей. Сдѣлайте милость, препроводите ихъ на мою квартиру, которую я вовсе не знаю. Я сейчасъ же посылаю письмо по экстръ-почтѣ, а самъ ѣду завтра. Можетъ, увидимся прежде письма этого». И такъ, на этотъ разъ Герцены пробыли въ Москвѣ только пять недѣль. Но это не помѣшало Александру Ивановичу возобновить прежнія и сдѣлать новыя знакомства. Поселившись съ женой въ отдѣланномъ для нихъ Иваномъ Алексѣевичемъ маленькомъ домѣ, находившемся въ связи съ тѣмъ, въ которомъ онъ жилъ самъ, Герценъ принималъ друзей своихъ поздно вечеромъ, такъ какъ до 9 часовъ долженъ былъ оставаться у отца. «Принимать друзей, безъ которыхъ онъ не могъ жить, чуть не украдкой, урывками было для него пыткой,—говоритъ Т. А. Астракова въ своихъ запискахъ.—Повидимому, старикъ не любилъ и ни во что не ставилъ товарищей сына. Александръ покорялся волѣ отца не изъ одного расчета,—онъ цѣнилъ въ старикѣ умъ, любовь къ себѣ и къ своему маленькому сыну, несмотря на то, что все это у Ивана Алексѣевича выражалось по-своему **). Дружба его къ Огареву заставляетъ Герцена отчасти преувеличивать значеніе послѣдняго въ кругу московской интеллигентной молодежи, когда онъ говоритъ, что Огаревъ въ 1839 году занялъ такое же центральное мѣсто, какое занималъ въ немъ до отъѣзда своего за границу Станкевичъ. Но его мягкая, любящая натура, дѣтски-увлекающаяся и многосторонняя, дѣйствительно, привлекала къ нему многихъ. Знакомые поглощали у него много времени, онъ страдалъ отъ этого иногда, но дверей своихъ не запиралъ, а встрѣчалъ каждого своею вроткою улыбкой. Многие находили въ этомъ большую слабость, но за это онъ приобреталъ любовь не только близкихъ людей, но и постороннихъ. Служить связью цѣлаго круга людей составляетъ не малую заслугу, особенно въ такомъ разобщенномъ обществѣ, какъ русское общество того времени. Самъ Герценъ признаетъ благотворное вліяніе на него дружбы Огарева.

Въ кругу Огарева на первомъ планѣ стояли друзья Станкевича и во главѣ ихъ Бѣлинскій и Бакунинъ. Къ друзьямъ его и Герцена принадлежали также Сатинъ, Боткинъ, Ветчеръ, Катковъ, Галаховъ и другіе. Съ

*) Т. II, стр. 169.

**) Т. А. Астракова, жена учителя математики Николая Ивановича Астракова, одного изъ друзей Герцена, была близкою участницей жизни Герценовъ почти съ самаго пріѣзда ихъ во Владиміръ до отъѣзда за границу. Т. II, стр. 105.

Вадимомъ Пассекомъ, женатымъ на родственницѣ Герцена, Татьянѣ Петровнѣ Кучиной, Герценъ хотя и оставался въ товарищески-дружескихъ отношеніяхъ, но, несмотря на это, какъ бы уклонялся отъ него вслѣдствіе сочувствія Пассека идеямъ славянофиловъ и своимъ вліяніемъ отклонилъ отъ него и Огарева.

Станкевичъ сдѣлался центромъ кружка еще во время своего студенчества; вліяніемъ своимъ на товарищей и тѣмъ поклоненіемъ, которымъ они его окружали, онъ былъ обязанъ своей чрезвычайно симпатичной, поэтически-нѣжной и до крайности чувствительной натурѣ и тому сантиментальному настроенію, которое составляло принадлежность тогдашней университетской молодежи. Уже по окончаніи курса Станкевичъ приступилъ къ изученію философіи Шеллинга (1835 г.), отъ котораго тотчасъ перешелъ къ послѣдовательному и глубокому изученію всѣхъ германскихъ философовъ, начиная съ Канта и кончая Гегелемъ. Его примѣръ увлекъ большой кругъ друзей, изъ которыхъ многіе составили себѣ потомъ имя въ наукѣ и литературѣ. До ареста Герцена и Огарева въ 1834 году, между кругомъ Станкевича и ихъ кружкомъ *) не было большой симпатіи. Членамъ перваго не нравились почти исключительно политическое направленіе и сочувствіе къ свободолюбивымъ идеямъ французовъ Герцена и его друзей; послѣдніе упрекали кругъ Станкевича въ политическомъ индифферентизмѣ, исключительно умозрительномъ направленіи и преувеличенномъ поклоненіи нѣмцамъ. Связующимъ звеномъ между обоими кружками былъ въ то время Т. Н. Грановскій съ своею мягкою, примиряющею натурой; но когда Герценъ пріѣхалъ въ Москву, его тамъ не было, онъ слушалъ въ это время лекціи въ Берлинѣ. Станкевичъ еще въ 1837 году уѣхалъ за границу и 27-ми лѣтъ потухалъ въ Италиі на берегахъ Lago di Como. Послѣ его отъѣзда началось крайнее увлеченіе его друзей философіей Гегеля. Они приняли Герцена радушно, но относились къ нему нѣсколько свысока, считая его отставшимъ отъ ихъ современнаго философскаго развитія, и требовали отъ него безусловнаго принятія Гегелевой феноменологіи и логики, и, притомъ, по ихъ толкованію. Ихъ наивно-внижное отношеніе къ жизни, презрѣніе къ французской литературѣ и всему французскому, отвращеніе ко всему, что относилось къ политикѣ, не могли не встрѣтить энергическаго протеста со стороны челоуѣка съ такою живою и трезвою натурой, какъ Герценъ. Особенно сильно возмущало его возведенное московскими гегелианцами въ основной принципъ изреченіе ихъ учителя: все, что дѣйствительно, то разумно, и что разумно, то дѣйствительно. Изреченію этому они придавали значеніе безусловной законности существующихъ порядковъ. Бѣлинскій былъ тогда самымъ страстнымъ представителемъ этихъ воззрѣній: глубоко вѣруя въ ихъ непреложность, онъ открыто проповѣдывалъ индійскій квіэтизмъ и те-

*) Къ кружку этому, кромѣ Герцена и Огарева, принадлежали: Сатины, Вадимъ Пассекъ, Сазоновъ, Кетчеръ, Савичъ, Носковъ, Дехтинъ и другіе. Молодые люди, его составлявшие, увлекались идеями Фурье и Сень-Симона и мечтали о преобразованіи всего общественнаго строя.

оретическое изученіе, вмѣсто борьбы. Его не страшили ни логическія послѣдствія такихъ взглядовъ, ни мнѣнія другихъ, потому что онъ былъ вполне искрененъ, совѣсть его была чиста. Столкновеніе его съ Герценомъ было неизбежно; благодаря ихъ размовкѣ, кругъ сталъ распадаться. Бѣлинскій, раздраженный и недовольный, около 20 октября уѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ отдалъ въ *Отечественныя Записки* свою извѣстную рецензію на книгу Ѡ. Глинки *Очерки Бородинскаго сраженія*. Въ статьѣ этой, названной *Бородинская годовщина*, какъ извѣстно, Бѣлинскій дошелъ до геркулесовыхъ столбовъ въ логическомъ развитіи идеи о разумности всего дѣйствительнаго. Герценъ послѣ этого прервалъ съ нимъ всякія сношенія. Михаилъ Бакунинъ, которому Бѣлинскій читалъ свою статью еще въ рукописи и который (по свидѣтельству Бѣлинскаго *) пришелъ отъ нея въ восторгъ, хотя еще спорилъ за него, но сталъ призадумываться, а послѣдній упрекалъ его въ слабости, въ уступкахъ и дошелъ до такихъ преувеличенныхъ крайностей, что испугалъ своихъ собственныхъ друзей и почитателей. Въ это время Герценъ нашелъ нужнымъ серьезно заняться Гегелемъ. Освоившись съ его языкомъ и овладѣвъ его философскимъ методомъ, онъ, къ удивленію своему, нашелъ, что Гегель гораздо ближе къ его воззрѣніямъ, нежели къ воззрѣніямъ московскихъ послѣдователей Гегеля. Такимъ образомъ, въ 1839 году Герценомъ былъ сдѣланъ первый шагъ на пути возникновенія между русскими послѣдователями Гегеля такъ называемой лѣвой стороны, приходившей къ совершенно инымъ выводамъ изъ ученія нѣмецкаго философа, чѣмъ тѣ, которые привели Бѣлинскаго къ идеямъ, высказаннымъ имъ въ *Бородинской годовщинѣ*. Но самъ Герценъ, раздѣлявшій еще въ 1839 году христіанскій мистицизмъ Витберга, не долго оставался въ ихъ рядахъ и уже въ 1841 году, какъ видно изъ его записокъ, перешелъ къ еще болѣе радикальнымъ воззрѣніямъ. Метафизика и мистицизмъ были ему несвойственны и не могли надолго овладѣть его духомъ. Тѣмъ не менѣе, было время, когда Герценъ, по собственному сознанию, увлеченный примѣромъ молодыхъ московскихъ философовъ, писалъ такимъ же, какъ они, условнымъ, мало понятнымъ языкомъ, который извѣстный математикъ и астрономъ Перевощиковъ назвалъ *птичьимъ*.

Въ декабрѣ 1839 г., какъ видно изъ письма его отъ 16 декабря этого года, Герценъ ѣздилъ въ Петербургъ безъ семьи и, проѣздомъ туда, дня четыре провелъ въ Москвѣ и въ это время помирился съ М. Л. Огаревой, размовка съ которой Герцена мучительно дѣйствовала на ея мужа.

Отправляя его въ Петербургъ хлопотать по дѣлу **), отецъ Герцена предупреждалъ его, чтобъ онъ былъ крайне остороженъ, боялся всѣхъ, начиная отъ кондукторовъ въ дилижансѣ и кончая его знакомыми, къ которымъ онъ далъ ему письма, и чтобъ никому не довѣрялся.

*) *Воспоминанія о Бѣлинскомъ* И. И. Панаева.

***) Иванъ Алексѣевичъ, желая передать сыну мнѣніе, отправилъ его въ Петербургъ хлопотать въ герольдію объ утвержденіи его въ чинѣ, который давалъ ему право на владѣніе населеннымъ имѣніемъ.

Герценъ не долго оставался въ Петербургѣ, въ три недѣли покончивъ съ дѣломъ, которое поручилъ ему устроить въ герольдіи отецъ, и, представившись графу Строганову *), обѣщавшему опредѣлить его въ свою канцелярію къ новому (1840) году, вернулся во Владиміръ, гдѣ оставалась его семья. Изъ Петербурга онъ написалъ моей матери только одно письмо отъ 16 декабря:

«Милостивая государыня

«Юлія Теодоровна!

«Хотя и не предвидится возможность, чтобы мое письмо пришло къ 20, но позвольте мнѣ имѣть честь приобщить и мое поздравленіе съ днемъ вашего рожденія; оно будетъ поздно, но, вѣдь, жаворонки, прилетающіе послѣ 9 марта, не худшіе, особенно ежели ихъ сравнить съ печеными на постномъ маслѣ. Дай Богъ одного вознагражденія за ту небесную доброту, съ которой вы встрѣтили насъ, странниковъ и ситальцевъ.

«Я въ Петербургѣ. Доселѣ одно зданіе привело меня въ восторгъ, это— Зимній дворецъ, дивно-чудное зданіе; можетъ, одни Palazzi въ Венеціи и Эскуриаль могутъ стать съ нимъ на одну доску; самый беспорядокъ этихъ пристроекъ, дополненій, разнохарактерность частей,—все придаетъ ему то широкое, многообразное изящество, которое находимъ мы въ трагедіяхъ Шекспира. Я непременно куплю дагеротипный видъ его; но это не легко: солнце здѣсь живетъ бонтонно, встаетъ въ десятомъ часу и такое блѣдное, торопливое, какъ всѣ петербургскіе жители, что его не поймашь въ дагеротипъ. Здѣсь раскупили всѣ картинки, привезенныя изъ Парижа; въ самомъ дѣлѣ, удивительная вѣрность рисунка и отдѣлки; ежели привезутъ еще, я попрошу позволенія прислать одну или двѣ вамъ для образца.

«Къ Ольгѣ Александровнѣ **) я поѣду завтра и тотчасъ напишу Ивану Емануиловичу; папенька меня тоже снабдилъ письмомъ къ ней.

«Вотъ ужъ одиннадцатый день, какъ я не имѣю вѣсти объ Наташѣ, и отъ этого мнѣ грустно, и шпницъ адмиралтейства, который передъ самыми огнями моими, меня не утѣшаетъ. Мнѣ что-то страшны и даль отъ Владиміра, и одиночество въ этой огромной массѣ людей; должно быть, я скоро отсюда уѣду. Я здѣсь не дома,—въ дилижансѣ я какъ-то привыкъ жить, а здѣсь нѣтъ.

«Въ заключеніе позвольте мнѣ попросить васъ передать мое усерднѣйшее поздравленіе Евгениі Ивановнѣ съ 24 декабря; я думаю, приду самъ поздравить въ 12 часовъ и для этого надѣну фракъ и бѣлыя перчатки, сидя дома въ Hôtel de Londre № 4.

«Прелестный голосъ Ольги Ивановны здѣсь извѣстенъ; меня спрашивалъ генералъ Боровинъ, имѣлъ ли я во Владимірѣ случай слышать Ольгу Ивановну?

«Позвольте утрудить васъ просьбой засвидѣтельствовать мое глубочайшее почтеніе и т. д.

«А. Герценъ».

1839 г., декабря 16.

С.-Петербургъ.

*) Сергій Григорьевичъ Строгановъ былъ въ то время министромъ внутрен. дѣлъ.

**) Ольга Александровна Жеребцова.

Въ началѣ 1840 года была получена во Владимірѣ бумага по поводу перевода Герцена на службу въ канцелярію министра внутреннихъ дѣлъ.

Въ мартѣ этого года Александръ Ивановичъ окончательно оставилъ Владиміръ и, пробывъ въ Москвѣ около двухъ мѣсяцевъ, 10 мая выѣхалъ отсюда на жительство въ Петербургъ.

Въ письмѣ изъ Москвы отъ 28 марта Наталья Александровна жалуется, что едва отдохнула отъ дороги и все еще въ хлопотахъ, изъ чего можно заключить, что переездъ ихъ изъ Владиміра въ Москву совершился не ранѣе половины этого мѣсяца. Описывая свое житье въ Москвѣ, она говоритъ: «До 10 часовъ утра мы дома, а тутъ папенька встаетъ и присылаетъ за Шушкой, онъ цѣлый день тамъ сидитъ подлѣ него на диванѣ, Маменька его нянчить, покупаютъ ему игрушки, балуютъ ужаснымъ образомъ; онъ послѣ дороги поумнѣлъ ужасно; начиная съ дѣдушки, знаетъ всѣхъ и гостей, звенитъ колокольчикомъ и говоритъ: «день, день, день», началъ ползать и до сихъ поръ не насмотрится на папенькиныхъ собакъ; няню я отпустила и днемъ въ ней нѣтъ никакой нужды, а ночь я ухаживаю за нимъ одна.

«Сколько удовольствія доставили вы Александру вашимъ прощальнымъ подаркомъ: головка Рафаэля виситъ въ его кабинетѣ; онъ не можетъ на нее довольно налюбоваться и по нѣскольку разъ въ день мы приходимъ смотрѣть ее».

Въ припискѣ къ этому письму Александръ Ивановичъ, благодаря мою мать за полученное отъ нея письмо, говоритъ: «оно насъ возвратило на цѣлый вечеръ во Владиміръ, мы вспоминали васъ, нашу тихую, тихую жизнь. На этотъ разъ я болѣе доволенъ Москвою, нежели въ прошлыя поѣздки, можетъ, оттого, что я смотрю на нее взоромъ расстающагося.

«Я получилъ изъ Петербурга подтвержденія, что дѣло за канцеляріей, — министръ подписалъ журналъ 29 февраля. Но и это не дурно, долѣше въ Москвѣ».

Во время этого непродолжительнаго своего прибыванія въ Москвѣ Герценъ встрѣтился съ Грановскимъ, вернувшимся изъ-за границы и занявшимъ въ Московскомъ университетѣ катедру исторіи. Впослѣдствіи, когда въ 1842 году Герценъ переехалъ изъ Новгорода въ Москву, они такъ тѣсно сблизились, что стали видѣться почти ежедневно.

До отъезда Герценовыхъ въ Петербургъ, моею матерью получено отъ нихъ еще четыре письма.

«Душечка, милая мамашенька!

«Ваше письмо и какое длинное, и какое прекрасное! Благодарю, благодарю васъ за наслажденіе, которое оно принесло мнѣ. Какъ жаль мнѣ душу Володичку; я воображаю, какъ вы, мой ангелъ, встревожились. Не рѣзвись, Володичка, не шали, милый дружочекъ, опять ушибешься, огорчишь папеньку, маменьку и тетеньку будетъ плакать; Саша мой тебя обнимаетъ, онъ никогда не рѣзвится.

«Меня весьма утѣшило вниманіе Ивана Емануйловича къ Сарнецкому;

этотъ человѣкъ истинно достоинъ улучшения своей участи, на васъ же я надѣюсь, какъ на друга всего страждущаго.

«Вотъ и свѣтлый праздникъ приближается; я не могу жалѣть о томъ, что мы проведемъ его здѣсь, въ кругу добрыхъ родныхъ, съ которыми долго, долго не увидимся, а истинно грустно, что поздравленіе наше, прежде нежели достигнетъ до васъ, должно пропутешествовать столько верстъ, но что кругъ родныхъ много *не паломъ*; но Богъ милостивъ, можетъ быть, мы скоро увидимся, что даль раздѣляющая насъ—уменьшится. Право, въ иную минуту сдѣлается такъ грустно, захочется такъ взглянуть на васъ, и прошедшее такъ живо, живо въ воображеніи... иду на лѣстницу... Фиделичка лаетъ, а Володя почиваетъ, боишьсядохнуть; вотъ вы, моя мамаша, другъ мой милый, съ вашею ангельскою улыбкой, съ вашимъ вѣчно-теплымъ, материнскимъ привѣтомъ... вотъ и добрая моя тетенька, моя наставница и учительница... право, сердце такъ забьется и полетѣлъ бы къ вамъ! Будутъ ли съ вами Палеологъ на праздникахъ? Скажите имъ нашъ искренній, сердечный поклонъ. *Маленькая собака* цѣлуетъ милаго Воличку.

«Гимназію вашу намъ очень жаль,—Владиміръ и безъ опустошенія былъ весьма не богатъ зданьями. Я же особенно новаго не имѣю ничего вамъ сказать, болѣею частью сижу дома, или, лучше сказать, перехожу изъ дома въ домъ, однако, была разъ въ концертъ; *Viuxtemps* играетъ превосходно и многіе утверждаютъ, что лучше Серве, котораго мнѣ не удалось слышать. Была на базарѣ, видѣла много хорошаго, между прочимъ, точную игрушку въ тысячу рублей. Такъ какъ васъ интересуется каждая бездѣлица, касающаяся насъ, то скажу вамъ и то, что папенька далъ намъ полтораста тысячъ, только съ тѣмъ, чтобъ капиталъ не трогать. Пора окончить, я слишкомъ распространилась... Александра я почти не вижу здѣсь, не живетъ вовсе дома, сдѣлалъ много новаго знакомства...»

16 апрѣля 1840 г.

Письмо Александра Ивановича, безъ числа, относящееся, какъ видно изъ его содержанія, къ концу апрѣля 1840 г., заключаетъ въ себѣ поздравленіе съ днемъ рожденія моего отца (4 мая) и ограничивается неполною страничкой: «Я въ хлопотахъ, дѣла и бездѣлья много, то и другое отнимаетъ у меня часовъ, право, 28 въ сутки, потому позвольте мнѣ ограничиться этими немногими строками»,—такъ кончается его онъ. Въ томъ же письмѣ Наталья Александровна, между прочимъ, пишетъ: «Последніе деньки доживаемъ здѣсь—грустно, особенно смотря на папеньку; онъ цѣлые часы, дни проводить съ Шушкой и никто его не можетъ разсмѣшить и занять, какъ онъ; право, въ инныя минуты мнѣ приходится въ голову: что, еслибъ его оставить у него?...»

Письмо Натальи Александровны отъ 1 мая не заключаетъ въ себѣ ничего особенно интереснаго,—видно, что она вся поглощена безконечною любовью къ своему малюткѣ, о которомъ пишетъ равныя подробности: «Мой маленький Саша цѣлуетъ ваши ручки; съ каждымъ днемъ въ немъ является что-нибудь новенькое,—теперь онъ проворно ползаетъ у дѣдушки на полу

и пресмѣшно припрыгиваетъ, точно лягушечка, лепечетъ много словъ, всѣхъ знаетъ». «Ежели бы вы не были матерью,—прибавляетъ она,— я не стала бы описывать вамъ такъ подробно, но вы знаете, что такое родительское чувство—и простите меня».

Замѣтно также, что близкій отъѣздъ въ Петербургъ какъ будто пугаетъ ее. «Мамашенька, душевненька, грустно думать, что мы еще дагѣ будемъ отъ васъ,—восклицаетъ она,—и когда увидимся?... И гдѣ?... И какъ? Не забудьте, мой ангелъ, написать письмо Евреинновой; я буду находить отраду, въ разлукѣ съ вами, съ такою близкою вамъ особой».

«А васъ, моя милая тетенька *), позвольте обнять и расцѣловать крѣпко, крѣпко... Что вы, моя душевненька, здоровы ли, что подѣлываете, вѣрите ли, какъ все хочется знать о васъ, ну, даже что Фиделичка, Карочка? Дружочекъ мой, утѣшите когда-нибудь словечкомъ вашу племянницу...»

Наконецъ, четвертое и послѣднее письмо изъ Москвы (отъ 9 мая) писано наванунѣ ихъ отъѣзда.

«Вспомнили ли вы, милостивая государыня Юлія Феодоровна, сегодня объ насъ **)? Два года тому назадъ вечеромъ сказали вамъ Модзольевскій ***), что Герценъ женился. Годъ тому назадъ вы вспомнили розой этотъ день».

«Мы встали въ шестомъ часу и поѣхали въ Симоновъ монастырь. Тамъ прощались съ Москвою, которая стелется вся подъ колокольней, и вспоминали прошлые два 9 мая. Вечеромъ были близкіе сердцу друзья. Конечно, этотъ день долженъ я болѣе праздновать, нежели бессмысленный день именинъ. День полного духовнаго возрожденія, начало гармонической жизни и блаженства, которому конца не видать».

«Мы ѣдемъ завтра. Прощайте, пожелайте счастливаго пути намъ...» Въ концѣ приписка: «10-го, когда вы получите это письмо, мы будемъ за 400 верстъ отъ васъ, когда-то увидимся?»

«Душевно преданный А. Герценъ».

На оборотѣ той же странички письмо Натальи Александровны начинается такими теплыми, задушевными словами:

10 мая.

«Прощайте, мой ангелъ мамаша, ѣдемъ, ѣдемъ... благословите насъ, не забывайте насъ, мы любимъ васъ, много любимъ. Вчера я посмотрѣла на тотъ букетъ, который вы прислали прошлаго года, и прочла ту записку. Да хранить всѣхъ васъ Господь».

В. Курута.

(Окончаніе слѣдуетъ).

*) Такъ называетъ Наталья Александровна сестру своей матери; Софью Феодоровну Капнель.

***) 9 мая 1838 г.—день свадьбы Герценовъ.

****) Кажется, чиновникъ особыхъ порученій владимирскаго губернатора.

Безсильная злоба антидарвиниста.

(По поводу статьи г. Страхова: «Всегдашняя ошибка дарвинистовъ» *).

But when men set themselves to cultivate skill in disputation, irrespective of the matter debated, — when men regard the matter discussed, not as a serious issue, but as a thesis upon which to practise their powers of controversy, — they learn to pursue, not truth, but victory; and their criterion of excellence having been thus perverted, they presently prefer ingenious fallacy to solid reasoning, and the applause of bystanders to the consciousness of honest effort.

(См. слово *Sophists* въ *Encyclopaedia Britannica*, vol. XXII, p. 265).

Воистину, „логика мстить за себя жестоко“ **).

Въ 1885 году, какъ извѣстно, появилась книга Н. Данилевскаго *Дарвинизмъ*, въ которой авторъ ея вознамѣрился опровергнуть это ученіе, въ цѣломъ и въ частностяхъ. Ученыхъ эта книга, конечно, не могла интересовать, такъ какъ бѣлаго знакомства съ ней было достаточно для ея оцѣнки. Это былъ сборъ давно извѣстныхъ и въ свое время устраненныхъ возраженій, выраженныхъ въ преувеличенной, гиперболической формѣ, снабженныхъ ненужными, длинными отступленіями, рассчитанными на то, чтобы произвести на неопытнаго человѣка впечатлѣніе научной вѣскости, въ довершеніе, изложенныхъ хлесткими, самонадѣянными тономъ, замѣняющимъ для иного читателя логическую аргументацію. Для ученыхъ, повторяю, трудъ Данилевскаго такъ и остался сошпе поп авени. Но не ученыхъ, способныхъ критически отнестись къ дѣлу, имѣла въ виду эта книга. Дарвинизмъ, — худо ли это, или хорошо, — бесплодно разбирать, такъ какъ мы стоимъ передъ фактомъ, съ которымъ приходится считать-

*) *Русскій Вѣстникъ* 1887 г., ноябрь и декабрь.

**) Эпиграфъ заимствованъ изъ статьи г. Страхова.

ся, — дарвинизмъ давно сталъ достояніемъ не однихъ специалистовъ-ученыхъ, а и вообще образованныхъ, мыслящихъ людей. Озадачить читателей этой категории хитросплетенными софизмами, потопленными въ массѣ научныхъ частныхъ, въ расчетѣ на его очевидную беспомощность разобратъ въ этомъ хаосѣ, — вотъ въ чемъ былъ очевидный умыселъ при изданіи этой неумѣренно-толстой книги. Къ числу такихъ почти беспомощныхъ читателей могла быть отнесена и значительная доля учащихся. Составить себѣ мнѣніе по одному изъ важнѣйшихъ вопросовъ современной науки для нихъ, конечно, весьма существенно. Но прочесть тысячу страницъ — трудъ не маловажный; прочесть же ихъ основательно, съ карандашомъ въ рукахъ, дѣлая критическія замѣтки, сопоставляя противорѣчія, провѣряя ссылки, — трудъ рѣшительно непосильный, при многочисленности другихъ, болѣе полезныхъ занятій. Что же оставалось имъ дѣлать: ограничиться заключительными главами съ ихъ: доказавъ, опровергъ, окончательно доказавъ, окончательно опровергъ, т. е. повѣрить на слово автору или такъ же слѣпо повѣрить отрицательному отзыву другаго «вѣрнаго человѣка»?

Нуженъ извѣстный навыкъ къ подобнаго рода трудамъ, для того, чтобы съумѣть вылущить ядро такого сочиненія изъ облекающей его толстой шелухи, для того, чтобы отренарировать голый скелетъ всей аргументаціи и показать, на какихъ жалкихъ двухъ-трехъ софизмахъ выведена главная логическая постройка. Этотъ нелегкій, неблагодарный, но, я твердо убѣжденъ, полезный трудъ я старался выполнить по мѣрѣ того досуга, который могъ удѣлить на это дѣло отъ болѣе серьезныхъ своихъ занятій. Въ моей статьѣ: *Опровергнутъ ли дарвинизмъ?* желающій найдетъ нить, при помощи которой не запутается въ лабиринтѣ книги Данилевскаго, получитъ возможность провѣрить справедливость моего приговора о ней, не руководясь инымъ авторитетомъ, кромѣ собственнаго здраваго смысла.

Не этого, конечно, ожидали горячіе поклонники Данилевскаго. Сначала, оскорбленные молчаніемъ при выходѣ книги (по правдѣ сказать, единственнымъ приѣмомъ, котораго она заслуживала), они начали задирать, инсинуировать, что дарвинисты ее «замалчиваютъ». Понятно было ихъ изумленіе и негодованіе, когда оказалось, что не бессильемъ передъ врагомъ, а только пренебреженіемъ къ нему объяснялось это молчаніе научной критики. А, главное, никакъ не ожидали они возраженія съ той стороны, съ которой оно пришло; думали, стануть указывать на какіе-нибудь мелкіе промахи, а вдругъ оказалось отсутствіе здравой логики въ основной аргументаціи пресловутой книги. Оставить такъ дѣло было, конечно, невозможно; съ отвѣтомъ выступилъ г. Страховъ, связавшій свое имя съ судьбой этой книги, тѣмъ до комизма преувеличенными похвалами, которыя онъ ей расточалъ.

Какъ всякій человѣкъ, не увѣровавшій въ свою непогрѣшимость, принялся я за статью г. Страхова, ожидая найти въ ней какіе-нибудь доводы, которые придется взвѣсить, обсудить, можетъ быть, даже убѣдиться въ сдѣланныхъ мелкихъ промахахъ, поспѣшныхъ сужденіяхъ, недосмот-

цахъ. Особенно боялся я послѣдняго: когда на 50 страницахъ отвѣчаешь на такую толстую книгу, всегда боишься, что, быть можетъ, упустилъ какой-нибудь доводъ, и это упущеніе можетъ быть сочтено за умышленное уклоненіе отъ его обсуждения. Но, по прочтеніи обѣихъ статей г. Страхова, я испыталъ самое отрадное чувство, сознание, что не имѣю повода раскаиваться ни въ одномъ словѣ моей критики. Въ переполненной ничѣмъ не оправдываемыми грубыми личными нападками безконечно длинной статьѣ г. Страхова я не нашелъ ни одного заслуживающаго вниманія, прямого, опредѣленнаго, не голословнаго возраженія; вся она представляетъ только попытку извернуться, зацутавъ, затемнивъ въ глазахъ читателя само по себѣ ясное дѣло.

Слабость аргументаціи г. Страхова показала мнѣ до того очевидно, что самую достойною местию ему я считалъ простой совѣтъ всѣмъ желающимъ знать мое о ней мнѣніе, — совѣтъ внимательно прочесть его статью. Отвѣчать я считалъ излишнимъ. Къ этому побуждало меня отвращеніе къ полемикѣ вообще, а особенно къ той, не имѣющей ничего общаго съ научною полемикой разновидности ея, примѣромъ которой служить статья г. Страхова. Въ полемикѣ научной требуется доказать или опровергнуть извѣстное положеніе, а для этого необходимо постоянно имѣть въ виду предметъ спора; требуется убѣдить самаго строгаго судью, а не сбить только съ толку безпомощнаго читателя. Въ той же полемикѣ, о которой я говорю, нужно только сохранить видъ, что отдѣлалъ противника. А для этого можно прибѣгать къ такимъ уловкамъ: вмѣсто одного вопроса, искусно подсунуть другой; чтобъ отвлечь въ нужный моментъ вниманіе читателя, наговорить кучу къ дѣлу не относящихся вещей; приписать противнику то, чего онъ не говорилъ, и т. д., — однимъ словомъ, пускать въ ходъ всѣ приемы искусства фокусника, отъ котораго зрители только и требуютъ ловкаго мороченья и, въ случаѣ успѣха, охотно награждаютъ аплодисментами. Если присоединить къ этому беззащѣтливую рѣзкость тона, то получится полная характеристика этого рода полемики. Почему оно такъ, трудно сказать, но это фактъ, еще за полвѣка тому назадъ подмѣченный Гоголемъ. «Положимъ, — писалъ онъ, — для журналиста необходима рѣзкость тона и нѣкоторая даже дерзость (чего, однако, мы не одобряемъ, хотя намъ извѣстно, что съ подобными качествами журналистъ всегда выигрываетъ въ мнѣніи толпы)». Что эти нравы не измѣнились за полвѣка, свидѣтельствуетъ и самъ г. Страховъ въ предисловіи къ своей *Борьбѣ съ Западомъ*, объясняющій рѣзкость своего тона «дурною журнальною привычкою».

Стоить ли, думалось мнѣ, обращать вниманіе на возраженіе такое жалкое по своему внутреннему содержанію, стоитъ ли раздражаться этими проявленіями «дурной журнальной привычки», а, можетъ быть, и самому втягиваться въ нее, а, главное, стоитъ ли терять золотое время, котораго не хватаетъ и на серьезное дѣло? Эти соображенія, особенно послѣднее, взяли верхъ и я рѣшилъ оставить статью безъ отвѣта. Но нѣкоторые

симптомы, на которые обратил мое внимание, заставляют думать, что мое молчаніе *вторично* принимается за признаніе себя побѣжденнымъ. Поклонники г. Страхова видятъ въ этомъ его произведеніи перлъ его научно-литературной дѣятельности, полагая, что въ этой статьѣ, онъ навѣки похоронилъ дарвинизмъ. Это бы еще ничего, но нашелся ученый, безпристрастно ставящій и мою критику, и возраженіе г. Страхова на одинъ уровень, даже, повидимому, склоняющійся на сторону того, за кѣмъ осталось послѣднее слово *). Долге молчать невозможно. Дѣлать нечего, *вторично, противъ желанія*, приходится браться за перо, для того, чтобы охладить преждевременный восторгъ нашихъ антидарвинистовъ, показать всю безнадежность ихъ лилипутскихъ походовъ противъ одного изъ гигантовъ научной мысли девятнадцатаго вѣка, а кстати пояснить и безпристрастному ученому, въ чемъ заключается разница между страгою легивой и софистическою зривкой.

Для облегченія своей задачи, а еще болѣе для того, чтобы читатели видѣли, что я не оставляю ничего существеннаго въ статьѣ г. Страхова безъ отвѣта, буду придерживаться того же дѣленія, тѣхъ же курьезныхъ заголовковъ, которые придуманы самимъ г. Страховымъ.

I.

Начало полемики.

Г. Страховъ начинаетъ съ того, что съ неподражаемою игривостью, конфиденціально сообщаетъ своимъ читателямъ секретъ, сокровенный смыслъ его первой статьи по поводу книги Данилевскаго **). Статья эта, — поясняетъ онъ, — была только рекламой, имѣвшей въ виду во что бы то ни стало заставить говорить объ этой книгѣ — худо ли, хорошо ли, все равно, лишь бы только нарушилось то невыносимое для поклонниковъ Данилевскаго молчаніе, которое сопровождало ея появленіе. Вотъ ужъ подлинно: un secret de Polichinelle! Для кого же не было ясно истинное значеніе этой статьи? Одно названіе ея *Полное опроверженіе* прямо отзывалось трескучею рекламой. Но не въ томъ и дѣло; эта исповѣдь нужна г. Страхову только для того, чтобы похвастать, какъ ловко онъ будто бы выманилъ меня на бой, а по этому поводу, кстати, съ первыхъ же строкъ отрекомендовать меня своимъ читателямъ, какъ самодовольнаго пошляка; это нужно было для того, чтобы изобразить себя хитроумною лисой, а меня — падкой будто бы на лестъ вороной. Для этой благой цѣли, онъ также съ первыхъ же строкъ прибѣгаетъ къ приему, которымъ потомъ широко будетъ пользоваться въ своей статьѣ, — приему очень элементарному, заключающемуся въ томъ, чтобы вставлять мнѣ въ ротъ диаметрально противоположное тому, что я говорю. Онъ пишетъ: «Тимирязевъ думаетъ, что я

*) См. мою статью: *Странный обращеніе научной критики (Русская Мысль, кн. III)*.

***) *Русскій Вѣстникъ*, 1887 г., январь: *Полное опроверженіе дарвинизма*.

(т.-е. г. Страховъ) возгордился такимъ отличнымъ ученымъ, какъ онъ, между тѣмъ какъ, въ дѣйствительности, я пишу, что очень хорошо понимаю ироническій тонъ его похвалъ, что въ его глазахъ я только «самый послѣдовательный сторонникъ несомнѣннаго заблужденія». Не довольствуясь этимъ, черезъ нѣсколько страницъ г. Страховъ уже прямо представляетъ меня фатомъ, который самъ себя говоритъ комплименты. Онъ пишетъ: «г. Тимирязевъ самъ себя называетъ серьезнымъ ученымъ», и еще имѣетъ смѣлость ссылаться на страницу, очень хорошо зная, что тамъ этого не говорится. Я говорю, что «каждый серьезный ученый», заглянувъ въ книгу Данилевскаго, «перешелъ къ своимъ очереднымъ занятіямъ», а я-то именно этого не сдѣлалъ и подробно объясняю, почему. Г. Страховъ могъ сдѣлать изъ этихъ словъ выводъ, что я самъ считаю себя «несерьезнымъ» ученымъ, но это не входило въ его расчеты; ему нужно было выставить меня въ глазахъ своихъ читателей хвастливымъ фатомъ и сразу возбудить противъ меня предубѣжденіе. Останавливаю вниманіе читателя, на первыхъ же порахъ, на этомъ характеристичномъ литературнымъ приѣмъ г. Страхова, съ которымъ, повторяю, придется не разъ встрѣтиться во всей статьѣ.

Поговоривъ немного о «фанатизмѣ ученыхъ», мѣщающемъ имъ, конечно, проникнуться мировымъ значеніемъ такихъ книгъ, какъ книга Данилевскаго (къ чему мы вернемся), рассказавъ никому не интересныя подробности, какъ я читалъ лекцію, и что онъ, г. Страховъ, въ это время перечувствовалъ, онъ патетически восклицаетъ: «Публичная лекція—страшное орудіе, и оно-то неожиданно было направлено на дѣло, за которое я стоялъ». Здѣсь невольно спрашиваешь себя: на что же собственно ропщеть г. Страховъ? Если я могъ въ Москвѣ, въ публичной лекціи, защищать дарвинизмъ, то что же могло помѣшать г. Страхову, вооружившись своимъ «полнымъ опроверженіемъ» или «всегдашнею ошибкой», пройти съ этимъ «страшнымъ оружіемъ» по всемъ городамъ и всѣмъ землямъ Русской? Очевидно, что и въ этомъ ненужномъ отступленіи о моей лекціи кроется какой-то скрытый смыслъ. Г. Страховъ обращаетъ вниманіе на примѣчаніе къ моей статьѣ, въ которой сказано, что эта «публичная лекція *значительно* переработанная и дополненная» и что потому онъ можетъ «привлечь къ отвѣтственности» только печатную рѣчь. Для усиленія смысла г. Страховъ слово значительно даже пишетъ курсивомъ. Смыслъ всего этого, очевидно, заключается въ инсинуаціи, что я, пожалуй, позволилъ себѣ на лекціи многое такое, за что г. Страховъ не можетъ призвать меня къ отвѣтственности. Спѣшу успокоить г. Страхова: я не имѣю обыкновенія отказываться отъ своихъ словъ, все равно—произнесенныхъ или напечатанныхъ. Что же касается примѣчанія, то оно сдѣлано даже и не мною, а редакціею, безъ моего вѣдома; все, что я читалъ, *дословно* появилось и въ печати, дополненною же статья явилась потому, что изъ лекціи были выкинуты мѣста, которыя для лекціи были бы слишкомъ скучны. Успокоивъ напрасно встревожившуюся подозрительность г. Страхова, перейдемъ

къ сущности дѣла, посмотримъ, какъ будетъ онъ «привлекать меня къ отвѣтственности». Впрочемъ, г. Страховъ не такъ-то легко приступаетъ къ дѣлу: за первымъ вступленіемъ у него слѣдуетъ еще второе. Оно озаглавлено:

II.

Мои затрудненія.

Для того, чтобъ окончательно отрекомендовать меня своимъ читателямъ, г. Страховъ увѣряетъ ихъ (очевидно, съ никогда не покидающею его увѣренностью, что его читатели меня не читали и не станутъ читать), что на 50-ти страницахъ моей статьи «нѣтъ ни одного возраженія», что я «только не дочиталъ, не понялъ, исказилъ», что «смутность содержанія такова, что читатель не выносить изъ статьи никакой ясной мысли», что «такая манера хороша только для фельетониста», что «опровергнуть статью вовсе нѣтъ надобности», что «на любой страницѣ (у Данилевскаго) болѣе логики и строгой мысли, чѣмъ во всей статьѣ г. Тимирязева, какъ бы мы эту статью ни выжимали». Послѣ этого набора огульно голословныхъ, бездоказательныхъ рѣзкостей г. Страховъ съ неподражаемою наивностью увѣряетъ, что онъ рѣшился не быть рѣзкимъ, хотя ему на это будто бы даетъ полное право рѣзкій тонъ моей статьи, въ доказательство чего приводитъ цѣлый рядъ выраженій, выхваченныхъ безъ связи съ содержаніемъ.

Г. Страховъ упустилъ изъ вида только одно коренное различіе между своею голословною бранью и тѣмъ, что онъ называетъ моими рѣзкостями. Каждая моя «рѣзкость» только строго опредѣленная квалифікація извѣстнаго приѣма, извѣстной неприличной выходки самого Данилевскаго. Когда онъ говоритъ, что превратилъ дарвинизмъ «въ гучу мусора», я называю эту выходку «самодовольно-самоувѣренною», и всякій человѣкъ, не ослѣпленный личною пріязнью, не можетъ не согласиться съ этимъ. Когда онъ увѣряетъ, что «прижажь къ стѣнѣ сомоувѣреннаго (!) Дарвина», а на дѣлѣ приводитъ не имѣющую смысла выписку изъ затхлаго словаря прошлаго столѣтія, я говорю, что «самоувѣренность и хвастливость возмѣщаютъ у него недостатокъ логики». Когда онъ серьезно увѣряетъ, что понятность и быстрое распространеніе теоріи доказываютъ, что она плоха, то я говорю, что онъ «позволяетъ себѣ шутить надъ здоровою логикой», и т. д., и т. д. Каждое мое обвиненіе не только подгрѣплено фактомъ, но всегда является послѣ вызвавшаго его факта. Что же общаго между этими сужденіями и огульною, по самой своей природѣ не допускающею доказательства, бранью вродѣ изреченія, что «на любой страницѣ (у Данилевскаго) болѣе логики и стройной мысли, чѣмъ во всей статьѣ г. Тимирязева, какъ бы мы эту статью не выжимали»? Я полагаю, что подобные обороты рѣчи, наравнѣ съ ихъ прототипомъ: «онъ ему въ подметки не годится», давно слѣдуетъ предоставить въ беззавѣдное пользованіе базарныхъ торговцевъ.

Устоявъ, по его мнѣнію, отъ соблазна наговорить мнѣ рѣзкостей (лю-

бопытно бы знать, что же г. Страховъ называетъ рѣзкостью?), онъ дѣлаетъ попытку встать по отношенію ко мнѣ на какую-то высшую точку зрѣнія, вродѣ той, которая выражается извѣстною фразой—*tout comprendre c'est tout pardonner*. Онъ снисходитъ до того, что старается отождествиться съ моею личностію и великодушно разъяснить себѣ, почему я роковымъ образомъ долженъ былъ впасть въ заблужденіе—увлечься такимъ жалкимъ ученымъ, какъ Дарвинъ, и не понять, что Данилевскій (на котораго, по изящному выраженію г. Страхова, я «неожиданно для себя насочилъ») «сіяетъ умомъ». Въ самомъ дѣлѣ, что я такое? Только ученый, да, къ тому же, еще профессоръ. Этимъ, по мнѣнію г. Страхова, все сказано. «Нравы ученыхъ людей,—говоритъ онъ еще ранѣе этого мѣста, мнѣ давно знакомы и изъ книгъ, и изъ практики. Только религиозные фанатики превосходятъ ихъ въ законѣломъ предубѣжденіи и отвращеніи ко всему, что противорѣчитъ ихъ мнѣніямъ. Ученые принадлежатъ къ числу людей, наиболѣе слѣпо преданныхъ своимъ авторитетамъ и менѣе всего способныхъ отказаться отъ своихъ предвзятыхъ мыслей. То, что они называютъ наукой, есть ихъ исповѣданіе, ихъ профессія; они наполнены и поглощены этою наукой и потому естественно заражаются, такъ сказать, научнымъ фанатизмомъ». Насколько все это вѣрно по отношенію ко мнѣ (такъ какъ обо мнѣ, къ сожалѣнію, идетъ рѣчь въ этой главѣ), читатель вскорѣ будетъ въ состояніи судить; онъ увидитъ, кто изъ насъ болѣе фанатикъ: я ли по отношенію къ Дарвину, или г. Страховъ въ своемъ культѣ Данилевскаго. Я, впрочемъ, далеко отъ мысли оспаривать, что и типъ ученаго имѣетъ свои отрицательныя—пожалуй, даже смѣшныя—стороны; я, напротивъ, думаю, что онъ были достаточно эксплуатированы въ литературѣ и даже на сценѣ. Но въ свою очередь я думаю, а г. Страховъ, можетъ быть, даже знаетъ «и изъ практики», что есть типъ еще болѣе смѣшной: это—типъ пеудавшагося ученаго, типъ человѣка отъ науки отставшаго, къ другому дѣлу не приставашаго, сохранившаго какой-то остатокъ горечи по отношенію къ этой недавнейся ему наукѣ, убѣжденнаго, что она остановилась, когда онъ забросилъ свои книжки, и пытающагося увѣрить себя и другихъ, что наука двигается не трудами ученыхъ, а схоластическою діалектикой или внезапнымъ осѣненіемъ людей, отъ науки свободныхъ.

Кромѣ двухъ основныхъ моихъ недостатковъ (т. е. качествъ ученаго и профессора), г. Страховъ усматриваетъ во мнѣ еще два недостатка, т. е., съ его высшей точки зрѣнія, два смягчающихъ обстоятельства. Я преклоняюсь передъ европейскою наукой и на такихъ «сіяющихъ умомъ» дѣятелей, какъ Данилевскій, смотрю какъ на диллетантовъ. Г. Страховъ, какъ и подобаетъ, глумится надъ этимъ преклоненіемъ передъ европейскою наукой. Слово европейская, — говоритъ онъ, — въ глазахъ профессора и его слушателей означаетъ «драгоцѣнное качество», и далѣе иронизируетъ: «обязанность профессора у насъ состоитъ, вѣдь, главнымъ образомъ, въ томъ, чтобъ неустанно слѣдить за общимъ направленіемъ европейской науки и передавать его своимъ слушателямъ». Сознаюсь,

съ полною откровенностью, что слово «европейская» имѣетъ дѣйствительно «драгоценный» для меня смыслъ. Говоря: «европейская мысль», «европейская наука», я ни мало не противопоставляю ей какую-нибудь русскую мысль, русскую науку,—наука одна, и русская наука только одинъ изъ голосовъ въ общемъ хорѣ. Я только не смѣшиваю этого голоса съ тѣмъ трусливымъ шипомъ или молодецкимъ свистомъ, которыми многіе безуспѣшно пытаются заглушить этотъ стройный хоръ общечеловѣческой мысли. Что же касается обязанностей профессора, разъ что и о нихъ уже зашла рѣчь, то я замѣчу, что всякое ремесло, въ томъ числѣ и профессорское, имѣетъ свои тяжелыя и свои священные обязанности. Въ числу тяжелыхъ обязанностей профессора относится обязанность читать книги толстыя и книги глупыя, что бываетъ вдвойне тяжело, когда книги толстыя оказываются, въ то же время, и глупыми. Въ числу же самыхъ священныхъ обязанностей профессора относится обязанность облегчать своимъ слушателямъ чтеніе толстыхъ и глупыхъ книгъ, снабжать слушателей компасомъ, при помощи котораго они могли бы пробиться черезъ самыя непроходимыя схоластическія дебри, не рискуя въ нихъ окончательно заблудиться.

Второе обвиненіе (или оправданіе—право, ужь не разберусь) заключается въ томъ, что на Данилевскаго я смотрѣлъ какъ на диллетанта—съ нѣкоторою долей пренебреженія. Кажется и въ томъ, и въ другомъ. Но скажите, какъ, если не диллетантомъ, назвать человѣка, который сегодня уничтожаетъ филоксеру, завтра—Дарвина, а мимоходомъ и Европу? И какъ, если не пренебреженіемъ, называется то чувство, которое внушала синица, когда она не зажгла моря?

Въ заключеніе этой главы г. Страховъ похваляется, что могъ бы «разобрать по ниточкамъ всѣ его (т.-е. мои) промахи и недосмотры», но не дѣлаетъ этого только потому, что еслибъ это и было «весело» ему, то не было бы весело читателямъ. Позволительно, однако, сомнѣваться, чтобъ г. Страховъ рискнулъ проявить такое самоубійственное самоотверженіе,—по крайней мѣрѣ, во всей статьѣ не замѣтно, чтобъ онъ себѣ отказывалъ въ этомъ весельѣ,—съ какимъ успѣхомъ, читатель увидитъ. Въ тому же, посвятивъ 80 страницъ разбору статьи, въ которой ихъ съ небольшимъ 50, не только можно, но и должно было разобрать ее «по ниточкамъ», и если этого не сдѣлано, то ужь, вѣроятно, не по отсутствію желанія.

Наконецъ, на послѣднихъ строкахъ этого втораго введенія г. Страховъ внезапно озадачиваетъ заявленіемъ, что для того, чтобы полемика была плодотворна, нужно пайти, въ чемъ заключается главная ошибка дарвинизма. Вотъ ужь, признаться, не ожидалъ! Право, какъ обухомъ по головѣ. Да помилуйте, вѣдь, Данилевскій ужь нашелъ эту ошибку или эти ошибки? Вѣдь, г. Страховъ возвѣстилъ же *ubi et ubi* о *полномъ* опроверженіи дарвинизма? Полнѣе полнаго не бываетъ. Стоить, значить, только предъявить «непонятый и искаженный» мною текстъ Данилевскаго. Оказывается, что нѣтъ. При *полномъ опроверженіи*, *главную-то ошибку* и просмотрѣли. Данилевскій, въ двухъ своихъ томахъ, *n'a pas trouvé le joint*. Приходится начинать

съ начала. Г. Страховъ отправляется, уже за свой счетъ, въ поиски за настоящимъ опроверженіемъ дарвинизма. Вотъ ужъ подлинно Сизифовъ трудъ!

III.

Возможность и дѣйствительность.

Наконецъ-то къ дѣлу. Г. Страховъ начинаетъ съ того краткаго, сжатаго опредѣленія естественнаго отбора (т.-е. сущности дарвинизма), которое я предпосылаю разбору воззрѣній Данилевскаго. Я говорю, что если сопоставить три факта, не подлежащіе сомнѣнію, такъ какъ они вытекаютъ изъ наблюденія ежедневной дѣйствительности, — фактъ измѣнчивости существъ, фактъ наслѣдственности признаковъ, фактъ геометрической прогрессіи размноженія, — то общій результатъ ихъ, т.-е. фактъ переживанія наиболѣе приспособленнаго или естественный отборъ, является какъ логически «обязательный для нашего ума выводъ» *).

Что же дѣлаетъ г. Страховъ для того, чтобы лишить этотъ выводъ его обязательной для нашего ума силы? Три раза, на двухъ страницахъ, повторяетъ онъ только что приведенныя положенія, съ совершенно равнозначущими приставками. По мнѣнію дарвинистовъ, органическія существа измѣняются, измѣненія наслѣдуются, размноженіе совершается въ геометрической прогрессіи, а я говорю, поясняетъ онъ: органическія существа *могутъ* измѣняться, измѣненія *могутъ* наслѣдоваться и т. д. вплоть до конца. Дарвинисты говорятъ: отборъ—только необходимое слѣдствіе измѣнчивости, наслѣдственности и т. д., а я говорю, —повторяетъ г. Страховъ, —отборъ произойдетъ, *если* произойдутъ измѣненія, *если* эти измѣненія унаслѣдуются и т. д. опять до конца. Но, опасаясь, что эти *могутъ* и эти *если* недостаточно еще пробрали читателя, онъ въ третій разъ перефразируетъ ту же мысль, съ еще болѣе длинною приставкой. Вы говорите: измѣненія произошли, а я говорю: *могли произойти, а могли и не произойти*; вы говорите: наслѣдственность передала, а я говорю: *могла передать, а могла и не передать*, —и такъ далѣе опять по всему ряду. Въ этомъ, съ литературной точки зрѣнія, безвкусномъ пережевываніи одной и той же мысли на три совершенно сходные лада, въ этомъ убойственномъ, тоску наводящемъ толченіи на одномъ мѣстѣ, какъ мы увидимъ, заключается главный, побѣдоносный аргументъ всей статьи. Онъ означаетъ вотъ что. Если, думаетъ убѣдить своихъ читателей г. Страховъ, я могъ ко всѣмъ послылкамъ дарвинизма прилѣпить эти ядовитыя приставки: *могутъ, если, могутъ, а могутъ и не*, то значить, что всѣ эти послылки, т.-е. измѣнчивость, наслѣдственность, геометрическая прогрессія размноженія—не факты, не реальная дѣйствительность, а лишь *возможности*, а, слѣдовательно, и выводъ изъ нихъ—естественный отборъ—возможность въ кубѣ, т.-е. полная невѣроятность. «Этотъ подборъ,—докторально преповѣдуетъ г. Страховъ,—

*) Выражаюсь здѣсь нарочно словами Дюбуа Реймона, чеховѣца, какъ извѣстно, способнаго логически рассуждать.

такимъ образомъ, вовсе не есть фактъ, съ логическою необходимостью вытекающій изъ другихъ несомнѣнныхъ фактовъ, а есть только возможность, выводимая изъ другихъ возможностей, и, слѣдовательно, тѣмъ болѣе шаткая, чѣмъ больше нужно предполагать этихъ возможностей. Ошибка дарвинистовъ заключается, поѣтому, въ томъ, что они возможность принимаютъ за дѣйствительность». А нѣсколькими строками далѣе онъ уже тономъ побѣдителя восклицаетъ: «И нѣтъ ничего легче, какъ придумать возможность, которая никогда не исполняется въ дѣйствительности. Такъ и подборъ въ природѣ не существуетъ».

Точно такъ ли? Не вѣрнѣ ли, что между послылками и выводомъ г. Страхова нѣтъ никакой связи? Не вѣрнѣ ли, что, прилѣпивъ свои «могутъ, не могутъ» къ послылкамъ въ одномъ, узкомъ смыслѣ, онъ желаетъ получить ихъ въ выводѣ уже въ совершенно иномъ, широкомъ смыслѣ? Подумалъ ли г. Страховъ, что его приставки могутъ быть прилѣплены къ составнымъ элементамъ почти любого реальнаго, опытомъ удостовѣряемаго явленія и что этимъ явленіе это (конечно, не на бумагѣ, а на дѣлѣ) не будетъ перемѣщено изъ міра реальной дѣйствительности въ призрачный міръ придуманныхъ возможностей?

Пояснимъ дѣло на примѣрѣ, нарочно избравъ такую теорію, согласіе которой съ дѣйствительностью лежитъ внѣ сомнѣнія. Объясняетъ ли наука, откуда берется вода въ рѣкѣ, наприм., въ Волгѣ? Конечно, объясняетъ, и такъ удовлетворительно, что всѣми это объясненіе принимается за достовѣрную истину. А теперь посмотримъ, выдержать ли эта научная теорія натискъ, придуманныхъ г. Страховымъ «могутъ, не могутъ». Происхожденіе воды въ Волгѣ объясняется приблизительно такъ. Изъ атмосферы падаютъ осадки (дождь, снѣгъ и проч.); они просачиваются сквозь почву, образуютъ источники; источники образуютъ рѣчки, рѣки,—словомъ, Волгу съ ея притоками. Такъ думаютъ натуралисты, да и простые смертные. Но вотъ приходитъ философъ вродѣ г. Страхова и ведетъ такую рѣчь: «Вы говорите, что дождь падаетъ на землю; но, вѣдь, онъ *можетъ* падать, а *можетъ и не* падать; вы говорите: вода просачивается сквозь почву; но, вѣдь, она *можетъ* просачиваться, а *можетъ и не* просачиваться, напримѣръ, испаряться; вы говорите, что вода собирается въ источники; но, вѣдь, она *можетъ* собираться, а *можетъ и не* собираться, наприм., образовать болота, и т. д. до конца. Вся ваша теорія, продолжаетъ нашъ философъ, объясняющая происхожденіе воды въ Волгѣ, только *возможность*, основанная на длинномъ рядѣ возможностей и, слѣдовательно, «тѣмъ болѣе шаткая». «Нѣтъ ничего легче, какъ придумать возможность, которая никогда не исполняется въ дѣйствительности», «такъ и процессъ, которымъ вы объясняете происхожденіе воды въ Волгѣ, въ природѣ не существуетъ». Не правда ли, какая блестящая диалектика, какой убійственно-логическій выводъ? Но подрываетъ ли онъ хотя сколько-нибудь достовѣрность нашего объясненія, переводитъ ли онъ его изъ области реальной дѣйствительности въ область невѣроятной возможности?

Всякому человѣку, привыкшему здраво разсуждать, понятно, гдѣ кроется логическая ошибка, въ чемъ несоотвѣтствіе между посылками и выводомъ. Ясно, что слово возможность, примененное въ извѣстномъ, ограниченномъ смыслѣ къ части, распространяется въ иномъ, болѣе широкомъ смыслѣ на цѣлое явленіе.

Когда я говорю, что такая-то научная теорія только *возможна*, я этимъ хочу сказать, что она обладаетъ самою низкою степенью достовѣрности, что она даже не можетъ быть названа вѣроятной, что она только терпима, потому что не противорѣчитъ дѣйствительности, и, въ сущности, совсѣмъ бесполезна. Сказать объ естественно-исторической теоріи, что она только возможна, значитъ приравнять ее тѣмъ трансцендентальнымъ, метафизическимъ построеніямъ, которыя въ свое оправданіе могутъ привести только то, что они мыслимы, т.-е. не заключаютъ внутренняго противорѣчія. Въ такомъ-то именно уничижительномъ смыслѣ, очевидно, желалъ г. Страховъ подсунуть своимъ читателямъ свой выводъ: естественный отборъ—не дѣйствительность, а только возможность, по крайней своей невѣроятности въ природѣ не допустимая. Придѣлать во что бы то ни стало на спину дарвинизму билетикъ съ этимъ позорящимъ словомъ «возможность»—вотъ въ чемъ была цѣль г. Страхова.

Но имѣлъ ли онъ на то право?

Когда я говорю: дождь можетъ идти, а можетъ и не идти, я только хочу сказать, что онъ можетъ идти здѣсь или сегодня и не идти тамъ или завтра, но ни въ какомъ случаѣ не вправѣ я дѣлать изъ этого выводъ, что существованіе *дождя вообще* (т.-е. въ теченіе года надъ всѣмъ бассейномъ Волги) могло быть подвергнуто сомнѣнію. Ни въ какомъ случаѣ я не смѣю утверждать, что въ объясненіе происхожденія водъ Волги дождь входитъ только *возможнымъ* факторомъ, котораго дѣйствительность можетъ и не оправдать. Когда я говорю, что вода можетъ просачиваться въ почву, а можетъ и испаряться съ ея поверхности, я опять только заявляю, что эти явленія замѣняютъ одно другое въ различныхъ мѣстахъ, въ различное время, но не подвергаю этимъ сомнѣнію, что извѣстное количество все же просочится чрезъ почву, и т. д. Дождь вообще, просачиваніе вообще, т.-е. по отношенію ко всему бассейну (что только и касается нашего объясненія), не возможности, а *реальной, наличной дѣйствительности*, почему и построенное на нихъ объясненіе не возможность въ кубѣ или въ какой-нибудь тамъ высшей степени, какъ это выходило бы по г. Страхову, а простая *реальная дѣйствительность*. Совершенно такъ же, когда г. Страховъ утверждаетъ, что существа могутъ измѣняться, а могутъ и не измѣняться, то лишь въ томъ ограниченномъ смыслѣ, что иногда сходство съ родителями почти полное, иногда же менѣе полное, но не вправѣ отрицать фактъ, что на свѣтѣ не бываетъ двухъ живыхъ существъ абсолютно сходныхъ, т.-е. не можетъ отрицать постоянной наличности измѣнчивости вообще. Когда онъ говоритъ, что наследственность можетъ проявляться, а можетъ и не проявляться, то опять

лишь въ томъ ограниченномъ смыслѣ, что одинъ ребенокъ уродится въ отца, другой въ мать, третій въ дѣда и т. д., но не можетъ отрицать факта наследственности вообще, т.-е. закона, что организмы производятъ себѣ подобныхъ. Слѣдовательно, какъ дождь и пр. по отношенію ко всему бассейну рѣки—постоянно наличная дѣйствительность, точно такъ же измѣнчивость, наследственность, геометрическая прогрессія размноженія по отношенію къ общему теченію органическаго міра (въ пространствѣ и во времени), постоянно наличная дѣйствительность и результатъ изъ этихъ фактовъ, т.-е. происхожденіе рѣки и измѣненіе организмовъ путемъ естественнаго отбора, такая же «обязательная для ума» *«реальная дѣйствительность»*, провѣряемая снова реальною дѣйствительностью.

Вся аргументація г. Страхова сводится собственно къ тому, что когда нѣтъ въ наличности всѣхъ факторовъ, изъ которыхъ слагается отборъ, то не будетъ и отбора. Т.-е. отбора не будетъ, когда его не будетъ. То же очевидно, и по отношенію къ рѣкѣ. Въ странахъ съ постояннымъ или перемежающимся бездождемъ рѣки отсутствуютъ или имѣютъ перемежающееся существованіе. Но эти исключенія въ обоихъ случаяхъ, какъ и всегда, только подтверждаютъ правило. Изъ того, что рѣкъ не существуетъ тамъ, гдѣ ихъ не существуетъ, нельзя дѣлать заключеніе, что рѣкъ вообще не существуетъ.

Сущность софизма г. Страхова, я полагаю, теперь всякому понятна. Изъ того, что данное явленіе (или факторы, изъ которыхъ оно слагается) не всегда и не вездѣ повторяется съ неизмѣннымъ однообразіемъ, дѣлается ни съ чѣмъ несообразное заключеніе: значить, и *все* явленіе, во всей своей совокупности, имѣетъ сомнительное, проблематическое существованіе; оно существуетъ не въ реальной дѣйствительности, а лишь въ области призрачной возможности. Слѣдуя логикѣ г. Страхова, на основаніи того, что солнце *можетъ* только слабо свѣтить въ пасмурные дни и *вовсе не можетъ* свѣтить ночью, я долженъ бы заключить, что и все ученіе о зависимости органическаго міра отъ солнца построено на *возможностяхъ*.

Такимъ образомъ, попытка г. Страхова эскамотировать реальную дѣйствительность естественнаго отбора и, вмѣсто нея, оставить въ рукахъ у слушателя слово «возможность», въ самомъ оскорбительномъ для научной теоріи смыслѣ, оказывается очень прозрачнымъ диалектическимъ фокусомъ. Фокусъ этотъ, тѣмъ же менѣе, очень цѣненъ для г. Страхова. Главное его достоинство, что онъ легко запоминается: прочелъ заголовокъ III главы—и знаешь главную суть всей статьи: дарвинизмъ построенъ не на почвѣ фактовъ, наблюдаемыхъ въ природѣ, а на придуманныхъ возможностяхъ,—онъ не дѣйствителенъ, а только возможенъ. Какая простая, легко запоминаемая формула! Жаль только, что она противорѣчитъ здравой логикѣ и потому *не только не дѣйствительна, но и не возможна*.

Г. Страховъ, впрочемъ, самъ, повидимому, сознаетъ, что вся эта глава представляетъ только—*hors-d'oeuvre*. Для того, чтобъ опровергнуть дарвинизмъ, еще не достаточно доказательства, что онъ возможенъ, нужно еще до-

казать, что онъ *не возможенъ*. А для того, чтобы доказать невозможность возможнаго, нужно только доказать, какъ поясняетъ въ концѣ главы г. Страховъ, что это возможное противорѣчитъ дѣйствительности. Давно бы такъ. Умныя рѣчи и слушать пріятно. Съ того бы и начать. Еще въ своей статьѣ я сказалъ: для того, чтобы доказать, что не существуетъ естественнаго отбора, нужно только доказать, что его не существуетъ—не болѣе, но и не менѣе этого. Вмѣсто того, чтобы туманить умъ читателя этою софистикой о дѣйствительномъ и возможномъ, нужно было просто сказать ему слѣдующее: дарвинисты выдають свой естественный отборъ за дѣйствительность, пусть такъ; но противъ ихъ дѣйствительности мы выставяемъ свою дѣйствительность, истинность которой доказываемъ тѣмъ-то и тѣмъ-то. А такъ какъ двухъ взаимно исключающихъ дѣйствительностей быть не можетъ, а наша дѣйствительность настоящая, не подлежащая сомнѣнію, то, значитъ, ихъ дѣйствительность ложная. Что и требовалось доказать. Это была бы аргументація простая и ясная. Не потому ли она и не входила въ расчеты г. Страхова? Выше я замѣтилъ, что трехкратное повтореніе одной и той же мысли, мнѣ кажется, противорѣчитъ требованіямъ изящнаго вкуса. Но я боюсь, что я сказалъ наивность. У г. Страхова тутъ могъ быть тонкій расчетъ. Весь смыслъ этой главы въ томъ и заключался, чтобы этими повтореніями, однообразными, какъ дробь барабанищаго по крышѣ осенняго дождя, усыпить, загипнотизировать читателя, и въ этомъ состояніи внушить ему безотчетное отвращеніе къ дарвинизму, сдѣлать такъ, чтобы отъ этого дарвинизма у него остался какъ будто неопредѣленный дурной вкусъ во рту, какое-то смутное представленіе, что это не наука, а какое-то придуманное метафизическое построеніе, съ которымъ и церемониться-то нечего. Какъ весь смыслъ двухъ введеній заключался въ томъ, чтобы во что бы то ни стало, хотя бы въ ущербъ истинѣ, пробудить въ читателяхъ антипатію къ моей личности, такъ и здѣсь нужно было не убѣдить или разубѣдить его въ чемъ-нибудь, а только прочно заронить въ него безотчетное предубѣжденіе противъ дарвинизма и уже на этой благодарной почвѣ приступить къ настоящему дѣлу, т. е. къ доказательству, что дарвинизмъ противорѣчитъ природѣ.

Поспѣшимъ же узнать, въ чемъ заключается это противорѣчіе, раскрытіе котораго обѣщано въ слѣдующихъ главахъ, а эту, какъ не оправдавшую хвастливаго обѣщанія найти «главную ошибку» дарвинизма, зачернемъ краснымъ крестомъ. Такъ *мститъ логика* всѣмъ, кто ее смѣшиваетъ съ своими діалектическими фокусами.

IV.

Книга природы.

Но и здѣсь, съ первыхъ словъ, читателя ждетъ полное разочарованіе. Вмѣсто обѣщаннаго открытія, что дарвинизмъ противорѣчитъ дѣйствительности, т. е. природѣ, оказывается, что рѣчь пойдетъ только о противо-

рѣчи между дарвинизмомъ и одною метафорой Руссо, которую г. Страховъ заимствуетъ изъ моей статьи *). Метафора красивая, для своего времени, какъ я указалъ, имѣвшая значеніе, но представляющая, какъ я также указалъ, тотъ естественный недостатокъ, что она устарѣла на одно столѣтіе. Дѣлать нечего, приходится повторяться. Противъ попытки Эмпедокла и матеріалистовъ восемнадцатаго вѣка—объяснить совершенство органическаго міра случаемъ—Руссо мѣтко возражаетъ, что все равно было бы утверждать, что рассыпавшійся случайно типографическій шрифтъ расположится въ Энеиду. Приведа этотъ краснорѣчивый аргументъ Руссо, я на нѣсколькихъ страницахъ доказываю, какъ измѣнилась точка зрѣнія со времени Руссо и какъ Дарвинъ устранилъ это ребяческое объясненіе слѣпымъ случаемъ, открывъ въ природѣ процессъ, своего рода механизмъ, который именно упорядочиваетъ этотъ слѣпой случай, направляя его неизбежнымъ, роковымъ образомъ къ опредѣленному результату, къ сохраненію совершенныхъ (въ смыслѣ приспособленныхъ къ условіямъ существованія) и гибели несовершенныхъ формъ жизни,—другими словами, къ тому, что мы разумѣемъ подъ словами гармонія или цѣлесообразность органической природы. Г. Страховъ въ двухъ главахъ перефразируетъ это красивое, но уже къ дѣлу не идущее сравненіе Руссо. Мѣткая, образная метафора у него расплзается на цѣлыя страницы, переворачивается и тагъ, и этагъ, съ безконечными длиннотами, отъ которыхъ мысль Руссо, не выигрывая ничего въ логической, очень много утрачиваетъ въ эстетической силѣ.

Для того, чтобъ мнѣніе это не показалось голословнымъ, остановимся на этой длинной амплификаціи аргумента Руссо. Руссо говоритъ, что случайно рассыпавшійся шрифтъ не сложится въ Энеиду, и съ этою мыслью, выраженною въ одной строкѣ, читатель, конечно, соглашается. Г. Страховъ на цѣлой страницѣ убѣждаетъ читателя въ невѣроятности предположенія, чтобы этимъ способомъ, хотя бы и въ нѣсколько приемовъ, т.-е. разбрасываніемъ шрифта и устраненіемъ неудачныхъ комбинацій, сложилась бы книжка толстаго журнала, и, повидимому, очень доволенъ, когда ему удается убѣдить читателя, что это было бы «чудовищно невѣроятно». Одного только онъ не замѣчаетъ, что то, противъ чего боролся Руссо, не то, противъ чего борется онъ, г. Страховъ; что Руссо съ этою аргументаціей не выступилъ бы противъ дарвинизма, потому что... да просто потому, что онъ былъ Руссо, а не г. Страховъ. Пояснимъ, въ чемъ, главнымъ образомъ, измѣни-

*) Г. Страховъ увѣряетъ, будто эта ссылка „употребляется часто дарвинистами“. Признаюсь, я думалъ, что я первый обратилъ вниманіе на эти слова Руссо, и если бы г. Страховъ указалъ, у какого дарвиниста онъ встрѣчалъ ихъ ранѣе, я охотно исправилъ бы свою ошибку. Странно только, что, вопреки избитости этой ссылки, ни Данилевскій, ни г. Страховъ не воспользовались ею ранѣе меня. Впрочемъ, дѣло не въ томъ, я ли или кто другой въ первый разъ цитировалъ это мѣсто Руссо, а въ той характеристической особенности, что всегда самое лучшее оружіе *противъ себя* находили или самъ Дарвинъ, или дарвинисты, и вѣжливо передавали его въ руки враговъ, приглашая ихъ убѣдиться, что оно не оласно.

лась точка зрѣнія, придерживаясь того же сравненія Руссо. Энцикла не может сложиться случайно, толстая книжка журнала не может набраться сама собою, хотя бы въ нѣсколько приѣмовъ,—это такія понятныя истины, что для этого не стоило мучить читателя на дѣлныхъ страницахъ; онъ сдѣлся бы и безъ этой пытки. Но представимъ себѣ, что человѣческая рѣчь состояла бы всего изъ двухъ словъ, скажемъ для примѣра, изъ слова «впередъ» и слова «назадъ», а слова эти были бы отлиты въ двѣ стереотипныя дощечки. Представимъ себѣ далѣе, что типографія одного журнала было бы внушено печатать только слово «впередъ», а типографія другого журнала—слово «назадъ». Скажите, неужели было бы «чудовищною певѣроятностью», еслибъ въ первой типографіи выходило все «впередъ», «впередъ», во второй — все «назадъ», «назадъ»? Я полагаю, самаго несложнаго, автоматическаго дѣйствующаго механизма было бы достаточно для того, чтобы достигнуть этого результата. Такъ и въ типографіи природы. Въ ней набираются не заранѣе намѣченныя предложенія, строки, страницы, томы. Въ ней также набираются два слова: «полезно» (впередъ) и «вредно» (назадъ), и каждый разъ, что выпадаетъ дощечка со словомъ «полезно», она идетъ въ дѣло, каждый разъ, что выпадаетъ дощечка со словомъ «вредно», она отбрасывается, и автоматическій наборщикъ, исполняющій этотъ нехитрый трудъ, называется — *естественный отборъ*, фигура не фиктивная, а, какъ мы видѣли въ предшествовавшей главѣ, вполне реальная.

Пока природа представлялась пышнымъ чертогомъ, созданнымъ для человѣка, пока, наприм., цвѣты были только ковромъ для его ногъ, ихъ ароматы—омиакомъ, возносившимся предъ его лицомъ, до тѣхъ поръ много было трудно объяснить; но когда оказалось, что все это существуетъ только потому, что оно полезно тѣмъ существамъ, которыя имъ обладаютъ, когда оказалось, что въ природѣ вообще существуетъ только то, что полезно самимъ обладателямъ, тогда задача значительно упростилась *). Въ музыкѣ великіе художники разрабатываютъ самыя простыя темы въ роскошныхъ варіаціяхъ. Органическій міръ представляетъ безконечныя варіаціи на эту простую тему—«польза».

Послѣ этой неудачной амплификаціи уже къ дѣлу не идущаго аргумента Руссо г. Страховъ вдругъ принимается дѣлать мнѣ внушеніе за то, что я будто бы не понимаю различія между задачей астрономіи, біологіи и психо-

*) Весьма наглядно выражается это коренное различіе во взглядахъ Руссо и дарвинистовъ на слѣдующемъ примѣрѣ. Безконечное разнообразіе формъ листьевъ и однообразіе корней Руссо объясняетъ тѣмъ, что первые предназначены пѣнать взоры человѣка, а вторые скрыты отъ нихъ. Современные дарвинисты, въ цѣломъ рядѣ изслѣдованій, объясняютъ *пользу для самого растенія* малѣйшихъ особенностей строенія, формъ и распредѣленія листьевъ. Здѣсь вполнѣ вѣстаетъ напомнить читателю одну подробность нашей полемики. Дарвинъ указывалъ, что во всемъ органическомъ мірѣ нельзя найти ни одной черты строенія, которая была бы исключительно полезна не для существа ея обладающаго, и что такой фактъ былъ бы серьезнымъ возраженіемъ противъ его теоріи. Данилевскій, съ непонятнымъ легкомысліемъ, утверждалъ, что на той самой страницѣ, на которой онъ это пишетъ, Дарвинъ самъ приводитъ такой опровергающій его теорію при-

логич. Все это по следующему поводу. Данилевский, в философской части своей книги, очень патетически объясняет, что такъ какъ матеріаломъ для отбора служатъ случайныя измѣненія, то весь дарвинизмъ сводится къ случайности, а отъ этой одной мысли должно будто бы человѣка «тошнить», должны у него «переворачиваться внутренности». На это я, между прочимъ, возражаю, что солнце всегда представлялось олицетвореніемъ непоколебимаго совершенства, источникомъ всѣхъ благъ на землѣ, лучезарнымъ Фебомъ и, однако, современная астрономія учитъ насъ, что поверхность солнца представляетъ настоящій хаосъ случайныхъ явленій *). И, однако, этотъ хаосъ мелкихъ, случайныхъ явленій не мѣшаетъ солнцу въ цѣломъ оставаться, въ нашихъ глазахъ, тѣмъ же, чѣмъ оно было до сихъ поръ, и отъ этой мысли никого еще не «тошнило». Г. Страховъ докторальнымъ тономъ поучаетъ меня, что мысль о случайности въ сферѣ неорганическихъ явленій не можетъ такъ возмущать умъ, какъ мысль о той же случайности въ сферѣ явленій биологическихъ и еще болѣе психическихъ. «Г. Тимирязевъ спрашиваетъ, почему того же (т.-е. того, что я говорилъ по поводу солнца) нельзя сказать и объ органическомъ мірѣ? Странный вопросъ, особенно странный въ устахъ біолога! Я думаю, потому, что нельзя смѣшивать различныя вещи, потому что задача, представляющаяся намъ въ органическомъ мірѣ, есть, очевидно, особая и несравненно болѣе высокая задача, чѣмъ задача астрономіи. Для ясности сдѣлаемъ еще шагъ. Кромѣ органическихъ явленій, существуютъ еще психическія, есть область нравственныхъ и умственныхъ формъ, въ которой мы постоянно вращаемся. Тутъ задача нашего ума опять иная, опять неизмѣримо болѣе высокая. И такъ, что же удивительнаго, что мы не сваливаемъ всего въ одну кучу и различаемъ, гдѣ есть различіе? Вѣдь, это—первое научное правило».

Тонъ, какъ видятъ читатели, который можно упрекнуть въ чѣмъ угодно, но ужь никакъ не въ недостатокъ самонадѣянной развязности. Но мнѣ сдается, что источникъ этой самонадѣянности лежитъ въ довольно странномъ самообольщеніи. Убаюкавъ себя мыслью, что его читатели моей статьи не читали и не станутъ читать, г. Страховъ, кажется, вообразилъ, что и я самъ, вѣроятно, забылъ, что я писалъ, и полѣнюсь справиться. Какъ иначе объяснить себѣ эту развязность, съ которою онъ, какъ школьникъ, поучаетъ меня азбучной истиной о существованіи іерархіи наукъ, очень хорошо зная, что вся его тирада о промежуточномъ положеніи біологіи уже мною предусмотрѣна въ моей статьѣ, что въ томъ мѣстѣ, на которое онъ

мѣръ. Г. Страховъ, между прочимъ, рекомендовалъ это мѣсто книги Данилевскаго, какъ одно изъ образцовыхъ. Я показалъ, что ничего Данилевскому доказать не удалось и что онъ при этомъ только обнаружилъ „самоувѣренный задоръ“. Наказавшись на меня читателю за то, что я прибѣгаю къ такимъ рѣзкимъ выраженіямъ, г. Страховъ, однако, благодарзвумно предалъ забвенію весь этотъ неприятный для него эпизодъ.

*) Г. Страховъ, повидимому, въ этомъ сомнѣвается и говоритъ, что трудно понять, что я подъ этимъ разумю. Но мнѣ поучать его популярной астрономіи, конечно, не приходится; потому могу только рекомендовать ему книги Юнга, Лянгеля и др.

«сылается, на которое онъ будто бы возражаетъ, у меня идетъ рѣчь не объ одной астрономіи, а именно объ астрономіи и исторіи (вмѣсто еѳо психологіи), что вся моя аргументація въ томъ именно и заключается, что я ставлю біологію между астрономіей и исторіей (какъ у него между астрономіей и психологіей) и говорю, что если элементъ случайности, встрѣчаясь въ астрономіи и исторіи, не возбуждалъ ни въ комъ «тошноты», то почему же онъ специально долженъ вызывать это разстройство, встрѣчаясь въ промежуточной между ними области біологіи? Вотъ весь ходъ моего разсужденія. Астрономъ видитъ случайныя явленія, встрѣчающіяся на поверхности солнца, но это не мѣшаетъ ему изумляться, попрежнему, стройности дѣлаго, видѣть въ солнцѣ центральное свѣтило, управляющее движеніями планетъ, разливающее вокругъ себя свѣтъ и жизнь. Историкъ знаетъ, что исторію дѣлаютъ люди, съ ихъ страстями, ошибками, предразсудками, и это, однако, не мѣшаетъ ему видѣть, что изъ борющихся случайныхъ единичныхъ стремленій слагается величественный процессъ историческаго прогресса. Точно также, если біологъ доказываетъ, что процессъ органическаго развитія, располагая такимъ же случайнымъ матеріаломъ, приводитъ его къ такому же изумительному результату, какъ и процессъ историческій, то я не вижу повода кричать, что отъ этой мысли должны «переворачиваться внутренности». Вотъ что я говорю; вотъ противъ чего долженъ былъ возражать г. Страховъ. Но, видно, это было не такъ легко, какъ скрыть мою настоящую мысль, выдать половину моего довода за дѣланъ и беззащитностью своего тона, которую примутъ за правдивость, заставить читателя, пожалуй, дѣйствительно повѣрить, будто мнѣ въ голову не пришла такая простая мысль, что задача біологіи сложнѣе задачи астрономіи.

Да, логика мститъ за себя жестоко! Тѣхъ, кто не могутъ бороться ея чистымъ оружіемъ, она вынуждаетъ прибѣгать къ такому жалкому приему, каково умышленное искаженіе мыслей своего противника.

V.

Стереотипъ.

Г. Страхову показалось, что онъ недостаточно еще эксплуатировалъ метафору Руссо; въ этой главѣ онъ снова къ ней возвращается, о чемъ свидѣтельствуетъ и типографскій терминъ, красующійся въ заголовкѣ.

Но да не подумаетъ читатель, что здѣсь идетъ рѣчь о всѣмъ намъ знакомомъ стереотипѣ, т. е. металлической доскѣ. Нѣтъ, стереотипъ г. Страхова—это живое лицо, это—господинъ стереотипъ, ремесломъ, повидимому, паяльщикъ, а его непроизводительное занятіе заключается въ томъ, чтобы портить типографскій шрифтъ, спавая Гутенберговы подвижныя буквы по нѣскольку, въ слова или дѣлныя строки. Для чего понадобилась г. Страхову эта аллегорическая личность, которую прогнали бы изъ всякой типографіи,—такъ для меня и осталось непонятнымъ. Вѣдь, съ г. Стра-

ховымъ всякій читатель уже согласился, что изъ типографскаго шрифта, какъ его ни перетряхивай, наудачу не сложится книжка толстаго журнала,— согласился вполне, безусловно, безповоротно, для чего же понадобилось ему возвращаться къ этой аллегоріи, еще усложненной присутствіемъ какого-то фантастическаго паяльщика? Вѣдь, противъ этой аллегоріи можно возразить только то, что она къ дѣлу не идетъ. Толстая книжка журнала не можетъ сложиться паудачу, потому что она должна соотвѣтствовать тому, что уже ранѣе существовало въ рукописи или вообще въ мысляхъ человѣка, потому что составляющія ее буквы расположены въ известномъ, связанномъ общимъ смысломъ порядкѣ. Чудовищная невѣроятность заключается именно въ томъ предположеніи, что случайно разсыпавшіяся и перетряхиваемыя буквы расположатся въ заранѣе опредѣленной законами человеческой мысли, а не въ какой бы то ни было послѣдовательности. Вотъ если бы г. Страховъ и ему подобные философы нашли оригиналъ, по которому набиралась книга природы, тогда ихъ типографскія метафоры получили бы опредѣленный смыслъ. Но именно эти-то метафизическія представленія о «планѣ творенія», о «профетическихъ типахъ» и пр., которыми изобиловала наука до Дарвина, исключилъ онъ изъ круга своихъ соображеній, и въ этомъ его главная заслуга. Дарвинизмъ отрицаетъ въ строеніи организмовъ заранѣе опредѣленную идею или планъ, слѣдовательно, и сравненіе съ наборомъ связанныхъ известнымъ смысломъ словъ, предложеній и страницъ сюда не идетъ; для выбора же между двумя словами: «полезно» и «вредно»—и механизма отбора вполне достаточно. Такимъ образомъ, мы разъ навсегда развязываемся съ этою типографскою аллегоріей и, признаюсь, по прочтеніи этихъ двухъ главъ г. Страхова мнѣ только стало жаль бѣднаго Руссо. Ну, зачѣмъ я его подвелъ; зачѣмъ его дѣйствительно краснорѣчивая, убѣжденная рѣчь останется въ понятіи многихъ читателей неразлучною съ воспоминаніемъ о комической фигурѣ этого господина стереотипа?

Впрочемъ, спѣшу оговориться; можетъ быть, я не совсѣмъ правъ; этотъ стереотипъ, можетъ быть, и не комическая, пожалуй, даже, наоборотъ, очень трагическая личность: это—нѣчто вродѣ анти-Гуттенберга. Г. Страховъ, какъ известно, не вполне одобряетъ изобрѣтеніе Гуттенберга. Въ статьѣ *Полное опроверженіе дарвинизма* меня поразило одно мѣсто, гдѣ онъ съ озлобленіемъ говоритъ, что, благодаря этому изобрѣтенію, по свѣту гуляютъ такія возмутительныя заблужденія, какъ дарвинизмъ. Въ простотѣ душевной я думалъ, что, вѣдь, благодаря этому же изобрѣтенію, распространялись и здравыя идеи г. Страхова. Теперь я понимаю, что въ воображеніи г. Страхова, вѣроятно, уже тогда мелькалъ неясный образъ стереотипа, при помощи котораго можно было бы окончательно обезвредить это обоюдоострое изобрѣтеніе Гуттенберга. Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ только еще, въ послѣдній разъ, воспользоваться этими коварными подвижными буквами, набрать изъ всего наличнаго на свѣтѣ шрифта однѣ только хорошія книги (творенія Данилевскаго, г. Страхова и др.), а затѣмъ пригласить

сить господина стереотипа, чтобъ онъ разъ на всегда запаялъ человѣческую мысль въ опредѣленные, на вѣки нерушимыя формы и тѣмъ спасъ ее отъ поврежденія.

VI.

Примѣръ сирени.

Наконецъ-то къ дѣлу. Помилуйте, возразить читатель, вѣдь, вы повторяетесь; уже за три главы вы объявили, что переходите къ дѣлу. Вина не моя, если г. Страховъ не различаетъ реальной дѣйствительности отъ своихъ типографскихъ аллегорій. И такъ, приступаемъ къ настоящему дѣлу, къ научной критикѣ дарвинизма, къ фактическимъ доводамъ, будто бы доказывающимъ его противорѣчіе съ природой.

Начинаетъ г. Страховъ эту главу заявленіемъ какой-то, ни съ чѣмъ не сообразной, смѣшной претензіи. Онъ укоряетъ меня за то, что въ своей публичной лекціи я не сообразовался съ тѣми главами, на которыя ему вздумалось разбить свою статью *Помое опроверженіе дарвинизма*. «Г. Тимирязеву не угодно было слѣдовать за мной», — говоритъ онъ, очевидно, обиженнымъ тономъ и затѣмъ пытается увѣрить читателя, что я произвольно выхватилъ «одинъ пунктъ» изъ книги Данилевскаго, не упоминая «о полномъ составѣ аргументаціи». Но, говоря это, г. Страховъ не можетъ не сознавать, что онъ умышленно злоупотребляетъ довѣріемъ своихъ читателей. Не одинъ какой-нибудь пунктъ выбралъ я для опроверженія, а самый главный, самый центральный, на которомъ построено все опроверженіе, — словомъ, тотъ пунктъ, который г. Страховъ съ восторгомъ называлъ «истиннымъ открытіемъ Н. Я. Данилевскаго». Все это г. Страховъ самъ подтверждаетъ послѣдними словами этой самой VI главы. Но я не ограничился этимъ я привелъ (опять останавливаясь на самомъ важномъ, для дѣла существенномъ) цѣлый рядъ примѣровъ, иллюстрирующихъ, какъ обработаны у Данилевскаго частности. Не могъ и не хотѣлъ я только, подобно г. Страхову, расплываться въ ненужныхъ подробностяхъ; я показалъ, какъ жалка главная аргументація, и предоставилъ досужному читателю вылавливать мелкіе промахи, щедрою рукой разсыпанные по всей книгѣ.

Напомню въ двухъ словахъ, въ чемъ заключается этотъ главный пунктъ, на которомъ построено все пресловутое доказательство, что естественнаго отбора «не существовало, не существуетъ и, существовать не можетъ». Это тѣмъ болѣе необходимо, что вся статья г. Страхова вертится вокругъ да около этого пункта. Данилевскій, при помощи теоріи вѣроятностей, доказываетъ невозможность возникновенія въ природѣ, въ естественномъ состояніи, новой чистокровной породы, а такъ какъ, по его мнѣнію, дарвинизмъ построенъ будто бы на предположеніи, что въ природѣ возникаютъ чистокровныя породы, то изъ этого понятенъ торжествующій выводъ: значить, весь дарвинизмъ построенъ на абсурдѣ.

На это я возражалъ, что не только Дарвинъ или дарвинисты, но ни одинъ человекъ, «не повредившійся въ своихъ умственныхъ способностяхъ», не станетъ утверждать, что достаточно спустить въ степь англійскаго скакуна для того, чтобъ образовалась *чистокровная* порода англійскихъ скакуновъ. Такого нелѣпаго предположенія Дарвинъ не дѣлалъ и не могъ дѣлать; придумалъ его Данилевскій, навязалъ Дарвину и затѣмъ торжественно, математически, на ста слишкомъ страницахъ, доказалъ, что придуманная имъ нелѣпость — нелѣпа. Я показалъ въ своей статьѣ, что возраженіе Данилевскаго касается не дарвинизма Дарвина, а дарвинизма, выдуманнаго самимъ Данилевскимъ. Вотъ къ чему я свелъ пресловутое «истинное открытіе» Данилевскаго, такъ превознесенное г. Страховымъ.

Вопросъ мною поставленъ ясно. Посмотримъ, что же дѣлаетъ г. Страховъ для того, чтобы затемнить его, сбить съ толку своего читателя? Я совершенно согласенъ съ Данилевскимъ, что «чистокровное размноженіе», при естественныхъ условіяхъ, невозможно; мало того, я говорю, что не было надобности удивлять читателя примѣненіями теоріи вѣроятности для доказательства такого очевиднаго факта. Я только говорю, что дарвинизмъ никогда не утверждалъ, что это невозможное — возможно. Я говорю только, что Данилевскій промахнулся, не попалъ въ цѣль. Ясно, что г. Страховъ, защищая Данилевскаго, долженъ былъ доказать, что именно я не знаю настоящаго дарвинизма, что, напротивъ, дарвинизмъ Данилевскаго и есть настоящій, и что этотъ-то дарвинизмъ ему удалось опровергнуть. Но что же онъ дѣлаетъ? Нѣчто невообразимое. Тимирязевъ, — говоритъ онъ, — признаетъ образованіе чистокровной породы *невозможнымъ*, «но онъ, конечно, питаетъ *полное уваженіе* къ знаменитому ботанику Негели, на котораго не разъ ссылается, какъ на *большой авторитетъ*», а этотъ самый Негели «очень часто говоритъ о чистокровномъ расщепленіи (*Weinzucht*) и очень старательно *доказываетъ* его *полную невяротность*»... Какая глупая опечатка! — подумаетъ читатель, привычній къ обыкновенной логической аргументаціи. Здѣсь, очевидно, должно стоять *его полную вѣроятность*, потому что гдѣ же иначе противорѣчіе? Тимирязевъ считаетъ явленіе *невозможнымъ*, Негели считаетъ то же явленіе *вполнѣ невяротнымъ*, а г. Страховъ думаетъ, что словами Негели побиваетъ Тимирязева? Нѣтъ, это не опечатка, это только обращикъ логической аргументаціи г. Страхова. Не довольствуясь этою неудачною выпиской, г. Страховъ приводитъ еще вычисленія Негели и въ заключеніе торжественно восклицаетъ: «Такъ говоритъ Негели. Теперь посмотримъ, что на это скажетъ г. Тимирязевъ; онъ такъ воспламенился на шутку о сирени, что когда мы подставимъ ему Негели, вмѣсто Н. Я. Данилевскаго, выйдетъ интересное зрѣлище». Интересное или нѣтъ будетъ зрѣлище, не знаю, но только совсѣмъ не такое, какого ожидаетъ г. Страховъ. Имѣя, какъ онъ выражается, «охоту пошутить надъ г. Тимирязевымъ», г. Страховъ забылъ французскую поговорку: *giga bien, qui giga le dernier*. Что я скажу? — любопытствуетъ узнать г. Страховъ. А вотъ что я скажу.

Скажу я, во-первыхъ, не комично ли, прежде всего, положеніе, въ которое добровольно ставитъ себя самъ г. Страховъ, проповѣдующій «борьбу съ Западомъ», чающій искорененія вредоносной западной науки какою-то виѣвропейскою русскою наукою и бѣгущій, чуть дѣло за споромъ, судиться къ представителю той же тлетворной науки Запада? Во-вторыхъ, я скажу, что *magister dixit* (что въ настоящемъ случаѣ пришлось бы перевести «нѣмецъ сказалъ») я никогда не признавалъ и не признаю за логическій аргументъ. Мнѣнія, чьи бы то ни было, для меня только слова, — убѣдительную силу я признаю за фактами и логическими доводами. А, въ-третьихъ, я попрошу г. Страхова объяснить, на основаніи какихъ признаковъ онъ такъ рѣшительно заключаетъ, что Негели для меня долженъ быть роковымъ, безапелляціоннымъ авторитетомъ? На какомъ основаніи вообразилъ г. Страховъ, что, храбрысь передъ Данилевскимъ, я долженъ струсить передъ Негели? Представьте себѣ, что я нисколько-таки не боюсь его. Представьте себѣ, что имѣю даже право не бояться его. Представьте себѣ, что между живущими учеными, пожалуй, не найдется втораго, который имѣлъ бы такое право, какъ я, не бояться авторитета этого страшнаго господина Негели. Не ожидалъ этого г. Страховъ, когда собирался потѣшиться надъ моимъ испугомъ? Такъ какъ, можно сказать, вся сущность этой главы (и не этой одной) сводится къ запугиванію меня и еще болѣе читателя голословными мнѣніями Негели, то будетъ вполне умѣстно рассмотреть, насколько *мнѣнія* этого ученаго для меня авторитетны. Что такое Негели, какъ теоретикъ, и что такое его пресловутая механическая теорія, которой онъ думаетъ упразднить дарвинизмъ? Какъ теоретикъ, онъ самый злосчастный неудачникъ. Не говоря о второстепенныхъ его неудачахъ, укажу только на судьбу важнѣйшей изъ его теорій, его излюбеннаго дѣтища, главной задачи его научной дѣятельности — теоріи роста и молекулярнаго строенія растительныхъ тѣлъ. Этой теоріи была посвящена чуть не тысяча страницъ; она была принята всеми нѣмецкими ботаниками, провозглашена однимъ изъ высшихъ намятниковъ челоуѣческаго ума, господствовала въ теченіе болѣе чѣмъ четверти вѣка какъ неоспоримый догматъ. И объ этой-то великой теоріи, въ разгаръ полного передъ ней поклоненія, одинъ начинающій русскій ботаникъ, еще восемнадцать лѣтъ тому назадъ, въ публично-защищаемомъ тезисѣ осмѣлился выразиться такъ: «Въ подтвержденіе господствующаго ученія о ростѣ, равно какъ и въ опроверженіе прежняго ученія не приведено ни одного убѣдительнаго довода» *). Это былъ я, г. Страховъ, — изъ чего вы можете судить, какъ давно я пересталъ бояться вашего грознаго авторитета. Но кто же оказался правъ: нѣмецкій авторитъ или неизвѣстный русскій ботаникъ? Отъ пресловутой теоріи не осталось камня на камнѣ, — главные факты оказались совершенно невѣрными, — противная теорія торжествуетъ по всей линіи. Самые горячіе защитники теоріи Негели тщательно избѣгаютъ даже

*) Первый тезисъ, приложенный къ моей магистерской диссертации 1871 года.

упоминать о ней. Какъ же могло случиться, что я предсказалъ судьбу, постигшую эту теорію? Очень просто. Убѣдившись на опытѣ въ неточности двухъ-трехъ фактовъ, на которые опиралась теорія, я вооружился этимъ ненавистною для г. Страхова логикой *), задалъ себѣ трудъ обнажить для самого себя остовъ всей аргументаціи Негели и убѣдился, какъ она слаба. Именно Негели и его произведенія имѣлъ я, главнымъ образомъ, въ виду, говоря въ своей статьѣ *Опровернуть ли дарвинизмъ?* что встрѣтилъ въ книгѣ Данилевскаго приемъ, знакомый каждому, кто имѣлъ несчастье изучать толстыя полемическія сочиненія,—приемъ, заключающійся въ томъ, чтобы потопить свои доводы въ массѣ мелкихъ подробностей, растасовать ихъ такъ, чтобы обыкновенный, не досужій читатель не могъ свести концовъ съ концами и принялъ бы выводы на вѣру. Имѣю ли я послѣ этого право скептически относиться къ *мнѣніямъ* Негели, или нѣтъ? Имѣю ли я право дѣлать различіе между фактами, добытыми Негели, и его голословными сужденіями? А теперь, можетъ быть, г. Страхову любопытно знать, «что я скажу» о книгѣ Негели, на которую онъ ссылается, о его пресловутой теоріи «идіоплазмы», которая должна вытѣснить дарвинизмъ. Въ основѣ, эта теорія ничто иное, какъ перифраза Дарвинова «пангенезиса». А что такое «пангенезисъ»? Слушайте г. Страховъ и изумляйтесь. Пангенезисъ, это—ученіе «не научное въ основѣ, бесплодное въ послѣдствіяхъ». Это опять я, фанатическій поклонникъ Дарвина, какимъ желалъ бы откомендовать меня своимъ читателямъ г. Страховъ, такъ выразился объ этой гипотезѣ въ эпоху наибольшаго увлеченія ею и подражанія ей въ Германіи. Это ли отношеніе фанатика къ предмету своего поклоненія? Осмѣлился ли бы, напр., г. Страховъ выразиться такъ о какомъ-нибудь измышленіи Данилевскаго? Если я такъ безпощадно выражался объ ошибкахъ Дарвина, то, конечно, имѣю право такъ же относиться къ безсодержательно-трансцендентальной гипотезѣ идіоплазмы, представляющей только растянутое подражаніе этой, едва ли не единственной ошибкѣ Дарвина **). И такъ, авторитетнаго мнѣнія, не подкрѣпляемаго фактами или доводами, для меня не существуетъ вообще, мнѣнія же Негели—въ особенности. А гдѣ же факты, гдѣ доводы? Гдѣ доказательство, что дарвинизмъ не можетъ обойтись безъ нелѣпаго предположенія объ образованіи въ природѣ чистокровныхъ породъ? Гдѣ ссылка на сочиненія Дарвина, въ которой встрѣчалось бы это чудовищное предположеніе? Ничего такого, конечно, не могли предъявить ни Данилевскій, ни Негели. За невозможностью найти подходящую аргументацію, въ подлежащемъ направленіи, г. Страховъ довольствуется и выписками изъ Негели, къ дѣлу не относящимися; лишь бы въ нихъ были выраженія неодобрительныя для дарвинизма. Онъ приводитъ, напр., мнѣніе Не-

*) Г. Страховъ прямо коритъ меня за упоминаніе о логикѣ.

**) Вотъ характеристическій образчикъ отношенія къ этой теоріи Негели ученаго, котораго, конечно, не заподозрять въ легкомысліи, извѣстнаго, недавно умершаго Де-Баря. Когда я, улыбаясь, спросилъ его, каковаго онъ мнѣнія о ней, онъ, со свойственною ему живостью, отвѣчалъ: „Каковаго я мнѣнія? А развѣ о такихъ вещахъ дасть себѣ трудъ составлять какое-нибудь мнѣніе?“

тели, что теорія *миграцій* недопустима. Что это за теорія *миграцій*, — спросить, можетъ быть, читатель, — это, конечно, часть дарвинизма? Нѣтъ, читатель, это теорія нѣмецкаго ученаго Вагнера, о которой Дарвинъ говоритъ такъ: «Но на основаніи доводовъ, уже ранѣ приведенныхъ, я ни въ какомъ случаѣ не могу согласиться съ мнѣніемъ этого натуралиста, что миграція и изоляція — необходимыя условія образованія новыхъ видовъ». Дѣло, значить, вотъ въ чемъ: Вагнеръ пристроилъ къ дарвинизму свою теорію миграцій, какъ поправку, съ которой Дарвинъ ни въ какомъ случаѣ не согласенъ. Негели разсуждаетъ такъ: прямо возражать противъ Дарвина я не могу, — ну, такъ буду возражать противъ Вагнера. Вагнеръ не доволенъ дарвинизмомъ и предлагаетъ свою поправку, значить, стѣдуетъ опровергнуть Вагнера, благо это легко, чтобы развязаться съ дарвинизмомъ. Что за дѣло до того, что Дарвинъ самъ отвергаетъ мнѣніе Вагнера? А г. Страховъ благоразумно скрываетъ отъ своихъ читателей, что авторъ ученія о миграціи не Дарвинъ, а Вагнеръ. Да и не все ли равно, Дарвинъ ли, Вагнеръ ли, лишь бы у читателя осталось смутное впечатлѣніе, что г. Страховъ, при помощи Негели, что-то опровергъ. И это называется научная полемика!

Но что же говорятъ *факты* Негели, на которые я ссылаюсь въ своей статьѣ и которые Данилевскій благоразумно обошелъ молчаніемъ? Они доказываютъ то, что утверждалъ и Дарвинъ на основаніи своихъ наблюденій, именно, что въ природѣ не существуетъ безграничнаго скрещиванія, что, въ естественномъ состояніи, даже мелкія разновидности, которыя легко могли бы давать помѣси, въ *действительности ихъ не даютъ*, т.-е. уживаются рядомъ, не смѣшиваясь. Дарвинъ прямо заявляетъ, что ему извѣстны такіе примѣры. Данилевскій отмахивается отъ этихъ неприятныхъ для него фактовъ, на томъ только основаніи, что Дарвинъ не перечислялъ этихъ примѣровъ. Но Негели ихъ перечислялъ, — это десятки разновидностей *Negacium*, разводимыхъ имъ на грядкахъ ботаническаго сада. Негели категорически высказываетъ мнѣніе, что въ природѣ это явленіе широко распространенное. Слѣдовательно, по Негели, въ природѣ существуетъ несомнѣнное противодѣйствіе безграничному скрещиванію, но Данилевскій и г. Страховъ находятъ излишнимъ объ этомъ распространяться. Къ чему развлекать вниманіе читателей неудобными для нихъ фактами, когда можно смутить ихъ глухими, голословными разсужденіями?

И такъ, вычисленія Негели (какъ и позднѣйшія вычисленія Данилевскаго) доказываютъ, что сохраненіе въ природѣ чистокровной породы невозможно. Но это утверждаю и я: я только иду далѣе и говорю, что не зачѣмъ прибѣгать къ вычисленіямъ для доказательства такой очевидной истины. Слѣдовательно, пока дѣло идетъ о фактѣ, Негели совершенно согласенъ со мной.

Но сущность возраженія Негели и Данилевскаго, заключающаяся въ томъ, что весь дарвинизмъ построенъ будто бы на допущеніи этой невозможности, такъ и остается голословною, ничѣмъ не подтвержденною напраслиной, такъ какъ ни Дарвинъ, ни его послѣдователи этого допущенія не дѣлаютъ и въ

нѣмъ не нуждаются *). Возраженія Данилевскаго и Негели опровергають что угодно, но не дарвинизмъ.

Факты же Негели, систематически скрываемыя Данилевскимъ и г. Страховымъ, только блестящимъ образомъ подтверждаютъ положеніе Дарвина, что скрещиванію въ природѣ кладется весьма скоро предѣлъ какимъ-то, ближе намъ неизвѣстнымъ, но не подлежащимъ сомнѣнію свойствомъ организмовъ, — способностью ихъ не скрещиваться даже при кажущейся полной возможности этого процесса, т.-е. при совмѣстномъ существованіи.

Факты Негели я признаю и они говорятъ за Дарвина противъ Данилевскаго, голословныя же его сужденія (вродѣ возраженія Вагнеру, вмѣсто Дарвина) отрицаю и имѣю на то право, не только на общемъ основаніи, но и специально въ примѣненіи къ Негели, въ виду несчастной участи, постигшей и его болѣе продуманныя теоріи.

Не знаю, показался ли г. Страхову смѣшонъ этотъ неожиданный результатъ очной ставки между мной и Негели, въ предвкушеніи которой онъ уже съ удовольствіемъ потиралъ себѣ руки.

Впрочемъ, г. Страховъ самъ очень хорошо сознаетъ, что всѣ эти нико-го не убѣждающія ссылки на Негели рассчитаны только на виѣшній эффектъ, на увѣренность, что, въ глазахъ читателя, доморощенный ученый долженъ стоять руки по швамъ передъ нѣмецкимъ авторитетомъ; англійской науки, какъ извѣстно, г. Страховъ не допускаетъ, какъ и вообще не признаетъ за англичанами способности къ здравому мышленію; но объ этомъ въ своемъ мѣстѣ. Очень хорошо понимаетъ онъ, что въ приведенныхъ имъ выпискахъ не заключается и тѣни *доказательства*, что дарвинизмъ нуждается въ навязанномъ ему абсурдѣ. Но какъ же вывернуться, какъ же, заключая главу, оставить читателя подѣ впечатлѣніемъ, что побѣдителемъ изъ спора вышелъ онъ, г. Страховъ? Онъ прибѣгаетъ къ *ultima ratio* всѣхъ слабыхъ — смѣло и увѣренно говоритъ и повторяетъ прямо противное истинѣ. Онъ утверждаетъ, что «не только Дарвинъ и дарвинисты *дѣлаютъ это предположеніе чистокровнаго приплода*, но это предположеніе составляетъ неизбѣжную, исходную точку всей теоріи подбора», и, окончательно ободряемый звуками собственного своего голоса, заканчиваетъ главу еще болѣе беззапѣчивымъ заявленіемъ: «*Такъ училъ Дарвинъ*», и пр., и пр.

Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ, г. Страховъ! Такъ Дарвинъ не училъ и не могъ учить, потому что, въ такомъ случаѣ, онъ не нашелъ бы читателей для своей книги и самъ кончилъ бы своей вѣкъ не въ Даунѣ, а въ Бедламѣ. Смѣлость, говорятъ, города беретъ, но въ наукѣ смѣлость, подоб-

*) Стоитъ читателю прочесть слѣдующую строку за тѣми, которыя цитируетъ г. Страховъ (*Naegeli*: „Mechanisch-physiologische Theorie“, стр. 313), и тамъ, на примѣрѣ жирафа, онъ убѣдится, что Дарвинъ говоритъ не о происхожденіи этого животнаго отъ какого-нибудь случайнаго предка, сохранившаго свое потомство отъ скрещиванія (какъ въ примѣрѣ е сирени), а отъ всѣхъ предковъ, имѣвшихъ шею на два, на три дѣймлицы выше остальныхъ. Слѣдовательно, о сохраненіи и возникновеніи чистокровнаго потомства одного недѣлимаго нѣтъ и рѣчи.

ная той, которую проявляет въ настоящемъ случаѣ г. Страховъ, ни къ чему не приводитъ. Въ наукѣ принято, что, вводя на своего противника какую-нибудь нелѣпость, подтверждаютъ свои слова ссылкой на его сочиненія. По правиламъ научной полемики, г. Страховъ долженъ былъ указать ту главу, страницу, строку, гдѣ Дарвинъ «учить» вводимой на него нелѣпости; но онъ знаетъ, что не можетъ этого сдѣлать, какъ не могъ этого сдѣлать и Данилевскій, и потому вся его надежда рассчитана на робкаго читателя, который приметъ этотъ смѣлый, самоувѣренный тонъ за убѣжденіе въ правотѣ.

Подводимъ итогъ этой самой существенной сторонѣ всего спора *).

Данилевскій утверждаетъ, и совершенно вѣрно, что появившееся индивидуальное отклоненіе не можетъ сохраниться во всей своей чистотѣ и неприкосновенности, но изъ этого дѣлаетъ ни съ чѣмъ не сообразное заключеніе: значить, *никакое* уклоненіе, въ какой бы то ни было степени чистоты, не можетъ сохраниться. *Не все—значить ничего*,—вотъ блестящій силлогизмъ, на которомъ основано его опроверженіе естественнаго отбора, т.-е. дарвинизма. Я ему возражаю, что между *все* и *ничего* лежитъ вся реальная дѣйствительность. Если въ природѣ не можетъ сохраниться *все* (т.-е. чистокровная порода), то изъ этого никакъ не слѣдуетъ, что *ничего* не сохранится, т.-е. что всякое появляющееся уклоненіе исчезнетъ *безъ слѣда* **). Г. Страховъ долженъ былъ признать, что аргументація Данилевскаго: «не все—значить ничего» есть образецъ строгаго, логическаго мышленія, или откровенно сознаться, что опроверженіе Данилевскаго ничего не опровергаетъ, а такъ какъ ни на то, ни на другое у него не доставало храбрости, то онъ и оказался вынужденнымъ взводить напраслину на Дарвина, смѣло увѣряя своихъ читателей, что Дарвинъ училъ тому, чему онъ никогда не училъ.

Вотъ какъ мститъ за себя логика!

VI.

Нѣчто объ открытіяхъ.

Какъ видно изъ самаго названія, глава эта не имѣетъ прямого отношенія къ сущности дѣла; вся она написана г. Страховымъ, такъ сказать, pro domo sua. Въ своей статьѣ *Полное опроверженіе* и пр. г. Страховъ, отзываясь съ восторгомъ о неудачномъ возраженіи Данилевскаго, разсмотрѣ-

*) Въ заключительныхъ словахъ этой главы г. Страховъ самъ категорически заявляетъ, что именно въ рассматриваемомъ вопросѣ заключается окончательное опроверженіе дарвинизма.

**) Напомню читателю соображеніе, которое также умнишено скрываетъ г. Страховъ. Еслибъ Дарвинъ утверждалъ, что въ природѣ могутъ сохраняться чистокровныя породы, то результатъ естественнаго отбора долженъ былъ бы обнаружиться въ такіе же краткіе сроки (столѣтія, десятилѣтія), какъ и при отборѣ искусственномъ. Но и Дарвинъ, и дарвинисты допускаютъ, что въ естественномъ состояніи новыя формы требуютъ несметныхъ вѣковъ для своего образованія—именно потому, что результаты естественнаго отбора тормазятся (но не уничтожаются) скрещиваніемъ.

ренномъ въ предшествующей главѣ, назвалъ его «истиннымъ открытіемъ Н. Я. Данилевскаго». Я же показалъ, что это сомнительнаго достоинства открытіе сдѣлано за десять, за двадцать лѣтъ до Данилевскаго. Г. Страхову необходимо было какъ-нибудь вымутаться изъ сдѣланнаго промаха и для этого онъ прибѣгаетъ къ приему, не лишенному оригинальности.

Напомню, что констатированіе факта давности этого возраженія значительно ослабляло его убѣдительную силу въ глазахъ всякаго читателя. Во-первыхъ, читатель видѣлъ изъ этого, какъ искусственно раздуто значеніе книги Данилевскаго, а, во-вторыхъ, могъ самъ сообразить, что если за эти двадцать лѣтъ не послѣдовало окончательнаго крушенія дарвинизма, то, очевидно, пресловутое «открытіе» никакою разрушительною силой не обладаетъ. Видя невозможность отстаивать свою прежнюю точку зрѣнія объ истинности открытія Данилевскаго, г. Страховъ развиваетъ совершенно новую теорію о правѣ писателя на чужую мысль.

«Кто самъ мыслить», — докторально поучаетъ онъ, — *а не составляетъ своихъ мыслей изъ кусочковъ, взятыхъ въ разныхъ книгахъ, тотъ (слушайте, слушайте!) часто вовсе не замѣчаетъ, идъ ему въ первый разъ встрѣтилось какое-нибудь положеніе»* (?!!). Вотъ неожиданный — то оборотъ мысли и, въ то же время, какое новое и удобное ученіе! До сихъ поръ мы (т.-е. педанты, фанатики ученые и пр.) въ простотѣ душевной думали, что не различать, гдѣ кончается чужая мысль и гдѣ начинается моя, можно или по невѣжеству (недостатку свѣдѣній), или по недобросовѣстности, или, наконецъ, вслѣдствіе размягченія мозга. Мы привыкли думать, что «тотъ, кто самъ мыслить», тогда только представляетъ значеніе, когда высказываетъ свое слово, а не тогда, когда только забылъ, гдѣ его прочелъ. Мы привыкли думать, что открывать Америку по меньшей мѣрѣ смѣшно, что съ досадою находить свои мысли у Шекспира какъ будто неловко, что, наконецъ, говорить объ одномъ *Юриѣ Милославскомъ*—Загоскина и о другомъ—своемъ можетъ только Хлестаковъ. Наивные люди, думаетъ г. Страховъ—*pour avous changé tout cela*—и завершаетъ главу слѣдующею тирадой: «не въ томъ дѣло, что Н. Я. Данилевскій повторилъ чужое, а въ томъ, что онъ *это чужое призналъ своимъ*» *). Г. Страховъ, очевидно, полагаетъ, что высказалъ блестящій парадоксъ. Я не встаю вообще противъ высказыванія парадоксовъ, — это очень забавное препровожденіе времени, — подъ условіемъ, конечно, чтобъ парадоксъ былъ замысловатъ, чтобъ его не такъ-то легко было разгадать. Но сказать только что-нибудь идущее въ разрѣзъ съ ходячимъ здравымъ смысломъ и элементарною моралью — не значитъ еще сказать остроумный парадоксъ. Вѣдь, любая темная личность, перемѣщающая носовой платокъ изъ кармана г. Страхова въ свой собственный, можетъ отвѣтить ему его

* Не забудемъ, что рѣчь идетъ о томъ, имѣлъ ли право г. Страховъ выдавать своимъ читателямъ доводъ Данилевскаго за «истинное открытіе». Г. Страховъ заявляетъ теперь, что онъ и самъ когда-то зналъ, что открытіе это сдѣлано ранѣе. Тѣмъ болѣе онъ виноватъ передъ своими читателями.

словами: «Дѣло не въ томъ, г. Страховъ, вашъ ли это платокъ, или мой, а въ томъ, что я его призналъ своимъ!»

Да, логика... виноватъ, на этотъ разъ, кажется, этика мститъ за себя жестоко!

VIII.

О сохраненіи всего въ природѣ.

И эта глава опять не имѣетъ никакого отношенія къ дѣлу. Вся она посвящена глумленію надъ одною фразой моей статьи, брошенной мимоходомъ, какъ нѣчто всякому понятное. Но г. Страховъ ея не понялъ и на основаніи этого позволяетъ себѣ на четырехъ страницахъ издѣваться надо мной.

Посмотримъ, въ чемъ же заключается проявленіе моего будто бы грубаго невѣжества, юмористически (по мнѣнію г. Страхова) заявленное въ самомъ заголовкѣ и для издѣвательства надъ которымъ г. Страховъ специально ссылается своихъ читателей. «Извольте читать на страницѣ 155!»—торжественно выкликаетъ онъ и приводитъ это, по его мнѣнію, позорящее меня мѣсто моей статьи. Вотъ оно: «Сохраненіе случайнаго уклоненія въ его чистой формѣ—это одинъ предѣлъ явленія; его безслѣдное исчезновеніе, полное раствореніе въ нормальныхъ формахъ—это другой и, замѣтимъ, *идеальный*, теоретическій предѣлъ»,—«то-есть,—перебивая мою мысль, торопится, для вящаго вразумленія читателя, пояснить г. Страховъ,—никогда не достигаемый, предполагаемый лишь мысленно, а въ дѣйствительности не существующій», и полагая, что поймалъ меня на словѣ, довелъ мою мысль до абсурда, продолжаетъ цитату. «Въ дѣйствительности,—говорю я,—къ органическимъ формамъ, какъ и къ матеріи, какъ и къ энергіи примѣнимо изреченіе Лавуазье: «dans la nature rien ne se perd» *). Логически немислимо, чтобы какое-нибудь *воздѣйствіе* на организмъ исчезло безъ слѣда,—именно этою невозможностью безслѣднаго исчезанія *воздѣйствій* на организмъ и его потомство, суммированіемъ этихъ *воздѣйствій* мы и должны объяснять себѣ прогрессивное усложненіе организмовъ». Окончивъ цитату, г. Страховъ выходитъ изъ себя. «Признаюсь,—воскликаетъ онъ,—рѣдко можно найти болѣе странную выходку, и, притомъ, сдѣланную безъ всякаго повода, безъ всякой надобности. Какой это новый законъ сохраненія *чего-то* въ организмахъ провозглашаетъ г. Тимирязевъ?» и далѣе: «Вѣдь, дѣло идетъ о *случайныхъ уклоненіяхъ* и нѣтъ никакого сомнѣнія, что спрещиваніе уничтожитъ ихъ *безъ слѣда*», и, наконецъ, та же мысль повторяется въ болѣе философской формѣ: «Г. Тимирязевъ увѣряетъ, что безслѣдное исчезаніе—невозможность, *логически* немислимо. Ахъ, эта логика! Вотъ Дарвинъ—тотъ, кажется, о логикѣ никогда

*) Г. Страховъ утверждалъ, что я невѣрно цитирую мысль Лавуазье, придаю ей слишкомъ широкую форму. У Дюма, лучшаго знатока твореній Лавуазье, она приводится въ слѣдующей, еще болѣе общей формѣ—rien ne se perd, rien ne se crée.

не говорилъ и, право, лучше дѣлалъ. Вѣдь, если что-нибудь можетъ, по вашему, *приблизиться къ исчезанію*, то отчего же оно не можетъ и исчезнуть?»

Во-первыхъ, я замѣчу, что г. Страховъ напрасно трудился ловить меня на словѣ, боясь, чтобъ я не отвилъ. Я сказалъ именно то, что хотѣлъ сказать; готовъ повторить, и буду повторять, то, что сказалъ; а если г. Страхову эта мысль непонятна, то я могу себѣ это объяснить развѣ только тѣмъ, что на основаніи защищаемаго имъ въ предшествовавшей главѣ права того, «кто самъ мыслить», на короткую память, онъ забылъ кое-что изъ элементарной ариметики. Въ возмущившихъ его словахъ я высказываю только такую всякому понятную арифметическую истину. Если послѣ перваго скрещеванія въ потомствѣ известной формы окажется $\frac{1}{2}$ ея крови, послѣ втораго $\frac{1}{4}$, то послѣ *n* скрещиваній ея будетъ $\frac{1}{n}$. Эта дробь $\frac{1}{n}$ можетъ быть очень мала, неизмѣримо мала, но все же не будетъ равна нулю, потому что *n* не будетъ равно безконечности (я даже доказываю, что оно никогда не будетъ очень велико). Эта дробь и есть та хитрая, непонятная г. Страхову величина, которая *«приближается къ исчезанію»*, да не исчезаетъ. Пусть г. Страховъ задастъ себѣ вопросъ, на какую *конечную* величину (а натуралистъ имѣетъ дѣло только съ ними) нужно раздѣлить 1, чтобы получился 0? Въ какомъ количествѣ воды нужно растворить пудъ соли, чтобъ онъ исчезъ *безъ слѣда*? *). А когда онъ разрѣшитъ эти не головоломные вопросы, то, конечно, пойметъ, что нравственно обязанъ (конечно, мысленно, про себя) взять назадъ всѣ тѣ неприличныя издѣвательства и грубыя выходки **), которыми украсилъ всю эту главу, не имѣя на то иного права, кромѣ своей собственной несообразительности.

Да, логика мститъ за себя жестоко... и арифметика также.

*) Г. Страховъ спрашиваетъ, что же сохраняется (когда мы говоримъ — кровь) — матерія или энергія? Я полагаю, что такое любопытство по меньшей мѣрѣ преждевременно, потому-то я и выразился неопредѣленно, высказывая только основную мысль, что, разсматривая жизнь, какъ одно непрерывное, преемственное явленіе, мы не вправе допустить, чтобъ однажды вызванная въ этомъ явленіи пертурбація могла исчезнуть внезапно и безъ послѣдствій.

Въ доказательство того, что уклоненія исчезаютъ *безъ слѣда*, г. Страховъ озадачиваетъ читателя тѣмъ же софизмомъ, несостоятельность котораго я уже указалъ въ своей статьѣ по поводу примѣра сирени, именно умыленно беретъ численный признакъ. Бываютъ, говоритъ г. Страховъ, шестипалые люди, а у нихъ потомства эта уродливость исчезаетъ безъ слѣда. Я пояснилъ, что такіе примѣры наименѣе удобны. Ясно, что трудно ожидать, чтобы пальцы люди съ $5\frac{1}{2}$, съ $5\frac{1}{4}$ и т. д. пальцевъ. Въ такихъ случаяхъ признакъ обыкновенно раздѣляется между потомками: одни будутъ шести, кругіе — пяти-палые. Впрочемъ, примѣръ г. Страхова неудаченъ и въ томъ отношеніи, что именно относительно шестипалости существуютъ указанія, что оно сохранялось до 5-го поколѣнія, т. е. когда обладатель шестаго пальца имѣлъ всего $\frac{1}{32}$ долю крови своего шестипалаго предка. По всей вѣроятности, большая часть случаевъ атаксизма объясняется такъ же. Къ тому же, было бы абсурдомъ ожидать, чтобы при суммированіи дѣйствія такихъ сложныхъ причинъ, каковы двѣ, борящіяся въ дѣтахъ организаціи родителей, получалась всегда простая наглядная средняя. Нужно еще знать эквивалентность признаковъ, а какъ ее опредѣлить?

**) Вотъ на выдержку нѣсколько образцовъ: „Тутъ передъ нами обращенъ тѣхъ, пе-

IX.

Скрещиваніе.

Напоицеъ, хотъ серьезный, идущій къ дѣлу заголовокъ! — воскликнетъ читатель, наскучавшій ненужною комическою интермедіей предшествовавшихъ двухъ главъ и не забывшій, въ чемъ заключалось «истинное открытіе» Данилевскаго. Напоицею, что, по мнѣнію Данилевскаго и г. Страхова, стбитъ произнести слово «скрещиваніе», чтобы доказать невозможность измѣнчивости существъ, а, слѣдовательно, и дарвинизма. А формулируется это доказательство такъ. Для дарвинизма необходимо, чтобы появившаяся *въ числѣ одного недѣлимаго* форма сохранилась во всей своей неприкосновенности, въ видѣ *чистокровной породы*; а такъ какъ это требованіе въ природѣ не осуществимо, то и весь дарвинизмъ построенъ на невозможности. На это я возражаю: дарвинизмъ ни того (т.-е. происхожденія отъ одного недѣлимаго), ни другаго (т.-е. сохраненія чистокровной породы) навязываемаго ему предположенія никогда не дѣлалъ и потому не только невозможенъ, но и соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Для того, чтобы успѣшнѣе сбить съ толку неопытнаго читателя, и Данилевскій, и г. Страховъ, прежде всего, стараются увѣрить его, что мой дарвинизмъ не настоящій. Данилевскій увѣряетъ, что я отсталъ отъ Дарвина (который будто бы покаялся въ какихъ-то грѣхахъ, въ которыхъ я продолжаю коснѣть *); г. Страховъ теперь утверждаетъ, что я зарвался, зашелъ далѣе Дарвина. Такимъ образомъ, я одновременно (и по тому же самому вопросу) и старо- и младо-дарвинистъ. Напоицею, что, въ то же время, по категорическому заявленію обоихъ писателей, я самый чистый дарвинистъ, самый точный выразитель мыслей Дарвина. Такъ какъ трехъ взаимно исключающихъ истинъ не бываетъ, то, очевидно, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ очень прозрачнымъ диалектическимъ приѣмомъ, рассчитаннымъ на то, чтобы морочить бѣднаго читателя.

Но г. Страхову и этого мороченья показалось недостаточно. На нѣсколькихъ страницахъ старается онъ въ комической, по его мнѣнію, формѣ изобразить, съ моихъ будто бы словъ, то удрученное состояніе, въ которомъ я находился при чтеніи книги Данилевскаго, пока, напо-

рѣкодящихъ всякую мѣру несообразностей...“; или: „Въ статьѣ гораздо менѣе известнаго Тимирязева можно бы подобрать и еще не мало такихъ головоломныхъ скальзовъ...“; или: „Всегдашняя ошибка дарвинистовъ.. соблазняетъ даже ученыхъ болѣе серьезныхъ, чѣмъ Геккель и г. Тимирязевъ“. Замѣчу къ слову, что г. Страховъ совсѣмъ неумѣстно позволяетъ себѣ такой высокомерный тонъ по отношенію къ Геккелю. Гарманъ, философъ, выражался слогомъ г. Страхова, гораздо болѣе известный, чѣмъ г. Страховъ, и противникъ дарвинизма, съ величайшимъ уваженіемъ отзывается объ общихъ трактатахъ Геккеля о дарвинизмѣ и говоритъ, что всякій образованный человѣкъ долженъ ихъ читать и изучать. Вотъ какъ на Западѣ философи относятся къ ученымъ.

*) Это обвиненіе, какъ я показавъ, происходитъ отъ того, что Данилевскій извращаетъ текстъ Дарвина, приводя конецъ фразы безъ ея начала.

нецъ, на ея 126 страницѣ не нашелъ лазейки, при помощи которой увидалъ возможность улизнуть отъ его сокрушающей діалектики. Тѣ, кто читалъ мою статью, знаютъ, что этого нѣтъ на дѣлѣ. Я говорю, что *читатель* умышленно выдерживается Данилевскимъ въ удрученномъ состояніи, подъ впечатлѣніемъ, будто его пѣшка о сирени дѣйствительно уничтожаетъ дарвинизмъ, пока на стр. 126 не усматривается, что она не только такого грознаго, но и вообще значенія не имѣетъ. Что я не могъ очутиться въ положеніи *этого читателя*, я прямо заявляю, и для г. Страхова это ясно до очевидности, — онъ это доказываетъ всею своею главой «Нѣчто объ открытіяхъ». Вѣдь, я показалъ, и г. Страховъ долженъ былъ сознаться, что эти аргументы Данилевскаго уже были высказаны гораздо ранѣе; слѣдовательно, они могли озадачить неопытнаго читателя, могли показаться «истиннымъ открытіемъ» г. Страхову, но не мнѣ, знакомому съ литературой своего предмета. Г. Страховъ все это очень хорошо знаетъ; но какое ему до этого дѣло? Конечно, иной читатель и не повѣритъ ему, чтобы я, писавшій о дарвинизмѣ, когда Данилевскій, по его собственному заявленію, еще не читалъ книги Дарвина, сталъ учиться дарвинизму по пресловутой книгѣ Данилевскаго. Но, можетъ быть, найдется и такой простакъ, который и повѣритъ, — г. Страховъ не брезгуетъ даже самымъ скромнымъ элементомъ успѣха. Если я указываю на страницу 126, то для того только, чтобы подгрѣпить самое тяжкое изъ обвиненій, которое я возвожу на Данилевскаго. Я говорю, что приемъ, употребляемый имъ въ этой самой существенной части его книги, — приемъ адвоката, неразборчиваго на средства убѣжденія, — недостойнъ безпристрастнаго изслѣдователя. Не будь этой 126 страницы, можно было бы подумать, что Данилевскій самъ ослѣпленъ и вѣритъ во всемогущество своей аргументаціи; но здѣсь онъ обнаруживаетъ ея слабость и спѣшитъ отвлечь вниманіе читателя общаніемъ поправить дѣло въ одной изъ позднѣйшихъ главъ, — общаніемъ, котораго, конечно, также не выполняетъ *). Сознавая самъ, что его доводу цѣна грошъ, Данилевскій, тѣмъ не менѣе, на ста слишкомъ страницахъ выдаетъ его читателямъ за цѣлковый, распространяясь о томъ, какой онъ звонкій, да блестящій. Эта роковая страница обличаетъ, что онъ вѣдалъ, что творилъ, и вполне оправдываетъ мой суровый приговоръ.

Не стану утомлять читателя разоблаченіемъ всѣхъ изворотовъ, къ какимъ прибѣгаетъ г. Страховъ для того, чтобы спасти безнадежную аргументацію Данилевскаго, тѣмъ болѣе, что вскорѣ снова придется вернуться къ этому вопросу **). Уважу, по этому поводу, на характеристическую осо-

*) И этотъ непріятный для него эпизодъ г. Страховъ также благоразумно предаетъ забвенію.

**) Не могу не указать на одинъ изъ типическихъ образцовъ этой изворотливости г. Страхова. Въ этой главѣ, на страницѣ 107, приводится такая фраза: «Отношеніе, — говоритъ г. Темпривезъ, — осталось то же; эти десять тысячъ также тонуть въ миллиардъ, какъ прежняя единица», — и тотчасъ дѣлается изъ нея выгодное для г. Страхова заключеніе. Но г. Страховъ скрылъ отъ читателей, что передъ фразой «отношеніе и т. д.» у меня стоятъ слова: «Но, конечно, возразятъ», а тотчасъ послѣ фразы идетъ

бенность изложения г. Страхова. Въ одномъ мѣстѣ своей статьи онъ обвиняетъ меня въ томъ, что мыслю у меня «движется капризными извилинами». Конечно, всякому чужой грѣхъ виднѣе, такъ и мнѣ представляется, что безконечная канитель его мысли тянется постоянно возвращающимися на себя петлями и узлами, вслѣдствіе чего десятки разъ приходится возвращаться къ точкѣ отправления и, къ явной досадѣ читателя, повторяться.

Такъ и здѣсь: я снова вынужденъ повторить, что уже сказалъ выше. Несостоятельность возрѣнія Данилевскаго ясна для всякаго, кто не хочетъ закрывать глаза, затыкать уши. Онъ говоритъ, что въ природѣ не можетъ составиться чистокровной породы,—значить, не можетъ сохраниться и какой бы то ни было степени крови. Все та же аргументація: NN не богачъ—значить, онъ нищій. Не все—значить ничего. Г. Страхову, въ качествѣ философа, было бы неловко защищать такія заключенія въ общей логической формѣ, но онъ не отказывается отъ ихъ примѣненія къ фактамъ реальной дѣйствительности и, какъ всегда, заканчиваетъ главу голословнымъ, но невозмутимо-смѣлымъ заявленіемъ, что «измѣненіе должно исчезнуть не только отъ повтореннаго, а даже болѣею частью отъ *перваго скрещиванія*» *). Нѣтъ, г. Страхову не удастся увѣрить кого-нибудь, что, какъ общее правило, дѣти *должны* не походить на родителей. Впрочемъ, къ этому вопросу, какъ я только что сказалъ, я скоро вернусь, по поводу крайне непріятнаго г. Страхову носа Бурбоновъ.

Да, логика мститъ за себя жестоко: тѣхъ, кто разъ рѣшился противъ нея возстать, она вынуждаетъ храбро отрицать даже ежедневный опытъ.

X.

Ограниченіе скрещиванія.

«Но намъ еще нельзя прекратить анализъ мыслей г. Тимирязева», — такъ начинается г. Страховъ эту главу. Въ переводѣ на обыкновенный языкъ, это значить, что г. Страхову еще недостаточно удалось запутать читателя въ совершенно ясномъ по себѣ вопросѣ. И вотъ начинаются новыя старанія найти у меня противорѣчіе тамъ, гдѣ его нѣтъ и слѣда:

Я доказываю, что скрещиваніе не такъ всесильно, какъ утверждаетъ Данилевскій; я отрицаю, на примѣръ, что измѣненія *должны* исчезать «отъ перваго скрещиванія». Г. Страховъ подхватываетъ: значить, по мнѣнію Тимирязева, скрещиваніе не есть препятствіе; значить, оно «въ высшей степени полезно»; значить, Тимирязевъ впадаетъ въ противорѣчіе, указывая на то, что въ природѣ скрещиваніе бываетъ ограничено различными условіями и что это ограниченіе способствуетъ отбору.

ея опроверженіе. Такимъ образомъ; *возраженіе, которое я дѣлаю себѣ отъ имени предполагаемыхъ противниковъ и тотчасъ же опровергаю*, г. Страховъ выдаетъ за мое собственное мнѣніе, и пользуется этимъ въ своихъ дѣлахъ. И это называется научная полемика!

*) Только что мы видѣли примѣръ передачи шестаго пальца котомству, имѣющему всего $\frac{1}{32}$ дою крови шести-палаго прародителя.

Но всякому понятно, что никакого противорѣчія въ моихъ положеніяхъ не существуетъ. Понятно это и г. Страхову. Онъ очень хорошо знаетъ, какъ я смотрю на отношеніе между отборомъ и скрещиваніемъ; онъ даже самъ приводитъ это мѣсто и досадуетъ, что оно изложено «такъ странно, такую бойкою, плавною рѣчью». Вотъ оно: «Скрещиваніе и отборъ,—говорю я,—это—два начала, находящіяся въ антагонизмѣ и дѣйствующія одновременно и неизмѣнно. Образование новыхъ формъ идетъ по равнодѣйствующей этихъ двухъ противоположныхъ вліяній, все равно, какъ полетъ ядра зависитъ отъ движенія, сообщеннаго ему при выстрѣлѣ, и отъ притяженія земли; ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ мы не можемъ допустить, чтобы явленія находились когда-либо подъ вліяніемъ только одной изъ обуславливающихъ причинъ». Имѣя передъ собой эти строки, г. Страховъ не можетъ не понять, что въ моей статьѣ нѣтъ и тѣни противорѣчія. Отрицаю, что скрещиваніе *уничтожаетъ* результаты отбора, я не отрицаю, что оно ихъ *ограничиваетъ, замедляетъ*. Скрещиваніе и отборъ—это два борющихся начала. По мнѣнію Данилевскаго, первое безконечно велико, а второе сводится къ нулю. Я же говорю, что противодѣйствіе, оказываемое скрещиваніемъ, всегда величина конечная, а слѣдовательно, и для дѣйствія отбора всегда остается просторъ, понятно, тѣмъ болѣе широкой, чѣмъ менѣе противодѣйствующая сила. Продолжая высказанную выше параллель, по Данилевскому и г. Страхову выходитъ, что если существуетъ земное притяженіе, то, *значитъ*, ядро никогда не можетъ вылетѣть изъ пушки. А я говорю, вылетитъ вопреки притяженію, но полетъ его будетъ зависѣть отъ этого притяженія. Дѣло такъ просто, что нѣтъ и мѣста для недоразумѣнія. Такъ же само собою очевидно, что скрещиваніе, разжижая какой-нибудь признакъ, въ то же время, распределяетъ его на большее число существъ, это—неизбѣжный результатъ всякаго разжиженія: что теряется въ интензивности, то выигрывается въ экстензивности. Въ итогъ, какъ я уже объяснялъ не разъ, скрещиваніе есть обстоятельство, опредѣляющее, почему естественный отборъ требуетъ для проявленія своихъ результатовъ длиннаго ряда вѣновъ, а искусственный (гдѣ скрещиваніе болѣе ограничено)—только десятковъ лѣтъ. Отсюда же понятно, что чѣмъ болѣе ограничено скрещиваніе въ природѣ, тѣмъ быстрѣе дѣйствіе естественнаго отбора. Отрицаю, что скрещиваніе *всесильно*, я не имѣю ни малѣйшаго желанія впадать въ противоположный абсурдъ и утверждать, что оно *безсильно*. Г. Страховъ такъ проникся убѣдительною излюбленнаго довода: «не все—значитъ ничего», что не можетъ скрыть досады, почему и я не разсуждаю такимъ же образомъ. Но отъ меня онъ этого не дождется.

Я не ограничился въ своей критикѣ доказательствомъ несостоятельности разсужденій Данилевскаго, я привожу факты, самымъ очевиднымъ образомъ доказывающіе, что извѣстныя черты организаціи не исчезаютъ не только вслѣдствіе «перваго», но даже и «повтореннаго» скрещиванія. Приводимый мною примѣръ тѣмъ болѣе убѣдителенъ, что всякому понятенъ,

и потому именно особенно досаденъ для г. Страхова, всегда разсчитывающаго только на помраченіе своего читателя. Я указываю на историческій носъ Бурбоновъ, который, несмотря на обязательное отсутствіе кровосмѣсительныхъ браговъ, сохранился до восьмага поколѣнія. Въ герцогѣ Немурскомъ еще можно узнать потомка Генриха IV *). А, между тѣмъ, въ его жилахъ течетъ только $\frac{1}{128}$ доля крови родоначальника. Фактъ еще поразительнѣе, если сравнить представителей старшей и младшей линіи, раздѣленныхъ цѣлыми пятнадцатью степенями родства. По мнѣнію г. Страхова, признакъ долженъ исчезать «большою частью» отъ перваго скрещиванія, а вотъ примѣръ, закономъ предписанныхъ и исторіей засвидѣтельствованныхъ, скрещиваній въ семи поколѣніяхъ, не помѣшавшихъ сохраненію такихъ ничтожныхъ признаковъ, какъ горбатый носъ и вообще черты лица **). Фактъ налицо; аргументъ тѣмъ и досадливъ, что всякому до очевидности ясенъ; тутъ не помогутъ никакія увертки, никакое крючкотворство, никакое обрубаніе начала и конца чужой фразы или выставленіе противника въ вымышленномъ комическомъ видѣ. У всякаго и руки опустились бы, но не у г. Страхова. Его изобрѣтательность неистощима. Для омраченія читателя всѣ средства хороши; и вотъ къ какимъ прибѣгаетъ онъ на этотъ разъ: «На это возраженіе (т.-е. образованіе племенныхъ отличій и сохраненіе, вопреки скрещиванію, носа Бурбоновъ, подбородка Габсбурговъ),—говоритъ г. Страховъ,—уже совершенно основательно отвѣчалъ г. Эльпе». Слѣдуетъ ссылка на соотвѣтствующіе фельетоны *Новаго Времени*. Наивный читатель спроситъ: почему г. Страховъ, вообще тароватый на выписки, не привелъ во всеобщее назиданіе этого «совершенно основательнаго» возраженія? Для чего понадобилась глухая ссылка на такой малодоступный источникъ, какъ фельетонъ старой газеты? Но въ этомъ и вся новизна полемическаго приѣма г. Страхова. Дѣло въ томъ, что въ указанномъ мѣстѣ по главному сюда относящемуся вопросу, т.-е. по вопросу о возможности сохраненія признаковъ, вопреки скрещиванію, никакого возраженія не оказывается. Вотъ что тамъ стоитъ: «Нельзя же считать серьезнымъ нурьевныя ссылки на носъ Бурбоновъ или подбородокъ Габсбурговъ». Вотъ и все, и это г. Страховъ называетъ возражать «совершенно основательно».

Таковъ новый эристическій приѣмъ, изобрѣтенный г. Страховымъ, заключающійся въ томъ, чтобы предъявлять аргументъ не наличностью, а, такъ сказать, въ кредитъ.

Для того, чтобы еще болѣе убѣдить читателя въ дѣйствительности

*) По свидѣтельству Гейне, сходство это было замѣтно еще въ дѣтствѣ герцога.

***) Понятно, что въ природѣ случая такого абсолютнаго устраненія браговъ въ близкихъ степеняхъ родства едва ли существуютъ. Если же и при такихъ, наиболѣе благоприятныхъ для него условіяхъ, скрещиваніе не „всѣсильно“, то понятно, какіе результаты должны получаться въ естественномъ состояніи, когда существа распределяются въ пространствахъ такъ, что браки между близкими степенями крови должны представлять правило, а не исключеніе (см. *Опровергнутъ ли дарвинизмъ? Лекціи и рѣчи*, стр. 159).

возраженія, на которое онъ ссылается, г. Страховъ продолжаетъ, что къ этому «совершенно основательному» возраженію онъ прибавить «только общее замѣчаніе» (странная *прибавка* къ чему-нибудь не существующему). Онъ говоритъ, что сохраненіе характеристическаго носа въ семьѣ Бурбоновъ зависитъ отъ «таинственнаго» «морфологическаго процесса», играющаго вообще большую роль во всѣхъ объясненіяхъ Данилевскаго. Что носъ — признакъ морфологическій, а не психическій, — совершенно вѣрно; такъ же вѣрно, какъ и то, что эпитетъ таинственный ничего не объясняетъ. Но главное дѣло въ томъ, что я и не поднималъ вопроса о какомъ-нибудь *объясненіи* наслѣдственности не только «таинственномъ», но и дѣйствительномъ. Дѣло не въ объясненіи, а просто въ самомъ историческомъ фактѣ сохраненія известной формы носа при такихъ условіяхъ, когда, по Данилевскому и г. Страхову, этого не могло быть. Предъидущую главу г. Страховъ заключилъ храбрымъ увѣреніемъ, что, по большей части, «одного скрещиванія» достаточно для того, чтобы уничтожить известный признакъ, а ему приводятъ всѣмъ известный примѣръ сохраненія ничтожнаго признака, несмотря на семь послѣдовательныхъ скрещиваній, т. е. при наличности всего $\frac{1}{128}$ первоначальной крови. Въмѣсто того, чтобы признать обязательную силу этого факта, или, по крайней мѣрѣ, молчать, если не можешь возражать, г. Страховъ начинаетъ метаться во всѣ стороны, прядется за несуществующій аргументъ, схоронившійся будто бы гдѣ-то въ чужомъ фельетонѣ, а для отвлеченія вниманія читателя пускается въ туманныя разсужденія о «таинственной» причинѣ факта, очень хорошо понимая, что не въ причинѣ дѣло, а въ томъ, что самый фактъ, независимо отъ его объясненія, разрушаетъ въ основѣ тѣ голословныя увѣренія о всемогуществѣ скрещиванія, на которыхъ оба они (т. е. Данилевскій и г. Страховъ) строятъ всѣ свои надежды опровергнуть дарвинизмъ. Но и этого г. Страхову показалось еще мало. Для того, чтобы окончательно затемнить въ глазахъ читателя истинный смыслъ довода, противъ котораго онъ рѣшительно ничего не можетъ возразить, онъ старается придать всему вопросу діаметрально противоположный смыслъ. Онъ пытается окончательно сбить съ толку читателя, отвѣчая мнѣ, какъ будто я *утверждалъ*, что носъ Бурбоновъ произошелъ «въ силу отбора» (!) и посредствомъ *устраненія* (!! *скрещиванія* *)), и, отвергнувъ безъ труда эту нелѣпость, прямо противоположную тому, что я говорю, самодовольно выкрикиваетъ: «что и доказать надлежало» и т. д.

Этотъ приѣмъ не новъ; вотъ какъ характеризуетъ его Шопенгауеръ **):

«Уловка 13. Безстыдный фокусъ продѣлывается, когда послѣ нѣсколькихъ вопросовъ, на которые противникъ отвѣтилъ такъ, что отвѣтомъ этимъ

*) Повторяю, что я говорю діаметрально противоположное—я привожу носъ Бурбоновъ какъ доказательство возможности сохраненія признака *вопреки присутствію* скрещиванія,—а г. Страховъ отвѣчаетъ мнѣ, какъ будто я говорилъ, что носъ сохранялся *посредствомъ устраненія* скрещиванія.

**) *Эстетика или искусство спорить*. Переводъ кн. Д. Церетелева, стр. 27.

нельзя воспользоваться для вывода заключенія, которое мы намѣревались сдѣлать, *выставляють заключительное положеніе какъ доказанное и выкрикиваютъ его съ триумфомъ*. Если противникъ застѣнчивъ или тупъ, а самъ обладаешь значительнымъ безстыдствомъ и хорошимъ голосомъ, это весьма можетъ удасться». Г. Страховъ только усовершенствовалъ эту *уловку 13*; не будучи въ состояніи отразить доводъ противника, онъ опровергаетъ *прямо противоположное положеніе* (т.-е., въ сущности, побиваетъ себя самого) и выкрикиваетъ при этомъ: *что и доказать надлежало!*

Показавъ, такимъ образомъ, на примѣрѣ Бурбоновъ, что, на первыхъ порахъ, скрещиваніе вовсе не такъ всесильно, какъ утверждаетъ Данилевскій, я указываю далѣе, что въ природѣ несомнѣнно существуютъ причины, его ограничивающія (дѣйствовавшія, на примѣръ, при образованіи человѣческихъ племенъ *). Наконецъ, я останавливаюсь на несомнѣнныхъ фактахъ, доказывающихъ, что разновидности могутъ уживаться рядомъ не смѣшиваясь и, слѣдовательно, не уничтожаясь. При этомъ я указываю на свидѣтельство Дарвина, что онъ неоднократно наблюдалъ это явленіе, и ссылаюсь на факты Негели, доказывающаго это положеніе на многочисленныхъ разновидностяхъ *Nigasiun*. Желая подорвать въ глазахъ своихъ читателей достовѣрность моей ссылки на факты Негели, г. Страховъ ядовито замѣчаетъ: «И такъ, г. Тимирязевъ, полагая, что въ настоящемъ случаѣ Негели сходится съ Дарвиномъ, нашелъ факты въ его пользу. Какъ странно! Самъ Негели *говоритъ* объ этомъ слѣдующее»... Далѣе приводится рядъ выписокъ изъ книги Негели, изъ которыхъ читателю понятно только то, что Негели въ чемъ-то не согласенъ съ Дарвиномъ, но въ чемъ именно и на какомъ основаніи, изъ этихъ глухихъ, отрывочныхъ выписокъ, конечно, ничего понять невозможно. На эту выходку г. Страхова я отвѣчу то же, что отвѣчалъ и ранѣе. До того, что *говоритъ* или думаетъ Негели, мнѣ нѣтъ никакого дѣла; я цѣню только приводимые имъ факты, а г. Страховъ, конечно, не осмѣлится утверждать, что я *неверно* цитирую или объясняю эти факты **). Данилевскій и г. Страховъ увѣряютъ, что скрещиваніе всесильно и ведетъ къ сглаживанію всякихъ различій; Дарвинъ говорить, что наблюдалъ въ природѣ совмѣстное присутствіе разновидностей, а Негели возводитъ это въ общее правило и подтверждаетъ своими многолѣтними наблюденіями надъ совмѣстнымъ разведеніемъ многочисленныхъ

*) Какъ на главную причину (помимо отбора), *ограничивающую* скрещиваніе, я подробно указываю на то, что возникновеніе всякой новой формы будетъ всегда *мѣстное*; такъ что не можетъ быть и рѣчи, на прим., о скрещиваніи между всеми представителями вида (*Лекции и рѣчи*, стр. 158—159 и 162).

**) Не касаясь здѣсь *мнѣній* Негели, такъ какъ это къ дѣлу не относится, замѣчу, что если Негели въ этомъ случаѣ только *полагаетъ*, что не согласенъ съ Дарвиномъ, то онъ прямо, фактически противорѣчить Данилевскому и г. Страхову, такъ какъ именно доказываетъ, что въ природѣ *скрещиваніе не играетъ той роли, которую ему приписываетъ Данилевскій*. Еслибъ г. Страховъ вдумался въ приведенную имъ цитату, то, конечно, припряталъ бы ее подальше, а не предъявлялъ бы въ качествѣ аргумента.

разновидностей *Niegasiu*. Вотъ *факты*; а до мнѣній Негели, повторяю, мнѣ такъ же мало дѣла, какъ и до его (столь пріятнаго г. Страхову) голословно-самоувѣреннаго отзыва, что дарвинизмъ основательно изслѣдовалъ только «конюшню» и «голубятню», а не «свободную природу» *). Театръ дѣятельности обоихъ ученыхъ мнѣ короче знакомъ, чѣмъ г. Страхову. Былъ я и въ Даунѣ, у Дарвина, бывалъ и въ мюнхенскомъ ботаническомъ саду и могу увѣрить г. Страхова, что сады, поля и рощи, среди которыхъ протекала вся жизнь Дарвина, болѣе походятъ на «свободную природу», чѣмъ нѣсколько десятковъ пыльных грядокъ въ самомъ центрѣ германскихъ Аоннъ. А если Негели экскурсировалъ въ баварскихъ или даже швейцарскихъ альпахъ, то г. Страхову не безъизвѣстно, что Дарвинъ провелъ пять лѣтъ въ кругосвѣтномъ плаваніи, да еще, съ малыхъ лѣтъ, и до, и послѣ путешествія, исходилъ вдоль и поперекъ не одинъ уголокъ Англіи.

Также, я полагаю, мало кого убѣдить и ссылка, которою г. Страховъ побѣдоносно заканчиваетъ свою первую статью, — ссылка на Агасиза, отзывавшагося о дарвинизмѣ, что это — «цѣлое болото голословныхъ утверждений». Стара истина, что *брань* — только признакъ *безсильной злобы*. А что Агасизъ самъ съ грустью сознавалъ свое безсиліе передъ побѣдоноснымъ, но не симпатичнымъ ему дарвинизмомъ, объ этомъ мы знаемъ изъ мастерской картинки въ одной изъ лекцій Тиндаля, описавшаго свое свиданіе съ этимъ неутомимымъ наблюдателемъ, но не глубокимъ мыслителемъ, упорно закрывавшимъ глаза передъ очевидностью.

Таково содержаніе этой главы. Тѣ уловки г. Страхова, съ которыми намъ пришлось въ ней познакомиться, краснорѣчиво доказываютъ, какъ жестоко мститъ за себя логика.

На этомъ мѣстѣ г. Страховъ далъ своимъ читателямъ мѣсячный отдыхъ. Переведемъ духъ и мы.

К. Тимирязевъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

*) Гукеръ и Аза-Грей — о которыхъ справедливо говорятъ, что каждый изъ нихъ видалъ болѣе живыхъ растений въ ихъ естественной обстановкѣ, чѣмъ кто-либо на землѣ, — совершенно иного мнѣнія о дарвинизмѣ.

Витторія Колонна *).

(Adolphus Trollope: „A Decade of Italian Women“).

Глава V.

Витторія въ первое время своего вдовства въ монастырѣ Санъ-Сильвестро.—Возвраще-
ніе ея на Искію.—Два отдѣла, на которые распадается ея поэзія.—Обрачки ея соне-
товъ.—Благодаря ея советамъ, слава о ней быстро распространяется по всей Италіи.—
Чувства Витторіи къ мужу.—Ея незапятнанная репутація.—Платоническая любовь.—
Любовная поэзія въ шестнадцатомъ вѣкѣ.

И такъ, Витторія осталась вдовою на тридцать шестомъ году своей жи-
зни. Она все еще была въ полномъ блескѣ своей красоты, какъ утвержда-
ютъ современные ей писатели и какъ это доказываютъ двѣ медали, выби-
тыя въ Миланѣ незадолго до смерти ея мужа. Одна изъ нихъ представля-
етъ бюстъ Пескары на лицевой сторонѣ, а бюстъ Витторіи на оборотѣ; дру-
гая—тотъ же портретъ Витторіи на лицевой и военный трофей на зад-
ней сторонѣ. Лицо, изображенное на этихъ медаляхъ, чрезвычайно краси-
во, и здѣсь, въ профилѣ, оно, пожалуй, пріятнѣе, чѣмъ на портретѣ, о ко-
торомъ мы говорили въ одной изъ предъидущихъ главъ. Сверхъ того, Вит-
торія уже въ это время была, вѣроятно, самою знаменитою женщиной въ
Италіи, хотя пока она еще такъ мало сдѣлала для пріобрѣтенія той гро-
мадной извѣстности, которая ожидала ее нѣсколько лѣтъ позднѣе. По всей
вѣроятности, очень немногіе изъ ея сонетовъ были написаны до кончины
ея мужа.

Но знатность и выдающееся положеніе ея семьи, высокое военное зва-
ніе и слава ея мужа, всѣ тѣ надежды и опасенія, центромъ которыхъ онъ
былъ въ дѣлѣ заговора, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, молва объ ея талантѣ, учено-
сти и добродѣтеляхъ, составлявшихъ предметъ восторженныхъ восхваленій
почти всего пребывавшаго на Искіи кружка поэтовъ и beaux-esprits,—все
это обращало на нее вниманіе всей Италіи. Преждевременная и внезапная
смерть ея мужа прибавила къ ея личности еще другой источникъ интереса.
Молодая, красивая и чрезвычайно богатая вдова возбуждала такія же на-

*) Русская Мысль, кн. IV.

дежды, такіе же расчеты и планы въ шестнадцатомъ вѣкѣ, какъ и во всякомъ другомъ.

Но первымъ чувствомъ Витторіи, по полученіи роковой вѣсти въ Виттербо, было то, что она никогда уже не будетъ въ состояніи стать лицомъ къ лицу съ этимъ свѣтомъ, который такъ охотно раскрывалъ ей свои объятія. Бѣжать отъ свѣта, искать уединенія, кельи, стѣны которой насколько возможно напоминали бы могилу, такъ какъ судьба отказывала ей въ этомъ послѣднемъ пристанищѣ,—было ея единственнымъ желаніемъ. И, подавленная своимъ тяжкимъ горемъ, она поспѣшила въ Римъ, намѣреваясь укрыться въ монастырѣ; обитель *San Silvestro in Capite*—такъ называемая потому, что въ ней, по преданію, хранилась глава Крестителя—всегда пользовалась особымъ почитаніемъ со стороны фамилии Колонна, и здѣсь нашла она себѣ утѣшительное жилище. Ея многочисленные друзья, хорошо зная, до какого отчаянія доходила ея скорбь, боялись, что, подъ влияніемъ этого перваго порыва ея, она рѣшится на безповоротный шагъ и произнесетъ монашескіе обѣты. Чтобы такая женщина, какъ Витторія Колонна, окончательно исчезла для свѣта, было совершенно невысказуемо. Поэтому Джакомо Садолетто, епископъ карпентрасскій, впоследствии возведенный въ кардиналы папою Павломъ III, одинъ изъ ученѣйшихъ людей своего времени, самъ поэтъ и близкій другъ Витторіи, поспѣшилъ къ папѣ Клименту, при которомъ онъ исполнялъ въ это время должность секретаря, и получилъ отъ него грамоту къ настоятельницамъ и монахинямъ Санъ-Сильвестро, повелѣвавшую имъ принять въ свой домъ и постараться утѣшить маркизу Пескара, «*omnibus spiritualibus et temporalibus consolacionibus*» (всеми духовными и временными утѣшеніями); грамота грозила монахинямъ полнымъ отлученіемъ отъ церкви въ томъ случаѣ, еслибъ онѣ допустили маркизу постричься, «*скорѣе, слѣдуя порыву своей скорби, чѣмъ по зрѣломъ размышленіи о замѣнѣ вдовихъ одеждъ монашескими*». Эта булла помѣчена 7-мъ декабря 1525 г.

Витторія прожила въ общинѣ сестеръ Санъ-Сильвестро до осени слѣдующаго года и отсрочила бы еще свое возвращеніе въ свѣтъ, представлявшійся ей, по условіямъ того времени, менѣе чѣмъ когда-либо соблазнительнымъ, еслибъ ея братъ Асканіо, оставшійся ея единственнымъ естественнымъ покровителемъ, не перевезъ ее изъ монастыря въ Марино, вслѣдствіе того, что Колонны, какъ сторонники императора, снова очутились въ войнѣ съ папою.

20 сентября 1526 г. эта вѣчно мятежная фамилія подняла бунтъ въ Римѣ своими криками «*Imperio! Libertà! Colonna!*» и разграбила Ватиканъ и всѣ дома, принадлежавшіе Орсини; старинная племенная вражда прорывалась наружу при всякомъ удобномъ случаѣ.

Въ результатъ этого явился папскій декретъ, лишившій кардинала Колонну кардинальскаго шапка и налагавшій запрещеніе на всѣ фамильныя помѣстья. Глубоко огорченная всеми этими крайностями—и необузданнымъ насиліемъ своихъ родственниковъ, и постигшимъ ихъ наказаніемъ,—Витто-

рія покинула Марино и снова возвратилась на уединенную Искію въ началѣ 1527 г. Ей не пришлось сожалѣть о своемъ рѣшеніи не оставаться въ Римѣ и его окрестностяхъ въ теченіе этого роковаго года. Между тѣмъ какъ вѣчный городъ и прилегающія къ нему мѣстечки подвергались неслезаннымъ ужасамъ и жестокостямъ, совершаемымъ солдатами католическаго монарха, Витторія находилась въ безопасности на своемъ островкѣ; правда, что сердце ея раздиралось, когда до нея доходили вѣсти о гибели и изгнаніи многихъ дорогихъ друзей, но все же сама она могла, по крайней мѣрѣ, проводить эти дни въ тишинѣ и спокойствіи.

И теперь, если не раньше еще, въ монастырѣ Санъ-Сильвестро, началась ея поэтическая дѣятельность. До этого времени она писала очень мало, и то случайно. Висконти, послѣдній и лучший издатель ея произведеній, раздѣляетъ ихъ на двѣ части. За двумя или тремя незначительными исключеніями, изъ которыхъ особенно выдается уже отмѣченное нами посланіе ея къ мужу, обѣ онѣ состоятъ изъ сонетовъ. Къ первому изъ отдѣловъ синьора Висконти, обнимающему 134 сонета, относятся тѣ, которые почти цѣликомъ навѣяны ея скорбью объ утратѣ мужа. Они представляютъ чрезвычайно замысловатыя варіаціи на весьма ограниченный кругъ идей, вращающихся исключительно около славы и высокихъ качествъ того, кого она утратила, и ея безпредѣльной и безысходной тоски.

«Я пишу лишь для того, чтобы излить сокровенное страданіе, которымъ живетъ мое сердце, не желающее никакой другой пищи», — такъ начинается первый изъ этихъ элегическихъ сонетовъ, въ которомъ она продолжаетъ отрекаться отъ всякой мысли увеличить славу свою супруга, — *non per giunger lume al mio bel sole* (не для того, чтобы прибавить сіянія къ моему прекрасному солнцу) — неизмѣнное выраженіе, которымъ она обозначаетъ его. Эта фантазія примѣнять къ Пескарѣ все ту же, не совсѣмъ удачную метафору еще усиливаетъ монотонность стиховъ, лицевныхъ разпообразія, вслѣдствіе тождественности ихъ крайне искусственной формы.

Нѣтъ необходимости распространяться о томъ, что эта форма, болѣе чѣмъ какой-либо другой видъ лирики, требуетъ самой тщательной отдѣлки и безукоризненнаго изящества. Не имѣя въ себѣ, благодаря своей чрезвычайной искусственности и трудности построения, тѣхъ высшихъ красотъ, которыя составляютъ удѣлъ болѣе непосредственнаго поэтическаго изложенія, сонетъ *totus, teres atque rotundus* (цѣльный, нѣжный и закругленный) не можетъ быть названъ сонетомъ, если онъ не выработанъ до ювелирнаго совершенства.

Въ одномъ сонетѣ, первые восемь стиховъ котораго представляютъ, пожалуй, самый удачный образецъ истинно-поэтической метафоры, какой только можно найти въ ея произведеніяхъ, она опять-таки утверждаетъ, что «пѣснь ея льется сама собою».

„Qual digiuno augellin, che vede ed ode
Batter l'ali alla madre intorno, quando

Gli' reca il nutrimento; ond'egli amando
 Il cibo e quella, si rallegra e gode,
 E dentro al nido suo si strugge e rode
 Per desio di seguirla anch'ei volando,
 E la ringrazia in tal modo cantando,
 Che par ch'oltre'l poter la lingua snode;
 Tal'io qualor il caldo raggio e vivo
 Del divin sole, onde nutrisco il core,
 Più del usato lucido lampeggia,
 Nuovo la penna, spinta dall'amore
 Interno; e senza ch'io stessa m'avveggia
 Di quel ch'io dico, le sue lodi scrivo".

«Какъ голодный птенчикъ, слышавъ взмахъ крыльевъ своей матери, которая несетъ ему пищу, веселится и радуется, потому что любить и мать, и кормъ, и трепещетъ, и порхаетъ въ своемъ гнѣздышкѣ, желая полетѣть вслѣдъ за нею, и благодарить ее, возвышая свой голосокъ, такъ что кажется, что онъ сверхъ силъ напрягаетъ его,—такъ и я, когда теплый и свѣтлый лучъ божественнаго солнца, питающаго мое сердце, загорается особенно яркимъ сіяніемъ, берусь за перо, движима внутреннею любовью, и, сама не замѣчая того, что говорю, начинаю его воспѣвать».

Читатель, знакомый съ итальянскою поэзіею, видитъ, что стихотворенія Витторіи Колонна отнюдь не грубы, не шероховаты и не непосредственны. Ихъ достоинство заключается именно въ томъ, что они представляютъ совершенный и поразительный контрастъ всему этому. Они остроумны, красивы, чрезвычайно обдуманно, изящны и тщательно отдѣланы. Правда, что мысли автора, пожалуй, не особенно долго останавливались на самомъ сюжетѣ, но за то не мало труда было потрачено на стиль, версификацію и форму. Многіе изъ ея сонетовъ были переработаны, измѣнены, исправлены и оставлены потомству далеко не въ томъ видѣ, въ какомъ они сначала облетѣли весь литературный міръ Италиі. Но всѣ эти ухищренія облечь въ причудливую форму скудную или обыденную мысль,—ухищренія, возбуждавшія восторженные отзывы ея современниковъ, не вознаграждаютъ читателя нашего вѣка за отсутствіе страсти, глубины и жизненности.

Какъ только вызванный памятью прошлаго взрывъ скорби выливался въ изящную метафору, или же красивая аллегорія аккуратно укладывалась въ свой установленный правилами ларчикъ изъ четырнадцати стиховъ, уснащенныхъ двойною безукоризненною римой, тотчасъ же они облетали всю Италію. Копій съ нихъ добивались такъ настойчиво, какъ моднаго романа въ библиотекѣ для чтенія девятнадцатаго вѣка. Кардиналы, епископы, поэты, ученые, дипломаты передавали ихъ изъ рукъ въ руки, избирали ихъ темою своей взаимной переписки и корреспонденціи съ прекрасною, погруженною въ печаль поэтессою и съ нетерпѣніемъ ожидали слѣдующей поэтической новинки, которая должна была явиться плодомъ ея неугасимой скорби и неизмѣнной вѣрности ея «прекрасному солнцу».

Ничто не можетъ сравниться съ тѣмъ энтузіазмомъ, который возбуждали эти мелодическія сѣтованія молодой вдовы, столь же прелестной, какъ

и безутѣшной, столь же безупречной, какъ и благородной, настолько образованной, что она могла вести переписку съ самыми учеными людьми того времени объ интересующихъ ихъ предметахъ, и, со всѣмъ этимъ, принадлежавшей къ фамилии Колонна. Витторія не замедлила сдѣлаться знаменитѣйшею женщиной своего вѣка, была единодушно провозглашена «божественной» и имѣла удовольствіе видѣть еще при жизни три изданія воплей, вырвавшихся у нея «помимо ея воли».

Вотъ сонетъ, написанный, вѣроятно, по ея возвращеніи на Искію въ 1527 году, когда, при видѣ любимыхъ мѣстъ, гдѣ протекли ея счастливые годы, ей должны были придти на память слова Данте:

„Nessun maggior dolore
Che ricordarsi del tempo felice
Nella miseria!“

«Нѣтъ болѣе жестокой скорби, какъ вспоминать блаженные дни въ годину несчастья».

Витторія такимъ образомъ вспоминаетъ блаженные дни:

„Oh! che tranquillo mar, oh che chiare onde
Solcava già la mia spalmata barca,
Di ricca e nobil merce adorna e carica,
Con l'aer puro, e con l'aure seconde.
Il ciel, ch'ora i bei vaghi lumi asconde,
Porgea serena luce e d'ombra scarca;
Ah! quanto ha da temer chi lieto varca!
Chè non sempre al principio il fin risponde.
Ecco l'empia e volubile fortuna
Scoperse poi l'irata iniqua fronte,
Dal cui furor si gran procella insorge.
Venti, pioggia, saette insième aduna,
E fiere intorno a divorarmi pronte;
Ma l'alma ancor la fida stella scorge“.

«О, какъ безмятежно было море, какъ прозрачны были волны, по которымъ нѣкогда скользилъ мой осмоленный челнокъ, нагруженный и украшенный богатымъ и цѣннымъ товаромъ! Какъ чистъ былъ воздухъ, какъ попутенъ вѣтеръ!

«Небо, которое теперь скрываетъ свои чудные, ласкающіе лучи, тогда изливало свѣтлое сіяніе, не омраченное ни однимъ облачкомъ. Увы! сколько горя ожидаетъ того, кто беззаботно пускается въ плаваніе: конецъ не всегда соответствуетъ началу.

«И вотъ, беспощадная и измѣнчивая судьба обнажила теперь свое гнѣвное, свирѣпое чело, ярость котораго подняла такую ужасную бурю.

«Вѣтры, дождь и молніи,—все соединилось, и дикіе звѣри окружаютъ меня, готовясь меня поглотить, но душа еще различаетъ свою вѣрную звѣзду».

Если читатель помнить то, что здѣсь говорилось о Пескарѣ, то ему должно представиться очевиднымъ, что умъ и разумокъ Витторіи были затемнены какою-нибудь чудовищною иллюзіей по отношенію къ ея мужу. Онъ можетъ подумать, что она приписывала ему высокія и благородныя каче-

ства, существовавшия только въ ея воображеніи. Но замѣчательно, что хотя она вообще говоритъ о немъ, какъ объ олицетвореніи всего благороднаго и великаго, однако, при описаніи его достоинствъ, она ограничивается тѣми немногими, которыми онъ обладалъ въ дѣйствительности. Эта высокообразованная, набожная, мечтательная, умственно-развитая женщина, повидимому, искренно вѣрила, что ремесло наемнаго воина было самою возвышенною дѣятельностью на землѣ, и что человѣкъ, успѣшно подвизавшійся на этомъ поприщѣ, избиралъ вѣрнѣйшій путь для обезпеченія себѣ въ будущемъ вѣчнаго блаженства.

Слѣдующій сонетъ, подобно многимъ другимъ, выражаетъ именно эти чувства:

«Твоимъ побѣдамъ, о мой вѣчный свѣтъ, благоприятствовало не время и не силы природы, — мечъ, добродѣтель, несокрушимое мужество были твоими орудіями и лѣтомъ, и зимой.

«Осмотрительнымъ взоромъ, мудрымъ руководствомъ ты такъ быстро разбивалъ непріятельскія войска, что тотъ способъ, которымъ ты дѣйствовалъ, еще возвеличивалъ твои высокіе подвиги, а подвиги твои въ свою очередь придавали еще больше блеска твоей внутренней доблести.

«Тебя не задерживали на твоемъ пути ни надменные души, ни рѣки, ни горы, и знаменитѣйшіе города ты покорялъ своимъ великодушіемъ или отвагой.

«Ты достигъ самыхъ высокихъ въ мірѣ почестей, теперь же наслаждаешься на небесахъ другою, истинною славой, и другіе лавры вѣнчаютъ и украшаютъ твое чело».

Нерѣдко ея желаніе умереть встрѣчаетъ себѣ преграду въ томъ соображеніи, что, быть можетъ, ея добродѣтель слишкомъ недостаточна для того, чтобъ она могла соединиться съ своимъ супругомъ въ селеніяхъ блаженныхъ:

«Когда сердце до того терзается мукой, что я начинаю стремиться къ смерти, мною овладѣваетъ внезапный страхъ, который говоритъ мнѣ: какая польза тебѣ въ скорой кончинѣ, если ты будешь жить вдали отъ твоего прекраснаго солнца?

«Этотъ холодный ужасъ обыкновенно порождаетъ пылкую отвагу, которая надѣляетъ душу крыльями, и съ ихъ помощью моя смертная оболочка, насколько это возможно, освобождается отъ мірскихъ желаній.

«И, такимъ образомъ, духъ мой скрывается и убѣгаетъ отъ всякихъ земныхъ удовольствій, не ради славы, суетныхъ похвалъ или излишняго самолюбія; но онъ чувствуетъ свой свѣтъ, который вѣчно зоветъ его, и всюду, куда онъ устремляетъ взоры, видитъ его образъ, который слѣдитъ за его шагами и направляетъ его дѣйствія».

Подобный строй мыслей, заставлявшій ее тяготиться жизнью и, въ силу какого-то таинственнаго душевнаго процесса, окружать ореоломъ святости память своего супруга, снова встрѣчается въ слѣдующемъ сонетѣ, послѣднимъ изъ тѣхъ, которые были выбраны нами для иллюстраціи этого ду-

шевного фазиса нашей поэтессы и для ознакомления читателя съ первымъ отдѣломъ ея произведеній:

„Cara union, che in si mirabil modo
 Fosti ordinata dal signor del cielo,
 Che lo spirito divino, e l'uman velo
 Legò con dolce ed amoroso nodo,
 Io, benchi lui di si bell'opra lodo,
 Pur cerco, e ad altri il mio pensier non celo,
 Sciorre il tuo laccio; ni più a caldo o gelo
 Serbarti; poichè qui di te non godo.
 Chè l'alma chiusa in questo carcer rio
 Come nemico l'odia; onde smarrita
 Ne vive qui, nè vola ove desia.
 Quando sarò con suo gran sole unita,
 Felice giorno! allor contenta fia;
 Chè sol nel viver suo conobbe vita“.

«Дивный союзъ, такъ чудесно устроенный Царемъ Небеснымъ, соединившимъ такъ нѣжно и любовно божественный духъ съ человѣческой оболочкой, хотя я и возношу Ему хвалу за Его славное дѣло, но все же я стараюсь, — и не скрываю отъ другихъ своего желанія, — ослабить твои узы, и не предохраняю уже тебя ни отъ жара, ни отъ холода, потому что не нахожу въ тебѣ радости. Душа, заключенная въ эту мрачную темницу, ненавидитъ ее, какъ врага, и, въ своемъ смущеніи, не можетъ ни оставаться въ ней, ни улетѣть туда, куда желала бы. Когда она соединится съ своимъ великимъ солнцемъ, тогда наступитъ блаженный день, — тогда она будетъ вполне спокойна, потому что только при его жизни и она знала жизнь».

При разсмотрѣніи коллекціи 117 сонетовъ, изъ которой были выбраны приведенные нами образчики и которая представляетъ, вѣроятно, ея произведенія за семь или восемь лѣтъ, отъ 1526 до 1533 или 1534 года (въ одномъ сонетѣ она жалуется на то, что седьмой годъ, со времени кончины ея мужа, не принесъ облегченія ея горю), самымъ интереснымъ вопросомъ является слѣдующій: должны ли мы считать выраженные въ нихъ чувства искренними изліяніями сердца, или же скорѣе смотрѣть на нихъ какъ на часть профессиональныхъ атрибутовъ поэта, не имѣвшаго иной цѣли, кромѣ достиженія высокой и блестящей поэтической славы? Вопросъ этотъ весьма важенъ по отношенію къ тому конкретному представленію, которое должно сложиться у насъ о женщинѣ шестнадцатаго столѣтія, Витторіи Колонна, и не безынтересенъ въ томъ смыслѣ, что онъ касается существенныхъ свойствъ женской природы.

Нравственное поведеніе Витторіи и какъ супруги, и какъ вдовы было вполне безупречно. Множество единодушныхъ свидѣтельствъ ея современниковъ не оставляютъ на этотъ счетъ ни малѣйшаго сомнѣнія. Не одинъ поэтъ той эпохи заявлялъ себя ея пламеннымъ поклонникомъ, преданнымъ работѣ и близкимъ къ отчаянію обожателемъ, слѣдуя господствовавшей поэтической и платонической модѣ того времени, и она милостиво при-

мала их напыщенные и высокопарныя увѣренія, ничего не имѣя противъ курившагося предъ нею омиама, и отвѣчала имъ въ такомъ же высокопарномъ тонѣ, но совершенно *en règle* и съ полнымъ достоинствомъ. Въ то время *la carte de tendre* носила платоническія очертанія, и мода шестнадцатаго столѣтія въ этомъ отношеніи столь же часто являлась удобными ширмами для тѣхъ, кто нуждался въ ширмахъ, какъ и менѣе классическія причуды какого-нибудь позднѣйшаго періода. Но платоническая любовь была для Витторіи лишь предлогомъ отдаться тому спиритуалистическому педантству, посредствомъ котораго классики той эпохи пытались связать только что зарождавшіяся въ то время изъ вопросовъ церковной доктрины метафизическія умозрѣнія съ вѣчно интереснымъ сюжетомъ романтической любви.

Одна французская писательница, передавая въ прозѣ стихотворное посланіе Витторіи къ мужу, прибавляетъ, что она была «вынуждена замаскировать и смягчить нѣкоторыя мѣста, которыя могли бы повредить поэтической репутаціи автора въ глазахъ ея читательницъ, такъ какъ пылкій и «положительный» характеръ ея любви, какъ она здѣсь выражаетъ ее, изобличаетъ въ ней не столько поэта, сколько женщину» *). Не можетъ быть болѣе злословной инсинуаціи. Правда, что французенка дѣйствительно выпускаетъ или обходитъ нѣкоторыя мѣста подлинника, но такъ какъ въ нихъ нѣтъ и тѣни соблазна, то слѣдуетъ только предположить, что переводчица не поняла ихъ смысла.

Въ поэзіи Витторіи нѣтъ ни одного слова, которое могло бы повести къ иному заключенію по этому поводу, кромѣ того, что она, при своемъ выдающемся общественномъ положеніи, была рѣдкимъ въ то время примѣромъ не только совершенно безукоризненнаго поведенія, но и замѣчательной чистоты душевной и благородства. Всѣ другія имѣющіяся у насъ указанія на ея нравственную природу также говорятъ въ ея пользу. Мы видимъ, что она, не поддавая вліянію ожесточенной наслѣдственной ненависти своего рода, является примирительницей враждующихъ партій и оплакиваетъ зло, причиненное ихъ междоусобицами. Мы видимъ, что она постоянная корреспондентка и уважаемый другъ почти всѣхъ великихъ и хорошихъ людей своего времени. И если ея схема нравственнаго ученія, поскольку мы можемъ судить о ней на основаніи того отдѣла ея стихотвореній, котораго мы еще не рассматривали, если эта схема узка, — да и какъ могло бы быть иначе?—все же въ ней сказывается умъ, привыкшій находиться подъ вліяніемъ добродѣтельныхъ порывовъ и болѣе гуманный по своимъ стремленіямъ, нежели умы окружавшихъ ее.

Такова была Витторія Колонна. Мы видѣли, что за человѣкъ былъ ея мужъ Пескара. И у насъ возникаетъ вопросъ, насколько можно счесть вѣроятнымъ, что она не только до послѣдняго момента его жизни расточала ему всѣ сокровища любви, переходившей въ обожаніе, не только относи-

*) *Madame Lamaze*: „Etudes sur Trois Femmes Célèbres“.

лась послѣ его смерти съ нѣжностью и великодушною, даже слѣпо великодушною снисходительностью къ его памяти, но до такой степени превозносила его въ своемъ воображеніи, что едва ли не считала себя недостойною соединиться въ будущей жизни съ такою святою душою. Можно сказать, что Витторія не знала своего мужа, какъ мы знаемъ его, что тѣ немногіе годы, которые они провели вмѣстѣ, по всей вѣроятности, выказали предъ нею лишь лучшія стороны его характера. Но она знала, что онъ, все-таки, останавливался на мысли объ измѣнѣ своему государю и самымъ постыднымъ образомъ измѣнилъ своимъ соумышленникамъ или жертвамъ своего коварства. Она знала, по крайней мѣрѣ, все то, что ей могло сказать повѣствованіе Джіовіо, ибо епископъ преподнесъ ей біографію ея мужа и получилъ за это советъ.

Но одно изъ прекраснѣйшихъ свойствъ женской природы, говорятъ иные люди, заключается въ томъ, что любовь женщины способна ослѣплять ея разумъ. Романисты и поэты любятъ изображать женщинъ, привязанность которыхъ остается неизмѣнною, несмотря на то, что предметъ ихъ любви явно недостойнъ ея, и представляютъ намъ подобные примѣры какъ нѣчто высокое, благородное, возбуждающее удивленіе, какъ нѣчто «прекрасное», къ немалой деморализаціи своихъ довѣрчивыхъ читателей и читательницъ. Въ женщинѣ есть дѣйствительно стремленіе противиться всѣми силами души развѣнчанію владыки, котораго она возвела на престолъ своего сердца. Ей такъ тяжело низложить его, что она испытываетъ поползновеніе унизить свою собственную душу, лишь бы избѣжать этого, такъ какъ избѣжать этого возможно только такою цѣною. А зрѣлище утонченной природы, низведенной съ ея высоты, чтобы быть смѣшанной съ грязью, вовсе не прекрасно,—совсѣмъ наоборотъ. Человѣчество, въ большинствѣ случаевъ, не считаетъ достойной удивленія,—хотя есть и полагающая иначе школа писателей, болтающихъ разный вздоръ о любви по первому взгляду,—тотъ родъ любви между полами, который проистекаетъ отъ причинъ, совершенно не зависящихъ отъ высшихъ свойствъ нашей природы. Женщинѣ, для ея собственнаго счастья, чрезвычайно важно понять и глубоко убѣдиться въ томъ, что, не принижая своей природы, она не можетъ любить того, кто не стоить любви, что, каковы бы ни были обстоятельства, любовь должна угаснуть, если исчезло уваженіе и нравственная симпатія, что люди, находящіе поэзію и красоту въ такой любви, которой не можетъ убить никакая нравственная перемѣна въ предметъ этой любви, просто-на-просто учатъ ее отдавать губительно развращающее преимущество низменнымъ инстинктамъ нашей природы, тогда какъ только подчиненіемъ этихъ инстинктовъ другимъ, болѣе духовнымъ свойствамъ нашего существа обусловлены и благородство, и нравственная чистота, и духовный прогрессъ.

Витторія Колонна, не принадлежала къ числу тѣхъ женщинъ, у которыхъ умственное и нравственное я отрекается подобнымъ образомъ отъ своихъ правъ.

Складъ ея ума и привычки ея мысли не допускають подобнаго предположенія, и, зная это, мы никакъ не можемъ считать апоэеозъ ея *bel sole*, составляющій главную тему первой половины ея сонетовъ, искреннимъ выраженіемъ неподдѣльнаго чувства и убѣжденія.

Вѣроятно, она не болѣе серьезно относилась къ этому апоэеозу, чѣмъ ея великій образецъ и учитель Петрарка къ своему поклоненію Лаурѣ. Поэтическая мода того времени вращалась почти исключительно около Петрарки, и обильный Кастальскій источникъ начала XVI вѣка въ «странѣ пѣснопѣнія» врядъ ли что выбрасывалъ изъ своихъ безчисленныхъ фонтановъ, кромѣ Петрарки, болѣе или менѣе разведеннаго водой. Витторія не имѣетъ права быть исключенной изъ *servum pecus*, хотя ея подражаніе и отличается болѣе самобытною силою, которая служитъ ему поддержкой. А это измышленіе могучей, вѣчной, возвышенной и безнадежной страсти неизбѣжно входило въ составъ профессиональныхъ принадлежностей поэта. Гдѣ могла молодая и красивая вдова, безукоризненно нравственная, не имѣвшая намѣренія измѣнить свое семейное положеніе и не желавшая подать поводъ къ ложнымъ свѣтскимъ толкамъ, гдѣ могла она найти менѣе предосудительнымъ путемъ эти необходимые для нея поэтическіе атрибуты, какъ не въ памяти своего мужа, освященной и возвеличенной ея воображеніемъ, насколько этого требовала ея цѣль?

За недостаткомъ болѣе глубокаго духовнаго проникновенія и болѣе широкаго пониманія утонченныхъ привязанностей человѣческаго сердца и ихъ проявленій, любовная поэзія итальянскихъ поэтовъ эпохи «Ренессанса» мало чѣмъ отличалась отъ выраженія страсти въ самомъ тѣсномъ смыслѣ слова. Но у нихъ нерѣдко являлось желаніе возвысить, облагородить и одухотворить свою тему. И какъ же было достигнуть этого? Удовлетвореніе страсти, какъ они изображали ее, увлекло бы ихъ, они это чувствовали, совсѣмъ не по тому направленію, котораго они искали. Поэтому безнадежная страсть, желаніямъ которой, какъ это читатель долженъ былъ ясно уразумѣть, не было суждено найти когда-либо удовлетворенія, а еще лучше—страсть, по самой природѣ вещей не могущая найти его,—вотъ тотъ пріемъ, съ помощью котораго любовь думали опозитизировать и одухотворить.

Поэзія страсти, обращавшаяся къ памяти умершаго лица, какъ нельзя лучше отвѣчала подобнымъ требованіямъ, и десятилѣтнія сѣтованія и отчаяніе Витторіи, прославленіе ею памяти начальника легкой кавалеріи и стремленіе соединиться съ нимъ въ небесахъ должны считаться поэтическими аксессуарами, которые она выкладывала передъ собою, садясь писать стихи, ради вполне сознательной, хотя и весьма похвальной цѣли стяжать себѣ славу поэта.

Но не слѣдуетъ думать, что къ этому присвоенію поэтической роли неутиѣшной вдовы примѣшивалось что-либо вродѣ лицемерія. Всѣ понимали, что поэтесса просто занималась стихотворствомъ и говорила обычныя и подходящія въ этомъ случаѣ вещи. Она такъ же мало старалась обра-

нута кого-либо, какъ любой поэтъ, именовавшій себя при вступленіи въ какую-нибудь *academia* Тиртеемъ или Лицидасомъ, а не тѣмъ именемъ, которое онъ унаслѣдовалъ отъ отца.

И этимъ полнымъ отечественнымъ всякаго истиннаго и неподдѣльнаго чувства объясняется чрезвычайная холодность, пустота и пошлость поэтовъ этого времени и этой школы. По всей вѣроятности, рѣдкій отдѣлъ литературы находитъ менѣе читателей, чѣмъ произведенія петраркистовъ начала шестнадцатаго вѣка.

Когда Витторія стала писать на религіозныя темы, она уже глубже относилась къ нимъ, и соотвѣтственно съ этимъ, результатъ оказался, какъ мы увидимъ, значительно выше.

Глава VI.

Витторія въ Римѣ въ 1530 году.—Прогулки съ антикварною цѣлью.—Медаль, изображающая Пирама и Тисбе.—Современный Витторіи комментарий къ ея стихотвореніямъ.—Павелъ III.—Опять Римъ въ 1536 г.—Посѣщеніе Лукки.—Посѣщеніе Феррары.—Протестантскія стремленія.—Приглашеніе Джиберто.—Возвращеніе въ Римъ.

Соперничество Франциска I съ Карломъ V снова въ 1530 г. сдѣлало Неаполь ареной такихъ славныхъ битвъ, что оскорбленная природа вступила въ свою очередь на мѣсто дѣйствія, вооружившись чумою. Первый бичъ заставилъ большую часть литературнаго общества въ Неаполѣ искать сравнительной безопасности на Искіи. Но послѣднее бѣдствіе коснулось и этого убѣжища, и Витторія въ этомъ году снова посѣтила на нѣкоторое время Римъ.

Здѣсь жизнь уже начинала опять входить въ прежнюю колею послѣ ужасной катастрофы 1527 г. И здѣсь чума, какъ всегда, явилась результатомъ войны и распушеннаго поведенія войскъ. И много людей всѣхъ классовъ пали ея жертвою. Множество жителей бѣжало изъ города и въ томъ числѣ находилось, вѣроятно, большинство лицъ, пользовавшихся дружбой Витторіи. Теперь они снова рѣшились возвратиться къ своему обычному мѣстопребыванію на Монте-Пинчіо, на Квиринальскомъ холмѣ, или въ излюбленныхъ садахъ фамиліи Колонна, еще украшенныхъ развалинами храма Солнца, построеннаго Аврелианомъ. Потопъ новыхъ готовъ, грозившихъ предать посмѣянію имя вѣчнаго города, былъ унесенъ словомъ втораго и «католическаго» Алариха, Карла V. Кардиналы, стихотворцы, ученые, епископы цидероновской окраски, государственные люди, посланники и художники, хлопотавшіе о безсмертіи, снова образовали изъ себя общество, дававшее полное право Риму того времени считаться, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, столицей міра. Яркое римское солнце все еще освѣщало своими золотыми лучами водопроводы, арки и храмы, и вѣчный Римъ снова сдѣлался вѣчнымъ Римомъ.

Это разнообразное и утонченное общество встрѣтило Витторію съ распростертыми объятіями. Колонны къ этому времени примирились съ папою

Влиментомъ и получили обратно свои владѣнія, такъ что на политическомъ горизонтѣ не было ни одного облачка, которое могло бы помѣшать знаменитой маркизѣ быть принятой всѣми партіями съ одинаковымъ почетомъ. Маркизъ дель-Васто, бывшій воспитанникъ Витторіа, къ которому она неизмѣнно питала самую теплую привязанность, тоже находился въ Римѣ въ это время.

Въ обществѣ маркиза и многихъ другихъ членовъ талантливаго кружка, собиравшагося вокругъ нея, Витторіа посѣщала развалины древняго Рима со всѣмъ энтузіазмомъ женщины, воспитанной на классикахъ и глубоко проникнутой господствовавшимъ въ то время удивленіемъ къ произведеніямъ и памятникамъ языческой древности. Невѣстка Витторіа, донна Джіованна д'Арагона, прелестная и высокообразованная жена ея брата Асканіо, въ домѣ котораго она, какъ кажется, жила въ это свое пребываніе въ Римѣ, безъ сомнѣнія, участвовала въ этихъ прогулкахъ. Поэтъ Мольца въ нѣсколькихъ своихъ сонетахъ отиѣтилъ и свое присутствіе въ числѣ этихъ лицъ. Повидимому, его муза «дифференцировала все, что угодно». Цѣлыхъ четыре сонета явились у него результатомъ восклицанія Витторіа: «Ахъ, какъ счастливы были древніе, въ какомъ мірѣ красоты они жили!» Конечно, эти слова дали ему поводъ наговорить множество пренимыхъ вещей. Между прочимъ, галантные язычники отвѣчаютъ на восторженный порывъ прекрасной дамы, что они были, наоборотъ, не такъ счастливы, какъ люди настоящаго времени, потому что были лишены ея лицезрѣнія. Слѣдовало бы скорѣе пожелать, чтобы авторъ этихъ сонетовъ сохранилъ намъ еще какіе-нибудь отзывы, вырвавшіеся изъ устъ Витторіа въ то время, когда, при закатѣ солнца, маленькое общество любовалось съ террасы западнаго склона Латеранскаго холма несравненнымъ видомъ на покрытую водопроводами Кампанью, когда, (расположившись на аркѣ Тита, оно смотрѣло на Колизей, облитый луннымъ сіяніемъ и возвышавшійся передъ ними, какъ призракъ, или разсуждало объ изумительныхъ размѣрахъ Пантеона.

Но исторіи рѣдко случается вѣрно угадать, за какія воспоминанія будутъ ей наиболѣе благодарны позднѣйшіе вѣка, для которыхъ она работаетъ. И намъ остается по мѣрѣ возможности воссоздать самимъ, на основаніи сохранившихся отрывочныхъ указаній, своеобразную и привлекательную картину, которую представляли развалины Рима при посѣщеніи ихъ въ шестнадцатомъ вѣкѣ столь замѣчательными туристами, какихъ немного найдется среди тысячъ путешественниковъ, являвшихся послѣ нихъ въ эти мѣста.

На этотъ разъ Витторіа недолго пробыла въ Римѣ. Въ началѣ слѣдующаго года она, кажется, уже вернулась на Пскію. Висконти приписываетъ это путешествіе тревожному состоянію ея духа, причина котораго лежала въ томъ, что сердце ея все еще не могло успокоиться, и тщетной надеждѣ найти въ перемѣнѣ мѣста нѣкоторое облегченіе терзавшему ея горю. Всѣ выраженія отчаянія въ ея сонетахъ этого періода онъ считаетъ

достоверными автобиографическими документами и строить на них свой рассказ. Къ этому періоду онъ относитъ сонетъ, переведенный въ одной изъ предыдущихъ главъ, въ которомъ поэтесса объявляетъ, что она во все не пытается скрыть отъ свѣта преслѣдующую ее мысль о самоубійствѣ. И, какъ дальнѣйшее доказательство этой печальной истины, онъ прибавляетъ, что, въ ознаменованіе этого душевнаго настроенія, въ Римѣ была выбита по этому случаю медаль, которую онъ представляетъ на гравюрѣ. На одной сторонѣ этой медали неутѣшная Витторія изображена красивою, полною и совершенно благодушною на видъ вдовой въ траурномъ одѣяніи, но болѣе пожилую, чѣмъ можно было бы ожидать, принимая въ соображеніе, что между этою медалью и прежнею, о которой мы упоминали, прошло не болѣе семи лѣтъ. На оборотѣ представлена меланхолическая исторія Пирама и Тисбе: первый лежитъ мертвый у ногъ символизирующей Витторію Тисбе, которая прикладываетъ къ своей груди мечъ, держа его въ обѣихъ рукахъ, клинкомъ внизъ, рискуя, такимъ образомъ, порѣзать себѣ пальцы. Надо сознаться, что эта медаль, если посмотреть сразу на обѣ ея стороны, какъ это дѣлаетъ возможнымъ гравюра Висконти, производитъ впечатлѣніе совсѣмъ противоположное патетическому.

Къ этому періоду относится также сонетъ, о которомъ мы тоже упоминали, и гдѣ Витторія говоритъ, что седьмой годъ, наступившій со времени ея утраты, не принесъ облегченія ея горю. Висконти считаетъ это просто автобиографическимъ матеріаломъ. Но любопытно, въ смыслѣ обращенія возрѣній той эпохи, посмотреть, какъ объясняетъ это же мѣсто первый издатель и комментаторъ Витторіи, Ринальдо Корси, вторично напечатанный ея произведенія въ Венеціи въ 1558 г. Его комментарий начинается такъ: «По поводу этого сонета мнѣ остается поговорить съ вами о числѣ *семь*, подобно тому, какъ я уже бесѣдовалъ съ вами о числѣ *четыре*. Но такъ какъ Варро, Макробій, Аулусъ Геллійусъ и многіе другіе подробно высказались уже объ этомъ предметѣ, то я прибавлю только одну вещь, которая, быть можетъ, покажется вамъ, милостивыя государыни, нѣсколько странною, что, по ученію Гиппократа, число четыре входитъ дважды въ число семь, и я знаю, что самые достоверные писатели доказываютъ, какъ извѣстный фактъ, подтвержденный и засвидѣтельствованный ихъ собственными наблюденіями, что семилѣтній ребенокъ мужскаго пола могъ вылечивать людей, пораженныхъ болѣзною, называемою золотухой, ничѣмъ другимъ, какъ таинственною силой этого числа семь», и т. д., и т. д., и т. д.

Вотъ въ какомъ родѣ писалъ мессеръ Ринальдо Корси, и литературныя дамы, которымъ онъ имѣлъ обыкновеніе, какъ и въ приведенномъ отрывкѣ, специально посвящать свои труды, должны были прочесть больше пятисотъ мелко напечатанныхъ страницъ комментариевъ къ сочиненіямъ знаменитой поэтессы, по всей вѣроятности, столь же мало имѣвшей въ виду при написаніи этого сонета выставить причины своего возвращенія на Искію, какъ и наметнуть на скрытыя свойства таинственнаго числа семь. Всего

естественнѣе предположить, что такъ какъ переѣхать въ Римъ заставила ее чума, то она возвратилась домой, какъ скоро исчезъ этотъ поводъ къ ея отсутствію.

Одѣсь она, повидимому, спокойно продолжала свои любимыя занятія, приобретаая все большую и большую извѣстность и усердно переписываясь съ лучшими и знаменитѣйшими людьми Италіи, и свѣтскими, и духовными, до 1536 г.

Въ этомъ году она снова посѣтила Римъ и во время своего пребыванія въ вѣчномъ городѣ жила въ домѣ своей невѣстки, донны Джіованны д'Арагона. Въ 1534 г. Павелъ III Фарнезе наследовалъ Клименту на престолѣ св. Петра; и хотя Павелъ во многихъ отношеніяхъ далеко не былъ хорошимъ папою или хорошимъ священникомъ, однакожъ, Фарнезе былъ все же лучше, чѣмъ Медичи. Какъ всегда, Римъ началъ показывать признаки улучшенія, когда почувствовалъ опасность, грозившую извнѣ его системѣ. Повидимому, Павелъ весьма скоро убѣдился въ невозможности уклоняться долѣе отъ созыва вселенскаго собора, мысль о которомъ, какъ зловѣщій призракъ, преслѣдовала Климента во все время его первосвященства. Но въ совѣтныхъ палатахъ Ватикана все еще надѣялись, что можно будетъ, посредствомъ соглашенія и искусной теологической дипломатіи, побѣдить догматическія затрудненія, представляемыя германскими реформаторами,—затрудненія, грозившія церкви такимъ пагубнымъ расколомъ. Какъ скоро сдѣлалось очевидно, что надежда эта напрасна, страхъ началъ оказывать вліяніе на папскую политику и, подъ его давленіемъ, свирѣпый, безпощадный фанатизмъ Павла IV явился противовѣсомъ безстыдному распутству Александра, эпикурейскому индифферентизму Льва и суетному вричкотворству Климента.

На грани этихъ двухъ періодовъ стоитъ Павелъ III съ своими обманчивыми надеждами на предотвращеніе кризиса какою-нибудь терминологическою сдѣлкой, которая удовлетворила бы реформаторовъ, между тѣмъ какъ Римъ не поступилъ бы ни одною іотой ученія, придававшего жизненность его системѣ свѣтской власти. Чтобы пойти на встрѣчу требованіямъ этого періода, Павелъ III ознаменовалъ свое восшествіе на папскій престолъ возведеніемъ въ кардинальскій санъ многихъ изъ самыхъ серьезныхъ, самыхъ ученыхъ и искренно набожныхъ людей Италіи. Венеціанецъ Контарини, Караффа изъ Неаполя, Садолето, епископъ карпентрасскій, Поль, бѣжавшій въ это время изъ Англии, Джиберто, епископъ веронскій, и Фрегозо, архіепископъ салернскій,—все это были люди, избранные единственно на основаніи ихъ выдающихся заслугъ.

Съ большинствомъ ихъ, если не со всѣми, Витторію соединяли узы тѣсной дружбы. Съ Контарини, Садолето и въ особенности съ Полемъ она переписывалась, и уваженіе, которое питали къ ней подобныя лица, служить самымъ неопровержимымъ доказательствомъ ея неподдѣльныхъ достоинствъ. Легко представить себѣ поэтому, какой сочувственный пріемъ ожидалъ ее при ея появленіи въ Римѣ, и какъ пріятно должно было быть для

нея пребываніе въ этомъ городѣ. Она достигла теперь апогея своей славы. Религіозныя и догматическія темы, завлаившія въ это время всѣ лучшіе умы Италіи,—темы, надъ которыми нерѣдко работала ея мысль въ перепискѣ съ вышеназванными лицами, незадолго передъ тѣмъ сдѣлались главнымъ сюжетомъ ея стихотвореній. И превосходство ихъ по силѣ и глубинѣ сравнительно съ ея прежними произведеніями должно было быть вполне очевиднымъ для ея почтенныхъ и ученыхъ друзей.

И потому ея пребываніе въ Римѣ было рядомъ нескончаемыхъ овацій, и Висконти говорятъ намъ, ссылаясь на авторитетъ неаполитанскаго историка Грегорио Россо, что Карлъ V, бывшій тогда въ Римѣ, «соблаговолилъ посѣтить въ ихъ собственномъ домѣ синьоръ Джіованну д'Арагона, супругу Асканіо Колонна, и Витторію Колонна, маризу Пескара».

Въ слѣдующемъ, т. е. 1537 г., по словамъ Висконти, она отправилась въ Лукку, а затѣмъ въ Феррару, куда она пріѣхала 8 апрѣля «въ скромной обстановкѣ, въ сопровожденіи только шести прислужницъ». Феррарой правилъ въ это время Эрколе д'Эсте, второй герцогъ этого имени, вступившій на престолъ послѣ отца своего Альфонса, умершаго въ 1534 г. Феррарскій дворъ, выдававшійся въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ между итальянскими княжествами своею любовью къ литературѣ и покровительствомъ писателямъ, теперь еще усилилъ свое меценатство вслѣдствіе брака Эрколе II съ дочерью Людовика XII, *Renée de France*. Протестантскія тенденціи и симпатіи этой принцессы сдѣлали Феррару центромъ, который притягивалъ къ себѣ многихъ исповѣдниковъ и поборниковъ новыхъ идей, начинавшихъ волновать итальянскіе умы, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ служили имъ даже убѣжищемъ. И хотя ортодоксальныя католическіе біографы Витторіи, прежде всего, стараются очистить ее отъ всякаго подозрѣнія въ томъ, будто она когда-либо придерживалась мнѣній, въ концѣ-концовъ, осужденныхъ церковью, все же мы имѣемъ всѣ основанія думать, что поводомъ къ ея путешествію въ Феррару было желаніе обмѣняться мыслями по этому предмету съ нѣкоторыми изъ этихъ руководящихъ умовъ, завѣдомо проинимавшихъ протестантскими тенденціями, если не пріобрѣтшихъ вполне сложившихся протестантскихъ убѣжденій. Характеръ ея дружескихъ связей, ея корреспонденція и тонъ ея стихотвореній въ этотъ періодъ и въ остальные годы ея жизни вполне доказываютъ, что умъ ея былъ поглощенъ подобными темами. А краткій обзоръ втораго отдѣла ея произведеній, который мы намѣрены предпринять въ слѣдующей главѣ, вѣроятно, убѣдитъ тѣхъ, кто не имѣетъ въ этомъ отношеніи пристрастныхъ католическихъ взглядовъ, что умъ Витторіи сдѣлалъ весьма замѣтный шагъ въ протестантскомъ направленіи.

Намъ не указываютъ никакихъ мотивовъ ея пребыванія въ Луккѣ. Висконти съ необычною краткостью и сухостью говорятъ только, что она посѣтила этотъ городъ. И, по всей вѣроятности, онъ не могъ найти никакихъ документовъ, прямо объясняющихъ причины этого путешествія. Но онъ остерегается упомянуть о томъ, что новыя воззрѣнія настолько уже

завоевали тамъ почву, что эта республика едва не объявила протестантство государственною религіею. Послѣ своего совершенно неожиданнаго посѣщенія пораженной ересью Лукки, она отправилась въ Феррару, почти столь же заглаженную подозрѣніемъ.

Нельзя, конечно, сомнѣваться въ томъ, что герцогъ Эрколе и его дворъ встрѣтили Витторію со всевозможнымъ почетомъ, во вниманіе къ ея поэтической славѣ, считая, что она оказала честь ихъ городу своимъ посѣщеніемъ. Рассказываютъ, что герцогъ пригласилъ знаменитѣйшихъ поэтовъ и писателей Венеціи и Ломбардіи для встрѣчи съ ней въ Феррарѣ. И такъ цѣнилось ея посѣщеніе, что когда кардиналъ Джиберто послалъ туда своего секретаря, Франческо делья Торре, чтобъ уговорить ее посѣтить его епархіальный городъ Верону, то этотъ посолъ написалъ своему другу Бембо въ Венецію, что «герцогъ едва не изгналъ его, а народъ едва не побилъ камнями за то, что онъ явился сюда съ намѣреніемъ похитить у Феррары ея драгоценнѣйшее украшеніе и обогатить имъ Верону». Впрочемъ, Витторія, повидимому, подала нѣкоторую надежду на то, что ее можно будетъ склонить къ посѣщенію Вероны, такъ какъ секретарь говорилъ далѣе въ своемъ письмѣ къ венеціанскому кардиналу-литератору: «Кто знаетъ, можетъ быть, намъ и удастся восторжествовать въ свою очередь? А если это случится, то я надѣюсь чаще видѣть вашу милость въ Веронѣ, которая сдѣлалась бы тогда самымъ достойнымъ и уваженію, и зависти городомъ Италіи».

Невозможно привести болѣе поразительнаго доказательства той громкой извѣстности, которую наша поэтесса стяжала себѣ своимъ перомъ, и весьма характеристическою чертой разсматриваемой нами эпохи и страны служить то обстоятельство, что нѣсколько мелкихъ государствъ, разъединенныхъ враждою, раздираемыхъ постоянными войнами, имѣли, тѣмъ не менѣе, общее сословіе литераторовъ, умѣвшихъ увѣнчать славою такую личность, заслуги которой единодушно признавались на всемъ пространствѣ Италіи.

Изъ письма Витторіи къ Джіанджіорджіо Триссино Виченцскому, автору почти забытой теперь поэмы, озаглавленной *Italia liberata da Goti*, мы узнаемъ, что она находила климатъ Феррары «неблагопріятно дѣйствующимъ на ея болѣзнь», изъ чего можно заключить, что она уже давно хворала. Однакожъ, въ это именно время возникла у нея мысль о путешествіи въ Святую Землю. Ея бывшій воспитанникъ и ея другъ въ теченіе почти всей ея жизни, маркизъ дель-Васто, прибылъ изъ Милана въ Феррару, чтобъ отклонить ее отъ этого намѣренія. И съ этою цѣлью, равно какъ изъ опасенія, что воздухъ Феррары вредно повліяетъ на ея здоровье, онъ убѣдилъ ее возвратиться въ Римъ, гдѣ ея появленіе снова было поводомъ къ почти всенародному ликованію.

Это путешествіе было ею предпринято, вѣроятно, въ концѣ 1537 года. Общество вѣчнаго города, въ особенности же та часть его, которая составляла кружокъ Витторіи, находилось въ счастливомъ и оживленномъ настроеніи. Контарини еще не выѣзжалъ изъ Рима съ своею примирительною мис-

стей на совѣщаніе съ протестантскими вождями въ Регенсбургѣ. Самые свѣтлыя и радостныя надежды основывались на совершенно ложномъ пониманіи свойствъ того скрытаго теченія социальныхъ переменъ, въ силу котораго реформаціонное движеніе къ сѣверу отъ Альпъ должно было оказаться безконечно важнѣе, гораздо плодотворнѣе по своимъ обширнымъ результатамъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, неизбѣжнѣе, чѣмъ какіе бы то ни было схоластическіе споры или, вѣрнѣе, подобныя чаянія могли имѣть своимъ источникомъ только полное невѣдѣніе относительно существованія этого теченія. И въ эпоху пріѣзда въ Римъ Витторіи этотъ кружокъ милыхъ, чистыхъ сердцемъ людей, одаренныхъ высокимъ, но не широкимъ умомъ; еще былъ погруженъ въ свои блаженныя грезы. Витторія была ученицей, другомъ и вдохновенною музой этого кружка превосходныхъ людей, олицетворявшихъ въ себѣ все, что было въ Италіи лучшаго, привлекательнѣйшаго и ученѣйшаго. Поэтому, краткій обзоръ ея религіозной поэзіи, который составитъ содержаніе слѣдующей главы, не только откроетъ передъ нами самыя глубокія и серьезныя стороны ея души, но послужитъ до нѣкоторой степени иллюстраціей размѣровъ и характера протестантскихъ стремленій, проявлявшихся тогда въ Италіи.

Глава VII.

„Ораторія Божественной любви“. — Итальянскіе реформаторы. — Ихъ догматы — Результатъ ученія объ оправданіи вѣрою. — Боязнь раскола въ Италіи. — Вопросъ объ ортодоксальности Витторіи. — Доказательства ея протестантскихъ взглядовъ, представляющія ея произведеніями. — Кальвинистскій характеръ ея сонетовъ. — Замѣчательное указаніе на тайную исповѣдь. — Сонеты богословско-полемическаго и религіознаго содержанія. — Отсутствие въ ея сонетахъ нравственныхъ темъ. — Обращеніе ея поэтической силѣ. — Католическія идеи. — Отсутствие въ ея сонетахъ всякаго патріотическаго чувства.

Чрезвычайная испорченность итальянскаго духовенства, отчасти же влияніе германской мысли уже съ самаго начала нервосвященства Льва X вызвали въ нѣкоторыхъ лучшихъ умахъ Италіи пламенное желаніе найти путь къ религіозной реформѣ. Одинъ писатель того времени, цитируемый историкомъ Ранке, говоритъ намъ, что въ правленіе Льва пятьдесятъ или шестьдесятъ серьезныхъ и благочестивыхъ людей образовали въ Римѣ общество, которое они назвали «Ораторіей Божественной любви», и старались примѣромъ и проповѣдью задержать, насколько это отъ нихъ зависѣло, потокъ разврата и невѣрія. Въ числѣ этихъ людей были: Контарини, ученый и поистинѣ благочестивый венеціанецъ, Саделето, Джамберто, Караффа (человѣкъ, хотя и искренно благочестивый, но обнаружившій въ тотъ повѣнчѣйшій періодъ, когда онъ сдѣлался папою подъ именемъ Павла IV, взгляды, далеко не сходные съ тѣми, которые одушевляли большинство его единомышленниковъ въ дѣлѣ религіи), Гаэтано, Тиене, впоследствии канонизированный, и т. д. Но не только въ Римѣ, почти во всѣхъ частяхъ Италіи были люди того же закала, болѣе или менѣе успѣшно проводившіе новыя идеи, въ болѣе или менѣе сильной степени подвергавшіеся церковному осужде-

нью и гоненію и къ концу своего земнаго поприща или примирившіеся съ Римомъ, или же преданные пролятію тою церковью, которую они тщетно старались обновить.

Въ Неаполѣ Жуанъ Вальдець, испанецъ, секретарь вице-короля, съ жаромъ воспринялъ новое ученіе, и такъ какъ онъ пользовался всеобщемою любовью и большимъ вліяніемъ, то онъ нашелъ себѣ многихъ послѣдователей. Его ученикъ и другъ, имя котораго такъ и осталось неизвѣстнымъ, написалъ знаменитый трактатъ *О спасительности смерти Христа*, распространившійся въ громадномъ числѣ экземпляровъ по всей Италіи и оказавшій сильное воздѣйствіе на умы. Нѣсколько позднѣе, когда наступила эпоха инквизиторскихъ гоненій, эту книгу начали такъ настойчиво преслѣдовать, разыскивать и уничтожать, что, несмотря на множество списковъ, которые должны были находиться во всѣхъ уголкахъ Италіи, она совершенно исчезла и, насколько извѣстно, теперь не существуетъ ни одного экземпляра ея. Невозможно желать болѣе поразительнаго доказательства того упорнаго и ожесточеннаго характера, которымъ отличались гоненія при Павлѣ IV. Другой товарищъ Вальдеца, тоже бывшій въ дружбѣ съ Витторіей, Марко Фламиніо, взялъ на себя просмотръ трактата *О спасительности смерти Христа*.

Въ Моденѣ епископъ Мороне, близкій другъ Поля и Контарини, и его капелланъ, донъ Джироламо де Модена, поддерживали и проповѣдывали тѣ же ученія.

Въ Венеціи Грегорио Кортезе, настоятель *San Giorgio Maggiore*, патрицій Луиджи Приули и бенедиктинецъ Марко Падуанскій образовали общество, главною задачею котораго было обсужденіе тонкихъ вопросовъ, составлявшихъ «символъ» новой партіи.

«Если мы изслѣдуемъ, — говоритъ Ранке, — въ чемъ заключалась вѣра, главнымъ образомъ вдохновлявшая этихъ людей, то убѣдимся, что важнѣйшимъ пунктомъ ея было то самое ученіе объ оправданіи, которое въ томъ видѣ, какъ его проповѣдывалъ Лютеръ, дало начало всему протестантскому движенію».

Читатель не могъ не слышать о безконечныхъ словопреніяхъ по вопросу объ оправданіи, о свободѣ воли, добрыхъ дѣлахъ, предопредѣленіи, объ этихъ спорахъ, занимавшихъ въ послѣднія три столѣтія самые острые умы и самыя богатая знаніемъ головы Европы и принесшихъ такъ много вредныхъ и такъ мало полезныхъ результатовъ. Читатель знаетъ, что система, общезвѣтная подъ именемъ кальвинизма, представляетъ сторону вопроса, привлечшую къ себѣ реформаторовъ шестнадцатаго столѣтія, тогда какъ противоположной теоріи объ оправданіи при посредствѣ добрыхъ дѣлъ придерживалась ортодоксальная католическая церковь или партія, враждебная реформациі. И если онъ станетъ руководствоваться только этими общими идеями, то ему покажется удивительно непонятнымъ, что лучшіе, благороднѣйшіе и чистѣйшіе умы приняли систему, неизбежно уничтожающую всякую нравственность, всякій благородный порывъ, между тѣмъ какъ

развращенныя, суетныя, честолюбивыя натуры, составлявшія господствующую партію, держались противоположныхъ мнѣній, повидимому, столь благоприятныхъ добродѣтели.

Мы достаточно уяснимъ себѣ этотъ вопросъ, если, не останавливаясь на нравственныхъ или теологическихъ результатахъ той или другой схемы и не вникая въ тонкости, которыми каждая сторона старалась побить возраженія противника, просто взглянемъ на отношеніе новыхъ ученій къ той церковной системѣ, которую ортодоксальная и господствующая партія рѣшила во что бы то ни стало поддерживать. Если допустить, что человекъ оправдывается одною вѣрой, то отъ этого падаетъ авторитетъ римско-католической церкви и ея главы, непогрѣшимого папы. Весьма логическимъ и короткимъ путемъ, по которому неизбежно должны пойти люди, удовлетворившіе это свое первое основное притязаніе, они пришли бы къ отрицанію и упраздненію всякаго духовенства.

Но не слѣдуетъ предполагать, что все это было такъ же ясно для участниковъ этой нестройной борьбы, какъ для тѣхъ, кто оглядывается на это время, имѣя за собой преимущество трехъ прошедшихъ съ той поры столѣтій. По всей вѣроятности, если иные новаторы и сознавали весь объемъ и важность того принципа, за который они боролись, то такихъ новаторовъ было немного. А съ другой стороны нѣтъ причинъ приписывать консервативной партіи ясное сознаніе мотивовъ, о которыхъ мы говоримъ. Тотъ фактъ, что данное ученіе стремится къ ограниченію церковной власти и является опаснымъ для церковнаго единства, представился бы, безъ сомнѣнія, многимъ хорошимъ и честнымъ людямъ достаточнымъ доказательствомъ его зловерности и ошибочности.

И въ самомъ дѣлѣ, даже среди итальянскихъ реформаторовъ такъ велика была боязнь раскола и такое высокое значеніе придавалось церковному единству, что эти соображенія, вѣроятно, въ такой же степени способствовали ослабленію и окончательному исчезновенію итальянскаго протестантства, какъ и суровая рука преслѣдованія. Съ самаго начала многіе изъ самыхъ ревностныхъ поборниковъ новыхъ ученій вовсе не имѣли намѣренія отдѣлиться отъ церкви ради своихъ взглядовъ. Рѣдкіе изъ нихъ были готовы пойти на встрѣчу подобной схизмѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и принять мученичество за свои идеи, какъ, напримѣръ, Бернардино Окино, начальникъ ордена капуциновъ и самый вліятельный проповѣдникъ своего времени, который бѣжалъ изъ Италіи и сдѣлался явнымъ протестантомъ, и флорентинецъ Карнезекки, казненный въ Римѣ за свою ересь.

Но ко времени пріѣзда Витторіи въ Римъ изъ Феррары еще не выяснилось, насколько новое ученіе можетъ быть совмѣстимо съ полнымъ единеніемъ съ римскою церковью. Въ эту эпоху устраивалось совѣщаніе съ германскими протестантами, — совѣщаніе, посредствомъ котораго думали достигнуть примиренія, и друзья Витторіи были одушевлены самыми свѣтлыми надеждами. Когда эти надежды разбились и Римъ высказался рѣшительно по поводу ученій, которыхъ держались итальянскіе реформаторы, наиболѣе вы-

дающиеся люди изъ числа друзей Витторіи не оставили церкви. Сама она всегда пишетъ, какъ ея покорная и вѣрная дочь. Но что она придерживалась ииѣній, впоследствии объявленныхъ еретическими, — ииѣній, за которыя другимъ пришлось пострадать, — это такъ ясно вытекаетъ изъ многихъ ея сонетовъ, написанныхъ, вѣроятно, около этого времени, что удивительно, какъ Тираноски и ея біографы находятъ возможнымъ стоять за ея ортодоксальность.

Возьмите, напримѣръ, слѣдующій сонетъ:

„Spiego per voi, mia luce, indarno l'ale,
 Prima che'l caldo vostro interno vento
 M'apra l'aere d'intorno, ora ch'io sento
 Vincere da nuovo ardir l'antico male;
 Chè giunga all'infinito opra mortale
 Opra vostra è, Signor, che in un momento
 La può far degna; ch'io da me pavento
 Di cader col pensier quand'ei più sale.
 Bramo quell' invisibil chiaro lume,
 Che fuga densa nebbia, e quell' accesa
 Secreta fiamma, ch'ogni gel consuma.
 Onde poi, sgombra dal terren costume,
 Tutta al divino amor l'anima intesa
 Si mova al volo altero in altra piuma“.

«Теперь, когда я чувствую, что могу съ новою отвагой побѣдить пер-
 вобытныи грѣхъ, я тщетно буду, о, мой Свѣтъ, устремлять къ Тебѣ мой
 полетъ, пока Твое пламенное внутреннее вѣяніе не очиститъ окружающій
 меня воздухъ. Если дѣла смертныхъ достигаютъ безконечности, то это
 Твое дѣло, Господи, ибо Ты можешь въ одно мгновеніе освятить ихъ, и
 я боюсь, что безъ Твоей помощи моя мысль падетъ въ тотъ самый мигъ,
 когда она вознеслась особенно высоко. Я призываю незримое ясное сіяніе,
 отъ котораго разсѣвается густой туманъ, и то жаркое сокровенное пла-
 мя, которое растворяетъ ледъ. И тогда, освобожденная отъ земныхъ по-
 мышлений, вся отдавшись божественной любви, душа на обновленныхъ
 крыльяхъ воспаритъ въ небеса».

Въ слѣдующихъ стихахъ, составляющихъ заключеніе сонета, гдѣ она
 говоритъ, что Богъ не допускаетъ, чтобы чистое сердце оставалось сокры-
 тымъ отъ Его всевидящаго ока, благодаря «коварству или могуществу
 другихъ людей», мы встрѣчаемъ весьма замѣчательный обращеніе ереси по
 существенному вопросу объ исповѣданіи, — ереси, приведшей не одну
 жертву на костеръ:

„Securi del suo dolce e giusto impero,
 Non come il primo padre e la sua
 donna
 Dobbiam del nostro error biasimare altrui;
 Ma con la speme accesa e dolor vero
 Aprir dentro, passando oltra la gonna,
 I falli nostri a solo a sol con lui“.

«Увѣренные въ Его кроткой и справедливой власти, мы не должны были бы, подобно нашему прародителю и его женѣ, винить другихъ за наши заблужденія, но съ горячею вѣрой и истинною скорбью должны изобличать наши грѣхи наединѣ съ Нимъ».

Подчеркнутыя слова *passando oltre la gonna*, хотя и не оставляющія никакого сомнѣнія относительно ихъ смысла, все же настолько неясны, темны, а самая фраза настолько изысканна, что невольно усматриваешь у автора желаніе замаскировать до нѣкоторой степени то, что онъ хочетъ сказать. Высокопороденная синьора Витторія Колонна, близкій другъ кардиналовъ и князей, могла писать безнаказанно многое такое, что оказалось бы гибельнымъ для менѣе высокопоставленныхъ лицъ.

Въ другомъ замѣчательномъ сонетѣ она высказываетъ преобладавшее тогда сознаніе настоятельной необходимости въ церковной реформѣ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, провозглашаетъ свою вѣру въ ученіе о папской непогрѣшимости, — ученіе, такъ упорно властвовавшее надъ итальянскими умами, что внезапная вспышка реформаторскихъ стремленій во всей Италиі погасла, благодаря, главнымъ образомъ, ему.

Высокія притязанія римскаго первосвященника, которыя наша поэтесса, при всѣхъ своихъ реформаторскихъ стремленіяхъ, объявляетъ и поддерживаетъ, уклоняясь съ своего обычнаго пути, были дороги сердцамъ итальянцевъ. Быть можетъ, постороннее соображеніе, объяснявшееся антагонизмомъ и вытекавшее изъ чувствъ, которыя точно также находились за предѣлами религіознаго вопроса, придавали ѣдкости нападеніямъ заальпійскихъ реформаторовъ. Но не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что итальянское самолюбіе сильно способствовало тому, что итальянцы отвернулись отъ доктрины, которая должна была отнять у Рима его значеніе столицы христіанскаго міра и не позволила бы представителямъ итальянскаго духовенства издавать ихъ высокомѣрные декреты *Urbi et Orbi*. Тѣ, кому хорошо извѣстно настроеніе умовъ въ Италиі въ этотъ періодъ, — настроеніе, усматриваемое изъ литературы и иллюстрируемое сохранившимися еще стремленіями и предрасудками, лучше всего поймутъ, какъ неизбежно подобныя чувства должны были воспрепятствовать реформамъ пустить корни и принести плоды въ Италиі.

Тѣ изъ читателей, которымъ приведенные сонеты доступны въ подлинникѣ, вѣроятно, находятъ страннымъ, что на основаніи подобнаго матеріала могла составиться такая громкая поэтическая извѣстность. Однакожъ, справедливость требуетъ замѣтить, что выборъ этихъ цитатъ обусловленъ не столько желаніемъ представить наиболѣе выгодные образчики произведеній нашей поэтессы, сколько цѣлью рѣшительно доказать такъ настойчиво опровергавшіяся протестантскія тенденціи Витторіи и иллюстрировать тонъ итальянскаго протестантскаго чувства въ этотъ періодъ. Хотя религіозное чувство легко облакается въ поэзію самаго высшаго порядка, однакожъ, полемическая теологія — неудобный сюжетъ для стиховъ. Витторія, въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда она позволяетъ себѣ уклоняться

отъ обсуждения оснриваемыхъ догматовъ, ближе подходитъ къ истинной поэзіи по мысли и выраженію.

Въ слѣдующемъ сонетѣ любопытно видѣть, какъ выраженіе великаго и простаго чувства полного довѣрія къ волѣ и предназначеніямъ всемогущаго Творца,—выраженіе, которое въ первыхъ восьми стихахъ почти вышается до поэзіи, вдругъ искажается до степени самыхъ прозаическихъ виршей, когда авторъ, вспомнивъ о происходящей вокругъ него ярой полемикѣ на эту тему, приходитъ къ сознанию своей обязанности опредѣлять должнымъ образомъ, что теологическое свойство «вѣры» заключается въ ея способности производить дѣла:

„Dehl mandi oggi, Signor, novello e chiaro
Raggio al mio cor di quella ardente fede,
Ch'opra sol per amor, non per mercede,
Onde ugualmente il tuo voler gli è caro!
Dal dolce fonte tua pensa che amaro
Nascer non possa, anzi riceve e crede
Per buon quant'ode, e per bel quanto vede,
Per largo il ciel, quand'ei si mostra avaro.
Se chieder grazia all'umil servo lice,
Questa fede vorrei, che illustra, accende,
E pasce l'alma sol di lume vero.
Con questa in parte il gran valor s'intende,
Che pianta e ferma in noi l'alta radice,
Qual rende i frutti a lui tutti d'amore“.

«О, пошли нынѣ, Господи, моему сердцу новый и свѣтлый лучъ той пламенной вѣры, которая творитъ лишь ради любви, не ради награды, ибо ей дорого всякое Твое велѣніе! Она не только думаетъ, что изъ Твоего сладкаго источника не можетъ родиться ничего горькаго, но принимаетъ и считаетъ добрымъ все, что слышитъ, прекраснымъ все, что видитъ, считаетъ щедрымъ Небо даже и тогда, когда оно кажется глухо къ мольбамъ. Если позволительно смиренному рабу просить милости, то я хотѣла бы имѣть ту вѣру, которая озаряетъ, воспламеняетъ и питаетъ душу однимъ истиннымъ свѣтомъ. Подъ этою вѣрой должно отчасти разумѣть ту великую силу, которая насаждаетъ и укрѣпляетъ въ насъ благородный корень, приносящій плоды, преисполненные любви къ ней».

Въ слѣдующемъ сонетѣ, одномъ изъ многихъ, продиктованныхъ тѣмъ же настроеніемъ, болѣе субъективный тонъ ея мысли даетъ намъ возможность заглянуть въ ея душу и узнать, какъ она дѣйствительно относилась къ религиознымъ вопросамъ. Мы видимъ, что новое ученіе, которымъ она прониклась, не дало ей душевнаго мира. Отрадная увѣренность и чуждое сомнѣній удовлетворенное спокойствіе, достававшіяся массѣ ея современниковъ, не были даны Витторіи тою вѣрой, которая, какъ она говоритъ здѣсь, предписывала ей подавлять внушенія разума.

„Se con l'armi celesti avess'io vinto
Me stessa, i sensi, e la ragione umana,
Andrei con altro spirito alta e lontana
Dal mondo, e dal suo onor falso dipinto.“

Sull'ali della fede il pensier cinto
 Di speme, omai non più caduca e vana,
 Sarebbe fuor di questa valle insana
 Da verace virtute alzato e spinto.
 Ben ho già fermo l'occhio al miglior fine
 Del nostro corso; ma non volo ancora
 Per lo destro sentier salda e leggiera.
 Veggio i segni del sol, scorgo l'aurora;
 Ma per li sacri giri alle divine
 Stanze non entrò in quella luce vera“.

«Еслибъ небеснымъ оружіемъ я побѣдила свое собственное существо, свои чувства и человѣческій разумъ, то съ обновленнымъ духомъ воспарила бы далеко отъ міра и отъ его лживой и обманчивой славы. Мысль, вооруженная надеждою, отнынѣ уже не шатрою и не тщетною, возносимая и движимая истинною добродѣтелью, покинула бы на крыльяхъ вѣры эту юдоль безумія. Хотя я устремила уже взоръ на лучшую цѣль нашего поприща, но еще не лечу легко и увѣренно по прежнему пути. Я вижу предвѣстники солнца, я уже различаю зарю, но еще не могу проникнуть чрезъ священные круги, ведущіе къ божественнымъ обителямъ, въ этотъ истинный свѣтъ».

Подобное же настроеніе сквозить и въ слѣдующемъ сонетѣ, соединенномъ съ большою поэзіей чувства и выраженія. Этотъ сонетъ можетъ дѣйствительно служить образчикомъ удачнѣйшихъ попытокъ нашего автора.

„Fra gelo e nebbia corro a Dio sovente
 Per foco e lume, onde i ghiacci disciolti
 Sieno, e gli ombrosi veli aperti e tolti
 Dalla divina luce e fiamma ardente.
 E se fredda ed oscura è ancor la mente,
 Pur son tutti i pensieri al ciel rivolti;
 E par che dentro in gran silenzio ascolti
 Un suon, che sol nell'anima si sente;
 E dice: Non temer, chè venne al mondo
 Gesù, d'eterno ben largo ampio mare,
 Per far leggiero ogni gravoso pondo.
 Sempre son l'onde sue più dolci e chiare
 A chi con umil barca in quel gran fondo
 Dell'alta sua bontà si lascia andare“.

Если тѣ изъ читателей, которые могутъ составить сужденіе о поэтическихъ достоинствахъ этого сонета лишь по прилагаемому переводу, не найдутъ въ немъ ничего, что оправдывало бы нашъ отзывъ, то пусть они видятъ въ этомъ переводчикѣ, ручающагося только за вѣрную передачу содержанія.

«Въ холодъ и туманъ я часто прибѣгаю къ Богу, прося у Него огня и свѣта, чтобы божественное сіяніе и жаркое пламя растворили ледъ и разорвали и разсѣяли темныя облака. И если душа не освободилась еще отъ мрака и холода, все же всѣ ея помыслы обращены къ небу и чудится, будто среди великаго безмолвія она внимаетъ единственному звуку, ко-

торый раздается въ ней и говорить: не бойся, ибо въ міръ пришелъ Иисусъ—безпредѣльный, глубокий источникъ вѣчнаго блага,—пришелъ облегчить всякое тяжелое бремя. Его воды всегда сладостнѣе и прозрачнѣе для того, кто на смиренномъ челнокѣ устремляется въ эту бездну Его высокой благодати».

Вѣроятно, всѣ согласятся съ тѣмъ, что если предъидущія выдержки изъ стихотвореній Витторіи Колонна и недостаточно очерчиваютъ все значеніе ея религиозной вѣры, то все же онѣ даютъ обильныя доказательства того, что ей слѣдуетъ отвести мѣсто скорѣе въ протестантской и реформаторской партіи ея эпохи и страны, чѣмъ между ортодоксальными католиками, противниками протестантовъ. Всѣ эти цитаты, какъ и вся масса ея сонетовъ, касаются болѣе или менѣе прямо немногихъ специальныхъ пунктовъ ученія. Но это именно тѣ пункты, на которыхъ было основано реформаторское движеніе, главные пункты различія между партіями. Они заключаютъ въ себѣ какъ разъ тѣ тезисы, которые Римъ, по зрѣломъ разсмотрѣніи и размышленіи, справедливо нашелъ рѣшительно несовмѣстными съ своею системою. Ибо господствующая партія въ Тридентѣ, конечно, была мудрѣе, нежели такіа чада свѣта среди того поколѣнія, какъ добрый Контарини, мечтавшій объ очищенномъ папствѣ и о томъ, что Римъ еще можетъ остаться Римомъ послѣ того, какъ его вѣра подвергнется подобному видоизмѣненію. Караффа и Гизлиери (Ghislieri), папы Павелъ IV и Пій V и ихъ инквизиторы, очевидно, лучше понимали суть дѣла.

Безъ сомнѣнія, вполне естественно, что пункты ученія, въ то время новаго и возбуждавшаго полемику,—пункты, по которымъ поэтесса расходилась съ большинствомъ окружающаго ее міра и которые должны были болѣе, чѣмъ что другое, поглощать ея умъ, занимаютъ и самое выдающееся мѣсто въ ея произведеніяхъ. Однакожъ, замѣчательно, что въ такой массѣ стихотвореній на исключительно религиозныя темы едва ли можно найти хоть одну мысль или чувство, касающіяся практической нравственности. Заглавіе *Rime sacre e morali*, предпосланное синьоромъ Висконти этому отдѣлу сонетовъ Витторіи, совершенно неправильно. Если эти сонеты даютъ достаточно матеріала для того, чтобы мы могли получить приблизительно точное представленіе объ ея схемѣ теологій, то оцѣнки ея нравственныхъ понятій мы должны искать не здѣсь.

Есть всѣ основанія вѣрить сохранившимся биографическимъ разсказамъ о ней и вполне единодушному свидѣтельству ея современниковъ относительно того, что ходъ ея собственной жизни и поведенія былъ не только безупреченъ, но ознаменовался неуклоннымъ примѣненіемъ на практикѣ самыхъ высокихъ добродѣтелей. Но хотя намъ часто приходится слышать жалобы проповѣдниковъ на обычное несоотвѣтствіе жизни людей съ ихъ вѣрованіями, противоположный феноменъ, проявляемый людьми, нравственное чувство которыхъ стоитъ выше ученія, заключающагося въ ихъ вѣрѣ, встрѣчается почти столь же часто. Эти выдающіяся лица, извѣстныя, главнымъ образомъ, какъ представители и поборники своеобразныхъ ученій,

которыя придерживалась и Викторія, несомнѣнно, были во всѣхъ отношеніяхъ лучшими и благороднѣйшими людьми своего времени и своей страны.

Викторія Колонна живетъ въ памяти людей, какъ поэтесса. Но для человѣка, изучающаго исторію и желающаго вполне уразумѣть этотъ удивительный шестнадцатый вѣкъ, она гораздо интереснѣе, какъ протестантка. Ея замѣчательныя дарованія и богато развитой умъ, ея высокое общественное положеніе и, сверхъ всего этого, ея дружба съ знаменитыми людьми, старавшимися дать движеніе итальянской реформаціи, которая могла бы ужиться съ папствомъ, придаютъ не мало историческаго интереса выраженію ея религиозныхъ мнѣній. И потому бѣльшая часть цитатъ изъ ея произведеній была выбрана соотвѣтственно съ этою цѣлью. Но, во вниманіе къ ея славѣ, слѣдуетъ представить хотя бы одинъ сонетъ, выбранный единственно ради его поэтическихъ достоинствъ.

Слѣдующій сонетъ, написанный, вѣроятно, въ день, посвященный воспоминанію крестныхъ страданій Спасителя, безъ сомнѣнія, одинъ изъ лучшихъ, если не самый лучший изъ всего собранія ея стихотвореній:

„Gli angeli eletti al gran bene infialto .
 Braman oggi soffrir penosa morte,
 Acciò nella celeste empirea corte
 Non sia più il servo, che il signor, gradito.
 Piange l'antica madre il gusto ardito,
 Ch'a'figli suoi del ciel chiuse la porte;
 E che due man piagate or sieno scorte
 Da ridurne al cammin per lei smarrito.
 Asconde il sol la sua fulgente chioma;
 Spezzansi i sassi vivi; apronsi i monti,
 Trema la terra e'l ciel; turbansi l'acque;
 Piangon gli spirti, al nostro mal si pronti,
 Delle catene lor l'aggiunta soma.
 L'uomo non piange, e pur piangendo nasce!“

«Ангелы, удостоенные безконечнаго блаженства; жаждутъ нынѣ мучительной смерти для того, чтобы въ небесной царственной обители рабъ не былъ счастливѣе своего владыки. Праматерь оплакиваетъ дерзновенное вождельніе, которое закрыло ея дѣтямъ небесныя врата, и скорбитъ, видя нынѣ двѣ руки, воспріявшія раны ради того, чтобы вернуть насъ на путь, ею утраченный. Солнце скрываетъ свой лучезарный кругъ; разбиваются гробницы, разверзаются горы, трепещутъ земля и небо, волнуются воды. Духи тьмы, всегда готовые причинить намъ зло, плачутъ о томъ, что увеличилась тяжесть ихъ цѣпей. Не плачетъ человѣкъ, хотя онъ и родился плачущимъ!»

Такъ какъ предъидущія выдержки изъ произведеній Викторіи были выбраны преимущественно съ цѣлью доказать ея протестантскія вѣрованія (что мы уже объявили ранѣе), то слѣдуетъ замѣтить, что у нея есть нѣсколько сонетовъ къ Пресвятой Дѣвѣ, а также встрѣчаются стихотворенія къ различнымъ святымъ, — стихотворенія, изъ которыхъ ясно, что ихъ авторъ вѣрилъ въ силу ходатайства святыхъ предъ престоломъ благодати. За-

мѣчательно также и то обстоятельство, что Витторія нигдѣ и ничѣмъ не обнаруживаетъ того, что она сознаетъ разногласіе своихъ мнѣній съ признанными догматами церкви; сознание это развѣ только сквозитъ въ случайной неясности фразы, наводящей на мысль, что это случайность преднамѣренная. Впрочемъ, большая часть ея стихотвореній была, вѣроятно, написана еще до того времени, когда церковь вступила на путь преслѣдованія. Что же касается постоянно повторяющагося главнаго пункта объ «оправданіи при посредствѣ благодати», то невозможно сказать въ точности, насколько было ортодоксально заявлять этотъ догматъ, пока Римъ еще не опредѣлилъ окончательно своего ученія въ постановленіяхъ Тридентскаго собора.

По поводу этихъ произведеній, стяжавшихъ вѣюгда такую славу и возбуждавшихъ такой энтузіазмъ, можно сдѣлать еще одно замѣчаніе, которое невольно напрашивается современному читателю сонетовъ Витторіи. Во всѣхъ этихъ стихотвореніяхъ не найдется ни одной исеры итальянскаго или патріотическаго чувства. Отсутствіе подобнаго чувства служить, несомнѣнно, лишь подтвержденіемъ факта, указаннаго въ одной изъ предыдущихъ главъ, что въ Италіи того времени патріотизмъ былъ совершенно неизвѣстенъ. Если бы подобныя чувства имѣли мѣсто въ душѣ Витторіи, то едва ли возможно представить себѣ, чтобъ они не вылились въ первомъ отдѣлѣ ея произведеній, посвященномъ почти исключительно восхваленію ея мужа. Но любопытнымъ примѣромъ того, до какой степени даже лучшіе умы вѣка ослѣпляются и нерабощаются господствующимъ вокругъ нихъ строемъ чувствъ и привычками мысли, служить для насъ то обстоятельство, что этой чистой и возвышенной Витторіи, прославляющей доблести своего героя, никогда ни на одно мгновеніе не приходитъ въ голову мысль о томъ дѣлѣ, за которое онъ обнажалъ свой мечъ. Побѣждать, одолевать, «брать большіе города», «разбивать непріятеля»—вотъ, повидимому, все, чего требовалъ ея «прекрасный идеалъ» героизма.

Зло совершается, и сильный рукою виновникъ его возбуждаетъ удивленіе, нравственное чувство притупляется раболѣпнымъ поклоненіемъ успѣху, и сила отнимаетъ у права голоса слабого въ девятнадцатомъ, какъ и въ шестнадцатомъ вѣкѣ: Но полное отсутствіе всякаго пониманія правды и несправедливости по этимъ вопросамъ въ такомъ умѣ, каковымъ былъ умъ Витторіи, представляетъ высоко-поучительное доказательство того осязательнаго нравственнаго прогресса, котораго достигло человѣчество.

Глава VIII.

Возвращеніе въ Римъ.—Слава Витторіи. Дружба ея съ Микель-Анджело.—Медаль того періода.—Витторія переѣзжаетъ въ Орвіето.—Лука Контале посѣщаетъ ее.—Ея рѣшеніе не покидать церкви.—Франческо д'Оланда.—Его' разсказъ о бесѣдахъ съ Витторіей.—Витторія въ Витербо.—Вліяніе кардинала Пола на ея образъ мыслей.—Последнее возвращеніе въ Римъ.—Ея кончина.

Витторія прибыла въ Римъ изъ Феррары, по всей вѣроятности, въ концѣ 1537 г. Она находилась въ это время на вершинѣ своей славы. Уче-

ный и изящный Бембо пишет о ней, что онъ считалъ ея мнѣніе въ дѣлѣ поэзіи столь же основательнымъ и авторитетнымъ, какъ и отзывы величайшихъ мастеровъ искусства пѣснопѣнія. Гвидичіони, фоссомбринскій епископъ-поэтъ и одинъ изъ способнѣйшихъ дипломатовъ Павла III, объявляетъ, что въ лицѣ ея древняя слава Тосканы всецѣло перешла въ Лациумъ, и посылаетъ ей сонеты собственнаго сочиненія съ усердною просьбой указать ихъ недостатки. Вероника Гамбара, сама поэтесса, быть можетъ, на уступавшая по таланту Витторіи, была ея самою горячею поклонницей и убѣдила Ринальдо Корси написать комментарий къ ея стихотвореніямъ, что онъ и сдѣлалъ, какъ мы видѣли. Бернардо Тассо избралъ ее героиней нѣкоторыхъ изъ своихъ произведеній. Джіовіо посвятилъ ей біографію Пескары, а кардиналъ Помпео Колонна—свою книгу о *Похвалахъ женщинамъ*; что касается Контарини, то онъ почтилъ ее гораздо болѣе знаменательнымъ образомъ, посвятивъ ей свое сочиненіе *О свободѣ воли*.

Павелъ III, по словамъ Муратори *), былъ вовсе не расположенъ къ Колоннамъ. Однакожъ, надо думать, что Витторія имѣла вліяніе на надменнаго и суроваго старика Фарнезе. И Бембо, и Фрегозо, епископъ неаполитанскій, пользуются случаемъ засвидѣтельствовать, что они въ значительной степени были обязаны ей своимъ возведеніемъ въ кардинальскій санъ.

Но самымъ достопримѣчательнымъ событіемъ въ этотъ періодъ жизни Витторіи было начало ея знакомства съ Микель-Анджело Буонаротти. Этому великому человѣку шелъ тогда 63 годъ, а поэтессѣ 47 г. Знакомство вскорѣ перешло въ тѣсную и прочную дружбу, не прерывавшуюся до самой смерти Витторіи. Эта дружба была чрезвычайно почетна для нихъ обоихъ. Микель-Анджело былъ человѣкъ, вліяніе котораго на его эпоху чувствовалось и признавалось еще при его жизни въ такой сильной степени, какъ это рѣдко случается наблюдать даже относительно величайшихъ умовъ. Въ то время, о которомъ идетъ рѣчь, онъ уже достигъ апогея своей славы, хотя ему довелось наслаждаться ею еще цѣлую четверть вѣка. Это былъ человѣкъ, склонный отъ природы и, сверхъ того, приученный тѣмъ общественнымъ положеніемъ, которое создали для него его современники, отливаетъ людей въ форму, а не принимать форму отъ нихъ,—это былъ человѣкъ не мягкій, не уступчивый, самѣувѣренный, замкнутый въ себѣ, и хотя исполненный доброты къ тѣмъ, кто нуждался въ ней, но человѣкъ почти суровый; онъ не былъ придворнымъ, хотя и привыкъ къ придворному обществу. Онъ былъ расположенъ считать придворные учтивости и обычаи докучливыми помѣхами требованіямъ своего высокаго призванія,—помѣхами, которыя слѣдовало отстранять, а не снисходить къ нимъ. И, тѣмъ не менѣе, могучая и царственная натура этого старика, обладавшаго такою высокою душой, отлилась въ новую форму при соприкосновеніи съ натурой сравнительно молодой поэтессы.

Религіозная сторона натуры великаго художника едва ли выработала се-

*) Annales, ad. ann. 1540.

бѣ опредѣленную и осязательную форму выраженія и проявлялась только въ поклоненіи прекрасному какъ въ сферѣ духа, такъ и въ области матеріи. Витторія сдѣлала его набожнымъ христіаниномъ. Эта пережѣна ярко сказывается въ его поэзіи, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ своихъ стихотвореній (четырехъ или пяти), обращенныхъ къ Витторіи; онъ всецѣло принимаетъ эту пережѣну ея вліянію *).

Разныя вздорныя вещи писались весьма вздорными писателями, желавшими придать «интересный» характеръ болѣе или менѣе платонической *belle passion* этой дружбѣ шестидесятилѣтняго художника съ непорочною Витторіей Колонна. Нѣтъ надобности ни въ какихъ доказательствахъ для того, чтобы представить всю нецѣльность подобной идеи, предполагающей полное незнакомство съ тѣми лицами, о которыхъ идетъ рѣчь, съ обстоятельствами, при которыхъ возникла и продолжалась ихъ дружба, и съ сохранившимися воспоминаніями объ ихъ отношеніяхъ. Гарфордъ, авторъ *Жизни Микель-Анджело*, говоритъ, что онъ имѣлъ случай слышать чтеніе писемъ Витторіи къ ея другу, — писемъ, хранящихся въ коллекціи различныхъ документовъ великаго художника, которая составляетъ драгоценнѣйшее достояніе его потомковъ, и вотъ что онъ рассказываетъ о нихъ:

«Ихъ пять числомъ, и есть еще шестое письмо, адресованное ею одному изъ ея друзей и имѣющее отношеніе къ Микель-Анджело. Въ двухъ изъ нихъ она говоритъ въ весьма признательныхъ выраженіяхъ о прекрасныхъ рисункахъ, приготовленныхъ имъ для нея и о которыхъ она отзывается съ восторгомъ. Въ другомъ письмѣ она съ глубокимъ интересомъ разсуждаетъ о религіозномъ настроеніи сонета, который онъ, повидимому, прислалъ ей для прочтенія.

«Въ одномъ изъ остальныхъ писемъ она говоритъ ему въ шуточныхъ выраженіяхъ, что его обязанности, какъ архитектора собора св. Петра, и ея долгъ къ юнымъ обитательницамъ монастыря св. Екатерины — не позволяютъ имъ часто обмѣниваться письмами. Это письмо было, по всей вѣроятности, написано какъ разъ за годъ до ея смерти, послѣдовавшей въ 1547 г. Микель-Анджело сдѣлался архитекторомъ собора св. Петра въ 1546 г. Письма эти написаны совершенно непринужденно, твердою, сильною рукой, но ни въ одномъ изъ нихъ нѣтъ ни малѣйшаго намека на нѣжность».

Пребываніе Витторіи въ Римѣ должно было быть на этотъ разъ весьма пріятно для нея. Признанная главою лучшаго и самаго интеллигентнаго общества въ этомъ городѣ, находясь въ центрѣ кружка даровитыхъ и благородныхъ людей, связанныхъ съ нею и между собою тѣми узами, которыя тѣснѣе и возвышеннѣе всѣхъ другихъ, то-есть общимъ исповѣданіемъ болѣе высокой, болѣе свѣтлой и чистой теоріи жизни, нежели та, какая господствовала вокругъ нихъ, и общою принадлежностью къ нѣкотораго рода церкви избранныхъ въ предѣлахъ церкви, надѣявшихся увидѣть скоро распространеніе и благотворное торжество своихъ принциповъ

*) См. *Микель-Анджело* Гарфорда, т. II, стр. 148 и слѣд.

и учений, раздѣляя свое время между религиозными обязанностями, литературными занятіями и бесѣдами съ дорогими и вполне симпатичными ей друзьями,—Витторія едва ли могла еще поддаваться и теперь мучительнымъ мыслямъ о самоубійствѣ. Однако, на медали, выбитой въ честь ея въ этотъ періодъ ея жизни,—последней изъ ряда медалей, отпечатанныхъ для изданія ея сочиненій подъ редакціей Висконти,—задняя сторона изображаетъ феникса, смотрящаго съ высоты своего костра на солнце, между тѣмъ какъ пламя уже охватываетъ его. На лицевой сторонѣ мы видимъ бюстъ поэтессы, черты которой представляются намъ сильно измѣнившимися за шесть или за семь лѣтъ, прошедшихъ со времени выполнения упомянутой нами ранѣе глупой медали съ Пирамомъ и Тисбе, хотя онѣ все еще правильны и изящны. Наклонность къ тучности значительно увеличилась, увеличился и благодушный двойной подбородокъ. Чрезвычайно некрасивъ на этой медали головной уборъ Витторіи изъ полотна, положеннаго складками, плотно прилегающій къ головѣ и покрывающій ее всю, съ длинными лопастями по бокамъ, ниспадающими на плечи.

Впрочемъ, это пріятное пребываніе въ Римѣ было кратковременно. Ему положило конецъ, какъ ни странно это можетъ показаться, повышеніе налога на соль. Когда Павелъ III прибѣгнулъ въ 1539 г. къ этому вѣчно ненавистному и жестокому средству ограбленія своего народа, Асканіо Колонна объявилъ, что, въ силу какой-то старинной привилегіи, новый налогъ не долженъ распространяться на его владѣнія. Папскіе сборщики податей увели въ плѣнъ нѣкоторыхъ изъ его вассаловъ, отказавшихся отъ уплаты, послѣ чего Асканіо собралъ своихъ сторонниковъ, предпринялъ набѣгъ на Кампанью и угналъ множество скота. Папа не замедлилъ набрать войско въ десять тысячъ человекъ и между государемъ и Колонной началась война. Измѣнчивыя случайности этой «войны» были подробно описаны многими историками *). Обѣ враждующія стороны причинили не мало зла, не мало всякихъ бѣдствій. Но, наконецъ, государь переселилъ своего вассала, и главныя крѣпости Колонны были взяты и отдано повелѣніе срыть ихъ остоны.

Эти-то злополучія и замѣчательная «солидарность», соединявшая въ эти дни членовъ той или другой фамиліи среди ихъ успѣховъ и неудачъ, послужили поводомъ къ тому, что Витторія покинула Римъ, вѣроятно, въ концѣ 1540 г., и удалилась въ Орвіето. Но утрата ихъ самаго блестящаго украшенія была для высшихъ сферъ римскаго общества такимъ несчастіемъ, котораго онѣ не могли перенести съ покорностью. Многія изъ вліятельнѣйшихъ лицъ при дворѣ Павла III посѣщали знаменитую изгнанницу въ Орвіето и вскорѣ съумѣли добиться ея возвращенія въ Римъ послѣ весьма недолгаго отсутствія. И потому мы снова застаемъ ее въ вѣчномъ городѣ въ августѣ 1541 года.

Сохранилось письмо Луки Контале, сіенскаго историка, драматурга и

*) Въ особенностях историкомъ Адрианомъ (*Storia di suoi tempi*).

поэта, въ которомъ онъ говоритъ о своемъ посѣщеніи Витторіи въ Римѣ въ томъ же мѣсяцѣ. Онъ пишетъ, что она освѣдомилась у него о фра Бернардино (Окино) и, узнавъ отъ него, что, благодаря своей добродѣтели и святости, онъ оставилъ послѣ себя въ Миланѣ самыя славныя воспоминанія, она отвѣтила: «Дай Богъ, чтобъ онъ и пребылъ такимъ!»

На этомъ отрывкѣ изъ письма Луки Контиле Висконти и другіе біографы построили длинныя разсужденія въ доказательство ортодоксальности Витторіи. Вполнѣ очевидно, говорятъ они, что она уже подозрѣвала и оплакивала приближеніе Окино къ ереси, и этими словами указывала на свою собственную антипатію ко всему, что могло бы повести къ отпаденію отъ римской церкви. Однакожь, было бы затруднительно удостовѣрить, что эта простая фраза непремѣнно должна была имѣть подобный смыслъ. Но всякія пренія на этотъ счетъ совершенно бесполезны, ибо мы вполнѣ согласны съ тѣмъ, что Витторія не отказалась, и, по всей вѣроятности, ни при какихъ условіяхъ не отказалась бы отъ общенія съ церковью. И если это все, что желаютъ подтвердить ея католическіе біографы, то они несомнѣнно правы въ своихъ заявленіяхъ. Въ этомъ отношеніи она дѣйствовала соотвѣтственно съ поведеніемъ большинства тѣхъ выдающихся людей, ученицей и другомъ которыхъ она была въ теченіе столькихъ лѣтъ. И то обстоятельство, что реформаціонное движеніе въ Италіи, въ концѣ-концовъ, угасло совершенно, объясняется въ значительной степени именно тѣмъ фактомъ, что это единеніе съ Римомъ было дороже для большинства итальянскихъ умовъ, чѣмъ независимое провозглашеніе ихъ собственныхъ мнѣній. Можно прямо сказать, что, по всѣмъ вѣроятіямъ, то же случилось бы и съ Витторіей, еслибъ на ея долю не выпало счастье умереть раньше того времени, когда тѣ особенныя ученія, которыя она признавала, подверглись такому рѣшительному осужденію, что выборъ между ними или церковью оказался бы для нея неизбѣжнымъ. Но, конечно, весь интересъ, связанный съ вопросомъ объ ея религиозныхъ взглядахъ, заключается въ томъ фактѣ, что она, подобно большинству лучшихъ умовъ своего вѣка и своей страны, несомнѣнно придерживалась ученій, которыя Римъ призналъ и объявилъ несомнѣнными съ своею вѣрой.

Болѣе пріятное воспоминаніе о жизни Витторіи въ Римѣ въ эту эпоху и интересное указаніе на то, какъ она проводила большую часть дня, мы находимъ въ бумагахъ, оставленныхъ нѣкимъ Франческо д'Оланда, португальскимъ живописцемъ, находившимся въ это время въ вѣчномъ городѣ. Онъ разсказываетъ, что, благодаря доброму вниманію мессера Латтанціо Толемеи Сиенскаго, былъ представленъ маркизѣ Пескара и Микель-Анджело и подробно записалъ нѣсколько бесѣдъ, происходившихъ между ними и двумя или тремя другими членами ихъ кружка и въ которыхъ и онъ принималъ участіе. Цѣлью этихъ записокъ было, очевидно, главнымъ образомъ, желаніе сохранить для памяти мнѣнія, выраженныя великимъ флорентинцемъ по вопросамъ, касавшимся искусства. И надо сознаться, что разговоры упомянутыхъ знаменитостей, въ томъ видѣ, какъ они переданы

португальскимъ живописцемъ, представляются, если избрать критеріемъ понятія девятнадцатаго вѣка, изумительно плоскими и скучными.

Записки Франческо д'Оланда весьма любопытны даже съ этой точки зрѣнія. Интересно измѣрить разстояніе между тѣмъ, что считалось изысканнымъ разговоромъ въ 1540 г., и тѣмъ, что допускается интеллигентными людьми три столѣтія спустя. Поклонники добраго стараго времени, хотящія увѣрить насъ, что тяжеловѣсная эрудиція минувшихъ поколѣній претятъ намъ лишь вслѣдствіе неустойчивости, поверхностности и фривольности современнаго ума, находятся въ заблужденіи. Длинные разговоры, плѣнявшіе слушателей шестнадцатаго вѣка, нагоняютъ на насъ невыносимую скуку, потому что они наполнены пошлостями, т. е. фактами, выводами и сообщеніями, которые до тѣхъ поръ осаждали народный умъ, пока не приняли формы осязательныхъ истинъ и основныхъ аксіомъ, тратить слова на которыя значило бы терять время. А время такъ изумительно повысилось въ цѣнѣ! И хотя теперь, чаще чѣмъ когда-либо, встрѣчаются люди, бесѣда съ которыми могла бы быть поучительна и полезна для окружающихъ, повсемѣстная привычка къ чтенію не позволяетъ разговору превращаться въ лекцію. Тѣ, которые имѣютъ матеріалъ, достойный сообщенія, могутъ изложить его съ болѣею силой убѣжденія и передъ болѣе многочисленными слушателями посредствомъ пера, а тѣ, которые желаютъ научиться, могутъ гораздо болѣе удовлетворительнымъ образомъ овладѣть мыслями другихъ при посредствѣ книги.

Но внѣшнія обстоятельства этихъ бесѣдъ, записанныхъ живописцемъ Франческо д'Оланда, занимательны въ томъ отношеніи, что даютъ намъ заглянуть въ литературную жизнь Рима три столѣтія тому назадъ.

Въ одно изъ воскресеній, въ послѣобѣденное время, португальскій художникъ явился къ мессеру Латтанціо Толемеи, племяннику кардинала, носившаго то же имя. Слуги сказали ему, что ихъ господинъ находится вмѣстѣ съ маркизой Пескара въ церкви Санъ-Сильвестро, въ Монте-Кавалло, и слушаетъ нѣкоего фра Амброзо Сиенскаго, изясняющаго посланія апостола Павла. Маэстро Франческо не замедлилъ послѣдовать туда за своимъ пріателемъ. И «какъ только кончилось чтеніе и толкованіе», маркиза, обратившись къ иностранцу и приглашая его сѣсть рядомъ съ нею, сказала: «Если я не ошибаюсь, Франческо д'Оланда было бы пріятнѣе послушать проповѣдь Микель-Анджело о живописи, нежели чтеніе фра Амброзо».

Послѣ этихъ словъ, живописецъ, «чувствуя себя обиженнымъ», сталъ увѣрять синьору, что онъ можетъ относиться съ интересомъ не къ одной только живописи, но и къ другимъ предметамъ, и что какъ ни охотно сталъ бы онъ слушать разсужденія Микель - Анджело объ искусствѣ, все же онъ предпочелъ бы бесѣду фра Амброзо по поводу посланій апостола Павла.

«— Не сердитесь, мессеръ Франческо,—сказалъ тутъ синьоръ Латтанціо,—маркиза вовсе не сомнѣвается въ томъ, что человѣкъ, способный къ живописи, можетъ быть способенъ и къ чему-либо другому. Мы, итальянцы,

слишкомъ высоко цѣнить искусство, чтобъ питать подобныя сомнѣнія. Но, быть можетъ, мы должны заключить изъ замѣчанія синьоры маркизы, что она желаетъ прибавить къ тому удовольствію, которое вы уже имѣли, удовольствіе послушать Микель-Анджело.

«— Въ такомъ случаѣ,—сказала я,—ея свѣтлость сдѣлала бы лишь то, что ей такъ свойственно: оказала бы такую милость, какой я и не осмѣлился бы просить у нея».

И такъ, Витторія зоветъ слугу и посылаетъ его въ домъ Микель-Анджело.

«— Скажите ему, что я и мессеръ Латтанціо находимся здѣсь, въ этомъ прохладномъ придѣлѣ, что церковь заперта и что въ ней очень пріятно сидѣть, и спросите его, не придетъ ли онъ сюда, чтобъ пробыть часть дня вмѣстѣ съ нами, и не дастъ ли намъ возможность употребить съ пользою это время въ его обществѣ. Но не говорите ему, что здѣсь Франческо д'Оманда, испанецъ».

Затѣмъ начинаются весьма милыя шутки насчетъ того, какъ навести Микель-Анджело на разговоръ о живописи; повидимому, представляется весьма сомнительнымъ, чтобъ удалось заставить его говорить на эту тему; завязывается небольшой споръ между маэстро Франческо и фра Амброзо, который убѣжденъ въ томъ, что Микель-Анджело ни за что не станетъ говорить предъ португальцемъ, тогда какъ послѣдній похвальною своею близостью къ великому человѣку.

Но вотъ раздается стукъ въ церковную дверь. Это Микель-Анджело, котораго слуга встрѣтилъ въ то время, какъ онъ направлялся къ купальнямъ, разговаривая съ Орбино, своимъ краскотеромъ.

«Маркиза пошла ему на встрѣчу и, прежде чѣмъ указать ему мѣсто между собою и мессеромъ Латтанціо, довольно долго бесѣдовала съ нимъ стоя. Затѣмъ, съ неописуемымъ и неподражаемымъ искусствомъ, необычайно остроумно и мило начала она разговаривать о различныхъ предметахъ, отнюдь не касаясь живописи, чтобъ не возбудить ни малѣйшаго подозрѣнія въ великомъ живописцѣ.

«— Можно быть увѣреннымъ въ полномъ поражениі,—говоритъ она, наконецъ,—когда отваживаешься напасть на Микель-Анджело въ его собственной сферѣ, то - есть сферѣ остроумія и насмѣшки. Вы увидите, мессеръ Латтанціо, что для того, чтобъ уничтожить его и заставить умолянуть, мы должны говорить о буллахъ, судебныхъ дѣлахъ или о живописи».

Благодаря этой тонкой и хитрой уловкѣ, великій человѣкъ пускается въ длинный разговоръ о живописи и живописцахъ.

«— Его святѣйшество,—сказала немного погодя маркиза,—милостиво разрѣшилъ мнѣ построить новый монастырь недалеко отсюда, на склонѣ Монте-Бавалло, тамъ, гдѣ находятся развалины портика, съ вершины котораго Неронъ, какъ рассказываютъ, смотрѣлъ на пожаръ Рима; такимъ образомъ, добродѣтельныя женщины могли бы изгладить слѣды этого нечестивца. Я не знаю, Микель-Анджело, какую форму и какой размѣръ при-

дать зданію и съ какой стороны сдѣлать входъ. Нельзя ли будетъ соединить нѣкоторыя части старинной постройки и воспользоваться ими для новаго зданія?

«— Да,— сказалъ Микель-Анджело,—развалины портна могли бы послужить для колокольни».

Этотъ отвѣтъ былъ данъ, по словамъ нашего португальскаго рассказчика, съ такою серьезностью и такимъ *апломбомъ*, что мессеръ Латтанціо не могъ не обратить на него вниманія.

Отсюда мы должны заключить, что это была очевидная для всѣхъ шутка со стороны великаго Микель-Анджело. Однакожь, онъ прибавилъ въ болѣе серьезномъ тонѣ:

«— Я полагаю, что ваша свѣтлость можетъ безъ всякихъ затрудненій выстроить задуманный монастырь, и, когда мы выйдемъ отсюда, мы можемъ, если будетъ угодно вашей свѣтлости, взглянуть на это мѣсто и дать вамъ нѣкоторыя указанія».

Затѣмъ, послѣ лестной рѣчи Витторіи, въ которой она объявляетъ, что публикѣ, знающей только произведенія Микель-Анджело, по незнакомой съ его характеромъ, остаются неизвѣстными лучшія его свойства, начинается лекція, къ которой все предъидущее служить введеніемъ. И когда, по окончаніи ея, общество расходится, то оно сговаривается снова собраться въ слѣдующее воскресенье въ той же церкви.

Живописецъ, ищущій неизбитой темы, легко могъ бы выбрать и болѣе плохой сюжетъ, чѣмъ тотъ, который представляла эта замѣчательная группа, устраивавшая въ прохладной и тихой церкви свой воскресный послѣобѣденный салонъ.

Остальные немногіе годы своей жизни Витторія проводила поочередно въ Римѣ и въ Витербо, епархіальномъ городѣ, лежавшемъ приблизительно за тридцать миль къ сѣверу отъ столицы. Здѣсь ея домомъ былъ монастырь св. Екатерины. Ея общество состояло здѣсь преимущественно изъ кардинала Поля, правителя Витербо, ея стараго друга Марко Антоніо Фламинио и архіепископа Соранцо.

Въ эти годы въ церкви все болѣе и болѣе усиливалось сознаніе той опасности, которую представляли ученія реформаторской партіи, и все неудобнѣе становилось исповѣдывать мнѣнія, придавшія, какъ мы видѣли, особый колоритъ столь обширному отдѣлу стихотвореній Витторіи и образовавшія сущность ея духовной природы. Друзья же, въ тѣсномъ общеніи съ которыми она жила въ Витербо, были не такого рода люди, чтобы поддержать ее въ смѣломъ довѣрїи къ внушеніямъ ея собственнаго духа, еслибъ эти послѣднія оказались въ противорѣчїи съ видами церкви. Въ это время главнымъ руководителемъ ея совѣсти былъ, повидимому, Поль. А намъ слишкомъ хорошо извѣстно, по плачевнымъ результатамъ его дальнѣйшаго поприща, какого рода совѣты онъ былъ способенъ дать ей въ подобныхъ обстоятельствахъ. Существуетъ чрезвычайно интересное письмо, написанное Витторіей изъ Витербо кардиналу Червино, впоследствии папѣ

Марцеллу II, — письмо, доказывающее съ достаточною очевидностью, гъ великому восхищенію ея ортодоксальныхъ почитателей, что, каковы бы ни были ея мнѣнія, она была готова «повергнуть» ихъ на разсмотрѣніе Рима. Мы видѣли, какъ близко примыкали ея взгляды гъ взглядамъ Бернардино Окино, побудившимъ его отдѣлиться отъ церкви и бѣгствомъ спастись отъ ея мщенія. Но вотъ что пишетъ Витторія подъ опекой Поля:

«Достославный и высокочтимый синьоръ.

«Чѣмъ болѣе я имѣю возможность наблюдать дѣйствія его высокопреосвященства, кардинала англійскаго (Поля), тѣмъ сильнѣе я убѣждаюсь въ томъ, что онъ вѣрный и искренній служитель Господа. Поэтому, всякій разъ, какъ онъ благоволитъ высказать мнѣ свое милостивое мнѣніе по какому-либо вопросу, я чувствую, что поступлю безошибочно, послѣдовавъ его совѣту. И онъ сказалъ мнѣ, что если я получу письмо или что бы то ни было отъ фра Бернардино, то, по его мнѣнію, я обязана доставить посылку вашей свѣтлости и должна дать отвѣтъ только въ томъ случаѣ, если вы мнѣ это предпишете. Поэтому я посылаю вамъ прилагаемое письмо, полученное мною сегодня вмѣстѣ съ книжечкой, которую я тоже присоединяю къ нему. Все это находилось въ пакетѣ, привезенномъ сюда по почтѣ курьеромъ изъ Болоньи, и никакого другаго письма въ немъ не было. Я сочла за лучшее отправить эту посылку не иначе, какъ съ моимъ собственнымъ слугою». Она прибавляетъ въ постскриптумѣ:

«Мнѣ очень прискорбно, что чѣмъ болѣе онъ старается оправдать себя, тѣмъ болѣе онъ себя обвиняетъ, и чѣмъ болѣе онъ надѣется спасти другихъ отъ кораблекрушенія, тѣмъ болѣе онъ самъ подвергается опасности пойти ко дну, такъ какъ онъ находится внѣ того ковчега, который спасаетъ и охраняетъ».

Бѣдный Окино былъ, вѣроятно, далеку отъ мысли, что его письмо къ его прежней восторженной и усердной ученицѣ перейдетъ съ подобнымъ замѣчаніемъ въ руки его враговъ. Однакожъ, ему слѣдовало бы предвидѣть, что принцессы и кардиналы, какимъ бы умозрѣніямъ они ни предавались, не легко становятся еретиками.

Она еще разъ вернулась въ Римъ изъ Витербо въ концѣ 1544 г. и поселилась въ бенедиктинскомъ монастырѣ св. Анны. Здѣсь она написала латинскую молитву, вызвавшую большой энтузіазмъ, — молитву, которая, хотя она и не отличается цидероновскимъ стилемъ, какимъ могъ писать Бембо, все же выдержала бы сравненіе съ сочиненіями въ этомъ родѣ многихъ другихъ, болѣе знаменитыхъ личностей. Въ это же время были написаны нѣкоторыя изъ ея послѣднихъ стихотвореній. Но ея здоровье стало такъ быстро измѣнять ей, что друзья ея начали сильно тревожиться этимъ. Сохранилось нѣсколько писемъ Толемеи къ ея врачу, въ которыхъ онъ съ беспокойствомъ освѣдомляется объ ея здоровьѣ, упрощиваетъ его не упускать никакихъ средствъ, представляемыхъ его искусствомъ, и напоминаетъ ему, что «существованіе многихъ людей, постоянно получающихъ отъ нея пищу—или тѣлесную, или духовную—связано съ ея жизнью». Написали въ

Верону знаменитому врачу и поэту Фракасторо. Указавъ въ своемъ отвѣтѣ нѣкоторыя лѣкарства, онъ говоритъ: «О, еслибъ можно было найти врача для ея души! Иначе прекраснѣйшее свѣтило этого міра, вслѣдствіе совершенно непонятныхъ причинъ (а non so che strano modo), угаснетъ и свергнется отъ нашего взора».

Медицинскій отзывъ Фракасторо, писавшаго издавна, не можетъ имѣть большаго значенія. Но несомнѣнно, что, благодаря стеченію многихъ обстоятельствъ, Витторія чувствовала себя несчастной въ эти послѣдніе годы своей жизни. Надъ судьбой ея семьи ступились облака, и весьма вѣроятно, что ее столь же огорчало поведеніе ея брата, какъ и результаты этого поведенія. Бончина маркиза дель-Васто, умершаго около этого времени, въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ, была тоже для нея тяжелымъ ударомъ. Съ той счастливой ранней поры своей жизни, проведенной на Искіа, когда она была для него, по ея словамъ, матерью въ нравственномъ, и въ уметвенномъ отношеніи, ихъ соединяли тѣснѣйшія узы самой искренней привязанности, и его смерть равнялась для Витторіи уtratѣ сына. Затѣмъ, хотя она совершенно ясно опредѣлила себѣ тотъ путь, который ей надлежало избрать относительно всякихъ затрудненій въ вопросахъ религіи, нельзя, однако, сомнѣваться въ томъ, что необходимость разойтись со многими людьми, которыхъ она любила и почитала, необходимость какъ бы измѣнить имъ въ несчастъ, должна была подѣйствовать на нее крайне удручающимъ образомъ. Быть можетъ, и совѣсть ея не была вполнѣ спокойна на этотъ счетъ. Быть можетъ, тайный голосъ внутренняго убѣжденія порою начиналъ упорно роптать противъ слѣпой покорности духовенству, которое не имѣетъ права, согласно выраженному нѣкогда мнѣнію поэтессы, становиться между созданиемъ и его создателемъ.

Такъ какъ здоровье ея все ухудшалось и силы все больше ослабѣвали, то ее перевезли изъ монастыря св. Анны въ сосѣдній домъ, принадлежавшій Джуліано Чезарини, мужу Джуліи Колонна, единственной представительницѣ ея фамиліи, находившейся тогда въ Римѣ. И здѣсь она испустила свой послѣдній вздохъ въ концѣ февраля 1547 г., на 57 году своей жизни.

Въ предсмертные часы ее посѣтилъ ея вѣрный и преданный другъ Микель-Анджело. Много лѣтъ спустя онъ говорилъ, что никогда не переставалъ сожалѣть о томъ, что въ это торжественное мгновеніе онъ не дерзнулъ приложить въ первый и послѣдній разъ свои уста къ мраморному челу усопшей.

Она выразила желаніе, чтобы ея погребеніе ничѣмъ не отличалось отъ похороннаго обряда, обычнаго для монахинь того монастыря, гдѣ она жила послѣднее время. И ея предписанія были такъ строго выполнены, что нѣтъ и памятника, который могъ бы указать ея могилу.

В. С.

По закаспійской желѣзной дорогѣ *).

У.

Б у х а р а.

Джуть.— Могилы святаго.— Каракуль.— Барханн.— Станція Бухара.— Жилище офицеровъ.— Озеро.— Разверстка Новой Бухарн.— Въездъ въ столицу.— Посольскій домъ.— Рията.— Мечети и медресе.— Ригистамъ.— Туземный фанатизмъ и бухарская ученость.— Большой базаръ.— Аудіенція у эмира.— Прочное господство Россіи въ Средней Азій.

Хотя правильное движеніе поѣздовъ совершалось пока только до Чарджуя, однако, я пользовался каждымъ удобнымъ случаемъ для того, чтобы проѣхаться далѣе, даже по неоткрытой еще для эксплуатаціи дорогѣ. Къ поѣздамъ, перевозившимъ желѣзно-дорожный матеріалъ къ мѣсту укладки рельсовъ, всегда прицѣплялись порожніе товарные вагоны или платформы, пользоваться которыми предоставлялось всѣмъ бесплатно, но лишь съ тѣмъ, чтобы пассажиръ самъ заботился о болѣе удобномъ помѣщеніи въ отведенномъ ему пустомъ вагонѣ. Для ночнаго переѣзда въ такомъ случаѣ необходимо было запастись не только подушкой, но также постелью и даже кроватью, если не желаешь расположиться на полу. Меня на такой случай предупредительно снабдили вошедшею здѣсь въ употребленіе такъ называемою сартскою кроватью. Она состоитъ изъ деревянной рамки на четырехъ ножкахъ, переплетенной веревкою изъ кендыря, какъ называется у туземцевъ замѣняющее нашу коноплю мѣстное растеніе, извѣстное у насъ подъ именемъ джута, изъ котораго приготовляются дешевые джутовые мѣшки. Волокно этого дикоростающаго кендыря, желтоватаго цвѣта, отличается достаточною крѣпостью, такъ что если удастся съ выгодой разводить это растеніе въ поляхъ, то джуть явится сильнымъ соперникомъ нашей пеньковой пряжи.

Поѣздъ, съ которымъ я отправился, осторожно двинулся по мосту. Перевравшись на правый берегъ рѣки, онъ полнымъ ходомъ пошелъ между разросшеюся по обѣ стороны полотна таловою рошей и вскорѣ затѣмъ остановился на знакомой уже намъ станціи Фарабъ. Забравъ и тутъ также не-

*) *Русская Мысль*, кн. IV.

обходимый для укладки матеріалъ, поѣздъ двинулся дагѣе, и вскорѣ по обѣ стороны рельсовъ потянулись извѣстные уже намъ пески Сандукли. Опять среди пустынной мѣстности стали появляться одинокія станціи съ наскоро сколоченными домишками и туземными кибитками для рабочихъ. Близъ первой такой станціи, Ходжа-Давлетъ, стоитъ гробница святаго, которую тотчасъ можно признать по торчащимъ надъ могилою жердямъ съ развѣвающимися тряпками на верхушкѣ. У этой гробницы случилось событіе, могущее служить предостереженіемъ для нарушителей туземныхъ святынь. Въ прошломъ году, когда въ этихъ мѣстахъ производились работы по укладкѣ дороги, одному изъ рабочихъ для чего-то понадобилось вырубить торчащія надъ могилою жерди. Кто-то изъ туземцевъ подкараулилъ святотатца и выстрѣлилъ въ него изъ-за ближайшаго бугра. Раненый работникъ едва доплелся до станціи, а стрѣлявшій въ него, конечно, успѣлъ тѣмъ временемъ скрыться въ пескахъ. Къ счастью, рана оказалась неопасною.

Слѣдующая затѣмъ станція, Каракуль, находится близъ небольшого города того же имени. Онъ, какъ извѣстно, славится своими овчинами. Имѣя въ виду купить такую овчинку, я отъ мѣстныхъ жителей узналъ, однако, что здѣсь не найду хорошей каракули, такъ какъ, снявъ съ барашковъ шкурки, туземцы отвозятъ ихъ обыкновенно въ Бухару, а оттуда прямо на Нижегородскую ярмарку. Мнѣ вспомнилось при этомъ, что много лѣтъ тому назадъ, находясь въ Гаваннѣ, я точно также не могъ добыть тамъ хорошихъ гаванскихъ сигаръ, а въ Панамѣ—порядочной панамской шляпы.

Песчаные барханы тянутся высокими грядами по сторонамъ дороги. Здѣсь они обращаютъ на себя особенное вниманіе правильностью своего образованія. И въ самомъ дѣлѣ, подчиняясь направленію господствующихъ въ край вѣтровъ, эти гряды съ навѣтренной стороны представляютъ отлогіе подъемы обыкновенныхъ холмовъ, тогда какъ на противоположной юго-западной сторонѣ ихъ обрисовывается вогнутымъ полукругомъ крутой скатъ бархана. По срединѣ этотъ скатъ достигаетъ футовъ тридцати и болѣе въ вышину, но къ бокамъ онъ спускается на нѣтъ, согласуясь съ покатосями холма. Свообразный видъ представляютъ эти разсыпанные на неоглядномъ пространствѣ барханы съ ихъ правильными, всегда обращенными въ одну сторону крутизнами.

Пески, наконецъ, прекратились и по обѣ стороны рельсовъ потянулись сады и хлѣбныя поля разсыпанныхъ по ровной мѣстности кишлаковъ. Вотъ вдали, по лѣвую сторону, изъ-за кучи деревьевъ виднѣется уже высокая башня большого минарета въ городѣ Бухарѣ. Когда разступившіяся деревья открываютъ передъ глазами болѣе обширный кругозоръ, то можно усмотрѣть даже столпившіеся вокругъ минарета куполы мечетей. Мы приближаемся къ станціи Бухара, которая, однако, удалена на двѣнадцать верстъ отъ самой столицы ханства. Самъ эмиръ заявилъ желаніе, чтобы вокзалъ былъ помѣщенъ подалѣе отъ города. Онъ, повидимому, опасался тревожнаго возбужденія въ своихъ подданныхъ, взиравшихъ будто бы на огненнаго коня, какъ на шайтаново навожденіе. На дѣлѣ оказалось, однако, что опа-

сеня эмира были напрасны. Теперь горожане, особенно торговый людъ, горько сътуютъ о томъ, что станція такъ далеко отъ ихъ города, и имъ приходится съ значительными издержками перевозить какъ получаемый изъ Россіи, такъ и отправляемый туда товаръ.

На дебаркадерѣ, у котораго остановился поѣздъ, встрѣтила насъ густая толпа народа. Раздались возгласы бухарцевъ, встрѣчавшихъ своихъ знакомыхъ, крики носильщиковъ, тутъ же толкались продавцы туземныхъ лепешекъ, такъ называемыхъ чураковъ; шумъ и суетня были словно на базарѣ. Въ ожиданіи постройки настоящаго вокзала, здѣсь, въ довольно просторномъ одноэтажномъ домѣ, армянинъ открылъ порядочный буфетъ, гдѣ можно даже заказать по картѣ полный обѣдъ.

На этой станціи мнѣ пришлось остановиться дня на два, и я воспользовался радушнымъ гостепріимствомъ офицеровъ желѣзно-дорожной команды. Жилище ихъ, въ которомъ я нашелъ пріютъ, можетъ послужить типичнымъ обращеніемъ того, какъ въ этихъ пустынныхъ мѣстахъ устроивались служащіе при желѣзной дорогѣ на время, пока воздвигались для нихъ надлежащія помѣщенія. Временное жилище моихъ гостепріимныхъ хозяевъ стояло особнякомъ поодаль отъ другихъ деревянныхъ домиковъ, раскинутыхъ вдоль полотна желѣзной дороги. За полуобрушенною оградой бывшихъ тамъ прежде глинобитныхъ построекъ находится на дворѣ прудокъ, по краямъ котораго возвышаются старыя туовыя деревья. У этого прудика и расположено помѣщеніе, состоящее изъ двухъ, снятыхъ съ платформъ вагоновъ и поставленныхъ въ рядъ прямо на землю. Небольшой промежутокъ между ними убранъ коврами и покрытъ навѣсомъ. Тутъ, какъ бы въ маленькой гостиной, помѣщены мягкій диванчикъ, кресло и столъ. Къ этому уютному уголку снаружи примыкаетъ зеленая палатка. Просторная площадка впереди вагоновъ, передъ самымъ прудомъ, защищена отъ солнечныхъ лучей навѣсомъ изъ циновки, а середина ея занята длиннымъ столомъ, вокругъ котораго размѣщены стулья. Эта площадка служитъ общимъ заломъ для жильцовъ. Внутри вагоновъ, замѣняющихъ спальни, стоятъ кровати, сундуки и разная мебель. Жильцы спали, однако, большею частью наружи, подъ сѣнью туовыхъ деревьевъ. Просторное помѣщеніе для прислуги, потому еще конюшни замыкаютъ дворъ съ остающихся сторонъ. Это жилище казалось мнѣ въ своемъ родѣ укромнымъ затишьемъ, въ которомъ хорошо отдохнуть отъ суетни желѣзно-дорожнаго быта.

Младшій изъ офицеровъ, страстный ружейный охотникъ, предложилъ мнѣ съѣздить къ озеру, верстахъ въ пяти на юго-западъ отъ станціи. Проѣхавъ въ открытомъ тарантасѣ между кибитками по большой дорогѣ, пролегающей отъ Бухары въ городъ Карши, мы по пути миновали довольно большой курганъ, снизу до верху усѣянный могилами. Вслѣдъ затѣмъ показалось озеро, и, покинувъ экипажъ, мы подошли къ поросшему камышомъ берегу. За камышами въ обширной ложбинѣ раскинулась версты на четыре въ длину синеватая гладь воды, а тамъ, далѣе, поднималась песчаная пустыня. Чайки, мартины и утки то и дѣло перелетали изъ конца

въ конецъ надъ поверхностью озера. Захвативъ съ собой ружье, мой спутникъ вызвалъ изъ ближайшаго кишлака двухъ сартовъ, съ тѣмъ, чтобы они прокатили насъ въ каюгѣ. Сарты пошли отыскивать его въ камышахъ, но послѣ долгихъ поисковъ воротились съ извѣстіемъ, что не могутъ найти его. Такъ намъ и не пришлось прокатиться по озеру и пострѣлять утокъ, большими стаями перелетавшихъ вдаль. Вода въ озерѣ, какъ оказалось, на вкусъ соленая и отзывается нѣскольکو сѣрнымъ запахомъ.

По возвращеніи домой я прошелъ по полотну желѣзной дороги и засталъ близъ нея землѣбра, занятого разверсткою мѣстности. Здѣсь къ рельсамъ съ южной стороны примыкаетъ обширная ровная площадь. Землѣбрь разбивалъ ее на участки для предполагаемаго здѣсь русскаго города подъ именемъ Новая Бухара. За отдаленностью столицы этотъ новозаключаемый городъ предназначенъ служить складочнымъ мѣстомъ для приходящихъ и отходящихъ товаровъ. Кстати упомяну здѣсь же, что недѣль пять спустя, когда я опять посѣтилъ Бухару, тамъ при мнѣ совершалась раздача участковъ желающимъ водвориться въ будущемъ русскомъ городѣ. Этою операціей завѣдывалъ агентъ русскаго правительства, но продажа совершалась въ пользу эмира, какъ владѣльца мертвой земли. Каждый изъ участковъ занимаетъ 450 квадратныхъ сажень и стоитъ 225 рублей. Раздача ихъ съ перваго же раза пошла довольно бойко; главными покупателями явились фирмы разныхъ торговыхъ домовъ, поддерживающихъ постоянныя сношенія съ городами Европейской Россіи.

Мои хозяева снарядили мнѣ экипажъ для поѣздки въ столицу. Въ началѣ дороги, пролегающей на сѣверъ отъ станціи, показалось открытое поле, среди котораго раскинуты были палатки цыганскаго табора. Пользуясь разрѣшеніемъ правительства кочевать по незанятымъ мѣстамъ, цыгане ведутъ здѣсь такую же бродячую жизнь, какъ и соплеменники ихъ въ Россіи, занимаясь барышничествомъ, ворожбою, а, вѣроятно, также и воровствомъ. Миновавъ затѣмъ сады, окружающіе разсѣянные по сторонамъ кишлаки, мы подѣхали къ старому кладбищу, гдѣ продолговатой формы кирпичныя гробницы тѣсными сплошными рядами высились надъ землей. За кладбищемъ показались высокія ворота крѣпости, глинобитныя стѣны которой окружаютъ городъ на протяженіи почти двѣнадцати верстѣ. Потомъ мы стали пробираться по кривымъ пыльнымъ улицамъ, между такими же пыльно-сѣрыми высокими стѣнами жилищъ. Мѣстами по сторонамъ показывались низкія торговыя лавки. Кое-гдѣ возвышались мечети и минареты, кирпичныя стѣны которыхъ прерывали на время томительное однообразіе глинобитныхъ построекъ. Иногда приходилось пробѣжать по мосту первобытнаго устройства, перекинутому черезъ широкій арыкъ, въ которомъ зловѣще зеленѣла стоячая жижа; а въ другомъ мѣстѣ экипажъ, наклонившись на бокъ по покатоу мостовой, осторожно пробирался краемъ пруда, наполненнаго такою же стоячею и, какъ намъ казалось, вонючею водой. Тутъ изрѣдка появлялись старыя, скудныя листовою тутовья деревья. Приязнось, крайне непріятною и вовсе непривлекательною показалась мнѣ съ

перваго раза эта столица, эта «Бухара-аль-шерифъ», т.-е. «благородная», какъ вѣличаютъ ее туземцы. Наконецъ-то показалась выбѣленная стѣна посольскаго дома, и экипажъ, завернувъ за уголъ, въѣхалъ на дворъ, гдѣ съ одной стороны стояло нѣсколько осѣдланыхъ лошадей, а съ другой— тянулся рядъ жилыхъ покоевъ, у дверей которыхъ сидѣли бухарцы. Покинувъ экипажъ у вторыхъ воротъ, я прошелъ на мощеный плитнякомъ дворъ, на заднемъ планѣ котораго возвышалось двухъэтажное зданіе, а по обѣ стороны его тянулись одноэтажныя постройки съ жилыми помѣщеніями. Для пріѣзжихъ гостей отводятся обыкновенно покои въ большомъ зданіи. Агентъ русскаго правительства помѣщается въ домѣ на третьемъ, примыкающемъ сюда дворѣ. Все это довольно обширное обиталище принадлежало прежде богатому сановнику при бухарскомъ эмирѣ, навлекшему на себя гнѣвъ его и умершему въ заключеніи. Можно судить по этому о томъ, какъ, бывало, устраивались разбогатѣвшія здѣсь правительственныя лица.

На посольскомъ дворѣ я познакомился съ докторомъ Гейфельдеромъ, занимавшимъ постъ военнаго врача еще при арміи Скобелева. Желая показать мнѣ въ натурѣ живую ришту, этого своеобразнаго мѣстнаго глиста, развивающагося въ человѣческомъ тѣлѣ, докторъ призвалъ къ себѣ туземнаго цирульника, который привелъ съ собою также сарта, одержимаго риштой. Посадивъ передъ собою на коврѣ пациента, цирульникъ опухалъ на рукѣ близъ кисти едва замѣтную опухоль, вскрылъ ее ланцетомъ и маленькимъ крючкомъ вынулъ изъ ранки головку ришты. Захвативъ ее двумя пальцами правой руки, онъ лѣвою сталъ, въ то же время, нажимать повыше локтя большаго и ловко и скоро, словно играя, вытягивать глисть, похожій на тонкую бѣлую бичеву. Не болѣе какъ въ одну минуту ришта, длиною въ аршинъ слишкомъ, была вынута наружу, чѣмъ операція и кончилась, не причинивъ, повидимому, никакой боли пациенту. Но еслибъ глисть оборвался, то больной на всю жизнь могъ бы остаться съ окалѣченною рукою, такъ какъ оставшаяся подъ кожей часть ришты, сгнивая тамъ, производитъ неизлечимую опухоль, отчего рука болѣзненно сводится.

Взявъ удачно вытянутый глисть, докторъ тутъ же ланцетомъ сдѣлалъ надрѣзъ въ его тѣлѣ и выпустилъ изъ него на стеклышко каплю бѣловатой жижи. Разсматривая ее въ микроскопъ, мы ясно видѣли многое множество живо извивающихся бѣленькихъ зародышей ришты, по виду совершенно схожихъ съ маткой. Можно судить по этому, какое громадное количество этого паразита можетъ развиваться отъ одного экземпляра. Ришта заводится также подъ кожей въ ногахъ и въ другихъ частяхъ тѣла, такъ что у одного человѣка можетъ появиться заразъ по нѣскольку такихъ паразитовъ. Встрѣчается онъ только въ мѣстностяхъ, гдѣ жители употребляютъ въ питье стоячую въ каналахъ и прудахъ воду, подобную той, что попадаетъ въ арыкахъ Бухары. Для того, чтобы избѣгнуть этой заразы, необходимо хорошо прокипятить такую воду.

Къ большому дому, въ которомъ я остановился, примыкаетъ обширный садъ съ прудомъ и проведенными по всѣмъ направленіямъ арыками. Зад-

ная часть сада примыкаетъ къ высокой крѣпостной стѣнѣ. Гуляя по тѣнистымъ аллеямъ, подъ сводомъ вьющагося по шпалерамъ виноградника, между абрикосовыми, персиковыми и граватными деревьями,—раскаживая на полной свободѣ куда и какъ мнѣ вздумается,—я невольно вспоминаю о переворотахъ, какіе совершились здѣсь за послѣднія десятилѣтія въ отношеніи пріѣзжихъ сюда иноземцевъ, о томъ гнусномъ стѣсненіи, даже жестокомъ обращеніи, какое не такъ еще давно претерпѣвали они при дворѣ деспотическаго эмира. Нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ путешественникъ, подъѣхавъ къ крѣпостнымъ воротамъ, обязанъ былъ слѣзть съ коня и вступить въ городъ не иначе, какъ пѣшкомъ, тогда какъ конвоировавшіе его бухарцы вѣзжали верхомъ. Въ сороковыхъ годахъ нашего столѣтія агенты англійскаго правительства, Стоддартъ и Конолли, раздраживъ эмира нарушеніемъ бухарскаго этикета подобнаго рода, подверглись строгому заключенію и, наконецъ, оба были казнены, какъ опасные шпіоны. А въ настоящее время мы не только верхомъ, но въ какомъ угодно экипажѣ свободно разъѣзжаемъ по всѣмъ улицамъ и даже по базарамъ. Прежде, бывало, даже почетные гости эмира находились подъ постояннымъ бдительнымъ надзоромъ, словно подъ арестомъ, какъ люди подозрительные, и имъ не позволялось ни на шагъ удаляться изъ дому безъ назначеннаго для нихъ конвоя. Теперь же всякъ воленъ и ѣздить, и ходить по городу, куда и когда вздумается, никого не спрашиваясь. Такимъ-то пережніамъ за послѣдніе годы принуждены были подчиниться бухарскія власти подъ давленіемъ русскаго господства надъ краемъ.

Улицы города, изъ которыхъ ни одна не можетъ быть названа прямою, извиваются и перепутываются такими неправильными переходами, а, сверхъ того, при однообразіи глинобитныхъ, ничѣмъ почти не отличающихся другъ отъ друга построекъ, до того походятъ одна на другую, что иногородцу въ нихъ трудно ориентироваться; а потому, отправляясь смотрѣть достопримѣчательности города, я всадкій разъ поневолѣ брагъ съ собой проводника. Эти достопримѣчательности, казалось мнѣ, поражаютъ иноземцевъ не столько красотой, сколько своеобразностью своего вида. Мечети съ обсыпаншеюся со стѣнъ глазурью и съ поврежденными куполами, высокіе при нихъ минареты, обширныя медресе съ плохо сохранившимися орнаментами,—все это служитъ лишь свидѣтельствомъ того великолѣпія, какимъ славился городъ въ давнія времена, когда въ краѣ господствовали персы и аравитяне. Новѣйшіе властители страны, узбеки, эти монгольскіе выходцы изъ Золотой орды, не создали почти ничего новаго и даже мало заботились о поддержкѣ въ надлежащемъ видѣ тѣхъ громаднхъ сооружений, какими украсили городъ ихъ болѣе образованные предшественники.

Такое впечатлѣніе сохранилось въ насъ, между прочимъ, отъ вида самой обширной мечети въ Бухарѣ, прозванной «Каланъ», т.-е. «великая». Мой проводникъ провелъ меня по лѣстницѣ на каменную площадку, что возвышается какъ разъ противъ фасада громаднаго зданія. Передъ нами высился широкій фронтонъ мечети съ открытымъ большимъ порталомъ по сред-

нѣ, съ четырехъугольными колоннами по бокамъ, весь покрытый разноцвѣтною глазурью и украшенный чудными арабесками; а надъ всѣмъ этимъ полнимался заостренный къверху куполъ яркоголубаго цвѣта. Но, увы, все это представляется въ полномъ своемъ блескѣ лишь тогда, когда въ воображеніи дополняешь утраченныя отъ времени поврежденныя части зданія. Въ дѣйствительности же разноцвѣтная облицовка фронтона большею частью обсыпалась, барельефныя украшения во многихъ мѣстахъ надломлены, а на куполѣ виднѣются только остатки голубой глазури, такъ что въ вышинѣ торчить лишь бѣлая известковая верхушка его, на которой развели свое гнѣздо аисты. Одинъ изъ нихъ спокойно стоялъ на самомъ верху, поглядывая на птенцовъ своихъ, летавшихъ вокругъ мечети. Это зданіе, какъ полагаютъ, было воздвигнуто еще до нашествія монголовъ и послѣ нихъ осыпавшіяся украшения почти не исправлялись. Въ ней, какъ говорилъ проводникъ, по пятницамъ отправляется богослуженіе, во время котораго внутри собирается около шести тысячъ человѣкъ. Высокая кирпичная ограда тянется позади фронтона длиною бурою стѣной, до того обветшалою, что кирпичъ мѣстами уже обсыпается, и при видѣ ея никакъ не подозрѣваешь, что находишься передъ самою великолѣпною мечетью въ городѣ.

Находясь все еще на возвышенной площадкѣ, я обратился лицомъ въ другую сторону и увидѣлъ передъ собою фасадъ стоящаго тутъ же, прямо противъ мечети, большаго зданія съ порталомъ. Это высшая школа или медресе Миръ-Гарабъ. Спустившись съ лѣстницы, мы недалеко отсюда вышли на вымощенную каменными плитами площадку. Здѣсь поднимается саженъ на тридцать въ вышину та самая башня, которую, подѣзжая къ станціи, мы видѣли изъ окна вагона. Это великій минаретъ или, по-здѣшнему, Манари Калянъ. Занимая при основаніи около четырехъ саженъ въ діаметрѣ, совершенно круглая башня слегка лишь суживается къверху, и только тамъ, на высотѣ около пятнадцати саженъ, расширяется нѣсколько, какъ бы въ видѣ колонной капители, образуя площадку, обведенную оградой съ четырьмя оконцами. По пятницамъ въ полдень муэдзины поднимаются по крутой внутренней лѣстницѣ на верхнюю площадку, чтобы громкимъ крикомъ въ окно,—замѣняя тѣмъ какъ бы трезвонъ съ нашихъ колоколенъ,—сзывать народъ къ торжественному намазу въ великой мечети. На это время,—говорилъ мой сартъ,—мужья въ городѣ стоняютъ своихъ женъ въ крытые покои, дабы муэдзины сверху не могли подмѣтить на дворахъ хотя бы даже едва уловимое съ такой высоты подобіе женщины. Послѣднимъ здѣсь не подобаетъ даже слышать голоса, вызывающаго къ Аллаху. Съ этой же башни изъ тѣхъ же оконъ сбрасываютъ внизъ на мостовую осужденныхъ на смерть преступниковъ. Такъ, избрѣтая разныя замысловатыя казни, восточные властители портятъ всякое пріятное впечатлѣніе, производимое ихъ величественными зданіями. И дѣйствительно, смѣло возносящаяся вверхъ башня, изжелта-бурого цвѣта, простотою формы, узорами, образованными изъ подобранныхъ кирпичей разныхъ оттѣнковъ, производитъ впечатлѣніе не только своеобразной, но даже изящной постройки.

Отсюда проводникъ повелъ меня по кривымъ переулкамъ на ригистанъ, какъ называется главная площадь въ городѣ. Завернувъ за уголъ, онъ остановился и, какъ будто робѣя, указавъ направо, прошепталъ мнѣ на ухо: «это дворець эмира; онъ теперь здѣсь». На невысокомъ холмѣ съ отлогимъ подъемомъ показалось зданіе на подобіе крѣпости, довольно мрачнаго вида. Наверху надъ воротами бѣлѣлъ круглый циферблатъ обыкновенныхъ башенныхъ часовъ. Не знаю, чего робѣлъ мой сартъ? Боюся ли онъ, что его замѣтитъ одинъ изъ беговъ эмира? Меня удивила его робость тѣмъ болѣе, что тутъ же, у подножія холма, по обширной площади безцеремонно толпилась густая масса всякаго люда.

Противъ ханскаго дворца по окраинамъ площади размѣстились двѣ мечети и три медресе, все зданія довольно значительныхъ размѣровъ. А по самой площади тѣсною гурьбой раскинулись палатки торговцевъ мелочными товарами, лотки съ фруктами и зеленью, столы съ разною жареною и вареною снѣдью, такъ что этотъ пресловутый ригистанъ, съ толпящимся на немъ народомъ, съ его несмолкаемымъ гомономъ и суетней, напомнилъ мнѣ не то наши подвижные базары, открываемые по праздничнымъ днямъ, не то толкучіе рынки и обжорные ряды.

Кромѣ названныхъ уже мечетей, здѣсь насчитывается ихъ еще нѣсколько сотенъ; недаромъ Бухара слыветъ Римомъ ислама. Однако, подобно тому, какъ въ католическомъ, точно такъ же и въ мусульманскомъ Римѣ такое обиліе Божьихъ храмовъ служитъ скорѣе для прикрытія того лицемернаго ханжества, которымъ тамъ сильно заражены бухарцы, понуждаемые къ тому строгими административными мѣрами. Когда, благодаря русскому вліянію на правительственныя власти, стали менѣе прибѣгать къ подобнымъ мѣрамъ, то на дѣлѣ оказалось, что народъ въ большинствѣ здѣсь вовсе не одержимъ ярлымъ религіознымъ фанатизмомъ, къ которому муллы, дервиши и тому подобныя бродячіе богомолы тщетно покушаются подвигнуть туземныя массы. Исполняя обычныя формальности, жители скорѣе индифферентно относятся къ самой сути своей религіи, тѣмъ болѣе, что они не разумѣютъ даже основъ ея, такъ какъ для большинства вовсе недоступенъ Коранъ, этотъ источникъ ислама.

Проходя по одному изъ базаровъ, мой проводникъ, остановившись въ проходѣ, указавъ между торговыми лавками на запертую дверь, къ которой велъ покатый спускъ. «Здѣсь мечеть Моганъ»,—сказалъ онъ. По обѣимъ стѣнамъ, ограничивающимъ спускъ съ боковъ, начертаны надписи на арабскомъ языкѣ. Самая дверь въ глубинѣ, повидимому, вела въ подземелье. И дѣйствительно, это подземное строеніе служило въ старые годы мечетью, въ которой собирались первые магометанскіе пришельцы въ городѣ.

По выходѣ съ базара, я попросилъ моего сарта показать мнѣ медресе, построенное на деньги, пожертвованныя императрицею Екатериной II, извѣстное подъ именемъ Эрназаръ. Какъ вообще высшія школы, такъ и эта тоже расположена противъ мечети. Двухъэтажное, но не очень большое зданіе Эрназара, выстроенное изъ жженого кирпича, отличается строгою

простотой архитектуры. Сводъ портала выведенъ рельефными узорами, напоминающими своимъ видомъ сталактиты, образуемые на сводахъ пещеръ. Четырехугольною стѣною обведенъ просторный дворъ, гдѣ по тремъ сторонамъ помѣщаются кельи для студентовъ.

Бъ сожалѣнію, мнѣ пришлось посѣщать Бухару въ лѣтнее вакаціонное время, и ни въ медресе, ни даже въ низшихъ народныхъ школахъ не происходило никакого ученія. Всѣхъ учебныхъ заведеній въ городѣ чрезвычайно много, такъ что если о просвѣщеніи страны судить по количеству школъ и медресе, то Бухару слѣдовало бы причислить къ самымъ образованнымъ городамъ на свѣтѣ. Но стѣить только ознакомиться нѣсколько съ программой преподаванія въ здѣшнихъ школахъ, и убѣдишься, что ученіе подобнаго рода скорѣе можетъ способствовать умственному отупленію, чѣмъ дѣйствительному развитію. Такъ, между прочимъ, въ начальныхъ школахъ безсознательно долбится Коранъ учениками, ничего въ немъ не понимающими, оттого уже, что онъ написанъ на чуждомъ для нихъ арабскомъ языкѣ. Вообще, ученіе ограничивается почти одними богословскими науками. За послѣдніе вѣка подѣ владычествомъ деспотическихъ узбековъ наступилъ полный застой умственнаго развитія и совершенное отсутствіе просвѣщенной интеллигенціи въ той самой Бухарѣ, гдѣ при аравитянахъ господствовала высокая ученость, гдѣ процвѣтали науки какъ математическія, такъ и физическія.

Ведичесвенныя мечети съ ихъ минаретами и медресе составляютъ, такъ сказать, казовую часть города. Но для того, чтобъ имѣть хоть какое-нибудь понятіе о томъ, какъ проживаютъ бухарцы день-деньской, необходимо побывать на ихъ базарахъ. Исключая женщинъ, дѣтей и людей, одержимыхъ недугомъ, почти никто не сидитъ днемъ дома; такъ что, толкаясь съ утра до вечера по дѣлу и, чаще всего, безъ всякаго дѣла по рынку и являясь домой только на ночь, бухарецъ рѣдко видитъ свою семью и почти не вѣдаетъ семейной жизни. Однако, по неторговымъ улицамъ встрѣчается вообще мало народу, и если случается увидать иногда сарта, ѣдущаго верхомъ на лошади или на ишагѣ, то смѣло можно идти за нимъ, съ тѣмъ, чтобы навѣрняка попасть на который-нибудь изъ базаровъ. Самый оживленный изъ нихъ, конечно, большой базаръ, куда я и направился однажды съ моимъ проводникомъ.

Мы прошли сначала по довольно пустымъ улицамъ, гдѣ у воротъ показывались только мальчики и дѣвочки. Одѣтыя въ пунцовыя рубашки, послѣднія, пользуясь до нѣкотораго возраста привилегіей не скрывать лица, щеголяютъ обыкновенно заплетенными назадъ черноволосыми косичками. Завидѣвъ насъ издали, болѣе смѣлыя изъ нихъ съ робкимъ любопытствомъ оглядывали мою личность, а другія проворно шмыгали въ ворота и пропадали изъ вида внутри двора. Вотъ мы вышли на улицу, по обѣ стороны которой тянулись лавки зеленщиковъ. Здѣсь начинается базаръ. Затѣмъ мы вступили въ проходъ, крытый сверху циновками и похожій скорѣе на галерею, чѣмъ на улицу. При быстромъ переходѣ отъ

яркаго свѣта наружи къ господствовавшему полумраку намъ показалось здѣсь темно. Но глаза скоро присмотрѣлись и тогда стало очень пріятно въ тѣнистыхъ рядахъ, гдѣ справа и слѣва тянулись одна вплотъ возлѣ другой лавки съ разными туземными и привозными товарами. Эти галереи можно бы, пожалуй, сравнить съ старыми московскими рядами въ Китай-городѣ, съ тою разницей, однако, что у насъ торговцы обыкновенно выкладываютъ свои предметы на прилавки, тогда какъ здѣсь прилавки встрѣчаются очень рѣдко, а продавцы сидятъ, по-восточному, на коврѣ, поджавъ ноги, и покупателю тоже приходится наклоняться книзу. Какъ въ нашихъ рядахъ, такъ и здѣсь, въ каждомъ изъ нихъ торгуютъ обыкновенно товарами одного извѣстнаго рода. Но въ Бухарѣ галереи извиваются такими изворотами и такъ переплетаются, что въ нихъ путаешься, какъ въ лабиринтъ, и новичку, зашедшему въ глубь базара, не скоро удастся выйти на просторъ изъ этой неугомонной сутолоки, тѣмъ еще болѣе, что мѣстами надо протискиваться въ густой толпѣ халатовъ, безъ перерыва шныряющихъ на встрѣчу другъ другу. Мало того, но тѣмъ же, и безъ того уже тѣснымъ, проходамъ преѣзжаютъ верхами всадники или тянется цѣлая вереница верблюдовъ, навьюченныхъ товарами, какъ будто нѣтъ другихъ улицъ для ихъ проѣзда. На одномъ изъ встрѣчныхъ верблюдовъ я увидѣлъ по обѣ стороны его горба даже двѣ койки, вродѣ дѣтскихъ кроватей; въ одной изъ нихъ сидѣлъ мужчина, а въ другой женщина съ ребенкомъ. А тамъ подвигается арба съ громадными колесами, отъ которыхъ приходится спасаться въ ближайшую лавочку.

Извольте разобрать тутъ разные типы національностей, которыми кишма-кишитъ Бухара. Находясь на перепутьи разноплеменныхъ азіатскихъ народовъ, городъ искони служилъ какъ бы сборнымъ для нихъ мѣстомъ, и осѣдавшіи тутъ въ разные эпохи крутыхъ историческихъ переворотовъ расы оставляли по себѣ неизгладимые слѣды. Не беремся, однако, по фізіономіямъ отличить потомковъ однихъ племенъ отъ другихъ, тѣмъ болѣе, что особи разныхъ расъ нерѣдко рождались другъ съ другомъ и потомство ихъ утрачивало, конечно, отличительныя черты чистой расы. Разобраться въ этой смѣси національностей можно развѣ еще по костюму, какой каждая изъ нихъ унаслѣдовала отъ предковъ.

Вотъ ѣдетъ, гордо бодбоченясь, на конѣ, въ халатѣ болѣе темнаго цвѣта, съ красною чалмой на головѣ, узбекъ. Суровое лицо съ темно-русой бородой монгольскаго типа изобличаетъ въ немъ потомка выходцевъ изъ Золотой орды, покорившихъ край за три столѣтія тому назадъ и составлявшихъ до послѣдняго времени господствующее здѣсь сословіе, такъ сказать, аристократію края, хотя въ ханствѣ собственно не существуетъ сословныхъ перегородокъ, подобныхъ нашимъ. Всадникъ съ высоты своей угрюмо оглядываетъ толпу, въ которой пробирается персіянинъ съ тубеткой на головѣ, въ довольно грязной одеждѣ, татаринъ въ кафтанѣ извѣстнаго покроя, степнякъ, — не то киргизъ, не то башкирецъ, — въ бѣлой войлочной, заостренной кверху, шляпѣ, вмѣстѣ съ женой, одѣтой въ платье

кирпичнаго цвѣта, обвѣщанной, для украшенія, монетами и смѣло выставлющей на-показъ всѣмъ свое смугластое лицо, тогда какъ жены бухарцевъ робко проходятъ между ними съ закрытыми лицами. Тутъ же изъ пустыни прѣхаютъ на верблюдахъ туркмены въ своей обвисшей надъ лбомъ бараньей папахѣ. А коренные жители, составляющіе главное торговое населеніе города, такъ называемые таджики, сидятъ обыкновенно въ пестрыхъ халатахъ, съ бѣлоснѣжными чалмами на головахъ, въ своихъ лавкахъ, повидимому, безстрастно поглядывая умными, добродушными глазами на шныряющую мимо нихъ толпу. Иранскаго происхожденія, эти таджики — потомки тѣхъ миролюбивыхъ выходцевъ изъ Персїи, которые искони водворились въ краѣ, внося въ него культурную жизнь. Говорятъ они поперсидски. Надо, впрочемъ, замѣтить, что таджиковъ здѣсь сплошь да рядомъ смѣшиваютъ съ сартами. Отъ здѣшнихъ русскихъ жителей мнѣ не приходилось даже слышать слово: таджикъ. Они всѣхъ безъ различія называютъ или сартами, или бухарцами. Первое названіе, сколько я могъ замѣтить, придается обыкновенно простолюдинамъ, а послѣднее — остальнымъ уроженцамъ Бухары вообще. Но ни то, ни другое изъ этихъ именъ не относится къ какой-либо особой расѣ: оно не составляетъ этнографическаго термина. Прислуга въ русскихъ домахъ часто состоитъ изъ такъ называемыхъ сартовъ.

Чуждые воинственныхъ побужденій, робкіе таджики въ теченіе вѣковъ то и дѣло были порабощаемы проникавшими въ край завоевателями. Но, благодаря умственному превосходству и промышленнымъ способностямъ, таджики во всѣ времена являлись главными представителями здѣшняго осыдаго культурнаго населенія.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по базару цѣлыми сплошными рядами тянутся лавки евреевъ, которыхъ всегда легко узнать не только по физиономїи, но также по обычнымъ пейзажамъ, выглядывающимъ изъ-подъ четырехугольныхъ шапочекъ, а, сверхъ того, и по тому еще, что, по предписанію здѣшней администраціи, темнаго цвѣта халаты ихъ подпоясываются, не иначе, какъ бичевкой. Евреи примиряются со всѣми подобными унижительными условіями ради успѣховъ торговли, въ которой они соперничаютъ съ таджиками. За то въ дѣлѣ ростовщичества они должны уступить пальму первенства индусамъ, которыхъ можно признать по красноватымъ трехугольнымъ отмѣтинамъ на лбу. Поджавъ ноги, эти мѣняла смиренно сидятъ на болѣе возвышенной отъ земли площадкѣ, гдѣ передъ ними груды разложена крупная и мелкая монета. Къ первой относится серебряная тянга, составляющая по курсу нашихъ 25 копѣекъ, а ко второй — такъ называемыя пуги, каковыхъ выдается мѣнялами 60 за одну тянгу. Сверхъ того, имѣется золотая монета: тилла = 21 тянгѣ.

Переплетающимися въ разныхъ неувловимыхъ направленіяхъ ходами дошли мы, наконецъ, почти до середины базара и одною изъ четырехъ арокъ вступили въ обширную ротонду подъ сводообразною крышей. Тутъ торговля шелковыми, шерстяными и бумажными издѣліями, какъ туземными,

такъ и привозными, производится уже на прилавкахъ, устроенныхъ при шкапахъ съ полками. Я не могъ не обратить вниманія на то, что здѣшніе торговцы не зазываютъ, подобно нашимъ рядскимъ купчикамъ, публику въ свои лавки. Сверхъ того, покупая здѣсь нѣкоторыя вещи, я на дѣлѣ могъ убѣдиться, что таджики вообще не слишкомъ заправиваютъ и мало уступаютъ съ заявленной ими сначала цѣны за товаръ. Когда же неподатливый покупатель отходитъ отъ ихъ лавки къ другой, то они и не покушаются отзывать его назадъ, какъ дѣлаютъ обыкновенно наши бойкіе прикащики Ножевой линіи. Вообще здѣсь торгъ и переторжка производится очень спокойно какъ со стороны продавца, такъ и покупателя.

Въ рядахъ, гдѣ торгуютъ мѣдными издѣліями, вродѣ узкогорлыхъ кувшиновъ, узорчатыхъ тазовъ и т. п., къ гулу толпы присоединяется еще стукъ молота по наковальнѣ и трескотня по отдѣлкѣ металлической посуды. Лавки здѣшнихъ ремесленниковъ служатъ для нихъ также мастерскими, гдѣ на виду у всѣхъ производится всякаго рода издѣлія: въ сапожномъ ряду точаютъ сапоги, тамъ строгаютъ доски для сундуковъ или топары вытачиваютъ изъ дерева ножки для кроватей, а въ одномъ мѣстѣ я замѣтилъ слѣдственнаго на прилавкѣ сарта, занятаго сборомъ лежавшихъ передъ нимъ черепковъ фарфоровой посуды. Для того, чтобы лучше видѣть его мастерство, я купилъ въ ряду фарфоровую чашку и, разбивъ ее тутъ же, передалъ черепки мастеру. Онъ тотчасъ же приставилъ ихъ, какъ слѣдуетъ, другъ къ другу, просверлялъ небольшимъ сверломъ по обѣ стороны трещины неглубокія впадины и, забивъ туда молоточкомъ мѣдные плоскіе штифтики, такъ искусно и плотно связалъ между собою осколки, что налитая въ чашку вода не просачивалась въ трещину.

Въ другомъ ряду по обѣ стороны расположились въ болѣе обширныхъ помѣщеніяхъ чайныя. Собравшіяся тутъ компаніи бухарцевъ, сидя на коврахъ, распивали любимый напитокъ, подливая кипяткомъ изъ стоявшаго при нихъ большого тульского самовара. Затѣмъ пошелъ рядъ хлѣбопеконъ, приготовлявшихъ тутъ же свои обычные чурки и лепешки. Въ томъ же ряду мастера кулинарнаго искусства выставляли на прилавки горячія снѣди изъ баранины и риса. Тутъ мой проводникъ остановился передъ прилавкомъ, на которомъ стояли котлообразная посуда съ молоткомъ и большія чашки съ яблоками и кусками льду. Хозяинъ большою ложкой зачерпнулъ молока и, наполнивъ имъ чашки, подалъ намъ. Напитокъ оказался не только прохладнымъ, но весьма пріятнаго, нѣсколько кислватаго вкуса. Стоитъ такая чашка, вмѣщающая въ себѣ стакана два молока, всего одну пулю, что составляетъ около одной трети нашей копѣйки.

По дорогѣ мы заходили также въ здѣшніе каравансарай, служащіе складами для товаровъ. Довольно просторный дворъ такого обширнаго кирпичнаго двухъ-яруснаго зданія окруженъ на второмъ этажѣ со всѣхъ сторонъ галлереей, гдѣ находятся конторы торговыхъ фирмъ. Поднявшись туда по каменной лѣстницѣ, мы посѣтили, между прочимъ, контору Кудрина, гдѣ застали русскихъ прикащиковъ, занятыхъ приготовленіемъ накладныхъ для отправки хлопка въ Россію.

Возвращаясь съ этой продолжительной прогулки, мы по пути встрѣтили верхомъ на ишагѣ, одѣтаго въ суконный кафтанъ, всадника. «Что это?»—спросилъ я съ удивленіемъ моего сарта.—«Это здѣшній солдатъ,—сказалъ проводникъ.—Онъ, какъ видно, ѣдетъ теперь къ крѣпостнымъ воротамъ, на сѣбѣ караула». Здѣшніе пѣхотинцы, какъ оказывается, вслѣдствіе избѣгаютъ ходить пѣшкомъ и предпочитаютъ ѣздить хоть на ослакахъ къ мѣсту службы. Туземные жители вообще неохотники до пѣшаго хожденія, и у кого нѣтъ своего коня, тотъ пользуется первымъ удобнымъ случаемъ, чтобы примоститься на лошадь къ своему пріятелю.

Для того, чтобы не возвращаться опять къ Бухарѣ и избѣгать повтореній, расскажу здѣсь же о нашей аудіенціи у эмира, хотя она совершилась гораздо позже. Когда открылось движеніе по желѣзной дорогѣ до Самарканды, то помощникъ завѣдующаго постройкой ея, князь Хилковъ, счелъ долгомъ представиться бухарскому владѣтелю. Ѣхать для этого одному значило бы не соблюдать требованія восточнаго этикета; поэтому князя сопровождали двое изъ служащихъ при управленіи, къ которымъ присоединился и я въ качествѣ любознательнаго путешественника. Въ посольскомъ дворѣ, гдѣ собрались мы, подали старомодную коляску, вывезенную, какъ надо полагать, очень давно изъ Россіи. Однако, на козлахъ экипажа никто не возсѣдалъ для управленія четверкой, запряженной цугомъ въ обыкновенную русскую сбрую. Взамѣнъ кучера на каждой изъ четырехъ лошадей сидѣло по чалмоносному бухарцу. Въ такомъ видѣ, въ сопровожденіи, сверхъ того, конвоя, состоявшаго изъ козаковъ и еще нѣсколькихъ бухарцевъ верхами, мы выѣхали изъ города по дорогѣ къ лѣтнему дворцу, гдѣ въ то время находился эмиръ. Не доѣзжая около версты до его резиденціи, мы, какъ бы въ знакъ уваженія къ особѣ державца, покинули экипажъ и пересѣли на стоявшихъ здѣсь осѣдланыхъ лошадей. У воротъ дворца насъ встрѣтили два церемоніймейстера въ парчевыхъ халатахъ, вооруженные каждый позолоченнымъ жезломъ. Мы слѣзли съ лошадей и послѣдовали за ними къ обширной террасѣ, гдѣ ожидалъ насъ эмиръ Сандъ-Ахадъ-ханъ. Смуглолицый, съ темно-русою бородой, онъ сидѣлъ въ атласномъ полосатомъ халатѣ на креслѣ, передъ которымъ для насъ были поставлены въ рядъ четыре стула. По приглашенію эмира, мы сѣли. У его кресла сталъ вошедшій съ нами переводчикъ. Князь сказалъ, что онъ счелъ долгомъ явиться, съ тѣмъ, чтобы предложить свои услуги, на случай эмиру угодно будетъ совершить поѣздку по ново-открытой дорогѣ. Потомъ онъ представилъ насъ поочередно державцу, и послѣ разбѣна обычныхъ любезностей съ той и другой стороны, мы, откланявшись, вышли въ сопровожденіи переводчика въ другое отдѣленіе дворца. Тамъ приготовили для насъ достарханъ. Длинный столъ весь уставленъ былъ всякаго рода яствами и лакомствами, и даже возлѣ на полу грудой лежали ящики съ конфетами и нѣсколько головъ сахару. Закусывая и прихлебывая чай, мы бесѣдовали съ переводчикомъ. Удивляясь тому, что онъ въ такомъ совершенствѣ владѣетъ русскимъ языкомъ, я спросилъ, гдѣ онъ обучался. Въ

отвѣтъ я узналъ, что въ Ташкентѣ находится хорошая школа, подготовляющая переводчиковъ изъ туземцевъ. Затѣмъ, услышавъ, что я недавно совершилъ путешествіе вокругъ свѣта, онъ разсказалъ: «У насъ былъ мулла, который 30 лѣтъ обучался, 30 лѣтъ училъ другихъ и 30 лѣтъ путешествовалъ. Возвратившись на родину, мулла заявилъ: «Если бы я зналъ впередъ, какъ полезны и поучительны путешествія для человѣка, то я путешествовалъ бы весь свой вѣкъ». Послѣ этого лестнаго отзыва въ восточномъ вкусѣ по поводу путешествій, появились присланные отъ эмира съ подарками. Всѣмъ намъ поднесли по большому узлу, съ шестью халатами разныхъ видовъ и достоинствъ. Затѣмъ насъ пригласили на балконъ, и къ нему для каждаго изъ насъ подвели по лошади, покрытой узорчатымъ валтрапомъ и съ уздечкою, украшенною бирюзой. Отблагодаривъ за подарки, мы сѣли на коней и прежнимъ порядкомъ пустились въ обратный путь.

Какъ черезъ-чуръ обильный достарханъ, такъ и подарки служатъ знакомъ особеннаго благоволенія эмира къ русскимъ пришельцамъ вообще. Надо надѣяться, впрочемъ, что подобныя остатки стародавняго обычая отиѣнятся современемъ такъ же, какъ, между прочимъ, отиѣнился существовавшій прежде обычай являться передъ эмиромъ не иначе, какъ накинувъ на плечи дарованный имъ халатъ, оттого что считалось непристойнымъ представляться бухарскому державцу въ иномъ костюмѣ. Подобную реформу въ придворномъ этикетѣ не трудно будетъ провести при томъ сильномъ вліяніи, какимъ пользуются представители русской власти при здѣшнемъ дворѣ.

Въ настоящее время Бухара состоитъ, какъ уже извѣстно, въ вассальномъ отношеніи къ Россіи. Притомъ, русскія владѣнія охватили это ханство со всѣхъ сторонъ такъ, что бухарцы навсегда лишены возможности безнаказанно возставать противъ русской власти. Мало того, всякое враждебное покушеніе со стороны эмира и его подданныхъ можетъ повести къ окончательной гибели его столицы. И дѣйствительно, бухарскій оазисъ одоженъ своимъ плодородіемъ главнѣйше водами того Зерафшана, верховья котораго находятся въ русскихъ владѣніяхъ, орошая тамъ, между прочимъ, долину подъ Самаркандомъ. Если Бухара покусится на враждебныя дѣйствія противъ Россіи, то наша мѣстная администрація, завѣдующая ирригаціей въ долинѣ Зерафшана, можетъ отвести воду въ каналахъ, такъ что оазисъ лишится надлежащаго орошенія и столица его предоставлена будетъ на произволъ напирающихъ на нее песковъ. Туземцы очень хорошо сознаютъ эту постоянную грозящую имъ опасность. Такимъ образомъ, Россія господствуетъ надъ ханствомъ, не только опираясь на договоръ и свое оружіе, но также вслѣдствіе болѣе могучихъ стихійныхъ силъ, которыми она распоряжается, обладая верхнимъ теченіемъ Зерафшана. Она, можно сказать, во всѣхъ отношеніяхъ прочно закрѣпила за собою владѣнія въ областяхъ Средней Азіи, такъ часто подвергавшихся до послѣдняго времени крайне пагубнымъ для всей страны переворотамъ.

Эд. Циммерманъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Успѣхи воспитанія во Франціи.

(Pierre de Coubertin: «L'éducation anglaise en France». 1889).

Съ паденіемъ третьей имперіи, народное образованіе во Франціи пошло быстрыми и, въ общемъ, правильными шагами. Учебныя программы подверглись тщательному пересмотру и сокращенію. Классическая и всякая другая сушь хотя и не изгнаны, къ сожалѣнію, окончательно, но потеряли значительный уронъ. На первый планъ выдвинуты заботы объ умственной самодѣятельности, о должномъ развитіи характера и необходимыхъ для того и другаго физическихъ силъ ребенка.

Бнига, заглавіе которой приведено выше, заключаетъ въ себѣ не мало и для насъ поучительныхъ данныхъ. Извѣстный академикъ-республиканецъ, Жюль Симонъ, написалъ къ ней небольшое предисловіе. Жюль Симонъ самъ много занимался педагогическими вопросами, и его мнѣніе поэтому имѣетъ особую цѣну. Онъ настойчиво указываетъ на тотъ страшный вредъ, который произведенъ въ современной школѣ пренебреженіемъ къ физическому воспитанію. Французская буржуазія, занимающая нынѣ господствующее положеніе въ странѣ, забыла, что здравый умъ живетъ только въ здоровомъ тѣлѣ, что погоня за дипломами и насыщеніе головы различными бесполезными хитросплетеніями и ветхими воспоминаніями не создадутъ изъ молодого поколѣнія энергическихъ людей, достойныхъ общественныхъ дѣятелей.

Замѣчательно, что сильный толчокъ въ дѣлѣ правильной постановки во Франціи физическаго воспитанія данъ частною инициативой. Кубертенъ, безъ поддержки на первыхъ порахъ со стороны правительства, съ очень ограниченными средствами, задумалъ произвести переворотъ въ этомъ отношеніи. Живое участіе въ предпріятіи приняли Жюль Симонъ и генераль Томассенъ.

«И давно пора, — замѣчаетъ знаменитый академикъ, — приступить къ этому дѣлу. У дѣтей совсѣмъ исчезали мускулы, въ ихъ головы помѣщали цѣлые магавины, вмѣсто того, чтобы развивать умъ, какъ орудіе самостоятельной, общественной работы».

Правительство республики озабочено вопросомъ о преобразованіи учебныхъ заведеній въ соотвѣтствіи съ требованіями гигіены и здраваго смысла. Нынѣшній министръ иностранныхъ дѣлъ Французской республики, Спю-

леръ, будучи министромъ народнаго просвѣщенія, назначилъ комиссію, которая должна выработать программу, какъ устранить изъ школы переутомленіе (*le surmenage*). Но практика уже опережаетъ законодательство. Генераль Томассенъ имѣлъ полное основаніе сказать Жюлю Симону по окончаніи одного изъ организованныхъ Кубертеномъ физическихъ упражненій: «*C'est de la force morale que nous allons faire!*» *).

«Надо,—говоритъ Кубертень,—чтобы наши дѣти играли, а теперь они не умѣютъ играть». Какъ это ни звучитъ парадоксомъ, мысль Кубертена вполне вѣрна. Это понялъ Годаръ, директоръ основанной въ 1869 году *Школы Мюжса*. Она имѣетъ теперь уже 850 учениковъ. Воскресенье, какъ и вездѣ, въ этой школѣ день отдыха. Четвергъ отведенъ для большаго прогулокъ. Вторникъ и пятница назначены для значительныхъ физическихъ упражненій, которыя занимаютъ меньшее мѣсто въ остальные дни. Воспитанники отправляются въ Булонскій лѣсъ, гдѣ начинается гребная гонка, ѣзда на велосипедахъ, крокетъ, верховая ѣзда и т. п. Само собою разумѣется, что при всѣхъ подобныхъ упражненіяхъ имѣется въ виду не чрезвычайное развитіе физической силы, а укрѣпленіе здоровья, установленіе равновѣсія душевныхъ и тѣлесныхъ силъ. Кубертень горячо и съ полнымъ основаніемъ возстаетъ противъ того нелѣпаго, но общераспространеннаго и упорнаго взгляда, по которому ребенокъ является какимъ-то безличнымъ номеромъ въ школьной системѣ. Отъ ребенка устраняютъ всякій починъ, всякую самостоятельную отвѣтственность. Кубертень, естественно, преувеличивая значеніе любимаго дѣла, увѣренъ, что свободныя физическія упражненія, гдѣ каждый перемѣщается и группируется, какъ ему кажется удобнѣе и лучше, могутъ устранить всѣ указанные недостатки и положить вѣрнкую основу правильнаго воспитанія. Наставляя на томъ, что *Школа Мюжса* вводитъ во Францію *англійское* воспитаніе, Кубертень приводитъ, какъ доказательство полной основательности своихъ предположеній, то чрезвычайно важное обстоятельство, что въ англійскихъ учебныхъ заведеніяхъ воспитываются, дѣйствительно, свободные граждане. Въ собраніяхъ молодыхъ людей непринужденно рассматриваются и добросовѣстно изучаются жгучіе политическіе вопросы. Самоуправленію въ Англійи обучаются еще въ школьныхъ играхъ, занятіяхъ и бесѣдахъ, и потому-то такъ вѣрно и благотворно развилось британское самоуправленіе и твердое чувство законности.

Нѣкоторыя школы во Франціи выступили уже на тотъ путь, по которому идетъ *Школа Мюжса*. Добрый примѣръ Годара и Кубертена находятъ все большее и большее число подражателей, и, если дѣло пойдетъ съ такою же быстротою въ ближайшіе годы, французская молодежь сравняется съ англійскою, причемъ всѣ шансы за то, что во Франціи избѣгнуть нѣкоторыхъ крайностей и архаическихъ особенностей англійскаго воспитанія.

Кубертень выражаетъ твердую увѣренность, что разумное воспитаніе, которое поставитъ своею цѣлью самостоятельное развитіе ума и характера

*) Это нравственную силу создаемъ мы!

въ учащейся молодежи, поведеть къ исторенію великаго зла: колебаній и мучительныхъ тревогъ при избраніи, по окончаніи школьнаго образованія, такъ называемой карьеры. Французскій педагогъ отмѣчаетъ, какъ болезненный признакъ нашего времени, стремленіе поскорѣе пристроиться въ какую-нибудь *сладкую забку авторитета*, то-есть на административно-казенное мѣстечко. Погоня за такими и подобными мѣстами составляетъ болѣзнь, которую Маневріе *) называетъ атрофіей воли. Рука *авторитета* чрезмерно тяготѣетъ въ школѣ надъ французскими дѣтьми, которыя, достигнувъ возраста, когда должна начаться сознательная и самостоятельная жизнь, охотно ищутъ пріюта подъ крылышкомъ новаго авторитета, освобождающаго отъ мужественной борьбы и нравственной энергіи. Педагогическая система, однимъ изъ представителей которой является Кюбертенъ, дѣйствительно, можетъ значительно ослабить, если не уничтожить совершенно, основныя причины этого зла. Слѣдуетъ замѣтить, что авторъ книжки, о которой идетъ рѣчь, выступаетъ врагомъ школьныхъ батальоновъ и тому подобныхъ затѣй милитаризма.

Во Франціи возникло и другое общество съ такими же цѣлями, какъ и находящееся подъ предсѣдательствомъ Жюля Симона **). Это второе общество имѣетъ во главѣ Бертелло, знаменитаго ученаго, бывшаго министра, и Влемансо. Называется оно *Национальною школою физическаго воспитанія*. Такимъ образомъ, здравыя педагогическія идеи близятся къ осуществленію. Многое изъ того, что теперь признается очевидною истиной, столѣтъ тому назадъ, въ эпоху революціи, вызывало или восторженное удивленіе, или ожесточенное осужденіе. Поучительно вспомнить, какія мысли предлагались тогда для преобразованія обветшалаго феодально-бюрократическаго строя. Знаменитый Мирабо требовалъ свободы для образованія. Въ хорошо организованномъ обществѣ, — писалъ онъ, — преподаваніе должно быть предоставлено самимъ наставникамъ и ученикамъ, законодатель обязанъ заботиться только о томъ, чтобы покровительствовать успѣхамъ воспитанія. Только въ виду особенныхъ и затруднительныхъ обстоятельствъ переживавшейся тогда эпохи, Мирабо считаетъ необходимымъ государственный планъ школьнаго устройства, въ интересахъ именно огражденія полной свободы въ этомъ великомъ дѣлѣ. Мирабо полагалъ, доводя до крайности принципъ личной свободы и придавая ему неправильное истолкованіе, что общество не имѣетъ права предписывать обученіе, какъ обязанность, и не должно создавать бесплатнаго обученія. Въ то же время, Мирабо предполагалъ передать завѣдываніе учебными заведеніями выборнымъ представителямъ провинціальныхъ округовъ и департаментовъ. Женское образованіе Мирабо считалъ дѣломъ почти излишнимъ ***).

Больше значенія имѣетъ тщательно обработанный проектъ Талеярана,

*) *Maneuviere*: „L'éducation de la bourgeoisie sous la République“.

***) Это общество называется: *Comité pour la propagation des exercices physiques dans l'éducation*.

***) А. Duruy: „L'instruction publique et la révolution“, 67—78.

внесенный имъ въ учредительное собраніе. Талейранъ выставляетъ слѣдующія основныя положенія: образованіе должно существовать для всѣхъ, оно должно быть свободно и быть общимъ по составу, дѣти обоюго пола имѣютъ право на равное образованіе. Образовательныя учрежденія слѣдуютъ открывать и для взрослыхъ. Талейранъ ставитъ во главу угла въ учебной системѣ основательное знакомство съ государственнымъ устройствомъ родины и съ принципами морали, изъ которыхъ вытекаютъ законодательныя постановленія. Принимая во вниманіе, что образованіе является источникомъ новыхъ силъ для отдѣльнаго лица и для всего общества, школа обязана развивать равностороннія умственныя, нравственныя и физическія силы своихъ воспитанниковъ. Начальное обученіе Талейранъ предполагалъ бесплатнымъ. Необходимость этой бесплатности онъ доказывалъ такимъ образомъ: общество не можетъ дѣлать всего, все опредѣлять, за все платить, но на немъ должны лежать издержки: 1) по защитѣ и управленію общества; 2) по осуществленію тѣхъ цѣлей, которыя составляютъ смыслъ общежитія. Общество должно создавать блага для своихъ сочленовъ, а въ числѣ этихъ благъ одно изъ первыхъ мѣстъ занимаетъ образованіе. Невозможно, однако, требовать, чтобы общество давало каждому и низшее, и среднее, и высшее, и общее, и специальное обученіе. Оно можетъ и обязано обезпечить всякому ребенку, будущему гражданину, ту долю образованія, которая необходима всѣмъ, т.-е. начальное образованіе.

Дюрюи, несочувственно относящійся ко многимъ идеямъ XVIII вѣка, признаетъ, однако, что нѣкоторыя мысли Талейрана (въ нихъ отражалось, разумѣется, вѣяніе эпохи) были въ свое время благотворною новизной.

Проектъ отенскаго епископа не получилъ осуществленія, и въ законодательное собраніе былъ внесенъ новый проектъ, написанный однимъ изъ благороднѣйшихъ и даровитѣйшихъ людей тѣхъ годовъ, богатыхъ талантами;—Кондорсе. Объ идеяхъ этого мыслителя Дюрюи выражается въ слѣдующихъ словахъ: «Тутъ мы выходимъ изъ дѣйствительнаго и возможнаго, мы вступаемъ въ область чистой химеры, поднимаемся на такія высоты, которыхъ можетъ достигнуть только идеологія». Такъ ли это? Точно ли несбыточны педагогическія требованія Кондорсе?

Образованіе, —говоритъ Кондорсе, —должно быть всеобщимъ, охватывать всѣ отрасли знанія, обезпечивать людямъ возможность сохранять полученные знанія и пріобрѣтать новыя. Кондорсе стоитъ за бесплатность всѣхъ ступеней образованія. Химера ли это? Не видимъ ли мы, какъ всѣ цивилизованныя государства стремятся обезпечить народу именно всеобщее и даровое начальное образованіе? Иначе, на первый взглядъ, обстоитъ дѣло съ среднимъ, высшимъ и специальнымъ образованіемъ, но только на первый взглядъ. Многочисленныя казенныя, общественныя и частныя стипендіи, пособія и т. п. являются необходимою демократическою поправкой дѣйствующей системы народнаго образованія.

Творческая сила идей сказалась въ той организаціи новыхъ учебныхъ заведеній, которыя созданы революціей. Крайнія увлеченія сглаживались,

матра отъемы законопроектъ, переполненные часто великодушными мечтаниями или довольно живыми взглядами на человѣческую природу, подвергались законодательному обсужденію въ палатахъ народныхъ представителей. Достаточно указать на учрежденіе *Нормальной школы* и *Политехнической школы*. Дюрюи, вражду котораго къ идеологии мыслителей XVIII вѣка мы отмѣтили, сознается, что составъ учителей въ начальныхъ училищахъ стараго режима былъ очень плохъ (да и весьма малочисленъ). Комитетъ общественный безопасности обратилъ вниманіе на это печальное обстоятельство и внесъ въ Конвентъ предложеніе основать учебныя заведенія для подготовки учителей. *Нормальная школа*, послѣ нѣкоторыхъ колебаній въ ея устройствѣ, принесла Франціи незамѣнимыя услуги. Что касается *Политехнической школы*, не имѣвшей ничего подобнаго въ старомъ режимѣ, то ея значеніе общезвѣстно. Оно далеко перешло границы Франціи. *Политехническая школа* дала толчокъ специальному образованію во всей Европѣ и послужила образцомъ для учебныхъ заведеній во многихъ странахъ. Не будемъ перечислять другихъ учреждений для народнаго образованія, созданныхъ революціей, и упомянемъ только о *Школѣ восточныхъ языковъ*, занимающей одно изъ самыхъ выдающихся мѣстъ въ числѣ подобныхъ учебныхъ заведеній цѣлаго міра.

Современная Франція, тяжелою цѣной несчастной войны освободившаяся отъ наполеоновскаго режима, съ почти лихорадочною поспѣшностью, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и съ необычайною выдержанною энергіей приступила къ созданію системы народнаго образованія на широкихъ и правильныхъ основаніяхъ. Многое изъ того, что сто лѣтъ тому назадъ было мечтаниями идеологовъ, что въ недавнее еще время считалось великодушною, но несбыточною химерой, стало теперь во Франціи общепризнанною истиной и совершившимся фактомъ. Величественный успѣхъ парижской всемірной выставки нынѣшняго года является неострашимымъ доказательствомъ поразительныхъ успѣховъ, достигнутыхъ трудомъ и гениемъ французскаго народа. Президентъ Французской республики имѣлъ полное основаніе, отрывая выставку, произнести слѣдующія слова: «Мы собрались сюда, чтобы полюбоваться на дѣло рукъ работниковъ всего міра, доставившихъ произведенія своего труда и изобрѣтательности. Мы собрались сюда, чтобы дружески подать руку всѣмъ, кто стали нашими сотрудниками въ дѣлѣ мира и согласія, участвовать въ которомъ мы пригласили всѣ націи. Мы собрались сюда, чтобы привѣтствовать посѣтителей, которые, не обращая вниманія на разстояніе, ѣдутъ къ намъ, чтобы участвовать въ нашихъ празднествахъ. Они встрѣтятъ у насъ гостепримство, увидятъ, насколько мы осчастливлены ихъ посѣщеніемъ, поймутъ всю неосновательность всевозможныхъ клеветъ, вводимыхъ на насъ ослѣпленною неосновательностью» *).

К. Н.

*) *Московскія Вѣдомости*, № 116.

Очеркъ исторіи русскаго театра до 1812 г.

Въ былые годы театр въ московской жизни игралъ огромную роль. Достаточно припомнить слова Бѣлинскаго: «Любите ли вы театръ такъ, какъ я люблю его, т.-е. всѣми силами души вашей, со всѣмъ энтузіазмомъ, со всѣмъ изступленіемъ, къ которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлѣній изящнаго, или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свѣтѣ, кромѣ блага и истины? И, въ самомъ дѣлѣ, не сосредоточиваются ли въ немъ всѣ чары, всѣ обаянія, всѣ оболоченія изящныхъ искусствъ? Не есть ли онъ исключительно самовластный властелинъ нашихъ чувствъ, готовый во всякое время и при всякихъ обстоятельствахъ возбуждать и волновать ихъ, какъ вздымаетъ ураганъ песчанья метели въ безбрежныхъ степяхъ Аравіи?» (ч. I, стр. 96). И дѣйствительно, въ обществѣ, куда еще не успѣло проникнуть образованіе, гдѣ не привыкли читать и мало интересуются печатью, театръ представляется единственною школою, гдѣ масса публики знакомится съ классическими произведеніями иностранныхъ литературъ, гдѣ образуется ея эстетическій вкусъ, гдѣ наглядно воспринимаются потребности и интересы шной, болѣе возвышенной среды. Мы видимъ, что въ XVIII столѣтіи въ количественномъ отношеніи театральная литература у насъ имѣла огромное преобладаніе. Академія наукъ въ 1786—1794 годахъ издала *Россійскій театр или полное собраніе всѣхъ россійскихъ театральныхъ сочиненій*, въ 43 томахъ. Собраніе это не заключаетъ въ себѣ всѣхъ игранныхъ пьесъ, такъ какъ многія напечатанныя въ него не вошли, а многія и вовсе не были напечатаны. Каждый изъ извѣстныхъ нашихъ писателей, болѣе или менѣе удачно, въ томъ или другомъ родѣ, пробовалъ свои силы на театральномъ поприщѣ; масса переводовъ стала появляться съ самаго начала. Вся театральная литература была или чисто-переводная, или подражательная; это понятно, ибо другаго и быть не могло. Современный критикъ (Дашковъ) въ *С.-Петербургскомъ Вѣстникѣ* говоритъ по этому поводу: «Стихотворцы наши брали изъ Расина и Вольтера цѣлыя явленія, цѣлыя роли и удачнымъ переосеніемъ чужихъ красотъ на русскій языкъ обогащали оный. Однако же, нужно признаться, что у насъ очень мало хоро-

ших трагедій, и что *самая склонность* молодых наших писателей къ театру вредитъ его успѣхамъ. Корнель и Расинъ не спѣша принимались за трагедіи, сперва выучились основательно своему языку и затвердили всѣ правила драматическаго искусства; они дѣйствовали болѣе воображеніемъ, нежели памятью, и не хватали по нѣскольку стиховъ изъ разныхъ писателей; наконецъ, прекрасную трагедію перевести хорошо почти такъ же трудно, какъ и сочинить самому». Тѣмъ не менѣе, въ культурномъ отношеніи, въ высшей степени интересно подробно и обстоятельно прослѣдить, что давалъ театръ современной публикѣ. Къ сожалѣнію, этотъ вопросъ пока еще мало разработанъ.

Вообще говоря, потребность воспроизведенія людскихъ отношеній между собою и къ окружающей природѣ, — потребность представленій, зрѣлищъ, театра, — есть психо-физиологическая потребность во всемъ человѣчествѣ: стоитъ только припомнить различныя проявленія этой потребности у дикихъ народовъ, стоящихъ на самой низшей ступени развитія, и дѣтскія игры, какъ скоро способность наблюдательности настолько усовершенствовалась, что даетъ дѣтямъ достаточный матеріалъ для осмысленной забавы. Потребность эта, выражавшаяся у всѣхъ народовъ различными обрядами, при чествованіи особенно поразившихъ воображеніе явленій природы и исполненія самыхъ торжественныхъ случаевъ обыденной жизни, какъ бракъ, погребеніе, пора возмужалости и т. п., получила широкое значеніе въ жизни славянскаго племени, одареннаго отъ природы живою фантазіей и сильною воспримчивостью. При этомъ, по замѣчанію профессора Веселовскаго, въ самомъ характерѣ славянина какъ бы лежитъ предрасположеніе къ драмѣ: онъ всюду любитъ придавать драматическую форму своему разговору, пѣснѣ и т. д.; чешскія духовныя пѣсни имѣютъ доселѣ драматическій отбѣнокъ, и по сю пору въ русской раскольничьей литературѣ отчасти сказывается подобное же стремленіе; не говоримъ уже о южныхъ славянахъ, живая, огненная природа коихъ, согрѣтая благодатью южнаго климата, развила и въ пѣснѣ, и въ разговорѣ живое, взволнованное и почти драматическое движеніе (*Старинный театръ*, стр. 213). Проникшая весь бытъ племени въ періодъ поэтическаго и свободнаго строя первобытной культуры и получившая религіозную окраску въ языческомъ вѣрованіи, — эта, исполненная драматизма, обрядность постоянно и усиленно подавлялась распространеніемъ христіанства, усиленіемъ борьбы экономической и политической, неразлучной съ окончателъною осѣдлостью народа и чужеземнымъ вліяніемъ, въ той или другой формѣ отразившимся у различныхъ племенъ. Чѣмъ дальше мы удаляемся отъ современности, тѣмъ переживаніе этой старинной обрядности рельефнѣе и живѣе въ народномъ сознаніи; но передъ напоромъ противныхъ ему вліяній оно все болѣе и болѣе отступаетъ въ самыя отдаленныя захолустья и въ низшіе слои населенія, гдѣ эти противныя вліянія сказываются всего слабѣе. Въ настоящее время слѣды этой обрядности сохранились у славянъ только въ свадебныхъ обрядахъ, нѣкоторыхъ праздникахъ, сохранившихся отъ временъ язычества, и въ народ-

ныхъ играхъ, представляющихъ много общаго у различныхъ славянскихъ народностей. Въ сочиненіи профессора Веселовскаго (*Старинный театр въ Европѣ*) собраны современные остатки этого переживанія у славянскихъ народовъ и указано присутствіе въ нихъ драматическаго элемента, какъ первоначальнаго зародыша для развитія народнаго театра, народной драмы и комедии. Отъ этого переживанія особенно смѣльно и повсемѣстно сохранился въ Россіи обычай перереживанія во время Рождества и Масляницы, соединенный съ импровизированнымъ представленіемъ различныхъ бытовыхъ или историческихъ сценъ. Нѣтъ русскаго города или русской деревни, гдѣ бы ряженые не ходили изъ дома въ домъ во время этихъ праздниковъ. Эти старинныя народные маскарады были первымъ проявленіемъ народнаго театра и, поэтому, въ то время, когда жизнь пересоздавалась по европейскому образцу, Петръ Великій преимущественно остановился на маскарадахъ, какъ на увеселеніи болѣе знакомомъ и близкомъ къ стариннымъ нашимъ нравамъ. По той же причинѣ на первыхъ порахъ собственно театральное представленіе и публичный маскарадъ у насъ существовали нераздѣльно, такъ что театральные маскарады у насъ появились издавна, какъ мѣстный обычай. Когда представленіе итальянскихъ оперъ въ Москвѣ у Локателли не привилось и театръ остался пустымъ, — Локателли обратились къ театральнымъ маскарадамъ и нѣкоторое время этимъ привлекалъ къ себѣ публику. При этомъ замѣчательно, что уже впоследствии, когда раздѣленіе сословій рѣзко обозначилось, между прочимъ, и въ культурномъ отношеніи, обрядное переживаніе и тогда напоминало имъ старинное объединеніе. Во всякой помѣщичьей усадьбѣ на Рождествѣ и Масляницѣ ряженые дворовые являлись къ господамъ, давали свои народныя представленія и получали угощеніе; толпы семинаристовъ, мастеровыхъ и солдатъ въ городахъ бродили изъ дома въ домъ и принимались въ самыхъ лучшихъ домахъ. Я еще помню живо изъ времени моего дѣтства этотъ обычай въ Костромской губерніи. Обыкновенно предметомъ этихъ представленій были неизбѣжный Михайло Ивановичъ (медвѣдь съ ковою) или разныя бытовые сцены, гдѣ обыкновенно однимъ изъ дѣйствующихъ лицъ являлся цыганъ, или историческія преданія, причѣмъ разыгрывалась сцена плаванія по Волгѣ разбойничьей шайки, пристававшей для грабежа къ богатому селу. Само собою разумѣется, что эти домашніе театры и маскарады имѣли несравненно болѣе значенія въ старинную эпоху и составляли любимую и непремѣнную забаву въ боярскихъ домахъ, наполненныхъ многочисленною и разнообразною дворней, во главѣ которой стояли барскіе люди и барыни изъ небогатыхъ дворянъ, участвовавшіе въ господскихъ увеселеніяхъ, и нарочно для этой цѣли содержавшіеся шуты и скоморохи. Забавы эти, безъ сомнѣнія, проникали и въ царскіе чертоги. Въ *Хроникѣ русскаго театра* Носова есть очень правдоподобное извѣстіе, что на Святкахъ во дворцѣ Бориса Годунова представляли Шамана въ Сибири, Кота въ сарафанѣ и Михайлу Ивановича (медвѣдя). Тамъ же передается, что еще до появленія нѣмецкаго театра, послѣ бракосочетанія царя Алексѣя Михайло-

вича съ Натальей Вирлимовной Нарышкиной, бояре и боярыни, желая потѣшить новобрачныхъ, сговорились разыграть въ царской потѣшной палатѣ комедію, самими ими сочиненную, изъ сказокъ въ разговорахъ съ пѣснями и плясками; которые имъ рассказывали дѣдушки и бабушки, потѣшая ихъ въ ребячествѣ. Приведены и заглавія этихъ доморощенныхъ боярскихъ представлений: Яга-Баба, Туръ, праздникъ Услада. Въ томъ же году знаменитые московскіе бояре—Милославскій, Матвѣевъ, Долгорукий, Шереметевъ и др.—завели свои домашніе театры, на конхъ въ торжественные и праздничные дни сами разыгрывали комедіи, сказки, а иногда и ихъ барскіе люди и барскія барыни. У бояръ приводятся тамъ же названія народныхъ игръ: у Матвѣева—Колѣда, у Долгорукаго—Горе-Богатырь. Эти боярскія представленія продолжались и при Петрѣ: такъ, въ 1689 г., на третій день свадьбы царя Петра съ Евдокіей Феодоровной Лопухиной, на Потѣшномъ дворѣ боярами и боярынями представлено *Илья Муромскій богатырь* и *Соловей-разбойникъ*. Достоверность этихъ извѣстій Носова, заподозрѣнная г. Веселовскимъ, восстанавливается издателемъ *Хроникъ* Барсовымъ съ полною основательностью. Дѣйствительно, во времена Алексѣя Михайловича, когда знакомство вѣснаго боярства съ европейскими и, преимущественно, польскими обычаями совершенно уже измѣнило прежнюю простую и тихую жизнь, старинныя потѣхи могли и должны были принять болѣе грандіозные и шумные размѣры. Въ этомъ смыслѣ московскимъ боярамъ и боярынямъ легко могло придти на мысль потѣшить царя тѣми нехитрыми представленіями, которые каждый изъ нихъ съизмалѣтства видѣлъ у себя въ домѣ. А какъ скоро такія представленія понравились при дворѣ, они сейчасъ же вошли въ моду,—знатные бояре заставляли своихъ барскихъ людей и барынь разыгрывать передъ ними то, что сами они изображали передъ царемъ въ его покаяхъ. Это повтореніе царскихъ театральныхъ забавъ богатымъ дворянствомъ и впоследствии составляло характеристическую черту исторіи русскаго театра. Всѣ эти народныя представленія не имѣли, конечно, никакого непосредственнаго отношенія къ позднѣйшему театру на европейскій ладъ, но они важны потому, что именно этими народными обычаями объясняется быстрое усвоеніе у насъ европейскаго театра и привязанность къ нему двора и богатаго дворянства съ самой эпохи перваго его возникновенія въ Россіи. Европейскій театръ, прежде всего, водворился въ Москвѣ изъ Польши. Въ Польшѣ католическое духовенство и, въ особенности, іезуиты борьбу противъ языческой обрядности, которою прикрывались проявленія древняго народнаго земскаго строя, начиная еще съ XII вѣка, повели обращеніемъ именно этой обрядности въ своеобразныя формы церковнаго богослуженія, направленныя къ распространенію католической пропаганды въ религиозномъ и политическомъ смыслѣ. Таково происхожденіе церковныхъ мистерій, занесенныхъ въ Польшу и отправлявшихся при богослуженіи, съ участіемъ въ нихъ лицъ, не принадлежащихъ собственно къ церковному клиру. Само собою разумѣется, что эти мистеріи перешли и въ училища, находившіяся исключительно въ рукахъ духовенства. Вме-

сѣдствіи, когда этотъ приемъ сѣдлалъ уже свое дѣло, и католичество прочно водворилось въ средѣ польскаго народа, папа и высшее духовенство возстали противъ церковныхъ мистерій, какъ противъ обряда, допущавшаго въ богослуженіи ненавистную для католичества примѣсь народнаго и свѣтскаго, житейскаго; съ XV столѣтія начинается формальное запрещеніе мистерій, но, несмотря на то, онѣ просуществовали еще два вѣка и были окончательно изгнаны изъ церковнаго богослуженія только въ началѣ XVII столѣтія. Тогда мистеріи сосредоточились въ училищахъ, гдѣ онѣ, помимо цѣлей католической пропаганды, получили значеніе педагогическое, въ смыслѣ класснаго упражненія. Въ Краковской академіи, основанной въ 1557 году и послужившей образцомъ для постепенно распространившихся во всей странѣ второстепенныхъ, подчиненныхъ ей школъ, семинарій или бурсъ, молодые слушатели богословскаго факультета, подъ руководствомъ своихъ профессоровъ, принимались за сочиненія духовно-драматическихъ пьесъ, въ оставленіи и исполненіи которыхъ современная школьная практика видѣла важное подспорье основательному религиозному воспитанію. Въ низшихъ польскихъ школахъ духовная драма, подобно твореніямъ, возникавшимъ въ позднѣйшихъ южно-русскихъ бурсахъ, отличалась перевѣсомъ свѣтскаго, житейскаго элемента. Этотъ обычай исполнять духовныя пьесы семинаристами и учениками академій перенесенъ былъ, въ видѣ подражанія, въ Южную Русь, и мистерія была, такимъ образомъ, водворена въ Россіи (*Веселовскій*, стр. 269 и 270). Эта духовная драма, какъ обычная рекреация семинаристовъ въ Польшѣ, ходившихъ съ переносными, миниатюрными театрами по городамъ и селамъ въ теченіе лѣтняго времени, въ XVI столѣтіи занесена была на югъ Россіи. Въ Киевской академіи, особенно со времени преобразованія ея Петромъ Могилою, и въ соединенныхъ съ нею духовныхъ училищахъ преподаватель излагалъ по рутинному учебнику сущность теорій поэзіи вообще и знакомилъ съ правилами духовной драмы, а въ лѣтнимъ или майскимъ вакаціямъ, получившимъ отъ того названіе маевокъ, либо самъ приготовлялъ драматическое сочиненіе, прилагавшее къ практикѣ указанныя правила, или выбиралъ изъ готовыхъ пьесъ, русскихъ или даже польскихъ, наиболѣе соответствовавшую его цѣлямъ, давалъ ее разучивать ученикамъ и потомъ, въ одинъ изъ праздничныхъ дней или частныхъ школьныхъ торжествъ, исполнялъ при сѣдствіи своей молодой труппы избранную пьесу на ученическомъ театрѣ, по всей вѣроятности, весьма неважѣливомъ по сценическому устройству. Училищное начальство и приглашенныя духовныя и свѣтскія власти присутствовали при представленіи миллетантовъ-бурсаковъ. Разъ представленная и разученная пьеса становилась какъ бы достояніемъ учениковъ, употреблявшихъ ее затѣмъ для своихъ личныхъ цѣлей; въ привольное украинское лѣто разбредутся они небольшими группами по селамъ и хуторамъ и, живя истыми дѣтьми природы, изо дня въ день повторяютъ пьесу своего учителя у богатыхъ или зажиточныхъ поселянъ, козаковъ и сельской знати. Такимъ образомъ совершилась несомнѣнная пропаганда духовной драмы въ народѣ Украины,

возбуждая вкус и любовь къ подобнаго рода удовольствіямъ, и, въ то же время, сближеніе съ народомъ облегчало возможность освобожденія драмы отъ схоластическихъ оковъ и освѣженіе ея мѣстными элементами (*Веселовскій*, стр. 334, 336 и 337). Насколько, благодаря этой популярности духовныхъ представлений на югѣ Россіи, развился тамъ въ народѣ вкусъ къ нимъ и болѣе тонкое пониманіе, мы можемъ въ данную минуту наглядно оцѣнить въ Москвѣ на представленіяхъ малороссійскихъ труппъ. Народно-актерская жилка въ бытовыхъ пьесахъ, даваемыхъ этими труппами, несравненно живѣе, нежели на нашей сценѣ, и именно это обстоятельство такъ обаятельно дѣйствуетъ на зрителей, несмотря на отсутствіе художественности въ самой обработкѣ пьесъ. Народно-актерская жилка, воспитанная этими ходячими бурсацкими театрами, даетъ игрѣ малороссійскихъ артистовъ ту цѣльность и естественность, которой недостаетъ нашимъ русскимъ актерамъ, воспитаннымъ личнымъ изученіемъ и наблюденіемъ, но лишеннымъ живой традиціи, безъ которой артистъ ставится въ положеніе сторонняго лица, научающаго чуждую ему среду тоби роргію. Въ этомъ также лежатъ отчасти объясненіе того, почему творецъ новѣйшей народной комедіи, имѣвшей такое преобладающее значеніе въ развитіи нашего драматическаго искусства—Гоголь—не происхожденію былъ малороссійянинъ. Носовъ передаетъ, что народные польскіе комедіанты изъ Кіева въ 1665 году забрели въ Москву и увеселяли своими представленіями московское престоноародье до 1669 года. И въ этомъ нѣтъ ничего невѣроятнаго: это подтверждаетъ только несомнѣнный фактъ, что въ эпоху Алексѣя Михайловича болѣе оживленныя сношенія съ Польшею чрезъ Кіевъ произвели замѣтное измѣненіе въ русскихъ нравахъ, не ограничившись одними высшими сословіями. Преобразовательная эпоха Петра этимъ культурнымъ стремленіямъ указала другой путь и другую цѣль, но поворотъ въ народной жизни уже былъ сдѣланъ и началъ проникать даже въ низшіе слои столичнаго населенія: иначе нельзя объяснить успѣха реформъ и появленія цѣлой массы людей, къ ней приставшихъ и вынесшихъ на своихъ плечахъ вопреки консервативному отнору защитниковъ старины.

Въ Москву школьная духовная драма занесена была съ основаніемъ въ 1685 году, при царевнѣ Софіи, братьями Лихудами Словено-Греческой академіи, куда поступили всѣ ученики изъ типографской школы, основанной при царѣ Теодорѣ Алексѣевичѣ, въ 1679 году, іеромонахомъ Тимофеемъ, до 40 боярскихъ дѣтей и значительное число разночинцевъ. Это было первое учрежденіе для высшаго образованія въ Россіи, не имѣвшее вовсе профессионально-духовнаго характера: такъ, уже при императрицѣ Аннѣ въ 1736 году, по опредѣленію сената, поступило въ академію въ одинъ разъ 138 дѣтей дорянскихъ, между которыми были кн. Оболенскіе, Прозоровскіе, Хилковы, Тюфянины, Хованскіе, Долгорукіе, Мещерскіе и другіе. Среди этого общества находились подьяческія, канцелярскія, дьяческія, солдатскія и конюховы дѣти. Такимъ образомъ, съ самаго перваго своего основанія у насъ высшія учебныя заведенія были сословными и вовсе не имѣли

аристократическаго или дворянскаго характера, какъ это появилось уже впоследствии. Польскія духовныя драмы перешли въ Московскую академію, когда Петръ I въ 1701 году отдалъ академію въ завѣдываніе Стефана Яворскаго, который преобразовалъ ее по примѣру Кіевской и сталъ оттуда выписывать наставниковъ, что продолжалось вплоть до митрополита Платона. Даже ученики въ Московскую академію первоначально поступали изъ числа подготовленныхъ въ кіевскихъ школахъ: въ спискѣ учениковъ философіи за 1704 г. изъ числа 34 человекъ только трое великороссянъ, а остальные имѣютъ фамиліи бѣлорусскія и польскія (*Смирновъ*: «Исторія Московская Слов.-Греко-Лат. Акад.», стр. 81).

Первоначально театральныя пьесы, разыгрывавшіяся въ Законодательной академіи, были тождественны съ мистеріями, перешедшими изъ Польши въ Кіевъ, и имѣли характеръ схоластическаго-духовнаго; передѣлкой этихъ мистерій у насъ занялись Симеонъ Полоцкій и Димитрій Ростовскій. Несмотря на чисто-подражательный характеръ, въ мистеріяхъ этихъ появлялись нѣкоторыя примѣненія къ русской жизни. Пекарскій замѣчаетъ, что въ мистеріяхъ Димитрія Ростовскаго выведены «живныя лица изъ русской дѣйствительности, они говорятъ не переведенною съ польскаго рѣчью, но языкомъ русскаго человека; притомъ, являются анахронизмы, изъ которыхъ видно, что народный элементъ начинаетъ брать перевѣсъ надъ заученными съ чужаго голоса правилами». Этотъ отзывъ преувеличенъ, но попытки придать заимствованнымъ произведеніямъ народный характеръ проявляются уже тогда, какъ впоследствии появилась потребность заимствованныя изъ чужаго театральнаго репертуара пьесы примѣнить къ русскимъ нравамъ. Образцомъ такихъ духовныхъ мистерій мы имѣемъ напечатанныя въ *Сборникѣ* г. Тихонравова и относящіяся къ 1701—1702 годамъ: *Ужасная измѣна сластолюбиваго участія съ прискорбнымъ и нищетнымъ въ евангельскомъ миролюбивъ и Лазарь изображенная, Страшное изображение отораго пришествія на землю*,—причемъ прямо указано, что онѣ исполнены были дѣйствіемъ великороссійскихъ младенцевъ въ новосіяхъ Славяно-Латинскихъ Аѳинахъ, въ Москвѣ. Между 1673 и 1675 годами въ Кіевѣ появилась *Комедія или дѣйствіе о блудномъ сынѣ*, получившая у насъ большую популярность; она въ Москвѣ вырѣзана на мѣди, и составившаяся изъ нея книга сдѣлалась достояніемъ глубокихъ изданій, на которыхъ долгое время выставлялся 1685 годъ. По своему строю, комедія эта не подходитъ къ типу занесенныхъ заѣзжими нѣмцами-комедіантами и не могла быть представлена на ихъ сценѣ. Остается предположить, что она была одною изъ первыхъ, разыгранныхъ въ академіи вслѣдъ за ея основаніемъ, и что разыгрываніе мистерій въ академіи началось ранѣе Стефана Яворскаго. Но уже съ самаго начала характеръ театральныя представленія въ Законодательной академіи получилъ своеобразное направленіе. Петръ Великій замѣчателенъ именно цѣльностью своей дѣятельности, которая подчиняла всѣ проявленія народной жизни служенію одной великой идеѣ, которой носителемъ и первымъ работникомъ являлся онъ самъ. Петръ не пропустилъ

и театра. Когда нѣмцы оказались въ этомъ случаѣ непригодны, и Яганъ Бунштъ затруднился выполнить заказанную Петромъ, по случаю побѣды его, «триумфальную» комедію, Петръ обратился къ академіи. Академія, которая въ рукахъ Яворскаго была представительницею того новаго украинскаго слоя духовенства, которое поддерживало реформу Петра, сослужила ему эту службу.

«Школьная драма Славянской академіи во все время Свейской войны служила видамъ преобразователя, началась посильнымъ отраженіемъ важнѣйшихъ перипетій этой великой борьбы и замолгла надолго и въ печати, а, вѣроятно, и въ самой школѣ только послѣ Полтавской битвы, которая была отпразднована особымъ дѣйствомъ» (изъ лекцій проф. Тихонравова). Каждый разъ, когда Петръ возвращался побѣдителемъ въ Москву, въ наступавшемъ торжествѣ принимали видное участіе Стефанъ Яворскій и вмѣстѣ съ нимъ ученый и учебный персоналъ академіи. Обыкновенно по этому случаю въ академіи давалось театральное представленіе, приуроченное къ празднуемому событію. 16 января 1703 года, при возвращеніи Петра Великаго въ Москву послѣ взятія Орѣшка, въ Заиконоспасской академіи разыграно было *Торжество міра православнаго*. Эта школьная пьеса носить на себѣ двойственный характеръ: одна часть ея отходить въ область церковнаго содержанія—мираклей, другая относится къ разряду пьесъ панегерическихъ, носившихъ названіе *ludi caesarei*. Въ февралѣ 1704 г. въ академіи изображена была *Ревность православія, древле преобразованная чрезъ презельнаго ревнителя и непобѣдимаго вождя израильскаго Иисуса Навина, нинѣ же въ разныхъ прехрабрыхъ ревнителяхъ православныхъ истинно зримая*. Здѣсь въ лицѣ Иисуса Навина представленъ Петръ, и борьба Россіи со шведами представляется борьбою правовѣрія съ зловѣріемъ и влонечестіемъ. Въ концѣ того же года, послѣ взятія Дертта, разыграно было школьное дѣйствіе *Свобожденіе Ливоніи и Ингерманландіи*. Послѣ Полтавской побѣды академія разыграла въ 1710 г. вѣкторіальную пьесу, подъ названіемъ *Божіе уничтожителей чордыхъ*, гдѣ аллегорически выведенъ Петръ въ лицѣ Давида, восторжествовавшаго надъ Голіаѳомъ и Авесаломомъ. Замѣчательно, что эта послѣдняя пьеса не лишена нѣкотораго сатирическаго оттѣнка: борьба была окончена, бояться за исходъ было нечего и русскій умъ на свободѣ отдался той юмористической наклонности, которая составляетъ одно изъ характеристическихъ его свойствъ. Но этого мало: Петръ имѣлъ дѣло съ народомъ неразвитымъ, у котораго мысль меньше всего привыкла работать, Петръ понималъ, что его трудно расшевелить манифестами, проповѣдями, вѣдомостями, которыя онъ ввелъ въ это время, и театральными дѣйствіями, Петръ сознавалъ, что больше всего на тогдешнее общество можно было подѣйствовать наглядностью, растрогать и поразить его чувство, внѣшнюю его восприимчивость, чтобъ проложить дорогу къ его сознанію. Этими объясняются усиленные заботы Петра объ устройствѣ въ Москвѣ празднествъ по случаю побѣдъ его надъ шведами. Въ этихъ празднествахъ самую важную роль играли триумфальныя ворота,

покрытыя аллегорическими изображеніями и надписями, которыя наглядно должны были разъяснять народу значеніе и славу одержанныхъ побѣдъ. Академія въ этихъ празднествахъ принимала своеобразное участіе. У иконнаго ряда сооружались триумфальныя ворота, у которыхъ встрѣчалъ побѣдителя ректоръ, окруженный наставниками и учениками, говорились приѣздившія рѣчи, хоръ воспѣвалъ славу русскаго оружія. Ворота, сооруженныя академіею, отличались своею затѣйливостью: они покрывались аллегорическими изображеніями, гдѣ священные сюжеты перемежаны были съ мифологіей и древнею исторіей, на нихъ красовались хвалебныя и приносившія къ событію надписи, такъ что объясненіе всего, на воротахъ изображеннаго, составляло цѣлыя книги. То, что по традиціямъ обь обязательномъ содержаніи духовныхъ мистерій считалось неприличнымъ помѣстить въ самыхъ «дѣйствіяхъ», гдѣ событіе должно было, все-таки, отступить на задній планъ, находило свободное выраженіе, сообразно школьному духу того времени, на триумфальныхъ сооруженіяхъ. Особенно въ этомъ отношеніи отличались триумфальныя ворота, устроенныя академіею по случаю Полтавской побѣды. «Это было не только архитектурное сооруженіе, исполненное единой мысли, обставленное замысловатыми притчами, сатирами, историческими картинами, — это было литературное произведеніе московскихъ новосіающихъ Аевинъ, изображавшее апологію реформы и представлявшее, по сознанію самого училищнаго собранія, апоэозъ Петра». Послѣ 1710 года московская школьная драма замолкла надолго. Триумфальныя торжества перенесены въ Петербургъ. Лишь въ 1743 году новая драма собрала зрителей въ Славяно-Греко-Латинской академіи. Эта новая драма носила названіе *Стефанотокоса* и, по предположенію профессора Тихонравова, изображаетъ въ аллегоріи жизнь Елисаветы и бѣдственную эпоху, пережитую Россіей до ея вступленія на престолъ. Но значеніе школьной драмы въ Законоспасской академіи не ограничилось этою служебною ролью. Внесеніе въ академическія театральныя событія современныхъ событій естественно направило ихъ на отечественную исторію: Феофанъ Прокоповичъ написалъ въ 1705 году комедію *Владиміръ, славяно-россійскійхъ странъ князь и повелитель, отъ нестыря тьмы въ свѣтъ евангельскій приведенный Духомъ Святимъ*, разыгранную въ кіевской Могилянской академіи. Мало того, вездѣ на Западѣ, гдѣ появлялась школьная драма, въ антрактахъ представлялись интермедіи или интерлюдіи — простые разговоры, безъ всякой завязки, гдѣ выводились на сцену разные бытовые типы. Здѣсь открывалось несравненно болѣе простора для свободнаго народнаго творчества. И дѣйствительно, мы видимъ, что въ Польшѣ эти интермедіи получили сильное развитіе и представляли живую картину современнаго общества. То же самое происходило и у насъ. Пекарскій нашелъ въ рукописи одну изъ такихъ интермедій, относящуюся къ эпохѣ Петра и изложенную имъ въ его *Наука и литература при Петрѣ*. Здѣсь выведены всѣ главные типы, которые представляла тогдашняя дѣйствительность: раскольникъ, ставленникъ въ попы, подьячій, пономарь, не желающій отдавать своихъ дѣтей

въ ученѣ. Въ *Хроникѣ* Носова, начиная съ 1678 года по 1716 годъ, помѣщенъ цѣлый хронологическій перечень комедій, разыгранныхъ въ Заиконоспасской академіи,—перечень, прерываемый оговоркою, что съ перенесеніемъ столицы въ Москву Петръ пересталъ обращать вниманіе на московскій театръ, и потому свѣдѣнія о немъ до насъ не дошли. Въ этомъ перечнѣ особаго вниманія заслуживаютъ указанія о пьесахъ, сочиненныхъ сами воспитанниками академіи; изъ числа ихъ упоминаются: Ник. Осиповъ—*Два брата, Каинъ и Авель, или убійствіе*, Вас. Козодавлевъ—*Убожество Лазарево*, Ив. Блудовъ—*Лазарево воскрешеніе*, Влад. Обуховъ—*Илья Пророкъ*, Вас. Кургановъ—*Симъ, Хамъ и Афетъ*, Ник. Лазаревъ—драма *Царь Иродъ*, Ант. Жихаревъ—ком. *Клады или старинныя диковинки*, Арк. Бѣлозеровъ—*Пустынный горы Головы*, Порф. Страховъ—*Судъ Шемакинъ*, Никан. Абрамовъ—*Иоаннъ Грозный или взятіе Казани*, Ал. Митусовъ—*Князь Пожарскій или освобожденіе отъ супостатовъ Москвы*, Яковъ Приклонскій—*Пуст. Исаѣиной долины*, Петръ Ключаревъ—*Лазарь и пещь*. Хронологія *Хроники*, конечно, не заслуживаетъ довѣрія, названія пьесъ легко могли быть перепутанными, но едва ли есть основаніе безусловно отвергать тотъ фактъ, что въ сочиненіи комедій принимали участіе и воспитанники Заиконоспасской академіи. Самыя комедіи, конечно, не могли сохраниться, такъ какъ онѣ не были напечатаны, но, очевидно, въ *Хроникѣ* занесено воспоминаніе, въ то время еще свѣжее. Въ той же *Хроникѣ* укавана подъ 1 января 1702 гора разыгранная на домашнемъ театрѣ Татьяны Ивановны Арсеньевой, «придворной дамы» царевны Софьи Алексѣевны, домашними ея челядинцами комедія подъ названіемъ: *Ай да друзья, или промотавшійся господинъ*, сочиненная въ насмѣшку промотавшимся помѣщикамъ. Извѣстіе это нельзя считать выдуманнѣмъ, такъ какъ приведенъ коротенькій «образецъ» комедіи (стр. 37), изъ котораго видно, что она совершенно похожа на тѣ доморощенныя импровизации, которыя разыгрывались въ позднѣйшее время передъ господами ихъ домашнею прислугой во время Святокъ. Очевидно, что тамъ, гдѣ русскій человекъ не ставился насильно подъ ферулу иноземнаго учителя, онъ не задумывался надъ созданіемъ своихъ народныхъ типовъ, но, къ сожалѣнію, это свободное творчество открывалось только въ низшихъ и, такъ сказать, непризнанныхъ сферахъ, среди учениковъ академій и челядинцевъ знатныхъ бояръ. Въ *Хроникѣ* Носова есть указаніе, что представленія въ Заиконоспасской академіи посѣщалъ иногда и царь Петръ Алексѣевичъ. Берхгольцъ въ своемъ дневникѣ говоритъ, что герцогъ Голштинскій приглашенъ былъ на театральное представленіе въ Заиконоспасскую академію 28 мая 1724 года; латинская, лишенная вкуса, комедія продолжалась до 11 часовъ вечера. Тотъ же Носовъ сообщаетъ, что царь Петръ далъ указъ прочимъ семинаріямъ, чтобы играли и тамъ ученики подобныя комедіи обыкновенно въ праздничные и торжественные дни. И это вѣроятно, такъ какъ въ духовный регламентъ 25 января 1721 года о представленіяхъ въ семинаріяхъ упомянуто въ слѣдующемъ видѣ: «Можно

же еще дважды въ годъ или больше дѣлать нѣкія акціи, диспуты, комедіи, риторскія экзерциціи. И то бо зѣло полезно къ наставленію и къ резолюціи, сіе есть честной смѣлости, каковыя требуетъ проповѣдь слова Божія и дѣло посольское; но и веселую перемяну дѣлають таковыя акціи» (Ш. С. З. VI, № 3718, стр. 337). Это исполнялось въ московскомъ Законоспасскомъ училищѣ, въ Новгородской семинаріи, въ Ростовскомъ архіерейскомъ домѣ и въ Троицко-Сергіевской семинаріи. Въ особенности театральныя представленія нашли удобную почву въ Ростовѣ: св. Дмитрій Туптало, еще бывши іеромонахомъ въ Кіевѣ, написалъ нѣсколько духовныхъ мистерій и въ своей крестовой церкви въ Ростовѣ давалъ духовныя представленія изъ своихъ сочиненій, о чемъ также есть указаніе въ *Хроникѣ Носова* (стр. 43—48). Это обстоятельство очень важно потому, что оно объясняетъ, почему первый народный театръ возникъ въ Ярославлѣ. У Карабанова есть извѣстіе, что основатель русскаго театра Ф. Г. Волжовъ учился въ Законоспасской академіи и участвовалъ тамъ въ разыгрываніи театральныхъ пьесъ. Въ этомъ нѣтъ ничего неправдоподобнаго, такъ какъ въ академію поступали въ то время лица всѣхъ сословій. Но, во всякомъ случаѣ, еще до Москвы врожденная страсть Волжова къ театру нашла себѣ пищу въ традиціяхъ мѣстнаго ростовскаго театра. Театральныя представленія въ Законоспасской академіи въ исторіи нашей культуры имѣють то важное значеніе, что они положили начало той неразрывной связи театра съ учебными заведениями, которая наполняетъ всю его первоначальную исторію. Можно сказать, что наше драматическое искусство вышло исключительно изъ этого источника, откуда вообще образованіе распространялось по Россіи. На ряду съ Законоспасскою академіей въ развитіи театральнаго искусства приняло участіе медицинское училище, заведенное Петромъ въ Москвѣ. Въ 1706 году Петръ Великій основалъ въ Москвѣ военный госпиталь и при немъ хирургическую школу, гдѣ учителемъ былъ извѣстный докторъ Николай Бидло (Nic. Biddloo), въ теченіе тридцати-лѣтнихъ своихъ занятій образовавшій многихъ русскихъ врачей. Здѣсь на казенный счетъ содержалось до 50 воспитанниковъ, приготовлявшихся къ занятію медицинскихъ должностей (*Richter Gesch. der Medicin in Russland*. III, 16—21). Въ *Хроникѣ Носова*, начиная съ 1701 года, помѣщены пьесы, представленныя въ московскомъ госпиталѣ учениками онаго; при этомъ замѣчено, что представленіямъ быть ихъ начальниками назначено на Святкахъ, на Масляницѣ и въ дни Пасхи въ госпитальныхъ палатахъ, перегорода ширмами; пьесы играли болѣею частью своего сочиненія (стр. 34). Изъ числа такихъ пьесъ упомянуты въ 1701 году: комедія *Лыкаръ-самоучка*, ученика Андрея Скороспѣлова; *Дуракъ въ счастіи или чего на святѣхъ не бываетъ*, ученика Павла Станкевича; комедія *Маль да удалъ*, Степ. Морозова; *Ученье святѣхъ, не ученье тѣмъ*, ученика Ал. Кулебякина; *Разговоръ двухъ пріятелей въ царствѣ мертвыхъ*, ученика Арк. Сирякова. Хронологія опять невѣрная, такъ какъ школа, какъ мы сейчасъ видѣли, основана только въ 1706 г., но фактъ подтверждаетъ

ся извѣстіемъ Штелина о представленіяхъ въ хирургической школѣ при московскомъ госпиталѣ (*Пекарскій*, стр. 421). Въ дневникѣ Берхгольца въ декабрь 1722 года и январь 1723 года описанъ театръ, устроенный въ госпиталѣ учениками въ сараѣ, узкомъ и невзрачномъ; сюжетомъ пьесы была *Исторія Александра Македонскаго и Дарія*; пьеса состояла изъ 18 актовъ, изъ которыхъ 9 давались за одинъ разъ, а остальные на другой день. Между антрактами были забавныя интермедіи, очень плохія и оканчивавшіяся всегда потасовкою. Пьеса была серьезнаго содержанія, но исполнялась дурно. Представленіе посѣтилъ императоръ и герцогъ Голштинскій, въ остальной публикѣ было нѣсколько нѣмецкихъ дамъ и очень мало особъ значительныхъ (*Пекарскій*, стр. 433).

Араповъ передаетъ свѣдѣнія, заимствованныя изъ *Словаря свѣтскихъ писателей* митрополита Евгенія и *Русской старины* Снетирева, что Кунштъ обучалъ воспитанниковъ корабельнаго Сухаревскаго училища, т.-е. основаннаго Петромъ въ 1701 г. на Сухаревой башнѣ училища математическихъ и навигаціонныхъ наукъ, куда поступали дѣти какъ дворянсія, такъ и другихъ сословій, и что они представляли свѣтскія комедіи въ рапирной залѣ, нерѣдко посѣщавшіяся Петромъ Великимъ. На чемъ основаны эти показанія—неизвѣстно, и въ *Хроникѣ* Носова о томъ не упоминается; можетъ быть, это—переименованное извѣстіе о театральныхъ зрѣлищахъ въ московскомъ госпиталѣ, которыя дѣйствительно Петръ посѣщалъ, какъ мы видѣли выше. А, можетъ быть, и дѣйствительно въ школѣ на Сухаревой башнѣ также были подобныя увеселенія,—тогда это будетъ однимъ фактомъ больше, доказывающимъ связь нашихъ учебныхъ заведеній съ театромъ (*Лѣтн. русск. театра*, стр. 26). У того же Арапова содержится извѣстіе, повторенное у Карабанова, что въ царствованіе Анны Іоанновны, въ 1736 г., представлена была на новомъ императорскомъ театрѣ, деревянномъ, въ Лѣтнемъ саду, комедія *Сила любви и ненависти*, переведенная съ итальянскаго, разыгранная плохими русскими актерами, учениками съ Сухаревой башни. Свѣдѣніе это заимствовано изъ *Словаря драматическихъ писателей* (изд. Суворина, стр. 127) и, вообще, подозрительно. Комедіи *Сила любви и ненависти* нѣтъ ни у Сопикова, ни у Смирдина. Извѣстно только одно, что во время коронаціи Елизаветы Петровны въ Москвѣ въ театрѣ, выстроенномъ на берегу Яузы, итальянскіе оперные актеры представляли оперы *Метастазіо Титово милосердіе* съ прологомъ, сочиненнымъ Штелинымъ подъ названіемъ *Россія огорченная и утѣшенная* (*La Russia offlitta è reconsolata*). Статистами были молодые русскіе дворяне, обучавшіеся на Сухаревой башнѣ, а хоры исполняли придворныя пѣвчіе. Кромѣ того, въ *Хроникѣ* Носова упоминается, что при Аннѣ Іоанновнѣ (1732—34) давались представленія въ артиллерійскомъ полку воспитанниками, на которыя стекалось великое число зрителей. Эта связь театра съ учебными заведеніями всего полнѣе и плодотворнѣе выразилась въ сухопутномъ Шляхетномъ корпусѣ и Московскомъ университетѣ, двухъ высшихъ учебныхъ заведеній, оказавшихъ самое сильное влія-

ніе на наше образованіе. Объ этомъ мы сейчасъ упомянемъ, продолжая разсказъ объ исторіи возникновенія у насъ театра. Но при разсмотрѣніи связи театра съ учебными заведеніями нельзя не замѣтить, что лишь только русская мысль среди учениковъ Заиконоспасской академіи стала освобождаться отъ чуждыхъ, занесенныхъ въ нее духовно - католическихъ и польскихъ элементовъ, только что она стала черпать свои вдохновенія въ родномъ источникѣ бытовыхъ явленій и историческихъ воспоминаній, какъ новое, болѣе сильное теченіе повернуло ее въ другую сторону. Начатое своими собственными усиліями преобразование духовной драмы въ свѣтскую должно было уступить западно-европейскому вліянію, гдѣ это преобразование уже закончилось многолѣтнимъ трудомъ, и снова русская мысль поставлена была въ служебную зависимость на этотъ разъ отъ культуры болѣе могущественной, гдѣ пробиться было труднѣе и долѣе, но за то урокъ приносилъ самобытной мысли такую обработку, которая разомъ подвигала ее на столѣтіе впередъ. Это подчиненіе театра иновѣрнымъ образцамъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, вызвано было другою причиною внѣшней связи учебныхъ заведеній съ театромъ: явилась необходимость готовить для заѣзжихъ иностранцевъ статистовъ, знавшихъ иностранныя языки, для чего всего пригоднѣе оказывались молодые люди, обучавшіеся въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Но эта внѣшняя связь не могла не произвести и радикальнаго внутренняго измѣненія въ самомъ существѣ связи, соединившей училища съ театромъ: училища сами дѣлаются центромъ и проводниками подражательной драматической литературы, которая начинаетъ свое дѣло съ подавленія только что пробуждавшихся попытокъ къ народности.

Россія XVII вѣка уже переставала быть замкнутою древнею Русью. Присоединеніе Малороссіи приблизило сѣверную Русь къ Европѣ не только географически, но и въ культурномъ отношеніи, поставя ее въ непосредственныя, близкія и постоянныя сношенія съ польскою цивилизаціей, несравненно болѣе близкою къ европейской и, въ то же время, болѣе понятною и родственною для русскихъ людей. Польскій языкъ былъ тогда сильно распространенъ въ Москвѣ: онъ игралъ такую же роль, какъ французскій въ XVIII столѣтіи. Съ юга и юго-запада приходили иноки, ересей вводители, которые не только сѣяли новшества, нарушали преданія, но и обличали русскую старину, какъ дикое невѣжество. Сближеніе Россіи съ Европой возбуждало и тамъ любопытство и желаніе ближе узнать надвигающагося сосѣда: иностранныя посольства пріѣзжали все чаще и чаще, а въ отвѣтъ посылались русскіе за границу; наплывъ иноземцевъ все увеличивался, на окраинѣ Москвы, въ глазахъ самого царя, выросла Нѣмецкая слобода, какъ постоянный, всегда открытый клапанъ европейской культуры; явились новые люди, піонеры зарождающагося просвѣщенія, которые совершенно оторекались отъ старины— бояре: Матвѣевъ, Ртищевъ и, по всей вѣроятности, не мало и другихъ, не имѣвшихъ такого вліянія и потому оставшихся въ неизвѣстности. Самъ Царь Алексѣй Михайловичъ сталъ впереди этого движенія. Само собою разумѣется, что на первыхъ порахъ привлекла къ

себѣ внѣшняя, блестящая, веселая сторона европейской жизни, причеиъ театрѣ игралъ немаловажную роль. И вотъ царь и бояре, наскучившіе одностороннею и безсодержательностью доморожденныхъ святочныхъ забавъ, потянулись къ театру. Театрѣ тогда сдѣлался извѣстнымъ русскимъ людямъ. Въ XVII столѣтіи на западѣ Европы театрѣ обратился, главнымъ образомъ, въ придворное увеселеніе и въ этомъ смыслѣ сдѣлался обычнымъ угощеніемъ для иноземныхъ пословъ. Во Флоренцію въ 1659 году отправлено было посольство, во главѣ котораго стоялъ Лихачевъ, по возвращеніи описавшій все видѣнное и въ томъ числѣ театральное зрѣлище, которымъ угостилъ его герцогъ. Въ 1768 г. русскій посланникъ Потемкинъ присутствовалъ во французскомъ театрѣ при представленіи труппы Дюма-ре, а на другой день Мольеръ съ своею труппой давалъ предъ нимъ своего *Амфитріона*. Царь послалъ полковника фонъ-Стадена въ Курляндію приглашать актеровъ; но когда приглашенные по разнымъ причинамъ не явились, за исключеніемъ трубача и четырехъ музыкантовъ, онъ обратился въ Нѣмецкую слободу. Пасторъ нѣмецкой лютеранской церкви магистръ Яганъ-Готфридъ Грегори, по приказанію Алексѣя Михайловича въ 1672 г., вмѣстѣ съ учителемъ Юріемъ Михайловичемъ, собралъ по Москвѣ дѣтей различныхъ чиновъ, служилыхъ и торговыхъ иноземцевъ, всего 64 человека, и сталъ съ ними разучивать комедію объ Есѣири или такъ называемое *Артаксерсово дѣйство*, представленную въ ноябрѣ того же года въ устроенной вновь хоромнѣ въ селѣ Преображенскомъ. Грегори упрочилъ существованіе театра при дворѣ отца Петра Великаго. Въ 1673 году пасторъ стоялъ уже во главѣ цѣлой школы, въ которой начали учиться комедійному дѣлу двадцать шесть человекъ мѣщанскихъ дѣтей, выбранныхъ въ комедіанты изъ Новомѣщанской слободы. Переводчикъ посольскаго приказа Георгъ Гильнеръ помогалъ Грегори въ строеніи и переводѣ комедій. За *Артаксерсовымъ дѣйствомъ* послѣдовали комедіи *Юдифь*, *Товія*, малая прохладная комедія о презрѣдной добродѣтели и сердечной чистотѣ въ дѣйствѣ *объ Иосифѣ*, жалостная комедія *Объ Адамѣ и Еву*, *Темиръ-Аксаково дѣйство* или *Балзедъ и Тамерланъ* (*Тихомировъ*: «Рѣчь о первомъ пятидесятилѣтіи русскаго театра», стр. 7 и 8). Первые комедіи, разыгранныя при дворѣ Алексѣя Михайловича, представляютъ буквальные, часто тяжелые переводы тѣхъ нѣмецкихъ пьесъ, которыя занесены были въ Германію въ XVII столѣтіи странствующими англійскими актерами и ходили подъ названіемъ англійскихъ трагедій и комедій. Являясь на сценѣ большею частью въ видѣ свободной импровизаціи самихъ комедіантовъ, онѣ заимствовали свое содержаніе изъ исторіи, новеллъ, сказокъ, рыцарскихъ романовъ, и передѣлывали по-своему даже дѣйства, заимствованныя изъ религіозныхъ сказаній. Кровавыми, потрясающими сценами богаты были пьесы англійскихъ комедіантовъ; но въ нихъ смѣшивалось грубое, ничѣмъ не сдержанное шутство, воплощавшееся неизмѣнно въ одномъ лицѣ—въ своеобразной фигурѣ шута, нѣсколько видоизмѣненнаго влияніемъ Голландіи и подъ именемъ

Пикельгеринга неограниченно господствовавшего на нѣмецкой сценѣ въ теченіе всего XVII вѣка.

Г. Барсовъ напечаталъ документъ, изъ котораго видно, что при Алексѣѣ Михайловичѣ во главѣ московской труппы стоялъ шляхтичъ Чижинскій, бывшій два года учителемъ латинскаго языка въ Кіево-Братской духовной академіи. Догадка г. Барсова, что Чижинскій, который два года занимался обученіемъ шляхетскихъ дѣтей въ Смоленскѣ и былъ извѣстенъ тамъ боярину кн. Ан. М. Голицыну, вызванъ былъ оттуда Матвѣевымъ, чтобъ помочь въ переводахъ нѣмецкой труппѣ и придать театру болѣе чисто-русскій или славянскій характеръ,—не лишена правдоподобія. Чижинскій указываетъ, что онъ, для доказательства своего искусства въ комедійныхъ наукахъ, по приказу боярина Матвѣева, дѣлалъ комедію о *Давидѣ съ Голиафомъ* и инныя комедіи; кромѣ того, онъ училъ комедійному дѣлу 80 человѣкъ всякаго чину людей.

Это первое и довольно кратковременное проявленіе театра при Алексѣѣ Михайловичѣ замѣчательно тѣмъ, что сейчасъ проявились, по условіямъ быта, тѣ основныя черты, которыми опредѣлялась исторія нашего театра впоследствии.

Театръ сразу завоевалъ себѣ покровительство двора и сдѣлался придворною забавой. Изъ многочисленной семьи Алексѣя Михайловича только набожный и ограниченный Ѳеодоръ Алексѣевичъ — врагъ всякаго новшества—разогналъ комедіантовъ; въ декабрѣ 1676 года Ѳеодоръ Алексѣевичъ указалъ очистить палаты, которыя заняты были на комедію и устроены при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ при аптекѣ. Характеристично, что, въ *Хроникѣ* Носова, въ царствованіе Ѳеодора на Потѣшномъ дворѣ давались представленія барскими людьми и барскими барынями, заимствованныя изъ народной жизни: *Коза въ сарафанѣ*, *Шаманъ сибирскій*; боярами и боярынями: *Мечъ-кладенецъ*, *Яга-баба*.

Это показаніе Носова, на которое не обращено никакого вниманія и которое заподозрѣно безъ всякихъ основаній, единственно въ силу совершенно книжныхъ представленій о тогдашней старинѣ, какъ нельзя болѣе соответствуетъ дѣйствительности. Боярскій домъ того времени уже совершенно сложился по польскому образцу, но не въ силу заимствованія, а въ силу сходныхъ и вездѣ повторявшихся историческихъ обстоятельствъ. Болѣе веселая, разсѣянная и наполненная взаимными посященіями и праздниками жизнь тогдашняго боярства потребовала соразмѣрнаго увеличенія дворцовой челяди. Среди нихъ появились въ большомъ количествѣ нахлѣбники и приживалки, бѣдные дворяне, называвшіеся барскими людьми и барскими барынями, которые не входили въ составъ дворовыхъ, но жили на счетъ бояръ для того именно, чтобы забавлять ихъ, разсѣвать скуку одиночества разговорами, перенесеніемъ сплетенъ, пляскою, пѣснями и т. п. Когда распространился вкусъ къ театральнымъ зрѣлищамъ, на первое время сильно возбуждвшій все общество, какъ новость, и, притомъ, настолько

оригинальная, занятая и разнообразная,—эти барскіе люди и барскія барыни, отчасти волей, отчасти неволей, должны были ухватиться за такое новое и настоятельно требовавшееся средство развлекать своих боярско-миждостивцевъ. Очень понятно, что царь Теодоръ Алексѣевичъ, не терпѣвшій заморскихъ игрищъ, все-таки, увлеченъ былъ развившеюся страстью къ театральнымъ зрѣлищамъ, охотно посѣщалъ домашній спектакль своей сестры и допустилъ бывшее въ старинныхъ нравахъ разыгрываніе народныхъ святочныхъ и масляничныхъ представлений своими приближенными и дворовою челядью. Само собою разумѣется, что эти обыденныя домашнія развлечения, не требующія никакой особой затраты суммъ и не имѣющія никакого, такъ сказать, официального характера, не вносились въ такіе документы, какъ разрядныя и расходныя книги, и молчаніе о нихъ послѣднихъ нисколько не можетъ заподозрѣвать показаній Носова. Актерство между этимъ населеніемъ боярскихъ домовъ въ эпоху возникновенія театра при Алексѣѣ Михайловичѣ такъ распространилось, что въ царствованіе Петра Великаго въ царскомъ селѣ Преображенскомъ, на Потѣшномъ дворѣ, представлялись *разными* боярскими людьми комедіи: *Побѣжденіе Мамая* и *Кумъ Иванъ*, историческое представленіе изъ жизни царя Ивана Васильевича Грознаго (*Хрон.*, стр. 38 и 39). Замѣчательно, что, въ то же время, въ госпиталѣ ученики разыгрывали комедію: *Кумъ Матѣй* (стр. 42). Царевна Софья Алексѣевна была, повидимому, страстная любительница театра: въ термахъ ея ближніе бояре и боярыни разыгрывали театральныя пьесы съ пѣніемъ и танцами. Что въ этихъ пьесахъ введены были *польскіе танцы*—въ этомъ нѣтъ ничего несообразнаго, такъ какъ, по свидѣтельству Штелина, въ его исторіи танцевъ (въ *Neu veränderte Rusland*), польскіе танцы сильно распространились во время Михаила Теодоровича. Изъ *Хроники* Носова видно, что репертуаръ домашнихъ театровъ въ термахъ царскихъ былъ очень разнообразный: старинныя народныя маскарадныя представленія (*Русалки*), духовныя мистеріи (*Вѣра, Надежда и Благотворительность, Екатерина мученица*) и даже переводныя комедіи западныхъ авторовъ (*Врачъ противъ воли, Мольера, Мѣдный конь или Осада города Трои, директора нѣмецкихъ комедіантовъ, Вильгельма Рейнольда*) (60). *Хроника* переводъ послѣднихъ двухъ пьесъ и сочиненіе *Русалокъ, Екатерины мученицы* и трагедіи *Стрѣльцы* (?) приписываетъ Софьѣ. Карамзинъ въ своемъ *Пантеонѣ російскихъ авторовъ* упоминаетъ съ похвалами о драмѣ *Екатерина мученица*, сочиненной Софьей Алексѣевной, которую онъ читалъ въ рукописи, и то же подтверждаетъ вн. Шаховской на основаніи семейныхъ воспоминаній, слышанныхъ отъ прабабки его Тат. Ив. Арсеньевой, исполнявшей роль Екатерины въ этой пьесѣ. Если импровизировали ученики академіи, боярскіе дворовые люди, если сочиняли, какъ увидимъ ниже, цѣлыя комедіи выученные актеры изъ подьячихъ, то нѣтъ ничего неправдоподобнаго и въ извѣстіи о сочиненіи комедій царвеною Софьей. Само собою разумѣется, что заглавія пьесъ, при-

водимыя *Хроникой*, нельзя считать достоверными, и только малограмотному Носову могло придти въ голову приписать паревнѣ Софьѣ трагедію *Стрѣльцы*. Переводъ Мольеровой комедіи *Le medecin malgré lui* принадлежитъ къ числу самыхъ древнихъ; если сама Софья не знала европейскихъ языковъ, то изъ окружавшихъ ея приближенныхъ къ ней В. В. Голицынъ зналъ по-французски, былъ большой любитель театра, устроилъ его въ своемъ домѣ и въ библиотекѣ своей имѣлъ четыре письменныхъ книги «о строеніи комедіи». Великая княгиня Наталья Алексѣевна также была охотница до театра: въ 1707 г., когда разобрана была «комедійная хранина» у Красныхъ воротъ, царевна Наталья взяла въ Преображенское всѣ комедійныя платья и перспективы. Въ *Хроникѣ* Носова есть извѣстіе, что царевна Наталья Алексѣевна уговаривала Петра открыть театръ въ Петербургѣ и собрала 10 актеровъ и 16 музыкантовъ охотниковъ, наиболѣе русскихъ *изъ подьячихъ*: спектакль устроился, но не привился (стр. 50). Бассевичъ сообщаетъ, что принцесса Наталья, меньшая сестра императора, очень имъ любимая, сочинила, говорятъ, при концѣ своей жизни (1723 г.) двѣ-три пьесы, довольно хорошо обдуманныя и не лишеныя нѣкоторыхъ красотъ въ подробностяхъ; но, за недостаткомъ актеровъ, онѣ не были поставлены на сцену (*Бассевичъ*, стр. 152). Въ *Хроникѣ* Носова есть извѣстіе, что по смерти Натальи Алексѣевны управленіе надъ театрами приняла на себя Екатерина Алексѣевна (стр. 59). Вдовствующая супруга царя Іоанна Алексѣевича, Парасковья Феодоровна, урожденная Салтыкова, и обѣ дочери ея, Анна Іоанновна, герцогиня Мекленбургская, и Парасковья Іоанновна, были любительницами театра. Берхгольцъ описываетъ въ ноябрѣ 1722 года домашній театръ въ Измайловѣ, у царицы Парасковьи, въ устройствѣ котораго принимали участіе обѣ ея дочери. «Въ залѣ спектакля было большое общество придворныхъ дамъ и кавалеровъ, но изъ иностранцевъ, кромѣ Берхгольца и графа Бонде, не было никого. Сцена была устроена весьма недурно, но костюмы актеровъ не отличались изяществомъ. Герцогиня Мекленбургская сама всѣмъ распорядилась, хотя спектакль состоялъ не изъ чего иного, какъ изъ пустяковъ» (II, 313). 15 ноября былъ спектакль у Анны Іоанновны, въ теченіе котораго она была больше за сценой, потому что она управляла представленіемъ сама, ибо безъ нея все бы остановилось. При этомъ Берхгольцъ рассказываетъ характеристическую черту нравовъ. Передъ самымъ представленіемъ, актеру, игравшему роль короля, дано было двѣсти ударовъ батогами за то, что онъ, обнося по городу афиши, выпрашивалъ себѣ деньги; товарищъ его и соучастникъ былъ также наказанъ батогами и выгнанъ вонъ. «Показалось мнѣ удивительнымъ, — прибавляетъ Бассевичъ, — что наказанный игралъ и послѣ этого на театрѣ вмѣстѣ съ княгинею и благородными дѣвками; одна изъ нихъ, игравшая роль генерала, дѣйствительно княжескаго рода, а супруга наказаннаго батогами короля — родная дочь маршала вдовствующей царицы». Весь этотъ рассказъ носитъ характеръ выдуманнаго. Театръ былъ, оче-

видно, домашній, составленный изъ приближенныхъ царицы и царевенъ, куда, конечно, комедіантъ изъ простыхъ не имѣлъ доступа. Какія же «афиши по городу» могъ разносить одинъ изъ участниковъ этого театра, когда самъ герцогъ Голштинскій поналъ туда безъ приглашенія и хозяина извинялась, называя театръ «дѣтскою забавой»? Очевидно, Берхгольцъ для краснаго словца приписалъ сюда фактъ, дѣйствительно практиковавшійся съ простыми комедіантами, но немислимый въ этой средѣ, ибо, конечно, царевны не могли и не имѣли права наказывать батогами своихъ приближенныхъ бояръ.

Н. Колюпановъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Къ вопросу о паденіи Польши.

(Н. Карѣевъ: «Паденіе Польши въ исторической литературѣ». Спб., 1888 г.)

Вопросъ о паденіи Польши, составляющій предметъ новой книги проф. Карѣева, породилъ богатую литературу на разныхъ языкахъ, начало которой было положено еще въ послѣднихъ годахъ прошлаго столѣтія и которая съ тѣхъ поръ не перестаетъ расти и развиваться до нашего времени. Собственно русскіе историки начали заниматься исторіей паденія Польши не особенно давно: лишь съ шестидесятыхъ годовъ нашего вѣка стали появляться на русскомъ языкѣ сочиненія, посвященные этому вопросу, но за то разъ пробужденный къ нему интересъ болѣе уже не прекращался и въ настоящее время въ нашей исторической литературѣ существуетъ уже нѣсколько серьезныхъ и обширныхъ трудовъ, авторы которыхъ поставили себѣ задачей изученіе причинъ паденія Рѣчи Посполитой и обстоятельствъ, его сопровождавшихъ. Мало того, интересъ къ этому вопросу не ограничивается тѣснымъ кругомъ ученыхъ, по проницаетъ и въ болѣе широкую массу публики, какъ это показываютъ повторяющіяся изданія нѣкоторыхъ изъ упомянутыхъ книгъ (такъ, трудъ Костомарова *Послѣдніе годы Рѣчи Посполитой* выдержалъ три изданія, сочиненіе М. Де-Пуле *Станиславъ-Августъ Понятовскій въ Гроднѣ и Литвѣ въ 1794—1797 гг.* — два). Оно и понятно. Не говоря уже о томъ, что гибель нѣкогда сильнаго и могущественнаго государства всегда вызываетъ особый интересъ, такъ какъ этимъ фактомъ какъ бы подводятся итогъ вѣковымъ счетамъ исторіи, для насъ, русскихъ, паденіе Польши имѣетъ еще болѣе значенія, какъ по связи, существовавшей между Россіей и Польшей, такъ и по той роли, какую играла первая въ паденіи послѣдней. Выясненію этой роли и связанныхъ съ нею внутреннихъ отношеній въ самой Рѣчи Посполитой и были посвящены по преимуществу труды русскихъ историковъ. Но для полнаго и яснаго пониманія причинъ гибели Польши этого еще недостаточно: нѣкоторыя, и довольно важныя, стороны общественной и государственной жизни Рѣчи Посполитой въ послѣдніе годы ея независимаго существованія ускользнули отъ вниманія русскихъ ученыхъ, и по-

этому, желая составить вѣрный взглядъ на эту эпоху польской исторіи, нельзя ограничиться знакомствомъ съ одною русскою литературою по этому вопросу. Это не значитъ еще, чтобы вопросъ о паденіи Польши находилъ во всѣхъ своихъ частностяхъ полное рѣшеніе въ польской и, тѣмъ менѣе, въ западно-европейской литературѣ, но въ той и другой были высказаны взгляды, много способствующие къ уясненію отдѣльныхъ сторонъ вопроса. Книга, заглавіе которой приведено выше, и имѣетъ своюю цѣлью ознакомить русскую читающую публику и тѣхъ изъ ученыхъ, которые не занимаются сами специально исторіей послѣднихъ лѣтъ Польскаго государства, съ взглядами и выводами, какіе установились относительно этой эпохи въ наукѣ. Но авторъ не ограничился одною этою задачей и поставилъ себѣ еще другую, или, вѣрнѣе, расширилъ первую, рѣшаясь дать въ своей книгѣ полный историческій обзоръ литературы по вопросу о паденіи Польши. Въ виду того, однако, что историки XIX вѣка въ своихъ выводахъ относительно причинъ паденія Польши часто находились подъ сильнымъ вліяніемъ мнѣній, высказанныхъ публицистами конца прошлаго столѣтія, авторъ начинаетъ свой обзоръ главой, посвященной польской публицистикѣ второй половины XVIII вѣка. Далѣе слѣдуетъ глава, занимающаяся выясненіемъ взглядовъ главныхъ историческихъ школъ Польши на паденіе Рѣчи Посполитой, которое, по вѣрному замѣчанію автора, составило исходный пунктъ для всѣхъ историко-философскихъ теорій польскихъ ученыхъ. Затѣмъ авторъ, разсмотрѣвъ въ двухъ отдѣльныхъ главахъ взгляды западно-европейскихъ публицистовъ конца XVIII в. на паденіе Польши и западно-европейскую историческую литературу по этому же вопросу, переходитъ къ литературѣ русской, дѣлая здѣсь нѣкоторое отступленіе отъ своего общаго плана. Дѣло въ томъ, что, говоря о польскихъ и западно-европейскихъ публицистахъ, онъ бралъ только произведенія XVIII вѣка, исключая изъ своего обзора всю публицистику нашего столѣтія, которая не имѣетъ такой важности по степени своего вліянія на взгляды историковъ и, въ то же время, по своему объему значительно расширила бы предѣлы труда. Но въ Россіи въ XVIII вѣкѣ не существовало никакой не только исторической, но и публицистической литературы по вопросу о паденіи Польши. Русскіе публицисты начали заниматься этимъ вопросомъ лишь въ весьма недавнее время, но ихъ взгляды имѣютъ весьма большое значеніе для освѣщенія тагъ называемаго польскаго вопроса. Поэтому авторъ рѣшается включить въ свой трудъ обзоръ этихъ взглядовъ, несмотря на то, что они были высказаны уже въ нашемъ столѣтіи, и посвящаетъ имъ отдѣльную главу, равно какъ и разборъ русскихъ историческихъ сочиненій, занимающихся эпохой паденія Польши. Въ слѣдующей главѣ разбираются новѣйшіе польскіе историческіе труды объ этой эпохѣ и, наконецъ, въ послѣдней (восьмой) авторъ собираетъ всѣ самыя общіе выводы, извлеченные имъ изъ изученія литературы по исторіи паденія Польши.

Таково внѣшнее построеніе этого замѣчательнаго труда, цѣль котора-

го, какъ мы уже сказали, познакомить русскую читающую публику съ ходомъ развитія исторической науки въ вопросѣ о паденіи Польши и результатами, добытыми ею въ настоящее время. Въ настоящей короткой замѣткѣ мы не имѣемъ возможности, конечно, передать подробно содержаніе книги и потому остановимся только на тѣхъ выводахъ, которые сдѣланы авторомъ какъ по поводу литературы, посвященной вопросу о паденіи Польши, такъ и по поводу самаго этого вопроса.

«Польша еще существовала, — говоритъ авторъ, — а будущая литература о ея паденіи уже зародилась». Литературу эту составляли произведенія тѣхъ польскихъ людей второй половины прошлаго столѣтія, которые, видя безнадежное положеніе своего отечества, усматривали источникъ его въ неправильномъ теченіи народной жизни и пытались указать истинный путь для Рѣчи Посполитой. При этомъ они естественно должны были становиться на историческую почву, что и дѣлаетъ ихъ предшественниками историковъ нашего вѣка. Эти польскіе публицисты распались на два главные лагеря: республиканскій и монархическій, и каждый изъ нихъ освѣщаль прошлое своей родины съ той исключительной точки зрѣнія, которая была принята ими для настоящаго и будущаго ея. Монархисты видѣли главный источникъ бѣдствій Польши въ ослабленіи королевской власти и отсутствіи твердыхъ законовъ, которые бы не нарушались своеволіемъ шляхты. Сообразно этой точкѣ зрѣнія они изображали и исторію Польши, находя въ далекомъ прошломъ сильную королевскую власть и усматривая въ началѣ ея паденія и перехода въ руки вельможъ и шляхты, вмѣстѣ съ тѣмъ, и начало паденія Польши. Къ числу людей, смотрѣвшихъ такимъ образомъ, принадлежали Сезарь де-Варилль, авторъ *Политическаго компендіума*, давший впервые общій взглядъ на исторію Польши, извѣстный родоначальникъ польской исторіи Адамъ Нарушевичъ и двое изъ наиболѣе плодovitыхъ публицистовъ времени четырехлѣтняго сейма, каноникъ Езерскій и Гуго Коллонтай. Другая партія, видѣвшая спасеніе Польши въ республиканскомъ правленіи, изображала и первую эпоху польской исторіи, какъ эпоху «гминовладства» или общиннаго правленія, отклоненіе отъ котораго и составляло роковую ошибку Рѣчи Посполитой, ведущую ее къ гибели. Наиболѣе крупнымъ представителемъ этой партіи являлся въ публицистикѣ гр. Вильгорскій. Взгляды либеральной польской партіи на самый фактъ паденія Рѣчи Посполитой нашли себѣ выраженіе въ извѣстной книгѣ *Объ установленіи и паденіи конституціи 3 мая*, авторами которой были Коллонтай, Игнатій Потоцкій и Дмоховскій. По мнѣнію ихъ, главная вина въ паденіи Польши падаетъ на русское правительство: во время четырехлѣтняго сейма Польша начала уже возрождаться изъ упадка, но ее погубили коварство и насиліе петербургскаго и берлинскаго дворовъ. Подробнымъ разборомъ этого памфлета проф. Барѣвъ заканчиваетъ главу о польской публицистикѣ XVIII вѣка.

Взгляды, выразившіеся въ этой публицистикѣ, получили дальнѣйшую разработку въ трудахъ трехъ главныхъ польскихъ историческихъ школъ:

школы Нарушевича, Лелевеля и краковской. Всѣ польскіе ученые, писавшіе обину исторію своей родины, искали въ ея прошломъ причинъ паденія и гибели ея, но причины эти они понимали различно. Школа Нарушевича продолжала развивать мысль своего основателя о существованіи въ древней Польшѣ сильной власти королей и послѣдовавшемъ затѣмъ ея ослабленіи, повлекшемъ за собою гибель самого государства. Тенденція эта господствовала въ польской исторіографіи до тридцатыхъ годовъ нашего столѣтія, когда на смѣну ей явилось новое построеніе польской исторіи, принадлежавшее Лелевелю и бывшее въ свою очередь ничѣмъ инымъ, какъ переработкой теоріи польскихъ республиканцевъ конца XVIII в. о «гмино-владствѣ», существовавшей въ Польшѣ въ отдаленные вѣка ея исторіи. Существенно новою чертой въ Лелевелевскомъ представленіи польской исторіи является его отношеніе къ крестьянамъ: тогда какъ предшествовавшіе ему польскіе историки и публицисты, въ большинствѣ случаевъ, очень мало обращали вниманія на взаимныя отношенія общественныхъ классовъ въ Рѣчи Посполитой, занимаясь преимущественно политической исторіей, Лелевель первый выставилъ на видъ крестьянскій вопросъ и причислилъ угнетеніе крестьянъ къ причинамъ паденія Польши. Въ своихъ сочиненіяхъ онъ настойчиво проводилъ мысль о первоначальной свободѣ польскихъ крестьянъ. Руководясь своею основною точкой зрѣнія, Лелевель полагалъ, что въ самомъ духѣ польскаго народа заложены основы всеобщаго равенства и свободы, которыя и нашли себѣ осуществленіе въ первоначальномъ устройствѣ Польши. Позднѣйшія уклоненія отъ этихъ началъ и повлекли за собою наказаніе въ видѣ гибели государства. Что касается взгляда Лелевеля на самый фактъ паденія Рѣчи Посполитой, то онъ считаетъ его результатомъ внутренняго замѣшательства и внѣшней силы, помѣшавшей начавшемуся въ Польшѣ прогрессу, который, однако, въ изображеніи историка является черезъ-чуръ блестящимъ. Идеалистическое пониманіе Лелевелемъ сущности польской исторіи, доведенное до крайности его послѣдователями, и особенно Врублевскимъ (*Слово польской исторіи*), вызвало, наконецъ, реакцію и въ послѣднее двадцатипятилѣтіе создавалась новая школа въ польской исторіографіи, извѣстная подъ именемъ краковской, по мѣсту пребыванія главнѣйшихъ ея дѣятелей. Главные представители этой школы, проф. Бобжинскій и Шуйскій, воротились опять къ идеямъ Нарушевича, доказывая, что Польшу погубило отсутствіе сильной правительственной власти. Школа эта, однако, отличается отъ Нарушевичевской тѣмъ, что она уже не выставляетъ на видъ исключительно политическихъ отношеній и посвящаетъ много вниманія положенію мѣщанъ и крестьянъ въ старой Польшѣ. Таково въ общихъ чертахъ направленіе польской исторіографіи по вопросу о паденіи Польши въ изложеніи проф. Карѣева; само собою разумѣется, что, передавая его лишь въ главныхъ чертахъ, мы должны были опустить массу характерныхъ подробностей.

Раздѣлы Польши привлекли къ ней вниманіе и западно-европейскихъ писателей конца XVIII в. Всѣхъ ихъ нашъ авторъ дѣлитъ на три катего-

ри: высказывавшихъ свое мнѣніе о польскихъ дѣлахъ лишь мимоходомъ, писавшихъ по приглашенію самихъ поляковъ политическіе трактаты о Рѣчи Посполитой, подобные упомянутымъ уже польскимъ трактатамъ, и составившихъ историческія описанія паденія Рѣчи Посполитой. Что касается первыхъ, то въ книгѣ проф. Карѣева собрано достаточное количество фактовъ, доказывающихъ, что общепринятое мнѣніе о нравственномъ соучастіи западно-европейскихъ философовъ въ раздѣлахъ Польши невѣрно: они признавали, что Польша заслужила свою судьбу, но, тѣмъ не менѣе, порицали политику трехъ державъ, дѣлившихъ ее, и сочувствовали начинавшемуся въ Польшѣ возрожденію, особенно въ эпоху четырехлѣтняго сейма. Съ той же точки зрѣнія смотрѣли на дѣло и тѣ писатели, которые давали полякамъ совѣты относительно внутренняго устройства ихъ государства: главные представители ихъ, аббатъ Мабли и Ж.-Ж. Руссо, ставили необходимымъ условіемъ возрожденія Польши реформу, которая касалась бы преимущественно распредѣленія власти въ государствѣ и положенія крестьянъ. Такіе взгляды западно-европейскихъ философовъ предопредѣлили и ту точку зрѣнія, на которую должны были встать первые западные историки паденія Рѣчи Посполитой. И дѣйствительно, историки эти, среди которыхъ наиболее видное мѣсто занимаетъ Рюльеръ и Ферранъ, признавая точно также полное почти разложеніе Рѣчи Посполитой ко времени раздѣловъ, въ то же время, строго порицали политику участвовавшихъ въ раздѣлѣ державъ, и въ особенности Россіи, вмѣшивавшейся въ польскія дѣла, по ихъ мнѣнію, лишь вслѣдствіе ненасытнаго честолюбія Екатерины, и горячо сочувствовали дѣлу польскихъ реформаторовъ, выставляя торговчанъ, въ противоположность имъ, отверженцами націи. Но по мѣрѣ того, какъ постепенно выходили на свѣтъ новые матеріалы и открывался доступъ въ архивы, взгляды историковъ получали большую опредѣленность и въ некоторыхъ отношеніяхъ подверглись существеннымъ измѣненіямъ. Указывая на то обстоятельство, что національность ученыхъ играла большую роль въ опредѣленіи ими причинъ паденія Польши, нашъ авторъ разбираетъ ихъ по группамъ. Отмѣтимъ здѣсь тѣ общіе выводы, которые получаются у него изъ этого разсмотрѣнія. Прусскіе историки, среди которыхъ особенно выдаются Зибель и Смитъ, указывая, какъ на главную причину паденія Польши, на ея внутреннее разложеніе, посвящаютъ затѣмъ очень много вниманія выясненію роли Пруссіи въ этомъ событіи, объясняя ее, съ одной стороны, религіознымъ антагонизмомъ между Пруссіей и Польшей, съ другой—тою зависимостью, которая существовала между судьбой обѣихъ этихъ государствъ, благодаря чрезполосности владѣній Пруссіи: рядомъ съ могущественною Польшей не могла бы существовать Пруссія, и наоборотъ; поэтому Фридрихъ II вынуждался къ раздѣламъ Польши заботой о спасеніи собственнаго государства. Австрійскіе историки въ свою очередь стараются оправдать Австрію, доказывая, что инициатива раздѣла принадлежала не ей, — она должна была слѣдовать за Пруссіей и Россіей, чтобы не позволить имъ слишкомъ усилиться. Въ трудахъ прусскихъ и австрійскихъ историковъ на-

шего вѣка находятъ уже лучшее освѣщеніе и русская политика. Пренный взглядъ на нее, какъ на политику исключительно жадности и стремленія къ земельнымъ пріобрѣтеніямъ, уступилъ мѣсто другому, болѣе обоснованному. Если не всё, то, во всякомъ случаѣ, многіе изъ этихъ историковъ признаютъ, что Екатерина, стремясь подчинить Польшу своему протекторату, не желала, въ сущности, ея раздѣловъ и предоставляла даже полякамъ возможность внутреннихъ реформъ подъ условіемъ своего покровительства, которое должно было помѣшать Рѣчи Посполитой сдѣлаться опасной для Россіи. Но если, такимъ образомъ, нѣмецкіе историки проявили болѣе вѣрное пониманіе политики Екатерины по отношенію къ Польшѣ, чѣмъ ихъ предшественники, французскіе ученые конца XVIII и начала XIX вѣковъ, то другія стороны вопроса, національная и связанная съ нею религиозная, остались, попрежнему, недоступными имъ. Диссидентскій вопросъ представлялся имъ простымъ политическимъ орудіемъ въ рукахъ Екатерины II, а пріобрѣтенія, сдѣланныя Россіей по раздѣламъ, исключительно территориальными. Этой ошибки не избѣжали и тѣ французскіе ученые, которые въ болѣе близкое къ намъ время продолжали заниматься исторіей паденія Польши. Они заняты преимущественно или выясненіемъ французской политики по отношенію къ Польшѣ, какъ де-Брольи, или обвиненіемъ державъ, участвовавшихъ въ раздѣлѣ, съ исключительно государственной точки зрѣнія, какъ Лоранъ, или, наконецъ, изученіемъ внутренняго состоянія Польши, которую они сравниваютъ съ Франціей въ эпоху великой французской революціи, какъ Сорель.

Возстановленіе истинной роли Россіи въ паденіи Рѣчи Посполитой выпало, такимъ образомъ, на долю самихъ русскихъ историковъ. Но еще ранѣе — хотя, все-таки, довольно поздно, лишь съ шестидесятыхъ годовъ нашего вѣка — этимъ занялась публицистика, оказавшая у насъ, какъ и на Западѣ, сильное вліяніе и на чисто-историческіе труды. Наиболѣе видное мѣсто въ этой публицистикѣ заняла славянофильская школа въ лицѣ Самарина, Гильфердинга и Б. С. Аксакова. Основнымъ положеніемъ этой школы было то, что Польша сама себя погубила, проникшись анти-славянскимъ духомъ латинства и начавъ угнетать русскую народность и православную вѣру въ своихъ областяхъ, Россія же при раздѣлахъ Польши взяла только назадъ свое достоинствѣ — принадлежавшія ей нѣкогда и соединенныя съ ней единствомъ населенія земли. Не говоря о другихъ русскихъ публицистахъ, мнѣнія которыхъ приводятся авторомъ и которые всё согласны съ славянофилами по второму пункту, отмѣтимъ только, въ видѣ поправки къ этому воззрѣнію, указанное тамъ же замѣчаніе А. Н. Пыпина, по которому сознаніе этого этнографическаго единства было очень слабо въ русскомъ обществѣ конца XVIII в. и, во всякомъ случаѣ, не служило главнымъ двигателемъ русской политики. Наши публицисты признаютъ, однако, и вину Россіи, заключающуюся именно въ томъ, что она отдала остальную Польшу на жертву нѣмцамъ, но думаютъ, что этого нельзя было избѣжать. Эти взгляды продолжали развивать и ученые русскіе. Не оста-

навливаясь подробно на изложеніи ихъ взглядовъ проф. Карѣвскихъ, оти- тимъ здѣсь только тотъ главный его выводъ, что поприщемъ для ихъ из- слѣдованій являлись преимущественно историческія отношенія Россіи и Польши и роль первой въ гибели послѣдней они освѣтили, по выраженію нашего автора, «съ точки зрѣнія всей исторіи двухъ главныхъ славянскихъ народовъ съ древнѣйшихъ временъ до послѣднихъ дней, а не съ точки зрѣ- нія одной международной политики XVIII вѣка»; само собою разумѣется, что при этомъ русскимъ историкамъ пришлось разрѣшать и такіе вопросы, какъ религиозный или вопросъ объ отношеніи различныхъ классовъ народа въ Польшѣ. Выводы, сдѣланные ими относительно внутренняго строя самой Рѣчи Посполитой, отличаются большою безнадежностью, но здѣсь въ ихъ распоряженіи не находилось такого количества матеріаловъ, какъ въ рукахъ самихъ польскихъ историковъ, которые въ этомъ вопросѣ и сдѣлали дѣй- ствительно болѣе всѣхъ другихъ.

Предпослѣдняя глава книги проф. Карѣва посвящена обзорнѣю но- вѣйшихъ историческихъ трудовъ на польскомъ языкѣ по вопросу о паде- ніи Польши. Главный успѣхъ, замѣчаемый во взглядахъ на этотъ вопросъ новѣйшихъ польскихъ историковъ, — изъ которыхъ авторомъ подробно ра- зобраны сочиненія Крашевскаго, Калинки и Корзона, — заключается въ устраненіи стараго воззрѣнія, будто бы Польша пала лишь жертвой поли- тики иностранныхъ дворовъ, и въ возникновеніи новаго взгляда, по ко- торому главная вина въ паденіи государства принадлежитъ самимъ поля- камъ. Полнаго соглашенія по всѣмъ вопросамъ, относящимся къ паденію Рѣчи Посполитой, не достигли, однако, и польскіе ученые. Не говоря уже о томъ, что они прямо игнорируютъ нѣкоторые вопросы, поднятые нѣ- мецкими и русскими учеными, какъ, напримѣръ, вопросъ національный, они не выработали еще и общаго вполне опредѣленнаго взгляда на всѣ причины паденія и сопровождавшія его обстоятельства. Главные предста- вители ихъ, Калинка и Корзонъ, различаясь по своимъ убѣжденіямъ, какъ различались прежде Нарушевичъ и Лелевель, различно смотрятъ и на са- мый фактъ гибели Рѣчи Посполитой: одинъ изъ нихъ, именно Калинка, положивъ главный свой трудъ на изученіе внѣшней политики Польши то- го времени, становится по своимъ симпатіямъ на сторонѣ короля Стани- слава-Августа и, упрекая партію реформы въ излишней поспѣшности и необдуманности, очень мрачно смотритъ на тогдашнее польское общество; другой, Корзонъ, занявшись преимущественно изученіемъ административ- наго и экономическаго быта Польши временъ Станислава-Августа, по мно- гимъ пунктамъ приходитъ къ выводамъ какъ разъ противоположнымъ взглядамъ Калинки и, оправдывая реформаторовъ отъ дѣлаемыхъ имъ по- слѣднимъ упрековъ, считаетъ возможнымъ гораздо болѣе оптимистическій взглядъ на дѣятельность этой партіи въ Польшѣ и на ея результаты. Оба труда, чрезвычайно богатые матеріалами, страдаютъ, однако, односторон- ностью въ ихъ освѣщеніи, и такъ какъ этотъ недостатокъ въ большей или мень- шей степени свойственъ всѣмъ почти трудамъ по исторіи паденія Польши,

какой бы литературѣ они ни принадлежали, то конечнымъ выводомъ у нашего автора является необходимость новаго пересмотра всего собраннаго матеріала по вопросу о паденіи Польши,—пересмотра, при которомъ должны быть приняты во вниманіе всѣ выясненные до сихъ поръ стороны вопроса и необходимымъ условіемъ котораго является полное научное безпристрастіе. Этимъ безпристрастіемъ въ высокой степени отличается сама разбираемая нами книга, что составляетъ далеко не послѣднее ея достоинство въ виду тѣхъ отношеній къ полякамъ, которыя, къ сожалѣнію, установились въ значительной части нашей литературы. Для тѣхъ изъ нашихъ писателей-публицистовъ, которые занимаются польскимъ вопросомъ, было бы весьма не лишнее послѣдовать высказанному проф. Барѣвымъ желанію и прочесть его новую книгу: не говоря уже о томъ, что они найдутъ въ ней много интереснаго для себя матеріала, самый способъ изложенія его авторомъ представляетъ не послѣдній образецъ спокойнаго и безпристрастнаго отношенія къ горячимъ вопросамъ. Мы говорили уже выше о томъ, какое значеніе эта книга можетъ имѣть для нашей читающей публики, здѣсь же позволимъ себѣ, еще прибавить, что для людей, занимающихся этимъ вопросомъ специально, она также имѣетъ большое значеніе, расчищая, такъ сказать, передъ ними поле, загроможденное мнѣніями различныхъ школъ и партій. Само собою разумѣется, что она не избавляетъ и не можетъ избавить ихъ отъ обязанности самимъ познаться съ литературой по вопросу о паденіи Польши, но, во-первыхъ, значительно облегчаетъ это знакомство, составляя нѣчто вродѣ справочнаго пособія, а, во-вторыхъ, указываетъ тотъ путь, по которому должно пойти изученіе вопроса, не затемняемое никакими національными или религіозными симпатіями и антипатіями. Въ виду всего этого, необходимо признать, что новая книга проф. Барѣва составляетъ цѣнный вкладъ въ нашу историческую литературу.

В. М.

Кумысъ въ Самарскомъ краѣ.

Въ виду противурѣчивыхъ свѣдѣній о результатахъ леченія кумысомъ и объ устройствѣ того или другаго кумысо-лечебнаго заведенія, полагаемъ не бесполезнымъ сообщить нѣкоторыя справки по этому предмету, основанныя на многолѣтнихъ наблюденіяхъ. Начиная по Волгѣ отъ Ставрополя, т. е. верстъ 70 выше Самары, и кончая на югъ Столыпинскими водами около Балакова, мы встрѣчаемъ массу кумысо-лечебныхъ заведеній, расположенныхъ и по линіи желѣзныхъ дорогъ между Самарой, Оренбургомъ и Уфой. Въ Самару попадаютъ большею частью новички, люди, присланные издалека своими докторами, которые привыкли къ порядку иностранныхъ лечебныхъ мѣстъ; доктора также нерѣдко посылаютъ своихъ больныхъ къ знакомому доктору, пріютившемуся на лѣто на томъ или другомъ изъ кумысо-лечебныхъ заведеній.

Когда посылаютъ такимъ образомъ людей состоятельныхъ, нуждающихся, пожалуй, въ нѣкоторомъ укрѣпленіи, но, главнымъ образомъ, въ томъ, чтобы пріятно, но не особенно дорого провести два-три лѣтнихъ мѣсяца и попить кумысъ, имѣющій значеніе укрѣпляющаго напитка, то, конечно, трудно возражать противъ того, чтобы ихъ посылали—ну, хотя въ красивое Аннаево, около Самары. Здѣсь Волга напоминаетъ Рейнъ или Дунай. Больной помѣщается надъ рѣкой съ прекраснымъ видомъ; какъ ни дорого онъ оплачиваетъ разныя услуги по сравненію съ мѣстными цѣнами, онъ, все-таки, истратитъ въ сложности менѣе, чѣмъ на иностранныхъ теплыхъ водахъ. Но при многолѣтнихъ наблюденіяхъ надъ больными мы убѣдились, что пребываніе особенно на городскихъ (самарскихъ) кумысо-лечебныхъ заведеніяхъ не приноситъ больнымъ никакой пользы. Затѣмъ сотни примѣровъ, которые у всѣхъ на глазахъ, ясно доказываютъ, что тѣ самые люди, которые безъ всякой пользы пили кумысъ въ самарскихъ заведеніяхъ, быстро поправились въ слѣдующій годъ, когда они послѣдовали совѣту мѣстныхъ староженовъ и рѣшились жить въ степи и пить тамъ кумысъ дѣйствительно ковыльный, ѣсть почти исключительно баранину и вести совершенно степной образъ жизни. Такимъ образомъ, для дѣйствительно больнаго представляется слѣдующая дилемма: желаетъ онъ сохранить и во время леченія тѣ

городскія привычки, которыя дали ему болѣзнь, желаетъ постоянно видѣть доктора, проводить время въ привычной обстановкѣ,—пусть ѣдетъ въ одно изъ кумысо-лечебныхъ заведеній. Издержитъ онъ не мало денегъ, а въ лучшемъ случаѣ поддержитъ себя на одну зиму. Но если онъ желаетъ дѣйствительно поправиться, то самое лучшее совершенно позабыть о всякихъ городскихъ кумысныхъ заведеніяхъ и ѣхать въ степь, гдѣ онъ проживетъ очень недолго и дѣйствительно поправится. Здѣсь тоже, впрочемъ, не мало оттънковъ для тѣхъ людей, которымъ трудно отстать отъ привычекъ житья—ну, хотя бы въ деревенской избѣ—или отъ постоянныхъ совѣтовъ доктора. Остается рекомендовать мѣстности вдоль уфимской и оренбургской желѣзныхъ дорогъ. Для людей менѣе мнительныхъ и требовательныхъ лучше всего забраться поглубже въ степь Николаевского уѣзда, напримѣръ, на рѣку Каралыкъ.

Понятно, что и здѣсь многое зависитъ отъ самаго состоянія больного, отъ силы воли и способности примѣняться къ обстоятельствамъ. Извѣстно, что кумысъ въ крайней степени развитія чахотки не только бесполезенъ, но даже вреденъ. Если подобный больной забьется глубоко въ степь безъ врачебной помощи, онъ при дождливой погодѣ будетъ страдать отъ неудобства непривычнаго помѣщенія. Поэтому подобнымъ больнымъ слѣдуетъ, во всякомъ случаѣ, рекомендовать близость врача, что вполне достижимо и при жизни въ степи, но недалеко отъ мѣста пребыванія земскаго врача. Надо отдать справедливость земству: врачи у него по большей части очень хорошіе, леченіе кумысомъ вещь уже очень извѣстная, и если мы охотно самимъ больнымъ рекомендуемъ книгу Дохмана *), то тѣмъ болѣе можемъ смѣло указать имъ на то, что почти всякій земскій врачъ, къ которому они обратятся, сумѣетъ правильно опредѣлить ходъ кумыснаго леченія и дать нужные совѣты.

Затѣмъ намъ остается послѣ этихъ общихъ замѣчаній перейти къ описанію отдѣльныхъ кумысо-лечебныхъ заведеній, но, прежде всего, не называя никого, упомянемъ нѣсколько грустныхъ сценъ, которыя имѣемъ основаніе считать вполне достовѣрными. Въ кумысо-лечебное заведеніе привозятъ больного при послѣднемъ издыханіи; хозяинъ не стыдится пригласить его обѣдать и ужинать за общимъ столомъ; здѣсь больной оживаетъ при видѣ здоровой особы женскаго пола, спрашиваетъ, пьетъ ли и она кумысъ, хозяйинъ отвѣчаетъ утвердительно, добавляя, что и она была такая же, какъ спрашивающій, но поправилась, такъ какъ пьетъ кумысъ уже второй годъ. Черезъ нѣсколько дней больной умеръ, заплативъ за свою квартиру за весь сезонъ. Хозяина спрашиваютъ, не возвратитъ ли онъ денегъ, онъ объявляетъ, что нельзя, такъ какъ онъ записаны на приходъ въ конторѣ. «Ну, такъ похороните его на свой счетъ»,—говорятъ ему.—«Зачѣмъ? Вѣдь, съ нимъ тетка, а забота о похоронахъ облегчитъ ей горе». Въ послѣдній годъ наплывъ больныхъ былъ большой, кумыса не хватало на одномъ изъ заведеній и, не-

*) См. ниже.

смотря на самыя широкія операціи его разсыропленія, большая часть больныхъ, все-таки, въ теченіе 5 дней не имѣла требуемаго количества даже плохаго кумыса.

Въ прошломъ году жилъ около Самары на дачѣ одинъ почтенный профессоръ Московскаго университета, нанялъ онъ себѣ независимо дачу и бралъ лучшій кумысь, какой можно имѣть въ Самарѣ, но справедливо негодовалъ, осматривая тощія пастбища, на которыхъ паслись матки. Наконецъ, для людей съ небольшими средствами худшая сторона леченія кумысомъ на самарскихъ заведеніяхъ и дачахъ состоитъ въ высокой цѣнѣ бутылки кумыса. Для успѣшнаго леченія пить его надо много, а платить 25 коп. за бутылку кумыса довольно сомнительнаго качества далеко не весело. Вѣдь, пить надо при успѣшномъ леченіи до 10—12 бутылокъ. Въ степи больного берутъ съ полнымъ содержаніемъ не дороже 25—30 рублей въ мѣсяць со включеніемъ кумыса, а въ самарскихъ заведеніяхъ за одинъ кумысь доведется заплатить отъ 60 до 90 рублей въ мѣсяць, не упоминая уже о приятной привычкѣ нѣкоторыхъ заведеній, взимающихъ за квартиру плату за цѣлый сезонъ, несмотря на то, что больной прожилъ лишь нѣсколько дней.

И такъ, всего дороже старинныя самарскія кумысныя заведенія: у Постникова взимается отъ 15 до 40 рублей въ мѣсяць за маленькую квартиру, за отдѣльные же домики—начиная отъ 75 рублей въ мѣсяць; обѣдъ и завтракъ около 25 рублей, кумысь 25 коп. бутылка. Здѣсь построено много зданій, а самое заведеніе существуетъ 33-й годъ. Много тѣни въ лѣсу, даже бываетъ сыро, но рядомъ съ заведеніемъ есть и степь, а въ главномъ домѣ бываетъ театръ, вечера и проч.

Ближе къ Самарѣ лежитъ другое заведеніе, построенное чрезвычайно красиво и удобно на самой кручѣ Волги стариннымъ почтеннымъ самарскимъ жителемъ Аннаевымъ; къ сожалѣнію, затраты не окупились и въ прошломъ году заведеніе перешло въ руины новаго владѣльца. Заведеніе содержитъ гораздо изящнѣе прежняго, цѣны помѣщеній не дороже, но всѣ остальные предметы оплачиваются по той же цѣнѣ, какъ у Постникова, но въ общемъ здѣсь помѣщаются люди болѣе здоровые и съ большими средствами. Затѣмъ на всѣ дачи вокругъ Самары охотно доставляется кумысь качествомъ не хуже приготовляемаго въ этихъ заведеніяхъ, между которыми особенно славится Пляшановскій: приготовляетъ его старый солдатъ-татаринъ, который давно уже успѣлъ снискать себѣ доброе расположеніе своихъ потребителей, между которыми встрѣчаются далеко не одни больные. Жители степи, также какъ и большая часть лицъ, которыя съ успѣхомъ пользовались кумыснымъ леченіемъ, приобретаютъ къ нему привычку и пьютъ его даже когда совершенно здоровы,—опредѣленіе, подъ которое весьма немногіе подходятъ. Такимъ образомъ, существованіе производителей кумыса около большаго города достаточно обезпечивается подобными любителями, но изъ этого, конечно, не слѣдуетъ, чтобы можно было считать это кумысо-лечебными заведеніями.

Лучшею книгой для кумысника слѣдуетъ признать книгу профессора Дох-

мана: *Кумыс и его значеніе при леченіи различныхъ болѣзней*. Отъ многихъ кумысниковъ приходилось слышать самые восторженные отзывы объ этой книгѣ, по которой мы и познакоимъ читателя съ нѣкоторыми основными положеніями. Срокъ каждаго леченія—отъ 1 до 2 мѣсяцевъ въ легкихъ случаяхъ и гораздо болѣе въ трудныхъ, гдѣ почти недостаточно бываетъ и одного курса, а приходится лечиться два или три лѣта. Врачъ совѣтуетъ также не ограничиваться этимъ срокомъ, въ особенности не отчаяваться въ успѣхѣ, а если только леченіе полезно, но не достигло еще окончательной цѣли, то продолжать его и въ слѣдующемъ году. Лишь въ рѣдкихъ случаяхъ удобно пить кумысъ въ своей обычной обстановкѣ, но гораздо вѣрнѣе и правильнѣе ѣхать пить его въ степь; что предпочтительнѣе: кумысо-лечебное заведеніе въ степи или жизнь у самыхъ кочевниковъ, или въ деревняхъ по сообществу съ кочевниками,—это уже дѣло вкуса и кармана. Главное условіе кумыснаго леченія, понятно, требуетъ также, чтобы больному не приходилось переносить непосильнаго для его организма, чѣмъ легко можетъ оказаться, напримѣръ, житье въ кибиткѣ въ дождливое лѣто, когда, впрочемъ, вообще кумысное леченіе довольно неудачно; поэтому можно смѣло совѣтовать тѣмъ, кто рѣшился ѣхать въ степь, въѣздъ въ лечебныхъ заведеній, перебраться, въ случаѣ дождей, въ болѣе удобную обстановку, что теперь вполне возможно, и продолжать пить кумысъ, который можно получать какъ въ деревняхъ, такъ и въ городахъ и на нѣкоторыхъ станціяхъ желѣзныхъ дорогъ. Относительно образа жизни и діеты на кумысѣ замѣчено, что леченіе бываетъ тѣмъ успѣшнѣе, чѣмъ болѣе больной имѣетъ возможность всецѣло посвятить ему себя, вести образъ жизни, чуждый всякихъ заботъ, усиленныхъ занятій или препятствующихъ леченію развлеченій; въ нищѣ слѣдуетъ избѣгать всего возбуждающаго, пикантнаго, всякой лишней жидкости и алкоголя. Большая часть больныхъ бросаетъ курить, что весьма полезно. Профессоръ Дохманъ замѣчаетъ, между прочимъ, что все количество кумыса, какое больной можетъ выпить, онъ долженъ кончить въ 3—4 ч. пополудни, обѣдая въ 5 ч. вечера и вставая не позднѣе 6—7 ч. утра; если кумысъ пьется позднѣе этого времени, то онъ болѣею частью вызываетъ бессонницу. Намъ довелось слышать отъ больныхъ благодарные отзывы объ этомъ совѣтѣ, именно потому, что многие, которые его не соблюдали, испытывали на себѣ весьма вредныя послѣдствія. Едва ли нужно упоминать о томъ, какъ полезно движеніе, пребываніе на воздухѣ, отсутствіе всего волнующаго. Болѣе подробное указаніе даетъ каждому, понятно, его врачъ, но для очень многихъ достаточно будетъ и сдѣланныхъ здѣсь общихъ.

Весьма желательно, чтобы это русское врачебное средство, ставшее нынѣ общепризнаннымъ въ наукѣ, не подавало повода къ эксплуатаціи больныхъ, какъ это, къ сожалѣнію, слишкомъ часто имѣетъ мѣсто въ разныхъ лечебныхъ заведеніяхъ.

Относительно нѣкоторыхъ кумысо-лечебныхъ заведеній, равно какъ и отдѣльныхъ мѣстностей, гдѣ больные могутъ покупать хорошій кумысъ, доходили до насъ только благоприятныя свѣдѣнія; упомянемъ, напримѣръ, о

заведеніи Курлина или сосновомъ борѣ подѣ г. Ставрополюмъ (70 верстъ выше Самары). Всѣ отзывы, которые мы слышали, говорятъ въ пользу пребыванія больныхъ въ этихъ мѣстахъ; но, все-таки, гораздо чаще намъ случалось слышать про исцѣленія тѣхъ, которые рѣшались на жизнь въ степи или пили кумысъ въ домашней обстановкѣ, т.-е. просто нанимали себѣ домъ или поселялись у знакомаго, а кумысъ получали отъ сосѣднихъ кочевниковъ или, еще лучше, отъ специалиста-кумысника, который охотно поселяется съ известнымъ числомъ кобылицъ, получая при двухъ кобылицахъ 20 рублей въ мѣсяцъ и имѣя кумыса до 12 бутылокъ въ день. Конечно, неурожай травъ или дождливое лѣто могутъ повредить леченію; но это бываетъ не часто.

Кромѣ чисто кумысо-лечебныхъ заведеній, тотъ же кумысъ играетъ далеко не послѣднюю роль въ двухъ мѣстахъ Самарской губерніи, гдѣ всего болѣе сѣзжается больныхъ: мы говоримъ о Сергѣевскихъ и Столыпинскихъ водахъ.

Цѣлебные источники въ обоихъ этихъ мѣстахъ приносятъ больнымъ большую пользу, но какъ питье водъ, такъ и, въ особенности, ванны очень часто употребляются совмѣстно съ кумысо-леченіемъ, то еще больше имѣетъ значеніе кумысъ, когда пріѣзжаетъ лечиться цѣлая семья: одни лица пользуются кумысомъ, другія — водами. Оба лечебныхъ мѣста расположены въ такихъ мѣстахъ, гдѣ можно имѣть хорошій кумысъ. Сергѣевскія минеральныя воды верстахъ въ 40 отъ Черкасской станціи уфимской ж. д., — слѣдовательно, на сѣверъ отъ Самары верстъ на 100; Столыпинскія воды въ 40 верстахъ отъ Балаковской пристани или нѣсколько болѣе разстояніи отъ Самары на югъ. Конечно, кумысники скорѣе найдутъ здѣсь врача и вообще все, что можетъ потребоваться больнымъ, привыкшимъ сѣзжаться сюда уже много лѣтъ.

Тѣ и другія воды страдаютъ обычными для русскихъ лечебныхъ мѣстъ недостатками, въ которыхъ, однако, слѣдуетъ винить какъ публику, такъ и администрацію лечебныхъ мѣстъ. Дѣло въ томъ, что въ нашихъ степныхъ мѣстахъ капиталъ дорогъ, предпримчивости мало, поэтому естественно, что всѣ болѣе прихотливыя потребности удобнѣе удовлетворить, живя на своей квартирѣ и привозя свою прислугу. Впрочемъ, можно успокоить больныхъ, что они не умрутъ съ голоду, довѣрившись администраціи лечебныхъ мѣстъ; затѣмъ, относительно дороговизны или дешевизны, слѣдуетъ имѣть въ виду, что въ степномъ краѣ «кожа дешева, да сапоги дороги»: яйца—не дороже одной копѣйки, мясо—не выше 7 коп. за фунтъ; но такъ какъ капиталъ долженъ оплачиваться тѣмъ, что заработается въ 2—3 мѣсяца, то понятно, что цѣны на столъ и прочіе предметы, нужны больнымъ, не могутъ быть дешевы, а сносны бываютъ лишь для людей не слишкомъ требовательныхъ. Впрочемъ, въ устройствѣ нашихъ лечебныхъ мѣстъ особенно вредно сказывается стремленіе къ монополизаци. Тамъ, гдѣ она не можетъ проявиться, дѣло подвигается быстрѣе, идетъ успѣшнѣе, вотъ чему и слѣдуетъ приписать сравнительный успѣхъ Ставрополя, какъ лечебнаго мѣста,

въ которомъ, однако, нѣтъ никакихъ минеральныхъ водъ по сравненію съ названными выше мѣстами у цѣлебныхъ источниковъ.

Ставрополь—мелкій уѣздный городишко, расположенный недалеко отъ Волги (70 верстъ выше Самары); здѣсь есть сосновый боръ, неподалеку есть и степь, гдѣ удобно могутъ пастись кобылицы. Монополи никакой нѣтъ, а потому настроилось много неприхотливыхъ дачъ, которыя сдаются недорого и удовлетворяютъ требованію большинства больныхъ.

Занимствуемъ въ заключеніе цифровыя данныя изъ отчета довольно извѣстнаго кумысо-лечебнаго заведенія: за послѣдній годъ лечилось всего 154 человека, изъ нихъ, по мнѣнію хозяина-доктора, 86 человекъ выздоровѣли, 56—получили облегченіе, 10—уѣхали при состояніи здоровья безъ перемѣны, 1—умеръ.

Мы очень опасаемся, что этотъ умершій изображаетъ того раненаго казака, который безсмѣнно являлся во всѣхъ репортажахъ по восточной войнѣ, 50-хъ годовъ и приобрѣлъ европейскую знаменитость.

Приведемъ въ заключеніе, со словъ врача, перечень средствъ латинской кухни, которую онъ употребляетъ на ряду съ кумысомъ: sulfonal—отъ бессонницы, atropin—подъ кожу, agariten—при ночной испаринѣ и обычныя затѣмъ средства при лихорадкѣ.

Провинціалъ.

ОЧЕРКИ РУССКОЙ ЖИЗНИ.

XXXV.

Ну, вот, нашлось и «свѣтлое явленіе», читатель...

Въ Харьковѣ, за подлогъ векселя, судился извѣстный «дисконтеръ — грабитель юга Россіи, разорившій многихъ помѣщиковъ и нажившій изъ ничего состояніе въ 500—700 тысячъ» — ростовщикъ Бравцовъ. За этотъ подлогъ Бравцовъ въ октябрѣ 1887 г. былъ приговоренъ къ ссылкѣ на 8 лѣтъ въ Сибирь, но въ Сибирь не отправился, а подалъ кассационную жалобу. 7 и 8 февраля нынѣшняго года дѣло Бравцова разсматривалось вновь харьковскими окружнымъ судомъ и Бравцовъ опять приговоренъ въ Сибирь. Защитникомъ Бравцова явился профессоръ уголовного права Харьковскаго университета Владиміровъ.

«Признаюсь, — пишетъ въ *Гражданинѣ* другой профессоръ того же университета, — я даже не вѣрилъ этому слуху. Я предполагалъ въ моемъ collegѣ больше благоразумія и чуткости. Бравцовъ — популярнѣйшая личность, разъ уже осужденная присяжными. Громко и много говорили объ этомъ дѣлѣ, пророчили профессору полный провалъ на судѣ; надо отдать справедливость коллегамъ, — лучшіе ея члены громко порицали рѣшимость проф. Владимірова. Когда же слухъ оправдался, изумленію Харькова не было предѣловъ. То, что я видѣлъ, слышалъ и ощущалъ во время суда, не поддается описанію. Совѣстно было сидѣть. Забѣчанія, колкости и ядовитости по адресу профессора-защитника, раздававшіяся въ корридорахъ суда, среди публики, чиновъ судебного вѣдомства, адвокатуры и прокуратуры — не поддаются описанію. Великій кониангалъ, что дѣло, не представляя никакого юридическаго интереса, пропитано было грязью. Отъ него разлило, какъ изъ покойной ямы; присямы большинства свидѣтелей Бравцова (исключая 1—2 чел.) были гнусны до невозможности. Прибавьте, каждый сознавалъ, что это — не даровая защита убогаго и угнетеннаго, а защита сытаго волка, перекусившаго горло множеству мирныхъ овецъ, защита силы противъ слабости, ростовщика противъ разоряемыхъ. Редакція мѣстной газеты, совѣстно признаваться, получала письма (наприм., одно, подписанное «Отецъ студента-юриста»), дышавшія негодованіемъ противъ профессора,

взявшагося за эту защиту, от которой многие его предостерегали. И если бы еще успѣхъ въ результатѣ (для толпы *finis* часто *coronat opus!*), а то провалъ полный! Кравцовъ вновь осужденъ, приговоренъ къ ссылке. Защита же, почувствовавъ, надо полагать, слабость почвы и давленіе общественнаго мнѣнія, вела неважно (и дѣлала грубые промахи) и судебное слѣдствіе, и самыя пренія. Не помогли ей и выставленные ею свидѣтели—*laudatores*, доказывавшіе «честность» Кравцова...

Гдѣ же и въ чемъ тутъ свѣтлое явленіе? Свѣтлое явленіе въ протестѣ общественнаго мнѣнія и въ словѣ осужденія, съ которыми профессоръ Давневскій выступилъ въ *Гражданинѣ* противъ своего коллеги.

Но, вѣдь, все это только «шепотъ, робкое дыханье...», да; но мы, не избалованные общественными протестами, скромные русскіе люди, рады и шепоту.

Зналъ я одного неизбалованнаго редактора. Бывало, спросишь его вначалѣ подписки: «Ну, какъ у васъ подписка?»—«Очень хороша».—«Сколько сегодня получили пакетовъ?»—«Восемь»,—отвѣчаетъ онъ съ довольною, благодушною улыбкой, точно у него въ рукахъ восемь тысячъ пакетовъ.

Такой же благодушный былъ онъ и въ сужденіяхъ о людяхъ. Онъ во всемъ видѣлъ только одно хорошее и свѣтлое. Онъ зналъ, что на свѣтѣ есть зло, но онъ зналъ тоже, что «нѣтъ зла безъ добра», и только это добро и отыскивалъ во всемъ. И этотъ, повидимому, умиротворенный человѣкъ былъ, въ то же время, несчастный и недовольный человѣкъ. То огорчалъ его недостатокъ къ нему сочувствія, то ему казалось, что онъ ни разу въ жизни не испытывалъ любви, то воображалъ, что къ нему несправедливы, или страдаетъ, что живетъ въ четвертомъ этажѣ. Вообще, это былъ человѣкъ, которому казалось, что у другихъ всего больше, чѣмъ у него.

Потому, что онъ былъ личникъ, онъ ниванъ не умѣлъ увидѣть и въ другихъ, гдѣ кончается «личное» и начинается «общее». Оттого и защита его была всегда личная. Повидимому, онъ судилъ каждаго по его, этого каждаго, совѣсти; но это было лишь повидимому. Въ дѣйствительности же онъ судилъ другихъ только по себѣ. Онъ, такъ сказать, сажалъ самого себя въ чужую душу и, говоря за другаго, говорилъ отъ себя. Вся его справедливость и гуманность были лишь самооправданіемъ и любовью къ себѣ, но перенесенными на другихъ.

Если бы ему пришлось обсуждать поступокъ проф. Владимірова, онъ, конечно, его бы не оправдалъ, но онъ не нашелъ бы удобнымъ его оглашать и дѣлать изъ него «общественный скандалъ». Мало ли какія есть у ученой корпораціи средства для воздѣйствія! Нашелъ бы онъ справедливымъ и общественное негодованіе, но не одобрилъ бы его, если бы оно выразилось въ какой-нибудь крайности. Лучшимъ исходомъ онъ считалъ бы такой, при которомъ дѣло окончилось «келейно», домашнимъ образомъ и не получило огласки. Онъ согласился бы даже на исключеніе проф. Владимірова изъ университетской корпораціи, но опять-таки, чтобы это сдѣла-

лось тихо, безъ особенной огласки. Но онъ нашелъ бы много и оправдывающихъ обстоятельствъ, по которымъ на первый разъ можно бы ограничиться «поставленіемъ проф. Владимірову на видъ всей неблаговидности его поступка». И, въ то же время, онъ былъ бы доволенъ, что «поступокъ» не прошелъ незамѣченнымъ и вызвалъ порицаніе со стороны общества, что въ этомъ выразилось общественное мнѣніе, которае необходимо поддерживать, и совершенно искренно радовался бы, что у насъ существуетъ общественное мнѣніе.

И всѣ мы, русскіе люди, болѣе или менѣе похожи на этого редактора. Всѣ мы переносимъ себя на другаго, когда судимъ объ этомъ другомъ. Всѣ мы еще боимся, что если станемъ судить громко и публично другаго, то этимъ самымъ и себя отдадимъ на подобный же судъ. Не профессора Владимірова мы въ этомъ случаѣ защищаемъ,—что намъ профессоръ Владиміровъ?—себя мы защищаемъ, себя оберегаемъ отъ суда общества. Того же чувства увѣренности въ себя, при которомъ каждый изъ насъ шелъ бы смѣло на судъ общественнаго мнѣнія и могъ бы сказать то, что нѣкогда сказалъ Прудонъ Тьеру, у насъ нѣтъ. А Прудонъ сказалъ вотъ что: «Расскажите публично съ каеэды всю свою жизнь, а я расскажу свою—и пускай насъ судить Франція». Вотъ этого чувства открытости, этого понятія объ общественномъ контролѣ, этой привычки поступать смѣло и увѣренно, съ полнымъ сознаніемъ, что мы и не можемъ поступать иначе,—у насъ еще и нѣтъ. Каждый изъ насъ еще ходитъ по двумъ дорожкамъ, качаясь между совѣстью и стыдомъ.

Между совѣстью и стыдомъ качался и проф. Владиміровъ. Еще до суда надъ Бравцовымъ, когда огласилось, что проф. Владиміровъ будетъ его защищать, «лучшіе члены коллегіи» громко порицали рѣшимость проф. Владимірова. Онъ, конечно, это зналъ, и, все-таки, выступилъ на защиту. Очевидно, что человекъ рѣшилъ такъ поступить, какъ онъ поступилъ. А если онъ это рѣшилъ, зачѣмъ ему было терять самообладаніе на судѣ? Вѣдь, защищалъ же онъ на военномъ судѣ проворовавшагося ремонтера и не конфузился. Изъ десяти дѣлъ, на защиту которыхъ проф. Владиміровъ выступалъ, можетъ быть, одно или два были «приличны для профессора», и, однако, какъ говоритъ проф. Даневскій, проф. Владиміровъ не терялъ мужества. Или онъ не чувствовалъ тутъ давленія общественнаго мнѣнія? Отчего же общественное мнѣніе молчало? Значитъ, это самое общественное мнѣніе шагъ за шагомъ утверждало проф. Владимірова на пути, на который онъ становился?

«Много лѣтъ назадъ съ удовольствіемъ видѣлъ я,—пишетъ проф. Даневскій,—какъ онъ выступалъ на защиту бѣдняковъ изъ среды людей случайно преступныхъ, заслуживающихъ состраданія и участія. Весь Харьковъ сочувствовалъ профессору Владимірову, когда онъ выступалъ въ нѣсколькихъ литературныхъ процессахъ, защищая, напримѣръ, товарища своего, высокоуважаемаго профессора Стоянова. Но картина вскорѣ мѣняется, краски розовыя смѣняются красками болѣе мрачнаго колорита...» Но вотъ онъ выступаетъ въ громкомъ интендантскомъ процессѣ, продолжавшемся

24 дня, и хотя защитилъ одного изъ подсудимыхъ, но защита эта не прибавила славы къ его адвокатскому имени и не создала ореола его профессорскому достоинству. Общественное мнѣніе молчало. Выступалъ онъ въ процессѣ «проворовавшагося ремонтера» — и общественное мнѣніе опять молчало. Выступалъ затѣмъ не разъ въ подобныхъ же дѣлахъ — и общественнаго мнѣнія онъ ни разу передъ собою не увидѣлъ. Или интендантскія злоупотребленія и злоупотребленія ремонтеровъ внѣ компетенціи общественнаго мнѣнія? Но, вѣдь, общественному мнѣнію приходилось судить не интендантство или ремонтера, а общественную нравственность профессора Владимірова. Значитъ, само общественное мнѣніе толкало человека на путь общественного разврата и воспитывало его въ безстыдствѣ. И только тогда, когда онъ пошелъ на защиту «сытаго волка» противъ «слабыхъ овецъ», оно выступило съ своими протестами. А развѣ онъ раньше защищалъ не «сытыхъ волковъ»?

Бачался между совѣстью и стыдомъ и профессоръ Даневскій, выступившій съ обличеніемъ. Онъ молчалъ, пока *Гражданинъ* не обрушился на всѣхъ вообще профессоровъ - адвокатовъ и не объявилъ съ свойственною ему смѣлостью, что профессура съ адвокатурой не совмѣстима. А если бы князь Мещерскій не «обрушился», выступилъ ли бы профессоръ Даневскій съ обличеніемъ? Сомнительно. И теперь профессоръ Даневскій выступилъ собственно не обличителемъ проф. Владимірова, а обличителемъ своей собственной профессорской корпораціи. Да и не это обличеніе составляетъ центръ тяжести письма, съ которымъ профессоръ Даневскій обратился къ князю Мещерскому. Обличеніе и обвиненіе дѣлаются съ цѣлью оправданія; и не себя, пожалуй, оправдываетъ профессоръ Даневскій, онъ говоритъ о трудности и почти невозможности какихъ-либо протестовъ, если дѣло касается профессорской корпораціи. Вопросъ получаетъ уже болѣе общій характеръ и на скамью подсудимыхъ сажается передъ общественнымъ мнѣніемъ вся корпорація харьковскихъ профессоровъ, не признающая для себя компетенціи этого общественнаго мнѣнія и, въ силу этого, покрывающая и тѣмъ поощряющая всякое неблаговидное, «не профессорское» поведение своихъ членовъ.

И почему профессоръ Даневскій написалъ свое обличеніе въ формѣ письма къ кн. Мещерскому? Конечно, г. Даневскій имѣлъ право поступить такъ, какъ онъ считалъ удобнѣе. Но это, все-таки, не отвѣтъ на вопросъ. У насъ есть газеты, распространенныя болѣе *Гражданина*, которыя читаетъ публика болѣе образованная; къ этой-то публикѣ, казалось бы, и слѣдовало обратиться, а, между тѣмъ, г. Даневскій ее минуетъ и идетъ въ редакцію *Гражданина*, да и въ ней еще отыскиваетъ князя Мещерскаго и ему вручаетъ свое письмо, начинающееся чисто-личнымъ обращеніемъ: «Прежде чѣмъ изложить мои соображенія по вопросу, поднятому вами, князь, я предпошлю имъ нѣсколько предварительныхъ замѣчаній». И вотъ чисто-общій вопросъ становится полугласнымъ, получаетъ характеръ личной бесѣды между профессоромъ Даневскимъ и княземъ Мещерскимъ,

къ которому профессоръ явился съ объясненіями. А если бы князь Мещерскій не соблаговолилъ напечатать письмо профессора Даневскаго?...

И какую же картину подавленной и приниженной профессорской личности въ Харьковскомъ университетѣ рисуетъ г. Даневскій! «Признаюсь, я нѣсколько колебался, прежде чѣмъ выступить въ печать, — говорить оцѣ, — и сознавалъ, что мои искренніи и — смѣю думать — правдивыя замѣчанія вызовутъ неудовольствіе среди нѣкоторыхъ изъ членовъ университетскихъ корпорацій. На ряду съ громадными и высокочтимыми мною достоинствами почтенной ученой коллегіи у ней, какъ и у всякой коллегіи и корпораціи, имѣются свои слабости. Многие члены коллегіи, вообще, лица очень почтенныя, очень не любятъ, чтобы «изъ избы соръ выносили». Они всегда готовы извинить многое, скорѣе то, что мнѣ лично кажется непростительнымъ, но никогда не извинять никакого смѣлаго и искренняго слова порицанія, направленнаго противъ ученой, преподавательской и даже сторонней общественной дѣятельности одного изъ профессоровъ. Замѣчено также, что коллегія скорѣе склонна порицать своего сочлена, осмѣлившася высказать «особое мнѣніе» въ ея совѣтѣ, непріятное его большинству, для того изъ ея собратовъ, кто, вполне подчиняясь взглядамъ и предразсудкамъ коллегіи по вопросамъ ея бытія изъ области ея внутреннего существованія, дозволяетъ себѣ явно и публично во всѣхъ отношеніяхъ внѣ стѣнъ коллегіи колебать достоинство и авторитетъ профессорскаго званія. Другими словами, я опасался навлечь на себя гнѣвъ товарищей по службѣ, высказавшись смѣло и откровенно по вопросу, который не можетъ не интересовать, мало того — не волновать всякаго мыслящаго и честнаго человѣка, имѣющаго высокую честь быть членомъ университетской корпораціи».

Я выписалъ цѣликомъ это мѣсто, чтобы читателю было виднѣе, какой толстый слой ваты потребовался для того, чтобы «высокочтимая почтенная коллегія» почувствовала какъ можно слабѣе горошину, которую подъ нее подложили. Если же снять вату и развернуть сбюки, то въ прямой рѣчи получится вотъ что:

- 1) всякое правдивое замѣчаніе вызываетъ неудовольствіе среди *множества* профессоровъ Харьковскаго университета;
- 2) почтенная коллегія, при всѣхъ ея «громадныхъ и высокочтимыхъ ученыхъ достоинствахъ», не имѣетъ соответствующихъ имъ общественно-нравственныхъ достоинствъ, а потому
- 3) высокочтимая коллегія любитъ, чтобы, что ни дѣлаютъ ея члены, не получало огласки и оставалось шито и крыто; поэтому же
- 4) высокочтимая коллегія скорѣе извинитъ многое непростительное, но не извинитъ ни малѣйшаго, даже самаго правдиваго порицанія кого-нибудь изъ ея сочленовъ; но опять только подъ тѣмъ условіемъ,
- 5) чтобы этотъ вызывающій порицаніе профессоръ вполне подчинялся мнѣнію большинства коллегіи и былъ его покорнѣйшимъ слугою;
- 6) затѣмъ, такой покорнѣйшій профессоръ, живущій въ мирѣ и согла-

си съ своею высокочтимую коллегіей, можетъ колебать на сторонѣ достоинство и авторитетъ профессорскаго званія, сколько ему заблагоразсудится, и коллегія не только его защититъ, но и наложитъ свое veto на всякаго, кто задумалъ бы явиться его обличителемъ.

Очевидно, что въ Харьковскомъ университетѣ есть двѣ партіи, точнѣе, два направленія или теченія. Одно направленіе образуетъ крѣпкій устой коллегии, нѣчто вродѣ неподвижной скалы, а другое прорывается въ видѣ слабого родничка живой воды, стремящагося къ свѣту и свободѣ. Что родничекъ еще очень слабъ, а скала крѣпка и устойчива, слѣдуетъ съ полнѣйшею непреложностью изъ признанія, которымъ профессоръ Даневскій заключилъ свое письмо.

Когда были вызваны для опроса свидѣтели защиты и стали доказывать честность Кравцова, проф. Даневскій испугался за исходъ дѣла и даже сталъ винить себя въ малодушіи. «Мы, русскіе, — говоритъ проф. Даневскій, — не поняли еще, что каждый гражданинъ обязанъ оказывать содѣйствіе правосудію. Вотъ и я, напримѣръ, имѣлъ въ своихъ рукахъ важное данное противъ г. Кравцова и думалъ не разъ, что слѣдуетъ довести его до свѣдѣнія г. прокурора, но потомъ смалодушничалъ. Все проклятый страхъ предъ тѣмъ: «а что скажетъ г-жа Болдегія на то, что я товарищескую защиту топлю?» И рѣшилъ не вмѣшиваться и даже не исполнилъ обѣщанія, даннаго мною свидѣтелю (весьма извѣстному въ Харьковѣ) — довести до свѣдѣнія прокурорскаго надзора имѣющіяся у него данныя о «честности» Кравцова... Пишу по совѣсти и объявляю, — заключаетъ проф. Даневскій, — что на всякое возраженіе на это письмо мое отвѣчу съ удовольствіемъ, — не страшусь никакихъ раздраженій противъ меня. Нельзя молчать, когда совѣсть и достоинство университета требуютъ кричать и писать. Буду надѣяться, что хотя печатное слово введетъ увлекающихся изъ среды нашей въ предѣлы долга!»

Разберите всѣ слова профессора Даневскаго, вдумайтесь во всѣ подробности его письма, — сколько въ нихъ ужаса! Письмо проф. Даневскаго есть скорбная исповѣдь болѣвшей совѣсти, колебавшейся между долгомъ и чувствомъ страха. И сколько же въ немъ было этого чувства, сколько разъ приходилось ему подавлять свою совѣсть ради страха передъ коллегіей и какая требовалась борьба, чтобы, наконецъ, отъ этого страха освободиться! Г. Даневскій молчалъ до суда, молчалъ на судѣ, несмотря на то, что далъ слово весьма извѣстному въ Харьковѣ лицу довести до свѣдѣнія прокурора данныя о «честности» Кравцова, молчалъ послѣ суда, пока кн. Мещерскій не вызвалъ его на письмо.

А, между тѣмъ, онъ горѣлъ отъ стыда, болѣлъ душой, ему было «совѣстно сидѣть», — до того все вокругъ него возмущалось поведеніемъ его коллеги. И это было, какъ говоритъ проф. Даневскій, всеобщее, повальное негодованіе: негодовала публика, негодовали чины судебного вѣдомства, негодовала адвокатура, негодовала прокуратура. Ужь не въ этомъ ли всеобщемъ негодованіи проф. Даневскій почерпнулъ мужество и рѣши-

мость сбросить, наконецъ, подавлявшее его чувство страха? И ради чего были всё эти колебанія совѣсти, ради чего проф. Даневскій такъ усиленно оправдывался передъ «высокочитимою почтенною ученою коллегией»? Только ради того, чтобы сказать, что поведеніе проф. Владимірова заслуживаетъ публичнаго осужденія. Крѣпка же, должно быть, скала харьковской университетской коллегии и велика, должно быть, сила этого устоя!

Емсаветградскій Вѣстникъ дѣлаетъ совершенно вѣрное замѣчаніе, сравнивая *Очерки французской жизни* и *Очерки русской жизни*. вмѣсто того, чтобы жить, мы только разсуждаемъ о жизни, и вмѣсто того, чтобы поступать, мы занимаемся самоанализомъ. Во французской жизни всякій дѣйствительно живетъ, въ ней все кипитъ, все волнуется, все движеніе и нѣтъ никогда покоя. Во Франціи даже расклеивки политическихъ афишъ не простой наемникъ, а живой, дѣятельный участникъ своей политической партіи и ея уличный глашатай; тамъ каждый извозчикъ имѣетъ «свою» газету, знаетъ, чего онъ хочетъ отъ Буланже и за кого онъ будетъ подавать свой голосъ.

Въ этой кипучей и живой Франціи развѣ было бы возможно, чтобы профессоръ университета выступилъ въ такой роли, въ какой выступилъ профессоръ Владиміровъ? А еслибъ это случилось, развѣ было бы возможно публичное покаяніе другаго профессора за себя и за всю университетскую коллегию?

Сдѣлай профессоръ, или кто бы тамъ ни было, безчестный поступокъ, французы не стали бы разсуждать,—съ разсужденіями на общія темы они уже давно покончили. У нихъ общественное негодованіе не замкнулось бы въ стѣнахъ судебного коридора и противъ негодующаго общественнаго чувства у нихъ не устояла бы никакая скала. Никто не посмѣлъ бы у нихъ явиться защитникомъ волковъ противъ овецъ, мрака противъ свѣта, безчестности противъ свободы совѣсти и принудительнаго молчанія противъ гласности. Со всѣми этими азбучными гражданскими понятіями французы давно покончили. Оттого-то они и живутъ, а не разсуждаютъ.

У насъ же и въ беллетристикѣ, и даже въ публицистикѣ больше разсужденій, чѣмъ жизни, больше анализу, чѣмъ живой, дѣятельной силы. Такой переживаемъ мы еще историческій моментъ. Поэтому-то люди живаго темперамента, подвижные и дѣятельные, должны быть у насъ чистыми мучениками. Не въ этомъ ли причина, что натуры, не склонныя къ припиливанію и разсматриванію жизни, выдаются безъ особеннаго разбора на всякіе практическіе пути, не затрудняя подчасъ своей совѣсти, хотя, правда; и запасъ совѣсти не долженъ быть у нихъ особенно великъ? Вѣдь, совѣсть есть то свѣтлое и хорошее, что вписано въ каждой душѣ какъ идеаль, какъ цѣль нашихъ человѣческихъ стремленій. А когда ничего не написано ясно,—куда же идти? Нашъ русскій анализъ, которому начало положили еще наши дѣды,—анализъ, выступившій съ такою яркостью и силой въ сороковыхъ годахъ,—анализъ, проходящій черезъ шестидесятые и семидесятые годы и живучій еще до сихъ поръ,—и есть та теоретическая преемственная

работа мысли, которой должна создаться и наша общественная совесть, и наши гражданскія понятія. Французы съ этою первоначальною работою уже давно покончили.

Поэтому-то вся эта харьковская исторія съ ея разсужденіями о томъ, что можно и чего нельзя, всѣ эти страхи и публичныя покаянія и самоизвиняющійся протестъ противъ неправды показались бы французамъ дѣтскимъ лепетомъ. А для насъ это не лепетъ, для насъ это живое слово дѣятельности, сама жизнь. Да, наша жизнь пока въ словѣ, а не въ дѣлѣ, въ установленіи понятій о взаимныхъ отношеніяхъ. И пока мы не условимся въ этихъ понятіяхъ, пока мы не установимъ ихъ до того, чтобы уже не быть больше свидѣтелями недоразумѣнія даже профессоровъ университета, что считать честнымъ и что считать безчестнымъ, мы не будемъ жить человѣчески.

Все, что для насъ еще такъ близко и что мы переживаемъ съ такою болью, для французовъ настолько далеко и настолько ими забыто, что они останавливаются въ недоумѣніи передъ картинами русской жизни, съ которыми мы ихъ теперь знакомимъ переводами Тургенева, Толстаго, Достоевскаго, Островскаго. Наша мрачная русская драма, нашъ психическій анализъ, наше неустанное рытье въ самихъ себѣ французамъ совершенно непонятны. *Власть тьмы* не имѣла у нихъ успѣха, *Преступленіе и наказаніе* выдержало только 20 представлений, *Гроза* съ трудомъ попала на сцену и прошла едва замѣченной. Нашъ анализъ и дикій мракъ, который мы вытаскиваемъ наружу, ихъ мертвить, ничего имъ не даетъ. Они настолько же не понимаютъ нашего самобичеванія, насколько мы не поняли бы самобичеванія индійскаго факира, если бы намъ показали его на сценѣ.

Для русскихъ, говорить одинъ французскій критикъ о *Грозѣ*, «разсердиться, украсть, мстить» и т. д.—значить «грѣшить», и это слово вертится у нихъ на языкѣ такъ часто, что намъ это кажется просто комичнымъ... существенная черта знаменитой «славянской души» это—позволять себѣ все, что взбрѣдетъ въ голову, но, въ то же время, бить себя въ грудь, повторяя вмѣстѣ съ Мармеладовымъ изъ *Преступленія и наказанія*: «Я согрѣшилъ, я — свинья!» такъ какъ вѣчная мысль о грѣхѣ насколько не мѣшаетъ имъ грѣшить... Что же все это значитъ? А значитъ только то, что эти люди—только на русскій ладъ—переживаютъ то душевное состояніе, какое пережили наши отцы въ прежніе вѣка. Въ самомъ дѣлѣ, эту постоянную заботу о грѣхѣ рядомъ съ сильнымъ инстинктомъ можно часто встрѣтить въ нашихъ мистеріяхъ. Оригинальность и особенная прелесть русскихъ драматическихъ произведеній въ томъ, можетъ быть, и состоитъ, что психологическія состоянія, пережитыя нашими предками 400 лѣтъ тому назадъ, описаны въ нихъ не такими же наивными, какъ эти предки, и бездарными людьми, а писателями съ утонченною культурой и провицательною наблюдательностью... И для француза это не больше, какъ «мракъ вѣковъ», на который онъ смотритъ какъ на чуждую ему панораму,

а для насъ это—«темное царство», которое мы переживаемъ еще въ дѣйствительности, усиливаясь понять его причины и найти его корень.

Умственное общеніе съ французами, въ которое мы вступили теперь, раскрывъ передъ ними свою душу и введя ихъ въ нашъ внутренній бытъ посредствомъ ознакомленія съ нашими знаменитыми писателями, откроетъ намъ лучше глаза на самихъ себя, чѣмъ это достигалось до сихъ поръ нашими домашними средствами. До этихъ поръ мы смѣялись надъ французами, что они насъ совсѣмъ не знаютъ и настолько невѣжественны въ географіи, что даже Неву увели въ Крымъ. Теперь французы насъ узнали. Пока они изучали насъ по Тургеневу, они видѣли міръ нашей интеллигенціи (или, вѣрнѣе, полунинтеллигенціи) и этотъ міръ понимали. Познакомившись съ Толстымъ, они начали нѣсколько недоумѣвать; но когда мы имъ показали Достоевскаго и въ особенности наше «темное царство», они совсѣмъ пришли въ недоумѣніе.

До тѣхъ поръ, пока вопросъ не выходилъ изъ области искусства и мы знакомили французовъ съ нашими писателями, мы съ гордостью и заносчивостью говорили, что являемся учителями французовъ въ реализмъ въ искусствѣ, что въ ихъ литературѣ нѣтъ ничего подобнаго, что мы первые... и т. д. Но теперь, когда чадъ прошелъ и для французовъ, когда, познакомившись съ нашимъ «реализмомъ въ искусствѣ», французы захотѣли понять, какой «реализмъ жизни» создалъ подобное правдивое и неприкрашенное искусство, вотъ картина, которая передъ ними возникла. «Гроза»,—говорить другой критикъ,—одно изъ самыхъ своеобразныхъ драматическихъ произведеній, какія только можно встрѣтить, лишь бы была достаточная доля *мобознательности* и *терпѣнія*... Ея своеобразность заключается въ чисто-національныхъ характерахъ и въ подробностяхъ быта... Все это (жизнь и нравы семьи Кабановыхъ) переноситъ насъ за тысячи верстъ не только отъ нашихъ западныхъ обычаевъ и нашего умственного склада, но и вообще отъ всякой цивилизаціи, такъ какъ эти люди дѣйствительно гораздо ниже въ нравственномъ отношеніи не только нашихъ алжирскихъ арабовъ, но даже куперовскихъ краснокожихъ, которые носятъ перья на головѣ и кольца въ носу».

И для насъ было время, когда мы ужасались этой страшной картины. Тогда и самъ творецъ ея, Островскій, не понималъ ужаса, который онъ изображалъ. Онъ пѣлъ, какъ поетъ птица красоты природы, не зная, что она поетъ. И только когда нашелся человекъ съ живою душой и съ сознательною мыслью и переложилъ пѣсни вольной птицы въ рядъ понятій, мы очнулись отъ умственной летаргіи и поняли весь нравственный ужасъ нашего *Темнаго царства*.

Вихрь давно уже унесъ многое изъ этого мрака. Быть этотъ дрогнуть, разсыпался, устой его исчезли, въ эти тридцать лѣтъ и въ купеческой семьѣ уже родились иные люди; но осколки темнаго царства лежатъ еще повсюду и нѣтъ для ихъ изображенія ни новаго Островскаго, ни для истолкованія его новаго Добролюбова. А, между тѣмъ, мы нуждаемся постоянно

въ истолкователяхъ жизни, въ людяхъ съ свѣжею душой и ясною мыслью, которые толкали бы насъ подъ бока, потому что иначе мы сейчасъ же начинаемъ дремать, да еще и сердимся, что намъ мѣшаютъ заснуть.

Сдѣлайте такой опытъ. Завяжите американцу или французу глаза, посадите его въ воздушный шаръ, опустите... ну, хотя въ любое мѣсто Бѣлоруссiи, затѣмъ развяжите вашему путешественнику глаза и попросите его угадать, въ какой онъ части свѣта и среди какого народа.

Если читатель съ Бѣлоруссiей незнакомъ, то картина, которую я нарисую, покажется ему, пожалуй, преувеличенною. Наши бѣлорусскiя деревни—это рядъ бревенчатыхъ кучъ, обсыпанныхъ внизу землю, а сверху покрытыхъ беспорядочно соломой. Чтобы соломѣ не сдулъ первый же вѣтеръ, владутся на нее ряды жердей. Но вѣтеръ посильнѣе подшучиваетъ надъ этими предосторожностями и, разыгравшись, закручиваетъ соломѣ въ разныя стороны, точно вихры на нечесанной головѣ.

Въ этихъ кучахъ живутъ люди такого фасона. Лѣтомъ и зимой, мужчины и женщины, ходятъ въ бѣлыхъ одеждахъ: лѣтомъ—въ холщевыхъ, а зимой въ бѣлыхъ нагольныхъ полушубкахъ. На ногахъ у этихъ людей, и лѣтомъ, и зимой, онучи и лапти. Въ избенкѣ, въ 3 сажени длины и ширины, помѣщается иногда три семьи. Это значить—мужиковъ, бабъ и ребятшекъ душъ 15—18. Всѣ эти души спятъ гдѣ придется, и смрадъ въ избахъ стоитъ нестерпимый. Ни постелей, ни одѣялъ, ни подушекъ люди не знаютъ. Ъдятъ они хлѣбъ, смѣшанный съ землею и всякимъ соромъ, такъ называемый «половой», и даже сложили поговорку: «люди—не свиньи,—съѣдутъ», т.-е. свинья не станетъ ѣсть того, что съѣстъ человекъ.

Лошаденки у обитателей кучъ величиною съ жеребятъ, телѣги зовутся «колесами» и въ двадцати шагахъ дѣйствительно въ нихъ не видишь ничего, кромѣ колесъ; нужно подойти близко, чтобы разсмотрѣть, что на колесахъ лежитъ маленький, продолговатый ящичекъ, въ который едва уложится теленокъ.

Пашутъ эти люди сохами первобытнаго устройства, а боронятъ—деревянными боронами. Боровенки у нихъ крошечныя, съ взѣрошенною шерстью, съ вѣчно насохшими комьями навоза на бокахъ. Молока коровенки почти не даютъ, такъ что для ребятшекъ матери зачастую покупаютъ молоку горлочами въ сосѣднихъ усадьбахъ.

Теперь, весной, по деревнямъ текутъ ручьи навозной жидкой грязи, и нѣтъ отъ нихъ нигдѣ прохода, а по дорогамъ нѣтъ отъ грязи проѣзда. Такъ вотъ они и живутъ изо дня въ день, изъ года въ годъ, повторяя изо дня въ день и изъ года въ годъ—что дѣлали ихъ отцы, дѣды и прадѣды.

Спросите своихъ воздушныхъ путешественниковъ, среди какого они народа, и путешественники, ни минутой не задумавшись, отвѣтятъ, что это, должно быть, эскимосы или самоѣды. Перенесите бѣлорусскую деревню цѣликомъ съ ея чумами, грязью, скотомъ, людьми и половымъ хлѣбомъ на парижскую выставку—и французы рѣшатъ, что это, должно быть, обломокъ какого-то первобытнаго племени, но не охотничьяго, какъ краснокожiе ин-

дѣйцы, а пастушескаго, едва вступившаго въ земледѣльческую культуру и остановившагося на ея первой стадіи.

А вотъ обращеніи другаго быта, который слѣдовало бы поставить на парижской выставкѣ рядомъ съ нашею бѣлорусскою деревней. Съ небольшимъ годъ тому назадъ американцы штата Мичиганъ основали городъ въ честь Гладстона и назвали городъ его именемъ. Gladstone-town—пока не больше любаго бѣлорусскаго мѣстечка и насчитываетъ всего около 2-хъ тысячъ семействъ. Гладстонъ освѣщается электричествомъ, имѣетъ прекрасную торцевую мостовую, пожарную команду, пять церквей, три учебныхъ заведенія, два банка, шесть фабрикъ и свою собственную ежедневную газету.

Если бы французы могли предположить, что обращеніе первобытной деревни, питающейся половымъ хлѣбомъ, скрывается въ какомъ-либо уголкѣ ихъ милой Франціи, которую они такъ любятъ и умѣютъ любить, что эти звѣриныя шкуры, эти онучи и обувь изъ древесной коры носить ихъ соотечественники,—о, какъ бы поднялось ихъ дѣятельное и живое чувство и съ какою бы энергіей они принялись за устраненіе всего того, что держитъ ихъ въ звѣриномъ образѣ!

Но, вѣдь, мы не французы,—отвѣтитъ читатель. Вѣрно, что не французы, объ этомъ-то и рѣчь. Оттого-то намъ и полезно духовное общеніе съ французами, полезно побывать на ихъ всемірной выставкѣ и заразиться примѣромъ активной любви.

Только потому, что мы не французы, у насъ и возможенъ тотъ патріотизмъ, которымъ мы щеголяемъ,—патріотизмъ личнаго самолюбія, а не общественныхъ и гражданскихъ успѣховъ. Французъ, найдя у себя что-нибудь худое, сейчасъ же хочетъ это худое превратить въ хорошее. У насъ же, когда покажутъ людямъ худое, они отвѣчаютъ: «а посмотрите, сколько у насъ и свѣтлыхъ явленій», взгляните на эти «пробивающіеся ростки», «не убивайте же ихъ энергіи», «не проповѣдуйте безнадежности и пессимизма» и поддерживайте «бодрящія впечатлѣнія». Французу придастъ энергію именно то дурное, что онъ у себя видитъ, и онъ это дурное хочетъ непременно знать, чтобы превратить его въ хорошее; мы же смотримъ только на свое хорошее и боимся увидѣть худое.

Французъ, наблюдая свои порядки, выдѣляетъ изъ нихъ свое я и держать себя внѣ этого худаго. У насъ же каждый поставитъ въ средину худаго свое собственное я и сейчасъ же ошестинится, точно въ этомъ худомъ обвиняютъ его. Вѣроятно, отъ этого-то французъ всегда недоволенъ своими порядками и всегда отзывается о нихъ дурно, но никогда не позволяетъ говорить о нихъ дурно не-французу. Мы же не позволяемъ говорить дурно о своихъ порядкахъ только самимъ себѣ.

Зналъ я одного юношу изъ разночинцевъ, большаго патріота и народника (но разночинствующаго), развившагося на статьяхъ г. Юзова. Часто бесѣдовали мы съ нимъ о русскихъ домашнихъ порядкахъ и о многомъ онъ позволялъ говорить неодобрительно. Но онъ рѣшительно не выносилъ,

когда скажешь, что нѣмецъ умнѣе русскаго, что все онъ лучше знаетъ и все онъ лучше умѣетъ. Юноша (онъ былъ механикъ) вспыхивалъ, начиналъ горячиться и доказывалъ, что русскіе такъ же умны, какъ нѣмцы, и знаютъ все не хуже ихъ, да только имъ не даютъ ходу. Теперь жизнь уже поукротила его самолюбіе и онъ допускаетъ, что нѣмецъ, учившійся механикѣ за границей, можетъ знать и больше его, учившагося всего только въ череповскомъ техническомъ училищѣ.

Вотъ этотъ-то личный патриотизмъ, вотъ это-то вѣчное самолюбивое примѣшиваніе своего я, очень мѣшаетъ намъ судить правильно вообще и вѣдетъ зачастую къ антагонизму внутри группъ людей съ одинаковыми стремленіями. Сошлюсь на журнальное обзорѣніе *Екатеринбургской Недѣли*. По поводу романа *Побѣдители*, помѣщеннаго въ *Сѣверномъ Вѣстникѣ*, журнальный обзорѣватель Е. Н. говоритъ, что все, написанное г. Михайловымъ въ 80-хъ годахъ, далеко уступаетъ произведеніямъ, появившимся въ 70-хъ годахъ. «Тотъ же блестящій анализъ личности, масса наблюдательности, тѣ же краски въ слогѣ, но что-то другое въ самыхъ мысляхъ, чувствахъ дѣйствующихъ лицъ и, пожалуй, въ мысляхъ и чувствахъ автора. Это нельзя,—говоритъ обзорѣватель,—объяснить однимъ только ходячимъ мнѣніемъ: «другое время—иные пѣсни...» Романы 80-хъ годовъ уже не захватываютъ широкихъ общественныхъ задачъ, а типы молодежи, выводимые въ нихъ, или какіе-то недоноски по мысли и развращенные по чувствамъ, или крайне блѣдныя и безцвѣтныя тѣни, представляющія якобы тѣхъ людей, въ которыхъ «современный человѣкъ изображенъ довольно вѣрно». Симпатіи романиста явно склоняются къ тому поколѣнію, которое уже отодвинуто жизнью на второй планъ, и если не составляетъ еще такъ называемаго стараго поколѣнія, то, во всякомъ случаѣ, на пути къ тому. Мы не хотимъ этимъ сказать, что эти люди не могутъ дать интереснаго матеріала для повѣсти, но тотъ, кто такъ плодovито пишетъ, какъ г. Михайловъ, могъ бы проще и симпатичнѣе коснуться и типа людей, не потерявшихъ еще вѣру въ жизнь и идеи и, слѣдовательно, составляющихъ надежду Россіи. Послѣ чтенія текущихъ литературныхъ произведеній г. Михайлова выносишь безотрадное чувство пришибленности, какъ будто жизнь, на вашихъ глазахъ, покрывается плѣсенью».

Совершенно справедливо, что художественное произведеніе не должно производить впечатлѣнія безотрадности и пришибленности. Но не объ этомъ рѣчь, а рѣчь о требованіи, которое предъявляетъ рецензентъ автору романа. Рецензента не удовлетворяетъ то, что даетъ авторъ и что этотъ авторъ желаетъ дать,—онъ требуетъ отъ него то, что ему самому хочется отъ него получить. А хочется ему увидѣть въ зеркалѣ «типы людей, не потерявшихъ еще вѣру въ жизнь и идеи и, слѣдовательно, составляющихъ надежду Россіи». Но идейное отношеніе къ жизни заключается не въ томъ, чтобы свое я обобщить въ томъ или другомъ поколѣніи или, подобно череповецкому технику, находить себя умнѣе всѣхъ. На этомъ самолюбіи, какъ на дурныхъ салазкахъ, можно сломить себѣ голову или же, скатив-

лиши подъ гору, превратиться въ бронзовый устоя. Самовосхваляющее удовлетвореніе, привыкающее смотрѣть на себя какъ на творца жизни, въ жонцѣ-жонцовъ, вырастаетъ именно въ это самое будущее препятствіе. Вотъ и борись съ нимъ тогда!

Современная идейная задача совсѣмъ не въ томъ, чтобы отыскивать «ростки жизни» или «людей, не потерявшихъ еще вѣру въ жизнь и идеи», а въ томъ, чтобы расчищать почву для этой самой жизни, для этихъ самыхъ ростковъ, для идей, которыя должны ихъ питать. Занявшись же празднымъ отыскиваніемъ «ростковъ», мы, пожалуй, потеряемъ изъ вида самое главное, къ чему насъ собственно и призываетъ наша необработанная родная нива.

Ну, какъ не вспомнить опять французовъ и не пожелать, чтобы они вошли къ намъ также въ моду, какъ вошли мы, русскіе, во Францію. Французъ есть истинный человѣкъ идеи. Было время, когда мы даже смѣялись надъ легкомысліемъ французовъ, надъ ихъ суетностью и пустотой, надъ ихъ ребяческою наклонностью увлекаться словами. Тогда французы увлекались совсѣмъ пустымъ словомъ, не имѣвшимъ для насъ никакого осязательнаго смысла, — славой. А ради этой славы, ради ея воодушевляющей идеи французъ шелъ въ пустыни Египта, лѣзъ на пирамиды, погибалъ въ болотахъ Литвы и въ свѣгахъ Россіи, являясь повсюду глашатаемъ новой истины, оставляя вездѣ свой умственный слѣдъ, а иногда давая народамъ и новый «французскій кодексъ». Самъ же этотъ легкомысленный и увлекающійся французъ за всѣ свои лишенія, за смерть на чужбинѣ, среди проклятій, которыя на него сыпались за его ненасытное честолюбіе, удовлетворялся только тѣмъ, что онъ сдѣлалъ человѣческое дѣло, принесъ людямъ новыя идеи, новыя понятія, новыя взгляды на жизнь. Надъ этимъ-то мы и смѣялись тогда!

«Слава» во Франціи уже покончила свое дѣло; новыхъ идей теперь по свѣту разноситъ французской арміи не нужно. Для распространенія идей существуютъ уже другіе способы, а у французовъ явились новыя воодушевляющія ихъ слова. Теперешняя идея французовъ въ томъ, чтобы устроить у себя дѣйствительное, а не фиктивное гражданское равноправіе, да экономическую справедливость, такъ чтобы у каждого француза за обѣдомъ была настоящая жареная курица, о чемъ еще мечталъ Генрихъ IV.

Мы же каждую идею норовимъ перевести въ болѣе доступное намъ понятіе о личности или поколѣніи, превратить идею въ извѣстный конкретный образъ. У насъ еще слишкомъ силенъ культъ личности, намъ непременно нужно стоять передъ кѣмъ-нибудь на колѣняхъ или же требовать, чтобы стояли на колѣняхъ передъ нами. Отъ этого, наприимѣръ, идею справедливости мы сейчасъ превратимъ въ «новаго» мироваго судью, идею порядка — въ земскаго начальника, а болѣе живое ощущеніе жизни — въ молодое поколѣніе. И, превращая такимъ манеромъ идеи въ образы, мы, наконецъ, совсѣмъ растериваемъ свои идеи и остаемся при однихъ образахъ, на которые потомъ и обрушиваемъ свое общественное негодованіе за то, что изъ нихъ выдохлась всякая идея.

Вотъ почему у насъ и возможно, напримѣръ, высказывать такія мысли, какія высказываетъ рецензентъ *Екатеринбургской Недѣли*, хотя онъ, очевидно, одушевленъ самыми лучшими желаніями и самыми благожелательными стремленіями. Какіе же это типы людей, «не потерявшихъ еще вѣру въ жизнь и въ идеи?» Да развѣ идеи—вѣра, развѣ ихъ можно терять, если онѣ были? Идеи, это—точные представленія, точныя понятія; онѣ—знаніе, онѣ—убѣжденіе. Намъ именно нужно выработать и создавать себѣ точныя гражданскія представленія и ясныя понятія о гражданскихъ обязанностяхъ, да формировать граждански-влиятельное общественное мнѣніе, а не жить только «вѣрой въ жизнь». При одной вѣрѣ въ жизнь можно при первой неудачѣ такъ же легко впасть и въ безвѣріе, а затѣмъ и проклясть свою молодость съ ея увлеченіями, мечтами и порывами. Эту игру, въ которую мы такъ давно играемъ, пора ужъ и кончить. Въ томъ-то и дѣло, что мы жили до сихъ поръ больше вѣрой, чувствомъ, да ощущеніемъ своихъ молодыхъ силъ, а по части идей бывали слабы и въ этой области хоззяевами сдѣлаться еще не успѣли. Оттого-то мы то дѣльцовъ превращали въ идею, то профессоровъ—въ дѣльцовъ.

Въ журналѣ *Дѣло* печатался лѣтъ десять назадъ романъ *Горе побѣжденнымъ*. Это—хроника гор. Кіева и той идеи, которой онъ явился такимъ яркимъ выразителемъ въ «конкретной дѣйствительности». Въ промежутокъ времени между Севастополемъ и реформами у насъ думали, что благоустройство создастъ добродѣтельный губернаторъ и состоящій при немъ добродѣтельный чиновникъ особыхъ порученій. Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ мы ушли уже дальше и начали думать, что спасеніе въ наше общество внесетъ просвѣщенный человекъ. И въ самомъ дѣлѣ, если повсюду вмѣсто невѣжественныхъ и неспособныхъ людей поставить людей знающихъ, просвѣщенныхъ и способныхъ, то очевидно, что все должно пойти очень хорошо. Но кто же этотъ наиболѣе способный, знающій и просвѣщенный человекъ, кто? Кто же можетъ быть просвѣщеніе профессора? И вотъ кіевскіе профессора заняли мѣсто въ городской думѣ, въ городской управѣ, нѣкоторые изъ нихъ въ видахъ благоустройства города посвятили себя кирпичному производству и кіевскія зданія, построенныя изъ профессорскаго кирпича, дѣйствительно скрасили Кіевъ; другіе—построили себѣ собственные дома... и управленіе городскимъ хозяйствомъ стало профессорскимъ и прежніе кабинетные ученые превратились теперь въ практическихъ дѣловиковъ... Это доброе сѣмя, брошенное на хорошую почву, при благопріятствующихъ его прозябанію условіяхъ, дало теперь такой цвѣтъ (плоды еще впереди): какъ сообщаютъ кіевскія газеты, «нѣкоторые кіевскіе профессора-врачи устроили формальную стачку и рѣшили отказывать въ помощи всѣмъ тѣмъ больнымъ, которые не могутъ передъ началомъ докторскаго совѣта внести пять рублей».

«Возникшее у насъ новаторство,—говоритъ *Кіевлянинъ*,—хотя и объясняется слабостью у насъ общественнаго мнѣнія и излишнею терпимостью общества, является нѣсколько непонятнымъ и даже рискованнымъ, въ виду

существующихъ у насъ законоположеній. Съ этой точки зрѣнія попытка группы кievскихъ врачей установить свою собственную таксу является дѣйствіемъ совершенно произвольнымъ, и вся ихъ конвенція представляется противорѣчающею и закону, и обычаю. Такой характеръ ея сознается всѣми; упорное же бравированіе этого общаго сознанія является ничѣмъ неоправдываемымъ вызовомъ обществу». Вопросъ о «слабости общественнаго мнѣнія и излишней терпимости общества» и о «существующихъ у насъ законоположеніяхъ» я пока оставляю...

Жилъ еще не такъ давно въ Кіевѣ старичокъ профессоръ-медикъ Мерингъ. Никому онъ не отказывалъ въ своей помощи и самымъ раннимъ утромъ, часовъ въ 7—8, вы могли увидѣть его крытыя дрожки, запряженныя паромъ лошадокъ, гдѣ-нибудь на краю города у воротъ бѣднаго еврейскаго домишка. Больше рубля никакой еврей Мерингу не давалъ, а случалось, что онъ ѣздилъ и даромъ или же еще и самъ помогалъ больному. Ни одинъ больной никогда не слышалъ отъ Меринга отказа... Кіевскіе профессора-врачи, заключившіе теперь «ученую конвенцію», вѣроятно, не забыли похоронъ Меринга и съ какимъ непритворнымъ горемъ благодарные бѣдняки провожали его гробъ. Они точно чувствовали, что со смертію этого добраго человѣка исчезаетъ для нихъ единственный лучъ свѣта и тепла, и, оплакивая Меринга, они оплакивали свое собственное сиротство. «На кого ты насъ покинулъ, добрый человѣкъ?»—думали, вѣроятно, плакавшіе бѣдняки.

И Мерингъ былъ практикъ, но онъ не былъ дѣльцомъ. Идея дѣловаго направленія возникла еще въ шестидесятыхъ годахъ и имѣла тоже свою свѣтлую идеальную пору. Какъ всѣ идейныя движенія, это направленіе имѣло въ виду благо всѣхъ, благо Россіи. «Довольно хорошихъ словъ, пора перейти къ дѣлу»,—вотъ формула, которую оно провозгласило. Люди, искренно отдавшіеся идеѣ дѣла, видѣли въ ней свой подвигъ. И они вступили на путь его не просто, а съ покаяніемъ за свое прошлое. Не фразы, не «хорошія слова» нужны для жизни,—нуженъ для нея суровый трудъ, нужно настоящее «практическое дѣло», и только это практическое дѣло спасетъ насъ, проповѣдывали они. И затѣмъ приносили искренне покаяніе въ своихъ увлеченіяхъ «хорошими словами». Покаяніе было не притворное и торжественное,—это было сжиганіе кораблей, чтобы не сохранилось ни малѣйшаго слѣда пути къ возврату. Прощаясь съ увлеченіями молодости, они хоронили ее всю, они хоронили и свою прошлую любовь, хоронили всѣ свѣтлыя воспоминанія молодыхъ годовъ съ ихъ безконечными спорами и разсужденіями, съ ихъ увлекающимися порывами, подчасъ, правда, безпредметными, но всегда искренними, благородными, полными любви къ людямъ и готовности на самопожертваніе. Выбрасывалось за бортъ все, что хотя немного напоминало молодость. Все это были только «хорошія слова», ненужныя для дѣйствительной жизни. Душа опрастывалась отъ всего, что ее украшало, что давало ей силу живаго чувства и дѣлало ее способной на живое дѣло. Не въ переносномъ, а въ буквальномъ смыслѣ люди сжигали все, что могло бы напомнить имъ ихъ свѣтлое, счастливое прошлое. Перебирались

даже вещи, бумаги, переписки. Вот пачка писемъ, въ которыхъ столько «хорошихъ словъ» и которыми упивалась нѣкогда молодая душа. Прочь ихъ! И пачка летитъ въ топящуюся печку. Вотъ пачка писемъ нѣкогда очень дорогихъ, перевязанныхъ розовою ленточкой, — и эта пачка, безъ колебаній, летитъ въ печку... Душа опоражнивается отъ увлеченій рѣшительно и радикально и не оставляется въ ней ни одного живаго слѣда. Все прошлое выкинуто, сама душа выкинута и потеряна и обновленный человекъ чувствуетъ себя вполне готовымъ на «дѣло».

Въ Кіевѣ, какъ рассказывали, представителемъ этого направленія былъ весьма почтенный профессоръ, достигшій потомъ исключительнаго для профессора положенія. Теоретикъ и ученый, онъ съ искреннимъ убѣжденіемъ искалъ и поощрялъ въ молодыхъ начинающихъ людяхъ дѣловыя практическія способности, чтобы создать работниковъ «дѣла». И онъ ихъ создавалъ, онъ ихъ выдвигалъ, дѣловое направленіе проникло въ городское самоуправленіе, профессора и ученые стали городскими хозяевами, духъ наживы нашелъ свое теоретическое освященіе и на могилѣ безповоротно погребенныхъ «хорошихъ словъ» выросли «дѣла». Идея дѣла открыла просторъ всѣмъ щучьимъ наклонностямъ и создала дѣловой прогрессъ «сверху», съ его программой заботъ о мостовыхъ, хорошихъ тротуарахъ, красивыхъ зданіяхъ, прогрессъ вѣшняго городского благоустройства, выгодныхъ дѣлъ, прогрессъ денежныхъ помѣщеній, прогрессъ наживы, но не прогрессъ знаній, просвѣщенія и заботъ о нуждахъ тѣхъ, у кого этихъ нуждъ больше всего.

На одного умственного человека, искренно сжигавшаго корабли, опоражнивавшаго свою душу и не понимавшаго, что онъ дѣлаетъ, приходилось по сотнѣ штукъ, никакихъ кораблей не сжигавшихъ и отлично понимавшихъ, что они дѣлаютъ. Вся эта игра сыгралась въ пользу шукъ.

Несомнѣнно, что знающій могъ быть полезнѣе незнающаго и образованный полезнѣе необразованнаго, да сущность-то «идеи» заключалась совсѣмъ не въ томъ, что всѣ хозяйственныя дѣла Россіи нужно поручить профессорамъ, а въ томъ, что общественнымъ поведеніемъ людей должны руководить не прежнія, а нынѣ общественно-нравственныя понятія, что мѣсто невѣжества должны занять знаніе и образованіе и мѣсто добродетельныхъ стремленій, этихъ «хорошихъ словъ» — вполне соответствующія имъ хорошія дѣла.

Облачивъ эту справедливую идею въ профессорскій мундиръ, мы не создали ровно никакого ручательства, что профессора будутъ свершать именно тѣ хорошія дѣла, которыхъ отъ нихъ ждутъ, а не займутся только постройкой для себя каменныхъ домовъ] да денежными конвенціями. Очевидно, что договоръ на вѣру общества съ профессорами не состоялся.

Кіевлянинъ винитъ общество въ излишней терпимости и въ слабости его общественнаго мнѣнія. Это обвиненіе напоминаетъ одинъ анекдотъ о Фридрихѣ II. Разъ Фридриху говорятъ, что такой-то его бранитъ. «А есть у него 60 тысячъ войска?» — спрашиваетъ Фридрихъ. — «Нѣтъ». — «Ну, такъ пускай себѣ бранитъ». И Наполеонъ III отлично зналъ, что за нимъ стоять

пятисоттысячная армія, и потому не обращалъ ровно никакого вниманія на общественное мнѣніе Франціи.

Положимъ, что у кievскихъ профессоръ-врачей нѣтъ никакой арміи, нѣтъ арміи и у профессора Владимірова; но что и кievскіе врачи, и проф. Владиміровъ опираются на какой-нибудь крѣпкій устой—не подлежитъ никакому сомнѣнію. И въ самомъ дѣлѣ, на судѣ все вокругъ возмущалось поведеніемъ профессора Владимірова, негодовала публика, негодовали чины судебного вѣдомства, негодовала адвокатура, негодовала прокуратура (а «отецъ студента-юриста» напечаталъ въ мѣстной газетѣ письмо, полное негодованія). Ужъ чего, кажется, больше! И все это негодованіе привело лишь къ тому, что профессоръ Владиміровъ велъ «неважно» свою защиту, а отказаться отъ нея и не подумалъ.

Кievлянинъ находитъ, что «упорное бравированіе общественнаго сознанія является ничѣмъ неоправдываемымъ вызовомъ обществу». Что поведеніе кievскихъ врачей и профессора Владимірова ничѣмъ не оправдывается—совершенно справедливо, но что въ этомъ поведеніи нѣтъ ни бравирования, ни вызова—тоже совершенно справедливо. Кажущееся бравированіе есть больше ничего, какъ установившееся теченіе, по которому, должно быть, плывутъ нѣкоторые профессора, не встрѣчая никакихъ препятствій. И поплывутъ они еще и дальше, нисколько не предполагая, что кидаютъ «вызовъ обществу», потому что они вовсе и не думаютъ его кидать. Профессоръ Владиміровъ берется за выгодныя для него судебныя дѣла, а профессоръ-врачи заключаютъ выгодную для себя стачку вродѣ томскихъ винокуренныхъ заводчиковъ—вотъ и все. Нравственно это или безнравственно, они этого не знаютъ, какъ не знали этого и томскіе винокуры. Люди поступаютъ такъ потому, что видятъ въ этомъ свою выгоду, что стремиться къ выгодѣ никому не запрещено и что подобныя дѣла дѣлать можно. Вотъ они ихъ и дѣлаютъ.

Значить, въ чемъ же вопросъ? Кажется, вопросъ въ томъ, что если у людей нѣтъ руководящаго ихъ поведеніемъ нравственнаго чувства, то нужно, чтобы какая-нибудь внѣшняя сила управляла ихъ поведеніемъ. У присяжныхъ повѣренныхъ есть совѣтъ, который и слѣдитъ за корпоративною адвокатскою нравственностью. У военныхъ подобною руководящею силою является военная честь, честь мундира и офицерскій судъ, который и судитъ тѣхъ, кто нарушитъ долгъ офицерской чести.

Кажется, только эти двѣ корпоративныя организации и имѣютъ общественное мнѣніе съ дисциплинарною властью. У другихъ корпорацій, особенно у свободныхъ профессій (художники, музыканты, литераторы), подобной организаціи нѣтъ, хотя у каждой изъ нихъ есть несомнѣнное свое корпоративное общественное мнѣніе, есть поэтому и чувство стыда, т.-е. боязнь общественнаго мнѣнія и забота о томъ, чтобы не вызвать его неодобренія или порицанія.

Суди по словамъ профессора Даневскаго, у харьковской ученой коллегіи корпоративное общественное мнѣніе преслѣдуетъ какія-то другія цѣли,

а общественную нравственность своих сочленовъ выстраняетъ изъ своей компетенціи. Во всякомъ случаѣ, профессорская нравственность заключается для этой коллегіи не въ томъ, что понимается подъ нею обществомъ. Поэтому-то общественное поведеніе профессора Владимірова и не возбуждало въ коллегіи ни неодобренія, ни протеста, а, напротивъ, протестующее коллегіальное чувство поднималось противъ тѣхъ, кто являлся изболителемъ. То же самое наблюдается и между кіевскими профессорами, потому что если бы кіевская ученая коллегія въ числѣ своихъ корпоративныхъ обязанностей считала наблюденіе за профессиональною нравственностью, то *Кіевлянинъ* не сталъ бы обвинять въ слабости кіевское общество и требовать отъ него воздѣйствующаго вліянія.

У насъ чувство стыда развито очень сильно. Это чуть ли не главное, основное наше чувство, которое до сихъ поръ и являлось единственною нравственною уздой для каждаго отдѣльнаго человѣка. Больше всего мы боимся, чтобы о насъ не сказали или не подумали дурно. Чувство боязни порицанія и необыкновенная чувствительность ко всякому оужденію и ко всякой похвалѣ — не только наша личная, но и наша національная черта. Отъ этого мы и обнаруживаемъ такую наклонность къ таинственности, келейности, къ сокрытію своего поведенія (когда не увѣрены въ немъ) и боимся всякой огласки. Отъ этого же и законъ о диффамациі встрѣтилъ у насъ такое сочувствіе и создалъ столько судебныхъ дѣлъ.

Что же касается совѣсти и чести, то не то, чтобы эти понятія у насъ не существовали, но они находятся пока въ состояніи неполнаго развитія. И въ самомъ дѣлѣ, стыдъ — вполне и для каждаго чувство ясное. Если не хочешь терпѣть стыда, не хочешь, чтобы на тебя смотрѣли косо, неодобрительно или даже съ неуваженіемъ, — поступай такъ, какъ требуетъ общество. Какое это общество, какъ велики его размѣры — это все равно. Свое общественное мнѣніе имѣетъ и кружокъ изъ 10 — 15 человѣкъ, и 3 — 4 деревенскихъ сосѣда.

Въ понятіи объ общественномъ мнѣніи не заключается никакого точнаго представленія объ его нравственномъ содержаніи. И у воровъ есть свое общественное мнѣніе, которому каждый воръ долженъ подчиняться: у нихъ есть и свое понятіе о воровской чести, котораго оскорблять нельзя. Общественное мнѣніе управляетъ и жизнью въ острогахъ, оно есть и у каторжныхъ. Какое бы ни было общественное мнѣніе, оно всегда нѣчто условное, имѣющее свой собственный кругъ понятій и представленій объ одобряемомъ или неодобряемомъ. Такимъ образомъ, общественное мнѣніе есть, въ сущности, внѣшняя контролирующая сила, но сила громадная, наиболѣе подчиняющая себѣ поведеніе каждаго отдѣльнаго человѣка. Ни законъ, ни судъ, ни уголовная кара не имѣютъ надъ людьми такой преобладающе-контролирующей власти, какую имѣетъ общественное мнѣніе.

Потому, что общественное мнѣніе бываетъ не только честнымъ, но и безчестнымъ, не только двигающимъ человѣка на добро, но толкающимъ его и на зло, не само по себѣ общественное мнѣніе имѣетъ руководящее

значение, а по тѣмъ требованіямъ, которыя оно предъявляетъ, по тому кодексу личной и общественной нравственности, которымъ оно одобряетъ одно и порицаетъ другое. Тутъ ужъ выступаетъ вопросъ о совѣсти, вопросъ о томъ, что люди считаютъ дозволеннымъ или недозволеннымъ.

Но и совѣсть, взятая вообще, не разрѣшаетъ вопроса о дозволенномъ и недозволенномъ. Совѣсть тоже бываетъ разная; у каждого человѣка она своя собственная и отвѣчаетъ его нравственнымъ воззрѣніямъ, нравственнымъ понятіямъ, нравственному чувству, нравственнымъ инстинктамъ, привычкамъ и вообще составу его души. И, тѣмъ не менѣе, совѣсть есть внутренній законъ человѣка,—тотъ его законъ, который человѣкъ самъ признаетъ для себя обязательнымъ. Поэтому-то человѣкъ, нарушившій самъ свой собственный законъ, страдаетъ внутреннимъ неудовлетвореніемъ, страдаетъ иногда ужасно, мучительно-болѣзненно—и это-то и есть такъ называемое угрызение совѣсти.

Чтобы застрадать угрызеніемъ совѣсти, человѣку вовсе не нужно вообразить себѣ, что о немъ скажутъ, и ему не бросится краска стыда въ лицо при мысли, что о немъ подумаютъ люди, мнѣніемъ которыхъ онъ дорожитъ. Совѣсть не есть головное или умственное чувство, какъ стыдъ.

Вотъ эта-то самая совѣсть и служитъ основой общественнаго мнѣнія. Совѣсть есть центральная сила, связывающая въ болѣе или менѣе тѣсную группу извѣстныхъ нравственно-душевныхъ однородности. Это не условленный и чаще всего бессознательный союзъ людей, сходныхъ по своимъ инстинктамъ и нравственнымъ тяготѣніямъ и способныхъ понимать только то, что находятъ откликъ въ ихъ душѣ.

Но, вѣдь, и душа человѣка не явилась на свѣтъ Божій во всеоружіи своего гражданскаго и общественнаго величія. Много прошло вѣковъ, прежде чѣмъ дикарь, путемъ постоянного развитія, превратился, наконецъ, въ величественный образъ того гражданскаго героизма, какой исторія даетъ въ лицѣ Вашингтона, этого чистѣйшаго, благороднѣйшаго и лучшаго представителя общественной совѣсти.

Насколько же у насъ развита именно эта совѣсть, насколько тѣсную и вліятельную группу составляютъ люди этого развитія? Что люди съ наиболѣе развитою общественною совѣстью у насъ есть и что они въ притворкахъ своей совѣсти едва ли въ чемъ-нибудь разойдутся—не подлежитъ сомнѣнію. Но является еще и другой вопросъ,—вопросъ чисто-практическій: насколько у этого высшаго суда общественной совѣсти есть средствъ и возможностей обнаруживать свое вліятельное воздѣйствіе?

Общество наше живетъ пока отдѣльными мірками и распадается на группы по роду своихъ занятій. Есть у насъ міръ адвокатовъ, міръ судебный, міръ военныхъ, коммерческій міръ, художественные и литературные кружки. Распадаясь по специальностямъ, каждый такой отдѣльный міръ, а иногда и мірокъ, живетъ своимъ корпоративнымъ общественнымъ мнѣніемъ и своею собственною общественною совѣстью. Между этими специальными совѣстями нѣтъ нерѣдко ни малѣйшей связи. Что, напримѣръ, общаго ме-

жду адвокатскою совѣстью и совѣстью купеческою или судейскою совѣстью и совѣстью желѣзно-дорожниковъ? Каждая изъ подобныхъ специальныхъ совѣстей можетъ расходиться съ общою совѣстью, въ чемъ наше общество и имѣло возможность уже не разъ убѣждаться. Еще недавно общество возмущалось нравами и понятіями адвокатскаго міра, дѣйствительно, торговавшего своею совѣстью. Съ тѣхъ поръ многое измѣнилось въ этомъ мірѣ и нравственная дисциплина его значительно поднялась. Теперь наступила очередь для желѣзно-дорожниковъ и для коммерческаго міра. Въ особенности поражаетъ своею тупостью наша коммерческая совѣсть или, вѣрнѣе, наша торговая безсовѣстность. На всю Россію падаетъ за нее стыдъ и, какъ выразился нѣкогда лѣтописецъ о Новгородѣ, «стали мы въ поруганіе сосѣдямъ нашимъ».

Но въ чемъ же имѣетъ возможность выразиться у насъ нравственный союзъ людей въ дѣлѣ той общей гражданской совѣсти, которая иногда не находитъ себѣ мѣста въ частной корпоративной совѣсти купцовъ, желѣзно-дорожниковъ, коллегій ученыхъ, общественныхъ воспитателей и т. д.? Чѣмъ и въ чемъ эта совѣсть можетъ обнаружить свой запретъ и какія у нея возможности, чтобы встать во всеоружіи своей нравственной власти и строгаго контроля надъ каждою отдѣльною единоличною или корпоративно-дѣловою нравственностью? Единственнымъ органомъ ея у насъ является въ настоящее время печать.

Н. Ш.

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты торжественно отпраздновали столѣтіе со дня избранія великаго Вашингтона первымъ президентомъ республики. Въ Нью-Йоркѣ прибыло по этому случаю изъ разныхъ мѣстъ Союза до двухъ милліоновъ посѣтителей. Празднества прошли съ блескомъ и шумнымъ одушевленіемъ. Въ сто лѣтъ республика достигла неслыханнаго развитія. Ея населеніе съ 4 милліоновъ (въ 1789 году) поднялось до 65 милліоновъ. Одинъ изъ ораторовъ, членъ конгресса Дешью, съ вполнѣ основательною гордостью указалъ на то, что Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты занимаютъ теперь первое мѣсто въ мірѣ по богатству своей промышленности. Тотъ фактъ, что половина всего протяженія рельсовыхъ путей во всемъ свѣтѣ, говоритъ Дешью, и четверть всѣхъ телеграфныхъ линий земнаго шара находится въ великой заатлантической республикѣ, ярко свидѣтельствуетъ о размѣрахъ, разнообразіи и цѣнности внутренней торговли въ этой странѣ. 12 милліоновъ дѣтей, продолжалъ ораторъ, посѣщаютъ народныя школы. 345 университетовъ и колледжей открыты для высшаго образованія мужчинъ и 200 для женщинъ. 450 учебныхъ заведеній посвящены спеціальному образованію (медицинѣ, праву и т. д.). Вотъ въ чемъ заключается для американцевъ защита противъ смуть и прочная опора цивилизаціи и свободы. Многочисленны были смѣны правительствъ и системъ въ Европѣ; но американскій народъ съ конца прошлаго столѣтія счастливо живетъ при конституціи, которую прочно утвердилъ благородный и могучій духъ Вашингтона.

Съ американскими празднествами почти совпали по времени праздники столѣтія открытія генеральныхъ штатовъ въ Версали и открытіе парижской всемірной выставки. Президентъ Французской республики произнесъ на первомъ изъ этихъ торжествъ замѣчательную рѣчь, которая вызвала восторженные рукоплесканія присутствовавшихъ. «Никогда наша благодарность, — сказалъ г. Карно, — никогда благодарность нашего потомства не сравнится съ услугами, оказанными Франціи и человѣчеству нашими отцами. Знаменитые мыслители провозгласили принципы справедливости, равенства и свободы. Наши отцы взяли на себя исполнскую задачу сдѣлать эти принципы устоями общества и основать новый способъ правленія на началахъ разума и справедливости. Слава имъ! Слава доблестнымъ борцамъ! Настоящая республика явилась вѣнцомъ того дѣла, которое было начато сто лѣтъ тому назадъ. Она составляетъ

цѣль, которой послѣ многихъ потрясеній, послѣ жестокихъ испытаній, остающихся слѣдъ неизгладимой печали, долженъ былъ достигнуть благородный французскій народъ, такъ страстно преданный равенству, такъ ревниво берегущій свободу».

Торжество открытія всемірной выставки прошло блистательно. Успѣхъ ея поразителенъ. И друзья, и враги Франці признають этотъ знаменательный фактъ, это отрадное торжество мирнаго труда и научнаго гениа. Совсѣмъ не участвуетъ на выставкѣ Германія, но ея отсутствіе совершенно незамѣтно. Въ Берлинѣ была открыта въ апрѣлѣ своя выставка, и очень интересная: выставка существующихъ приспособленій для огражденія жизни и здоровья рабочихъ на фабрикахъ, заводахъ и т. п. Императоръ Вильгельмъ при открытіи этой выставки произнесъ довольно длинную рѣчь, которая весьма характерна. Любовь къ ближнему, сказала молодой императоръ, должна найти себѣ осуществленіе въ общественной жизни и въ государственныхъ учрежденіяхъ. Упомянувъ о починѣ въ этомъ отношеніи Вильгельма I (правильнѣе, князя Бисмарка), Вильгельмъ II заявилъ, что онъ самъ приступаетъ къ дѣятельности «съ полнымъ сознаніемъ соціальныхъ задачъ и необходимости ихъ разрѣшенія, разсчитывая при этомъ на содѣйствіе всѣхъ сословій народа, въ особенности же на поддержку какъ рабочихъ, о благосостояніи которыхъ идетъ рѣчь, такъ и предпринимателей, которые въ собственномъ интересѣ не остановятся ни передъ какими жертвами».

Два послѣднія предположенія императора Вильгельма II довольно сомнительны. Какъ извѣстно, положеніе массы рабочихъ въ Германіи весьма далеко отъ благосостоянія и рабочіе съ большимъ недоувѣріемъ относятся къ такимъ мѣрамъ на ихъ пользу, которыя являются, въ то же время, новымъ и тяжелымъ усиленіемъ бюрократическаго элемента. Недавно начавшіяся стачки въ вестфальскихъ каменноугольныхъ копанияхъ приняли, какъ извѣстно изъ газетъ, очень грозный характеръ. Дѣло дошло до кровопролитныхъ схватокъ съ войсками, причѣмъ на той и на другой сторонѣ были убиты. Ничего болѣе прискорбнаго само по себѣ и болѣе тревожнаго для бисмарковской системы управленія нельзя себѣ и представить. Если движеніе среди рудокоповъ продлится и усилится, то это будетъ, пожалуй, опаснѣе буланжизма, который покуда большаго вреда Франціи не принесъ, человѣческихъ жертвъ не вызвалъ, а, можетъ быть, и не вызоветъ вовсе. Германское общество разьединено столь же глубоко, какъ и общество французское, причѣмъ, благодаря значительнымъ успѣхамъ въ послѣднемъ демократическихъ идей, гибельныя послѣдствія такого разьединенія во Франціи все болѣе и болѣе уменьшаются. До чего доходятъ въ современной Германіи затменіе умовъ и рабское преклоненіе нѣкоторыхъ общественныхъ слоевъ передъ всепоглощающимъ государствомъ, видно, напримѣръ, изъ предложенія нѣкоего Бернгарди, напечатаннаго въ одномъ изъ специальныхъ нѣмецкихъ изданій. Этотъ патріотъ полагаетъ, что слѣдовало бы (мы беремъ извѣстіе изъ *Московскихъ Вѣдомостей*) поручить завѣдываніе школьнымъ дѣломъ военному министру. Германская армія, — говоритъ Бернгарди, — и

безъ того *оспитываетъ* двѣ трети мужскаго населенія, и военный министръ поэтому отлично справится съ задачами учебнаго вѣдомства. Чѣмъ это предложеніе разнится отъ предложенія «фельдфебеля въ Вольтеры дать»?

Печальнымъ показателемъ того порядка вещей, который создается тягостнымъ давленіемъ милитаризма и бюрократизма, является известное читателямъ изъ нашихъ газетъ дѣло мюльгаузенскаго полицейскаго комиссара Вольгемута, арестованнаго швейцарскими властями за подстрекательство къ совершенію политическихъ преступленій. Въ Швейцаріи не мало германскихъ социаль-демократовъ, спасшихся въ свободной странѣ отъ преслѣдованій и притѣсненій своего правительства. Въ этой эмигрантской средѣ Вольгемуть игралъ гнусную роль подстрекателя, того, что французы называютъ *agent provocateur*. Социаль-демократы устроили нѣмецкому провокатору ловушку, въ которую тотъ и попался. Оффиціозная и ретроградная германская печать забила тревогу по поводу ареста, произведеннаго швейцарскими властями, посыпались высокомерныя угрозы маленькому государству, которое осмѣлилось, вопреки волѣ правительства гогенцоллернской имперіи, поступить у себя дома на основаніи элементарныхъ предписаній права и законности. Но Швейцарія не испугалась, Вольгемуть посидѣлъ-таки подъ арестомъ, а затѣмъ былъ высланъ изъ предѣловъ республики.

И за союзъ съ *этой* Германіей принуждены, въ значительной мѣрѣ по винѣ нашей дипломатіи, распинаться австрійскіе славяне! Недавно въ цислейтанской палатѣ депутатовъ однимъ изъ нѣмецкихъ народныхъ представителей было высказано предположеніе, что *польско-чешская* Австрія исполнитъ свои договорныя по отношенію къ Германіи обязательства съ большою неохотой, а то и вовсе ихъ не исполнитъ. Вожди славянскихъ народовъ въ палатѣ депутатовъ выступили противъ этого заявленія съ рѣшительными протестами. Старо-чешская печать также обрушилась на депутата Тюрка, высказавшаго приведенное нами предположеніе. Въ парламентѣ Ригеръ сказалъ, что чешскій народъ одобряетъ союзъ съ Германіей, потому что видитъ въ немъ обезпеченіе мира для всей Европы. Органъ младо-чешской партіи, *Nar. Listy*, опровергаетъ это мнѣніе Ригера. По мнѣнію газеты, большинство чешскаго народа недоволено союзомъ съ Германіей, который сводится къ подчиненію Австро-Венгріи цѣлямъ бисмарковской политики. *Politik* рѣзко возражаетъ газетѣ Грегга и находитъ, что престарѣлый вождь старо-чеховъ вполнѣ правъ, что его взглядъ выражаетъ убѣжденіе большинства чешскаго народа, *съ особенностями въслѣ серьезныхъ, сомнѣныхъ и вліятельныхъ слоевъ населенія*. Въ этихъ словахъ заключается несомнѣнное преувеличеніе, потому что значеніе младо-чешской партіи въ послѣдніе годы постоянно и быстро увеличивается, и недавно еще маловажная группа съ Греггомъ во главѣ теперь играетъ уже большую роль во внутренней жизни Богеміи.

Та точка зрѣнія, которая защищается Ригеромъ, обуславливается особенностями и затрудненіями положенія чеховъ въ габсбургской монархіи, и мы не отрицаемъ успѣховъ, достигнутыхъ для чешскаго народа страте-

гней и тактикой вождей старо-чеховъ. Но все же печальна необходимость, — если она дѣйствительно существуетъ, — вступать въ борьбу за правое дѣло въ соглашеніи и сдѣлкіи съ союзниками сомнительнаго достоинства, тѣмъ болѣе съ явными врагами свободного и правильнаго развитія современнаго общества. Извѣстный вождь клерикаловъ, князь Лихтенштейнъ, внесъ, какъ знаютъ читатели, въ палату депутатовъ дислейтанскаго парламента законопроектъ, имѣющій цѣлью подчиненіе народной школы римско-католической церкви, сокращеніе числа учебныхъ лѣтъ, изгнаніе изъ преподаванія многихъ необходимыхъ предметовъ и т. п. Съ рѣзкою критикой этого законопроекта выступилъ, при громкихъ рукоплесканіяхъ нѣмецкой либеральной партіи, Грегръ, а старо-чехи заняли довольно двусмысленное положеніе. Ихъ отчасти прельщаетъ предполагаемое Лихтенштейномъ расширеніе правъ мѣстнаго самоуправленія въ школьномъ дѣлѣ; съ другой стороны, они, очевидно, не рѣшаются поколебать своего союза съ клерикалами и съ богемскою аристократіей, потому что тогда распалось бы нынѣшнее большинство въ парламентѣ. *Politik* горько упрекаетъ Грегра за то, что его рѣчи рукоплескали «влѣйшіе враги богемскаго народа». Но эта точка зрѣнія не выдерживаетъ ни малѣйшей критики. Грегръ ярко подчеркивалъ, что партія младо-чеховъ есть партія національная. Именно въ національныхъ интересахъ онъ горячо возставалъ противъ реакціонныхъ стремленій, очевидныхъ въ проектѣ Лихтенштейна. Плохо дѣло того народа, который не согласуетъ своихъ правъ и потребностей съ уваженіемъ къ другимъ народамъ, съ основными требованіями справедливости.

Рѣчь Грегра произвела сильное впечатлѣніе и, какъ замѣтила *Neue Freie Presse*, не осталась безъ вліянія на ходъ парламентскихъ занятій. Судя по послѣднимъ извѣстіямъ, положеніе министра народнаго образованія, Гауча, который пытался балансировать между правой и лѣвой сторонами парламента, сильно пошатнулось, а реакціонная затѣя князя Лихтенштейна не имѣетъ шансовъ на успѣхъ. Польскіе консерваторы, отъ имени которыхъ говорилъ въ парламентѣ Бобржинскій, никакою цѣной не желаютъ покупать пониженія уровня народнаго образованія. Само собою разумѣется, что нельзя заподозрить такого желанія и у старо-чешской партіи. Принципъ, который выставилъ Грегръ: школа принадлежитъ не государству и не церкви, а народу, — приобретаетъ въ Австріи все больше и больше сторонниковъ.

Князь Лихтенштейнъ, какъ и другіе вожди клерикаловъ, любитъ выставлять себя защитникомъ интересовъ рабочихъ классовъ. Въ засѣданіи палаты депутатовъ 11 апрѣля онъ выступилъ съ предложеніемъ объ участіи Австро-Венгрии на созываемой по почину правительства швейцарской республики международной конференціи по вопросамъ фабричнаго законодательства. Лихтенштейнъ напомнилъ, что правительство швейцарскаго союза еще въ 1881 году обратилось къ правительствамъ всѣхъ европейскихъ государствъ съ предложеніемъ установить международныя нормы фабричнаго законодательства. Громадное практическое значеніе подобнаго рода

нормъ очевидно. Теперь страна, развившая у себя законодательство на пользу рабочихъ классовъ, можетъ терпѣть довольно значительныя неудобства отъ того, что съ ней можетъ, въ той или другой отрасли промышленности, соперничать государство, у котораго фабричное законодательство еще слабо развито. Нечего доказывать, что международное законодательство ведетъ за собою много иныхъ, въ высшей степени желательныхъ, послѣдствій.

Одинъ изъ ораторовъ оппозиціи сейчасъ же припомнилъ князю Лихтенштейну, что въ 1884 году Лихтенштейнъ высказывался въ парламентѣ *противъ* международного фабричнаго законодательства. Затѣмъ Нейвиртъ въ обстоятельной рѣчи доказалъ, что движеніе законодательства на пользу рабочихъ классовъ вызвано могучимъ починомъ общественной науки, трудами такихъ, напримѣръ, ученыхъ, какъ Лоренцъ Штейнъ. Нейвирту стоило не многихъ усилій доказать, что либерализмъ, какъ политическое ученіе, вполне согласуется съ вмѣшательствомъ государства въ экономическія отношенія въ интересахъ справедливости, то - есть поддержки слабого въ борьбѣ съ сильнымъ. Въ заключеніе преній цислейтанская палата депутатовъ приняла предложеніе князя Лихтенштейна *единогласно*.

Очень сочувственный откликъ нашло предложеніе швейцарскаго правительства во Франціи, фабричное законодательство которой, послѣ паденія второй имперіи, пошло довольно быстрыми шагами. *Justice* говоритъ, что установленіе международного фабричнаго законодательства будетъ неопцннимымъ благодѣяніемъ, за которое рабочіе всей Европы должны глубоко благодарить швейцарское правительство. Конференція предполагается въ Бернѣ, въ сентябрѣ нынѣшняго года.

Оживленіе клерикальной и реакціонной дѣятельности замѣчается не въ одной Австріи, но повсюду въ Европѣ. Въ Мадридѣ и въ Лиссабонѣ собирались многолюдные католическіе конгрессы, которые высказывались въ самыхъ рѣзкихъ выраженіяхъ за возстановленіе свѣтской власти папъ. Въ Германіи партія центра такъ сильна, что заставляетъ князя Бисмарка идти на уступки. Недавно засѣдавшій въ Вѣнѣ католическій конгрессъ имѣлъ въ числѣ своихъ участниковъ много представителей высшей австрійской аристократіи. Постановленія этого конгресса, враждебныя итальянскому правительству, не могутъ, конечно, повліять на отношенія Австро-Венгріи къ Италіи въ пресловутой *Литъ мира*, но не лишены значенія и вызвали запросъ въ итальянскомъ парламентѣ. Естественно, что манифестаціи австрійскихъ клерикаловъ не мугутъ укрѣплять дружескихъ чувствъ итальянскаго народа къ государству, союзъ съ которымъ не вызывается ни однимъ изъ жизненныхъ интересовъ Италіи. Наоборотъ, возобновленіе симпатій къ Франціи идетъ съ возрастающею быстротой. Любопытно отмѣтить, что говорить о нынѣшней Италіи такой наблюдатель и судья, какъ Гладстонъ. Въ статьѣ, напечатанной въ майской книгѣ *Nineteenth Century*, великій государственный человѣкъ пишетъ, что итальянцы пользуются теперь свободой печати, свободой слова, вѣроисповѣданія, личности, со всѣми признаками могучей муниципальной жизни, замѣнившей собою неподвижное

однообразіе центрального и жѣстнаго деспотизма. » Насколько простираются мои историческія познанія,—продолжаетъ Гладстонъ,—никакая страна, за исключеніемъ Франціи между 1789 г. и имперіей, не подверглась столькимъ переменамъ въ такой короткій промежутокъ времени, какъ Италия въ теченіе послѣдняго двадцатилѣтія».

Въ числѣ причинъ, укрѣпившихъ итальянское единство, глава англійской либеральной партіи указываетъ на непоколебимую вѣрность короля конституціи, ограждающей права итальянскаго народа. Главною причиною политическаго роста и силы молодого итальянскаго королевства онъ считаетъ свободу печати. «Я придаю, быть можетъ, этому предмету,—замѣчаетъ Гладстонъ *),—слишкомъ большое значеніе. Но я принадлежу къ тѣмъ, которые думаютъ, что истинная цивилизація состоитъ въ замѣнѣ физическихъ силъ нравственными и можетъ быть измѣрена степенью этой замѣны. Въ числѣ этихъ нравственныхъ силъ есть одна, имѣющая прямое отношеніе къ государственной дѣятельности: эта сила—гласность. Я возлагаю на силу гласности, существующей въ Италиі, больше надеждъ, чѣмъ на какой-либо другой факторъ въ этомъ великомъ преобразованіи, и думаю, что свобода слова—лучшая охрана прочности и развитія новаго порядка вещей».

Какая Италия восторжествуетъ: та ли, которая въ лицѣ короля Гумберта и министра-президента Криспи ѣздитъ на поклонъ въ Берлинъ, или та, которая горячо выражаетъ свое сочувствіе Франціи,—это покажетъ ближайшее, быть можетъ, будущее. Несомнѣнно, что громадный успѣхъ парижской всемірной выставки, тотъ удивительный порядокъ, который царствуетъ въ Парижѣ, несмотря на сотни тысячъ жителей провинціи и иностранцевъ, нахлынувшихъ въ великій городъ,—имѣетъ несомнѣнное международное значеніе, является блистательнымъ возмездіемъ (révanche) Франціи. Читатели припомнятъ, вѣроятно, что мадьярскій министр-президентъ высказывалъ предположеніе, что на всемірной выставкѣ въ Парижѣ имущество и жизнь австрійскихъ подданныхъ будутъ въ опасности. Съ тѣхъ поръ, какъ Тисса произнесъ эти легкомысленныя слова, на улицахъ столицы Венгріи пролилась кровь, полиція и войска вступали въ схватки съ населеніемъ, горячо и грозно протестовавшимъ противъ онѣмеченія мадьярской арміи. А въ Парижѣ и по всей Франціи все спокойно, несмотря на яростную и негнущающуюся никакими средствами агитацію бонапартистовъ, буланжистовъ, орлеанистовъ и клерикаловъ. Мы приводили уже вопіющіе факты насильственной мадьяризаціи словацкихъ дѣтей въ доказательство того, до какихъ печальныхъ послѣдствій доводитъ крайнее развитіе національныхъ стремленій къ государственному величію; эта манія величія заставляетъ мадьяръ поступать съ безпомощными словаками хуже,—говоритъ Юлій Грегръ,—чѣмъ съ какими бы то ни было дикарями **). Естественно поэтому, что у славянъ и у румынъ возрастаютъ нелюбовь и даже ненависть къ мадьярамъ.

В. Г.

*) Русскія Вѣдомости, № 113.

**) Славянскія Извѣстія, № 18: Въ защиту славянства.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Смерть М. Е. Салтыкова.—Дѣятельность гр. Д. А. Толстаго.—Назначеніе новаго министра путей сообщенія.—Вопросъ объ институтѣ этого вѣдомства.—Надзоръ надъ банкирскими конторами.—Мѣры въ Балтійскомъ краѣ.—Ценъ по образованію въ городскомъ представительствѣ.

Русская литература и русское общество понесли въ концѣ прошлаго мѣсяца тяжелую утрату: 28 апрѣля скончался М. Е. Салтыковъ. Литература теряетъ въ немъ первостепеннаго писателя, сохранявшаго, несмотря на давнюю жестокою болѣзнь, всю силу яркаго таланта, всю крѣпость глубокаго ума; новѣйшее произведеніе покойнаго *Пошехонская старина* подавало право надѣяться, что оно не будетъ послѣднимъ плодомъ мощнаго творчества нашего славнаго сатирика. Общество лишилось въ немъ громкаго, неустраимаго, краснорѣчиваго голоса, къ вѣщему звуку котораго оно до такой степени привыкло въ теченіе тридцати лѣтъ, что теперь, когда онъ смолкъ, почувствуется нѣкоторый пробѣлъ въ нашей умственной жизни, отсутствіе извѣстнаго, періодически повторявшагося, ѣдкаго и сильнаго впечатлѣнія, которое сдѣлалось какъ бы составною частью этой жизни и потребностью нашего общественнаго организма.

Общественное значеніе Салтыкова было такъ велико, что въ этомъ отношеніи съ нимъ не равнялся ни одинъ изъ нашихъ писателей послѣ Гогаля, котораго Салтыковъ и былъ прямымъ преемникомъ, роднымъ сыномъ по роду таланта и по свойству своей общественной заслуги. Передовое мѣсто онъ добылъ себѣ сразу *Губернскими очерками*, которые появились въ *Русскомъ Вѣстникѣ* въ 1856 году. Достаточно напомнить, что произведеніе это дало новое направленіе тогдашней литературѣ, приблизивъ ее къ такъ называемой «злобѣ дня», поставивъ передъ ней на первомъ планѣ задачу публицистическую. Періодъ такъ называемой «обличительной» литературы теперь понимается слишкомъ узко тѣми, кто представляетъ его себѣ лишь въ области газетныхъ разоблаченій разныхъ мелкихъ злоупотребленій и безобразій. Изъ того періода вышли нѣсколько замѣтныхъ писателей, у которыхъ обличеніе стояло на высотѣ беллетристической сатиры. Рѣдкій изъ литераторовъ того времени не увлекся этимъ направле-

нѣмъ. Его испытывалъ на себѣ и Тургеневъ, выступавшій сперва съ сатирою, обращенной въ обѣ стороны, но затѣмъ склонявшійся все болѣе и болѣе на одну изъ нихъ.

Наиболѣе сильнымъ представителемъ этого направленія, въ формѣ ближе всего подходившей къ тому роду, который называется въ поэзіи сатирою, былъ Салтыковъ. Вліяніе его на общество и авторитетъ въ литературномъ кругу въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ были огромны. Послѣ смерти Добролюбова и отъѣзда Н. Г. Чернышевскаго, *Современникъ* не имѣлъ сотрудника болѣе вліятельнаго, чѣмъ Салтыковъ. Традиція *Современника*, какъ извѣстно, перешла потомъ къ *Отечественнымъ Запискамъ*, которыхъ редакторомъ сдѣлался Салтыковъ по смерти Некрасова. Переходъ *Отечественныхъ Записокъ* подъ редакцію Некрасова въ 1868 году состоялся одновременно съ выходомъ Салтыкова изъ гражданской службы и окончательнымъ переѣздомъ его въ Петербургъ. Послѣ закрытія *Отечественныхъ Записокъ* въ 1884 году, Салтыковъ являлся уже только гостемъ въ тѣхъ изданіяхъ, въ которыхъ помѣщались послѣдующіе свои труды. Ни составъ ихъ редакцій, ни направленіе ихъ отъ него уже не зависѣли. Но самъ онъ оставался — Салтыковымъ, стоя одинокимъ, продолжалъ быть силою; оторванный временемъ и обстоятельствами отъ фаланги работавшихъ съ нимъ прежде талантливыхъ публицистовъ, онъ представлялся для нашего времени не только первостепеннымъ сатирическимъ писателемъ, какимъ останется навсегда, но еще голосомъ изъ того недавняго прошлаго, гдѣ сокрыты корни и нынѣшняго умственнаго строя. Если Гоголь признается родоначальникомъ того направленія, въ которомъ литература пришла на помощь и въ утѣшеніе обществу, предпочла задачамъ чистаго искусства великое назначеніе — предоставить въ себѣ органъ общественнымъ стремленіямъ, дать обществу тотъ собирательный голосъ, какового оно не могло имѣть иначе, то Салтыковъ, повторяемъ, наиболѣе непосредственно свяжетъ насъ съ Гоголемъ; наиболѣе воинственно продолжалъ дѣло людей сороковыхъ годовъ, подъ новымъ знаменемъ — того умственнаго движенія, которымъ русское общество было охвачено въ годы великихъ реформъ и въ которомъ, какъ бы то ни было, взяло свое начало все то, что въ насъ есть живаго и въ настоящее время. Въ этомъ смыслѣ къ Салтыкову, болѣе чѣмъ къ кому-либо, идетъ названіе «учитель» (*maître*), съ какимъ во Франціи обращаются къ великимъ художникамъ слова, красокъ и звуковъ.

Конечно, не все имъ написанное одинаково художественно, потому что, будучи великимъ художникомъ, онъ, однако, вѣрный основному принципу своего направленія, видѣлъ призваніе свое не въ искусствѣ, но въ общественномъ служеніи, не надѣвалъ тоги Рафаэля или хотя бы альмавивы Пушкина, но работалъ и ходилъ въ повседневной блузѣ журналиста. Мысль въ немъ не цвѣла, но кипѣла и выбрасывалась взрывами. Формѣ онъ не придавалъ значенія и весьма часто являлся художникомъ поневолѣ; когда хотѣлъ быть только журналистомъ. Множество настоящихъ жемчужинъ юмо-

ра и глубокой мысли, отлившейся въ мастерскихъ опредѣленіяхъ и замѣткахъ, разбросано имъ въ такихъ очеркахъ, какъ, наприм., *Письма изъ провинціи*, которыя онъ самъ считалъ простыми фельетонами, видѣлъ въ нихъ обыкновенную черную работу журналиста. Призваніе свое онъ признавалъ въ томъ, чтобы зорко, непрерывно слѣдить за каждою новою фальшью, каждымъ новымъ искаженіемъ, пустою позировкой и горькою неправдой, какія приносило теченіе; каждую онъ умѣлъ изъ него выхватить, очистить отъ притязательной скорлупы тонкимъ рѣзцомъ или грубымъ, по острымъ ножомъ, такъ чтобы она бросалась всѣмъ въ глаза своею рѣзкою правдивостью, и показывалъ ее обществу, наклеивъ на нее ярлыкъ столь вѣрный и яркій, что изслѣдованный предметъ такъ и оставался навсегда съ этимъ названіемъ. Молодое поколѣніе уже и не отдастъ себѣ отчета, какъ много созданныхъ Щедринымъ опредѣленій, кличекъ и оборотовъ вошло въ нашъ литературный языкъ. И въ этомъ отношеніи большое его сходство съ Гоголемъ.

Правда, какъ авторъ крупныхъ беллетристическихъ произведеній, Салтыковъ стоитъ ниже Гоголя, но въ совокупности своего творчества, всего имъ созданнаго, онъ не уступаетъ Гоголю, а какъ общественный дѣятель онъ явился выше своего предшественника. Гоголь, какъ разъ наоборотъ Салтыкову, былъ, прежде всего, художникъ, который только въ силу своего сатирическаго таланта и даже не совѣмъ сознательно сдѣлался общественнымъ борцомъ. Салтыковъ, напротивъ, былъ такимъ художникомъ, который въ общественномъ дѣлѣ видѣлъ все свое призваніе. Притомъ, если отдѣльныя произведенія его менѣе крупны, чѣмъ у Гоголя, за то типы, имъ изслѣдованные и поставленные имъ въ общественный музей, были менѣе уловимы для писателя, обследованы болѣе сознательно и сами по себѣ представляютъ нѣчто болѣе тонкое, чѣмъ Гоголевскіе взяточники, невѣжды, обжоры, скупцы и т. д. Въ типахъ Салтыкова видно болѣе многостороннее и болѣе причинное изслѣдованіе русской жизни.

Возьмите, напримѣръ, типы разныхъ губернаторовъ въ *Исторіи одного города*, *Помпадуровъ*, *Ташкентцевъ*, разнаго рода *Благонамѣренныхъ*, возьмите опредѣленіе различныхъ общественныхъ теченій, рѣзкіе и живые образы семейныхъ отношеній въ *Головлевыхъ* и *Пошехонской старинѣ*,—все это вмѣстѣ составляетъ галерею безчисленныхъ жанровыхъ картинъ и портретовъ, написанныхъ ярко, реально и, при всей реальности, страстно,—черта, которой также недоставало величайшему изъ нашихъ сатириковъ, Гоголю. Даже независимо отъ его *Писемъ*, выведенные Гоголемъ типы взяточниковъ, самодуровъ и проч. еще могли инымъ читателямъ представляться какъ бы случайными, для многихъ могла еще оставаться тайною истинная причина уродливыхъ явленій жизни и «незримыхъ слезъ» писателя. Наоборотъ, у Салтыкова въ рукахъ не только сатирической бичъ, но и зеркало причинности, которымъ онъ наводитъ яркій свѣтъ на все бичуемое.

Надо прибавить, что кругозоръ Салтыкова былъ шире, чѣмъ самая рус-

ская жизнь, что мысль его проникла глубже того слоя, въ которомъ лежать корни нашихъ особыхъ, мѣстныхъ недостатковъ. Чувствительному и гнѣвному его уму не давали покоя всѣ язвы, отъ которыхъ страждетъ челоуѣчество. Нерѣдко вырывалось у него мимоходомъ слово, а иногда выливались страницы, полныя горькой скорби надъ участью слабыхъ, отиженныя глухимъ протестомъ противъ общаго рока, противъ безсилія правды, противъ торжества недоразумѣній. Но умъ Салтыкова былъ не только глубокъ, и не только страстенъ, онъ былъ силенъ. Вотъ почему онъ не расплывался въ какомъ-либо всемирномъ пессимизмѣ, а сосредоточивался и напрягался, главнымъ образомъ, въ одну сторону, въ болѣе близкую, болѣе непосредственную, —туда, гдѣ всего больнѣе жметъ дѣйствительность.

Отъ насъ далека мысль дать на этихъ немногихъ страницахъ сколько-либо достойный Салтыкова литературный очеркъ его дѣятельности. Мы должны ограничиться наброскомъ того характера, какой представляла среди насъ эта могучая фигура изъ прошедшаго, остававшаяся доселѣ съ нами и возвышавшаяся надъ всѣмъ современнымъ, какъ живой памятникъ того, къ чему шло русское общество, какъ указатель пути, который несомнѣнно лежитъ передъ нами и въ болѣе свѣтломъ будущемъ. Трогательное и величавое, поистинѣ, явленіе представлялъ собою непреклонный страдалецъ, который уже ничего не ждалъ отъ жизни для себя, а въ близкомъ—даже для своихъ идей, часто говорилъ о себѣ: «довольно ужъ, пора быть концу, надоѣло», —и во все это долгое время страданій продолжалъ горѣть все тѣмъ же, не ослабѣвавшимъ боевымъ огнемъ, переносилъ свое закаленное, беспощадное перо съ однихъ листовъ на другіе, по мѣрѣ того, какъ время и обстоятельства вырывали прежніе изъ рукъ его.

Человѣка этого, рожденнаго съ сердцемъ добрымъ, съ тою удвоенною способностью страдать, которая есть печальная привилегія натуръ избранныхъ, жизнь наполнила оцтомъ и желчью, насытила злобою на препятствія, на разочарованія, на пошлость и фальшь, на безсиліе порывовъ, на болѣзни... Когда, бывало, послѣ нѣсколькихъ произнесенныхъ словъ, онъ задыхался отъ кашля, въ лицѣ выражалось гнѣвное страданіе, а руки безпомощно опускались, —въ такія минуты онъ казался живою аллегоріей своей судьбы и положенія не своего только, но и многихъ, многихъ съ нимъ людей... Нѣтъ болѣе Салтыкова и нѣтъ ему преемника. Но самого его не забудетъ никто изъ его знавшихъ, а написаннаго имъ никогда не забудетъ Россія.

Въ тотъ самый день, когда скончался писатель, хоронили министра— графа Д. А. Толстаго. Товарищи по лицу, въ жизни они разошлись въ совершенно различныхъ направленіяхъ, каждый на своемъ пути дошелъ до предѣла и занялъ вліятельное мѣсто. Но вліяніе поэта—въ умахъ, дѣятельностью государственнаго челоуѣка опредѣлялся ходъ дѣлъ современности. Великій писатель и практическій дѣятель—величины несоизмѣримыя. Въ характеристикѣ послѣдняго личность должна занять менѣе мѣста, но

съ дѣятельностью этой связывается столько разнообразныхъ интересовъ, что изложить ее возможно не иначе, какъ бросивъ взглядъ на исторію дѣяте-льствовъ лѣтъ. Графъ Толстой оставилъ по себѣ глубокой слѣдъ въ госу-дарственной дѣятельности. Начавъ службу въ 1843 году, черезъ 10 лѣтъ онъ былъ уже директоромъ канцеляріи морскаго министерства и эту бы-строю карьерой онъ былъ обязанъ вовсе не одному своему рожденію и свя-зямъ. Молодой администраторъ успѣлъ уже отличиться трудами по вѣдом-ствамъ учрежденій Императрицы Маріи и внутреннихъ дѣлъ и дѣльнымъ со-чиненіемъ по исторіи финансовъ учреждений до Императрицы Еватеріны II,—сочиненіемъ, которое и доселѣ остается однимъ изъ видныхъ трудовъ по исторіи русскихъ финансовъ. Въ то же время, онъ приступилъ къ дру-гому ученому историческому труду—о католицизмѣ въ Россіи, за который впоследствии получилъ степень доктора отъ Лейпцигскаго университета. Такое начало дѣятельности покойнаго само уже свидѣтельствовало, что это не былъ одинъ изъ тѣхъ высшихъ администраторовъ, которыхъ иногда возвышаетъ лишь благоприятное для ихъ карьеры стеченіе обстоятельствъ.

Человѣкъ умный, самостоятельный и настойчивый и впоследствии, на различныхъ поприщахъ, гдѣ ему пришлось дѣйствовать, покойный министръ всегда старался усвоивать себѣ вопросы серьезнымъ, можно даже сказать—научнымъ изслѣдованіемъ. Этимъ путемъ онъ добывалъ данныя для состав-ленія себѣ вполнѣ опредѣленныхъ убѣжденій, которыя затѣмъ проводилъ съ замѣчательною послѣдовательностью и съ большимъ, иногда даже край-нимъ увлеченіемъ, граничившимъ съ нетерпимостью. Его организаторская способность была оцѣнена еще въ морскомъ вѣдомствѣ—генераль-адмира-ломъ, великимъ княземъ Константиномъ Николаевичемъ, изъ административ-ной школы котораго вышли многіе замѣчательные государственные дѣяте-ли прошлаго царствованія. Морское вѣдомство въ то время шло впереди въ дѣлѣ разныхъ административныхъ преобразованій и графу Толстому при-надлежало видное участіе въ составленіи новаго хозяйственнаго устава, положенія объ эмеритурѣ, положенія объ управленіи самымъ морскимъ вѣ-домствомъ и объ управленіи портами. Оцѣнка великимъ княземъ Констан-тиномъ Николаевичемъ способностей покойнаго открыла ему доступъ и къ болѣе широкой дѣятельности, чѣмъ та, какою долженъ былъ бы ограничи-ся человѣкъ не-военный въ министерствѣ морскомъ. Такъ, въ началѣ ше-стидесятыхъ годовъ гр. Толстой былъ послѣдовательно назначаемъ членомъ главнаго правленія училищъ, директоромъ департамента народнаго просвѣ-щенія, сенаторомъ, членомъ совѣта женскихъ учебныхъ заведеній и принималъ участіе какъ въ учрежденіи женскихъ гимназій, такъ и въ разработкѣ од-ного изъ главнѣйшихъ преобразованій того времени—судебной реформы.

Такимъ образомъ, значительная часть перваго двадцатилѣтія службы графа Толстаго была посвящена трудамъ общаго преобразованія, въ кото-ромъ столь нуждалось наше отечество послѣ долговременнаго застоя, и осо-бымъ вниманіемъ къ своимъ трудамъ онъ былъ обязанъ все той же бла-госклонной оцѣнкѣ, которая открывала передъ нимъ болѣе и болѣе широ-

кое поле дѣятельности. Самое назначеніе покойнаго на первый его министерскій постъ, а именно—въ должность оберъ-прокурора св. синода, состоявшееся въ 1865 году, являлось результатомъ оказанныхъ уже заслугъ и приобрѣтенныхъ отношеній. И дѣйствительно, дѣятельность свою на этомъ новомъ поприщѣ графъ Толстой продолжалъ въ духѣ широкаго преобразованія. Онъ произвелъ реформу духовно - учебныхъ заведеній въ смыслѣ нѣкотораго ихъ сближенія съ училищами свѣтскими, причемъ отводилось извѣстное мѣсто и выборному началу. Но, сверхъ того, имъ были предприняты въ духовномъ вѣдомствѣ реформы бытовья.

Нѣкоторыя изъ введенныхъ гр. Толстымъ мѣръ по духовному вѣдомству остались въ силѣ, нѣкоторыя другія были впоследствии отмѣнены, о нѣкоторыхъ можно даже сказать, что онѣ не были удачны. Но это не мѣшаетъ отдать справедливость рациональности и цѣльности общихъ предположеній покойнаго. Графъ Толстой былъ, прежде всего, человекъ системы; онъ не понималъ мѣръ отрывочныхъ и случайныхъ; это былъ умъ, дѣйствительно, государственный, администраторъ въ немъ опирался на мыслителя. Вотъ откуда истекли та цѣльность и ясность системы, на которой останавливался покойный, особенно въ свои нестарые еще годы, и то настойчивое увлеченіе, съ какимъ онъ проводилъ идеи, дѣйствительно имъ усвоенныя, становившіяся личными его мыслями. На каждомъ изъ трехъ министерскихъ постовъ, которые покойный занималъ одновременно или поочередно, управленіе его представляло собою совершенно ясную программу, основанную, притомъ же, на соображеніяхъ обще - государственнаго свойства, на тѣхъ или иныхъ, хотя бы и не всегда вѣрныхъ, но определенныхъ взглядахъ на складъ русской жизни и на историческую будущность. Какъ бы современемъ ни расходились повѣствователи ближайшаго къ намъ прошлаго съ тѣми или другими, и даже съ наиболѣе важными взглядами графа Д. А. Толстаго, они должны будутъ признать, что всю его дѣятельностью руководили такъ или иначе, но ясно сознанныя государственныя начала,—и это исторія скажетъ далеко не о всѣхъ выдающихся администраторахъ.

Сказавъ, что покойный министръ всегда руководился и въ отдѣльных мѣрахъ ясными общими взглядами, мы тѣмъ самымъ обязались указать на нихъ, насколько это возможно въ настоящее время и въ рамкахъ настоящаго очерка. Графъ Толстой управлялъ духовнымъ вѣдомствомъ 14 лѣтъ, 13 лѣтъ—министерствомъ народнаго просвѣщенія и 7 лѣтъ—министерствомъ внутреннихъ дѣлъ. Въ должности оберъ-прокурора синода онъ дѣйствовалъ согласно прежнему своему направленію и съ прежними отношеніями, а основанія для предпринятыхъ имъ реформъ, благоприятствовавшихъ началамъ гласности и общественности, онъ выработалъ совершенно самостоятельно. Главною его цѣлью было возвышеніе умственнаго и матеріальнаго быта духовенства. Для этого онъ признавалъ необходимымъ уменьшить сословную замкнутость, наслѣдственную кастичность духовенства, а также нѣсколько облегчить его отъ полнаго безправія передъ административнымъ, кон-

снсторскимъ судомъ и отъ бюрократическаго же произвола въ распоряженіи хозяйственными средствами. Для исполненія этой программы проведенъ былъ законъ, отмѣнившій наследственность духовнаго званія и упразднившій духовное сословіе, отмѣнено было предоставленіе приходоу въ видѣ приданаго для лицъ, женившихся на дочеряхъ прежнихъ настоятелей. Затѣмъ введены были сокращенные штаты приходоу и причтоу, многія церкви были приписаны къ другимъ приходамъ, сокращено число дьяконскихъ мѣстъ. Этими средствами гр. Толстой думалъ соединить больше матеріальныхъ средствъ въ рукахъ менѣе многочисленнаго приходскаго духовенства.

Не всѣ изъ этихъ мѣръ оказались практическими; во всякомъ случаѣ, обособленность и наследственность духовнаго званія вовсе не исчезли, такъ какъ остались специально духовныя училища, мужскія и женскія, поддерживающія на дѣлѣ и наследственность, и обособленность. Но мѣропріятіямъ тѣмъ нельзя отказать въ обдуманности и систематичности. Наконецъ, преобразованиемъ духовнаго суда гр. Толстой думалъ обезпечить личность въ духовенствѣ, а въ предположенія объ этой реформѣ входила, между прочимъ, и мысль о выдѣленіи судебной стороны въ дѣлахъ бракоразводныхъ изъ вѣдѣнія духовнаго вѣдомства. Во всѣхъ этихъ преобразованіяхъ и проектахъ преобразованій гр. Толстой руководился началами освобожденія личности, общественнаго содѣйствія, ослабленія кастовой замкнутости. Дѣятельность его какъ оберъ-прокурора синода особенно замѣчательна не только по ея направленію, но и потому еще, что, какъ уже замѣчено, въ ней все исходило отъ него лично, не было стороннихъ, партійныхъ или личныхъ примѣсей. Слѣдуетъ отмѣтить и то обстоятельство, что черезъ годъ послѣ облеченія его званіемъ оберъ-прокурора онъ соединилъ съ этимъ званіемъ управленіе министерствомъ народнаго просвѣщенія, гдѣ отчасти (наприм., въ проектѣ университетскаго устава) проводилъ начала весьма различныя отъ тѣхъ, которыя имъ же положены были въ основаніе уставоу духовныхъ академій и семинарій и въ учрежденіе духовныхъ училищныхъ съѣздоу, но въ сферѣ духовнаго вѣдомства онъ продолжалъ строго держаться прежнихъ своихъ началъ.

Дѣятельность челоука, который въ продолженіе 21 года былъ однимъ изъ наиболѣе выдававшихся и наиболѣе вліятельныхъ администратороу, по необходимости отражаетъ въ себѣ главные моменты нашей новѣйшей внутренней исторіи. Къ занятію поста министра народнаго просвѣщенія графъ Толстой былъ призванъ при такомъ правительственномъ настроеніи, которое представляло уже значительное различіе по сравненію съ предшествовавшимъ періодомъ и самымъ направленіемъ дѣятельности графа до того момента. Произошло это въ 1866 г. и обстоятельства того времени, конечно, подѣйствовали и на общіе взгляды самого покойнаго, а, сверхъ того, новое назначеніе его состоялось уже не при прежнихъ, но при совсѣмъ новыхъ отношеніяхъ. Въ значительно измѣнившемся въ 1865 году составѣ министерства графъ Толстой являлся сотрудникомъ графа Петра

Андр. Шувалова, графа К. П. Палена, ген. А. Е. Тимашева. Пренія вліянія съ того времени рѣшительно ослабѣли и началась та реакція, о которой мы говорили недавно по поводу кончины человѣка, стоявшаго во главѣ ея,—гр. Шувалова. Чтобы объяснить то положеніе, какое при этомъ выпало на долю графа Д. А., а отчасти и нѣкоторые взгляды, почерпнутые имъ въ то время и сохраненные имъ уже до конца жизни, необходимо отмѣтить двѣ наиболѣе характерныя черты тогдашней реакціи, которыя имѣли то общее, что обѣ вовсе не истекали логически изъ значенія самаго историческаго момента.

Впечатлѣніе момента логически могло бы выразиться въ нѣкоторой приостановкѣ дальнѣйшихъ реформъ. Но обстоятельства того момента сами по себѣ не имѣли ничего общаго ни съ положеніемъ училищъ, ни съ началомъ сословности или безсословности. Между тѣмъ, отличительными чертами той реакціи и были, во-первыхъ, предположенія, что все зло заключалось именно въ училищахъ, и, во-вторыхъ, нѣкоторая аристократическая идея, которою оснащалась программа чисто - бюрократическаго свойства. Какъ ни взаимно-противорѣчивы, по существу, самыя эти начала, ибо элементъ аристократическій, тамъ, гдѣ онъ дѣйствовалъ, являлся, все-таки, элементомъ общественнымъ, претендовавшимъ на свою долю вліянія, а никакъ не пассивнымъ орудіемъ бюрократіи, но несомнѣнно, что эта аристократическая окраска была, въ значительной степени, присуща тогдашнему направленію.

Предѣлы настоящаго очерка не позволяютъ намъ изложить, почему эта послѣдняя черта не выразилась въ то время сколько-нибудь ярко въ дѣйствительныхъ мѣропріятіяхъ, если не относить къ нимъ предоставленія предводителямъ дворянства надзора надъ народными школами. Отчасти самое направленіе это не продержалось достаточно долго, отчасти воспрепятствовала тому неоднородность состава высшаго управленія, такъ какъ по военному вѣдомству, сохранявшему большое значеніе, реформы—въ преобразованіи военныхъ училищъ и въ преобразованіи воинской повинности—продолжались неукоснительно и, притомъ, въ духѣ чисто - безсословномъ, какимъ было запечатлѣно и все великое дѣло общихъ реформъ. Но на упомянутыя двѣ черты мы указали потому, что онѣ были усвоены графомъ Д. А. и отчасти легли въ основаніе нѣкоторыхъ дальнѣйшихъ его дѣйствій.

Что въ состояніи училищъ высшихъ и среднихъ должна была быть произведена коренная перемѣна—это было рѣшено впередъ. Система прежняго министра А. В. Головинна выставилась какъ главный корень зла и полная ея передѣлка выпала на долю графа Толстаго, который прежде служилъ съ Головиннымъ, воспитался въ одной съ нимъ административной школѣ и доселѣ дѣйствовалъ самъ въ одномъ съ нимъ духѣ. Въ то время, какъ по отношенію къ внѣ-училищному быту студентовъ принимались графомъ Шуваловымъ и ближайшими его преемниками полицейскія мѣры крайне стѣснительныя, въ совокупности своей далеко превосходяв-

шія все, что когда-либо бывало впоследствии, новый министр народного просвѣщенія остановился на коренномъ преобразованіи среднихъ учебныхъ заведеній, вводя въ нихъ рѣшительное преобладаніе древнихъ языковъ и дѣлая изученіе ихъ обоимъ условіемъ для поступленія въ университеты. Въ какой мѣрѣ самостоятельно возникло въ гр. Толстомъ убѣжденіе въ единоспасаемости классицизма, который выставлялся какъ вѣрнѣйшее средство къ отрѣзвленію умовъ, къ установленію умственного равновѣсія, какъ спасительная гимнастика ума, отвращающая отъ скороспѣлыхъ выводовъ и отъ того, что называлось вмѣшательствомъ не въ свое дѣло, — этотъ вопросъ мы оставимъ безъ разсмотрѣнія. Скажемъ только, что дѣйствительно у гр. Д. А. были сотрудники весьма вліятельные, хотя и не официальные, но, все-таки, идею о великихъ педагогическихъ и политическихъ благотворныхъ послѣдствіяхъ безусловнаго господства классицизма въ школахъ онъ усвоилъ себѣ вполне и сталъ проводить ее съ свойственною ему настойчивостію и даже съ нѣкоторою фанатическою нетерпимостію ко всякому противорѣчію, хотя бы и къ допущенію какихъ-либо исключеній или снисходительности.

Уставы реальныхъ училищъ и гимназій 1871 и 1872 гг. разрубили на-двое нашу учебную систему и затѣмъ уже принимался цѣлый рядъ мѣръ, специально направленныхъ противъ всякой возможности поступленія въ университетъ помимо гимназическаго аттестата зрѣлости. Воспрещенъ былъ приемъ въ университеты даже молодыхъ людей, окончившихъ духовную семинарію, гдѣ древніе языки преподаются, воспрещенъ былъ впоследствии переходъ въ университеты изъ петербургской медико-хирургической академіи, запрещено было допускать къ экзамену зрѣлости оставившихъ гимназію воспитанниковъ раньше окончанія полнаго гимназическаго курса ихъ сверстниками. Велась самая оживленная борьба противъ военнаго министерства за то, что оно допускало приемъ въ медицинскую академію воспитанниковъ, вышедшихъ изъ VI кл. гимназій.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, новая учебная система вводилась въ гимназіяхъ съ крайнею поспѣшностію, при помощи плохихъ учителей изъ нѣблизкихъ иностранцевъ, а примѣнялась она съ такою строгостію, что доходившіе до донца гимназическаго курса составляли рѣдкія исключенія. А такъ какъ; именно въ виду особой протекціонной мѣры въ пользу классической системы, гимназистамъ, не кончившимъ полнаго курса, былъ закрытъ доступъ въ равные классы другихъ заведеній, то Россія, можно сказать, наполнилась недоучившимися гимназистами, которымъ некуда было дѣваться. Вотъ эти-то ошибки, вмѣстѣ съ преувеличенною строгостію тогдашнихъ мѣръ полицейскихъ по отношенію къ студентамъ, и были гораздо болѣе вредны въ политическомъ отношеніи, чѣмъ сколько могло быть прежде положеніе училищъ. Такъ какъ результаты новыхъ мѣръ отзывались непосредственнымъ образомъ на многихъ десяткахъ тысячъ семействъ, то и немудрено, что гр. Толстой приобрѣлъ къ концу семидесятыхъ годовъ, — какъ

признаютъ нынѣ и безусловные его хвалители въ печати,—безпримѣрную непопулярность. Между тѣмъ, и педагогическій успѣхъ классицизма въ новѣйшее время подвергся уже значительному сомнѣнію.

Когда, послѣ страшнаго потрясенія, перенесеннаго Россіей, черезъ годъ по оставленіи гр. Толстымъ прежняго поста и послѣ краткаго переходнаго времени, которое обозначилось, съ одной стороны, бесплодными бесѣдами «свѣдущихъ людей», вызывавшихся департаментомъ, а съ другой—еврейскими погромами, гр. Толстой былъ назначенъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, съ сохраненіемъ въ этомъ вѣдомствѣ управленія всѣми отраслями полицейской власти, то въ исполненіе этой должности онъ внесъ прежнія свойства своего ума и характера, но иной образъ дѣйствій. Мы уже указали, что и въ предшествовавшей дѣятельности онъ умѣлъ ставить передъ собою цѣли различныя, соотвѣтственно полю и времени дѣйствія. Но въ предшествовавшее время вся дѣятельность его была цѣльною въ томъ собственнo, что носила на себѣ характеръ реформаторскій, заключалась въ проведеніи, хотя и въ разныхъ направленіяхъ, мѣръ преобразовательныхъ, и, притомъ, въ такомъ проведеніи ихъ, которое ознаменовывалось стремительностью, увлеченіемъ. На новомъ постѣ гр. Толстой призналъ первую потребностью нѣкоторый отдыхъ, успокоеніе. Правда, и та правительственная система, которая дѣйствовала незадолго передъ тѣмъ, говорила о необходимости успокоенія, но она успокоеніе разумѣла въ смыслѣ вліянія на умы, онъ же считалъ необходимымъ успокоеніе въ силу укрѣпленія авторитета власти. Мысль о такъ называвшемся «умиротвореніи» недовольства (лозунгъ 1880 года) онъ считалъ ошибочною, такъ какъ совершенно отвергалъ въ бывшихъ страшныхъ событіяхъ или хотя бы только тревожныхъ фактахъ самое значеніе признаковъ общественнаго недовольства. Тожественные примѣры разныхъ покушеній и волненій, проявившіяся одновременно на Западѣ, въ государствахъ съ самыми разнообразными условіями внутренняго быта, служили для него доказательствами, что тѣ или другія подобныя явленія не могутъ быть ни приводимы въ связь съ специальнымъ строемъ русской жизни, ни устранены самымъ измѣненіемъ его и что, стало быть, оставалось примѣнять лишь внѣшнія мѣры для поддержанія порядка, ни въ чемъ его не совершенствуя.

Такова была основная мысль той системы, отъ которой ожидалъ полнаго успокоенія гр. Толстой. Мы можемъ имѣть свое мнѣніе по вопросу о томъ, были ли введенныя у насъ въ предшествовавшее двадцатилѣтіе преобразованія осуществлены уже съ полнотою, цѣльною, неприкосновенностью, достаточными для того, чтобы Россіи оставалось только отдыхать. Но такое основное различіе во взглядахъ не помѣшаетъ намъ признать, что нужно было имѣть глубокое убѣжденіе, сильную волю и большою личный авторитетъ, чтобы одинъ государственный человѣкъ могъ сдѣлаться какъ бы устойчивою осью, на которой повернулась вся внутренняя политика.

Со времени новаго назначенія графа Д. А. прошло около пяти лѣтъ, прежде чѣмъ онъ принялся за предположеніе о какомъ-либо новомъ преобразованіи. Реформа уѣзднаго управленія, остававшаяся предметомъ сужденій особой комиссіи, казалась отложенною на неопредѣленное время, а самоуправленіе общественное, по меньшей мѣрѣ, не могло развиваться. То, что должно было послужить отдыхомъ, въ дѣйствительности, какъ нерѣдко бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, влекло за собой апатію. Такъ какъ мы коснулись уже самаго близкаго прошлаго, то характеристика наша, понятно, уже не можетъ быть достаточно полною. Мы заключимъ нашъ очеркъ на тѣхъ проектахъ мѣстнаго преобразованія, къ составленію которыхъ покойный приступилъ уже послѣ пятилѣтняго, снаружн какъ бы бездѣятельнаго управленія.

Въ томъ изъ этихъ проектовъ, который касается земства, отразилось, положимъ, только личное, но полное разочарованіе въ пользѣ нѣкотораго прѣстора для выборнаго начала въ управленіи, то-есть того самаго принципа, который гр. Толстой нѣкогда пытался ввести даже въ духовно-учебное и духовно-хозяйственное дѣло. Что касается другаго проекта—о земскихъ начальникахъ, то въ немъ также проявилась лично усвоенная покойнымъ министромъ наклонность къ воссозданію русскаго строя на началѣ дворянскомъ, то-есть мысль, унаслѣдованная отъ министерства Шувалова, въ которомъ графъ Д. А. былъ однимъ изъ наиболѣе талантливыхъ членовъ. Правда, принципъ дворянскій, который покойный Шуваловъ понималъ въ смыслѣ вліянія знатныхъ родовъ на общій ходъ дѣлъ, осуществился бы въ данномъ проектѣ на самой низшей, чисто - бюрократической ступени. Но самое это пристрастіе къ однажды усвоенному себѣ принципу доказывало, опять-таки, что покойный графъ Д. А. былъ, прежде всего, систематическій мыслитель, то, что у насъ принято называть «доктриною», хотя, при весьма часто встрѣчавшемся у насъ отсутствіи именно нѣсколько болѣе глубокой идейной подкладки къ мѣропріятіямъ, такое названіе ошибочно было бы отождествлять съ उपрекомъ.

На мѣсто гр. Толстаго назначенъ, статсъ-секретарь И. Н. Дурново. И. Н. Дурново былъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ, такъ что имѣлъ возможность ознакомиться съ общимъ взглядомъ покойнаго и, какъ говорятъ, графъ Толстой самъ считалъ его способнымъ преемникомъ. Во всякомъ случаѣ, весьма вѣроятно, что, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ смерти графа Толстаго, проекты, находящіеся нынѣ на разсмотрѣніи государственнаго совѣта, пройдутъ съ еще меньшими затрудненіями, чѣмъ они могли встрѣтить при его жизни. Такъ какъ мы отмѣчали доселѣ, по слухамъ, тѣ измѣнявшіяся направленія, въ какихъ велась эта законодательная работа, то должны прибавить, что въ настоящее время, какъ говорятъ, взяло верхъ предположеніе объ отмѣнѣ мировыхъ судей не только въ уѣздахъ, но и въ городахъ, за исключеніемъ столицъ и Одессы.

Другая личная перемена произошла въ министерствѣ путей сообщенія. Новый министр, статсъ-секретарь А. Я. Гюббенетъ, также былъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ товарищемъ министра въ томъ вѣдомствѣ, котораго теперь сдѣлался главою. А. Я. Гюббенетъ принадлежитъ къ лифляндской дворянской фамиліи, вышедшей изъ французской Лотарингіи послѣ отмены Нантскаго эдикта. Новый министръ — не специалистъ, какимъ былъ ближайшій его предшественникъ, но при первой своей службѣ въ министерствѣ весьма основательно изучилъ положеніе желѣзно-дорожнаго дѣла и соединенныхъ съ нимъ вопросовъ. Подъ его предсѣдательствомъ и при дѣятельномъ его участіи работала прежняя коммиссія по регулированію тарифовъ, состоявшая въ министерствѣ путей сообщенія. Слѣдуетъ прибавить, что А. Я. Гюббенетъ обладаетъ даромъ систематическаго и яснаго изложенія сложныхъ вопросовъ, качествомъ весьма важнымъ при обсужденіи законодательныхъ проектовъ въ государственномъ совѣтѣ. Съ назначеніемъ новаго министра связывали предположенія о весьма крупныхъ переменахъ, какія должны были произойти въ личномъ составѣ и самомъ устройствѣ вѣдомства путей сообщенія. Прошедшая затѣмъ смѣна главнаго начальника желѣзныхъ дорогъ и директора канцеляріи министерства считается лишь началомъ упомянутыхъ переменъ и предполагается вообще, что министерство будетъ совершенно перестроено.

По нѣкоторымъ слухамъ, въ немъ останется всего одинъ департаментъ, другіе слухи идутъ еще дальше и касаются упраздненія самаго института инженеровъ путей сообщенія. Поводомъ къ этимъ послѣднимъ догадкамъ могло послужить испрошенное еще ген. Паукеромъ разрѣшеніе именовать инженерами путей сообщенія не только лицъ, кончившихъ курсъ въ названномъ специальномъ институтѣ, но и всѣхъ поступающихъ на службу по этому вѣдомству, если только они имѣютъ высшее техническое образованіе, дающее имъ право на производство строительныхъ работъ. Такое распоряженіе, дѣйствительно, оправдываетъ догадку, что институтъ инженеровъ путей сообщенія можетъ быть упраздненъ. Въ самомъ дѣлѣ, если воспитанники институтовъ технологическаго, горнаго, гражданскихъ инженеровъ, академій художествъ и военно-инженерной, при поступленіи на службу въ путейское вѣдомство, будутъ признаваться инженерами путей сообщенія, то для чего же существовать еще специальному институту: развѣ для того только, чтобы выпускать такихъ особыхъ, неравноправныхъ инженеровъ путей сообщенія, которые не могли бы переходить на службу въ другія вѣдомства съ правомъ переименовываться въ военные и горные инженеры, въ инженеръ-технологи и архитекторы?

Для общества, конечно, довольно индифферентенъ вопросъ, насколько департаментовъ или иныхъ присутствій будетъ раздѣляться центральное управленіе министерства путей сообщенія. Но общество не можетъ быть одинаково равнодушно къ уничтоженію одного изъ старѣйшихъ у насъ высшихъ училищъ и, притомъ, такого, которое имѣло нѣкогда свою свѣтлую традицію. Если оно ея лишилось, то въ этомъ виновать не институтъ, но

та военная ломка, какой она неоднократно подвергалась, и ть уродливые условия, въ какихъ у насъ было поставлено жалкое дорожное дѣло. Теперь слышатся такія разсужденія, что институтъ будто бы не нуженъ, что его можно замѣнить введеніемъ двухъ специальныхъ кафедръ по строительству мостовъ и желѣзныхъ дорогъ въ военно-инженерной академіи, институтъ гражданскихъ инженеровъ или въ техническомъ. Но, въ таковыя случаи, почему же не упразднить и горный институтъ, прибавивъ кафедры геологии и минералогіи въ артиллерійской академіи, гдѣ преподается лѣтнее дѣло? Ясно, что введеніе въ курсъ какого-либо училища двухъ новыхъ обширныхъ предметовъ, не принадлежащихъ прямо къ его специальности, можетъ быть сдѣлано только на счетъ курса непосредственно къ ней приуроченнаго. Спрашивается, для чего же уродовать другіе техническіе институты, когда уже существуетъ 80 лѣтъ особый институтъ мостовъ и дорогъ (ponts et chaussées), въ специальность котораго входятъ и рельсовые пути? Если нужны два училища въ Петербургѣ, приготовляющіе архитекторовъ (академія и институтъ гражд. инж.), то какое не нуженъ одинъ для приготовления инженеровъ дорогъ и мостовъ? Существуетъ особое высшее техническое учебное заведеніе почтово-телеграфнаго вѣдомства; земледѣльческіе институты, хотя и эти заведенія, если угодно, можно было бы замѣнить кафедрами въ институтѣ технологическомъ или университетахъ. Спрашивается еще, почему, при существованіи медицинскіхъ и юридическіхъ факультетовъ въ университетахъ, военному вѣдомству необходимо имѣть свои собственные военно-медицинскую и военно-юридическую академіи? Отдѣльная постановка этихъ двухъ училищъ не оправдывается уже равно ничѣмъ, кромѣ факта, что они существуютъ. Существованіе же отдѣльнаго института путей сообщенія вызывается потребностями той обширной и весьма определенной специальности, каково сооруженіе каналовъ, мостовъ, шоссе и желѣзныхъ дорогъ. Кругъ научныхъ предметовъ, знаніе которыхъ необходимо для этого призванія, слишкомъ обширенъ, чтобы ихъ какъ бы только пристраивать къ наученію техническихъ производствъ или фортификаціоннаго дѣла. Во всякомъ случаѣ, собственно военно-инженерная специальность гораздо уже, такъ какъ курсъ военно-инженерный имѣетъ всего одинъ специальный предметъ—фортификацію, которую даже нельзя назвать наукою, а остальные предметы того курса: математика, геодезія, артиллерія, военная администрація—общіе съ курсами разныхъ иныхъ училищъ.

Съ другой стороны, курсъ института инженеровъ путей сообщенія, составляя самъ по себѣ весьма обширный кругъ, вовсе не нуждается въ усложненіи его такими предметами, какъ химическая технология, фортификація и артиллерія. Всего менѣе удачной мы находимъ мысль о поглощеніи института путей сообщенія военно-инженернымъ училищемъ и академіею. Это повело бы, во-первыхъ, къ поверхностному изученію курса, который сдѣлался бы слишкомъ обширнымъ, а, во-вторыхъ, къ еще болѣе, противъ нынѣшняго, размноженію военныхъ чиновъ въ областяхъ дѣятельности, не имѣющихъ ничего общаго со строевою частью и вооружен-

вою силой государства вообще. Уже и теперь цѣлые легионы офицеровъ служатъ внѣ строя: по письменной и хозяйственной частямъ въ централь-ныхъ и оружейныхъ военныхъ управленияхъ; въ должностяхъ полицейскихъ и начальниковъ желѣзно-дорожныхъ станцій и т. д. Въ строй (кромя гвар-діи и нѣсколькихъ кавалерійскихъ полковъ) остаются только тѣ изъ млад-шихъ офицеровъ, которые не имѣютъ протекціи. Къ чему же еще напол-нять цѣлое вѣдомство путей сообщения военными чинами?

На эту постановку вопроса по существу едва ли найдется сколько-нибудь вѣрное возраженіе, — дѣло само по себѣ слишкомъ явно. Но въ на-стоящее время мысль объ упраздненіи института основывается не столько на соображеніяхъ педагогическихъ и профессиональныхъ, сколько на весьма гадательномъ заключеніи свойства нравственнаго. Утверждаютъ, будто духъ въ институтѣ путей сообщения не хорошъ. Но откуда же берется этотъ духъ? Въ институтѣ поступаютъ, какъ извѣстно, воспитанники классическихъ гимназій, прошедшіе весь университетскій курсъ по математическому фа-культету, или хотя бы первыхъ четыре семестра, и принимаются они пря-мо на 3-й курсъ. спрашивается, когда же они имѣютъ время проникнуть-ся въ институтѣ какимъ-то специальнымъ духомъ? Ясно, что если особый духъ въ сословіи есть (допустимъ это), то приобретается онъ не въ ин-ститутѣ, но въ дальнейшей практической дѣятельности. Да и нельзя ду-мать иначе; невозможно допустить, чтобы такое-то распредѣленіе учебныхъ предметовъ создавало дурной нравственный духъ, а другое распредѣленіе предметовъ однородныхъ (например, въ технологическомъ институтѣ или инженерной академіи) обуславливало духъ хороший. Трудно также допу-стить, что духъ инженеровъ не хорошъ потому только, что у нихъ зеле-ный «кантъ», и сдѣлается превосходенъ, какъ только инженеры путей со-общенія будутъ съ кантомъ краснымъ. Понятно, что ни учебный планъ, ни форма одежды (я это и есть все, чѣмъ одно училище отличается отъ другаго) еще не могутъ создавать нравственности или безнравственности.

Но если духъ созданъ самими условіями, въ какія было у насъ по-ставлено, а отчасти еще и остается желѣзно-дорожное дѣло; если построй-ки желѣзныхъ дорогъ всесильными концессионерами, а эксплуатация ихъ фиктивными акціонерными учреждениями ввели въ самую суть дѣла хищ-ничество — не въ формѣ взятокъ, но въ видѣ милліонныхъ барышей, ко-торые клались въ большіе карманы при самой застройкѣ, при образова-ніи акціонерныхъ обществъ, при полученіи субвенцій и ссудъ, при оторо-чкахъ, льготахъ и даже прямыхъ компромиссахъ съ казною въ платежахъ, то при чемъ же тутъ институтъ путей сообщения? Развѣ концессіи получа-лись отъ инженеровъ, развѣ изъ нихъ состоятъ правленія, развѣ инже-неры завѣдывали финансовыми операціями, не только тѣми, въ которыхъ приобреталась, но и тѣми, предварительными, въ которыхъ съ баснослов-ною производительностью затрачивался нѣкоторый капиталъ? Инженеры на-нимались концессионерами и принуждены были ихъ слушаться, они были

только исполнителями, — снажемъ, пожалуй, орудіями. Но всѣ главныя черты дѣла опредѣлялись гораздо выше ихъ головъ.

Въ особенности странно слышать, какъ теперь сами «дѣльцы» громче другихъ причать о безнравственности инженеровъ. Дѣло было поставлено въ такія условія, что не могло не быть безнравственности. Говорятъ, инженеры, люди, получившіе высшее образованіе, должны были противиться безнравственнымъ требованіямъ, отказываться исполнять незаконныя требованія хозяевъ, къ которымъ поступали на службу. Все это прекрасно и въ смыслѣ нравственного долга несомнѣнно вѣрно. Но, все-таки, нравственный упадокъ зависитъ отъ тѣхъ условій, среди которыхъ дѣйствуютъ люди, а не отъ злой воли, почерпнутой въ такомъ-то учебномъ курсѣ. Будь самое дѣло поставлено иначе, не въ такія условія, которыя прямо создавали хищничество, произволь, невозможность доискаться отвѣтственности, не можетъ быть сомнѣнія, что менѣе было бы и случаевъ нравственного паденія. Но, сверхъ того, надо еще имѣть въ виду, что какъ бы даже совершены ни были формы контроля, миллионныя дѣла сами по себѣ уже имѣютъ свойство заразительное, обуславливающее нѣкоторую долю безнравственности, — долю, которую формы и другія условія могутъ только уменьшать или увеличивать, но не искоренять совсѣмъ.

Веденіе казенныхъ горныхъ заводовъ и управленіе горнозаводскими округами, постройка крѣпостей и ремонтъ укрѣпленій не были обставлены у насъ канцессионерскими и мнимо-компанейскими формами. И, однако же, извѣстно, что и эти дѣла не всегда оставались безупречны, что бывали случаи составленія при нихъ большихъ состояній. Давно ли весь составъ инженернаго управленія финляндскаго военнаго округа отданъ былъ подъ судъ? Какъ бы то ни было, мы возражаемъ только противъ несправедливаго обвиненія какого-либо высшаго училища въ сообщеніи духа безнравственности учащимся и утверждаемъ, что каковы бы ни были кантики, при одинаковыхъ условіяхъ, тѣ или другіе техники оказались бы въ нравственномъ отношеніи совершенно одинаковыми. Не странно ли, что догадка о неминуемой исцѣлимости вѣдомства путей сообщенія посредствомъ введенія въ него иныхъ инженеровъ становится какимъ-то авторитетнымъ мнѣніемъ въ то время, когда въ военномъ вѣдомствѣ самая постройка казармъ изъята изъ окружныхъ инженерныхъ управленій и передана войскамъ? Если полагаютъ, что самыя казармы могутъ строиться дешевле и лучше такимъ образомъ, то почему же думать, что достаточно будетъ постройку и эксплуатацию желѣзныхъ дорогъ передать изъ рукъ однихъ техниковъ въ руки другихъ, чтобы эти работы сдѣлались и дешевле, и благонадежнѣе? Мы думаемъ, что нѣтъ не только специально-безнравственныхъ училищъ, но даже и служебныхъ составовъ, по природѣ болѣе нравственныхъ одни, чѣмъ другіе. Единственное средство сколько-нибудь оздоровить веденіе крупныхъ хозяйственныхъ дѣлъ представляется въ томъ, чтобы самыя условія, въ какія они поставлены, не создавали произвола и фальши.

Отъ жалъзно-дорожнаго дѣла, что называется, рукой подать къ дѣлу банкирскому, отъ злоупотребленій, компанейскихъ — къ краху, единичныхъ дѣльцовъ, «Крахи» банкирскихъ конторъ установились какъ нѣкое хроническое явленіе. Въ прошломъ мѣсяцѣ былъ такой крахъ въ Москвѣ, мѣсяца три назадъ — въ Петербургѣ. Относительное число этихъ «краховъ», быть можетъ, не болѣе нынѣ, чѣмъ въ прежнія годы, такъ какъ самыхъ конторъ то развелось очень много и «лопаются» теперь обыкновенно мелкія конторы, между тѣмъ какъ лѣтъ 10—15 тому назадъ было нѣсколько случаевъ несостоятельности конторъ, воровавшихъ большими итогами частныхъ вкладовъ. Какъ бы то ни было, давно пора было сколько нибудь опредѣлить права банкирскихъ конторъ по сравненію съ частными кредитными учрежденіями, дѣйствующими на основаніи уставовъ.

Въ настоящее время финансовымъ ведомствомъ и вырабатываются правила о банкирскихъ конторахъ, и въ проектируемыхъ правилахъ, какъ говорятъ, конторамъ воспрещается производство нѣкоторыхъ кредитныхъ операций, а, сверхъ того, устанавливается обязательство внесенія залога. Ближайшимъ поводомъ къ такому почину послужилъ именно послѣдній «крахъ» въ Петербургѣ, случившійся въ медной конторѣ Бана, которая изъ ясныхъ операций занималась почти исключительно продажей въ разсрочку билетовъ выигрышныхъ займовъ въ провинціи, такъ что въ Петербургѣ мало кому даже была извѣстна. Операции продажи въ разсрочку и ссуды подъ залогъ этихъ популярныхъ билетовъ нашей государственной лоттереи должны быть, дѣйствительно, очень выгодны для конторъ, хотя бы судя по тому, что самыя объявленія, которыми начинающія конторы печатаютъ въ газетахъ, обыкновенно касаются именно этихъ двухъ операций. Выигрышныхъ билетовъ, продаваемыхъ въ разсрочку, конторы обыкновенно вовсе не имѣютъ, до полной оплаты покупателями срочные платежи послѣднихъ представляютъ, такимъ образомъ, дѣйствительные авансы денегъ публикѣ конторамъ на нѣсколько мѣсяцевъ. Выгода конторъ при этомъ многоразлизна: на поступающіе срочные платежи конторы производятъ другія операции, цѣна билета опредѣляется выше средней биржевой, съ приобретателя вносится страховка за билетъ, котораго не имѣется, наконецъ, извѣстный процентъ всего числа билетовъ, по которымъ поступило нѣсколько платежей, впоследствии прекратившихся — за смертью или недостатками средствъ приобретателей — вовсе и не будетъ куплена конторою, а внесенные платежи останутся въ ея пользу.

Что касается операции ссуды подъ выигрышные займы, то банкирскія конторы производятъ ее, какъ и вообще всѣ свои ссуды подъ залогъ бумагъ, на средства государственнаго банка, въ которомъ онѣ перезаказываютъ бумаги, пользуясь при этомъ разностью въ высотѣ процента, платимаго банку и взимаемаго съ вкладчиковъ. Сама по себѣ эта операция не различается отъ переучета векселей частными банковыми учрежденіями въ томъ же государственномъ банкѣ. Но дѣло въ томъ, что ссуда подъ выигрышные билеты, въ большинствѣ, не представляетъ собой кредита торговаго.

Здѣсь клиентами конторъ являются обыкновенно собственники одного или двухъ-трехъ билетовъ, которые закладываютъ по нуждѣ, а обращаются для этого не въ государственный банкъ, во-первыхъ, потому, что конторы даютъ большую сумму, во-вторыхъ, потому, что въ банкѣ залогъ соединенъ съ формальностями, которыя отнимаютъ у клиента нѣсколько часовъ времени. Операція эта болѣе похожа на залогъ вещей, чѣмъ на операцію торгово-кредитную. Затѣмъ, сумма подъ залогъ выигрышныхъ билетовъ является еще въ видѣ спекуляціи на выигрышъ. Есть охотники платить рублемъ по десяти за шансъ выигрыша въ день тиража: они одновременно покупаютъ билетъ въ конторѣ и тутъ же его закладываютъ, уплачивая только разность между продажною цѣной и суммой ссуды, а послѣ тиража продаютъ билетъ и получаютъ назадъ разность, причѣмъ контора выигрываетъ на цѣнахъ продажи и обратной покупки и получаетъ процентъ за мѣсяць, между тѣмъ какъ сумма погашается черезъ нѣсколько дней.

Но какъ бы ни были выгодны для банкирскихъ конторъ операціи на выигрышныхъ билетахъ съ частными лицами, которыя держатъ билеты «для счастья», въ операціяхъ этихъ нѣтъ ничего опаснаго или предосудительнаго, исключая тѣ случаи, когда контора, запродавъ билетомъ на сотни тысячъ рублей, сама внезапно превращается въ иномъ. Худшая сторона банкирскихъ конторъ — та, что многія изъ нихъ, если не все, главныя свои выгоды извлекаютъ изъ игры на биржѣ, на счетъ тѣхъ средствъ, которыя въ томъ или иномъ видѣ доверяются имъ публикой. Въ самомъ дѣлѣ, за исключеніемъ нѣсколькихъ, наиболее солидныхъ конторъ, у которыхъ дѣйствительно, банкирскія операціи достигаютъ большихъ размѣровъ, остальные не были бы въ состояніи оплачивать дорогихъ своихъ помѣщеній и состава служащихъ, если бы ограничивались только коммиссіонными преміями и выгодой отъ перезалоговъ и переучетовъ. Къ большому числу существующихъ въ столицахъ банкирскихъ конторъ подходит такое опредѣленіе: это — коммиссіонерскія лавочки, которыя ведутъ кредитныя операціи не только въ прямомъ расчетѣ на ихъ выгодность, сколько для пріобрѣтенія оборотныхъ средствъ, съ цѣлью обращенія ихъ на биржевую спекуляцію. Вотъ гдѣ кроется и главная причина постигающихъ конторы частныхъ краховъ. Открывать банкирскую контору съ обдуманномъ впередъ намѣреніемъ — забрать деньги клиентовъ и скрыться за границу, — на это хищники могутъ рѣшиться развѣ въ исключительныхъ случаяхъ, такъ какъ скрыться отъ преслѣдованія не легко и за границей и, притомъ, свои же служащіе могутъ угадать умыселъ по самому веденію дѣла. Даже и тотъ, кто не прочь отъ того, чтобы рѣшиться на преступленіе, все-таки, попробуетъ сперва игры, которая при ловкости и счастіи можетъ дать результатъ менѣе опасный и болѣе прочный.

Но вотъ это-то обстоятельство, что банкирскія конторы основываются нерѣдко, главнымъ образомъ, съ цѣлью биржевой игры на чужія деньги, и указываетъ, какія операціи имъ слѣдовало бы воспретить. Это именно тѣ, которыя соединены съ продолжительнымъ удержаніемъ конторами средствъ,

довѣряемыхъ имъ публикой: принатіе вкладовъ съ открытіемъ простаго и спеціальнаго текущихъ счетовъ, выдача и учетъ векселей, производство ссудъ и продажа цѣнныхъ бумагъ въ разсрочку. Учеты и ссудное дѣло сами по себѣ связаны съ довѣріемъ лишь въ части капитала, составляющаго предметъ транзакціи, такъ какъ банкирскія конторы, для усилія этихъ операций, даютъ ссуды въ высочайшъ размѣрѣ. Но самое веденіе учетнаго и ссуднаго дѣла немислимо безъ приѣма вкладовъ, и права на принатіе вкладовъ конторы, какъ нестѣсленныя никакими уставами, ни хотя бы общественнымъ контролемъ лавочки, управляемыя совершенно единолично, безусловно должны быть лишены.

Свѣдѣнія, какія появились въ газетахъ о предположенныхъ министерствомъ финансовъ правилахъ, слишкомъ отрывочны. Съ опредѣленностью указывается только одно условіе, именно, что отъ банкирскихъ конторъ будетъ требоваться залогъ въ десять процентовъ объявленнаго капитала; а такъ какъ минимумъ залога для конторъ въ Петербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ, Одессѣ и Бивѣ назначается въ 50 т. руб., то конторы въ этихъ городахъ не могутъ открываться съ объявленіемъ капитала менѣе полумилліона рублей. Въ числѣ операций, которыя предполагается разрѣшить конторамъ, упоминаются какъ комиссіонерскія (полученіе по векселямъ и производство платежей, переводы въ Россію и за границу, покупка и продажа процентныхъ бумагъ, металла и заграничныхъ траттъ), такъ и кредитныя, какъ-то: выдача ссудъ подъ бумаги на срокъ не свыше 9 мѣсяцевъ, выдача и учетъ векселей, наконецъ, страхованіе билетовъ выигрышныхъ займовъ. О приѣмѣ вкладовъ въ извѣстіяхъ ничего не упоминается, изъ чего слѣдовало бы заключить, что эта операція конторамъ разрѣшена не будетъ, а, между тѣмъ, учетная и ссудная операція, какъ уже замѣчено, предполагаетъ приѣмъ вкладовъ. Относительно операций, воспрещаемыхъ конторамъ, газетныя свѣдѣнія упоминаютъ только о разсрочкѣ платежей при продажѣ бумагъ и объ уступкѣ покупателямъ права на выигрышъ по неоплаченнымъ билетамъ выигрышныхъ займовъ. Эти два запрещенія рациональны, но они направлены собственно къ уменьшенію спекулятивности въ открытыхъ операціяхъ конторъ, а не къ лишенію ихъ права заниматься кредитными дѣлами вообще.

Сверхъ этого ограниченія, предположены нѣкоторыя условія гарантіи для публики. Сюда относятся: во-первыхъ, внесеніе значительнаго залога; во-вторыхъ, предоставленіе министру финансовъ права назначать ревизію конторъ по жалобамъ частныхъ лицъ или сообщеніямъ какъ судебныхъ, такъ и административныхъ учреждений, съ закрытіемъ конторъ, вслѣдствіе обнаруженныхъ нарушеній, установленіе ответственности конторъ за производство операций, имъ не дозволенныхъ, и провѣрка чиновниками финансового вѣдомства, по порученію министра, книгъ и документовъ въ конторахъ, для удостовѣренія правильности оплаты сборовъ. Последнее условіе не касается интересовъ довѣрителей конторъ, а ревизія правильности самихъ операций предполагала бы, что для конторъ будутъ установлены нѣ-

которыя предѣльныя нормы соотношеній между итебанами, заведованіемъ капиталомъ, какія (установлены) для банковъ, чужды въ данномъ случаѣ быть не могутъ, такъ какъ ни симладочнаго, ни залезанаго капитала въ конторахъ не имѣется. Занимается ли контора, коммисіою овокъ, явннхъ операцій, спекуляціею на биржѣ, этого релавія не отереть, для этого пришлось бы проаводить уголовное дознаніе. Намонецъ, что касается залота, то скольконибудь дѣйствительной гарантіи для публики онъ не представляетъ. Обидствія по бывшигъ уже крахамъ обнаружилы, что по одной томые операціи продажи выигрнннхъ билетовъ въ расрочку (которая теперь воспрещается) имѣя, даже мелкія конторы имѣли миллионныя обороты. Банкирскае дѣло, вообще, таково, что настоящею гарантіею, его солидностію, можетъ быть только соотвѣтствіе между активомъ и пассивомъ, а залогъ будетъ ничтоженъ по сравненію съ оборотами.

Въ предположенныхъ правилахъ опредѣляется также и положеніе мѣняльныхъ лавокъ. Имъ, — по свѣдѣніямъ газетъ, — разрѣшаются только обмѣны всякаго рода (стало быть, кромѣ собственно размѣна, еще и продажа бумагъ) и ослата вышедшихъ въ тиражъ купоновъ и ценныхъ бумагъ. Наблюденіе же за тѣмъ, чтобы мѣняльныя лавки не проаводили никакихъ другихъ операцій, возлагается уже просто на полицію. Повторяемъ, что появившіяся доселѣ въ печати свѣдѣнія не достаточно опредѣленны: такъ, напримеръ, и относительно мѣняльныхъ лавокъ ушлага по процентнымъ бумагамъ, вышедшимъ въ тиражъ, предпоагаала бы право страхованія выигрнннхъ займовъ, а объ этомъ правѣ въ свѣдѣніяхъ не упоминается. Свѣдѣнія эти мы и принимаемъ лишь какъ указаніе на то направленіе, въ какомъ составлены правила. Цѣль правилъ — только урегулировать дѣятельность банкирскихъ конторъ. Но для достиженія этой цѣли представляется много трудностей. Мы уже упомянули, что требованіе отъ конторъ залога есть лишь палліативъ, притомъ, недостаточный. Но, прежде всего, встрѣчается такое затрудненіе: что собственно слѣдуетъ разумѣть подъ банкирскою конторой и гдѣ ея существенныя отличія отъ банковъ, отъ частныхъ банкирскихъ домовъ и отъ мѣняльныхъ лавокъ? Опредѣленіе, заключающееся въ самомъ названіи, еще ничего не значитъ, такъ какъ именно вслѣдствіе изданія правилъ банкирскія конторы могутъ исчезнуть и возродиться подъ иными названіями.

Итакъ, необходимо опредѣленіе по сущности операцій; правила должны быть расрчитаны на заведенія, которыя приаводятъ извѣстныхъ операцій, какъ бы эти заведенія ни назывались. Между тѣмъ, заведенія такого типа можно охарактеризовать лишь самымъ неопредѣленнымъ образомъ: можно сказать, что заведеніе, производящее покупку и продажу бумагъ и размѣнъ (мѣняльная лавка), если оно занимается еще операціями торговаго кредита, признается банкирскою конторой. Таково можетъ быть опредѣленіе: положительное, но далеко не точное. Точности нельзя достигнуть и путемъ отрицательности, т. е. посредствомъ сравненія съ другими типами учрежденій; занимающихся торговлею денежными цѣнностями

или знаками. Банкирная контора производит всё главные операции коммерческого банка, она даёт сущность, маленький банк; но есть и мелкие лавки, которые производят много (иногда) операций банкирских контор: продажу и покупку бумаг, исполнение поручений на бирже, ссуды и выдачу денег, учет векселей и их выдачу, страховку вымышленных займов. И так, можно сказать, что банкирская контора, это — большая мелкая лавка. Правда, есть иные, другие признаки различия — не по операциям, но по устройству. Банкирская контора может быть на пять, на, все-таки, сдается, всё коммерческого банка, учрежденное на закон, так, что не имеют управления, наблюдательного комитета или совета официальных собраний акционеров. Но что будет, если большие банкирские конторы, вследствие возможности на них стеснения, пожелают переименоваться в частные банки на закон, подчиняясь средним уставам?

Конечно, на это можно сказать, что и так это не будет дозволено, что подобное разделение банков не допускается. Но можно ли почитать мелкую банкирскую контору переименоваться в частные банкиры? Ведь, у частных банкиров также имеют конторы, которых существенное отличие от «банкирских контор», как последние существовали прежде, лишь в том, что первые не занимаются мелкими операциями, в крупных же операциях различия по существу нет. Так, именно банкирские конторы в Германии играли весьма важную роль в реализации наших желвако-дорожных займов. Что касается посредничества, комиссионерской деятельности так же контор, то ею же занимаются и биржевые маклера. Здесь характерное, хотя и не существенное различие есть только одно: банкирские конторы, о которых составляются иные правила, имеют характер лавки, которая не имеет конторы частных банкиров; первые имеют такие условия, как бывают на базарных, и публикуют о себе и о своих условиях в газетках, что последние не делают.

Мы указали на эти затруднения никак не с целью оспаривать необходимость ограничения деятельности инициативных банкирских контор, а, наоборот, с намерением выставить скорее же недостаточность наглядных средств, которые могли бы привести лишь к принятию банкирскими конторами иных изменений. Как бы казалось, что банкирская контора, как нечто среднее между мелкой лавкой, которая свободна от всякой отчетности и правительственной регламентации, но может быть просто закрыта полицейским распоряжением, и частным банком, который представляет, все-таки, некоторый гарант по своему устройству, но должна существовать. Она есть по преимуществу создание гешефтшляхеров, которые, пользуясь существующим ограничением числа частных банков и потребностью публики в посредниках более многочисленных и доступных, завели себя всё же, но совершенно безконтрольные и безответные банки, и завели их, притом, главным образом, с целью

играть на биржѣ на довѣрленія или публичною оредѣтвѣ. При счастья на биржѣ и употребленія десятковъ тысячъ рублей въ годъ на объявленія въ газетахъ, такой спекулянтъ до того расширяетъ свои операціи по продажѣ бумагъ въ расрочку, страхованію, текущимъ счетамъ и ссудамъ подъ залогъ, что уже можетъ, наконецъ, дѣйствительно, довольствоваться одними банкирскими операціями, и тогда кентора его—настоящій банкиръ, только не стѣсненный ни уставомъ, ни отчетностью. При неудачѣ на биржѣ, онъ бываетъ некоторое время съ веденіемъ оборотовъ явныхъ; а если предвидитъ неизбежную гибель, то публикуетъ объ особо-выгодныхъ условіяхъ расрочки, страхованія и выгоднои разнѣрѣ ссудъ подъ бумаги, которая тогда же продается и, собравъ въ кассѣ десятковъ другой тысячъ рублей, бѣжитъ за границу.

Но нашему мнѣнію, наиболее правильнымъ рѣшеніемъ вопроса было бы раздѣленіе учрежденій и заведеній, торгующихъ бумагами и деньгами, на двѣ категоріи: на мѣняльныя лавки и частныя коммерческія банки. Первыми могли бы быть разрѣшены, кромѣ продажи и покупки за наличныя деньги или бумаги, все операціи чисто-коммисіонерскаго свойства, какъ-то: исполненіе порученій, производство платежей, переводы, страхованіе и т. п.; съ безусловнымъ воспрещеніемъ вслѣдствіе операцій торгово-кредитныхъ. Последнія предоставлялись бы только банкамъ, организованнымъ согласно нормальному уставу, причѣмъ изъ круга ихъ дѣятельности, какъ и нынѣ, не исключались бы операціи коммисіонерскія.

Но при этомъ пришлось бы нѣсколько отступить отъ принципа возможно-большаго стѣсненія числа частныхъ коммерческихъ банковъ, которое, въ сущности, создаетъ монополію, а для публики неудобство, изъ котораго и возникаетъ потребность въ банкирскихъ кенторахъ. Пусть въ Москвѣ, вмѣстѣ съ существующими пяти частными коммерческими банками, будетъ ихъ 15; это было бы гораздо лучше, чѣмъ существованіе десятковъ банкирскихъ кенторъ, единичныхъ и безконтрольных. Сверхъ тѣхъ гарантій, какія представляются въ самомъ уставѣ и устройствѣ банка, правительство при самомъ разрѣшеніи его могло бы хоть до нѣкоторой степени убѣдиться въ солидности компаньоновъ; если банкъ—на пальцѣ, съ круговою порукой, то не могутъ же все найдены бѣжать. Если же банкъ—съ ограниченнымъ кредитомъ, то самое устройство акціонерныхъ предпріятій связано съ большею главностью и надзоромъ. Предоставленіе же коммисіонерныхъ дѣлъ мѣняльнымъ лавкамъ ничего не измѣнило бы въ нынѣшнемъ порядкѣ, такъ какъ и теперь ничто не мѣшаетъ довѣрить какую-либо дѣла или покупку мѣняль, какъ—относительно иныхъ товаровъ—всякому торговцу. При такомъ разрѣшеніи вопроса исчезла бы та вредная, полубанкован, полумѣняльня, а, главнымъ образомъ, безотчетная спекулятивная лавка, которая нынѣ называется «банкирскою кенторой».

Послѣдствія избиенія редактора *Dina-Zeitung*, г. Ингирса, оказались весьма серьезными, и мы должны упомянуть о нихъ въ нашемъ обзорѣ теку-

днихъ фактовъ русской жизни, такъ какъ фактъ этотъ нѣсколько выдвигается въ картинѣ общественной жизни нашей, какъ мы должны представлять ее себѣ по буквѣ дѣйствующихъ законовъ. Побившій г. Цинирса, редактора нѣмецкой газеты, благопріятно относящейся къ дѣлу объединенія балтійскихъ областей, купецъ Доссъ высланъ на три года въ Вятку, одинъ изъ редакторовъ неблагопріятно относившейся къ дѣлу объединенія *Vigasche Zeitung*, г. Витчевскій, отправленъ на два года въ Новгородскую губернію, адвокат Бюгнеръ, сынъ бывшаго «своенравнаго» городского головы въ Ригѣ, отправленъ въ ту же губернію, и, притомъ, всѣ трое безъ права отлучаться изъ сказанныхъ мѣстожительствъ. Помогавшій же своему брату въ избіеніи г. Цинирса секретарь уголовной депутаціи рижскаго магистрата Матиасъ Доссъ уволенъ отъ должности, съ воспрещеніемъ въ теченіе 3 лѣтъ снова поступать на общественную службу. «Вромѣ этихъ высылочъ, состоялось нѣсколько другихъ», — прибавляетъ корреспондентъ *Новаго Времени*, откуда это извѣстіе перешло во всѣ газеты.

Съ другой стороны, *Гражданинъ* сообщилъ слѣдующее извѣстіе: губернаторы балтійскихъ провинцій вошли съ ходатайствомъ объ отміненіи той статьи закона, относящагося къ мѣстному примѣненію *Городоваго положенія* 1874 г., который сохранилъ право участія въ городскихъ выборахъ, принадлежавшее, по мѣстнымъ законамъ, лицамъ, получившимъ высшее образованіе, такъ называемымъ «литератамъ». Предположеніе объ отміненіи этого закона мотивируется въ газетѣ соображеніемъ политическаго свойства. Мы не станемъ разбирать, полезна или вредна можетъ быть такая мѣра собственно въ этомъ отношеніи, и ограничимся замѣчаніемъ, что нѣкоторыя изъ нашихъ газетъ расположены слишкомъ ясно и слишкомъ ужъ часто ссылаться на этотъ мотивъ для требованія разныхъ изъятій изъ законовъ. Если же на цензъ высшаго образованія, дающій право на участіе въ городскихъ выборахъ, смотрѣть безъ такихъ исключительныхъ соображеній, то нельзя не признать, что онъ представляетъ весьма цѣнную особенность балтійскихъ учреждений, такую, которую положительно слѣдовало бы распространить на всю имперію, совершенно независимо отъ того, оставить ли, или отміненъ ея дѣйствіе въ Балтійскомъ краѣ.

Въ петербургской городской думѣ недавно обнаружилось, что тайный совѣтникъ Евреинновъ пользуется избирательнымъ правомъ потому только, что заплатилъ 3½ рубля за свидѣтельство на мелочной торгъ, но торговли никакой не производитъ. Не странное ли и даже комичное явленіе представляется въ такомъ сопоставленіи, что профессоръ, адвокатъ, врачъ, инженеръ, постоянно живущіе въ городѣ, не могутъ принимать участія въ выборахъ, если не имѣютъ недвижимаго имущества, иначе, какъ взявъ свидѣтельство въ три руб. съ половиной на мелочной торгъ. Представимъ себѣ покойнаго Аксакова желающимъ принять участіе въ городскомъ управленіи Москвы и могущаго выступить при этомъ не иначе, какъ въ качествѣ мелочнаго торговца. Здѣсь, очевидно, есть несообразность, которая и можетъ быть устранена не иначе, какъ повсемѣстнымъ признаніемъ городского ценза

«литератовъ», т.-е. лицъ, имѣющихъ свидѣтельство объ окончаніи курса высшихъ училищъ.

Это единственное средство для того, чтобы оживить нашъ муниципальный починъ и сдѣлать возможнымъ какой-нибудь просвѣтъ въ сплотившихся подначальныхъ нѣсколькимъ Титамъ Титычамъ большинствахъ нашихъ городскихъ думъ. При послѣднихъ выборахъ въ Москвѣ по третьему разряду оказалось, что избирателей состояло до 22 тысячъ лицъ, платящихъ въ совокупности около 655 $\frac{1}{4}$ тыс. р. въ городскіе сборы, т.-е. что средній избиратель въ этомъ разрядѣ платитъ примѣрно по 30 рублей. Эти 30 руб. уплачиваемыхъ прямыхъ сборовъ никакъ не представляютъ собой гарантіи дѣйствительной солидарности плательщиковъ ихъ съ судьбою городского хозяйства, что доказывается уже фактомъ, что на выборы по 3 разряду изъ 22 т. лицъ явились всего 1,832. Изъ этихъ 1,832 лицъ огромное большинство; а именно 1,188, имѣли право голоса по свидѣтельствамъ гильдейскимъ, промысловымъ, прикащичьимъ и на мелочной торговлѣ; и только 644 лица — на основаніи владѣнія въ городѣ недвижимымъ имуществомъ. Такой составъ избирателей, очевидно, скорѣе бы соответствовалъ какому-нибудь рядовому, чѣмъ городскому управленію. Нѣсколько сотъ новыхъ избирателей, принадлежащихъ къ интеллигенціи, не только улучшили бы этотъ составъ нравственно, но и сдѣлали бы его болѣе подходящимъ къ реальному соотношенію дѣйствующихъ въ городѣ производительныхъ силъ.

Возможно ли, въ самомъ дѣлѣ, признать, что Петербургъ и Москва обязаны своимъ развитіемъ и дѣйствительнымъ значеніемъ тѣмъ мелочнымъ торговцамъ и прикащикамъ, которые нынѣ составляютъ огромное большинство въ избирательномъ сословіи самыхъ столицъ и даютъ рѣшительное въ немъ преобладаніе крупнымъ купцамъ и подрядчикамъ, отъ которыхъ упомянутые избиратели зависятъ? Положимъ, интеллигенція можетъ получить доступъ въ составъ городского избирательства вслѣдствіе установленія проектируемаго квартирнаго налога. Но если бы налогъ этотъ составлялъ по 30 р. съ избирателя, какъ нынѣшніе сборы по третьему разряду, то ясно, что далеко не все лица, имѣющія свидѣтельства высшаго образованія, могли бы войти въ составъ избирателей. Проще всего было бы распространить на все города балтійское избирательное право «литератовъ». Но если ужъ непременно держаться со всею строгостью ценза имущественнаго, то почему же не обложить проживающихъ въ городѣ лицъ съ свидѣтельствами высшаго образованія такимъ же промысловымъ сборомъ въ пользу города, каковы обложены работники торговые, т.-е. прикащики и мелочные торговцы? Во всякомъ случаѣ, нельзя не признать, что наши городскія избирательныя сословія положительно нуждаются въ нѣкоторомъ обновленіи и оживленіи.

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО.

XVII передвижная выставка в Москвѣ. — Двѣ картины г. Самарскаго: *Фрэнцъ въ предѣлахъ Писсидолы* и *Парадъ турковъ*. — Картина г. Бранскаго: *Бомоматеръ*. — Три картины Франца Жмурко. — Малый театр: *Благотворительныя дамы*, комедія въ 4 дѣйствіяхъ г. Мансфельда; *Подъ властью сердца*, драма въ 4 дѣйствіяхъ г. Ладженскаго. — Большой театр: два спектакля въ пользу капитала на память г. Гоголю.

Свѣтлая недѣля — обычное въ Москвѣ время выставокъ картинъ, и на этотъ разъ намъ особенно повезло, если не качествомъ выставленныхъ произведеній, то количествомъ выставокъ. Кромѣ *Постоянныя общества любителей художества* (на Большой Дмитровкѣ), открыта XVII передвижная выставка въ цѣломъ живописи и валяна на Мясницкой, на Кузнецкомъ Мосту одно благотворительное общество устроило выставку картинъ, принадлежащую частнымъ владѣльцамъ, въ Историческомъ музѣе показывать двѣ картины Самарскаго, въ Дворянскомъ собраніи (на Большой Дмитровкѣ) — одну картину М. В. Бранскаго, въ Солодовниловскомъ пассажѣ — три картины Франца Жмурко, наконецъ, въ домѣ государственнаго коннозаводства слѣдуютъ одна за другою громады частныхъ коллекцій картинъ, по количеству и по достоинству не уступающихъ ничьимъ выставкамъ общества любителей художества. Начнемъ съ передвижной выставки. Два ея каталога, простой и иллюстрированный, не обыкновенно, не полны, составлены небрежно, продаются дорого, причемъ иллюстрированный, стоющій 1 руб. 10 коп., не можетъ служить пособіемъ для осмотра выставки потому, что въ немъ картины значатся не по дѣйствительнымъ номерамъ, по которымъ онѣ выставлены. На вопросъ нашъ, отчего произошла такая путаница, намъ было объяснено, что по дѣйствительнымъ номерамъ въ каталогъ, картины были выставлены въ Петербургѣ, для обзора же выставки въ Москвѣ слѣдуетъ купить простой, не иллюстрированный каталогъ, стоющій всего 10 коп. Мы купили. Объяснившій намъ это господинъ, принадлежащій къ администраціи выставки, добавляя, что скоро номера на картинахъ будутъ переставлены по петербургскому каталогу, и тогда номера будутъ сходиться съ большимъ каталогомъ, а дешевый уже не будетъ годиться. Происходить это вотъ отъ чего: номера на картинахъ выставлены сообразно алфавитному порядку фамилій

художниковъ, причѣмъ въ петербургскомъ каталогѣ нѣболѣе 186 номеровъ, а въ московскомъ—всего 130. Очевидно, что: недостающія въ Москвѣ 56 картинъ куплены, сняты съ выставокъ и въ Москву не доѣхали. Мы не знаемъ, канія это были картины и много ли потеряла московская публика отъ того, что ихъ не видела, или же и совсѣмъ много не потеряла; но ни въ какомъ случаѣ снятія картинъ съ передвижныхъ выставокъ мы одобрити не можемъ. При такомъ порядкѣ, въ Москвѣ могутъ быть раскуплены и взяты съ выставокъ еще картины, въ другомъ городѣ можетъ произойти то же, потѣмъ — въ третьемъ... передвижная выставка, по мѣрѣ передвиженія по Россіи, будетъ постепенно заять и, въ концѣ концовъ, можетъ совсѣмъ растаять, не доѣхавши и до половины своего пути къ югу. Такимъ образомъ, передвижная выставка превращается въ передвижной базаръ картинъ, «товарищество» художниковъ—въ разношноровъ, торгующихъ «на посмотри и на выносъ». Этимъ наносится существенный ущербъ прекрасной идѣе, положенной въ основу учрежденія передвижныхъ выставокъ. Въ концѣ книжки приложены каталоги первыхъ пятнадцати передвижныхъ выставокъ. Каталогъ шестнадцатой, неизвѣстно почему, отуствуетъ. Такимъ образомъ, оказывается ничѣмъ неоправдываемый пропускъ апечатанные же 16 каталоговъ не сходится съ тѣми, которые мы сохранили отъ выставокъ, бывшихъ въ Москвѣ, а потому считаемъ себя вправе сказать, что весь иллюстрированный каталогъ нигуда не годится, а отбросить дороже.

Первое мѣсто на ХУШ выставкѣ занимаетъ, безспорно, картина И. Е. Рѣпина *Святитель Николай*. Высокоталантливый художникомъ изображено освобожденіе св. Николаемъ трюмъ осужденныхъ на смертную казнь. Атлетъ палачъ готовъ занести мечъ надъ головою одного изъ приговоренныхъ къ смерти; но мечъ еще не занесенъ, палачъ прицѣпляется, чтобъ ему ударить, и вотъ-вотъ взмахнетъ орудіемъ казни. Но въ этомъ моментѣ, т. е. въ моментъ неподвижности руки палача, только еще прилежно цагаюся, чтобы сразу отцѣпить голову отъ туловища, епископъ Муръ Липойскій, положивъ правую руку на рукоятку меча, другую—на руку палача. Палецъ святителя переходитъ черезъ эфесъ и касается острого лезвія. Мы говоримъ объ этомъ такъ подробно и настаиваемъ особенно на моментѣ остановленія движенія палача потому, что находимъ критикъ, ставящіе въ упоръ художнику то обстоятельство, что пальцы святителя муча лежатъ на остріи: и могутъ быть отрѣзаны или поранены. Они и были бы отрѣзаны въ томъ случаѣ, если бы святитель схватился рукою за мечъ тогда, когда мечъ опустился бы сверху внизъ на шею осужденнаго. Но совершивши чуда, средою старческою, и физически слабою рукою епископъ не остановилъ бы движенія здоровааннаго палача. Критикъ, придравшійся къ этой подробности, не понималъ или не хотѣлъ понять, что мечъ остановленъ св. Николаемъ не послѣ взмаха, не во время движенія, а передъ взмахомъ, въ моментъ неподвижности, предшествующей взмаху. А понять это весьма не трудно,—сдѣлать только внимательно взглянуть на фигуру палача и на положеніе тѣлою

руки святителя, простиравшейся палачу взмахнуть мечомъ вверхъ. Высказанное нами подвергается и фигурой палача, юнודה на выражающей того движениа, которое должно соответствовать наносимому удару. Въ такомъ положеніи никакая опасность не угрожала рукѣ святителя. Но, помимо этого; если бы даже и была опасность, мы, чуждые «образъ кротости» святаго епископа, убѣждены въ томъ, что никакая опасность не остановила бы его подвига на спасеніе несчастныхъ. Бритиль, о которомъ мы говоримъ, не понялъ или же опять-таки не захотѣлъ понять, что опасность, дѣйствительно, угрожала святителю и что объ этой опасности говорить св. Николаю изображенный на картинѣ позади его чиновникъ, присланный съ отрядомъ солдатъ наблюдать за исполненіемъ приговора. Не физическая сила старца-епископа помѣшала совершенно казни, а великая сила духовная, съ удивительнымъ мастерствомъ выраженная художникомъ въ лицѣ и во всей фигурѣ святаго. Необыкновенно типиченъ упомянутый нами чиновникъ, пытающійся уговорить святителя не вмѣшиваться въ распоряженіе свѣтской власти. Такъ же характерна полная движениа фигура осужденнаго старша въ оковахъ, упавшаго на колѣни и простирающаго руки къ спасающему три жизни пастырю словеснаго стада Христова. Последнему изъ овецъ этого стада является третій осужденный, юноша, измученный тяжкимъ заключеніемъ, измученный нравственно до того, что онъ уже не совсѣмъ ясно понимаетъ смыслъ происходящаго передъ его глазами. Въ глубинѣ картины толпы народа, отъ мала до велика, съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдятъ за поразительною сценой, размыгивающеюся на первомъ планѣ. Кто-то поднимаетъ надъ толпой ребенка, чтобы видѣлъ онъ, запомнилъ и передалъ бы, какъ очевидно, всѣ подробности великаго подвига человеколюбива, явленнаго учителемъ стаду своему. На выставкѣ картина эта, какъ по мысли, такъ и по исполненію, занимаетъ первое мѣсто. Впечатленіе, производимое этою картиной, такъ сложно, что пишущій эти строки рѣшительно затрудняется, къ чему бы возможно было перейти непосредственно послѣ картины г. Рѣпина. О какой бы другой картинѣ мы ни заговорили, намъ приходится дѣлать спачокъ; а разъ уже мы поставлены въ такое положеніе, то и предпочитаемъ прямо отъ лучшаго произведенія перейти къ худшему на выставкѣ, къ картинѣ: Н. Н. Ге, изображающей *Выходъ Христа съ учениками въ Гессеманскій садъ*, послѣ Тайной вечери. На краснѣ художникъ не расщедрился; вся картина представляетъ собою муромъ-зеленый четырехъугольникъ, на которомъ темно-зеленою и совсѣмъ черною красками написано восемь фигуръ, сходящихъ съ лѣстницы, переднія четыре парами, слѣдующія за ними—одна за другою. Христосъ не во главѣ учениковъ, не онъ ихъ ведетъ въ этотъ послѣдній земной путь, совершенный ими вмѣстѣ. Учитель остался позади всѣхъ и засмотрѣлся куда-то вверхъ, въ темно-зеленое пространство. Стоящій рядомъ ученикъ заглядываетъ ему въ лицо. Можно догадываться, что это любимый ученикъ, Іоаннъ, на евангеліе котораго сдѣлано указаніе въ каталогѣ. По рукояткѣ ножа, торчащей изъ-подъ мышца предшествующаго имъ человека, можно

предлагать, что это апостола Петръ. А затѣмъ уже лицъ нельзя разобрать, хотя два и выдвинуты на первый планъ;—все зеленое, все сплошное пятно, все—не только некрасиво, но прямо антихудожественно. И, наоборотъ, въ картинѣ А. Д. Литовченки, носящей длинное названіе: *Итальяскій посланникъ Колмуччи срисовываетъ любимыхъ соколовъ царя Александра Михайловича*, все очень красиво, отлично написано и было бы художественно, если бы былъ въ этой картинѣ хотя какой-нибудь смыслъ. Но обстановкѣ и по костюмамъ, даже по примѣчанію въ каталогѣ, гдѣ значится: «см. письма ц. Алексѣя Михайловича», картина претендуетъ на то, чтобы попасть въ число историческихъ. На самомъ же дѣлѣ это—пестрое и красиво-пустое мѣсто. Съ точно такимъ же успѣхомъ можно нарисовать безконечное множество костюмныхъ картинъ, лишенныхъ всякаго содержанія и смысла. А написано прекрасно, въ этомъ надо отдать справедливость г. Литовченкѣ.

Къ слову объ историческихъ картинахъ, на нынѣшней выставкѣ, кромѣ св. Николая г. Рѣпина, таковыхъ совсѣмъ нѣтъ. Нашъ талантливый художникъ-специалистъ по этой части Н. В. Невревъ измѣнилъ исторію и выставилъ двѣ жанровыхъ картины: *Расчетъ по наследству* и *Сватовство*. *Расчетъ* происходитъ въ купеческой семьѣ, облекшейся въ сюртуки и модныя платья, но, очевидно, сохранившей во всей нейрискосновенности понятія и нравы, изображенныя въ комедіяхъ Островскаго. Два брата: «въ наилучшемъ видѣ» задѣлили вдову третьяго брата и ея дочь. Всѣ лица и фигуры замѣчательно выразительны; въ каждомъ движеніи сказалась опредѣленная черта характера. Эта картина могла бы быть поставлена въ число лучшихъ произведеній русскихъ жанристовъ, если бы не была написана немного суховато. Другая картина, *Сватовство*, совершенно безукоризненно изображаетъ сцену изъ быта нашего духовенства, пріѣздъ священника съ сыномъ семинаристомъ въ домъ къ вдовой попадѣ, у которой дочь—«невѣста съ мѣстомъ», т. е. такая сирота поповна, будущему супругу которой предѣстательно право занять мѣсто ея умершаго отца—священника. Правъ это дѣлаетъ «невѣсту съ мѣстомъ» очень выгодною невѣстой, привлекаетъ къ ней жениховъ, окончившихъ курсъ семинаристовъ, которымъ «ведѣно прискивать» мѣсто и невѣсту. Въ консисторіяхъ, обыкновенно, имѣются весьма обстоятельные списки такихъ завидныхъ невѣстъ. Заручившись благорасположеніемъ секретаря консисторіи, священникъ, имѣющій жениха сына, отправляется съ нимъ на сватовство. Обычай этотъ имѣетъ свои хорошія стороны, обеспечиваетъ до известной степени семью умершаго священника, но представляетъ и то неудобство, что дѣвушка, за которую зачислено священническое мѣсто, тѣмъ самымъ обречена стать непрежнѣнно женою семинариста въ весьма непродолжительный срокъ, подъ страхомъ лишиться «мѣста». На картинѣ Н. В. Неврева замѣчательно вѣрно переданы всѣ подробности такого спѣшнаго сватовства, гдѣ женихъ и его родитель не теряютъ времени, ибо знаютъ, что на ту же невѣсту имѣютъ виды нѣсколько другихъ семинаристовъ. Матушка невѣ-

ты тоже не находятъ удобныхъ медаль; ей желательно пристроить какую-либо медаль, скорее, по весьма многимъ соображеніямъ. Обыкновенно дѣло сдѣлывается въ одно свидѣніе.

Восхитительны очень маленькіе разѣвры, но крупныя талантливосты художника жанры В. Е. Маковского и его одиночныя темныя фигуры: въ особенности хорони собранія чиновника «по начальству» и «сборщица на церковь». Въ его сравнительно большой картинѣ *Свекоръ*, передъ зрителемъ, во всей его простотѣ и во всемъ ужасѣ, встаетъ одно изъ безобразнѣйшихъ явленій въ быту нашихъ крестьянъ. Неокарый и вѣрный мужикъ свекоръ удаивается за молодого снохомъ, пытается обольщеніями и нерѣдко угрозами добиться ея любви. Чѣмъ бы ни кончались искательства свекра, они неминуемо вносятъ въ семью страшный разладъ и кончатся иногда кровавою расправой между сыномъ и отцомъ. На картинѣ В. Е. Маковского изображенъ тотъ моментъ, когда мужъ молодой бабы подкарауливъ отца и подделывается его обьяненію съ снохомъ: Свекоръ и «молодая» написаны очень правдиво. Въ ошальствѣ, нельзя сказать того же про фигуру, подкарауливающую въ дверяхъ мужа: она не достаточно выразительна и ослабляетъ производимое картиною впечатлѣніе. Маковского же большія картины — *Молодежь на Св. неделе* и маленькая — *Простота въ сельской церкви* — вѣрно и живо передаютъ изображенные эпизоды изъ деревенской жизни въ Орловской губерніи.

Изъ деревенской жизни ваялъ также Б. В. Лемокъ сюжетъ для картины *Стрижка овецъ*. Нѣтъ въ этой картинѣ ни смысла, ни мысли. Нарисовано на ней семь фигуръ, вромѣ овецъ и вѣдь эти фигуры ничѣмъ между собою не связаны. Такіе пустяки, какъ стрижка овецъ, могутъ быть предметомъ для изображенія одной, много двухъ фигуръ, да и то при условіи артистическаго исполненія, чего въ картинѣ г. Лемоха не оказывается. Мы отнюдь не требуемъ отъ художника, чтобы онъ изображалъ намъ непременно драму какую-нибудь или сцену изъ комедіи и совсѣмъ не одобряемъ лѣзущей въ глаза тенденціи. Въ картинахъ мы желали бы всегда находить то же самое, что требуется отъ безэстетическаго произведенія, а именно: присутствіе мысли, вывавшей на свѣтъ произведеніе искусства, — какою бы то ни было, — разумѣется, честной — мысли, хотя бы маленькой-малюсенькой. Художественность исполненія или, вѣрнѣе, мастерство письма лица да известной и довольно слабой степени можетъ примирять съ отсутствіемъ мысли тамъ, гдѣ дѣло идетъ не о патетическомъ. И, наоборотъ, содержательность произведенія въ значительной мѣрѣ искупаетъ нѣкоторые недостатки исполненія, съ чѣмъ, вѣроятно, согласится всякій, обратившій на выставкѣ вниманіе на слабую по исполненію картину В. М. Максимова *Все съ прошлымъ*, на которой изображены двѣ ослотѣвшихъ старушки: барыня, ея старая горничная и вѣрная, тоже старая, собака. Тяжелыя это слова: «все съ прошлымъ», и щемящю болью отдаются они въ сердце, когда смотришь на картину г. Максимова и сознаешь, что для этихъ двухъ старухъ ничего не осталось въ настоящемъ и въ будущемъ.

нѣтъ ничего. Если бы эта картина была написана такъ, какъ небольшая картина К. Г. Богданова *Друзья*, она была бы въ своемъ родѣ перломъ. У г. Богданова тоже два лица: мальчикъ - барченокъ лежитъ на плоскомъ берегу рѣки; старикъ рыболовъ сидитъ около него, настраиваетъ игрушечный корабликъ. Ребенокъ задумался и смотритъ куда-то вдаль, рыболовъ весь углубился въ свою работу. Но вы чувствуете, навѣрное знаете, что вотъ сейчасъ мальчикъ оборотится къ старику и потребуетъ объясненія, разрѣшенія того, надъ чѣмъ работаетъ его дѣтская головка, и между друзьями завяжется бесѣда, которая заронитъ въ сознание барскаго дитяти много такое, до чего онъ долго не додумался бы, а, быть можетъ, и никогда бы не додумался безъ своего друга, умнаго и честнаго крестьянина. Что рыболовъ умный и честный мужикъ и многому научить, что ребенокъ пытливый и способный мальчикъ, въ томъ сомнѣннн нѣтъ для зрителя, хотя мелѣкомъ видѣвшаго чудесную картинку г. Богданова.

Недурно задумана картина г. Пастернака *Письмо съ родины*; на ней удачно схвачены лица и фигуры трехъ солдатиковъ, изъ которыхъ одинъ, неграмотный, слушаетъ, какъ его товарищъ грамотѣй читаетъ ему вслухъ полученное съ родины письмо. Третій солдатикъ лежитъ и куритъ. Написана же картина довольно плохо. Н. А. Ярошенко изобразилъ, и очень хорошо, тоже солдата, качающагося на качеляхъ съ кухаркой, за которой онъ, очевидно, ухаживаетъ. Недурная картинка К. К. Костанди *Больная на дачѣ* слишкомъ напоминаетъ другую «больную», умирающую точь въ точь такъ же въ креслѣ передъ открытымъ окномъ. Не помнимъ, кѣмъ написана эта первая «больная»; мы ее видѣли нѣсколько лѣтъ тому назадъ на выставкѣ же и отдаемъ ей предпочтеніе передъ «больною» г. Костанди. Переходя затѣмъ къ болѣе плохимъ произведеніямъ, мы упомянемъ о *Сиротахъ* и *За чайкомъ* М. П. Клодта и закончимъ безобразною картиной С. В. Иванова *Въ дорожѣ*, купленную П. М. Третьяковымъ для того, вѣроятно, чтобы въ его знаменитой галлерей были не только образцы произведеній русской живописи, но и образцы курьезовъ, появляющихся на нашихъ выставкахъ. Въ числѣ такихъ курьезовъ произведеніямъ г. Иванова принадлежитъ безспорно первое мѣсто. На его картинѣ *Въ дорожѣ* все желто-желто, какъ въ песочницѣ. Въ желтомъ полѣ, подъ желтымъ небомъ стоитъ распряженная телѣга; передъ телѣгой лежитъ покойникъ; немного дальше лежитъ баба, у телѣги лежитъ еще кто-то около сидящаго ребенка. Изъ этого познать слѣдуетъ, что мужики иногда умираютъ дорогой въ полѣ, бабы отъ того въ огорченіе приходятъ и падаютъ ничкомъ, дѣти же ничкомъ не падаютъ, а сидятъ и ничего не понимаютъ. Нечего сказать, блестящая идея и весьма плодотворная. Хорошо, что эта картина попадаетъ въ галлерей П. М. Третьякова въ вѣчное назиданіе молодымъ художникамъ, чего изображать не должно. *Ивана Царевича*, В. М. Васнецова, не приобрѣлъ П. М. Третьяковъ; у него уже достаточно собрано произведеній этого художника, столь неудачно увлекшагося новшествомъ, якобы долженствующимъ создать особливую русскую живопись, непохожую ни на

какую другую. Выходило нѣчто, въ самомъ дѣлѣ, ни на что непохожее, свидѣтельствующее о томъ, что и съ талантомъ можно забраться въ такія дебри бессмыслицы, изъ которыхъ почти нѣтъ средствъ выбраться на свѣтъ Божій. Въ новой картинѣ г. Васнецова сказывается попытка вернуться на общечеловѣческую стезю въ искусствѣ, но до осуществления столь благого намѣренія еще далеко г. Васнецовъ написалъ, лѣсъ, воду и цвѣты нѣсколько похожими на настоящіе, а не на его, «Васнецовскіе». Но «сѣрый волкъ» все еще претендуетъ, попрежнему, на сказочность и вышелъ совершенно такимъ, какимъ мы видимъ «сѣрыхъ волковъ» въ окнахъ мѣховыхъ магазиновъ. Прыгаетъ «сѣрый» черезъ воду, а зритель убѣжденъ, что это чучело только сдѣлано въ такой повѣ, прыгать никакъ не можетъ и обречено всю жизнь пребывать съ вытянутыми впередъ ногами и высунутымъ языкомъ. Иванъ-царевичъ и его царевна сидятъ на волкѣ такъ же покойно, какъ сидѣли бы дѣти на игрушечной лошади. Взмахнулись распущенные волосы царевны, но взмахнулись они по-деревянному, точно ихъ наклеили и засушили въ такомъ положеніи. Въ лѣсной обстановкѣ есть проблески жизни, въ фигурахъ же нѣтъ на нее и намега.

По части пейзажей нынѣшняя выставка совсѣмъ бѣдна не количествомъ, а качествомъ. Единственное выдающееся произведеніе—картина В. Д. Полѣнова *На Генисаретскомъ озерѣ*—дѣйствительно переноситъ зрителя въ далекій край, подъ чужое небо. Поразительно написаны и это знойное небо, и вода, и, въ особенности, туманъ-мгла, стелящаяся по водѣ и заволакивающая низы противоположнаго берега. На картинѣ изображена всего одна фигура—араба, медленно идущаго по тропинкѣ. Напрасно кое-кто изъ публики высказываетъ догадки о томъ, кого хотѣлъ изобразить художникъ въ этомъ лицѣ. Мы слышали на выставкѣ предположенія, что это, должно быть, Иисусъ Христосъ. Смѣемъ завѣрить, что о Христѣ тутъ и рѣчи быть не можетъ: Иисусъ Христосъ былъ назарей, слѣдовательно, волосъ не стригъ, такъ какъ назареи волосъ не стригли. На картинѣ же г. Полѣнова идетъ спокойно своею дорогой коротковолосый, стриженный человекъ, просто-на-просто—арабъ, котораго художникъ видѣлъ на берегу Генисаретскаго озера и воспроизвелъ въ своей картинѣ съ обычнымъ высокоталантливому мастеру пониманіемъ, что фигура эта какъ нельзя болѣе здѣсь у мѣста и что присутствіе этой фигуры производитъ удивительное впечатлѣніе на зрителя, переноситъ его самого на тѣ же берега, на ту же тропинку, вызываетъ желаніе двинуться впередъ и пойти на встрѣчу одинокому путнику. Великое мастерство поставить такъ фигуру въ ландшафтѣ и огромный талантъ нуженъ для того, чтобы сдѣлать это такъ, какъ мы видимъ на картинѣ г. Полѣнова.

Ландшафты И. И. Шипкина на этой выставкѣ далеко насъ не восхитили, и его *Утро въ тѣсу* ничуть не выиграло отъ того, что г. Савицкій изобразилъ тутъ медвѣдицу съ тремя медвѣжатами. А. А. Киселевъ еще разъ написалъ *Ледоходъ*, очень хорошій ледоходъ, но много теряющій отъ того, что это не первый. Хорошъ *Иерусалимъ* Е. Е. Волкова. Вообще

Объедна нынѣшняя передвижная выставка, такъ объедна, какъ не бывала, кажется, ни одна изъ прежнихъ. Отчего это происходитъ, мы не знаемъ и можемъ только выразить наше опасеніе, не служитъ ли это обстоятельство предвѣстникомъ паденія симпатичнаго учрежденія передвижныхъ выставокъ? Опасеніе наше основывается не на томъ только, что XVII выставка неблестяща, а, главнымъ образомъ, на томъ, что все больше и больше входятъ въ обычай частныя выставки отдѣльныхъ картинъ, какъ мы это видимъ въ настоящую минуту въ Москвѣ. Само собою разумѣется, что такія отдѣльныя выставки даютъ большія выгоды художникамъ, для публики же это сущее бѣдствіе: во-первыхъ, осмотръ картинъ въ розницу уносить слишкомъ много времени; во-вторыхъ, стѣить чрезмѣрно дорого. Оба эти обстоятельства весьма многихъ лишаютъ возможности ознакомиться съ новыми произведеніями художниковъ, причемъ и одного послѣдняго весьма достаточно для того, чтобы тысячи людей не видали двухъ картинъ г. Семирадскаго, за посмотри которыхъ надо заплатить цѣлый рубль, не считая платы за сохраненіе верхняго платья. Г. Брянскій вѣзаетъ съ посѣтителей 40 коп., съ включеніемъ храненія платья; г. Жмурко беретъ 50 коп.; передвижники обходятся въ общемъ 60 коп., съ малымъ каталогомъ: итого въ четырехъ мѣстахъ приходится заплатить 2 р. 50 коп. Для большинства людей, интересующихся искусствомъ, для всей учащейся молодежи, для военныхъ, чиновниковъ, для всего служилаго люда это расходъ положительно невозможный. Мы самолично видѣли, какъ одинъ за другимъ уходили отъ дверей Историческаго музея разнаго званія и возраста люди, когда имъ объявляли, что *Фрина* доступна лишь для избранныхъ, могущихъ безъ стѣсненія для себя отдать рубль.

Картина г. Семирадскаго *Фрина на праздникъ Посейдона* написана на огромномъ полотнѣ въ 12¼ аршинъ длиною. Фрина, знаменитая аѣнская гетера (ея настоящее имя было Мнезарета), жила въ концѣ IV в. до Р. X. и славилась необычайною красотой, вдохновлявшею живоисцевъ, ваятелей и ораторовъ и сдѣлавшей ее, наконецъ, предметомъ поклоненія на праздникѣ Посейдона, имѣвшемъ мѣсто, кажется, въ Элевзисѣ на берегу моря. По преданію, ораторъ Гиперидъ прославилъ ея красоту тѣмъ, что, защищая Фрину передъ судомъ, долженствовавшимъ приговорить ее къ смерти за богохульство, сбросилъ съ нея одежды. Ареопагъ аѣнскій былъ такъ пораженъ необычайною красотой ея тѣла, что не рѣшился уничтожить столь совершеннаго созданія боговъ. Пракситель сдѣлалъ съ Фрины статую Венеры Книдской. Апеллесъ съ нея же писалъ свою Венеру Анадіомену, которую Фрина изображала на праздникѣ Посейдона, воспроизведенномъ теперь нашимъ высокоталантливымъ художникомъ. Мы не станемъ касаться вопроса, всенародно ли явилась Фрина въ образѣ Венеры, какъ это изображено г. Семирадскимъ, или же произошло это лишь въ кругу избранныхъ, посвященныхъ въ элевзинскія таинства, ибо мы не можемъ съ достовѣрностью утверждать, что торжество это входило въ кругъ элевзинскихъ мистерій, посвященныхъ Церерѣ и Прозерпинѣ. Гдѣ бы ни происхо-

дило празднество, до насъ дошло преданіе, что славнѣйшая изъ аѳинскихъ красавицъ, Фрина, изображала на немъ богиню красоты, рождающуюся изъ морскихъ волнъ.

На картинѣ г. Семирадскаго мы видимъ Фрину готовящуюся сойти въ море. Ей остается сбросить послѣднюю одежду, едва придерживаемую распущеннымъ уже поясомъ. Одна служанка развязываетъ ленты сандаліи на ея ногѣ, другія распускаютъ ея чудесные волосы. Влѣво отъ Фрины, опустившаяся на колѣни женщина привязываетъ крылышки мальчику, долженствующему изображать Амура. Вправо, у подножія высокой тумбы, увѣнчанной треножникомъ, обитымъ гирляндами цвѣтовъ, расположилась небольшая группа людей. Тутъ сидитъ поэтъ въ лавровомъ вѣнкѣ и съ лирой въ рукѣ, ниже его пѣвецъ съ арфой, старикъ, пришедшій подивиться на прославленную красавицу, два пастуха... Одинъ изъ нихъ пришелъ въ такой восторгъ, что срываетъ гирлянду съ треножника, чтобы бросить цвѣты къ ногамъ дивной женщины. По ступенькамъ, ведущимъ къ водѣ, сподитъ дѣвочка; она несетъ ларецъ съ драгоценностями, пріоткрыла его крышку и заглядѣлась на лежащія въ немъ вещи. Немного впереди дѣвочки, уже совсемъ внизу, стоитъ женщина съ кувшиномъ на плечѣ. Фономъ для всѣхъ этихъ лицъ служитъ чудное море или, вѣрнѣе, заливъ, такъ какъ вдали виднѣнъ противоположный гористый берегъ. Но лѣвую старону Фрины толпится множество народа. Изъ занимающихъ передній планъ особенно выдаются женщина съ корзинкою цвѣтовъ и мужчина, насильно вырывающій цвѣты и бросающій ихъ къ ногамъ Фрины. Онъ совершенно утратилъ самообладаніе и выражаетъ свой восторгъ рѣзко и шумно. Затѣмъ слѣдуетъ упомянуть о трехъ лицахъ, стоящихъ вмѣстѣ. Молодой человекъ, другой среднихъ лѣтъ и третій старикъ восхищены неземною красотой Фрины, каждый по-своему, сообразно своему возрасту; но они ведутъ себя сдержанно, не шумятъ и не жестикулируютъ такъ отчаянно, какъ тотъ, что бросаетъ отнятые у сосѣдки цвѣты. На самомъ заднемъ планѣ виднѣнъ на горѣ храмъ съ дымящимися жертвенниками. Отъ храма по лѣстницамъ и площадкамъ спускается къ Фринѣ многочисленная, пестрая толпа, надъ которою возвышается статуя Посейдона, несомая на носилкахъ. Нечего говорить о томъ, что картина написана мастерски и производитъ такое впечатлѣніе, что зритель мало-по-малу сливается съ толпою, двигающеюся и волнующеюся на картинѣ, какъ бы самъ попадаетъ на эллинскій праздникъ и присутствуетъ при торжествѣ красоты Фрины. Только очутившись на этомъ праздникѣ, мы не раздѣляемъ восторговъ грековъ передъ красотой виновницы торжества, мы даже не совсемъ понимаемъ, чѣмъ она могла ихъ такъ увлечь, что судьи не посмѣли казнить Фрину, а народъ призналъ ее достойною изображать богиню. Мы не знаемъ достовѣрно, подходила ли изображенная г. Семирадскимъ Фрина къ идеалу женской красоты древнихъ грековъ; но нашему представленію о совершенствѣ формъ женскаго тѣла эта Фрина не соответствуетъ. Она слишкомъ велика, массивна, мускулиста и мясиста. Это не богиня красоты, а богатырша; ей бы Палладу-Аѳину изображать, а не Кириду нѣж-

ную, какую она рисуется въ нашемъ воображеніи. Очень можетъ быть, что эллины считали дебелость и силу непремѣннымъ условіемъ женской красоты. Но мы не эллины, а г. Семирадскій не Ацеллесъ, и писалъ свою Фрину не для афинянъ. Ея очень обильные бѣлокурые волосы кажутся намъ неприятно желтыми; они нисколько не напоминаютъ волосъ златокудрой Афродиты. Лицо тоже не поражаетъ красотой; къ тому же, въ верхней части оно представляется чѣмъ-то прикрытымъ. Мы было думали сначала, не вуалетка ли это, и, только отойдя на большое разстояніе, сообразили, что это тѣнь отъ зонта, который держитъ въ рукѣ служанка. Эта тѣнь, а также и другія тѣни обозначены очень рѣзко, какъ и должно быть при яркомъ солнцѣ. Но только онѣ, эти тѣни, и свидѣлствуютъ о присутствіи солнца на праздникѣ; ни въ чемъ остальномъ его блескъ не проявляется, нѣтъ его жгучихъ лучей на картинѣ. Замѣчательно, между прочимъ, то обстоятельство, что во всемъ множествѣ лицъ, мужскихъ и женскихъ, воспроизведенныхъ здѣсь г. Семирадскимъ, мы не нашли ни одного красиваго, точно художникъ нарочно подбиралъ все зауядныя или некрасивыя лица, чтобы тѣмъ выдѣлать лицо Фрины, тоже, какъ мы сказали, не поражающее своею красотой. Восхитительно написаны воздухъ, небо и море, превосходно написаны цвѣты, одежды, вся обстановка, нѣкоторыя фигуры и лица, удивительно передающія тѣ чувства, которыя волнуютъ присутствующихъ на праздникѣ. Главная же фигура намъ не нравится. Одно въ ней поразительно хорошо—это то, что, несмотря на почти совершенное отсутствіе одежды, мы видимъ не голую женщину, а цѣломудренную жрицу, готовящуюся совершить нѣкій священный обрядъ своего культа. Ясно, что Фрина не чувствуетъ своей наготы и не ее выставляетъ на показъ передъ толпой; она спокойно и съ сознаниемъ великаго дара боговъ—неземной красоты—славить эллинскихъ боговъ передъ всемъ народомъ Эллады.

Въ той же залѣ выставлена другая картина г. Семирадскаго, сравнительно маленькая. На ней всего четыре фигуры—три женщины и ребенокъ. Въ тихомъ уголкѣ сада, на ступеняхъ бассейна, подъ тѣнью деревьевъ, сидятъ двѣ женщины; одна изъ нихъ держитъ на рукахъ ребенка, который закапризничалъ и не хочетъ купаться. Третья женщина вошла по колѣна въ воду, пустила въ бассейнъ игрушечную лодочку съ двумя куклами и уговариваетъ дитя идти къ ней, самому катать куколь. Капризъ почти прошелъ, ребенокъ уже смѣется, черезъ минуту онъ сойдетъ въ бассейнъ и станетъ забавляться игрушками. На этой картинѣ изображена тоже античная жизнь въ мирномъ, семейномъ ея обиходѣ. Тепло въѣтъ отъ этой спокойной идилліи, и палящимъ зноемъ пышетъ южное солнце, мѣстами прорывающееся сквозь густую листву сада,—то южное солнце, котораго недостаетъ въ большой картинѣ.

Въ Дворянскомъ собраніи М. В. Брянскій выставилъ небольшую картину, изображающую Богоматерь съ младенцемъ Христомъ на рукахъ. Картина написана прекрасно, но по-старинному—безъ мазковъ. Для того, чтобы смотрѣть произведеніе г. Брянскаго, нѣтъ надобности отъ него уда-

латься и отыскивать такое разстояніе, съ котораго глазъ не различалъ бы ряби и пестроты письма. Болѣе существенная особенность картины заключается въ мысли художника, вложенной имъ въ свое произведеніе. На картинѣ г. Брянскаго мы видимъ очень молодую дѣвушку, держащую на рукахъ младенца. По складу и по выраженію лица видно, что юная мать—*Дѣва*. Младенецъ сидитъ на ея колѣняхъ, а ея необычайно чистый взоръ никогда не туманился никакою земною любовью; въ немъ нѣтъ грѣха и мѣста нѣтъ грѣховной мысли. Онъ выражаетъ полудѣтское изумленіе, радостное и боязливое, въ одно и то же время, и смотритъ онъ куда-то вдаль, какъ бы припоминая, что совершилось великое, не земное дѣло, какъ бы ища разгадки божественной тайны, избранною совершительницей которой была Она, юная дѣва, мать чуднаго младенца. Весь смыслъ картины заключается въ этомъ поразительномъ взглядѣ и въ выраженіи лица Богоматери. Но въ картинѣ г. Брянскаго есть и очень важный недостатокъ—несоразмѣрность изображенныхъ на ней фигуръ: Богоматерь слишкомъ крупна, младенецъ Христосъ слишкомъ миниатюрень; въ особенности мала головка младенца по соотношенію съ его ростомъ.

Отъ такихъ картинъ, о которыхъ шла рѣчь выше, переходъ къ произведеніямъ Франца Жмурко есть то же, что переходъ изъ чистой и свѣтлой комнаты въ какую-нибудь мрачную, грязную трущобу, и въ переносномъ, и въ прямомъ смыслѣ. Взобравшись по темной лѣстницѣ, посѣтитель, черезъ ободранную комнату, гдѣ берутъ съ него 50 коп., и черезъ вторую лѣстницу, попадаетъ въ какія-то темныя и смрадныя потемки. Жара и духота тутъ невыносимыя. Окна закрыты наглухо черными ставнями; по тремъ сторонамъ комнаты виднѣются три четырехъугольника, освѣщенные сильными керосиновыми лампами. Въ лѣвомъ четырехъугольникѣ изображена голая женщина, лежащая спиною къ зрителю. Это что же такое?—недоумѣваетъ посѣтитель. Припиленная сбоку бумажка даетъ слѣдующее объясненіе, которое выписываемъ съ полною точностью, какъ и послѣдующія два объясненія: «Драма въ гаремѣ. Падиша (sic!) подозрѣвая свою одалиску въ невѣрности приказалъ ее ночью задушить». Стало быть—задушили; на шеѣ же виднѣн кровавый рубецъ и видна кровь на постели, стало быть—шнуркомъ шею изрѣзали. Мертвое тѣло имѣется налицо, никакой драмы не имѣется. Дальше: «Гашишъ,—гласитъ бумажка,—Сонъ Одалисокъ. Двѣ одалиски послѣ употребленія Гашиша (родъ опиума) предавшись сладкимъ сновидѣніямъ». *Предавшись*—двѣ некрасивыхъ, даже немолодыхъ и очень банальныхъ бабы въ восточныхъ костюмахъ и въ довольно растерзанномъ видѣ. Третья картина озаглавлена такъ: «Дочь Евы. Аллегорическое изображеніе Демона». Передъ портьерой, закрывающей входъ на лѣстницу, стоитъ голая женщина. Низъ ея живота и ноги завернуты въ мѣховое одѣяло, крытое малиновымъ бархатомъ. Какимъ чудомъ держится это одѣяло, понять никакъ невозможно. На полу, подъ ногами голой персоны разбросаны золотыя деньги, цѣпочки, браслеты и т. п. Персона улыбается, какъ улыбаются извѣстнаго сорта женщины. Конечно, всякую женщину можно

назвать «дочерью Евы», какою бы она ни занималась профессіей. Вѣдь, и та, которой шею перетерли шнуркомъ, и тѣ, что, «предавшіеся сладкимъ сновидѣніямъ», тоже дочери Евы. По при чемъ же тутъ собственно, на непристойной картинѣ г. Жмурко, родство женщинъ съ супругою праотца Адама? На точно такомъ же основаніи можно назвать Франца Жмурко «евинымъ сыномъ». Если иногда дочери Евы безстыдничаютъ, то случается и «евинымъ сынамъ» писать безстыдныя и нелѣпыя картины, боящіяся дневнаго свѣта и показываемыя въ потемкахъ при керосиновыхъ лампахъ. Еще забавнѣе поясненіе, даваемое авторомъ, что это, дескать, «аллегорическое изображеніе демона». На всѣхъ извѣстныхъ языкахъ «демонъ» — мужскаго рода, въ общепринятыхъ понятіяхъ — тоже, и, какою аллегорію ни разводи г. Жмурко, не передѣлать ему демона въ особу женскаго пола и никакъ не приплестъ его въ родство къ прамати Евѣ. Безсмыслица это и гадость во всѣхъ отношеніяхъ.

Весенній театральнй сезонъ открылся новинкою, носящею названіе: *Благодѣтельница дамы*, данною на сценѣ Малаго театра въ первый разъ 13 апрѣля. Эту пьесу написалъ г. Мансфельдъ «по Ларронжу» и титулетъ ее «бытовыми сценами въ 4-хъ дѣйствіяхъ». Мы никогда не видали до сихъ поръ ни одной пьесы г. Мансфельда и не мало удивились, узнавши изъ одного газетнаго фельетона, что г. Мансфельдъ авторъ весьма плодовитый, сочиняющій по двѣнадцати пьесъ въ годъ. Удивились мы не тому, что г. Мансфельдъ можетъ писать по пьесѣ въ мѣсяць, — Лопе-де-Вега писалъ, говорятъ, по сорока пьесъ въ годъ, — такъ отчего же г. Мансфельду... Впрочемъ, г. Мансфельдъ — не Лопе-де-Вега, что онъ всенародно доказалъ своими *Благодѣтельницами дамами*. Удивились мы тому, что пишетъ г. Мансфельдъ такъ много, а на сценѣ мы ни одной его пьесы не видали. А еще больше удивились мы тому, что увидали вышеназванную его пьесу на сценѣ Малаго театра, на которую, какъ мы думали, пьесы принимаются съ нѣкоторымъ разборомъ. Нѣмецкаго подлинника (*Wohlthätige Frauen*, напис. въ 1879 г.) мы не знаемъ; имя же Адольфа Ларронжа (Ad. L'Argonne) очень извѣстно въ Германіи, какъ имя хорошаго музыканта-капельмейстера, драматурга, директора театра и редактора *Судебной газеты* (*Gerichtszeitung*, 1869 г.). Названная пьеса, не считаясь лучшимъ произведеніемъ Ларронжа, имѣла, все-таки, успѣхъ на нѣмецкихъ сценахъ, по всей вѣроятности, потому, что дѣйствительно воспроизводила характерныя черты нѣмецкаго быта. Перекроенная на русскій ладъ и на русскій бытъ, она ровно ничего не воспроизводитъ. Если бы г. Мансфельдъ, не мудрствуя, просто перевелъ бы пьесу, мы узнали бы, что вотъ такъ и такъ происходитъ то-то и то-то у нѣмцевъ. По его передѣлкѣ мы не можемъ судить о томъ, какъ дѣло обстоитъ въ нѣмецкой землѣ, и видимъ только, что у насъ ничего подобнаго не происходитъ и происходить не можетъ. Но и это еще не все: г. Мансфельдъ написалъ карриатуру на благодѣтельность вообще и на женщинъ, принимающихъ дѣятельное участіе въ благотвори-

тельности, въ частности. Устами «стародума» пьесы, генерала Верховскаго, г. Мансфельдъ говоритъ, что для помощи бѣднымъ не слѣдуетъ затѣвать никакихъ благотворительныхъ обществъ, и много лучше будетъ, если каждый станетъ въ розницу подавать милостыню. Г. Мансфельдъ насмѣхается надъ общественною благотворительностью, надъ пріютами для бѣдствующихъ дѣтей, надъ систематическою помощью неимущимъ въ ихъ квартирахъ. Нечего, кажется, говорить о томъ, насколько вздорны и нелѣпы такія насмѣшки и насколько онѣ неумѣстны у насъ, гдѣ дѣло благотворительности идетъ далеко не удовлетворительно. Жалая ввести въ пьесу комическія сцены, г. Мансфельдъ заставляетъ горничную выдѣлывать солдатскіе артикулы половомъ щеткой подъ команду стараго генерала Верховскаго; потомъ заставляетъ, по его же приказу, выбрасывать верхнее платье гостей, собравшихся въ его домъ, по приглашенію его сестры, на засѣданіе благотворительнаго совѣта. Послѣ этого служители проносятъ черезъ сцену кровать генерала въ шутовской процессіи, впереди которой маршируютъ горничная съ метлой и деньщикъ, выкрикивающий: разъ—два, правой—лѣвой, правой—лѣвой... Во всей пьесѣ нѣтъ и намека на что-либо русское бытовое, шутовскаго же и балаганнаго довольно много. Очень прискорбно, что первая въ Россіи драматическая сцена начинаетъ заниматься балаганщиной.

21 апрѣля въ Маломъ же театрѣ въ первый разъ выступилъ на поприще драматурга И. Н. Ладыженскій съ четырехъактною драмой *Подъ властью сердца*. Сколько намъ извѣстно, г. Ладыженскій до сихъ поръ не писалъ театральныхъ пьесъ, и первый опытъ его можетъ быть названъ удачнымъ во многихъ отношеніяхъ, хотя сама пьеса большого успѣха не имѣла. Ея сценическій недостатокъ заключается въ растянутости, а достоинство—въ томъ, что она даетъ возможность артистамъ выказать свои силы. Указываемый нами недостатокъ легко устранить посредствомъ сокращеній. Но въ ней есть литературный недостатокъ, котораго ничѣмъ устранить нельзя. Бѣ сожалѣнію, мѣсто не дозволяетъ намъ на этотъ разъ войти въ подробный разборъ драмы г. Ладыженскаго и бесѣду о ней съ читателемъ мы вынуждены отложить до слѣдующаго нашего театрального обозрѣнія.

15 и 16 апрѣля въ московскомъ Большомъ театрѣ артистами драматической и оперной труппы Императорскихъ театровъ были исполнены два утреннихъ спектакля, сборъ съ которыхъ поступилъ въ капиталъ, собираемый на памятникъ Н. В. Гоголю. На Пасхѣ же и ради той же цѣли былъ данъ спектакль въ Петербургѣ. Мысль о постановкѣ памятника Гоголю возникла во время торжествъ, бывшихъ въ Москвѣ по случаю открытія памятника Пушкину, и съ тѣхъ поръ начался сборъ пожертвованій. Въ теченіе слишкомъ десяти лѣтъ подписка на памятникъ Гоголю дала немногимъ больше 33 тысячъ рублей. Три спектакля, данные дирекціей Императорскихъ театровъ, сразу увеличили эту сумму тысячъ на 10 рублей, т. е. въ три дня дали столько, сколько подпискою собиралось въ три года. Такимъ образомъ, дирекціей театровъ показанъ примѣръ и открытъ наилучшій

путь къ скорѣйшему осуществленію дорогой каждому русскому мысли почтить память великаго писателя постановкою монумента, достойнаго этой памяти. Если каждый изъ частныхъ театровъ въ столицахъ и въ провинціяхъ дастъ съ тою же цѣлью по одному представленію въ годъ, то ко дню пятидесятилѣтія со дня смерти Гоголя возможно будетъ открыть памятникъ ему или, по меньшей мѣрѣ, совершить закладку памятника. Будемъ надѣяться, что управленіе Императорскими театрами, давшее столь существенный толчокъ дѣлу, не остановится на этомъ и своимъ примѣромъ побудитъ частные театры принять въ немъ дѣятельное участіе. Сочувствіе общества выразилось тѣмъ, что три спектакля въ казенныхъ театрахъ дали полные сборы при значительно возвышенныхъ цѣнахъ. Надо, впрочемъ, замѣтить, что сами по себѣ спектакли, составленные исключительно изъ произведеній Гоголя, были чрезвычайно интересны, превосходно, можно сказать, образцово поставлены и неподражаемо исполнены всѣми артистами обѣихъ нашихъ сценъ. Во всѣхъ слояхъ московскаго общества мы слышали горячія выраженія благодарности высшему учрежденію, въ вѣдѣніи котораго состоятъ театры, управленію московскихъ театровъ и артистамъ, относившимся къ дѣлу не только съ обычнымъ вниманіемъ, но, очевидно, и съ особенною любовью. Они были одушевлены тѣми же чувствами, что и публика: зала и сцена сливались въ одномъ общемъ желаніи—достойно почтить память Гоголя и какъ можно скорѣе осуществить желаніе всей Россіи—видѣть въ Москвѣ памятникъ одного изъ величайшихъ писателей Русской земли.

Ан.

Страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ *).

II.

Въ бесѣдѣ моей съ г. Слонимскимъ, напечатанной въ мартовской книгѣ *Русской Мысли*, я не видѣлъ надобности касаться какихъ бы то ни было идей, принциповъ, теорій. Съ меня достаточно было указать яркіе факты нелѣпой и злобной придирчивости, полнѣйшей недобросовѣстности и невѣжества моего критика; довольно было показать, что, несмотря на надменные аллюры г. Слонимскаго, онъ совершенно незнакомъ съ тѣмъ, о чемъ взялся писать,—не только съ моими сочиненіями, а и вообще съ литературой затронутыхъ имъ вопросовъ. Полагаю, что у читателей не осталось на этотъ счетъ никакихъ сомнѣній. Но собственно г. Слонимскій представляетъ собою такую маленькую, хотя и напыщенную фигуру, что лично имъ, его недобросовѣстностью и невѣжествомъ, не стоить особенно заниматься. Съ другой стороны, худо ли, хорошо ли затронуты извѣстные, весьма значительные вопросы, — почему бы не продолжить нашу бесѣду, перенеся центръ тяжести ея въ область идей и принциповъ? Пусть г. Слонимскій говоритъ неправду и пустяки, но предметы его разговора не пустяковые. Имъ стоить заняться. Бесѣда можетъ выйти тѣмъ занимательнѣе, что г. Слонимскій въ апрѣльской книгѣ *Вѣстника Европы* продолжаетъ свою статью *О теоріяхъ прогресса* и опять дѣлаетъ мнѣ честь своимъ вниманіемъ; можетъ быть, и въ майской книгѣ почтеннаго журнала я удостоюсь той же чести. Правда, тонъ посвященныхъ мнѣ въ новой статьѣ г. Слонимскаго замѣчаній значительно отличается отъ тона первой статьи: много мягче и спокойнѣе. Но за это только похвалить можно, это только можетъ облегчить дальнѣйшее собесѣдованіе.

Въ статьѣ г. Слонимскаго, среди разнаго неидущаго къ дѣлу громокипѣнія, можно различить три пункта чего-то, похожего на обвинительный актъ по существу моихъ преступленій. Это, во-первыхъ, неправильная защита субъективного метода въ социологіи; во-вторыхъ, неудовлетворительность моей формулы прогресса; въ-третьихъ, бессодержательность статьи *Герои и тол-*

*) *Русская Мысль*, кн. III.

на, каковая статья «объясняетъ подчиненіе подчиненіемъ». Во второй, апрѣльской, статьѣ г. Слонимскій прибавляетъ къ списку моихъ грѣховъ еще неосновательную «вѣру въ будущее». Обо всѣхъ этихъ вещахъ мы и попробуемъ поговорить.

Попробуемъ сначала обыкновенный полемическій приемъ. Въ наши странные, темные дни подъ полемикой часто разумѣютъ нѣчто вроде битвы русскихъ съ кабардинцами: противника надо убить или забить чѣмъ попало, за исключеніемъ логическихъ или фактическихъ доказательствъ. Въ виду этого дозвоительно нагнать на противника, перевернуть его мысль, а если и на это пороку не хватитъ, такъ можно просто пустить въ ходъ «намеки тонкіе на то, чего не вѣдаетъ никто», или даже совсѣмъ не тонкую сплетню: можно, напримѣръ, собрать у какихъ-нибудь кумушекъ свѣдѣнія о происхожденіи противника, о его возрастѣ или воспитаніи, о наружности или образѣ жизни, и всѣмъ этимъ зарядить смертоносное орудіе «полемик». Я не думаю, однако, чтобы это была въ самомъ дѣлѣ полемика. Это—просто гадость и глупость. И когда я говорю, что попробую обыкновенный полемическій приемъ, то, конечно, не такую полемикую разумѣю. Я постараюсь возразить г. Слонимскому сначала въ предѣлахъ, имъ самимъ поставленныхъ, но заранѣе предупреждаю, что затѣмъ мнѣ придется прибѣгнуть къ другимъ, болѣе сложнымъ приемамъ.

Г. Слонимскій пишетъ: «Онъ (т.-е. я) принялъ объективное или субъективное отношеніе къ предмету, т.-е. простую точку зрѣнія, за «методъ» и серьезнѣйшимъ образомъ взвѣшиваетъ достоинства и недостатки какихъ-то небывалыхъ методовъ—субъективнаго и объективнаго». Въ другомъ мѣстѣ г. Слонимскій дѣлаетъ изъ меня слѣдующую цитату, уснащая ее, по обыкновенію, восклицательными знаками и поставленными въ скобкахъ замѣчаніями, которыя я подчеркну: «Субъективный методъ нисколько не обязываетъ отворачиваться отъ общеобязательныхъ формъ мышленія (*еще бы!*), потому что онъ по характеру своему противоположенъ только объективному методу, а не индукціи и дедукціи, не опыту и наблюденію (*т.-е. онъ вовсе не методъ*)». Наконецъ, еще въ одномъ мѣстѣ г. Слонимскій утверждаетъ, что я разсуждаю о «методахъ, не предусмотрѣнныхъ ни въ одномъ курсѣ научной логики».

Въ своей чрезвычайной образованности г. Слонимскій, очевидно, думаетъ, что именно я выдумалъ субъективный методъ и его противоположеніе методу объективному. На самомъ дѣлѣ это не такъ. Терминъ «субъективный методъ» усвоенъ не мною однимъ въ русской литературѣ отъ Огюста Конта, европейскаго мыслителя, можетъ быть, и заслуживающаго презрѣнія со стороны великолѣпнаго критика *Вѣстника Европы*, но съ которымъ ему, все-таки, не мѣшало бы познакомиться. Противъ Контоскаго субъективнаго метода въ свое время много возражали,—возражалъ, между прочимъ, и Милль, что, однако, не помѣшало ему назвать Конта «единственнымъ мыслителемъ, который съ надлежащимъ знаніемъ научныхъ методовъ вообще старался охарактеризовать методъ социологіи» (*См.*

стема логики, II, 473). Но едва ли кто-нибудь и когда-нибудь предъявлял возраженія столь бессмысленныя, какъ это дѣлаетъ г. Слонимскій. Возьмемъ такой примѣръ. Въ *Исторіи цивилизаціи въ Англии* Богля есть разсужденія объ «историческомъ и метафизическомъ методахъ изученія законовъ духа». Богля «серьезнѣйшимъ образомъ взвѣшиваетъ достоинства и недостатки» этихъ двухъ методовъ, которые, однако, г. Слонимскій можетъ признать «небывальными». Богля рѣшительно отдаетъ преимущество историческому методу и, если бы понадобилось, онъ, конечно, сказалъ бы, подобно мнѣ, что защищаемый имъ методъ «по характеру своему противоположенъ метафизическому методу, а не индукціи и дедукціи, не опыту и наблюденію». А г. Слонимскій долженъ бы былъ прибавить къ этому въ скобкахъ: *т.-е. онъ вовсе не методъ*. Отчего, почему, — неизвѣстно. И не только неизвѣстно, а просто бессмысленно. Почему, въ самомъ дѣлѣ, методъ, противоположный не индукціи и дедукціи, не опыту и наблюденію, а чему-то третьему, есть «вовсе не методъ»? Не одинъ Богля долженъ бы былъ выслушать категорическое отрицаніе г. Слонимскаго, а и, напримѣръ, Спенсеръ. Въ одномъ изъ своихъ «опытовъ» мыслитель этотъ рекомендуетъ физиологамъ «соціологическій методъ». Методъ этотъ, по объясненію Спенсера, состоитъ въ томъ, чтобъ изучать организованныя тѣла не только прямо и непосредственно, а, кромѣ того, и косвенно, изучая тѣла политическія. Можно признавать этотъ методъ неподходящимъ, неправильнымъ, неудобнымъ, — все, что хотите; но кто, кромѣ г. Слонимскаго, рѣшится сказать: рекомендуемый Спенсеромъ соціологическій методъ, по характеру своему, противоположенъ непосредственному изученію организмовъ, а не индукціи и дедукціи, не опыту и наблюденію, *т.-е. онъ вовсе не методъ*? Это просто-таки вздоръ, нежѣлость, хотя и высказанная съ надменною категоричностью.

Къ сожалѣнію, статья г. Слонимскаго переполнена такими немотивированными, безапелляціонными рѣшеніями, для которыхъ, однако, нѣтъ возможности подыскать какое бы то ни было основаніе. Понятно, какъ трудно въ данномъ случаѣ полемизировать, даже отвлекаясь отъ незнанія и недобросовѣстности моего сердитаго критика: кромѣ этого незнанія и недобросовѣстности, почти и ухватиться не за что. Я отнюдь не стоялъ бы за всѣ подробности своей полемики по вопросу о субъективномъ и объективномъ методѣ, веденной 15 — 20 лѣтъ тому назадъ, но г. Слонимскій даже не затрогиваетъ самаго предмета, а ходитъ только вокругъ да около или побѣдительно ѣрзаетъ на одномъ мѣстѣ. Напримѣръ, онъ утверждаетъ, что я «принялъ объективное или субъективное отношеніе къ предмету, т.-е. простую точку зрѣнія, за методъ».

Ну, хорошо, пусть такъ. Слишкомъ десять лѣтъ тому назадъ это самое замѣчаніе сдѣлалъ г. Лесевичъ (*Опытъ критическаго изслѣдованія основначалъ позитивной философіи*). Но, во-первыхъ, г. Лесевичъ говорилъ о «преобладаніи той или другой изъ этихъ точекъ зрѣнія при изученіи соціологіи или, какъ не совсѣмъ правильно принято у насъ говорить,

субъективнаго и объективнаго метода». А, во-вторыхъ, г. Лесевичъ не топчется на этомъ мѣстѣ, а подвергаетъ затѣмъ мои мысли о позитивной философіи и социологіи оцѣнкѣ по существу, безъ всякаго отношенія къ словамъ «методъ» и «точка зрѣнія». Я продолжаю находить термины «субъективный методъ», «объективный методъ» умѣстными и удобными, но собственно о словахъ, конечно, не сталъ бы спорить; все равно, какъ, напримеръ, Спенсеръ, предлагая физиологамъ свой «соціологическій методъ», безъ сомнѣнія, пожертвовалъ бы словомъ «методъ» въ пользу какого-нибудь другаго—«пріемъ», «точка зрѣнія» и т. п.

Очень забавно, что мой оппонентъ, такъ рѣшительно отвергающій термины «субъективный методъ», «объективный методъ», тѣмъ не менѣе, *implicite* ихъ принимаетъ. И выходитъ изъ этого вотъ что. Я никогда не думалъ объ изгнаніи объективнаго изученія изъ социологіи, я всегда утверждалъ только и теперь утверждаю, что въ социологіи должно быть отведено извѣстное, весьма значительное мѣсто субъективному элементу. Какъ я это понималъ, мы сейчасъ увидимъ. Г. Слонимскій, между прочимъ, цитируетъ: «Исключительно-объективный методъ невозможенъ, какъ невозможно для человѣка безусловная справедливость, какъ невозможно чистое отъ всякихъ тенденцій искусство». Это я говорю. Г. Слонимскій возражаетъ: «*Никто, разумѣется, и не ионится за этимъ недоступнымъ челоуьку объективизмомъ*», и спорить объ этомъ бесполезно; но это еще не оправдываетъ сознательнаго устраненія объективности въ социальныхъ изслѣдованіяхъ, какъ заключаетъ г. Михайловскій». Если спросить г. Слонимскаго, гдѣ именно онъ нашелъ такое «заключеніе», то онъ очутится въ очень затруднительномъ положеніи, по той простой причинѣ, что нигдѣ и никогда я такого «заключенія» не дѣлалъ. Я говорилъ о необходимости сознательнаго примѣненія субъективнаго элемента (безсознательное присутствіе его въ огромномъ большинствѣ социологическихъ работъ для меня несомнѣнно), но никогда не говорилъ о «сознательномъ устраненіи объективности». Эту штуку мы видѣли, впрочемъ, уже въ прошлый разъ: я говорилъ, что для изученія положенія ирландцевъ *мало* знать ариметику и географію (объективный элементъ), а надо *еще* обладать извѣстною чуткостью, извѣстнымъ нравственнымъ складомъ (субъективный элементъ); а г. Слонимскій утверждаетъ, что я отрицаю ариметику и географію! Возьмемъ другую цитату: «Г. Михайловскій убѣжденъ, что «исключительно-объективный методъ въ социологіи невозможенъ и никогда никѣмъ не примѣняется»; и мы въ этомъ убѣждены, но не видимъ никакого разумнаго смысла въ исканіи такой исключительности, которая невозможна, и еще менѣе смысла имѣеть дѣлаемое отсюда заключеніе, что нуженъ методъ противоположный, субъективный».

Отдохните на секунду, читатель, соберитесь съ силами и, вновь перечитавъ приведенныя строки, попробуйте разобраться въ этой, почти невѣроятной путаницѣ. Во-первыхъ, г. Слонимскій *implicite* признаетъ существованіе объективнаго *метода* и только протестуетъ противъ его исклю-

чительнаго примѣненія, соглашаясь въ этомъ отношеніи со мной («и мы въ этомъ убѣждены»); во-вторыхъ, если мы убѣждены въ одномъ и томъ же, такъ г. Слонимскому не о чемъ и спорить со мной по вопросу объ объективномъ методѣ, ибо я только и возстаю противъ «такой исключительности, которая невозможна»; въ-третьихъ, разъ признано существованіе объективнаго метода и разговоръ идетъ только о томъ, чтобы ограничить его исключительность, то логически невозможно найти это ограниченіе въ чемъ бы то ни было, кромѣ противоположнаго метода — субъективнаго; все равно, какъ море физически невозможно ограничить чѣмъ-нибудь, кромѣ суши, и наоборотъ.

Для разъясненія дѣла, столь удивительно запутаннаго г. Слонимскимъ, я долженъ теперь сдѣлать довольно большую выписку изъ третьяго тома моихъ сочиненій:

«...Субъективный путь изслѣдованія употребляется всѣми тамъ, гдѣ дѣло идетъ о мысляхъ и чувствахъ людей. Но характеръ научнаго метода онъ получаетъ тогда, когда примѣняется сознательно и систематически. Для этого изслѣдователь долженъ не забывать свои симпатіи и антипатіи, какъ совѣтуютъ объективисты, сами не исполняя своего совѣта, а только выяснять ихъ; прямо заявить: вотъ тотъ родъ людей, которымъ я симпатизирую, въ положеніе которыхъ я мысленно переношусь, вотъ чьи чувства и мысли я способенъ представить себѣ въ формѣ своихъ собственныхъ чувствъ и мыслей; вотъ что для меня, кромѣ истины, желательно и вотъ что нежелательно...

„Какъ можетъ быть построена социологія, если огромная доля ея истины по своей субъективности можетъ быть правомѣрно признана однимъ изслѣдователемъ и отвергнута другимъ? Затрудненія эти, однако, не такъ велики, какъ кажутся съ перваго взгляда. Они отчасти свойственны и другимъ наукамъ, но, главнымъ образомъ, составляютъ особенность социологіи и показываютъ, что она должна по характеру своему значительно отличаться отъ наукъ естественныхъ. Вѣдь, и наши познанія о природѣ не всѣ одинаково всѣмъ доступны. Человѣкъ, не имѣющій достаточныхъ предварительныхъ свѣдѣній, не повѣритъ, что земля ходитъ около солнца. И такихъ людей много. Что нужно сдѣлать, чтобы всѣ люди имѣли одинаковыя понятія объ отношеніяхъ солнца и земли? Нужно ихъ всѣхъ учить. Субъективныя разногласія сообщеніемъ свѣдѣній не устраняются, потому что и порождаются они не различіемъ въ количествѣ знаній, а различіемъ симпатій и антипатій, различіемъ общественныхъ положеній, препятствующимъ людямъ представлять себѣ чужія мысли и чувства въ формѣ собственныхъ... Поэтому, одна изъ задачъ социологіи состоитъ въ опредѣленіи условій, при которыхъ субъективныя разногласія исчезаютъ. Социологія должна начать съ нѣкоторой утопіи. Я впрочемъ пишу это слово, которое могъ бы обойти, потому что лучше же я скажу его самъ въ томъ смыслѣ, какъ я его понимаю, чѣмъ дожидаться, чтобы кто-нибудь наклеилъ на мою мысль этотъ ярлыкъ по-своему. Всѣ утописты заблуждались, предполагая возможнымъ опредѣлить идеальное общество до мельчайшихъ подробностей, но самая задача — опредѣлить условія, при которыхъ изъ общественной жизни устраняется все, съ точки зрѣнія изслѣдователя нежелательное — самая эта задача вполне научна. Трудности ея ничуть не больше другихъ затрудненій, встрѣчаемыхъ на своемъ пути наукою.

„И такъ, разногласіе субъективныхъ заключеній представляетъ, дѣйствительно, весьма важное неудобство. Неудобство это, однако, для социологіи неизбежно, борьба съ нимъ лицомъ къ лицу, въ открытомъ полѣ, для науки невозможна. Не въ ея власти сообщить изслѣдователю тѣ или другія социологическія понятія, такъ какъ они образуются всею его обстановкой. Она можетъ сообщать знанія, но вліять на измѣненіе понятій можетъ только косвенно и, вообще говоря, въ весьма слабой степени. Роль науки слишкомъ велика и почтена, чтобы слѣдовало бояться указывать предѣлы ея компетенціи.

Наука не властна надъ моимъ желудкомъ, не властна и надъ моею совѣстью... Но изъ этого не слѣдуетъ, что наука должна сидѣть сложа руки и отложить всякія попеченія объ устраниеніи или хотя облегченіи такого важнаго неудобства, какъ разногласіе понятій о нравственномъ и безнравственномъ, справедливомъ и несправедливомъ, вообще желательномъ и нежелательномъ. Она должна сдѣлать въ этомъ направленіи то, что можетъ сдѣлать. А можетъ она вотъ что: признавъ желательнымъ устраниеніе субъективныхъ разногласій, опредѣлить условия, при которыхъ оно можетъ произойти. Это изслѣдованіе обнимаетъ, конечно, и исторію возникновенія и развитія субъективныхъ разногласій, причемъ будетъ омиратъ и на данныя объективной науки — данныя низшихъ наукъ и факты историческіе и статистическіе. Но въ основѣ изслѣдованія будетъ лежать субъективное начало желательности и нежелательности, субъективное начало потребности... Такова одна изъ задачъ социологіи. Но, вѣстѣ съ тѣмъ, это задача типическая. Таковъ всѣ общія задачи социологіи. Признавъ нѣчто желательнымъ или нежелательнымъ, социологъ долженъ найти условия осуществленія этого желательнаго или устраниенія нежелательнаго. Само собою разумѣется, что ничто, кромѣ неискренности или слабости мысли, не помѣшаетъ ему придти къ заключенію, что такія или такія то желанія не могутъ осуществиться вовсе, другія могутъ осуществиться только отчасти. Задачи социологіи, такимъ образомъ, существенно отличаются отъ наукъ естественныхъ, въ которыхъ субъективное начало желательности остается на самомъ порогѣ изслѣдованія. Потребность познанія субъективна, какъ и всѣ потребности. Выборъ предмета изслѣдованія, выборъ предмета, на который устремляется жажда познанія натуралиста, всецѣло зависитъ отъ личныхъ качествъ изслѣдователя. Одинъ желаетъ изучать движенія планетъ, другой желаетъ перечислять виды клоповъ и проч. Но когда изслѣдованіе начато, натуралистъ не вводитъ въ него, — по крайней мѣрѣ, не долженъ вводить, — элементъ субъективный. Онъ можетъ сказать: я желаю перечислять виды клоповъ, но не можетъ сказать: я желаю, чтобы видовъ клоповъ было столько-то. Социологъ, напротивъ, долженъ прямо сказать: я желаю называть отношенія, существующія между обществомъ и его членами, но, кромѣ познанія, я желаю еще осуществленія такихъ-то и такихъ-то моихъ идеаловъ, сильное оправданіе которыхъ при семъ прилагаю. Собственно говоря, самая природа социологическихъ изслѣдованій такова, что они и не могутъ производиться отличнымъ отъ указаннаго путемъ. Дѣло только въ томъ, что въ настоящее время для большей части социологовъ неясенъ весь процессъ ихъ собственныхъ изслѣдованій. Нѣкоторые моменты этого процесса остаются, такъ сказать, въ скрытомъ состояніи, что не мѣшаетъ имъ, однако, вліять на ходъ изслѣдованія. Все равно, какъ рѣка, которая течетъ иногда на нѣкоторомъ протяженіи подъ землей: ея на этомъ пространствѣ не видно, но тамъ и рыбы плаваютъ, и берега заносятся или отмываются, вообще происходятъ тѣ же явленія, что и въ поверхностной части русла. Конечно, не всегда процессъ изслѣдованія неясенъ самому социологу: иногда нѣкоторые моменты процесса имъ по недобросовѣстности мысли просто скрадываются. Тутъ ужъ ничего не поддѣлаешь, тутъ наука опять бессильна для прямой борьбы; но она можетъ и должна открыть, что именно скрадено въ данномъ изслѣдованіи, каковы желанія, которыя не посмѣлъ или не сумѣлъ выразить социологъ и которыя, однако, оставили свои слѣды на его работѣ. Само собою разумѣется, что если скрадено не только нѣкоторые моменты внутренняго процесса изслѣдованія, а и факты, то они должны быть тоже восстановлены. Благодаря подобнымъ скрадываніямъ и не систематическому, а случайному и тайному примѣненію субъективнаго метода, большинство социологовъ выражаетъ программу своей науки совсѣмъ не такъ, какъ мы сейчасъ объ ней говорили... Существенная задача социологіи состоитъ въ выясненіи общественныхъ условий, при которыхъ та или другая потребность человѣческой природы получать удовлетвореніе“.

Я писалъ это давно, но готовъ и сейчасъ подписаться подъ этими строками. Poleмическій моментъ, можетъ быть, слишкомъ сильно подчеркнутъ здѣсь одинъ изъ типовъ социологическихъ задачъ или одну ихъ сторону въ

ущербъ другимъ. Но, во всякомъ случаѣ, несмотря на ясность и простоту моей постановки вопроса,—ясность и простоту, много облегчающія задачу критика,—г. Слонимскій даже и близко не подошелъ къ предмету, имъ якобы обсуждаемому. А въ новой, апрѣльской, статьѣ г. Слонимскаго я имѣлъ удовольствіе найти фактическое подтвержденіе нѣкоторыхъ положеній вышеприведенной выписки,—подтвержденіе тѣмъ болѣе блистательное, что г. Слонимскій хочетъ вовсе не подтверждать, а, напротивъ, опровергать.

Въ этой новой статьѣ г. Слонимскій бросаетъ еще нѣсколько не столь уже крикливыхъ, но весьма пренебрежительныхъ словъ по адресу моей теоріи прогресса, собственно за содержащуюся въ ней неосновательную «вѣру въ будущее». Основательна моя вѣра или неосновательна, объ этомъ мы поговоримъ потомъ, равно какъ и вообще о замѣчаніяхъ г. Слонимскаго на мою теорію прогресса. Теперь скажу только, что я дѣйствительно вѣрю въ будущее, и даже именно движимый этою вѣрой оставляю для предлагаемыхъ статей заглавіе *Страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ*, первоначально выбранное специально въ виду внезапнаго нападенія г. Слонимскаго. Есть сны много пострашнѣе того, который нагналъ было на меня г. Слонимскій, но и они, Богъ милостивъ, пройдутъ, наступитъ пробужденіе и все, подлежащее сраму, посрамится и воздастся коемуждо по дѣломъ его и по бездѣлю его...

Кромѣ меня, г. Слонимскій за ту же «вѣру въ будущее» порицаетъ г. Карѣва (*Основные вопросы философіи исторіи*). Окончательно формулируетъ строгій критикъ свое порицаніе такъ: «Вмѣсто того, чтобы изслѣдовать дѣйствительный ходъ историческаго развитія, опредѣлить въ немъ сравнительное значеніе элементовъ совершенствованія и упадка, и уже изъ этого разобраннаго матеріала извлечь выводы и уроки относительно будущаго, авторъ (г. Карѣвъ) поступаетъ какъ разъ наоборотъ: онъ начинаетъ съ формулировки своихъ собственныхъ требованій отъ человѣчества, доходитъ до изобрѣтенія идеальныхъ разумныхъ людей и кончаетъ смутнымъ предположеніемъ о какомъ-то «нормальномъ» ходѣ исторіи, который явится результатомъ воздѣйствія будущихъ «нормальныхъ» человѣческихъ существъ. Вмѣсто изученія и объясненія условій прогресса, намъ предлагается какая-то практическая «программа дальнѣйшаго прогресса», отчасти совершенно фантастическая и безцѣльная. Программа подобнаго рода должна была бы слѣдовать за изученіемъ и анализомъ, въ видѣ практическихъ выводовъ, а не предшествовать въ видѣ заранѣе составленной теоріи».

Не считаю себя призваннымъ защищать г. Карѣва, но г. Слонимскій говоритъ почти то же самое, только менѣе выразительно, и обо мнѣ. И, повидимому, онъ съ своей точки зрѣнія имѣетъ полное право говорить именно это, въ судъ и осужденіе мнѣ. Въ самомъ дѣлѣ, на первый взглядъ г. Слонимскій предлагаетъ программу социологическаго изслѣдованія, диаметрально противоположную той, которая выше извлечена изъ третьяго тома моихъ сочиненій. Г. Слонимскій находитъ, что «формулировку своихъ собственныхъ требованій отъ человѣчества» (въ другихъ мѣстахъ онъ назы-

ваетъ это «личными пожеланіями», «идеалами философствующихъ писателей», «субъективными фантазіями» и т. п.) изслѣдователь долженъ дать или получить лишь въ концѣ изслѣдованія. Я, напротивъ, утверждаю, что «соціологія должна начать съ нѣкоторой утопіи», и, употребляя это осмѣянное слово, иду, такимъ образомъ, на встрѣчу презрительнымъ наименованіямъ вроде «субъективныя фантазіи», «идеалы философствующихъ писателей» и проч. Очень, конечно, достойно вниманія, что, упрекая меня за это, г. Слонимскій не понимаетъ, что съ моей точки зрѣнія это вовсе не упрекъ. Онъ съ шумомъ ломится въ настежь отворенныя двери и восклицаетъ: посмотрите на этого человѣка, — онъ дѣлаетъ свои личные идеалы («утопію»!!!!) исходнымъ пунктомъ научнаго изслѣдованія! — Да, дѣлаю! Дѣлаю съ такою опредѣленностью и откровенностью, что, въ виду моего собственного сознанія, грозному обвинителю совсѣмъ не стоитъ тратить время, чернила и бумагу на указаніе факта преступленія, а надлежитъ потрудиться доказать, что это въ самомъ дѣлѣ преступленіе, что рекомендуемый мною методъ не годится. Этого - то г. Слонимскій и не дѣлаетъ. Онъ думаетъ устрашить меня словомъ «субъективныя фантазіи», «личныя мечтанія», когда я даже слова «утопія» не боюсь. Но я иду еще дальше. Я утверждаю, что всѣ, приступающіе къ какому бы то ни было соціологическому изслѣдованію, по необходимости, по основнымъ свойствамъ человѣческой природы, употребляютъ субъективный методъ или, если угодно, стоятъ на субъективной точкѣ зрѣнія. Но многіе сами этого не замѣчаютъ и, полагая, что они находятся на холодныхъ вершинахъ безстрастнаго объективизма, обманываютъ себя самихъ или другихъ. Такъ какъ я, въ противность утвержденію г. Слонимскаго, никогда не отрицалъ ни ариеметики, ни географіи, ни вообще объективнаго знанія, а, напротивъ, и посейчасъ рекомендую самому моему критику поучиться, такъ какъ я всегда утверждалъ только, что «исключительно-объективный методъ въ соціологіи невозможенъ», то вся моя поднятая нынѣ г. Слонимскимъ изъ подъ 15 — 20-ти лѣтней пыли полемика сводится собственно къ протесту противъ вольнаго или невольнаго, сознательнаго или бессознательнаго маскарада въ наукѣ. У всѣхъ, даже у г. Слонимскаго, есть свои идеалы или, если хотите браниться, свои «субъективныя фантазіи». Они могутъ быть очень мелки и плоски, но они есть, все равно, какъ щедринскій учитель каллиграфіи Линкинъ (въ *Истории одного юрода*) даже у лягушки напелъ душу, но только «видомъ малую и не безсмертную». Выясните же себѣ и другимъ эти субъективныя фантазіи. Я сказалъ и повторяю: «только благодаря не систематическому, а случайному и тайному примѣненію субъективнаго метода, большинство соціологовъ выражаетъ программу своей науки совсѣмъ не такъ, какъ мы о ней сейчасъ говорили». Вотъ, напримѣръ, г. Слонимскій ставитъ, повидимому, въ самый конецъ изслѣдованія то, что я ставлю въ самомъ его началѣ. Базалось бы, и найти нельзя двѣ программы, рѣзче одна отъ другой отличныя. А присмотритесь немножко ближе къ программѣ г. Слонимскаго. Поставленъ вопросъ о прогрессѣ или, ска-

жемъ, во избѣжаніе недоразумѣній, вообще о социальной динамикѣ. Для этого, учить г. Слонимскій, надо сначала «ислѣдовать дѣйствительный ходъ историческаго развитія, *опредѣлитъ въ немъ сравнительное значеніе элементовъ совершенствованія и упадка*, и уже изъ этого разобраннаго матеріала извлечь выводы и уроки относительнаго, будущаго»; «практическіе выводы», субъективная оцѣнка историческаго процесса съ перспективами въ сторону будущаго «должна слѣдовать за изученіемъ и анализомъ, *а не предшествовать въ видѣ заранее составленной теоріи*». Очень бы это хорошая программа изслѣдованія была, вполне умѣренная и аккуратная, если бы не заключала въ себѣ почти комическаго внутренняго противорѣчія. Спрашивается, въ самомъ дѣлѣ, какъ возможно начать изслѣдованіе съ «опредѣленія сравнительнаго значенія элементовъ совершенствованія и упадка», если, въ то же время, воздерживаться отъ «заранѣе составленной теоріи»? Ясно, что, въ противность увѣренію г. Слонимскаго, изъ его собственной программы социологическаго изслѣдованія вытекаетъ необходимость имѣть въ самомъ началѣ изслѣдованія какое-нибудь мѣрило, какое-нибудь оправданіе для сортировки историческаго матеріала по рубрикамъ совершенствованія и упадка, т.-е. какую-нибудь теорію. Каковъ же долженъ быть характеръ этой теоріи? Понятія совершенствованія и упадка чисто-субъективны, и два изслѣдователя, располагающіе совершенно одинаковыми знаніями и возможно равными умственными способностями, могутъ радикально расходиться въ оцѣнкѣ добра и зла, совершенствованія и упадка въ исторіи. Въ нѣкоторыхъ простыхъ и специальныхъ случаяхъ, допускающихъ обработку числомъ и мѣрой, можно, конечно, довольствоваться объективнымъ мѣриломъ. Такъ, напримѣръ, если рѣчь идетъ объ упадкѣ какой-нибудь отрасли промышленности въ данной странѣ, то цифра, выражающая сокращеніе производства, и будетъ достаточно яснымъ свидѣтельствомъ и мѣриломъ упадка. Но, уже при оцѣнкѣ экономическаго развитія вообще, такое объективное мѣрило окажется недостаточнымъ. Увеличеніе или уменьшеніе площади мелкаго или крупнаго землевладѣнія, той или другой формы его, размѣры эмиграціи или переселенія, переходъ земли изъ рукъ одного слоя населенія въ руки другаго, ростъ той или другой отрасли промышленности и проч., и проч., и проч., хотя и могутъ быть вполне объективно дознаны и выражены точными цифрами, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, могутъ быть зачислены какъ въ рубрику упадка, такъ и въ рубрику совершенствованія, сообразно субъективной точкѣ зрѣнія изслѣдователя. Мы, вѣдь, это на каждомъ шагу видимъ въ дѣйствительности. Тѣмъ паче не найдется рѣшающей объективной мѣрки для совершенствованія и упадка въ области социальной динамики, куда, кромѣ движенія экономической жизни, входитъ и эволюція политическихъ формъ, и развитіе нравственныхъ идеаловъ, и умственное движеніе въ его религіозныхъ, философскихъ и научныхъ формахъ, и развитіе эстетическое. Правда, г. Слонимскій весьма смѣло напоминаетъ «принципъ, никѣмъ теперь не отрицаемый, о «наибольшемъ благосостояніи наибольшаго числа людей» въ государствѣ,—прин-

ципъ, допускающій вполне объективное примѣненіе, при помощи безстрастной науки чисель, статистики, не имѣющей въ себѣ уже абсолютно ничего субъективнаго». Однако, это смѣлое напоминаніе свидѣтельствуетъ только о томъ, что г. Слонимскій и не знаетъ, и не понимаетъ того, о чемъ говорить. Во-первыхъ, какъ я уже говорилъ въ прошлый разъ, мой критикъ жестоко ошибается, полагая, что принципъ наибольшаго благостоянія наибольшаго числа никѣмъ теперь не отрицается. Во-вторыхъ, принципъ благосостоянія, опять-таки, чисто-субъективенъ, и «безстрастная наука чисель, статистика», можетъ играть при примѣненіи его только подспорную, вспомогательную роль.

Въ III и V томахъ моихъ сочиненій (*Записки профана, Теорія Дарвина и общественная наука*) читатель найдетъ нѣкоторые размышленія о двухъ критеріяхъ совершенствованія, а, слѣдовательно, и упадка органической жизни вообще, но вполне приложимыхъ и къ жизни человѣка въ обществѣ. Первый критерій состоитъ въ степени приспособленія къ даннымъ условіямъ жизни, второй—въ степени сложности и разнородности функций организма. Здѣсь я приведу только одинъ примѣръ. Нѣкоторые паразиты по образу своей жизни совершенно не нуждаются ни въ органахъ зрѣнія, ни въ органахъ движенія, которые и атрофируются процессомъ приспособленія къ условіямъ существованія. Это приспособленіе несомнѣнно полезное, оно обезпечиваетъ благосостояніе паразита; силу и матерію, освобожденныя отъ расхода на ненужные ему органы зрѣнія и движенія, паразитъ направляетъ къ цѣлямъ нужнымъ ему,—питанію и размноженію,—достигая въ этихъ направленіяхъ изумительныхъ результатовъ. Съ точки зрѣнія втораго изъ упомянутыхъ критеріевъ, степени сложности и разнородности функций, это—яркій случай регресса, упадка. Съ точки же зрѣнія приспособленности это, напротивъ, совершенствованіе. Конечно, я взялъ очень рѣзкій примѣръ и едва ли кто-нибудь увидитъ совершенствованіе въ исторіи паразита. Однако, со стороны людей, исповѣдующихъ критерій приспособленности вообще, это будетъ только непослѣдовательно, а въ числѣ ихъ есть люди высокаго ума и обширныхъ знаній.

И такъ, прежде чѣмъ приступить къ изслѣдованію «дѣйствительнаго хода историческаго развитія», г. Слонимскій долженъ уже имѣть въ своемъ распоряженіи нѣкоторую теорію совершенствованія и упадка, нѣкоторую формулу желательнаго и нежелательнаго съ его, г. Слонимскаго, личной точки зрѣнія; а, вѣдь, это-то и есть «субъективная фантазія», если прибѣгать къ словамъ пренебрежительнымъ и уничтожительнымъ. Я не говорю, чтобы субъективная фантазія г. Слонимскаго была очень грандіозна. Напротивъ, судя по его умѣренности и аккуратности, она будетъ, вѣроятно, «видомъ малая и не безсмертная», но она будетъ. Я не говорю также, что эта субъективная фантазія останется непременно безъ всякаго измѣненія подъ влияніемъ изученія объективныхъ фактовъ: горизонтъ желательнаго и нежелательнаго можетъ сдвинуться или расшириться, характеръ «субъективной фантазіи» измѣниться, но въ этомъ обновленномъ видѣ субъективная

фантазия будетъ, все-таки, присутствовать и оказывать свое вліяніе на работу. Весь вопросъ въ томъ, надо ли этотъ неизбѣжный субъективный элементъ систематизировать и сознательно ввести въ процессъ изслѣдованія (субъективный методъ), или же предоставить ему случайное, такъ сказать, подпольное, невѣдомое для самаго изслѣдователя вліяніе и довольствоваться якобы безстрастнымъ и безпристрастнымъ изученіемъ фактовъ (объективный методъ). Переименовать эти два разные метода въ двѣ разныя точки зрѣнія—можно, но отъ этого ни малѣйше не измѣняется существо дѣла. Существа же дѣла г. Слонимскій частью совсѣмъ не коснулся, частью не понялъ. Онъ даже какъ бы нарочно и систематически обходитъ тѣ мѣста моихъ писаній, въ которыхъ оспариваемыя имъ мнѣнія выражены съ особенною рѣзкостью и опредѣленностью и, слѣдовательно, наиболее удобны для критики.

Собственно о субъективномъ и объективномъ методѣ мнѣ пока сказать больше нечего, хотя боюсь, что, когда пойдетъ рѣчь о теоріи прогресса, придется вновь вернуться къ этому вопросу. Теперь же я хочу предложить читателю другое.

Въ обвинительномъ актѣ г. Слонимскаго значится, между прочимъ, полная безсодержательность статьи *Герои и толпа*. Это одно изъ самыхъ прискорбныхъ для меня обвиненій. Вопросъ, сформулированный уже въ самомъ заглавіи *Герои и толпа*, очень давно занимаетъ меня. Въ одной изъ самыхъ раннихъ моихъ статей (1869 г.), *По поводу русскихъ уголовныхъ процессовъ* (перепечатана въ первомъ томѣ сочиненій подъ заглавіемъ *Преступленіе и наказаніе*), уже есть слѣды интереса къ явленіямъ нравственной заразы и массовыхъ увлеченій примѣромъ. Въ 1879 г. русскій переводъ книги Уоллеса *Естественный подборъ* вызвалъ мою замѣтку *Сила подраженія*, которая въ переработанномъ видѣ вошла въ статью *Герои и толпа*. Затѣмъ слѣдовали *Научныя письма*, цѣликомъ посвященные этому вопросу и «меланхолически» оборванныя закрытіемъ *Отечественныхъ Записокъ*. Оборванную такимъ образомъ нить я возобновилъ въ *Сѣверномъ Вѣстникѣ* въ статьѣ *Патологическая маяя*. На этомъ пунктѣ яснѣе, можетъ быть, чѣмъ на какомъ бы то ни было другомъ, обнаруживается моя неаккуратность и неумѣренность. Заинтересовавшись вопросомъ первоначально чисто-теоретически, я былъ отвлеченъ отъ него другими дѣлами и затѣмъ вновь возвращался къ нему то движимый опять чисто-теоретическимъ интересомъ, то подъ впечатлѣніемъ житейскихъ явленій (напримѣръ, еврейскихъ погромовъ, нѣкоторыхъ чертъ общаго состоянія современнаго русскаго общества и проч.). Охотно признаю неудобство и естественные недостатки подобной работы; но непереносно обидно было бы, все-таки, думать, что результатъ многолѣтней, хотя бы и прерывистой, работы мысли сводится къ тавтологіи: «подчиненіе объясняется подчиненіемъ», какъ утверждаетъ г. Слонимскій. Уповаю и въ этомъ случаѣ на свой девизъ—страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ. Но если вообще г. Слонимскій склоненъ воздерживаться отъ доказательствъ и болѣе придерживается Ювеналовскаго *sit pro-*

gatione voluntas, то въ частности по отношенію къ *Героямъ и толтѣ* онъ поступаетъ даже съ экстренною безцеремонностію. Основныя положенія моей работы, не только не опровергнутыя, а даже не затронутыя критикомъ, мнѣ пришлось бы просто перепечатать. Однако, это, по малой мѣрѣ, скучно какъ для меня, такъ и для читателей. Поэтому, въ дальнѣйшей бесѣдѣ съ г. Слонимскимъ или по поводу г. Слонимскаго, я употребляю вотъ какой приемъ. Съ согласія редакціи *Русской Мысли*, любезно оказавшей мнѣ гостепримство, я буду говорить о разныхъ явленіяхъ литературы и жизни, имѣя въ виду отнюдь не систематическую хронику той и другой, а только выясненіе нѣкоторыхъ пунктовъ, затронутыхъ г. Слонимскимъ, на новыхъ сюжетахъ, какіе окажутся подходящими. Это будутъ какъ бы новыя варіаціи на старыя темы. О г. Слонимскомъ мы временно даже совсѣмъ забудемъ, а припомнимъ его потомъ.

Недавно вышла въ русскомъ переводѣ книга Реньяра *Умственные эпидеміи* (*Les maladies épidémiques de l'esprit*). Это—рядъ публичныхъ чтеній, послѣдовательно трактующихъ объ эпидеміяхъ XV, XVI и XVII вѣка (*Демонизмъ или колдовство*), XVIII в. (*Сень-Медарокія явленія*), XVIII и XIX в. (*Сонъ и сомнамбулизмъ*), XIX в. (*Морфиноманія и эвироманія, Манія величія*) и, наконецъ, XX вѣка (*Психозы будущаго*). Къ книгѣ приложена еще статья г. Португалова, озаглавленная *Повальные чудачества*.

Заглавія какъ самой книги, такъ и приложенной къ ней статьи не вполне соотвѣтствуютъ ихъ содержанію. Статья г. Португалова, въ сущности, весьма мало занимается «повальными чудачествами» и представляетъ собою, главнымъ образомъ, полемику съ нѣкоторыми воззрѣніями графа Л. Толстаго. Poleмика эта, защищая, вообще говоря, правое дѣло, заключаетъ, однако, въ себѣ какъ увидимъ ниже, нѣкоторыя странности. Что же касается книги Реньяра, то она лишь нѣсколькими словами касается общаго основанія трактуемыхъ ею явленій,—ихъ эпидемичности или заразительности, какъ особаго самостоятельнаго явленія, имѣющаго свои особыя причины и условія. Это отражается и на многихъ частностяхъ книги. Мѣстами съ невольною досадою видишь, что авторъ не достаточно глубоко вглядывается въ свой предметъ, что, впрочемъ, не мѣшаетъ книгѣ быть очень интересной, при чрезвычайно легкой, популярной формѣ изложенія.

Говоря о морфиноманіи, Реньяръ замѣчаетъ, что къ этой модной нынѣ болѣзни приходятъ двоякимъ путемъ. Для утоленія какаго-нибудь временнаго недуга вродѣ зубной или головной боли или невралгіи, врачъ прописываетъ подкожное впрыскиваніе нѣсколькихъ гранъ морфія. Боли моментально утихаютъ, но на другой день возобновляются. Большой требуетъ новаго впрыскиванія, врачъ уступаетъ, и такъ постепенно укореняется привычка къ медленному самоотравленію морфіемъ,—привычка тѣмъ болѣе ужасная, что дозы яда приходится все усиливать, потому что первоначальная, малая доза уже не утоляетъ боли. «Это,—говоритъ Реньяръ,—первый способъ превращенія въ морфинмана, это естественный и честный

путь. Но есть и иной способ: свѣтскій, привлекательный и изящный. Первые упомянутые нами морфиноманы—несчастные больные, имѣющіе въ виду облегченіе страданій; вторые же—утонченные люди, ищущіе въ наркотическихъ раздраженіяхъ ощущеній, которыя не могутъ болѣе доставляться имъ ихъ притупленными нервами и нѣсколько распатаннымъ воображеніемъ. Изъ этой среды выходятъ настоящіе миссіонеры морфиноманіи. Извѣстно, что всѣ порочные люди любятъ плодить себѣ подобныхъ. Всѣхъ морфиномановъ характеризуетъ одна общая черта: они любятъ пропагандировать свой порокъ.

Вотъ и все, что мы находимъ у Реньяра о причинахъ морфиноманіи и ея распространенія. Затѣмъ слѣдуетъ уже описаніе самой болѣзни; очень живое и иллюстрированное многочисленными примѣрами. Забѣчанія нашего автора о причинахъ морфиноманіи очень справедливы, но, во-первыхъ, они могутъ быть сдѣланы совершенно независимо отъ вопроса о какихъ бы то ни было эпидеміяхъ: ни утриванная привычка къ морфію, какъ болеутоляющему средству, ни притупленность нервовъ, ищущихъ наркотическихъ раздраженій, ни, наконецъ, прямая пропаганда морфиномановъ, очевидно, не имѣютъ никакого отношенія къ тому, что можетъ быть названо умственной заразой или эпидеміей. Заразительность примѣра несомнѣнно играетъ важную роль въ распространеніи морфиноманіи, но Реньяръ даже не указалъ ея. Далѣе, приведенныя замѣчанія о причинахъ морфиноманіи, именно потому, что они очень справедливы, заслуживаютъ большаго вниманія, чѣмъ какое оказалъ имъ самъ авторъ. Можно бы было ждать и желать, чтобы авторъ подвергъ нѣкоторому анализу тѣ общественныя условія, которыя вызываютъ притупленность нервовъ, распатанность воображенія, жажду наркотическихъ раздраженій вообще и морфиноманію въ частности.

Въ нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ Реньяръ не отказывается отъ подобнаго анализа. Таковы, напримѣръ, двѣ-три любопытныя страницы въ главѣ о маціи величія. Я позволю себѣ нѣсколько остановиться на нихъ.

«Въ настоящее время,—говоритъ Реньяръ,—въ литературѣ получили полное гражданство эпитетъ <лихорадочность> въ примѣненіи къ нашей жизни; достигать успѣха, господствовать, быстро дѣлать карьеру—вотъ цѣль большинства людей послѣдней формаціи». Прежде не такъ стояли дѣла. Строгое разграниченіе сословій не позволяло мечтать о какихъ-нибудь быстрыхъ скачкахъ по лѣстницѣ успѣховъ и отличій. Честолюбіе, составляя удѣлъ немногихъ, въ большинствѣ было слабо развито, за очевидною невозможностью удовлетворенія. Теперь же, съ ослабленіемъ сословныхъ перегородокъ, всякому, по крайней мѣрѣ, въ принципѣ и въ мечтѣ, представляется возможность добиваться первыхъ мѣстъ и видныхъ положеній. Успѣхъ нѣсколькихъ богато одаренныхъ натуръ, пробившихся на верхъ, и случайныя удачи людей ничтожныхъ и бездарныхъ, такъ сказать, окрыляютъ и такихъ, которымъ во всѣхъ отношеніяхъ лучше было бы довольствоваться скромною долей и которые поэтому жестоко платятся за непосильныя для нихъ попытки протолкаться впередъ. Мація величія или гор-

деливое помѣшательство является естественнымъ результатомъ такой непосильной работы мозга. Благодаря неопредѣленности границъ умственного здоровья и безумія, мы не можемъ составить себѣ ясное представление о количествѣ жертвъ мани величія. Напримѣръ, въ такъ называемомъ свѣтскомъ обществѣ «нерѣдне любовь къ шипу есть ничто иное, какъ самая слабая форма горделиваго помѣшательства». Къ этому прибавляется еще совершенно незнакомая нашимъ предкамъ страстная жажда наслажденій. Господствовавшая въ доброе старое время и доходившая даже до скупости бережливость нынѣ все болѣе слабѣетъ, и деньги приобрѣтаются исключительно затѣмъ, чтобы немедленно купить на нихъ какъ можно больше наслажденій: Я «не врагъ прогресса, — говоритъ Реньяръ, — я признаю, что роль цивилизациі въ исторіи была двояка. Несомнѣнно, что, открывъ новыя средства для удовлетворенія человѣческихъ потребностей, она, вмѣстѣ съ тѣмъ, породила и цѣлый рядъ новыхъ, вслѣдствіе чего развила уже не борьбу за существованіе, какъ у первобытныхъ народовъ, а борьбу за наслажденіе. Дѣловая лихорадка, внезапное наростаніе и исчезновеніе крупныхъ состояній произвели нѣчто вредъ умственного кпѣнія или жизни, протекающей подъ высокимъ давленіемъ и летящей на всѣхъ парахъ, вслѣдствіе чего слабые должны гибнуть съ болѣею легкостью, чѣмъ въ прежнія времена. Но рядомъ съ этимъ цивилизациа дѣйствуетъ и въ обратную сторону, смягчая и парализуя многія изъ общественныхъ золь. Паршапшъ, мнѣ кажется, разрѣшилъ этотъ споръ слѣдующею формулою: «успѣхи цивилизациі имѣютъ сложное вліяніе на число сумасшедшихъ, которое они стремятся увеличить однѣми своими сторонами и сократить — другими». Гдѣ остановится антагонизмъ между двумя противоположными ея вліяніями? на какой сторонѣ окажется окончательный перевѣсъ? На это отвѣтить только будущее нашимъ болѣе или менѣе отдаленнымъ потомкамъ».

Нельзя, конечно, сказать, чтобъ это былъ обстоятельный очеркъ условій современной общественности, способствующихъ распространенію душевныхъ болѣзней вообще и мани величія въ частности. Но отъ популярной лекціи спеціалиста-физиолога, пожалуй, болѣшаго и требовать мудрено. Въ послѣдней главѣ *Психозы будущаю* Реньяръ нѣсколько пополняетъ свой очеркъ современныхъ общественныхъ условій, хотя страницы эти, какъ увидимъ въ свое время, отнюдь не служатъ украшеніемъ его книгѣ. Какъ бы, однако, хорошо или дурно ни справился лично Реньяръ съ этою стороною дѣла, нельзя не признать, что въ принципѣ физиологу есть что сказать по многимъ вопросамъ общественной жизни. Правда, было сдѣлано не мало ошибокъ на попыткахъ сблизить знаніе физической природы чловѣка съ знаніемъ его общественной жизни, но эти ошибки ничего не говорятъ противъ самаго принципа сблизенія.

Между прочимъ, и въ книгѣ Реньяра затронуть одинъ историческій вопросъ, на который новѣйшія изслѣдованія по невропатологіи бросаютъ очень яркій свѣтъ. Это — вопросъ о средневѣковой демонопатіи, о «демонизмѣ или колдовствѣ» XV—XVII вѣка. Тысячи людей подвергались невѣроятно же-

стокой пытке и потомъ сожигались въ качествѣ вѣдуновъ и вѣдьмъ, сознавшихся или не сознавшихся въ общеніи съ дьяволомъ, въ участіи въ знаменитыхъ шабашахъ, въ порчѣ людей, животныхъ, жатвы и т. д. То былъ поистинѣ «страшный сонъ». Намъ нѣтъ надобности припоминать всѣ фактическія подробности этой отвратительной и ужасной умственной эпидеміи, тѣмъ болѣе, что читатель найдетъ ихъ въ достаточномъ количествѣ въ книгѣ Реньяра. Что это была настоящая эпидемія, въ этомъ никто не сомнѣвается, но ея истинныя причины и условія составляютъ и до сихъ поръ предметъ нескончаемыхъ споровъ.

Одинъ изъ обстоятельнѣйшихъ историковъ этихъ ужасовъ, Зольданъ, утверждаетъ, что эпидемически распространялось, собственно говоря, преслѣдованіе демонизма или колдовства, а не самое колдовство (*Soldan-Heppre: «Geschichte der Hexenprozesse»*. 1880). Съ этой точки зрѣнія, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, показанія вѣдьмъ насчетъ ихъ сношеній съ дьяволомъ просто вымучивались у нихъ страшными пытками; вѣдьмы и колдуны были совсѣмъ обыкновенные, нормальные люди, а жертвами эпидеміи оказываются ихъ палачи и судьи. Такимъ образомъ, отрицается не только реальность шабаша или попытокъ завязать сношенія съ дьяволомъ, отрицаются и галлюцинаціи и вообще непорядокъ въ головахъ несчастныхъ вѣдьмъ (Зольданъ и его продолжатель Геппе допускаютъ нѣкоторыя исключенія, но полагаютъ, что они были совершенно случайны и количественно ничтожны). Прямую противоположность этому воззрѣнію составляетъ мнѣніе Мишле, изложенное имъ частью въ *Histoire de France*, а затѣмъ въ специально посвященной этому вопросу книгѣ *La sorcière*. Мишле увѣренъ въ реальности шабашей вѣдьмъ и даже пытается съ нѣкоторою хронологическою приблизительностью опредѣлить постепенный ходъ ихъ развитія. Дѣло началось съ невинныхъ «сабазій», небольшихъ народныхъ праздниковъ, доставшихся христіанской Европѣ по прямому наслѣдству отъ языческой древности, чтившей на этихъ праздникахъ Ваха-Сабазія (любопытно, что Ваху-Сабазію былъ посвященъ козелъ, въ видѣ козла же предсѣдательствовалъ обыкновенно на шабашахъ дьяволъ). Языческіе боги отнюдь не умерли вмѣстѣ съ официальнымъ водвореніемъ христіанства въ Европѣ. Они стали только, какъ это всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, богами побѣжденныхъ, слабыхъ, рабовъ, причеиъ и побѣдители торжествующіе, обыкновенно, не отрицаютъ сверхъестественнаго могущества этихъ падшихъ боговъ, а лишь понижаютъ ихъ достоинство или превращаютъ въ злыхъ боговъ. Этотъ процессъ ассимиляціи двухъ враждебно-сталкивающихся религій отмѣченъ уже давно и новѣйшіе изслѣдователи въ изобиліи приводятъ соответствующіе факты изъ жизни всѣхъ народовъ всѣхъ временъ. Между прочимъ, этого рода факты представляетъ и русская исторія. Великое дѣло введенія христіанства въ Россіи, девятисотлѣтіе котораго мы недавно правновали, отнюдь не съ разу стало общимъ, всероссійскимъ дѣломъ. Напротивъ, русскіе князья и православная церковь долго, цѣлые вѣка боролись съ язычествомъ, а затѣмъ съ «двоевѣріемъ», которое, на ряду съ хри-

христіанскою религіею и въ разнообразныхъ странныхъ сочетаніяхъ съ ней, чтило языческихъ боговъ. Еще въ XVI вѣкѣ Стоглавъ обличаетъ какія-то языческія, «бѣсовскія» игрища и сборища, происходившія подъ христіанскіе праздники и, такъ сказать, подъ флагомъ ихъ. Если бы Мишле зналъ объ этихъ тайныхъ и преслѣдуемыхъ сборищахъ, на которыхъ, по словамъ обличителей, совершались всякія безобразія, то, конечно, еще больше утвердился бы въ своей мысли о реальности шабашей вѣдьмъ въ Европѣ. Онъ сказалъ бы только, что въ Европѣ ходъ «двоевѣрія» былъ рѣзче, ярче и, вмѣстѣ съ тѣмъ, мрачнѣе, чѣмъ у насъ. По его мнѣнію, средневѣковый рабъ можетъ быть названъ «ночнымъ животнымъ», которое лишь по ночамъ могло жить настояще для себя и на всей своей вольной волѣ. Отсюда эти ночныя сборища, гдѣ чтились старыя, языческіе боги. Примѣрно до 1100—1200 годовъ эти сборища и игрища не имѣли особенно мрачнаго или угрожающаго характера. Но, по мѣрѣ того, какъ надъ народною жизнью сгущался мракъ всяческаго гнета, народъ все больше прильплялся къ остаткамъ старины и ночныя таинства становятся, вмѣстѣ съ тѣмъ, мрачнѣе и грознѣе; здѣсь народъ находитъ и свое веселье, принимавшее иногда, благодаря покрову ночи и тайны, безобразныя формы, и своихъ полузабытыхъ, помраченныхъ боговъ. Свѣтскія власти и католическая церковь всѣми возможными средствами преслѣдовали эти игрища и сборища, но вполне раздѣляли лежавшее въ основаніи ихъ «двоевѣріе». Они не отрицали могущества языческихъ боговъ, а только обращали ихъ въ сатану и демоновъ, а ихъ слугителей въ колдуновъ и вѣдьмъ. За совершенно ничтожными исключеніями, борьба происходила на этой, общей обѣимъ сторонамъ, почвѣ двоевѣрія. И, наконецъ, народъ бросился въ объятія сатаны и демоновъ. Въ XIV вѣкѣ тайныя ночныя сборища окончательно сложились въ форму шабаша съ «черною массой», съ формальнымъ отреченіемъ отъ христіанскаго Бога и столь же формальнымъ признаніемъ дьявола верховнымъ владыкой. Женщины-вѣдьмы преобладаютъ на шабашѣ въ качествѣ, во-первыхъ, натуръ болѣе нервныхъ, а, во-вторыхъ, въ качествѣ специальныхъ охранительницъ разныхъ сохранившихся отъ древности «магическихъ» секретовъ вродѣ употребленія наркотическихъ веществъ. Но и мужчины имѣли свое мѣсто въ этомъ явленіи, какъ на самомъ шабашѣ, такъ и внѣ его. Мишле полагаетъ, что на шабашахъ должны были происходить совѣщанія и приготовленія къ возстаніямъ, разрѣшившіяся жакеріей во Франціи и крестьянскою войною въ Германіи. На сближеніи жакеріи съ «черною массой» Мишле особенно настаиваетъ, хотя и не приводитъ въ подтвержденіе своей мысли никакихъ фактовъ. Ихъ, мнѣ кажется, не трудно было бы найти. Напомню только характеристику «черной женщины» или «черной гофманши», сдѣланную Циммерманомъ въ *Исторіи крестьянской войны въ Германіи* (II, 196). Эта предводительница одной изъ крестьянскихъ бандъ была, вмѣстѣ съ тѣмъ, и колдуньей, и пророчицей.

И такъ, вотъ два совершенно противоположныя мнѣнія о шабашахъ—Зольдана и Мишле. Мишле мало кого убѣдилъ своею интересною, но мало

доказательною книгой. Авторъ новѣйшей, еще не оконченной исторіи нѣмецкой реформаціи, Бецольдъ (въ *Allgemeine Geschichte*, издаваемой Онкеномъ), очевидно, намекая на Мишле, говоритъ: «Въ настоящее время, на ряду съ другими мрачными и отвратительными историческими явленіями, пытались косвенно оправдать и преслѣдователей вѣдьмъ и признать вѣдовство чѣмъ-то вродѣ анти-христіанской религіи, дѣйствительно существовавшей формою отрицанія Бога. Можно согласиться, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ обвиняемые въ колдовствѣ искренно считали себя слугами дьявола и обладателями магическихъ силъ; очень вѣроятно, что такіе люди стояли внѣ церкви и жили исключительно своими фантазіями. Кромѣ того, у женщинъ, составлявшихъ наибольшій контингентъ подсудимыхъ, иногда, повидимому, играло роль употребленіе наркотиковъ, вызывавшее ощущеніе полета и т. п. Эти и тому подобныя факты могли иногда служить исходными точками для процессовъ вѣдьмъ, но страшные размѣры, которые приняло это явленіе, объясняются только пытками и затѣмъ раздраженною фантазіей».

Еще раньше Мишле нѣкоторые вполне трезвомыслящіе писатели считали шабаша вѣдьмъ отнюдь не исключительными продуктами фантазіи и пытокъ. Изъ писателей этихъ особенно любопытенъ Сальвертъ, авторъ книги *Des sciences occultes ou essai sur la magie, les prodiges et les miracles*. Сальвертъ полагаетъ, однако, что къ XIV вѣку эти ночныя сборища почитателей старыхъ языческихъ боговъ уже прекратились и стали дѣломъ преданія и фантазіи. Съ этихъ примѣрно поръ вѣдьмы, колдуны и т. п. разсыпались, дезорганизовались, въ-одиночку совершая свои магическія дѣйствія. Въ началѣ же среднихъ вѣковъ существовали настоящія, организованныя тайныя общества, преимущественно изъ представителей низшихъ классовъ, сохранявшія культъ языческихъ боговъ и вмѣстѣ тѣ магическіе секреты, которые были принесены въ Европу съ дальняго Востока. Въ числѣ этихъ секретовъ Сальвертъ обращаетъ особенное вниманіе на анестезирующія вещества, благодаря которымъ средневѣковые вѣдуны и вѣдьмы спокойно переносили жесточайшія пытки.

Мнѣ пришлось однажды (въ статьѣ *Патологическая магія*) довольно подробно говорить о замѣчательной книгѣ Сальверта и, между прочимъ, отмѣтить ея устарѣлость, главнымъ образомъ, въ томъ отношеніи, что въ ней совсѣмъ не приняты во вниманіе тѣ стороны разныхъ *prodiges et miracles*, которыя находятся въ связи съ явленіями невропатическими. Въ частности это отразилось и на объясненіи анестезіи вѣдьмъ и колдуновъ. Что какія-то анестезирующія вещества пускались ими въ ходъ, это, кажется, несомнѣнно; но мы теперь можемъ наблюдать факты, совершенно тождественные съ нечувствительностью средневѣковыхъ вѣдьмъ, въ психіатрическихъ больницахъ и на гипнотическихъ сеансахъ безъ употребленія какихъ бы то ни было наркотиковъ. На эту сторону дѣла обращается, между прочимъ, вниманіе и Ренъяръ. Извѣстно, что сверхъ разнообразныхъ мучительнѣйшихъ пытокъ, которымъ подвергались средневѣковыя вѣдьмы съ цѣлью добиться отъ нихъ сознанія въ ихъ преступленіяхъ, онѣ долж-

ны были проходить еще одинъ специальный искусъ: тѣло вѣдьмы кололи въ разныхъ мѣстахъ и направленіяхъ, иглой или кинжаломъ, дабы разыскать *sigillum diaboli*, «печать дьявола», то-есть то мѣсто, которое дьяволъ, въ ознаменованіе своей власти и покровительства, дѣлалъ нечувствительнымъ. Вѣдьмы часто все это переносили, не выказывая никакихъ признаковъ боли, и печать дьявола оказывалась налицо, ибо не только проколы иглой или ножомъ не чувствовались, но иногда не выступало и крови въ соответствующихъ мѣстахъ. То же самое мы можемъ теперь наблюдать у истеро-эпилептиковъ и гипнотизированныхъ субъектовъ. Такимъ образомъ, нѣкоторыя удивительныя явленія средневѣковой жизни объясняются очень просто: колдуны, вѣдьмы, одержимые были просто галлюцинанты и мономаны, страдавшіе истеріей, которымъ общіе предрасудки вѣка подсказывали характеръ галлюцинацій, а болѣзненное состояніе додѣлывало остальное. Но это можетъ показаться уже слишкомъ простымъ, и, во всякомъ случаѣ, можетъ явиться вопросъ о причинахъ и условіяхъ такого огромнаго числа больныхъ одною и тою же формой нервного расстройства. Къ сожалѣнію, Реньяръ очень скуденъ по этой части. Едва ли не все, что онъ желалъ по этому поводу сказать, исчерпывается слѣдующими словами: «Мишле гдѣ-то говоритъ, что колдуньи были порожденіемъ отчаянія. Источниками этой формы сумасшествія дѣйствительно была бѣдность, страданія или горе, подобно тому, какъ и нынѣ указанные нами факторы часто вызываютъ меланхолическій или горделивый бредъ; форма помѣшательства была иная, вслѣдствіе различія въ нравахъ эпохи, но результатъ былъ одинаковъ». Къ этому можно, пожалуй, прибавить нѣсколько замѣчаній предисловія о «соціальномъ мимнѣизмѣ», то-есть о массовыхъ увлеченіяхъ яркимъ примѣромъ. Но замѣчанія эти крайне поверхностны и ничѣмъ не оправданы въ текстѣ. Любопытно, между прочимъ, что, натолкнувшись на Мишле, который «гдѣ-то говоритъ» о причинахъ демонопатіи, Реньяръ такъ и ограничивается этимъ—«гдѣ-то говоритъ», а о предполагаемой реальности шабаша даже не упоминаетъ.

Обстоятельнѣе поступилъ собратъ Реньяра по специальности, Ш. Рише, въ своей извѣстной книгѣ *L'homme et l'intelligence* (р. 310—314). Назвавъ Мишле «болѣе поэтомъ, чѣмъ историкомъ», и отмѣтивъ его «поэтическое и неумѣренное воображеніе», Рише не рѣшается, однако, отрицать дѣйствительность шабаша. Главный пунктъ его сомнѣній состоитъ въ томъ, что всѣ свѣдѣнія, какія имѣются о шабашахъ, основаны на показаніяхъ самихъ вѣдьмъ и колдуновъ, каковыя показанія, будучи вымучены пыткой или составляя плодъ галлюцинацій, не заслуживаютъ довѣрія. Правда, замѣчаетъ Рише, ловили иногда по утрамъ въ поляхъ обнаженныхъ людей, якобы возвращающихся съ шабаша, но это могли быть просто сумасшедшіе или страдающіе истеріей. Сборища же въ нѣсколько тысячъ человѣкъ, о которыхъ рассказываютъ со словъ самихъ вѣдьмъ, никогда не были накрываемы на мѣстѣ, хотя они должны бы были достаточно шумны и вообще замѣтны для бдительности властей. Соображенія свои Рише заклю-

часть слѣдующими словами: «Существовалъ ли шабашъ, или это была галлюцинація, повторявшаяся сто тысячъ разъ,—это остается вопросомъ. Дѣло историковъ разрѣшить его, и, повидимому, до сихъ поръ еще нѣтъ достаточныхъ доказательствъ ни противъ реальности шабаша, ни за нее».

На сомнѣнія Рише по поводу неизбѣжной шумности и замѣтности шабашей можно бы было возразить, что по бдительности и средствамъ теперешней сыскной полиціи нельзя судить о положеніи средневѣковыхъ властей въ дѣлѣ сыска и слѣдствія. Притомъ же, болѣе тщательный пересмотръ процессовъ вѣдьмъ натолкнулъ бы, можетъ быть, и на факты, неизвѣстность которыхъ смущаетъ Ш. Рише. Рёссъ, изслѣдовавшій специально альзасскіе процессы вѣдьмъ (*La sorcellerie au seizième et au dix-septième siècle particulièrement en Alsace*. Р., 1872), говоритъ: «Важется, судя по изложенію французскихъ писателей, во Франціи, въ особенности въ странѣ басковъ, въ началѣ XVII вѣка очень часто происходили сборища мужчинъ и женщинъ, болѣе или менѣе колдуновъ и колдуній, которыя справляли ночныя празднества въ пустынныхъ ландахъ и предавались тамъ разнымъ необузданностямъ». Одинъ французскій писатель, болѣе поэтъ, чѣмъ историкъ, Мишле, во многихъ главахъ своей *Histoire de France* и позже въ специальной книгѣ—*La sorcière*, посвятилъ блестящія страницы этому «возобновленію языческой оргіи народомъ рабовъ»... Альзасскіе шабаша не представляютъ нашему уму такой живой картины, какая рисуется разсказами Пьера де-Ланкра и другихъ современниковъ, цитируемыхъ авторомъ *La sorcière*. Было бы, однако, слишкомъ смѣло совершенно отрицать существованіе подобныхъ сборищъ въ нашей провинціи. Возможно, что подобныя ночныя собранія, только въ меньшихъ размѣрахъ, были и у насъ. Почему бы и нашимъ несчастнымъ крестьянамъ XVI и XVII вѣковъ не собираться гдѣ-нибудь въ долинѣ или на какой-нибудь изъ вогезскихъ вершинъ, чтобы отдохнуть на нѣсколько часовъ отъ тяготѣвшаго на ихъ плечахъ невыносимаго ига и, вдали отъ глазъ священника и судьи, ухватить минуты дикаго и шумнаго веселья, топя свое горе въ оргіи и чувственныхъ удовольствіяхъ? Подробности нѣкоторыхъ свидѣтельствъ заставляютъ думать, что далеко не все въ шабашахъ было дѣломъ иллюзіи». Такъ, на примѣръ, въ протоколахъ одного изъ альзасскихъ процессовъ 1582 г. значится, что на одной возвышенности близъ Монбельяра были найдены три пиршественные стола, уставленные посудой на 2,500 эю. Посуда оказалась принадлежащею разнымъ лицамъ, а самое пиршество было шабашомъ. Рёссъ приводитъ только одинъ этотъ фактъ въ подтвержденіе своей мысли, но оговаривается, что указываетъ на него, лишь какъ на особенно его поразившій.

Наконецъ, надо еще имѣть въ виду тѣ совершенно независимые отъ шабашей, странные, шутовскіе средневѣковые праздники, на которыхъ побѣжденное язычество открыто подвергало христіанскіе обряды униженію и осмѣянію. Таковъ, на примѣръ, «праздникъ дураковъ», мѣтко названный однимъ историкомъ «христіанизированными сатурналіями». Праздникъ этотъ

совпадалъ по времени съ римскими сатурналіями; на немъ съ разными шутовскими церемоніями избирался папа, оскорбительно пародировалось христіанское богослуженіе,—конечно, безъ того мрачнаго и грознаго оттѣнка, который характеризовалъ «черную массу» шабашей, а, напротивъ, чрезвычайно весело; совершались всякія безчинства, въ своемъ родѣ не уступающія разнузданности шабашей. Этотъ и подобные ему праздники («праздникъ осла», «*gisus paschalis*»), не имѣя никакого прямого отношенія къ предсѣдателю шабаша—дьяволу, тѣмъ не менѣе, въ глазахъ истинныхъ христіанъ должны были быть чѣмъ-то дьявольскимъ, бѣсовскимъ, и способствовать съ своей стороны выработкѣ демономаніи.

«Что она Гекубѣ, что она ему?» Страшный сонъ процессовъ вѣдьмъ миновалъ: костры погасли, зубцы и лезвія пыточныхъ орудій заржавѣли, страдальцы давно отстрадали, и давно въ поминѣ нѣтъ даже того доуха, который выросъ изъ ихъ истерзанныхъ тѣлъ. Что до всего этого намъ, живущимъ въ просвѣщенное и гуманное время, предъявляющее нашему уму и дѣятельности новыя задачи? Врутомъ насъ кипятъ своя, нынѣшняя наша собственная жизнь, которой мы и должны посвятить свое вниманіе.

Подобныя замѣчанія дѣлаются иногда по лицемѣрью, иногда по наивности, и тотъ самый человекъ, который фыркаетъ въ этомъ смыслѣ на шабаша и процессы вѣдьмъ, можетъ, въ то же время, съ головой погрузиться въ темы не менѣе отдаленныя отъ кипѣнія современной жизни, но почему-нибудь ему полюбившіяся. И потому я, признаюсь, не вижу, чтобы наша современная жизнь въ самомъ дѣлѣ, кипѣла. Мнѣ кажется, надъ нами поистинѣ не каплетъ. А, главное, даже съ точки зрѣнія интересовъ сей минуты, дѣло часто совсѣмъ не въ томъ, о чемъ говорить и думать, а *какъ* относиться къ предмету разговора. Можно разсуждать буквально о сей минутѣ и, въ то же время, по неизящному, но мѣткому выраженію Гоголя, смотрѣть на жизнь, «ковыряя въ носу». И можно, наоборотъ, ну, хоть какія-нибудь ассирійскія древности трактовать такъ, чтобы въ изученіи ихъ отразился лучъ живой и дѣйственной мысли. Я, конечно, не думаю о спеціальномъ изслѣдованіи шабашей и только прикоснулся къ огромной литературѣ этого нерѣшеннаго вопроса, выбравъ лишь наиболѣе типическія мнѣнія людей, имъ занимавшихся. А затѣмъ, для меня интересны тѣ выводы, которые могутъ быть отсюда сдѣланы для освѣщенія вопроса о нравственной заразѣ, о безсознательномъ подражаніи и повиновеніи, о герояхъ и толпѣ.

И такъ, Ренъяръ далеко не полно изобразилъ умственную эпидемію демонизма. Можно думать, что, по крайней мѣрѣ, въ извѣстный періодъ средневѣковья, въ Европѣ, дѣйствительно, происходили шабаша вѣдьмъ и вѣдуновъ. Это были тайныя, ночныя сборища преимущественно простолюдиновъ, еще болѣе или менѣе погруженныхъ въ языческія вѣрованія. Первоначально тутъ чествовались побѣжденные, падшіе боги, и самый культъ ихъ, можетъ быть, уже допускалъ или даже требовалъ нѣкоторой разнуздан-

ности. Затѣмъ, разнузданность эта получила еще санкцію въ качествѣ протеста противъ христіанскаго аскетическаго идеала, который всячески осмѣивался и унижался, какъ торжествующій врагъ. Съ этою религіозною враждой ассоциировалась и вражда политическая, вражда рабовъ противъ господъ. При томъ чрезвычайномъ возбужденіи, которое должно было господствовать на подобныхъ сборищахъ, совершенно естественны разныя невропатическія явленія, распространявшіяся тутъ же, на мѣстѣ, путемъ бессознательнаго подражанія. А, кромѣ того, они, эти невропатическія явленія, могли вызываться и искусственно, намѣренно, во - первыхъ, при помощи наркотиковъ, а, во-вторыхъ, при помощи тѣхъ приемовъ, которые нынѣ употребляются гипнотизерами или магнетизерами и которые, несомнѣнно, были извѣстны еще въ глубокой древности разнымъ жрецамъ и магамъ. Именно эти жрецы и маги, служители падшихъ языческихъ боговъ, должны были хранить и изъ рода въ родъ передавать разныя магическія секреты, которые и сосредоточивались, слѣдовательно, въ кругу избранныхъ вѣрующихъ. Мы знаемъ теперь эти секреты; знаемъ, какъ легко вызвать полную или мѣстную анестезію у истеро-эпилептиковъ или гипнотиковъ, и можно, поэтому, думать, что вѣдьмы, дѣйствительно, получали на шабашѣ своего рода «печать дьявола». Знаемъ, что нѣтъ ничего легче, какъ заставить гипнотика галлюцинировать на любую тему, и можемъ во всякое время наблюдать если не настоящихъ «оборотней», то, во-первыхъ, людей, воображающихъ себя оборотнями — волгами, тиграми, зайцами, а, во-вторыхъ, людей, способныхъ принять за такого оборотня любого изъ присутствующихъ. Къ этому могли присоединяться и болѣе простые пути воздѣйствія на участниковъ шабаша. Такъ, напримѣръ, бывавшіе на шабашахъ почти единогласно показывали на допросахъ, что дьяволъ предсѣдательствовалъ въ образѣ козла. Козель же былъ посвященъ нѣкоторымъ языческимъ божествамъ, культъ которыхъ перешелъ въ Европу и, сравнительно, долго удержался (Вакхъ-Сабазій, Панъ), и можно думать, что предсѣдатель или верховный жрецъ шабаша наряжался въ настоящую козлиную шкуру и соответственную маску; подобные маскарады практиковались во многихъ древнихъ культахъ. Затѣмъ, около этого реального зерна рассказовъ о шабашахъ располагается вліяніе пытокъ и казней въ связи съ распаленнымъ воображеніемъ тоскующаго средневѣковаго человѣка. Давно извѣстно, что казни развѣ только иногда и временно задерживаютъ преступленія, а, вообще говоря, создаютъ только героевъ, за которыми слѣдуетъ толпа подражателей. Объ этомъ говорено много, и я только въ качествѣ новинки рекомендую вниманію читателей недавно вышедшую, посвященную этому предмету книгу Обри (Aubry) *La contagion du meurtre*. Торжественно обставленные, ужасающія казни вѣдьмъ и вѣдуновъ вызывали во многихъ зрителяхъ страстное желаніе побывать на этомъ таинственномъ шабашѣ и многимъ, подъ вліяніемъ этого желанія, казалось, что они, дѣйствительно, побывали тамъ, и они лгали на себя. Средневѣковый человѣкъ былъ въ особенности, исключительно, склоненъ къ бессознательному подражанію.

Вотъ къ чему, въ общихъ чертахъ, сводятся мнѣнія людей, признающихъ реальность шабаша, но отпавляющихся отъ разныхъ исходныхъ точекъ. И въ этой общей картинѣ нѣтъ ничего невѣроятнаго, если бы даже та или другая подробность ея оказалась невыдерживающею критики. Спрашивается, что можетъ быть извлечено изъ нея въ интересахъ вопроса о герояхъ и толпѣ? Очень многое, если только мы примемъ во вниманіе со-предѣльные факты.

Г. Слонимскій со свойственною ему рѣшительностью утверждаетъ, что въ статьѣ *Герои и толпа* «о толпѣ и герояхъ говорится мало и сбивчиво; за то подробно разсказывается о насѣкомыхъ, усвоивающихъ себѣ цвѣтъ окружающей обстановки изъ подражанія, о «бабочкахъ - геликонидкахъ» и подражающихъ имъ «депталисахъ», о подражательныхъ страданіяхъ Луизы Лато, объ эпидеміяхъ самоубійствъ, объ исторіи цеховъ въ средніе вѣка и о многихъ другихъ поучительныхъ вещахъ, собранныхъ вмѣстѣ безъ малѣйшаго подобія внутренней связи и системы. Повидимому, авторъ хотѣлъ доказать, что вліяніе героевъ на толпу имѣетъ свой корень въ склонности всѣхъ вообще существъ къ подражанію. Чтобы дойти до этого вывода, онъ *съ самомъ началъ измѣняетъ весь смыслъ своей темы*, предлагая почему-то понимать слово «герой» въ какомъ-то небываломъ и совершенно неправдоподобномъ условномъ значеніи».

Одна изъ особенностей хорошей критики состоитъ въ стараніи и умѣньи стать на точку зрѣнія критикуемаго писателя или произведенія, выяснить ее и затѣмъ либо подтвердить, либо отринуть, противопоставивъ ей другую, болѣе правильную. Плохая критика старается, но не умѣетъ достигнуть этого результата. Наконецъ, никуда негодная критика даже не пытается выяснить себѣ и читателямъ точку зрѣнія критикуемаго автора, а просто зря пишетъ разныя подходящія и неподходящія слова. Я долженъ съ прискорбіемъ сказать, что критика г. Слонимскаго даже въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ читалъ то, о чемъ пишетъ, принадлежитъ къ послѣднему, г.-е. никуда негодному разряду. Если, какъ утверждаетъ мой недогадливый критикъ, я *съ самомъ началъ измѣняю весь смыслъ своей темы*, а затѣмъ и продолжаю трактовать ее въ этомъ «измѣненномъ» видѣ, такъ, вѣдь, это значить, что я ровно ничего не измѣняю, а просто г. Слонимскій не хотѣлъ или не умѣлъ понять, въ чемъ именно моя тема состоитъ. А понять было очень нетрудно. Именно въ самомъ началѣ статьи тема была указана съ полнѣйшею опредѣленностью: «Героемъ мы будемъ называть человѣка, увлекающаго своимъ примѣромъ массу на хорошее или дурное, благороднѣйшее или подлѣйшее, разумное или бессмысленное дѣло; толпой будемъ называть массу, способную увлекаться примѣромъ, опять-таки, высоко-благороднымъ или низкимъ, или нравственно безразличнымъ». Г. Слонимскій находитъ, что я предлагаю «почему-то» понимать слово герой «въ какомъ-то небываломъ и неправдоподобномъ значеніи». Мы видѣли въ прошлый разъ, что съ такою же критическою строгостью г. Слонимскій отнесся и къ слову «эксцентрическій»: въ своей глубокой учено-

сти онъ полагалъ, что «эксцентрическій» только и можетъ быть синонимомъ «оригинальнаго», «чудаческаго». Затрудняюсь поэтому рѣшить, какое значеніе слова «герой» представляется моему ученому критику «бывалымъ» и особенно «правдоподобнымъ»: то ли, въ которомъ какой-нибудь романистъ рассказываетъ о похожденияхъ своего героя Ивана Ивановича или героини Марьи Петровны; то ли, въ которомъ его употребляетъ Карлейль; или, можетъ быть, герой значить просто георгіевскій кавалеръ? или г. Слонимскій помнить только гомеровскихъ героев? Право, не знаю. Во всякомъ случаѣ, это все разные пониманія слова «герой», и если я точно и ясно опредѣлилъ, въ какомъ именно смыслѣ я употребляю это слово, такъ тѣмъ самымъ избавилъ, кажется, г. Слонимскаго отъ всяческихъ перетолкованій моей темы. Но если глупому сыну не въ помощь наследство, то неосновательному и озлобленному критику не въ помощь ясность критикуемаго:

Тема моя требовала, прежде всего, пересмотра всего круга соотносящихся фактовъ и теорій, пытавшихся объяснить тѣ факты. Разъ г. Слонимскій не уяснилъ себѣ моей темы, т.-е. именно того, что связываетъ приводимые мною факты, онъ, понятное дѣло, долженъ былъ придти къ заключенію, что факты приведены «безъ малѣйшаго подобія внутренней связи». А, не понявъ задачи пересмотра теорій, обвиняетъ меня въ томъ, что я «бросаю на полдорогѣ свою теорію подражанія, непримѣнимую къ фактамъ воздѣйствія героевъ на толпу, пробую поочередно другія точки зрѣнія, говорю о гипнотизмѣ». Повторяю: глупому сыну не въ помощь наследство.

При пересмотрѣ фактовъ, относящихся къ темѣ *Герои и толпа*, оказалось, между прочимъ, что ими необыкновенно богаты средніе вѣка европейской исторіи. Реньяръ, сосредоточивъ свое вниманіе на демономаніи, упустилъ изъ вида дѣльный рядъ другихъ средневѣковыхъ «умственныхъ эпидемій», а, вмѣстѣ съ тѣмъ, и общій фактъ склонности среднихъ вѣковъ къ таинимъ эпидеміямъ. Эпидеміи бичующихся, плясуновъ, дѣтскихъ крестовыхъ походовъ не только могутъ, но должны быть поставлены рядомъ съ эпидеміей «демонизма». Оставляя ихъ въ сторонѣ, Реньяръ дѣлаетъ ошибку только противоположную той, которую сдѣлалъ въ свое время Геккеръ (*Die grossen Volkskrankheiten des Mittelalters*), ограничивши кругъ средневѣковыхъ умственныхъ эпидемій дѣтскими крестовыми походами и эпидеміей пляски, т.-е. исключивши именно демономанію. Но, кромѣ того, и въ другихъ массовыхъ движеніяхъ, происходившихъ въ средніе вѣка, каковы крестовые походы, еврейскіе погромы, крестьянскія возстанія, еретическія и антиеретическія движенія, явственно сказывается струя эпидемическаго характера. Во всемъ этомъ, или въ частности въ вышеприведенной исторіи шабашей вѣдьмъ и вѣдуновъ, надлежитъ выдѣлить прямое вліяніе извѣстныхъ политическихъ, экономическихъ, культурно-историческихъ причинъ, вызывавшихъ недовольство, борьбу общественныхъ классовъ, извѣстный строй міросозерцанія. Но за всѣмъ тѣмъ остается еще какая-то специаль-

ная причина средневѣковыхъ «умственныхъ эпидемій» вообще, заразительности каждаго начинанія въ это удивительное время. Очевидно, причина эта должна заключаться въ комбинаціи нѣкоторыхъ общихъ свойствъ человеческой природы (или вообще природы организованныхъ тѣлъ) съ какими-то особенными условіями средневѣковой жизни.

Другая, очевидно, родственная подражательности и обратившая на себя вниманіе многихъ писателей черта психологіи средневѣковаго человѣка состояла въ склонности къ повиновенію, къ созданію себѣ кумира. Вся феодальная система построена на этой чертѣ, о чемъ смотри въ *Герояхъ и толпѣ* и въ *Научныхъ письмахъ*. Черта эта сказывается и въ демономаніи, которая есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, демонолатрія. Очевидная уже а priori родственность подражанія и повиновенія получаетъ полное фактическое подтвержденіе въ нѣкоторыхъ невропатическихъ формахъ, между прочимъ, въ гипнозѣ. А при пересмотрѣ теорій, пытающихся такъ или иначе объяснить многочисленные и многообразные факты безсознательнаго подражанія, а, слѣдовательно, и взаимныя отношенія героевъ и толпы, наиболѣе подходящею оказалась та именно теорія, которая нынѣ общепринята относительно условій гипнотическаго состоянія. Правда, г. Слонимскій находитъ, что, говоря о гипнотизмѣ, я «бросаю на подорогѣ свою теорію подражанія», но послѣ всѣхъ предъидущихъ удивительностей этого удивительнаго критика я уже ничему не удивляюсь. Гипнотизмъ, во всякомъ случаѣ, есть съ величайшею точностью подражающій или безпрекословно повинующійся автоматъ. А такъ какъ въ этой области намъ доступно не только наблюденіе, но и опытъ, притомъ же опытъ чрезвычайно простой и удобный, то понятно, что изученіе условій гипнотическаго состоянія можетъ бросить яркое освѣщеніе на всѣ явленія, суммирующіяся въ формулѣ *Герои и толпа*. Оно его и бросаетъ.

Извѣстно, что гипнотическое состояніе достигается искусственнымъ однообразіемъ и скудостью впечатлѣній зрительныхъ (созерцаніе стекляннаго шарика), слуховыхъ (тиканье часовъ), осязательныхъ (пассы). Этимъ однообразіемъ и скудостью подавляется дѣятельность высшихъ проявленій духа—сознанія и воли. Человѣческая индивидуальность какъ бы раздробляется, децентрализуется, уподобляется той обезглавленной лягушкѣ, которая способна совершать извѣстныя цѣлесообразныя дѣйствія, но лишь зависящія отъ дѣятельности низшихъ нервныхъ центровъ. Нарушается и именно упрощается, сглаживается нормальное раздѣленіе труда между развѣтвленіями нервной системы, которая уже неспособна къ самоуправленію и потому съ величайшею легкостью поддается всякому чужому управленію. Тотъ же эффектъ достигается иногда, при извѣстныхъ условіяхъ, не однообразіемъ и скудостью, а, наоборотъ, внезапнымъ и рѣзкимъ впечатлѣніемъ (возгласъ: «спи!», ударъ въ барабанъ или гонгъ). Тѣмъ или другимъ способомъ, вниманіе субъекта сосредоточивается на одномъ какомъ-нибудь пунктѣ, при большемъ или меньшемъ помраченіи всего остальнаго.

Уже Брэдь, съ котораго собственно начинается научное изученіе гипнотизма, намѣтилъ путь для нѣкоторыхъ соціологическихъ выводовъ отсюда. А именно онъ утверждалъ, что люди односторонне развитые и замкнутшіеся въ кругъ узкихъ интересовъ склонны къ автоматическому подражанію и повиновенію и въ бодрственномъ состояніи. Возможны, значить, общественныя или иныя условія, которыя дѣйствуютъ на людей подобно пассамъ или созерцанію стекляннаго шарика. Отсылая благосклоннаго читателя за подробнымъ развитіемъ этой мысли къ статьямъ *Герои и толпа*, *Научныя письма*, *Патологическая маія*, я приведу здѣсь лишь слѣдующія свои слова: «Кто хочетъ властвовать надъ людьми, заставить ихъ подражать или повиноваться, тотъ долженъ поступать, какъ поступаетъ магнетизеръ, дѣлающій гипнотическій опытъ. Онъ долженъ произвести моментально столь сильное впечатлѣніе на людей, чтобы оно ими овладѣло всецѣло и, слѣдовательно, на время задавило всѣ остальные ощущенія и впечатлѣнія, чѣмъ достигается односторонняя концентрація сознанія, или же онъ долженъ поставить этихъ людей въ условія постоянныхъ, однообразныхъ и скудныхъ впечатлѣній. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ онъ можетъ дѣлать чуть не чудеса, заставляя плясать подъ свою дудку массу народа и вовсе не прибѣгая для этого къ помощи грубой физической силы. Но бываютъ обстоятельства, когда этотъ эффектъ достигается въ известной степени личными усиліями героя, и бываютъ другія обстоятельства, когда нѣтъ никакой надобности въ такихъ личныхъ усиліяхъ и соответственныхъ имъ умственныхъ, нравственныхъ или физическихъ качествахъ. Тогда героемъ можетъ быть всякій, что мы и видимъ въ средніе вѣка».

Какъ бы кто ни посмотрѣлъ даже на эту только цитату, а не то что на всю мою работу на тему о герояхъ и толпѣ, я думаю, что только г. Слонимскій можетъ сказать, будто я «объясняю подчиненіе подчиненіемъ».

Мнѣ остается сказать, почему и въ этой цитатѣ, какъ и выше нѣсколько разъ, я такъ упорно возвращаюсь къ среднимъ вѣкамъ. Вотъ и г. Слонимскій попрекнулъ меня якобы совершенно лишнимъ очеркомъ исторіи средневѣковыхъ гильдій и цеховъ, вкрапленнымъ въ статью *Герои и толпа*. Это объясняется такъ. Условія гипнотизирующей обстановки, то-есть обстановки, подготовляющей контингентъ толпы, покорныхъ и подражающихъ автоматовъ, могутъ быть болѣе или менѣе чисто-стихійнаго характера. Таково отмѣченное въ *Герояхъ и толпѣ* вліяніе природы Якутской области на заболѣваніе «олгинджей» или «омеряченъемъ». Но уже и въ этомъ случаѣ дѣло не только въ естественныхъ условіяхъ Якутскаго края, а и въ крайней скудости и однообразіи условій тамошней общественной жизни. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи, то-есть въ смыслѣ скудости, тусклости, однообразія впечатлѣній, обусловленныхъ общественнымъ строемъ, средневѣковая Европа представляетъ нѣчто совершенно изъ ряда вонъ выходящее. Вся изрѣзанная вдоль и поперекъ политическими, сословными, цеховыми и другими перегородками, средневѣковая Европа пред-

ставляла собою какъ бы цѣлую сѣть клѣтокъ или своего рода тюремъ, въ которыхъ дни за днями шли съ томительнѣйшимъ однообразиемъ. Интересы дробились, служивались и оскудѣвали; каждая профессія, каждый мелкій отгѣнокъ профессіи стремился обособиться и изобразить собою новую клѣтку, новую тюрьму, за предѣлами которой начинаются уже чужіе интересы, чужая, далекая жизнь. «Въ теченіе цѣлыхъ десяти столѣтій,—говоритъ Мишле,—тоска, неизвѣстная прежнимъ временамъ, держала средніе вѣка въ состояніи не то бодрствованія, не то сна». Понятно, что, согласно нашей теоріи героевъ и толпы, средніе вѣка должны быть богаты умственными эпидеміями, а такъ какъ фактъ этого обилія налицо, то тѣмъ самымъ подтверждается и теорія.

Затѣмъ, средневѣковая жизнь, какъ иллюстрація и матеріалъ для провѣрки теоретическихъ положеній, представляетъ для меня и еще интересъ. Нигдѣ, за исключеніемъ развѣ Индіи съ ея кастовымъ строемъ, такъ называемое общественное раздѣленіе труда, то-есть раздѣленіе труда между общественными функціями, не достигало такого колоссальнаго развитія, какъ въ средневѣковой Европѣ. Именно имъ и обусловливались тѣ взаимно пересѣкающіяся въ разныхъ направленіяхъ линіи, которыя обрамляли тюрьмы средневѣковой жизни. Въ видахъ уясненія этого обстоятельства я и сдѣлалъ смутившій г. Слонимскаго очеркъ исторіи гильдій и цеховъ. Съ другой стороны, мы видѣли, что изъ духовной жизни участника или жертвы умственной эпидеміи какъ бы изъята дѣятельность высшихъ нервныхъ центровъ, вслѣдствіе чего упрощается, ослабляется раздѣленіе труда между органами его личной жизни. Этотъ антагонизмъ раздѣленія труда между индивидами или группами индивидовъ въ составѣ общества и раздѣленія труда между органами въ составѣ индивида,—антагонизмъ, получающій столь наглядное выраженіе въ нѣкоторыхъ чертахъ средневѣковой жизни, но кореняющійся въ характерѣ всякаго органическаго развитія, составляетъ основаніе того, что я называю борьбою за индивидуальность.

Всю свою теперешнюю бесѣду по поводу г. Слонимскаго, которая, благодаря ея плану прихватывать разныя литературныя и житейскія явленія, можетъ растянуться на неопредѣленное время, мнѣ было бы удобнѣе начать именно съ теоріи борьбы за индивидуальность. Ею охватываются и объясняются для меня не только умственные эпидеміи среднихъ вѣковъ, не только весь вопросъ о герояхъ и толпѣ, но и всѣ когда-либо интересовавшіе меня социологическіе факты и вопросы. Мало того, съ ея точки зрѣнія вводится въ область социологіи или ставится въ зависимость отъ нея множество такихъ фактовъ и вопросовъ, которые трактуются обыкновенно внѣ всякаго отношенія къ ней (таковъ, между прочимъ, и вопросъ о самообманѣ объективнаго метода). Такимъ образомъ, оправдывается предвидѣніе Конта, — конечно, совсѣмъ иначе мотивированное, — о преобладаніи социологическаго элемента во всей системѣ міросозерцанія. Понятно, что начать бесѣду съ этого центрального пункта для меня было бы особенно

удобно, и для читателя также. Но г. Слонимскій лишилъ насъ этого удобства, ибо, подводя уничтожающій итогъ моей «соціологіи», онъ упустилъ изъ вида ни больше ни меньше, какъ этотъ ея центральный пунктъ, и даже не потрудился съ нимъ познакомиться. Къ счастью, онъ упомянулъ, все-таки, объ антагонизмѣ раздѣленія труда между индивидами и раздѣленія труда между органами, обоснованномъ еще въ статьѣ *Что такое прогрессъ?* Объ этомъ въ слѣдующій разъ.

Къ книгѣ Ренъера намъ тоже придется еще вернуться.

Ник. Михайловскій.

БИБЛЮГРАФИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ

ЖУРНАЛА

„РУССКАЯ МЫСЛЬ“.

М а й

1889 года.

Содержаніе. I. Книги: Беллетристика. — Бритика и публицистика. — Исторія. — Политическая экономія. — Статистика. — Юридическія книги. — Сельское хозяйство. — Учебники и дѣтскія книги. — Справочныя книги. II. Периодическія изданія: «Вѣстникъ Европы», апрѣль. — «Сѣверный Вѣстникъ», мартъ — апрѣль. «Кіевская Старина», сентябрь 1888 г. — мартъ 1889 г. — «Экономическій Журналъ», январь — мартъ.

БЕЛЛЕТРИСТИКА.

„Сочиненія“ Н. Златовратскаго. — „Рубли“, кн. Дм. Голыцина (Муравина). — „Кобзарь“. Т. Г. Шевченки. — „Сцена и жизнь въ провинціи и въ столицѣ“. И. И. Лагорова.

Сочиненія Н. Златовратскаго. Разказы и очерки (1884—1888 г.). Часть третья. Москва, 1889 г. Цѣна 1 руб. 50 коп. Въ этой книгѣ собраны слѣдующія произведенія Н. Н. Златовратскаго, появившіяся въ нашихъ журналахъ за послѣдніе четыре года: *Скиталецъ*, *Израильская жизнь*, *Семья Кремлевыхъ*, *Караваевы*, *Надо торопиться*, *Льсы*, *Труженики*, *Городъ рабочихъ* и *Гетманъ*, напечатанный въ концѣ прошедшаго года въ *Русской Мысли*. Разказы, вошедшіе въ эту книгу, извѣстны нашимъ читателямъ по тѣмъ отзывамъ, которые мы своевременно давали о нихъ въ *Библиографическомъ отдѣлѣ*. Повторять теперь одѣвку каждаго изъ названныхъ разказовъ мы не станемъ. Общее же впечатлѣніе хорошо изданной книжки не будетъ новостью для почитателей таланта г. Златовратскаго и для тѣхъ, кто не принадлежитъ къ числу его почитателей: Всѣ его произведенія проникнуты, попрежнему, глубокою гуманностью, вообще, и, въ частности, теплою, нѣжною любовью къ „простому“ русскому человѣку. Подъ словомъ „простой“ мы разумѣемъ не мужика только, котораго почему-то принято считать особливо излюбленнымъ Н. Н. Златовратскимъ. Нѣтъ, слово это надо брать въ болѣе широкомъ смыслѣ и подъ нимъ разумѣть всякаго человѣка, одареннаго „простымъ сердцемъ“, нелукавымъ, и умомъ „простымъ“, т. е. прямымъ, чуждымъ фальши и увертокъ, немирящимся съ неправдою, часто признаваемою за житейскую мудрость. Можно быть очень умнымъ, очень образованнымъ и, въ то же время, „простымъ“ человѣкомъ. Протестъ такихъ-то „простыхъ“ людей противъ зла и неправды слышится во всѣхъ произведеніяхъ г. Златовратскаго. Мы въ нихъ почти не видимъ дѣятельной борьбы отдѣльныхъ личностей со зломъ; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы г. Златовратскій былъ послѣдователемъ теоріи „непротивленія злу“, хотя пражымъ противникомъ этой теоріи его тоже нельзя считать. Самые протесты противъ зла являются уже нѣкоторымъ „противленіемъ“ и часто имѣютъ значеніе призыва къ „противленію“. То обстоятельство, что ге-

рон нашего автора не вступаютъ въ открытую борьбу со зломъ, а лишь страдаютъ отъ него и ограничиваются протестами противъ него, можетъ быть объяснено тѣмъ, что одни изъ такихъ героевъ растрачивали свои силы на житейскія мелочи, прежде чѣмъ стать лицомъ къ лицу со зломъ, другіе же не достаточно окрѣпли для того, чтобы бороться съ забравшею слишкомъ много силы неправдой. Уже изъ того, что хорошие люди г. Златовратскаго страдаютъ и нравственно гибнутъ подъ гнетомъ житейской пошлости, часто порождаемой „непротивленіемъ“ и отъ „непротивленій“ же получившей большую устойчивость, — изъ этого, по нашему мнѣнію, долженъ былъ сдѣланъ прямой выводъ, что на сильныхъ лежитъ обязанность противиться злу, не растрачивать своихъ силъ на мелочи и житейскія пошлости, а въ томъ случаѣ, если бы ихъ личныя силы почему-либо было недостаточно, возбуждать и поддерживать энергію тѣхъ, кто не утратилъ способности противустать напору зла, указывать на тѣ пути, гдѣ „противленіе“ злу наиболѣе необходимо и можетъ быть полезно. Именно это мы и находимъ въ рассказѣ г. Златовратскаго *Гетманъ*; и это — то именно дѣлаетъ Н. Н. Златовратскаго однимъ изъ симпатичнѣйшихъ писателей нашего времени и привлекаетъ къ нему сочувствіе молодежи, всегда чуткой и отзывчивой ко всякому горячему слову на защиту правды и добра.

Рубли. Романъ князя Дм. Голицына (Муравлина). Спб., 1889 г. Цѣна 1 руб. 75 коп. Муравлинъ — князь Голицынъ, официально открывшій на этой книжкѣ свой псевдонимъ, выпускаетъ въ свѣтъ довольно быстро одинъ романъ за другимъ. Мѣсто этого автора въ нашей литературѣ теперь въ достаточной мѣрѣ опредѣлилось, — это одно изъ тѣхъ среднихъ мѣстъ, съ которыхъ почти нѣтъ никакой возможности передвинуться въ передніе ряды и очень легко отодвинуться пониже, какъ это часто бываетъ съ писателями, „подававшими большія надежды“ и встрѣченными неумѣренными восхваленіями нѣкоторыхъ критиковъ, слишкомъ легко впадающихъ въ восторженное настроеніе. Мы всегда говорили, что у кн. Голицына (Муравлина) есть талантъ, но не изъ крупныхъ; и теперь остаемся при томъ же мнѣніи, къ которому слѣдуетъ добавить, что есть у этого писателя еще бойкость, превосходящая размѣрами его талантъ, иногда выручающая автора тамъ, гдѣ таланта не хватаетъ, и нерѣдко служащая плохую службу тамъ, гдѣ она, нерегулируемая талантомъ, переходитъ въ излишнюю развязность сомнительнаго достоинства. Новый романъ *Рубли* не хуже и не лучше *Хвори*, *Бабы*, *Мрака* того же автора. Въ немъ даже какъ будто и новаго — то нѣтъ ничего такого, что не трактовалось бы въ прежнихъ сочиненіяхъ, подписанныхъ именемъ Муравлина. Вообще же, въ смыслѣ идеи, и совсѣмъ нѣтъ ничего новаго, кромѣ нѣкоторыхъ утрировокъ, до которыхъ доводитъ автора его бойкость и развязность. Все дѣло идетъ о томъ, что *рубли* — огромная сила, и жить, не получая большаго ихъ числа, очень трудно, даже совсѣмъ невозможно. Мысль не особенно новая, а развитіе ея въ романѣ кн. Голицына нельзя назвать удачнымъ. Герой романа, князь Гжатскій, отказывается отъ женитьбы на любимой дѣвушкѣ и женится на богатой вдовѣ-купчихѣ потому, что „рублей“ у него немного, привыкъ же онъ жить широко и роскошно. Стало быть, тутъ сила не въ „рублѣ“, а въ привычкахъ, отъ которыхъ герой не хочетъ отказаться, ибо съ имѣющимися у князя двумя тысячами годоваго дохода, при той возможности получить хорошее мѣсто на службѣ, какую имѣетъ этотъ князь, легко прожить женатому, не отказывая себѣ ни въ чемъ. Князь Гжатскій не хочетъ служить; ничего не хочетъ

дѣлать, а „рублей“ желаетъ получать десятки и даже сотни тысячъ и изъ-за этого идетъ на подленья дѣлишки, унижается передъ толстымъ денежнымъ мѣшкомъ, миллионеромъ Поченежскимъ, рассчитывая жениться на его единственной дочери. Эта невѣста ускользаетъ отъ Гжатскаго, и онъ женится на богатой купчихѣ. Пріятель князя, Сугоринъ, человѣкъ довольно богатый, дѣлаетъ дрянныя дѣлишки, чтобы стать еще богаче. Онъ живетъ съ замужнею женщиной Вайлугиной, бросившей для него мужа и потомъ бросающей его для веза-Поченежскаго, заплатившаго ей за это нѣсколько сотъ тысячъ... Сугоринъ съ отчаянья кончаетъ самоубійствомъ. Милліоны Поченежскаго побѣдили сотни тысячъ Сугорина. Свѣтлая личность романа, Кражинъ, отецъ Елены, въ которую былъ влюбленъ Гжатскій, живетъ личнымъ трудомъ, живетъ бѣдно, но не въ нуждѣ. Вдругъ на него ополчаются всѣ бѣды: ему отказываютъ въ казенномъ жалованьѣ, въ редакціи, гдѣ онъ работалъ, ему отказываютъ въ работѣ, Поченежскій, обязавшійся заплатить ему тысячу рублей за завазанную работу, выкидываетъ ему двѣсти рублей. Кражинъ, измученный непосильною работой, изнуренный лишениями, не перенесъ этихъ тяжелыхъ ударовъ судьбы и умеръ якобы отъ недостатка рублей. Такой фактъ самъ по себѣ невозможенъ; но, во-первыхъ, подобное свопленіе сразу всѣхъ невзгодъ случается крайне рѣдко; во-вторыхъ, даже при такомъ рѣдкостномъ стеченіи несчастныхъ обстоятельствъ Кражинъ не погибъ бы, если бы авторъ не заставилъ его надѣлать неправдоподобныхъ глупостей. Не „рубли“ убили честнаго труженика Кражина, а его собственная непрактичность, житейская неумѣлость, мало правдоподобная въ умномъ человѣкѣ. Его дочь Елена, отъ которой отказался Гжатскій ради богатства, уѣхала въ провинцію учительницей. Поченежскій на свои милліоны выискалъ въ мужа для дочери какого-то владѣтельнаго князя. Отдѣльные мѣста въ романѣ есть очень хорошия; намъ въ особенности понравилось описаніе мытарствъ Гжатскаго, ищущаго занять денегъ при посредствѣ какихъ-то коммиссіонеровъ, оказавшихся компаніей мазуриковъ и шантажистовъ. Кражинъ и его Елена расписаны авторомъ самыми наилучшими красками и съ такимъ усердіемъ, что они оказываются просто намалеванными съ своими яркими добродѣтелями. Вообще, князь Голицынъ, какъ мы уже сказали, пишетъ бойко до развязности, пишетъ рѣзко,—мазками, сказали бы мы, если бы дѣло шло о живописи. Мазки хороши, эффектны и придаютъ силу художественному произвенію, но лишь тогда, когда кисть находитъ въ очень талантливой рукѣ. При нѣкоторомъ же недостаткѣ таланта изображенія получаютъ или схематичныя, или грубыя и всегда не художественныя, что мы и видимъ на всѣхъ произведеніяхъ князя Голицына. Въ романѣ *Рубли* есть большія длинноты, на примѣръ, въ описаніи родовъ Вайлугиной, вставленныхъ въ повѣствованіе единственно для того, чтобы дать поводъ доктору сказать, что Вайлугина не любитъ Сугорина. И, наконецъ, автору рѣшительно не удалось показать намъ всепобѣждающее торжество *Рубля*, хотя слово „рубль“ и повторяется очень часто. По нашему мнѣнію, слыхомъ малы рамки; въ которыхъ авторъ показываетъ намъ дѣйствіе капитала, и ничтожны въ общественномъ смыслѣ тѣ событія, на которыя вліяютъ „рубли“ въ романѣ князя Голицына.

Кобзарь. Т. Г. Шевченки. Кіевъ, 1889 г. Цѣна 1 р. Нельзя не порадоваться, что *Кобзарь* знаменитаго украинскаго писателя вышелъ новымъ и дешевымъ изданіемъ (къ нему приложенъ очень хорошій гравированный на стали портретъ Тараса Григорьевича Шевченки). Рус-

скіе читатели знакомы съ полными глубокаго чувства произведеніями малорусскаго поэта. Кто не знаетъ его *Гайдаманковъ*, его разсказа о томъ, какъ

Гомонила Украина,
Довго гомонила,
Довго, довго кровь стенами
Текла, червонила,—

его *Наймички* и многихъ лирическихъ стихотвореній, поражающихъ своею красотою и задухновенностью? Несчастныя вѣшнія обстоятельства помѣшали развиться дарованію Тараса Григорьевича Шевченки во всю ширь и мощь, но и сдѣланнаго имъ вполне достаточно, чтобъ обезсмертить его имя.

Сцена и жизнь въ провинціи и въ столицѣ. Составлено по воспоминаніямъ и запискамъ артиста И. И. Лаврова. Москва, 1889 г. Цѣна 1 р. Эти воспоминанія охватываютъ періодъ времени отъ 1830 по 1876 годъ. Г. Лавровъ, въ безпритязательной формѣ, сообщаетъ видѣнное и пережитое имъ въ эти долгіе годы. Нѣкоторые факты, о которыхъ онъ разсказываетъ, служатъ любопытною иллюстраціей театральныхъ нравовъ и общаго состоянія общества. Невѣжество и самодурство въ обществѣ, невѣжество и самодурство властей на каждомъ шагу тормазили дѣятельность талантливыхъ людей. Кулачные бои въ Москвѣ и другихъ городахъ, съ тяжело ранеными и даже убитыми, составляли въ сороковыхъ годахъ обычное явленіе. Мѣстные администраторы творили насилія и безобразія надъ актерами. Общество сторонилось отъ нихъ, какъ отъ грѣха; но проблески живой мысли сквозили уже во многихъ мѣстахъ.

Жаль, что воспоминанія г. Лаврова довольно плохо проредактированы и въ книгу поэтому вошло не мало совершенно ни для кого и ни для чего неинтереснаго (на стр. 118, напримѣръ, стихотвореніе самаго г. Лаврова, на стр. 163 извѣстіе о томъ, что въ Тулѣ ничего не было, на стр. 207 сообщеніе о томъ, что г. Лавровъ послалъ женѣ деньги, и т. д.).

Къ книжкѣ г. Лаврова приложено письмо повойнаго С. А. Юрьева, заключающее въ себѣ весьма хвалебный отзывъ о воспоминаніяхъ этого артиста, когда-то восхищавшаго москвичей и провинцію въ роли Торопки (въ *Аскольдовой могилѣ*). Въ предисловіи г. Астафьевъ также очень рекомендуетъ книжку, указывая на *почти этическое спокойствіе* г. Лаврова, рѣдкое „въ произведеніяхъ нашего искалѣченнаго времени“. Дѣйствительно, спокойствіе это такъ рѣдко, что даже въ коротенькомъ предисловіи г. Астафьевъ на что-то сердится. Что касается вопроса о томъ, какое время лучше, наше или дореформенное, то иоучительный матеріалъ для разрѣшенія этого вопроса читатели найдутъ въ воспоминаніяхъ г. Лаврова.

КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА.

„Критико-біографическій словарь русскихъ писателей и ученыхъ“. С. А. Венгерова.—
„Основные вопросы политики“. Л. Слонимскаго.

Критико-біографическій словарь русскихъ писателей и ученыхъ. С. А. Венгерова. Выпуски 16 и 17. Въ двухъ новыхъ выпус-

жакъ *Словаря* г. Венгерова помѣщены статьи и замѣтки о писателяхъ съ Аполлоса (Байбакова) до К. К. Арсеньева (послѣдняя статья еще не кончена). Изданіе г. Венгерова отличается, какъ извѣстно, не только справочнымъ характеромъ: оно отражаетъ на себѣ міропониманіе составителя, его общественныя и художественныя симпатіи. По нашему мнѣнію, это отнюдь не уменьшаетъ достоинствъ громаднаго труда, предпринятаго г. Венгеронымъ. Семнадцатый выпускъ останавливается на восьмисотой страницѣ, а буква *A* все еще продолжается. Не можемъ на этотъ разъ скрыть сомнѣній, удастся ли г. Венгероу, который продолжаетъ работать почти одинъ, довести свой *Словарь* до благополучнаго конца. Во всякомъ случаѣ, уже и теперь трудъ талантливаго и энергичнаго писателя приобретаетъ значеніе для нашей литературы.

Основные вопросы политики. Л. Слонимскаго. Спб., 1889 г. Цѣна 2 р. Статьи, помѣщенныя въ этомъ сборникѣ, появились первоначально въ *Вѣстникъ Европы*. Авторъ значительно переработалъ и дополнилъ ихъ.

Книга содержитъ въ себѣ слѣдующіе отдѣлы: 1) законы исторіи; 2) политическія метаморфозы; 3) право и безправіе войны; 4) западно-европейскіе парламенты и парламентаризмъ; 5) государственный социализмъ и его политическое значеніе; 6) политическія партіи; 7) практика международной политики; 8) приложения (о курсѣ международнаго права, проф. Мартенса, по поводу полемики о войнѣ, о книгахъ проф. Градовскаго и Гнейста). Нѣкоторыя изъ статей г. Слонимскаго своевременно отмѣчались въ журнальномъ обзорѣнн *Русской Мысли*. Какъ видно изъ приведенныхъ рубрикъ, авторомъ установлена связь между отдѣльными частями его книги, которая посвящена анализу очень важныхъ, и теоретически, и практически, вопросовъ государственной и общественной жизни.

Со многими взглядами г. Слонимскаго совпадаютъ и наши воззрѣнія. Укажемъ на особенно полезныя для читателей статьи, отведенныя основательному опроверженію модныхъ теперь нападеній на западно-европейскій парламентаризмъ. Замѣтимъ мимоходомъ, что, признавая, какъ и г. Слонимскій, недостатки нынѣ дѣйствующихъ во Франціи государственныхъ учреждений, мы не можемъ признать цѣлесообразности нѣкоторыхъ изъ тѣхъ преобразованій, которыя, по мнѣнію автора *Основныхъ вопросовъ политики*, должны быть произведены во французскихъ учрежденияхъ. Подробности государственнаго устройства обусловливаются особенностями даннаго народа и данной страны, и въ разсужденіяхъ о разумномъ государственномъ строѣ современныхъ европейскихъ народовъ (правильнѣе — *просвѣщенныхъ*, потому что въ міровое движеніе вошли государства другихъ частей свѣта) необходимо и полезно установленіе только общихъ началъ правильной государственной и общественной жизни.

Книгу г. Слонимскаго слѣдуетъ рекомендовать всѣмъ тѣмъ читателямъ, которые вдумчиво относятся къ политическимъ вопросамъ. Авторъ даетъ много свѣдѣній, отчетливо излагаетъ много непереведенныхъ на русскій языкъ сочиненій и подвергаетъ взгляды политическихъ писателей тщательной критикѣ. Благодаря такому способу изложенія, читатель поставленъ въ возможность самостоятельно отнестись къ тѣмъ идеямъ, которыя опровергаетъ или защищаетъ г. Слонимскій.

И С Т О Р И Я.

„И. И. Неплюевъ и Оренбургскій край“. В. И. Витевскаго.—„Всеобщая исторія“. Георгі Вебера.

И. И. Неплюевъ и Оренбургскій край въ прежнемъ его составѣ до 1758 года. Историческая монографія В. И. Витевскаго. Выпускъ первый. Казань, 1889 г. Въ 1873 — 5 годахъ авторъ напечаталъ въ *Уральскихъ Войсковыхъ Вѣдомостяхъ* историческій очеркъ: *И. И. Неплюевъ и Оренбургъ*. „Ближайшее и непосредственное знакомство съ оренбургскими архивами и свѣдѣнія, которыя мы получили отъ Н. Н. Неплюева, — говоритъ авторъ въ предисловіи къ настоящему труду, — убѣдили насъ въ необходимости снова приняться за свой трудъ, чтобы, такъ сказать, переплавить и совершенно переработать его на основаніи вновь скопившихся матеріаловъ“. Результатомъ этой переработки и является разбираемый первый выпускъ. Въ немъ излагается біографія Неплюева до его назначенія въ Оренбургскій край и исторія края до управленія Неплюева. „Въ слѣдующихъ выпускахъ будетъ изложена колонизаціонная и административная дѣятельность Неплюева въ Оренбургскомъ край, его отношеніе къ русскому и инородческому населенію, развитіе торговли и промышленности въ край, бунтъ Батырши Агѣева, служебная дѣятельность Неплюева“ etc. Въ виду того, что главная часть труда г. Витевскаго еще впереди, было бы преждевременно дѣлать заключеніе о цѣломъ; дѣлаемъ эту оговорку потому, что въ цѣломъ работа г. Витевскаго обѣщаетъ быть очень интересною; но настоящій выпускъ нѣсколько разочаровываетъ читателя. Прежде всего, изъ мѣстныхъ архивовъ вновь вошло въ него, сколько мы могли замѣтить, только нѣсколько совершенно незначительныхъ подробностей о башкирскомъ бунтѣ 1735 — 6 г. (стр. 144 — 8). Печатными изданіями авторъ воспользовался очень широко; мы ничего не имѣемъ противъ этого, пока дѣло идетъ о мѣстныхъ изданіяхъ, малодоступныхъ для изслѣдователя; но г. Витевскій цѣлыя главы почти сплошь выписываетъ, только съ легкою перефразировкой, изъ исторіи Соловьева; составленные такимъ образомъ части его работы врядъ ли можно признать приобращеніемъ для науки. Такъ именно изложена дипломатическая дѣятельность Неплюева въ Турціи (гл. III и XVIII томъ Соловьева) и дѣятельность Кирилова, Татищева и Урусова въ Оренбургскомъ край (части послѣднихъ главъ VI и VII и XX томъ Соловьева). Выписывая все, что можно взять изъ Соловьева, г. Витевскій, въ то же время, обнаруживаетъ никакихъ признаковъ знакомства съ изслѣдованіемъ г. Өирсова, своего бывшаго профессора (*Инородческое населеніе прежняго Казанскаго царства въ новой Россіи до 1762 г. и колонизація Закамскихъ земель въ Уч. Зап. Каз. Univ.*, томъ VI. Каз., 1871 г.); между тѣмъ, данныя, собранныя г. Өирсовымъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ существенно дополняютъ изложеніе Соловьева. Будемъ надѣяться, что, по крайней мѣрѣ, въ дальнѣйшихъ выпускахъ г. Витевскій воспользуется прямо относящеюся къ его темѣ второю половиною изслѣдованія г. Өирсова (*Русская колонизаціонная дѣятельность въ Закамскомъ край и башкирцы во время управленія ими Неплюева*), хотя не такъ, какъ воспользовался Соловьевымъ. Сила провинціального изслѣдователя состоитъ въ эксплуатаціи мѣстныхъ источниковъ, недоступныхъ столичному ученому: употребленія такихъ источниковъ, преимущественно архивныхъ, мы ждемъ отъ г. Витевскаго, согласно его обѣщанію, въ дальнѣйшихъ выпускахъ его труда.

Всеобщая исторія Георга Вебера. Томъ одиннадцатый. Перев. Андреевъ. Изд. К. Т. Солдатенкова. М., 1889 г. Одиннадцатый томъ *Всеобщей исторіи* отведенъ эпохѣ католической реакціи и религіозныхъ войнъ. Переводъ г. Андреева отличается всѣми прежними достоинствами. Къ обширному тому приложены: 1) очеркъ русской исторіи соответствующаго времени (изъ *Исторіи Россіи въ жизнеописаніяхъ главнѣйшихъ ея дѣятелей*, Костомарова) и 2) Битва при Рокруа (переводъ изъ *Historie de France pendant la minorité de Louis XIII*, Шеруэла). Русский переводчикъ предпослалъ книгѣ своей новый очеркъ: *Климатъ, астрономическій законъ, распределение солнечной теплоты*. Кончается одиннадцатый томъ *Всеобщей исторіи* Вебера изображеніемъ печальнаго состоянія Германіи послѣ опустошительной Тридцатилѣтней войны.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМІЯ.

„Исторія социальныхъ системъ“. Д. Щеглова.

Исторія социальныхъ системъ. Д. Щеглова. Т. II. Критическое обозрѣніе социальныхъ ученій—Фурье, Кабе, Л. Блана, Лямене, П. Леру, Бюше, Отта, Ог. Конта и Литтре. Спб., 1889 г. Ц. 4 р. 50 к. Никогда еще, кажется, не появлялось на свѣтъ памфлета, который бы представлялъ собою объемистый томъ слишкомъ въ 62 печатныхъ листа. Это не пропія, а самое серьезное утвержденіе, къ которому неотразимо приводитъ знакомство съ трудомъ г. Щеглова. Но, съ другой стороны, справедливость требуетъ замѣтить, что авторъ выпускалъ свое произведеніе въ свѣтъ въ качествѣ научнаго. Въ этомъ убѣждаетъ не только заглавіе сочиненія, но и отношеніе автора къ другимъ писателямъ по тѣмъ же вопросамъ. Такъ, наприм., на стр. 660 своего труда по поводу сочиненія Ю. Жуковскаго: *Прудонъ и Луи-Бланъ* (1866 г.) г. Щегловъ говоритъ, что здѣсь Ю. Жуковский является не въ качествѣ изслѣдователя, а „какого-то адвоката Л. Блана“, а на стр. 662 мы встрѣчаемъ утвержденіе, что „гораздо болѣе знакомъ съ системою Л. Блана позднѣйшій изслѣдователь ея г. Исаевъ, если, впрочемъ, онъ можетъ быть названъ изслѣдователемъ, потому что никакихъ изслѣдованій въ его сочиненіи нѣтъ, а есть нѣсколько догматическихъ утвержденій касательно системы Л. Блана и даже предсказаній относительно ея будущности“. И такъ, г. Щегловъ въ упомянутыхъ авторахъ не видитъ изслѣдователей, противопоставляя, очевидно, ихъ отношеніе къ ученію Л. Блана своему собственному. Но если приложить его же мѣрку къ его произведенію, то необходимо сказать, что оно-то уже никакъ не можетъ быть названо изслѣдованіемъ, такъ какъ если Ю. Жуковский является „какимъ-то адвокатомъ Л. Блана, то г. Щегловъ выступаетъ уже въ роли не какого-нибудь, а очень плохаго прокурора, и, притомъ, не одного Л. Блана, а всѣхъ писателей, объ ученіи которыхъ онъ пытается дать понятіе. Если г. Исаевъ не можетъ быть названъ изслѣдователемъ, потому что у него „есть нѣсколько догматическихъ утвержденій“ и т. д., то у г. Щеглова все его такъ называемое критическое обозрѣніе заключаетъ въ себѣ или сборъ азбучныхъ истинъ, или совершенно не обоснованныхъ утвержденій, съ характеромъ которыхъ мы познакоимъ ниже. Такія свойства труда г. Щеглова никакъ не позволяли намъ отнестись къ нему какъ къ научному. Между тѣмъ, какъ предисловіе автора, такъ и отвѣтъ на рецензію Ю. Я. о первомъ томѣ, помѣщенный вслѣдъ за предисловіемъ, свидѣтельствовали, что самъ авторъ

смотреть на свое произведение какъ на вполне научное и мечеть громы и молнію на недостатокъ научныхъ знаній и научнаго отношенія къ явленіямъ со стороны „свѣтилъ звѣзднаго неба нашей университетской науки“. При такихъ условіяхъ нельзя было не придти къ заключенію, что у г. Щеглова существуетъ своя точка зрѣнія на то, что можетъ быть названо научнымъ изслѣдованіемъ. Но такъ какъ 2-й томъ не давалъ относительно этого никакихъ разъясненій, то пришлось снова обратиться къ первому тому, вышедшему въ свѣтъ почти 20 лѣтъ тому назадъ. Тамъ мы дѣйствительно нашли искомое подъ рубрикой: *Отношеніе науки къ ученіямъ о социальномъ строе*. Чтобы опредѣлить, говоритъ г. Щегловъ на стр. XXVI введенія къ I тому, книги, недостойныя вниманія людей, стремящихся къ истинѣ, „необходимо предварительно изучить всю литературу, не исключая никакихъ книгъ, какъ бы содержаніе ихъ ни было ложно и *направленіе превратно*“. И такъ, наука изучаетъ „книги“, между прочимъ, съ точки зрѣнія превратности ихъ направленіе. Въ такомъ случаѣ становится понятнымъ отношеніе автора къ изучаемымъ имъ писателямъ. Въ самомъ дѣлѣ, все сочиненіе г. Щеглова представляетъ собою не болѣе, какъ безсвязное, неполное и одностороннее изложеніе тѣхъ ученій, исторій которыхъ, по его мнѣнію, онъ пишетъ, и затѣмъ въ простыхъ, ничѣмъ не обоснованныхъ утвержденіяхъ, что такой-то писатель сумасбродъ, такой-то циниченъ, а такой-то невѣжда и т. д. И если Ю. Я. въ своей рецензій по поводу первого тома труда г. Щеглова высказалъ, что его *Исторія социальныхъ системъ* есть безсвязная компиляція всего, что было писано о коммунизмѣ и социализмѣ въ тѣсномъ смыслѣ, т.-е. онъ излагаетъ все, что высказано уже Тониссеномъ, Ребо, Сюдромъ и др., то то же самое можно съ полнымъ правомъ повторить и о 2-мъ томѣ. И если по поводу 1-го тома, гдѣ авторъ, хотя бы при изложеніи ученія Т. Мора, пытается выяснить экономическія условія Англіи того времени, можно было, все-таки, сказать, что „г. Щегловъ не изучалъ историческихъ судебъ европейскихъ націй“ и что исторія социальныхъ системъ и критическаго разбора ихъ у него нѣтъ и быть не можетъ, то еще съ большимъ правомъ все это можетъ быть связано о разбираемомъ томѣ. Авторъ излагаетъ одну систему за другой и затѣмъ говоритъ о превратности ея направленія. О связи же этой системы съ тѣми или другими социальными явленіями у него нѣтъ ничего, если не считать вѣшняго и бѣглаго очерка событій во Франціи при появленіи системы Л. Блана. И тотъ, кто вздумалъ бы по книгѣ г. Щеглова ознакомиться съ *Исторіей социальныхъ системъ*, не получивъ бы никакого понятія, откуда они возникли, какія обстоятельства и явленія общественной жизни вызвали ихъ на свѣтъ и т. д. Вся критическая часть ихъ ученій, остается также не выясненной. При такихъ условіяхъ, оторвавъ отъ дѣйствительности то или другое ученіе и выдвинувъ на видъ по произволу тѣ или другія стороны его, автору ничего не стоило убѣдить себя (но врядъ ли еще кого-либо), что все изучаемое имъ представляетъ собою сплошное сумасбродство и изобличаетъ превратное направленіе. Отсюда ясно, какимъ образомъ авторъ въ исторіи социальныхъ системъ пишетъ цѣлую главу на вопросъ: „почему Кабе не пользовался сочувствіемъ въ Россіи?“ и отвѣчаетъ: потому, что не былъ циниченъ и не допускалъ свободной любви; точно также цѣлый отдѣлъ посвященъ рѣшенію вопроса, почему ученію Фурье „посчастливилось“ въ Россіи, и отвѣтъ опять очень простъ: потому, что Фурье былъ циниченъ и отрицалъ семью. Какія же, въ самомъ дѣлѣ, историческія

изысканія и изслѣдованія нужны для подобныхъ отвѣтовъ? Для этого даже нѣтъ надобности въ знакомствѣ съ основными произведеніями изучаемыхъ писателей, да и не къ чему озабочиваться обстоятельнымъ и толковымъ изложеніемъ ихъ ученій. Такъ г. Щегловъ и поступаетъ. Говоря, напримѣръ, о воззрѣніяхъ г. Исаева на Фурье и Л. Блана, онъ основывается исключительно на его статьѣ, помѣщенной въ *Юридическомъ Вѣстникѣ*, и, повидимому, совсѣмъ незнакомъ съ его трудомъ *Промышленнаго товарищества*, гдѣ изложены социальныя ученія Фурье, Л. Блана, Бюше въ ихъ взаимномъ отношеніи другъ къ другу. Полемизируя съ г. Чернышевскимъ, авторъ основывается также лишь на рецензіи г. Чернышевскаго о книгѣ Горлова, да на романѣ *Что дѣлать*, совершенно игнорируя тѣ основныя положенія, которыя заключаются въ примѣчаніяхъ г. Чернышевскаго къ переводу политической экономіи Милля. Ученіе Ш. Фурье изложено до того односторонне, безсвязно и не полно, что не даетъ о немъ рѣшительно никакого представленія. Правда, ученіе Ш. Фурье трудно поддается систематическому изложенію, но, вѣдь, г. Щегловъ не первый беретъ за это и имѣетъ здѣсь такого славнаго предшественника, какъ Л. фонъ-Штейнъ, не говоря уже о повдѣйшихъ изложеніяхъ, — слѣдовательно, разобраться въ ученіи Ш. Фурье было уже не такъ мудрено. Между тѣмъ, тотъ, кто озабочивается съ его системой только по изложенію г. Щеглова, останется въ совершенномъ недоумѣніи, какимъ образомъ хоть на минуту кто-либо изъ серьезныхъ писателей могъ говорить серьезно объ ученіи Фурье; это недоумѣніе должно быть тѣмъ сильнѣе, что самъ г. Щегловъ приводитъ длинный рядъ извѣстныхъ писателей, находившихъ нужнымъ обстоятельно обсудить систему Фурье, причемъ такіе мыслители, какъ Д. С. Милль и Л. фонъ-Штейнъ, относились къ ней, по свидѣтельству того же г. Щеглова, „благоклонно“. Л. Бланъ въ изложеніи г. Щеглова также является человѣкомъ ничего не понимающимъ, невѣждой и т. п. Мало того, онъ самъ не вѣрилъ въ то, чему училъ. „Отчего онъ ограничился организаціею социальной мастерской на бумагѣ и не приступилъ къ организаціи ея на дѣлѣ, отчего онъ ограничился блестящими описаніями и не позаботился исполнить ихъ?“ (стр. 481). Впрочемъ, это не мѣшаетъ автору на стр. 538 и 539 говорить объ устройствѣ въ 1848 г. ассоціаціи при содѣйствіи Л. Блана и согласно съ его принципами“, а еще дальше, на стр. 630 и 631, доказывать, что отождествленіе національныхъ мастерскихъ съ планомъ Л. Блана представляетъ собою ошибку. „Л. Бланъ былъ совершенно устраненъ отъ всякаго участія въ устройствѣ мастерскихъ; онъ отъ начала до конца былъ совершенно чуждъ *национальнымъ* мастерскимъ 1848-го года. Ни по своему устройству, ни по духу, ни даже по своему имени они не имѣли *ничего общаго* съ его проектомъ организаціи труда. Въ его проектѣ мастерскія называются *национальными* и *социальными*“ (стр. 634). Что можетъ быть категоричнѣе этого утвержденія, стоящаго, однако, въ противорѣчій съ сказаннымъ на стр. 630 и 631? Но далѣе, на стр. 668, мы встрѣчаемъ уже другое. Тамъ говорится, что напрасны жалобы сторонниковъ ученія Л. Блана, что всѣ мѣшаютъ осуществленію его плана, — жалоба, въ сущности, несправедливая. Не только *никто никогда* не мѣшалъ этому, а оказано было даже значительное денежное пособіе для устройства *социальныхъ* мастерскихъ (3 мил. въ 1848 г.). Категоричнѣе тоже, кажется, нельзя выразиться, хотя это вполнѣ противорѣчитъ предшествующему категорическому утвержденію. И это не есть случайная обмолвка. На стр. 718 опять говорится: „вѣдь, ни одна изъ

ассоціацій, устроєнныхъ подѣ влияніемъ идей Л. Блана, не оказалась успѣшною, не достигла цѣли, и 3 мил. франковъ, ассигнованные правительствомъ для устройства ассоціацій, перестали существовать и т. д.“. И такъ, Л. Бланъ не позаботился осуществить свой планъ; подѣ его влияніемъ сдѣлана попытка осуществленія; онъ былъ устраненъ отъ участія, но никто никогда не мѣшалъ осуществленію и т. д. И это все говорится въ одной книгѣ и однимъ и тѣмъ же писателемъ. Не это ли означаетъ, что „Л. Блана надо прижать такъ къ стѣнѣ, чтобы онъ не могъ ничего возразить (стр. 687)? Гдѣ же послѣ этого читателю разобратся, чтѣ въ изложеніи г. Щеглова вѣрно, чтѣ нѣтъ. Такимъ образомъ, если Ю. Я. по поводу 1-го т. высказалъ, что онъ „все-таки, полезень, знакома съ ученіями писателей, переводовъ произведеній которыхъ нѣтъ на русскомъ языкѣ, то про 2-й т. и этого сказать нельзя. Единственный писатель, система котораго изложена г. Щегловымъ удовлетворительно, это Э. Кабе. Но и здѣсь г. Щегловъ ничего не говоритъ о томъ, какова система воспитанія въ Иваріи Кабе, тогда какъ въ каждой соціальной системѣ ученіе о воспитаніи представляетъ существенную сторону. При изложеніи ученія Ш. Фурье, авторъ, правда, останавливается на этомъ, но опять-таки настолько неполно и односторонне, что рѣшительно не даетъ возможности читателю самому судить, чтѣ въ воззрѣніяхъ Ш. Фурье истинно, чтѣ можно, чтѣ представляетъ плодъ внимательнаго наблюденія со стороны Ш. Фурье и глубокаго размысленія и чтѣ является мечтой. Это тѣмъ болѣе непростительно, что идеи Ш. Фурье о воспитаніи заслуживаютъ и въ настоящее время большаго вниманія.

Наконецъ, авторъ не позаботился даже выяснитъ себѣ, о чемъ собственно онъ пишетъ. Изъ предисловія къ 1-му и 2-му тому видно, что онъ посвящаетъ свое вниманіе исключительно писателямъ-соціалистамъ, между тѣмъ, въ число ихъ у него попадаютъ не только О. Контъ, но и Лянтре, котораго уже никоимъ образомъ нельзя причислить къ послѣднимъ. Сказаннаго достаточно, чтобы дать читателю понятіе о томъ, чтѣ онъ пріобрѣтеть, потерявъ время на чтеніе этой объемистой книги. Но мы бы не дали полнаго представленія о ней, если бы не указали еще на одну ея сторону. Если авторъ недостаточно озабился о томъ, чтобы дать истинное представленіе объ излагаемыхъ имъ ученіяхъ, то взаимно этого онъ такъ много удѣляетъ мѣста разсужденіямъ о разныхъ явленіяхъ русской жизни, что могъ бы дать своими сужденіями матеріалъ для передовыхъ статей печати извѣстнаго пошиба, по крайней мѣрѣ, въ теченіе года. Помимо безпрестанныхъ экскурсій въ область русскихъ общественныхъ явленій и цѣлыхъ отдѣловъ, посвященныхъ Россіи и отмѣченныхъ выше, въ главѣ объ ученіи Л. Блана до 70 страницъ посвящено... впрочемъ, трудно сказать чему! Здѣсь рѣчь идетъ и о томъ, что „Дарвина и въ Англіи столько не превозносили, какъ у насъ въ Россіи“ (стр. 564), „что ученики и ученицы гимназій *съ буквальною смысломъ слова* даютъ вкляту Аннибала въ томъ, что по выходѣ изъ школы нога ихъ никогда не будетъ въ церкви“ (стр. 569), что „Костомаровъ подвергъ истинному поруганію все, что въ русской исторіи имѣетъ неоспоримое право на уваженіе истинно-русскихъ людей“ (стр. 569), что „въ Германіи существуетъ особый храмъ славы для знаменитыхъ нѣмцевъ, извѣстная Валгалла“ (стр. 570), что „когда въ газетахъ идетъ рѣчь объ архіепископѣ Фреппелѣ, или Кеттлерѣ, или Штросмайерѣ, ихъ имя приводится съ прибавленіемъ почетнаго титула „монсиньоръ“; а разъ рѣчь зашла о русскомъ архіепископѣ, объ немъ выража-

ются такъ: мѣстный архіепископъ N сказалъ (стр. 571), что „царствованіе Императора Александра II было временемъ усиленныхъ заимствованій въ Западной Европѣ, дажеко не всегда зрѣло обдуманнхъ“ (стр. 575), что романы читать вредно, тутъ же идетъ рѣчь и о томъ, что никому теперь не нужны сочиненія „прославленныхъ Диккенса или Теккерея“ (стр. 584), что „была въ то время и беллетристика, романы; но она знала свой шестокъ“; это было время Булгарина, Греча и т. д., но потомъ явился Гоголь и (о ужасъ!) „каждая строчка *Ревизора* и *Мертвыхъ душъ*, кажется, была выучена наизусть“; „дѣятели нашей социальна-революціонной партіи и теперь еще не могутъ отказываться отъ того лучезарнаго свѣта, который истекаетъ на нихъ изъ „поэмъ Гоголя“; въ особенностн хорошо знакома съ ними редакція *Набата*“ (стр. 585—587). Далѣе мы узнаемъ, что „недавно у насъ умерли два журналиста; они не головою были выше всѣхъ своихъ коллегъ, а цѣлымъ трудовищемъ“ (стр. 807).

Но какое же, спросить читатель, все это имѣетъ отношеніе къ исторіи социальныхъ системъ и къ критическому обозрѣнію ихъ? Не знаемъ, да и сомнѣваемся, чтобы кто-либо могъ дать удовлетворительный отвѣтъ на этотъ вопросъ. Мы же уяснили себѣ только одно совершенно вѣрное замѣчаніе г. Щеглова, выраженное имъ на стр. 211 разсматриваемой книги: „въ другихъ литературахъ читатель не рискуетъ встрѣтиться съ какиммъ-либо нравственнымъ абсурдомъ, безобразіемъ въ обыкновенномъ, обращающемся въ публикѣ произведеніи. А у насъ рискуеть“.

СТАТИСТИКА.

„Матеріалы для оцѣнки земельныхъ угодій Новгородской губ.“.

Матеріалы для оцѣнки земельныхъ угодій Новгородской губерніи. Демьянскій уѣздъ. Новгородъ, 1888 г. Новгородская земская статистика долго находилась въ сторонѣ отъ общаго теченія дѣлъ въ этой области, пыталась организовать нѣчто самое дѣятельное и оригинальное, но кончила тѣмъ, что примкнула къ черниговскому типу статистики и цѣлью своей дѣятельности поставила оцѣнку земельныхъ угодій. Такова, впрочемъ, фисіономія, принятая ею въ самое послѣднее время; еще нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ она задавалась болѣе широкою цѣлью—комбинировать черниговскій и московскій типъ изслѣдованій, а годъ тому назадъ пыталась организовать регистрацію хозяйственной жизни каждаго крестьянскаго двора при посредствѣ волостнаго правленія. Для этого по волостямъ были заведены особыя книги, въ которыя и вносились всѣ жители волости со всѣми признаками, характеризующими ихъ хозяйственное положеніе. Это—тоже подворная перепись, но, такъ сказать, текучая, захватывающая крестьянина не въ одинъ, можетъ быть, случайный моментъ его существованія, а подмѣчающая *измѣненія* въ его хозяйственномъ положеніи. По идеѣ, это, конечно, выше московскаго типа изслѣдованія, не затрогивающаго эконолической жизни массу съ динамической стороны; но бѣда въ томъ, что составъ волостныхъ правленій не соотвѣтствуетъ задачѣ, на нихъ возложенной, и свѣдѣнія, занесенныя ими въ книги, оказались не настолько вѣрными, чтобы служить надежнымъ основаніемъ теоретическихъ и практическихъ заключеній. Убѣдившись въ этомъ, новгородское земство избрало одинъ изъ существующихъ типовъ земско-статистическаго изслѣдованія и поручило его организацію спеціально приглас-

шенному для того лицу, каковымъ оказался г. Семяновскій, извѣстный своими работами въ черниговскомъ земско-статистическомъ бюро. Онъ производилъ изслѣдованіе по соединенной московско-черниговской программѣ, и выставленное въ заголовкѣ изданіе есть первый томъ этой новой работы.

Содержаніе разсматриваемой книги далеко не соответствуетъ ея названію. Она заключаетъ въ себѣ перечень всѣхъ земельныхъ имуществъ уѣзда, съ указаніемъ владѣльца, количества принадлежащей ему земли и распредѣленія ея по угодьямъ, подворную перепись крестьянскаго населенія и таблицъ частновладѣльческаго хозяйства. Но въ ней нѣтъ изслѣдованія ни почвы уѣзда, ни способовъ производства, ни урожая, т.-е. главныхъ моментовъ, опредѣляющихъ доходность хозяйства и, слѣдовательно, стоимость имущества. Затѣмъ, книга состоитъ изъ однихъ таблицъ; въ ней нѣтъ даже 2—3 страницъ предисловія, указывающаго время, способы работы и дающаго другія необходимыя поясненія, а послѣднія были бы далеко не лишни. Такъ, наприм., таблицы частновладѣльческаго хозяйства составлены очень кратко: мы имѣемъ въ нихъ только распредѣленіе земли по угодьямъ, скота—по его родамъ, размѣры посѣвовъ хлѣбовъ владѣльческаго и исполнаго, счетъ построекъ жилыхъ и хозяйственныхъ, число наемныхъ рабочихъ того и другаго пола. Въ графѣ „примѣчанія“ даются кое-какія другія свѣдѣнія, между прочимъ, объ улучшенныхъ орудіяхъ, посѣвахъ травъ и т. п., но нерѣдко безъ точнаго количественнаго опредѣленія. Интересно было бы знать, почему отсутствуютъ такія опредѣленія: по неимѣнію ли данныхъ или по другимъ причинамъ (каковыми могутъ быть новѣйшія регламентации земской статистики центральнымъ статистическимъ комитетомъ, запрещеніе, наприм., точно регистрировать сдачу владѣльцами на аренду своихъ земель и т. п.).

Главный интересъ разсматриваемаго изданія заключается, однако, въ подворной переписи, на которой мы и остановимся.

Подворная перепись Демянскаго уѣзда сведена по новѣйшему типу работъ этого рода; это значитъ, что, кромѣ простой пообщинной сводки матеріала, здѣсь имѣются еще такъ называемыя групповыя и комбинаціонныя таблицы. Простыя пообщинныя таблицы составлены по болѣе краткой программѣ (97 графъ), обнимающей составъ населенія по поламъ, возрасту, распредѣленію семей по рабочему составу, количеству владѣемой земли и скота, посѣва разныхъ хлѣбовъ на своей и арендованной землѣ, сборъ сѣна, промыслы, платежи и недоимки. Простыя сводныя таблицы по волостямъ, разрядамъ крестьянъ и цѣлому уѣзду значительно подробнѣе предъидущихъ. Групповая таблица заключаетъ 120 графъ, комбинаціонная (по тремъ признакамъ—землевладѣнію, рабочему составу семьи и количеству лошадей) вездѣ, кромѣ воронежскихъ сборниковъ, очень краткая, — здѣсь иѣсколько распространеннѣе, хотя заключаетъ, все-таки, только 51 графу. Въ простыхъ таблицахъ всѣ свѣдѣнія подворной переписи приурочиваются къ общинѣ, волости, уѣзду, или разряду крестьянъ, цѣльной единицѣ; въ групповой—всѣ семьи подраздѣляются на нѣсколько хозяйственныхъ группъ по тому или другому важному признаку, и данныя, рисующія фізіономію населенія, даются для каждой изъ этихъ группъ отдѣльно. Въ названной таблицѣ населеніе расчленяется на группы по одному признаку; въ комбинаціонной расчлененіе продолжается дальше, изучаемая группа индивидуализируется болѣе, читатель получаетъ возможность выдѣлить семью, отличающуюся одновременно и извѣстнымъ размѣромъ надѣла, и тѣмъ

или другимъ количествомъ рабочаго скота, и опредѣленнымъ рабочимъ составомъ, и, выдѣливъ ее, изучать по всѣмъ признакамъ, характеризующимъ ее хозяйственную дѣятельность и бытовые отношенія. Въ разсматриваемомъ изданіи, на примѣръ, населеніе Демянскаго уѣзда разбито на 112 различныхъ группъ. Понятно, какую важность имѣетъ комбинаціонная таблица, но ея положеніе въ статистическихъ изданіяхъ въ ряду другихъ далеко не соотвѣтствуетъ ея научному значенію. Если бы она была поставлена на должную высоту, то, на примѣръ, групповыя таблицы потеряли бы значительную долю своего значенія, ибо онѣ могли бы быть составлены по даннымъ комбинаціонной таблицы, которая имѣла бы смыслъ только какъ облегчающая механической трудъ изслѣдователя. Теперь же она даетъ нѣчто совершенно новое, и это потому, что комбинаціонная таблица, за исключеніемъ воронежскихъ сборниковъ, вездѣ составлена очень кратко, и приведеніе болѣе подробныхъ свѣдѣній, хотя бы для крупныхъ хозяйственныхъ группъ населенія, получаютъ важное значеніе. Указанное нами положеніе вопроса о комбинаціонной таблицѣ, при которомъ послѣдняя является въ изданіи скорѣе какъ украшеніе, чѣмъ осуществленіе серьезно проведеннаго важнаго метода статистическаго изученія явленій, зависятъ въ значительной мѣрѣ отъ бѣдности научной разработки огромнаго матеріала, заключающагося въ земско-статистическихъ изданіяхъ. Въ своемъ ознакомленіи съ бытомъ населенія мы еще не вышли изъ періода самаго поверхностнаго обзора, при которомъ мы довольствуемся такими грубыми дѣленіями, какъ уѣздъ или юридико-экономическій разрядъ крестьянъ. Мы считаемъ себя удовлетворенными, если узнаемъ, что дѣлается, на примѣръ, въ такой-то губерніи, и много-много, если нарисуемъ картину положенія отдѣльно помѣщичьихъ крестьянъ или государственныхъ. Правда, общественная мысль идетъ гораздо дальше, публицистика не перестаетъ настаивать на важности изученія процессовъ, совершающихся внутри крестьянской массы, на необходимости изслѣдовать то дифференцированіе, которое совершается въ крестьянской средѣ, распаденіе нѣкогда однородной будто бы массы населенія на хозяйственныя группы, рѣзко различающіяся по положенію и благосостоянію. И комбинаціонныя таблицы, давая характеристику сотни различныхъ хозяйственныхъ группъ населенія, представляютъ, конечно, прекрасный матеріалъ для изученія не только самаго распаденія, но и причинъ его, или, по крайней мѣрѣ, связи процесса съ различіями землевладѣнія, рабочаго состава семьи и т. д. Но мы этими таблицами не пользуемся, серьезное явленіе не изучаемъ, а довольствуемся указаніемъ на результаты процесса и строимъ совершенно произвольныя гипотезы о его причинахъ, совершенно исповѣдываемымъ нами теоретическимъ социаль-экономическимъ представленіемъ. Сказанное служитъ намъ только лишь доказательствомъ положенія, что научная разработка матеріала, съ такою энергіей собираемаго земскими статистиками, находится въ зачаткѣ, а это отражается и на сводкѣ данныхъ подворной переписи, главнымъ образомъ, на комбинаціонной таблицѣ. Давъ намъ идею этой таблицы, земская статистика не была поддержана въ ея развитіи учеными, которые если упоминали о ней, то ограничивались нѣсколькими словами похвалы, а не пользовались ею, не критиковали, не предъявляли запросовъ, на которые, конечно, мѣстные изслѣдователи не замедлили бы отвѣтить.

Обращаясь къ разсматриваемому нами изданію новгородскаго земства, мы должны сказать, что особенную важность представляютъ его групповыя таблицы, какъ заключающія довольно обширный матеріалъ

для характеристики различных хозяйственных групп населения. Таких таблиц четыре: для земельных групп крестьян, для групп, составленных по числу работников в семье, по числу лошадей и по отношению крестьян к надельной земле. Впрочем, в издании есть еще пятая групповая таблица, приведенная уже по волостям, где домохозяйство разделено на три группы: надельных, безнадельных, но имѣющих собственную землю, и совершенно безземельных.

Мы сказали, что простая и групповая таблицы не одинаково подробны; при их составлении, конечно, слѣдовало бы руководствоваться важностью связи, открываемой между явлениями сопоставлением одних данных съ другими, и если бы разработка данных подворныхъ переписей, такъ сказать, свободными учеными шла параллельно съ мѣстнымъ изслѣдованіемъ, составъ всѣхъ таблицъ, конечно, скоро бы оказался въ соотвѣтствіи съ ихъ назначеніемъ. Въ настоящее же время земскимъ статистикамъ, если они не желаютъ безгранично расширять таблицы, приходится самимъ выбирать, что помѣщать въ ту или другую изъ нихъ; и такой выборъ, не освѣщаемый указаніемъ со стороны лицъ, пользующихся таблицами и потому знающихъ, чего отъ нихъ можно ждать и должно требовать, не всегда бываетъ рациональнымъ. Такъ, въ разсматриваемомъ изданіи есть графы объ участіи наемнаго труда въ крестьянскомъ хозяйствѣ и о числѣ крестьянъ, постоянно живущихъ на сторонѣ. Коль скоро возникаетъ вопросъ не о томъ фактѣ, а объ его объясненіи, то естественнымъ является сопоставленіе указанныхъ явленій съ факторами хозяйственной дѣятельности населенія: величиной надѣла, богатствомъ семьи рабочими силами и т. д., что требуетъ помѣщенія соотвѣствующихъ данныхъ не въ простую таблицу, а въ комбинаціонную или, по крайней мѣрѣ, групповую. Въ нашемъ же изданіи они находятся въ первой таблицѣ и потому утрачиваютъ значительную долю своего значенія. Въ общемъ, нужно сказать, что изданіе новгородскаго земства представляетъ цѣнный вкладъ въ нашу статистико-экономическую литературу, какъ потому, что оно касается малоизучаемой путемъ подворной переписи нечерноземной полосы Россіи, такъ и благодаря тщательности, съ какою составлены таблицы, и новымъ отношеніямъ, рисуемымъ ими. Такъ, посѣвъ разныхъ хлѣбовъ показанъ здѣсь отдѣльно для купленной, надѣльной и арендованной земли; купленная крестьянами земля сравнивается съ размѣрами надѣльной, находящейся въ пользованіи семей, приобрѣвшихъ землю въ собственность; дѣйствительные работники указаны отдѣльно отъ лицъ рабочаго возраста и т. д. Выскажемъ только сожалѣніе, что нѣтъ распредѣленія хозяйствъ по владѣнію молочнымъ скотомъ.

ЮРИДИЧЕСКІЯ КНИГИ.

„Општи имовински Законникъ за княжевину Црну Гору“. — „Прокурорскій надзоръ въ его устройствѣ и дѣятельности“. *И. В. Муравьева*. — „О преступленияхъ и наказаніяхъ“. *Божарія*. — „Въ судѣ“. *Элифа*.

Општи имовински Законникъ за княжевину Црну Гору. На Цетинью, 1888 г. (Общій имущественный Законникъ княжества Черногоріи. Цетинье, 1888 г.). 25 марта 1888 г. былъ обнародованъ, а съ іюля началъ дѣйствовать въ Черногоріи гражданскій кодексъ, составленный извѣстнымъ славистомъ, профессоромъ В. Богиничемъ. Это первый гражданскій кодексъ Черногоріи, обнимающій собою пока три

отдѣла гражданскаго права—о лицахъ, вещахъ и обязательствахъ (свѣдѣющее и наследственное право не входятъ въ *Законникъ*) и представляющій большой интересъ какъ по своему содержанію, такъ и по методу, какого держался почтенный ученый законодатель. Съ точки зрѣнія содержанія, *Законникъ* въ высшей степени важное литературное явленіе въ области славянскаго правосознанія. Основываясь въ большей части своихъ положеній на *обычномъ* правѣ черногорцевъ, получающемъ теперь значеніе закона, кодексъ являетъ собою попытку *кодификаціи* началъ народнаго обычнаго права. Принимая во вниманіе всю первобытность и простоту отношений, доселѣ господствующихъ въ Черногоріи, а также *обще-славянскій* характеръ правосозерцанія въ ея жителяхъ, вполнѣ понятно, что такая кодификація будетъ имѣть значеніе не только для той страны, гдѣ кодексъ долженъ дѣйствовать практически, но почти для всѣхъ славянскихъ странъ, когда дѣло коснется изученія ихъ обычнаго *гражданскаго* права. Для насъ, русскихъ, среди которыхъ цѣлыя милліоны крестьянскаго населенія живутъ *отъ* дѣйствій закона по нормамъ *своихъ* *обычныхъ* юридическихъ воззрѣній, эта попытка кодификаціи особенно интересна какъ въ своихъ положительныхъ, такъ и отрицательныхъ качествахъ. Намъ поэтому кажется, что проф. Богишичъ ничѣмъ бы лучше не могъ закончить своего дѣла, какъ *переводомъ* и особенно комментариемъ на русскомъ языкѣ своего *Законника*. Обширныя знанія почтеннаго профессора могли бы послужить на пользу и намъ.

Обращаясь къ методу новаго кодекса, надо отмѣтить, какъ его особенность, то, что законодатель,—кромѣ положеній, относящихся до вещныхъ правъ, договоровъ и обязательствъ, а также и лицъ, поскольку послѣднія являются субъектами имущественныхъ правъ,—дѣлаетъ еще попытку *опредѣлить*, понятнымъ народу языкомъ, *основныя* понятія тѣхъ правовыхъ отношеній, какія урегулированы въ *Законникѣ*. Это достигается,—и, притомъ, въ общемъ, весьма удачно,—цѣлымъ цикломъ юридическихъ пословицъ и поговорокъ, частью народныхъ, частью взятыхъ изъ учебниковъ, а также и научнымъ разъясненіемъ различныхъ терминовъ и понятій. Трудно сказать, конечно, насколько все это будетъ приложимо практически именно въ Черногоріи, но по идеѣ попытка эта заслуживаетъ полнаго вниманія. Нѣтъ сомнѣнія, что гдѣ законъ написанъ яснымъ и понятнымъ народу языкомъ, гдѣ законодатель, нѣсколько выходя, можетъ быть, изъ своей обычной роли, старается заставить народъ уразумѣть какъ цѣль, такъ и смыслъ своихъ постановленій, тамъ и сами эти постановленія не останутся мертвою буквой. Этого именно и стремится достигнуть проф. Богишичъ, которому выпала на долю завидная и рѣдкая судьба—быть законодателемъ цѣлаго народа.

Отрадно отмѣтить, что въ этомъ трудномъ дѣлѣ на помощь Черногоріи пришла Россія. Князь Николай торжественно и нѣсколько разъ въ своемъ манифестѣ объ окончаніи кодекса заявляетъ благодарность русскому правительству за принятіе на себя всѣхъ расходовъ по составленію *Законника*. Остается пожелать, чтобы *Законникъ* дѣйствительно послужилъ уснѣшно тому великому дѣлу просвѣщенія народа идеями права и справедливости, для теоретической разработки которыхъ проф. Богишичъ отдалъ болѣе десятка лѣтъ своей жизни.

Въ виду малаго знакомства нашего общества съ славянскими нарѣччями и въ ожиданіи, пока кодексъ появится на русскомъ языкѣ, желающимъ немедленно ознакомиться съ этимъ интереснымъ явленіемъ въ области славянскаго правосознанія можно рекомендовать небольшую

французскую брошюру самого проф. Богичича, въ которой ясно излагаются какъ методъ, такъ и тѣ принципы, какимъ слѣдовалъ авторъ въ своей кодификаціи обычнаго права Черногоріи. Она носитъ названіе: *Quelques mots sur les principes et la méthode suivis, dans la codification du droit civil au Monténégro*—lettre à un ami (Paris, 1886).

Прокурорскій надзоръ въ его устройствѣ и дѣятельности. Н. В. Муравьева, прокурора московской судебной палаты. Томъ I. Прокуратура на Западѣ и въ Россіи. М., 1889 г. Цѣна 3 р. 50 к. Обширный трудъ г. Муравьева пополняетъ существенный пробѣлъ въ нашей юридической литературѣ. Авторъ назвалъ свое сочиненіе *Пособіемъ для прокурорской службы*; но оно имѣетъ гораздо большее значеніе и принесетъ многообразную пользу каждому юристу, каждому образованному человѣку, который серьезно относится къ вопросамъ права и правосудія.

Авторъ высоко ставитъ призваніе прокурора, *блюстителя законовъ*, и можно только пожелать, чтобы дѣятельность всегда давала достаточное приближеніе къ этому теоретическому идеалу. Г. Муравьевъ постоянно указываетъ на отвѣтственность прокуратуры и передъ закономъ, и передъ обществомъ. „Жизнь,—справедливо замѣчаетъ авторъ,—не ждетъ закона и часто опережаетъ его или, выбываясь изъ-подъ его мало-подвижныхъ, иногда механическихъ рамокъ, рядомъ съ нимъ создаетъ такія условія и комбинаціи, которыя не только сильно вліяютъ на степень и характеръ его исполненія, но даже фактически упраздняютъ или измѣняютъ его первоначальное значеніе“. „Бываютъ,—продолжаетъ г. Муравьевъ,—исключительные случаи, когда явленія дѣятельности складываются въ формальные признаки преступленія, а, между тѣмъ, судебное преслѣдованіе и приложеніе къ нему уголовной кары представлялись бы лишь безцѣльнымъ соблюденіемъ внѣшней обрядности или даже могло бы причинить обществу или отдѣльному лицу гораздо болѣе вреда, чѣмъ самое нарушеніе закона“. Для выполненія этой трудной задачи,—регулятора отношеній между жизнью и закономъ,—г. Муравьевъ требуетъ, въ качествѣ необходимаго критерія, „чувство мѣры и такта при охраненіи законовъ и публичныхъ интересовъ, основанное на широкомъ и живомъ разумѣніи ихъ внутренняго истиннаго смысла“.

Въ общемъ нельзя не признать этой мысли основательною и проникнутою истиннымъ пониманіемъ природы юридическихъ отношеній. Но для того, чтобы достаточно самостоятельная прокурорская власть не впадала въ значительныя ошибки и увлеченія (не говоря уже о злоупотребленіяхъ), необходимъ и достаточно самостоятельный общественный контроль.

„Прокуратура,—пишетъ г. Муравьевъ,—зидается на крѣпкомъ соединеніи справедливости и общественной пользы и до такой степени незамѣнима, что безъ нея теперь уже трудно представить себѣ обычное и нормальное, правильное общежитіе. Ея идеи, принципы, устройство, дѣятельность, цѣли,—все сообщаетъ ей возвышенныя черты и вліятельное, хотя и обоюдоострое положеніе въ государственномъ обиходѣ. Еще Монтескьё восхищался ею, какъ учрежденіемъ, позволяющимъ государству преслѣдовать преступленія безъ ношенія доносовъ и докащиковъ“.

Г. Муравьевъ довольно подробно останавливается на отношеніи прокуратуры къ общественному мнѣнію и къ его выразителямъ—печати. Авторъ разсудительно указываетъ на то, что уваженіе общественнаго

мнѣнія никогда не должно переходить въ принесеніе въ жертву передъ нимъ малѣйшаго интереса правосудія. Отъ прокурора г. Муравьева требуетъ непоколебимаго сознанія своего долга, спокойствія и такта въ исполненіи судебно-административныхъ обязанностей. Едва ли надо прибавлять, какое благотворное нравственно-общественное значеніе можетъ имѣть осуществленіе такихъ требованій.

Какъ упрекъ автору, мы выскажемъ сожалѣніе по поводу того, что онъ употребилъ довольно рѣзкія выраженія, опровергая мнѣніе тѣхъ публицистовъ, которые считаютъ прокуратуру органомъ не юстиціи, а полиціи. Этому взгляда мы совершенно не раздѣляемъ, но не видимъ основанія не признавать его вполне добросовѣстнымъ заблужденіемъ.

Къ книгѣ г. Муравьева приложенъ обширный, тщательно составленный указатель литературы. Написанъ почтенный трудъ прокурора московской судебной палаты съ выдающеюся точностью, ясностью и живостью языка. Такія работы, какъ *Прокурорскій надзоръ въ его устройствѣ и дѣятельности*, составляя крупный вкладъ въ литературу предмета, являются, въ то же время, и общественною заслугою автора.

О преступленіяхъ и наказаніяхъ. Беккарія. Изд. С. Я. Бѣликова. Харьковъ, 1889 г. Цѣна 1 р. У насъ существуютъ четыре перевода этого знаменитаго трактата, составившаго эпоху въ литературѣ уголовного права. Переводъ г. Бѣликова лучше и точнѣе прежнихъ переводовъ. Издатель много и добросовѣстно поработалъ надъ своимъ любимымъ писателемъ. Кромѣ предисловія, къ отлично изданной книгѣ приложенъ очень интересный этюдъ г. Бѣликова: *Значеніе Беккаріи въ наукѣ и въ исторіи русскаго уголовного законодательства*. «Соображенія Беккаріи о лучшемъ уголовномъ судѣ, — говоритъ авторъ, — введенномъ у насъ недавно, имѣютъ теперь чисто-историческое значеніе, но принципъ, чтобы никто въ государствѣ не подвергался никакимъ наказаніямъ иначе какъ по суду, остается для насъ идеаломъ, отъ котораго жизнь далека». Нельзя не пожелать изданію г. Бѣликова самаго широкаго распространенія въ нашемъ обществѣ, которое такъ еще бѣдно правильными юридическими идеями.

Въ судѣ. Впечатлѣнія присяжнаго засѣдателя. Элифа. Выпускъ I. 1888 г. Если бы не завлекающее заглавіе этой брошюрки и не интересъ общества къ суду присяжныхъ, о ней не стоило бы и говорить; но настоящая книжечка, очевидно, разчитана на успѣшный сбытъ, почему далеко не излишне сказать о ней нѣсколько словъ. Авторъ ея, по видимому, совсѣмъ не просто „присяжный засѣдатель“, это скорѣе судебный корреспондентъ, завсегдатель судебныхъ засѣданій, или какое-либо другое лицо, знакомое съ судебными порядками: слѣшкомъ много въ брошюрѣ такихъ деталей, которыя обыкновенно не запоминаются присяжными засѣдателями. Какъ же авторъ, прятующійся подъ псевдонимомъ присяжнаго засѣдателя Элифа, употребляетъ свои знанія?

Онъ рѣшительно надо всѣмъ смѣется, изображая все въ карикатурномъ видѣ, являющая своимъ зубоскальствомъ дѣйствительность. Вотъ образчики всего этого. Судебный приставъ какъ самый грубый крѣпостникъ обращается съ присяж. засѣдателями, почему-то трусащими его: вызываетъ ихъ просто по фамиліямъ, не прибавляя „господинъ“; призываетъ имъ даже, говоря, напр.: „э... э... подайте, пожалуйста, спички“ (стр. 7, 8). Судъ опаздываетъ на цѣлыхъ 49½ минутъ (стр. 14). Прокуроръ и защитникъ отвѣчаютъ предсѣдателю „мыча“ (стр. 29), да и рѣчи свои говорятъ не лучше: „данное дѣло, по своей неспособности, представляется на нашъ взглядъ, при первомъ же взглядѣ

на него, до чрезвычайности, такъ сказать, простымъ, *несложнымъ*“, заявилъ прокуроръ, а адвокатъ „черезъ два слова на третьемъ сбивался, занеялся, повторялся“ (стр. 33, 36). Изъ того обстоятельства, что при судѣ имѣется буфетъ и присяжнымъ носить въ совѣщательную комнату завтракъ, выводится заключеніе, что скоро при судѣ заведутъ и арфистокъ, которыхъ, естественно, „гости (присяжные)“ иногда и будутъ приглашать къ себѣ въ „отдѣльный кабинетъ“, т.-е. совѣщательную комнату (стр. 69), а при объявленіи оправдательнаго приговора старшина, окруженный цыганками, будетъ пѣть на мотивъ изъ «Прекрасной Елены»: „нѣтъ, не виновенъ!“ (стр. 71). Предсѣдатель въ своемъ резюме постоянно проглатываетъ фразы; вынимая изъ урны имена присяжныхъ, произноситъ такіа слова: „Либхерценъ Исаакъ Моисеевичъ, врачъ секретныхъ болѣзней“ (стр. 90), а потерпѣвшему (стр. 96) задаетъ такіе вопросы: „онъ укралъ у васъ сапоги, стоящіе менѣе 300 рублей?“ Разумѣется, не оставлены безъ вниманія авторомъ и присяжные. Ихъ составъ любопытенъ: здѣсь есть и нажившій „всеми неправдами“ домишко, и являющій собою „типъ подсудимаго“, и лавочникъ-мошенникъ (стр. 10), и разстриженный дьяконъ, и кабатчикъ, и чревоушчателъ (стр. 115), и, наконецъ, самъ авторъ брошюры; а изъ неявившихся одинъ въ бѣлой горячкѣ, другой въ больницѣ для умалишенныхъ, третій въ тюрьмѣ (стр. 17).

Думается, что продолжать о подобномъ „литературномъ“ произведеніи далѣе не требуется, почему и кончаемъ. Впрочемъ, еще два слова: позволимъ себѣ пожелать, чтобы дѣйствительные присяжные засѣдатели подѣлились съ обществомъ своими впечатлѣніями: эти впечатлѣнія, искреннія и правдивыя, очень и очень цѣнны для науки и судебныхъ дѣятелей; это-то и заставляетъ многихъ обманываться заглавіемъ указанной брошюры и покупать ее, надѣясь найти въ ней совсѣмъ иное, чѣмъ то, что она содержитъ.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

„Руководство къ воздѣлыванію важнѣйшихъ хлѣбныхъ злаковъ“. А. Новацкаго.— „Краткое практическое виноградарство“. И. И. Воинова.— „Начатки помологии“. Д-ра Э. Люкаса.— „Устройство локомотива и молотилки“. С. И. Иванова.— „Бесѣды по земледѣлію“. В. Г. Котельникова.

Руководство къ воздѣлыванію важнѣйшихъ хлѣбныхъ злаковъ. А. Новацкаго. Переводъ съ нѣмецкаго П. Костычева съ измѣненіями и дополненіями. Съ 150 рисунками въ текстѣ. Спб., 1889 г. Изданіе Девриена. Цѣна 2 руб. Давно обѣщанное издателемъ руководство Новацкаго появилось, наконецъ, въ печатной передѣлкѣ на русскомъ языкѣ. Это, во всякомъ случаѣ, весьма крупный вкладъ въ нашу сельско-хозяйственную литературу, и книга Новацкаго, передѣланная г. Костычевымъ, безъ сомнѣнія, будетъ оцѣнена по достоинству какъ русскими хозяевами, такъ и всеми лицами, интересующимися распространеніемъ агрономическихъ знаний. Половина руководства отведена ботанической части—изложенію признаковъ и исторіи развитія шести хлѣбныхъ злаковъ (пшеницы, ржи, ячменя, овса, проса и еукурузы). Другая половина раздѣлена пополамъ между общимъ изложеніемъ культурныхъ приѣмовъ и описаніемъ отдѣльныхъ хлѣбовъ. Многочисленные рисунки составляютъ важное подспорье для усвоенія текста. Но какъ ни утѣшительно изданіе на русскомъ языкѣ руководства по воздѣлыванію

важнѣйшихъ нашихъ растений, написаннаго и переведеннаго компетентными лицами, нельзя не пожалѣть о томъ, что переводчикъ слишкомъ тѣсно соединилъ переводъ съ собственною передѣлкой. Такое сліаніе (употребленное г. Костычевымъ и при переводѣ Розенберга-Липинскаго) представляетъ большія неудобства при пользованіи руководствомъ: не знаешь, кого считать отвѣтственнымъ за каждую отдѣльную фразу. Передѣлки въ текстѣ совсѣмъ почти не оговорены; изъ многочисленныхъ примѣчаній переводчика лишь немногія подписаны его инициалами. Нѣкоторыя измѣненія оригинала объясняются несогласіемъ переводчика съ взглядами автора (напримѣръ, по вопросу о кущеніи ивановской ржи при позднемъ посѣвѣ). Иные же пропуски остаются для насъ совершенно непонятными: напримѣръ, Новацкій говоритъ, что ивановская рожь, по мнѣнію Таера, происходитъ изъ русскихъ остзейскихъ провинцій, а г. Костычевъ передаетъ: „изъ Россіи“ (стр. 259). Объ отношеніи ржи къ почвѣ въ оригиналѣ имѣется нѣсколько замѣчаній, въ переводѣ же рѣшительно ничего. Вообще почвеннымъ требованіямъ въ руководствѣ не посчастливилось, ибо для изложенія ихъ и въ общей части отведены лишь двѣ странички. Тамъ, гдѣ отъ русской передѣлки можно бы ждать русскихъ данныхъ, въ вопросѣ о химическомъ составѣ хлѣбныхъ зеренъ (стр. 37) приведены лишь результаты анализова Вольфа. Таблички урожая, помѣщенные на стр. 292 и 293, могутъ подать поводъ къ значительнымъ недоразумѣніямъ. Значеніе первой группы цифръ совершенно не оговорено; какъ понимать, напримѣръ, такое указаніе, что урожай озимой ржи бываетъ отъ 25 до 90 четвериковъ на десятину? „Средній урожай“, приведенные по свѣдѣніямъ департамента земледѣлія, выведены неизвѣстнымъ пріемомъ: департаментъ земледѣлія публикуетъ раздѣльныя цифры для крестьянскихъ и владѣльческихъ земель, здѣсь же имѣется общая цифра, повидимому, заимствованная изъ соображеній, присланныхъ корреспондентами въ 1882 году о томъ, что *считается* среднимъ урожаемъ на *владѣльческихъ* земляхъ. Не знаемъ еще, какъ понимать цифры „наибольшихъ извѣстныхъ урожаевъ въ Россіи: для ржи даны сразу 2 цифры, 25 и 27 четвертей. Изложеніе перевода-передѣлки вообще сжатое, хотя вполне ясное. Встрѣчаются нѣкоторые стилистические промахи, наприм., терминъ „вустистость“ употребляется безразлично и для обозначенія свойства растений, и для обозначенія процесса кушенія. Лишь немногія фразы (наприм., цитата изъ Шверца на стр. 149) переданы совершенно небрежнымъ языкомъ. Опечатокъ въ книгѣ встрѣчается довольно много.

Вполнѣ воздавая должную дань почтенія неутомимымъ работамъ г. Костычева, мы полагаемъ, что онъ поступилъ бы осторожнѣе, еслибъ на русскомъ изданіи онъ выставилъ свое имя съ указаніемъ, что руководство составлено по Навацкому. Опасаемся, какъ бы примѣръ не нашелъ себѣ подражанія со стороны менѣе компетентныхъ писателей.

Краткое практическое виноградарство. Составилъ И. И. Воиновъ. Съ рисунками въ текстѣ. Спб., 1889 г. Изд. Девриена. Цѣна 35 к. Маленькая брошюра г. Воинова можетъ принести пользу южно-русскимъ хозяевамъ, желающимъ приступить къ разведенію винограда и не имѣющимъ еще объ этой культурѣ никакого представленія. Главное вниманіе отведено закладкѣ виноградниковъ и первоначальному уходу за виноградниками. Изъ разнообразныхъ сортовъ упомянуты и вкратцѣ описаны лишь сравнительно немногіе сорта, разводящіеся на южномъ берегу Крыма. Къ той же мѣстности примѣненъ примѣрный расчетъ стоимости устройства виноградника.

Такия опечатки, какъ „ворина“, вмѣсто „вошица“ (стр. 35), должны быть отнесены къ числу неприятныхъ.

Начатки помологін. Д-ра Эд. Люкаса. Переводъ съ нѣмецкаго съ дополненіями и примѣчаніями Н. И. Кичунова. Съ 49 рисунками въ текстѣ. Спб., 1889 г. Изд. Девриена. Цѣна 1 рубль. Книжка Люкаса должна, повидимому, служить учебникомъ при преподаваніи плодоводства. Собственно о культурѣ плодовыхъ деревьевъ въ ней не говорится ничего; описываются общіе признаки плодовыхъ деревьевъ и частные признаки различныхъ плодовъ; затѣмъ предлагаются системы для классифицированія отдѣльныхъ плодовъ по сортамъ; въ заключение указываются правила для составленія помологическихъ коллекцій. Изложеніе соответствуетъ обычному изложенію нѣмецкихъ учебниковъ; всѣ страницы испещрены раздѣленіемъ на мелкіе параграфы.

Переводъ г. Кичунова не чуждъ недостатковъ, которые замѣтны, кажется, и самому переводчику, справедливо упоминающему въ предисловіи, что русская помологическая литература не имѣетъ еще установившейся терминологіи.

Такия выраженія, какъ „натъ“, вмѣсто „шовъ“ (стр. 42), „амбра-цвѣтнй“ (стр. 57) не могутъ быть причислены къ удачнымъ. Едва ли что-нибудь ясное выносится изъ фразы, гласящей, что *системы* для венгерокъ и сливъ раздѣляются на двѣ группы: венгерки и сливы (стр. 73). Какъ и во многихъ другихъ изданіяхъ г. Девриена, опечатки могутъ быть названы положительно несчастными: „зютичная кость“ (стр. 9), вмѣсто „кѣсть“; „орѣховаго куска“ (стр. 53), вмѣсто „куста“, „привезти въ порядокъ“ (стр. 60) и др.

Цѣна на книжку могла бы съ успѣхомъ быть понижена, и тогда *Начатки помологии* нашли бы себѣ, вѣроятно, большее распространеніе въ средѣ русскихъ любителей плодоводства.

Устройство локомотива и молотилки. Руководство для машинистовъ и сельскихъ хозяевъ. Съ 21 рисункомъ. Составилъ машинистъ С. И. Ивановъ. Спб., 1888 г. Изд. Девриена. Цѣна 90 к. Соживаемся, чтобы элементарная книжка г. Иванова понадобилась многимъ сельскимъ машинистамъ: то, что въ ней разсказывается, должно быть извѣстно каждому правящемушему машинисту; сельскіе же хозяева могутъ извлечь изъ новаго руководства нѣкоторыя полезныя для себя свѣдѣнія, особенно если ихъ первоначальное знакомство съ паровыми машинами ограничивалось курсомъ физики классическихъ гимназій; но основательно познакомиться съ устройствомъ локомотива и особенно молотилки по книжкѣ г. Иванова едва ли возможно. Наибольше полезною для хозяйственной практики главой окажется, вѣроятно, глава объ уходѣ за машинами внѣ работы. Для выбора локомотива и молотилки приведено слишкомъ мало соображеній, да и эти соображенія недостаточно согласованы съ условіями южно-русскаго владѣльческаго хозяйства, оказывающаго значительный спросъ на локомотивы и паровыя молотилки.

Свою долю пользы книжка г. Иванова, вѣроятно, принесетъ. По цѣнѣ книжка не принадлежитъ къ дешевымъ.

Объ удобреніи почвъ.—О сѣнокошыхъ угодьяхъ и травосѣянн.—Бесѣды по земледѣію В. Г. Котельникова. Выпускъ 2 и 3. Изд. третье. Спб., 1889 г. Первые выпуски „бесѣдъ“ г. Котельникова дождались уже третьяго изданія; такой успѣхъ отчасти обусловливается внутреннимъ достоинствомъ ясно и просто написанныхъ „бесѣдъ“, отчасти рекомендаціей ученаго комитета министерства народнаго просвѣщенія. Немаловажное достоинство популярныя сочиненія г. Котель-

никова составляетъ рядъ примѣровъ, заимствуемыхъ изъ русской практики. Чтобы быть последовательнымъ, авторъ долженъ бы былъ для третьяго изданія воспользоваться массовыми матеріалами о навозномъ удобреніи въ Россіи, сгруппированными статистическимъ отдѣломъ департамента земледѣлія (1887 г. *съ с.-х. ознан.*, выпускъ III); этого, въ сожалѣнію, не сдѣлано.

Третій выпускъ „бесѣдъ“, посвященный лугамъ и травосѣянію, снабженъ недурными иллюстраціями.

УЧЕБНИКИ И КНИГИ ДЛЯ ДѢТСКАГО ЧТЕНІЯ.

„Краткій синтаксисъ греческаго языка“. Страхова.—„Рассказы изъ исторіи и мѣологій грековъ по Гомеру“. Перев. И. Тихонова.

Краткій синтаксисъ греческаго языка. Страхова. Изданіе второе. Москва, 1888 г., Ц. 50 коп. Какъ показала опытъ, подробные учебники грамматики мало пригодны для школы, такъ какъ учебники, подавленные массой мелочей, нерѣдко упускаютъ изъ вида главное. Стремленія педагоговъ поэтому направлены къ тому, чтобы сократить по возможности изучаемый матеріалъ. Къ числу такихъ попытокъ принадлежитъ и разбираемая нами книга. При составленіи ея авторъ почти рабски слѣдовалъ учебнику Коха, только сокращая и перефразируя его. Второе изданіе ничѣмъ существеннымъ не отличается отъ перваго, такъ что недостатки, находящіеся тамъ, перешли почти всѣ и сюда.

Прежде всего, авторъ не умѣетъ хорошо формулировать правила, и поэтому въ его книгѣ встрѣчается множество неточностей и непонятныхъ мѣстъ. Такъ, наприм., онъ говоритъ (§ 14): „Разъ *) въ значеніи *весь* ставится впереди или позади существительнаго съ членомъ“. „Разъ въ значеніи *цѣлый*, при противоположеніи цѣлаго отдѣльнымъ частямъ, ставится между членомъ и существительнымъ“. § 72: „Нуро съ родит. *подъ*—для обозначенія мѣста и сопровождающей причины“ (?). § 81: „Conjunct., optat., imperat. и inf. aoristi представляютъ дѣйствіе фактическимъ (?) или наступающимъ безъ всякаго указанія на время“. Греческое будущее по § 76 соотвѣтствуетъ русскому будущему только совершеннаго вида и т. д.

Во многихъ случаяхъ правила неполны. Особенно дурно, наприм., изложена глава о предлогахъ: тутъ нерѣдко бываютъ даны не всѣ значенія предлоговъ, на которыя приводятся примѣры. Такъ, § 69 гласитъ: „*επί* съ родит. *на* о мѣстѣ на вопросъ *гдѣ?*“ и къ этому примѣръ: *επλεον ἐπί Lesbou*. По странному случаю, и въ другихъ мѣстахъ есть примѣры, не относящіеся къ правилу или даже противорѣчащіе ему. Такъ, въ § 1, 2 говорится о согласованіи подлежащаго въ двойств. ч. со сказуемымъ и приводится примѣръ: *αρεθανον ἡοι στρατῆγοι ἀμφητοροί*. Въ § 117 сказано, что *genitivus absolutus* возможенъ лишь тогда, когда его подлежащее не встрѣчается ни въ какомъ падежѣ въ главномъ предложеніи, но примѣръ этому противорѣчитъ: *εἰς Εὐβοίαν εἰδὲ διαβεβῆστος Περικλέους ἔγγελθῆ αὐτοί* etc. Въ двухъ мѣстахъ мы замѣтили даже, что г. Страховъ противорѣчитъ самому себѣ. Въ § 11 онъ приводитъ примѣръ *εμου τον πατερα*, а въ § 19 категорически заявляетъ: „но не говорится—*ἡογῆἰς εμου τῆν οἰκίαν*“ (Kr. II, 47, 9, 5).

*) Для удобства печатанія приводимъ греч. слова въ лат. транскрипціи.

Равнымъ образомъ, въ § 1, 2 онъ ставитъ выписанный уже нами примѣръ *arēthanon hoī stratēgoi amphoterōi*, а въ § 12 утверждаетъ, что *amphoterōi* говорится только о двухъ партияхъ.

Пропуская важныя вещи (наприм., статью о несобственныхъ предлогахъ), авторъ иногда помѣщаетъ правила и слова ненужныя, наприм., въ § 109, прим.: „*Prin* иногда соединяется съ неопредѣленнымъ и послѣ отрицательнаго главнаго предложенія“, что бываетъ крайне рѣдко (см. *Karlowa*: „*Bemerkungen zum Sprachgebrauch des Demosthenes*“). Слово *theleis* вм. *bouleī* при *conjunct. dubit.* (§ 89) рѣдко даже у поэтовъ (Кр. II, 54, 2, 5), а *autika* при причасти (§ 119) встрѣчается только у Геродота (Кр. II, 56, 10, 1). Наоборотъ, во многихъ мѣстахъ попадаются важные пропуски. Такъ, въ § 95, перечисляя наклоненія, употребляемыя въ вопросахъ, авторъ не упомянулъ сослагательнаго, а въ § 96, гдѣ говорится о главныхъ и историческихъ временахъ, ничего не сказано о желательномъ, неопредѣл. и причасти. Въ §§ 130 и 131, излагая употребленіе отрицаній *mē* и *mē ou* при неопред. н., авторъ забылъ сказать, когда въ русск. яз. въ этихъ случаяхъ ставится отрицаніе и когда нѣтъ.

Но всѣ эти недостатки покажутся ничтожными въ сравненіи съ множествомъ *ошибокъ*, въ которыя впадаетъ самъ авторъ. Укажемъ только главнѣйшія. Во многихъ случаяхъ онъ приводитъ такія конструкціи, какихъ не существуетъ въ греч. яз. Таковы: *hystaton to etos* или *to etos hystaton*—конецъ года (§ 10), *lagchanein tini tinos*—получать участіе съ кѣмъ въ чемъ (§ 40), *loidorein tini ti*—упрекать кого въ чемъ (§ 47, пр. 1), *archō legōn* (§ 121, 2, пр. 1). Въ другихъ случаяхъ его правила ошибочны. Такъ, въ § 1, 4 онъ говоритъ: „если подлежащимъ или дополненіемъ бываетъ средній родъ мѣстоименій—вопросительныхъ, а именемъ сказуемаго существительное, то соответствующія мѣстоименія обыкновенно согласуются въ родѣ и числѣ съ именемъ сказуемаго“, наприм. „*tis estī philia* (что за дружба)“. Это невѣрно. Г. Страховъ, кажется, не знаетъ, что въ русск. яз. „что за“=„какой“ и т. о. „что за дружба“=„какая др.“ Но неужели онъ переведетъ „что есть дружба, что такое дружба?“ посредствомъ *tis estī philia*? Въ § 59 говорится: „при обозначеніи протяженія въ пространствѣ на вопросы какъ широко? и т. п. русскія выраженія: глубиною, шириною, въ высоту—переводятся по-гречески винит. пад. существительныхъ *euros* и т. д. съ родительнымъ, *πρὸς* съ винит. пад. безъ предлога“, напр. „Но *Maryas to euros estin eikosi kai pente podon*“. Никто сколько-нибудь знающій по-гречески не поставитъ въ этомъ примѣрѣ *пente podas*. Г. Страхова, очевидно, ввели въ заблужденіе примѣры, подобные *τον ποταμον οντα euros tria plethra*, гдѣ вин. пад. стоитъ вслѣдствіе ассимиляціи съ словомъ *ποταμον* (Кр. 60, 2, 3).—§ 96: „Наклоненіе глагола причащячаго предложенія опредѣляется временемъ глагола главнаго предложенія“: ничего подобнаго нѣтъ въ греч. яз. § 104, I, 2, пр. 3: „Если дѣйствіе представляется повторяющимся въ настоѣщ. времени, то ставится *eap* съ *conjunct. praes.*; если повторяющееся дѣйствіе относится къ прошедшему времени, то ставится *ei* съ *optativ*“. Здѣсь авторъ, помимо того, что не сказалъ, какого времени долженъ быть *optat.*, сдѣлалъ еще крупную ошибку, утверждая, что *conjunct.* при *eap* ставится въ *praesens*, тогда какъ *ористъ* нисколько не менѣе употребителенъ: приводимый имъ на той же страницѣ примѣръ (который у него стоитъ не на мѣстѣ): *eap eggys ekthei thanatos* и пр., доказываетъ уже это. Въ этомъ же § на слѣд. страницѣ мы встрѣчаемъ у него

такое правило (объ ирреальномъ случаѣ условія): „Если отрицательное заключеніе выражается настоящимъ временемъ, то ставится *indicat. imperf.*, если прошедшимъ, то ставится *indicat. aor.*“. Странное правило! Авторъ не понимаетъ, что тутъ все дѣло въ томъ, какого вида глаголъ: и въ русск. яз. „я говорилъ бы“ и „я сказалъ бы“ равно могутъ указывать и на прошедшее, и на настоящее время. § 119, 2: „Къ причастіямъ, означающимъ причину, присоединяются частицы *hate* и *hōs* для обозначенія фактической причины“. Каждый порядочный ученикъ гимназій знаетъ, что *hōs* прибавляется для выраженія причины субъективной. Наконецъ, невѣрны утвержденія автора въ § 132, пр.: „*Oude*—*oude* употребляются обыкновенно, когда отрицаются дѣльныя предложенія“ (см. любую грамматику), и въ 134: „*ma*, утвердит.: *ma tous theous*—клянусь богами“ (см. подробное разсужденіе объ этомъ у *Bachmann*: „*Conjecturarum observationumque Aristophanearum specimen*“. I, p. 63), и „*dun* (эялит.), въ заключеніяхъ: вѣдь“.

Какъ ни удивительно, но авторъ грѣшитъ не разъ даже противъ этимологій, помѣщая такія, напр., неаттическія формы: § 64 *heneken* (см. *Meisterhans*: „*Grammatik der Attischen Inschriften*“, изд. II, стр. 177), § 73 *anebīga*,—форма, которую порицаетъ Фринихъ (см. „*The new Phrynichus*“ by *Rutherford*, стр. 247), § 74 *louesthai* (*ibid.*, стр. 274), § 104 *thelōimen* и § 111 *thelein* (*ibid.* стр. 415 и *Bachmann* о. l., стр. 71), § 53 *proserchesthai* и § 97 *proserchoito* (*ibid.*, стр. 103).

Приведеннаго, думаю, довольно, чтобы судить о достоинствѣ этой книги.

Разсказы изъ исторіи и мифологій грековъ по Гомеру. Переводъ съ нѣмецкаго языка Ивана Виноградова. Спб., 1888 г. Цѣна 50 коп. Эта книжка представляетъ переводъ сочиненія Вилльмана, профессора философіи и педагогики въ Прагскомъ университетѣ: *Lesebuch aus Homer. Eine Vorschule zur griechischen Geschichte und Mythologie*. Прежде всего считаемъ нужнымъ замѣтить, что читатели этой книжки не найдутъ въ ней того, что обѣщаетъ ея заглавіе: разсказовъ изъ исторіи въ ней нѣтъ, но есть только разсказы изъ мифологій. Причина такого несоотвѣтствія заглавія съ содержаніемъ заключается, повидимому, въ томъ, что переводчикъ не обратилъ вниманія на слово *Vorschule* въ нѣмецкомъ заглавіи. Послѣ небольшого предисловія, книга содержитъ въ себѣ краткій разсказъ о троянской войнѣ и подробное повѣствованіе о странствіяхъ Одиссея, представляющее по большей части почти дословный переводъ изъ Гомера (стр. 1—83), затѣмъ описаніе страны и жизни грековъ во времена Одиссея (стр. 83—111), далѣе разсказы изъ другаго цикла сагъ (Пелопсъ, Персей, Сизифъ, Беллерофонтъ, Эакъ, Тезей, Кадмъ, Гераклъ, Атамасъ, походъ аргонавтовъ (стр. 112—132), наконецъ, родословную всѣхъ героевъ и даже ихъ хронологію; въ концѣ приложена маленькая карта миенческой Греціи. Въ предисловіи переводчикъ высказываетъ такой взглядъ на значеніе греческихъ мифовъ при воспитаніи ребенка: „Развитіе фантазіи,—говоритъ онъ,—необходимо для развитія ума. Самое естественное орудіе для развитія фантазіи представляютъ продукты той же фантазіи—мифы. Но чрезвычайно важно, чтобы мифъ имѣлъ вліяніе на душу, а для этого необходимо, чтобы фантазія имѣла эстетическое направленіе; послѣднее особенно присуще греческимъ мифамъ“.

Сообразно съ возрастомъ читателей, для которыхъ предназначается эта книга, изложена она языкомъ весьма простымъ, только мѣстами слишкомъ отрывистымъ.

Что касается самаго содержанія мнѣсь, то оно, по весьма помѣт-нымъ причинамъ, кое-гдѣ немного измѣнено, хотя и не совсѣмъ послѣдовательно. Такъ, о судѣ Париса авторъ вовсе умолчалъ (если вѣрить ему, то Парисъ, подобно современному англичанину, отправляется въ Грецію просто съ цѣлью повидать чужія страны), но самаго факта бѣгства Елены съ Парисомъ онъ скрыть не могъ, хотя выражается объ этомъ какъ-то странно: „Онъ умолялъ ее убѣжать съ нимъ въ Трою; Елена сперва отвергала его предложеніе, потомъ стала колебаться и, наконецъ, *почмы* согласилась. Взявъ съ собою часть сокровищъ Менелая, они воспѣшили въ гавань и отправились“ (стр. 2).

Вотъ еще странная ошибка: при описаніи климата Греціи и ея вѣтровъ, авторъ говоритъ: „Еврѣ или Сирокко (*южный*) приносить жары изъ степей и пустынь *Азіи*“ (стр. 91): Азія лежитъ въ востоку отъ Греціи.

Но, говоря вообще, книжка составлена весьма недурно и можетъ служить интереснымъ чтеніемъ для любознательныхъ дѣтей.

СПРАВОЧНЫЯ КНИГИ.

„Ежегодникъ для учителей“. М. В. Овчинникова.

Ежегодникъ для учителей начальныхъ училищъ, церковно-приходскихъ школъ и вообще для лицъ, интересующихся вопросами народнаго образованія. Годъ первый. Составилъ инспекторъ народныхъ училищъ Нижегородской губерніи М. В. Овчинниковъ. Издавъ Д. И. Тихомировъ. М., 1889 г. Болѣе половины этой книги, 72 страницы, заняты святыми, законоположеніями по народному образованію, циркулярами и указами. Остальную часть составляетъ отдѣлъ неофициальный, занимающій всего 42 страницы крупнаго шрифта. Такія изданія очень легко затѣивать: стоить переписать законодательныя распоряженія, да изложить вкратцѣ, своими словами нѣкоторыя сочиненія и статейки. Въ результатъ и получается жиденькія компилятивныя работы, вродѣ предложенной г. Овчинниковымъ. Въ самомъ дѣлѣ, что поучительнаго можетъ дать голый послужной списокъ Н. И. Пирогова, занимающій шесть страницъ крупнаго печата? Не странно ли на біографію и характеристичную дѣятельности такого замѣчательнаго и образцоваго педагога, какъ К. Д. Ушинскій, удѣлить всего 8 страницъ, изъ которыхъ не болѣе двухъ составляютъ педагогическую часть? Единственная содержательная статейка, хотя тоже скато излагающая предметъ, это—заметка Э. И. Егорова: *Памяти Евтушевскаго*. Изъ нея, все-таки, можно составить себѣ представленіе о значеніи того новаго, что внесъ Евтушевскій въ методику ариметики, тогда какъ изъ поминуванныхъ выше сухихъ реляцій не выжмешь ничего, что могло бы отчетливо удержаться въ памяти. Кромѣ того, въ сборникѣ помѣщены два крошечныхъ некролога, изъ которыхъ одинъ прямо-таки, безъ стѣсненія, перепечатанъ изъ *Новаго Времени*, — именно, некрологъ Стоюнина. Неужели редакция *Сборника* такъ бѣдна и матеріаломъ, и собственными свѣдѣніями, что даже некролога Стоюнина не могла составить самостоятельно? Далѣе слѣдуетъ жиденькая статейка, вѣрнѣе—конспектъ, подъ заглавіемъ: *Изъ школьной жизни*, и, наконецъ, жалкая компиляція въ отдѣлѣ *Разныхъ свѣдѣній*.

Въ результатъ знакомства съ этою книгой ясно обнаруживается неумѣлость редакция справиться съ своею серьезною задачей составить

интересный для сельскаго учителя матеріалъ, который былъ бы ему полезенъ въ его дѣятельности. Книга, къ тому же, и не дешева для сельскаго учителя (75 коп.).

ПЕРІОДИЧЕСКІЯ ИЗДАНІЯ.

„Вѣстникъ Европы“, апрѣль.—„Сѣверный Вѣстникъ“, мартъ—апрѣль.—„Кіевская Старина“, сентябрь 1888 г.—мартъ 1889 г.—„Экономическій Журналъ“, январь—мартъ.

Вѣстникъ Европы, апрѣль. Приступая на этотъ разъ къ своимъ обязанностямъ, обозрѣватель литературныхъ явленій не можетъ удержаться отъ тяжелаго, горькаго воспоминанія огромной утраты, понесенной недавно русскою литературой и всѣми, кто горячо преданъ интересамъ художественнаго слова и нашей общественной мысли. Объ этой уtratѣ особенно напоминаетъ лежащая передъ нами книжка *Вѣстника Европы*,—журнала, со страницъ котораго еще такъ недавно раздавался сильный, правдивый голосъ Щедрина, откуда вѣяло обаяніемъ замѣчательнаго таланта, и казалось, будто послѣдній съ каждымъ новымъ его проявленіемъ все болѣе крѣпнеть, все ярче цвѣтеть. Мы, читатели, понесли невознаградимую потерю, потому что талантъ этотъ незамѣнимъ въ своемъ родѣ и въ своей силѣ, и неизвѣстно, дождется ли скоро подобнаго наша родная рѣчь.

Но не одинъ большой и оригинальный талантъ умеръ съ Щедриннымъ. Съ нимъ умерло для насъ еще многое другое, что не всегда встрѣчается въ исторіи литературы и весьма рѣдко—въ нашей жизни вообще. Самое то обстоятельство, что не далѣе какъ полтора мѣсяца назадъ, читая *Пошехонскую старину*, мы восхищались множествомъ разнообразныхъ типовъ, поражались глубокимъ идейнымъ смысломъ его послѣдняго произведенія,—это обстоятельство еще разъ показываетъ, что въ покойномъ писателѣ мы имѣли примѣръ необычайной силы духа и стойкости мировоззрѣнія. До послѣдней минуты жизни проявлялъ Щедринъ этотъ мужественный духъ, эту неустанную работу мысли, вопреки всѣмъ гнетущимъ впечатлѣніямъ дѣйствительности, вопреки физическимъ недугамъ, отравившимъ послѣдніе годы его жизни. Они его сломали, но не согнули. Сила этого духа сказывалась и въ томъ, что все туманное, какъ и все мелочное или личное, было ему всегда чуждо. Въ его яркомъ, мѣтломъ словъ чувствовалось всегда присутствіе жизненной, свѣтлой и прогрессивной мысли; въ его журнальной дѣятельности отражалось стремленіе служить только интересамъ русскои литературы, которые онъ ставилъ выше всего, которыми никогда не поступался. Наша идейная литература потеряла въ немъ своего нравственнаго вождя, честное вліяніе котораго ощущалось и глубоко цѣнилось читателями.

Свои широкіе обобщающіе взгляды, свою живую страстную душу вкладывалъ покойный писатель въ свои произведенія, въ любимое дѣло буквально до самаго конца дней своихъ, и смерть застала его въ самомъ началѣ новой работы: *Забытыя слова*... Къ великому несчастью, мы лишились ея навѣки. Но это, должно быть, были тѣ дѣйствительно многими нынѣ забытыя слова, что раздалось впервые на зарѣ нашего умственнаго и нравственнаго обновленія, изъ котораго выросъ могучій бессмертный талантъ убѣжденнаго писателя. Отъ этихъ „словъ“ билось его юношеское сердце; смыслъ ихъ во всей чистотѣ пронесъ онъ черезъ свою слишкомъ сорокалѣтнюю дѣятельность; они же вдохновляли его и въ послѣднія минуты жизни. То были слова и рѣчи самого не-

забвеннаго писателя: они неизмѣнно призывали къ добру, правдѣ и свѣту, они неустанно будили въ читателѣ „благородныя чувства“, требовали неподкупной, честной и безбоязненной критики русской дѣйствительности, ибо только одна такая критика можетъ расчислить прямой и торный путь къ счастію родины. Таковъ былъ смыслъ литературной дѣятельности Щедрина, направленный, главнымъ образомъ, на разоблаченіе и на борьбу съ отрицательными сторонами нашей жизни во имя высшихъ идеаловъ.

Талантъ и духовная мощь художника-мыслителя еще многое обѣщали для насъ въ будущемъ, и если можно судить по нѣкоторымъ намекамъ въ послѣднихъ произведеніяхъ, то все возроставшая съ годами любовь къ родинѣ и грусть о ней склоняли бы его воплощать въ образахъ положительныя и прекрасныя черты лучшихъ сыновъ ея... Но; какъ бы тамъ ни было, все, что ни сказалъ бы писатель, читатель былъ всегда твердо убѣжденъ, что то—правда, что рѣзкое слово его согласно съ чистѣйшими побужденіями сердца, что творенія его — продуктъ широкаго просвѣщеннаго взгляда, глубоко проникавшаго въ самую суть и сокровенныя изгибы общественныхъ явленій нашей жизни.

Вотъ какіе завѣты оставилъ Щедринъ русской литературѣ, вотъ какіе примѣры подавалъ онъ своею личностью живущимъ и будущимъ дѣятелямъ слова. Читатель можетъ только горячо желать, чтобы наслѣдіе, оставленное Салтыковымъ, крѣпло и развивалось въ русской литературѣ, чтобы не заглохла ея богатая нива...

Въ художественномъ отдѣлѣ апрѣльской книжкѣ *Вѣстника Европы* напечатаны нѣсколько стихотвореній и третья книга романа г-жи Шапиръ *Миражи*.

Обыкновенно, появляясь во множествѣ весной, невѣдомо откуда и почему, лирическія стихотворенія, помѣщаемыя въ нашихъ журналахъ, имѣютъ печальную судьбу. Правду сказать, рѣдко кто ихъ читаетъ, никто не помянетъ ихъ добромъ или худомъ, и невѣдомо кому они нужны. Подобная участь постигаетъ даже талантливыя вещицы, въ которыхъ таится лучъ истинной поэзіи или сверкнетъ блескъ изыщной формы. И въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Попробуйте взять даже *Книгу пѣсенъ* Гейне и разсыпать ее по вѣлкамъ въ разныхъ книгахъ разныхъ журналовъ. Затерянные въ массѣ чуждыхъ имъ прозаическихъ листовъ, эти оторванные нѣжныя лепестки одного пышнаго цвѣтка сейчасъ же потеряютъ свое благоуханіе и быстро увянутъ ниѣмъ незамѣченныя. Много-много, если самые выдающіеся изъ нихъ заронятъ въ читателя искру лирическаго настроенія; между тѣмъ какъ собранныя вмѣстѣ и, ложась одно за другимъ на его душу, красивыя пѣсни мало-по-малу мощно овладѣваютъ чувствомъ и оставляютъ цѣльное, гармоничное, неизгладимое впечатлѣніе. Что же говорить о большинствѣ мелкихъ продуктовъ той лирики, которая не говоритъ ни образами, ни звуками, но, по стародавнему обычаю, все же появляется на свѣтъ въ весенніе и лѣтніе дни? Схвативъ подъ обаяніемъ разцвѣтающей природы какое-либо мимолетное ощущеніе, она слѣпшитъ передать его въ нѣсколькихъ строфахъ, но весьма часто языкомъ, лишеннымъ блеска фантазіи, силы выраженія и оригинальныхъ поэтическихъ оборотовъ. Поэтому, всѣ эти отрывки и строфы „съ итальянскаго“, „изъ Гейне“ и т. п. безслѣдно гибнутъ, едва народившись. Какъ отдѣльныя, рѣдкія капли, выведенныя скупой тучей, быстро уносащеюся въ пространство, беззвучно падаютъ они на пыльную землю и мгновенно испаря-

ются, не освѣживъ знойнаго дня. Самое лучшее для этихъ рюемованныхъ строчекъ то, что онѣ такъ же коротки, какъ недолга ихъ жизнь. Но даже и этого нельзя сказать, наприм., про одно изъ стихотвореній г. Апухтина, растянувшееся на нѣсколько страницъ послѣдней книги *Вѣстника Европы*. Оно почему-то названо *Изъ бумагъ прокурора*, хотя могло бы принадлежать къ собранію бумагъ всякаго иного лица, въ особенности же оригинала — любителя собирать никому ненужныя вещи. Заѣзженный сюжетъ—исповѣдь самоубійцы передъ смертью—не носитъ здѣсь ни оригинальнаго колорита, ни слѣдовъ искренняго чувства, и, къ тому же, переданъ простою рубленою прозой. Вся оригинальность и новшество этой quasi - поэтической исповѣди заключается развѣ только въ посвященіи прокурору, да въ заключительныхъ строкахъ, гдѣ, готовый покончить съ собою, самоубійца развязно объявляетъ читателю: „всему конецъ, всему, и даже стихъ послѣдній останется безъ рюемн...“ Но за то безъ помощи рюемы во всемъ остальномъ стихотвореніи, правда, нельзя было бы совсѣмъ выпустить въ свѣтъ банальный наборъ фразъ, отысканный г. Апухтинымъ въ бумагахъ прокурора.

Не мало испытываетъ терпѣніе читателя и романъ г-жи Шапиръ *Миражи*, который пишется, пишется себѣ неторопливо, съ чувствомъ, съ разстановкой, и не дописывается даже съ концомъ третьей части. Обстоятельство это не составляло бы еще большаго недостатка, если бы произведеніе г-жи Шапиръ не принадлежало къ одному изъ худшихъ родовъ литературы, —именно къ скучному. Непомѣрная растянутасть описаній сценъ, разговоровъ, ощущеній, какая-то особая тягучая манера письма въ изображеніи даже самыхъ простыхъ, обыкновенныхъ вещей дѣйствуютъ чрезвычайно утомительно, и добросовѣстному читателю нужно не мало силы воли, чтобы порою не перевертывать по нѣсколько страницъ романа заразъ. Собственно говоря, суть романа не представляетъ ничего загадочнаго, завязка его и расположеніе главныхъ дѣйствующихъ лицъ—уже довольно-таки знакомая исторія; но авторъ заставляетъ читателя добираться до этой сути мучительнымъ путемъ, вода его предварительно по лабиринту таинственныхъ намековъ, оглушая на каждомъ шагѣ градомъ многозначительныхъ сентенцій и философическихъ разсужденій и разливая вокругъ своихъ героевъ какой-то трагическій полумракъ.

Мало-по-малу, освоившись исподволь съ этими сумерками и пугающею обстановкой, читатель къ началу третьей книги романа начинаетъ, наконецъ, яснѣе различать окружающіе предметы и очертанія главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Оказывается, что герой, нѣкто Строевъ, былъ прежде какимъ-то важнымъ чиновникомъ. Суровый и гордый, онъ всю душу вложилъ въ карьеру, въ исканіе власти, и ему уже улыбалась заманчивая административная будущность. Но судьба, что съ нею весьма рѣдко случается, покарала на этотъ разъ властолюбиваго гордеца и, притомъ, весьма необыкновеннымъ путемъ. Жена Строева почему-то отравилась и почему-то онъ самъ былъ заподозрѣнъ въ ея отравленіи. Вслѣдствіе этого, съ высоты административной дѣстности и свѣтскихъ успѣховъ герой былъ низвергнутъ на скамью подсудимыхъ и судимъ, но, впрочемъ, оправданъ. Эта катастрофа окончательно ожесточила Строева, заставила презрѣть весь міръ и сдѣлала мизантропомъ. Въ романѣ г-жи Шапиръ мы застаемъ этого экс-бюрократа уже цѣлкомъ въ образѣ Манфреда, живописно драпированнаго въ непроницаемый плащъ оскорбленной гордыни, таинственно-мрачнаго и съ печатью рока на челѣ. Героиня Ми-

ражесей—Анна, дѣвушка неопредѣленныхъ стремленій, беспредметныхъ порывовъ, артистка въ душѣ, художница по времяпровожденію. Положительный идеалъ ея характеризуется авторомъ только отрицательнымъ способомъ. Анна хочетъ не жить „какъ всѣ“, не быть „какъ всѣ“. Вообще, г-жа Шапиръ прилагаетъ много усилій, чтобы представить свою героиню изъ ряда вонъ выходящею личностью по уму и утонченности чувства, поставить ее на пьедесталъ передъ окружающими ее провинческими людьми, жизнью которыхъ не можетъ удовлетвориться натура, отмѣченная особыми traits romanesques. Но изъ этихъ усилій немногое выходитъ, и до встрѣчи съ героемъ стремленіе въ необыкновенному примѣняется Анной исключительно къ вышнему, къ личной обстановкѣ. Оно проявляется, между прочимъ, въ устройствѣ ея для своего проживанія какого-то дивнаго круглаго павильона съ цвѣтными стеклами, статуями и картинами, гдѣ она можетъ предаваться соответственнымъ мечтамъ. Но встрѣча съ Манфредомъ - Строевымъ отвлекаетъ Анну отъ артистическаго эпикурейства и даетъ новую пищу ея экзальтированному воображенію. Заинтересованная личностью гордаго молчальника съ его трагическимъ прошлымъ, Анна задается цѣлью спасти Строева отъ меланхоліи, смягчить его сердце, снова возвратитъ его жизни. Ее манитъ образъ всепоглощающей самоотверженной любви вѣжной женщины къ гордому страдальцу, къ жертвѣ человѣческой несправедливости. Презрѣвъ всѣми остальнымъ своими поклонниками, простыми смертными, Анна мало-по-малу добивается любви недоступнаго доселѣ всему живому мизантропа, который, подъ ея вліяніемъ, обращается въ кающагося грѣшника, готоваго сдѣлаться даже проповѣдникомъ смиренія и самоуничиженія. Длинная исторія этого сближенія и преображенія героя доставляетъ автору благодарную канву для педантическаго анализа ощущеній и мимики дѣйствующихъ лицъ, задерживая дѣйствіе романа долгое время на одномъ мѣстѣ. И, несмотря на это обиліе самоанализа и резонерства, которымъ предаются Строевъ и Анна, образы ихъ, все-таки, остаются блѣдными и неопредѣленными. Однако, достигнувъ своей цѣли, героиня внезапно чувствуетъ страхъ передъ взятою на себя задачей; послѣдняя оказывается не болѣе какъ „миражемъ“, ибо Анна не чувствуетъ къ Строеву безавѣстной всепоглощающей страсти, какъ это ей казалось раньше. Словомъ, готовая было, наконецъ, угаснуть романтическая искра *Миражесей* снова возгорается въ концѣ третьей книги романа. Это новое неожиданное осложненіе общаетъ читателю романа г-жи Шапиръ впереди еще немножко философіи и трагическую развязку.

Но, кромѣ психологическаго развитія основной темы, г-жа Шапиръ взяла на себя еще другую трудную художественную задачу, изъ которой побѣдителями выходили лишь первоклассные таланты. Кромѣ Строева, въ Анну влюблены еще молодой художникъ Ожогинъ и не совсѣмъ молодой докторъ Заботинъ, — положеніе, напоминающее Елену въ *Наканунѣ* среди Инсарова, Шубина и Берсенева. Такимъ образомъ, въ любви къ одной дѣвушкѣ должны выказаться характеръ и типическія черты каждаго изъ ея разнообразныхъ поклонниковъ—вѣжнаго художника - идеалиста, гордаго, холоднаго властолюбца и скептина доктора; здѣсь должны рельефно обрисоваться различные мотивы и оттѣнки науки страсти вѣжной. Но это слишкомъ непосильная задача для нашего автора. Строевъ окутанъ психологическимъ туманомъ; Ожогинъ шаблоненъ и является совершенно вставнымъ лицомъ; грубый же циникъ Заботинъ, черствый разумомъ материалистъ, изображенъ роман-

тическимъ „злѣдемъ“ и, слѣдовательно, тоже въ нѣкоторомъ родѣ представляетъ собою старое клише. Для читателя, наприм., остается секретомъ, почему это страшное двуногое, не признающее никакихъ нравственныхъ законовъ и преслѣдующее только цѣли личного наслажденія и холоднаго разчета, почему циникъ Заботинъ такъ постоянно въ своей страсти къ идеальной героинѣ? Гораздо болѣе удался автору второстепенныя лица романа: добродушный хозяинъ имѣнія Мишель, его красивая, ограниченная жена, старая бабушка — наслѣдье прошлыхъ временъ чопорнаго барства. Это не оригинальные, но живые образы съ простою человѣческой рѣчью, облитые обыкновенными дневными свѣтомъ. Сцены семейной жизни этихъ людей, ихъ тревоги и радости, пошленькій романъ скучающей жены Мишеля, которая попадаетъ въ ловко разставленныя сѣти безбожнаго доктора-ловеласа, — все это описано живо, бойко, не безъ таланта. Только на этихъ безпритязательныхъ образахъ и сценахъ *Миражей* читателю дается временная передышка; только здѣсь онъ снова набирается мужества, чтобы послушно слѣдовать опять за основною темой романа, за главными дѣйствующими лицами съ ихъ ходульными чувствами и безконечными разсужденіями о томъ, что „веревка есть веревка простое...“

Капитальной статьёй экономического характера является въ данной книгѣ *Вѣстника Европы* изслѣдованіе г. Исаева *Россия и Америка на хлопковомъ рынкѣ*. Въ ней авторъ возвращается къ старому вопросу, почему Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты оказываются такимъ опаснымъ для насъ конкурентомъ въ дѣлѣ снабженія Европы хлопкомъ.

Сѣверный Вѣстникъ, мартъ—апрѣль. „Наконецъ-то!... Наконецъ-то наша литература смѣло и искренно принимается за современную жизнь; наконецъ - то она обмолвилась серьезнымъ и оригинальнымъ словомъ!“ Такою многозначительною фразой начинается одинъ изъ критическихъ отчетовъ *) о драмѣ г. Чехова *Ивановъ*, напечатанной въ мартовской книжкѣ *Сѣвернаго Вѣстника*. По поводу же чего попрекаетъ нѣкоторая часть критики всю нашу литературу? О чемъ теперь ликуетъ она?... Въ какомъ именно смыслѣ „оригинально и серьезно“ слово, вымолвленное г. Чеховымъ—это мы увидимъ дальше, но несомнѣнно, что драма обращаетъ на себя вниманіе, вызываетъ на нѣкоторыя воспоминанія и сравненія.

Собственно говоря, не въ драмѣ тутъ дѣло и послѣдняя ни въ комъ случаѣ не можетъ служить выдающимся образцомъ драматической литературы, даже при современномъ упадкѣ послѣдней. Здѣсь нѣтъ ни яркой драматической коллизіи, ни вынужденнаго дѣйствія, ни широкой картины современнаго провинціальнаго общества, на фонѣ котораго она разыгрывается, — словомъ, ничего такого, что составляетъ принадлежность всякаго крупнаго драматическаго произведенія. Да и сами панегиристы драмы *Ивановъ*, принадлежащія, главнымъ образомъ, къ той критикѣ, которая неуоснительно стоитъ на стражѣ эстетическихъ теорій и техническихъ тонкостей, — и они признаютъ, что драма недраматична, малосценична, что приемы ея „примитивны“, а многіе персонажи тусклы, недоделаны и даже „грубоваты“. Такимъ образомъ, сама эстетическая критика, не склонная въ другихъ случаяхъ признавать тенденцію въ литературѣ, почему-то на этотъ разъ отступаетъ отъ своей теоріи: она увлекается не красотами и формой, а именно

*) *Изданіе*, № 11.

тенденціей драмы г. Чехова; она указываетъ, что главное и самое замѣчательное въ пьесѣ—это ея мораль, ея общественный смыслъ для нашей современности, раскрывающійся въ изображеніи героя драмы, помѣщика Иванова. Дѣйствительно, весь интересъ драмы сосредоточивается на этой центральной фигурѣ, на характерѣ Иванова, въ которомъ авторъ хотѣлъ изобразить типъ разочарованнаго, ноющаго интеллигента нашихъ дней. Всѣ остальные лица только болѣе или менѣе отбѣняютъ его, и весь драматизмъ сосредоточивается исключительно въ настроеніи героя, ни на шагъ не выходя за предѣлы его личныхъ ощущеній.

Посмотримъ же ближе, что это за образъ и что хотѣлъ сказать имъ авторъ. Ивановъ рисуется земскимъ дѣятелемъ, человѣкомъ общественныхъ интересовъ. Въ прошломъ онъ много поработалъ на земской нивѣ, былъ энтузіастомъ, близко принимавшимъ къ сердцу горе и радость ближнихъ, говорилъ „горячія рѣчи“, увлекался самъ и умѣлъ увлекать другихъ. За нимъ пошла хорошая, честная женщина, жена его, еврейка Сарра, которая изъ любви къ нему бросила родную семью, состояніе, перемѣнила вѣру. Героиня съ дѣтства увлекалась другая хорошая, самоотверженная дѣвушка, Саша Лебедева, въ душу которой Ивановъ влилъ неопредѣленные, но все же болѣе широкія и чистыя стремленія, нежели въ какихъ живеть окружающая ее пошлая провинціальная среда. Однако, въ какой-нибудь годъ-два съ Ивановымъ произошла разительная перемѣна. Мы застаемъ его въ драмѣ уже совершенно другимъ человѣкомъ. Несмотря на то, что герой находится въ полномъ разцвѣтѣ силъ и что вокругъ него все осталось попрежнему, — отъ прошлой дѣятельности увлекавшагося интеллигента не осталось и слѣда. Передъ нами развинченный, нравственно одрачлѣвшій человѣкъ, съ разбитымъ сердцемъ, съ ослабѣвшею волей, озлобленный на себя и на все окружающее. „Нехорошій, жалкій и ничтожный я человѣкъ! — говоритъ про себя Ивановъ. — Еще года нѣтъ, какъ былъ здоровъ и силенъ, былъ бодръ, неутомимъ, горячъ, работалъ этими самыми руками, говорилъ такъ, что трогалъ до слезъ даже невѣжды, умѣлъ плакать, когда видѣлъ горе, возмущался, когда встрѣчалъ зло. Я зналъ, что такое вдохновеніе... Я вѣровалъ, въ будущее глядѣлъ какъ въ глаза родной матери... А теперь, о, Боже мой! Утомился, не вѣрю, въ бездѣльи провожу дни и ночи. Не слушаются ни мозгъ, ни руки, ни ноги. Ничего я не жду, ничего не жаль, душа дрожить отъ страха передъ завтрашнимъ днемъ“. У читателя сейчасъ же возникаетъ вопросъ: въ чемъ заключается причина этой внезапной перемѣны? Именно *мотивы* такой нравственной метаморфозы и должны освѣтить драматическимъ свѣтомъ личность Иванова и всѣхъ ему подобныхъ извѣрившихся и несчастныхъ людей.

Личная страсть и семейныя коллизіи не играютъ здѣсь никакой роли. Горячо любимая нѣкогда жена не мѣшаетъ Иванову ни въ чемъ; она продолжаетъ молиться на него и теперь, когда, вслѣдствіе той же непонятной нравственной болѣзни, онъ охладѣлъ къ ней совершенно, разлюбилъ до жестокости. Въ сердцѣ его нѣтъ и иной страсти, борьба съ которой надломилъ бы его силы. Саша Лебедева, сама объясняющаяся ему въ любви, только на минуту вызываетъ въ немъ страсть. Вслѣдствіи, послѣ смерти жены, когда Ивановъ становится женихомъ Саши, онъ самъ сознаетъ, что въ немъ не существуетъ любви къ ней. Чувствуя, что онъ, извѣрившійся и измученный человѣкъ, не можетъ дать счастья молодой дѣвушкѣ, Ивановъ въ день свадьбы застрѣливается на ея

глазахъ, чтобы освободить ее отъ жертвы собой, а себя освободить отъ бремени собственнаго безсилія и тоски.

Въ драмѣ не видно и столкновеній: Ивановъ, какъ сильной и выдающейся личности, съ окружающими его недалекими и мелкими людьми. Здѣсь этотъ заскорузлый провинціальный людъ стоитъ какъ-то самъ по себѣ, безъ всякаго отношенія къ главному дѣйствующему лицу, какъ и его къ нимъ. Конечно, они не понимаютъ Иванова, объясняютъ всѣ его поступки извѣнными житейскими побужденіями, распускаютъ о немъ дикія слухи. Но слухачество это самаго зауряднаго провинціального характера и совершенно невинно по своимъ послѣдствіямъ. Не борьба съ людьми за дорогіе ему идеалы, не усталость изстрадавшагося человѣка, принужденнаго, наконецъ, сложить свои измученныя руки передъ торжествомъ зла и пошлости, — не это обезсидило героя драмы и безжалостно отрезвило его отъ былой вѣры въ себя и въ будущее. Правда, читателю неизвѣстно, какіе-такіе подвиги совершалъ Ивановъ раньше, ибо авторъ высказывается объ этомъ въ самыхъ неопредѣленныхъ выраженіяхъ. Намъ извѣстно только, что онъ заводилъ школы, сочинялъ проекты, убѣждалъ своими рѣчами невѣждъ. Однако, въ раздирательныхъ жалобахъ Иванова нѣтъ ни одного намека на то, чтобы онъ терпѣлъ постоянныя неудачи: чтобы проекты его не переходили въ дѣло, школы погибали, а „горячія рѣчи“ падали только на бесплодную почву. Во всякомъ случаѣ, онъ забросилъ все это не потому, чтобы чувствовалъ себя со своими дѣлами и мечтами „лишнимъ человѣкомъ“.

Перемѣна въ чувствахъ и взглядахъ героя драмы не объясняется и психологическими мотивами: въ немъ нѣтъ и слѣда тѣхъ Неждановыхъ и тѣхъ „рыцарей на часъ“, которые до боли копаются въ собственной душѣ, которые ничему не могутъ отдаться вполне, безъ остатка, и, въ то же время, глубоко несчастны сознаніемъ своей половинчатости. Наконецъ, передъ нами и не философъ-пессимистъ съ извѣстнымъ міровоззрѣніемъ, для котораго все съверно въ съвернѣйшемъ изъ міровъ. Въ Ивановѣ нѣтъ ничего туманнаго, резонирующаго; это по прямуществу практикъ, сангвиническая дѣятельная натура, которая можетъ отдаться цѣликомъ впечатлѣніямъ минуты.

Словомъ, въ образѣ Иванова, какимъ онъ рисуется въ драмѣ г. Чехова, не чувствуется присутствія ни одного изъ тѣхъ ядовитыхъ съманъ, которыя жизнь забрасываетъ въ слабыя, раздвоенныя, а порою даже въ самыя высокія и сильныя души, отравляя ихъ существованіе, погашая энтузіазмъ. Мы нарочно перебрали черты и мотивы тоски, встрѣчающіеся въ другихъ нашихъ литературныхъ типахъ страдальцевъ, потому что нѣкоторые хотятъ видѣть въ образѣ Иванова яркаго носителя стариннаго россійскаго „недуга“, преемника Печоринныхъ, Неждановыхъ и друг. Но, вѣдь, подобный „наслѣдникъ всѣхъ своихъ родныхъ“ представилъ бы собою очень сложный типъ, между тѣмъ какъ „страдалецъ“ г. Чехова изображенъ черезъ-чуръ механически-просто и обнаженъ отъ всякихъ фаустическихъ наслѣдій своихъ предковъ. Однако, самый фактъ его разничности и безпредметнаго нытья—налицо и, пожалуй, долженъ бы поразить насъ своею загадочностью, какимъ онъ и кажется всѣмъ близкимъ къ герою лицамъ.

Но читателю не приходится долго ломать головы: Ивановъ въ нѣсколькихъ словахъ самъ даетъ ключъ къ объясненію мотивовъ перемѣны въ его нравственномъ состояніи. По этому объясненію онъ является результатомъ надорванности отъ слишкомъ интензивной умственной и общественной дѣятельности, отъ увлеченій и энтузіазма, испытанныхъ имъ въ мо-

лодости. „У меня былъ рабочій Семенъ, — объясняетъ Ивановъ. — Разъ, во время молотбы, онъ захотѣлъ похватать передъ дѣвками своею силой, взвалилъ себѣ на спину два мѣшка ржи и надорвался. Умеръ скоро. Мнѣ вѣстало, что я тоже надорвался. Гимназія, университетъ, потомъ хозяйство, школы, проекты... Вѣровалъ я не такъ, какъ всѣ, горячился, рисковалъ, деньги свои, самъ знаешь, бросалъ направо и налево, былъ счастливъ и страдалъ, какъ никто во всемъ уездѣ“... Нужно признать, что сравненіе это по меньшей мѣрѣ неудачно. Рабочій Семенъ погибъ по пустякамъ, изъ-за бахвальства, изъ-за желанія порисоваться передъ другими. Ивановъ же поднялъ на себя тяжелую ношу изъ самыхъ чистыхъ, не эгоистическихъ побужденій: онъ искренно вѣрилъ и любилъ, и въ этомъ видѣлъ смыслъ своей жизни. Столь разные, несоизмѣримые мотивы поступковъ не могутъ приводить къ одинаковой оцѣнкѣ ихъ внутренняго значенія и послѣдствій. И если въ гибели Семена можно видѣть наказаніе, то въ гибели Иванова нужно видѣть только несправедливость судьбы.

Но, можетъ быть, герой драмы и самъ не видитъ въ своемъ положеніи признаковъ казни и не раскаивается въ своей прежней дѣятельности? Онъ надорвался въ непосильномъ трудѣ, онъ усталъ и опустился, какъ единичная личность, но не утратилъ вѣры въ самое дѣло? Герой г. Чехова казнится за потерю энергіи, за свою дряблость, потому что, быть можетъ, сохранилъ убѣжденіе въ необходимости сильно и твердо стоять до конца, но какъ отработавшій инвалидъ жизни долженъ, однако, отойти назадъ и дать мѣсто новымъ бойцамъ? Нѣтъ, Ивановъ, какъ мы видѣли, *не открытъ* въ будущее, онъ разочаровался не только за себя, но и за другихъ; даже болѣе: онъ хочетъ и въ другихъ притушить огонь энтузіазма и незаурядныхъ стремленій. Онъ смотритъ на себя какъ на человѣка, дерзко преступившаго законы естества, и, указуя на свое безсиліе, какъ бы возглашаетъ: смотрите и поучайтесь, смотрите, „какъ я худъ и блѣденъ, какъ презираютъ всѣ жены!“ Вотъ что говорить Ивановъ молодому врачу Львову, который лечитъ его больную жену: „Не женитесь вы ни на еврейкахъ, ни на психопаткахъ, ни на синихъ чулкахъ, а выбирайте себѣ что-нибудь заурядное, сѣренькое, безъ яркихъ красокъ, безъ лишнихъ звуковъ. *Вообще всю жизнь стройте по шаблону.* Чѣмъ *стрѣе* и монотоннѣе фонъ, тѣмъ лучше. Не воюйте вы въ одиночку съ тысячами, не сражайтесь съ мельницами, не бейтесь лбомъ о стѣны... Да хранитъ васъ Богъ отъ всевозможныхъ рациональныхъ хозяйствъ, *необыкновенныхъ школъ* (а обыкновенныхъ?), *горячихъ речей*... Запритесь себѣ въ свою раковину и дѣлайте свое маленькое, Богомъ данное дѣло... Это теплое, честное и здоровое“... Въ другой разъ Ивановъ поучаетъ: „Если когда-нибудь въ жизни тебѣ встрѣтится молодой человѣкъ, горячій, искренній, неглупый и ты увидишь, что онъ любить, ненавидитъ и вѣритъ не такъ, какъ всѣ, работаетъ и надѣется за десятерыхъ, сражается съ мельницами, бьется лбомъ о стѣны, то скажи ему: не снѣжи расходовать свои силы на одну только молодость, побереги ихъ для своей жизни; пѣнь, возбуждайся, работай, но знай мѣру, иначе жестоко накажетъ тебя судьба! Въ 30 лѣтъ уже настанетъ похмѣлье, и *ты будешь старъ*... Ты скажи, какъ предъ тобой стоялъ тутъ человѣкъ въ 35 лѣтъ, уже изнемогшій, разочарованный, раздавленный своими ничтожными подвигами, какъ онъ сгоралъ со стыда, издѣвался надъ своею слабостью“... и т. д.

И такъ, рецептъ отъ болѣзни найдены: нужно избѣгать сильныхъ

душевныхъ движеній, нужно по-аптекаревски отпускать на каждый часъ известную дозу увлеченія и душевныхъ силъ, нужно устроить себѣ сѣренькую монотонную жизнь по молчалинскому идеалу: „день за день, нынче какъ вчера“; нужно побольше держать языкъ за зубами, а лучше всего удалаться прямо въ келью подъ елью,—уйди отъ зла и сотворишь благо. Иначе, Ивановы въ 30 лѣтъ будутъ поражены безсиліемъ и дряблостью „за борьбу съ мельницами“, т.-е. за борьбу за идеалы, точь въ точь какъ поражаются раннею старческою немощю люди, прожигающіе жизнь въ погоню за наслажденіями. Какъ будто рвущаяся впередъ мысль и всесторонняя общественная дѣятельность не творятъ жизнь, а разлагаютъ ее подобно неумѣреннымъ животнымъ страстямъ!...

Словомъ, діагнозъ поставленъ и сообразно съ нимъ придумано наибѣрнѣйшее лѣкарство. Болѣзнь нашего времени—разочарованіе и тоска—ничто иное, какъ слѣдствіе слишкомъ усиленной умственной и общественной дѣятельности русской интеллигенціи; нужно поступать какъ разъ наоборотъ—сидѣть смиренненько, жениться предусмотрительно, а не по увлеченію, на комъ попало, быть „умѣреннымъ и аккуратнымъ“, спрятать молодость въ карманъ—и будешь здоровъ. Удивительно просто все это у г. Чехова поставлено и разрѣшено! Просто, но за то дѣйствительно „оригинально“ въ нашей литературѣ: подобнаго разрѣшенія мучительнаго вопроса о „русской хандрѣ“, кажется, еще не было представлено ни однимъ изъ нашихъ писателей. И странно, какъ это мы до сихъ поръ не замѣчали, что его можно такъ легко разрѣшить ко всеобщему удовольствію? Вѣдь, на каждомъ шагу можно видѣть, что кто не „разбиваетъ лбомъ стѣны и не сражается съ тысячами“, кто не носится съ „бреднями“ и иллюзіями, не заботится о какихъ-то тамъ „необыкновенныхъ школахъ“ и проектахъ облагодѣлительствованія рода человѣческаго, кто женится по предусмотрительному расчету и говоритъ только взвѣшенные рѣчи,—тепло тому на свѣтѣ: тотъ здоровъ и покоенъ, имѣетъ крѣпкіе нервы, спитъ блаженнымъ чичиковскимъ сномъ и доживаетъ до маусайлова вѣка, представляя собою полную антитезу съ исковерканнымъ и наказаннымъ самоубійцей—Ивановымъ.

Не менѣе оригинально, чѣмъ разрѣшеніе, и самое открытіе причинъ нынѣ современнаго человѣка и распространенія въ нашъ вѣкъ искренно и глубоко тоскующихъ людей (Ивановъ, при всей неблагоклонности къ нему автора, рисуется все же искреннимъ человѣкомъ, которому нельзя отказать ни въ умѣ, ни въ нѣкоторомъ величіи души, чуждой мелкихъ побужденій и рисовки). Причина эта, какъ мы видѣли, неразсчитливое увлеченіе благородными порывами и слишкомъ напряженная общественная дѣятельность. И герой г. Чехова до того упорствуетъ въ своемъ открытіи, что съ негодованіемъ отвергаетъ всякое иное объясненіе, почерпаемое изъ самой жизни. Когда друзья его, недоумѣвая, отчего приключился съ нимъ столь рѣзкій переломъ, робко пытаются объяснить его тѣмъ, что Иванова „среда заѣла“,—тотъ рѣзко и рѣшительно отвергаетъ подобное объясненіе: „глупо и старо!“—отрѣзываетъ онъ. Ну, конечно: утомленіе борьбой за убѣжденія, страданія человѣка, заѣденнаго пошлою средой,—все это старо и глупо, какъ стара и подчасъ не умна сама жизнь. Нужно во что бы то ни стало сказать *свое*, „оригинальное“ слово!

Но не все то правдиво, что „оригинально“. Насколько же правды заключается въ томъ діагнозѣ болѣзни вѣка, какой предлагаетъ Чеховскій Ивановъ? Уже одно знаніе условій нашей общественной жиз-

ни, размѣровъ и способовъ дѣятельности, которые предоставляет дѣйствительность отдѣльной личности, вызываетъ недоувѣріе къ утвержденію, будто причина недуга кроется въ слишкомъ кипучей, многосторонней дѣятельности интеллигентнаго человѣка. Скорѣе не въ умственномъ ли голодѣ и не въ жаждѣ ли болѣе широкой дѣятельности, неудовлетворяемыхъ жизнью, кроется одна изъ главныхъ причинъ унынія и разочарованія нашихъ дней? Къ нимъ несомнѣнно можетъ привести несообразность стремленій въ „дѣлу“, естественно рождающихся въ молодой, пылкой душѣ, съ наличностью узкаго поля дѣйствія, усѣяннаго часто камнями, заставленнаго барьерами. Впрочемъ, причинъ недовольства жизнью и собою очень много, и подробное разсмотрѣніе ихъ завело бы слишкомъ далеко. Однѣ изъ нихъ соціальнаго происхожденія, какъ слишкомъ большая разница между мнѣніями и взглядами большинства и меньшинства, выдающихся людей и толпы; неудовлетвореніе запросовъ личности; противодѣйствіе окружающей среды и утомительная борьба съ нею; и многое другое; другія причины—психологическія, и обусловливаются извѣстнымъ темпераментомъ и душевнымъ складомъ личности: раздвоенностью, чувствительностью къ страданіямъ и боязньъ неприяностей, съ простекающими отсюда неустойчивостью убѣжденій, неувѣренностью въ своихъ силахъ, отсутствіемъ гражданскаго и моральнаго мужества... Такихъ личностей—ни павъ, ни воровъ—особенно много является въ переходныя эпохи, въ моменты броженія и разединенности, потому что онѣ могутъ жить только въ строю, опираясь другъ на друга. Сложныя комбинаціи такихъ причинъ, сложныя вліянія той или иной общественной эпохи порождали тотъ или иной типъ тоскующаго и разочарованнаго человѣка, и всѣмъ извѣстны высокіе образцы ихъ въ разное время давала наша литература. Ничего этого, какъ мы говорили раньше, нѣтъ въ образѣ Иванова. Несложность этого образа, оголенность его отъ всякихъ психическихъ, историческихъ и общественныхъ вліаній невозможны въ нашей дѣйствительности, тѣмъ болѣе для литературнаго типа, и въ этомъ смыслѣ въ *Ивановѣ* нѣтъ жизненнаго значенія, нѣтъ правды ея. Въ послѣднія дѣсятилѣтія, когда развитіе жизни взвалило на плечи *отдѣльной* личности еще болѣе трудныя задачи, нежели прежде, когда оно болѣе, нежели когда-либо, потребовало отъ нея геройства, самоотверженія и любви, не выровнявъ передъ нею тернистой дороги, знакомый типъ „страдальца“ долженъ былъ, конечно, приобрести еще другія и сравнительно съ прежнимъ дѣйствительно „оригинальныя“ черты. Но не всѣ „оригинальныя и серьезныя слова“ имѣютъ право на воплощеніе въ образахъ, и объ этомъ слѣдовало бы помнить тѣмъ панегиристамъ *Иванова*, которые съ легкимъ сердцемъ бросають часто упрекъ нашей литературѣ въ однообразіи и отсталости отъ жизни. „Словамъ“ *Иванова*, конечно, всегда есть мѣсто, но они столько же освѣщаютъ типъ современнаго усталого и скорбящаго интеллигента, сколько огарокъ можетъ освѣтить темную пропасть.

Насколько также правды въ проповѣди Ивановыхъ? Согласно ли съ дѣйствительностью то обстоятельство, что эти предполагаемые потомки Чацкихъ, Рудинныхъ, Неждановыхъ взываютъ нынѣ къ усмиренію молодыхъ благородныхъ порывовъ, къ идеалу „жизни по шаблону?“

Горе отъ ученья, отъ кипучей дѣятельности, отъ горячихъ рѣчей! Пятьдесятъ лѣтъ назадъ у насъ было „горе отъ ума“, что одно и то же. Тогда также говорили: „и впрямь съ ума сойдешь отъ этихъ, отъ однихъ, отъ пансіоновъ, школъ, лицеевъ... какъ бишь ихъ?...

да... отъ ландварточныхъ взаимныхъ обученій“, подразумѣвая подъ послѣдними тоже, вѣроятно, какія-нибудь „необыкновенныя“ школы. Но если это было „сѣренькое“ царство Фамусовыхъ и скромныхъ, уравновѣшенныхъ Молчалиныхъ, то и тогда уже существовали кипучіе, энергичные Чацкіе, страстными рѣчами клеймявшіе шаблонную пошлость и общественный застои и пригвождавшіе къ позорному столбу молчалинскіе идеалы „умѣренности и аккуратности“. Для Чацкихъ не было реального дѣла; ихъ дѣломъ было одно горячее убѣжденное слово, ихъ назначеніемъ—критика фамусовщины и молчалинства, отрицаніе послѣднихъ. Когда и слово было у нихъ отнято, они ушли въ науку, въ философію, въ теоретическіе поиски за истиной; иные стали изучать жизнь и выворачивать наружу таившуюся въ ней грязь и пошлость. Общественной дѣятельности ради общаго блага не могло быть и рѣчи. Но когда заповѣдная дверь нѣсколько пріотворилась, Чацкіе хлынули въ нее толпой и отъ слова перешли къ дѣлу. Это они творили новую жизнь, это они боролись съ старымъ наслѣдіемъ крѣпостничества и рутини, это они выдвинули интересы „меньшаго брата“, хлопотали о школахъ, о больницахъ, объ удовлетвореніи матеріальныхъ и духовныхъ нуждъ массы, призывая свѣтъ и тепло для всѣхъ безъ различія. И они двинули жизнь вперед... Чацкіе высоко заносились въ мечтахъ, и за это глубоко страдали. Они бурлили, отчаявались, судьба дѣлала ихъ пессимистами. Изъ рядовъ ихъ вышло не мало „самоѣдовъ“, не мало раненыхъ и скорбящихъ, но никогда они не раскаявались въ своемъ прежнемъ словѣ и дѣлѣ какъ въ смертномъ грѣхѣ, никогда не опускались до признанія спасительности и нравственной обязательности молчалинскихъ принциповъ „умѣренности и аккуратности“ и идеала кельи подъ елью. А тѣ, кто пришелъ къ этому идеалу и воспринялъ его, тѣ, вѣдь, уже не „страдальцы“: они со всѣмъ примирились и убивать имъ себя, какъ Иванову, незачѣмъ. И вотъ насъ хотятъ убѣдить, будто именно тѣ, что творили нѣкогда жизнь,—бывшіе искренніе энтузіасты и люди дѣятельнаго сердца, обратились теперь къ старому, пятьдесятъ лѣтъ назадъ заклеяенному идеалу,—словомъ, будто изстрадавшіеся и раскаявшіеся Чацкіе падаютъ ницъ передъ житейскою мудростью Молчалиныхъ и ставятъ ихъ въ образецъ себѣ и другимъ.

Но, вѣдь, это же нелѣпость! Это не та правда, которую мы вправѣ требовать отъ художника. Мы не можемъ упрекать его за тотъ или иной образъ, навязывать ему собственные взгляды и вкусы, но вправѣ ожидать отъ него вѣрности исторической перспективы, согласія его „словъ“ съ здравымъ смысломъ и дѣйствительностью. Весьма можетъ быть, такихъ мелкихъ, незамысловатыхъ личностей, какъ созданіе г. Чехова, не мало въ нашей жизни, и не то, что „школы“, а одна женитба на еврейкѣ способна выбить ихъ изъ колеи и заставить проповѣдывать „жизнь по шаблону“. Тогда совсѣмъ другой разговоръ. Но г. Чеховъ рисуетъ не характеръ, не лицо, а литературный типъ,—онъ говоритъ, что такихъ много, что это „Ивановы“, которые въ прошломъ играли роль Чацкихъ,—искреннихъ энтузіастовъ, сильно вѣрившихъ и страстно любившихъ.

Не нами измыслена мораль драмы и ретроградный смыслъ проповѣди *Иванова*: они бьютъ въ глаза во всей пьесѣ. Это доказывается и взглядами на значеніе послѣдняго произведенія г. Чехова той критикой, которая, какъ мы приводили вначалѣ, провозглашаетъ драму ея „искреннимъ и смѣлымъ изображеніемъ жизни“. Обстоятельство это отчасти и побуждаетъ насъ ос-

танавливаться на *Ивановъ* такъ долго. „Донъ-кихотство, — говорить тотъ же критикъ о прошлой, общественной дѣятельности *Иванова*, — безнаказанно не проходить. Рано или поздно глаза рыцарей какой угодно блестящей химеры открываются и они *со стыдомъ* и грустью оглядываются на пройденный ими путь, на совершенные ими поступки... *Ивановъ*, — это жертва, которую *распачивается* поколѣние за ошибки своей молодости: вотъ мораль драмы“. Словомъ, здѣсь за *Ивановымъ* г. *Чехова* не только признается значеніе жизненнаго литературнаго типа, но типъ этотъ уже отождествляется съ цѣлымъ извѣстнымъ поколѣніемъ; а такъ какъ *Иванову* 35 лѣтъ, то не трудно догадаться, о какихъ людяхъ идетъ рѣчь. Но въ чемъ же стыдъ? за что расплата? Стыдятся въ томъ, что эти люди были смолоду молоды, а не старчески-разсудительны и эпикурейски-равнодушны? что сердца ихъ горѣли огнемъ вѣры, безкорыстнаго воодушевленія и жаждой дѣятельности на благо другихъ? что, окрыленные „блестательными химерами“, они двигали мысль впередъ? Вѣдь, не Молчалины же занимались этимъ. Расплата за то, что они жили общественными интересами, хлопотали о просвѣщеніи массы, защищали самые жизненные ея интересы, — расплата, наконецъ, за то что они такъ много страдали? Нѣтъ, какъ ни великъ умственный отливъ нашихъ дней, но до сихъ поръ еще источникъ стыда и законность расплаты приурочиваются къ совершенно инымъ побужденіямъ и поступкамъ, и какъ разъ къ противоположнымъ тѣмъ, носителями которыхъ были *Ивановы* въ пору своей молодости и энергіи. И будто такъ-таки отъ „донъ-кихотовъ“ и ихъ „блестательныхъ химеръ“ ничего, кромѣ стыда и ошибокъ, не осталось? Извѣстно, что *Донъ - Кихота* передъ смертью топтали даже свиньи. Но это, — какъ говорить *Тургеневъ*, — неизбѣжная „последняя дань, которую *Донъ - Кихоты* должны заплатить грубой случайности, равнодушному и дерзкому непониманію... Это пощечина фарисея“...

Очевидно, что подобныя выше приведеннымъ фальшивыя заключенія о стыдѣ и расплатѣ вызываются фальшивымъ освѣщеніемъ героя драмы г. *Чехова* и дѣяльностью всей пьесы. Типъ скорбящаго и раздражительнаго человѣка нашихъ дней представляеть громадный интересъ, но молодой писатель еще не доросъ до изображенія его: отъ сложной хитрой машины въ рукахъ его очутился одинъ винтикъ; вмѣсто художественнаго синтеза типическихъ чертъ извѣстнаго поколѣнія, вышло дѣтское замахиванье на одно изъ мощныхъ и яркихъ теченій нашего недавняго прошлаго.

Нечего и говорить о неправдоподобіи страшной жестокости *Иванова*, какую онъ проявляетъ по отношенію къ своей умирающей женѣ, смерть которой усоряетъ бесмысленными, грубыми оскорбленіями. Это, очевидно, уже слышномъ сильное подчеркиванье разрушенія воли въ людяхъ, сердце которыхъ было прежде такъ полно человѣчности и любви.

Такія же несообразности встрѣчаются и въ изображеніи другаго лица, молодаго доктора *Львова*. Въ противоположность *Иванову*, это натура цѣльная, прямолинейная, не знающая сомнѣній и душевныхъ мукъ. Онъ изображенъ г. *Чеховымъ* черствымъ, узкимъ и даже просто глупымъ человѣкомъ, потому что на каждомъ шагу, встати и не встати, кричитъ: „я честный человѣкъ“. *Львовъ* до такой степени близорукъ, что видитъ въ *Ивановѣ* только шарлатана и подлека, ломающаго комедію. Бываютъ *Львовы*, бываютъ честные, прямодушные, но чрезвычайно односторонніе люди. Они многого не понимаютъ, никогда не прощаютъ и давятъ окружающихъ своею нетерпимостью, подозрѣніями

и безошаднымъ резонерствомъ. Но, вѣдь, это дѣло ума, недостатка развитія и чуткости, а не сердца. Между тѣмъ, и прекрасныя побужденія Львова, который не можетъ выносить, чтобы люди своими дурными поступками „оскорбляли въ немъ его правду“, облечены въ форму какого-то маньячества, глупой бравады и бессознательной низости. Онъ вызываетъ противъ себя негодованіе всѣхъ хорошихъ людей въ драмѣ именно тѣмъ, что называетъ вещи ихъ настоящими именами и всѣмъ безъ различія рѣжетъ правду въ глаза. Такъ, нѣкій графъ Шабельскій говоритъ: „Да, я былъ молодъ и глупъ, въ свое время разыгрывалъ Чацкаго, обличалъ мерзавцевъ и мошенниковъ, но никогда въ жизни воровъ не называлъ въ лицо ворами и въ домѣ повѣщеннаго не говорилъ о веревкѣ. Я былъ воспитанъ. А вашъ этотъ тупой лекарь почувствовалъ бы себя на высотѣ своей задачи и на седьмомъ небѣ, если бы судьба дала ему случай, во имя принципа и общечеловѣческихъ идеаловъ, хватить меня публично по рылу и подъ мишкетки“... точь въ точь негодованіе Фамусова на Чацкаго, что „чуть низко поклонись, согнись-ка кто кольцомъ, такъ назоветъ онъ подлецомъ“. Героиня же драмы, Саша Лебедева, защищая Иванова, бросаетъ въ лицо Львову такія обвиненія: „Вы вмѣшивались въ его частную жизнь, злословили и судили его, забрасывали меня и всѣхъ знакомыхъ анонимными письмами и все время вы думали, что вы честный человѣкъ“... Нѣтъ, это ужъ черезъ-чуръ хотя бы для развѣнчанія добродѣтельнаго дурака. Каковъ бы онъ тамъ ни былъ по своимъ средствамъ и способностямъ, но Львовъ, вѣдь, открыто, безъ боязни, обличаетъ недостатки людей; и онъ - то прибѣгаетъ къ гнусному оружію трусовъ? Львовъ, который не задумывается назвать въ лицо подлецомъ всякаго, кто по его мнѣнію того заслуживаетъ, — пишетъ вдругъ анонимныя письма? Эта характерная подробность, совершенно неправдоподобная психологически, указываетъ опять на отсутствіе продуманности въ изображеніи типовъ, или на предвзятое отношеніе автора къ людямъ твердыхъ, прямолинейныхъ убѣждений, которые представляютъ ему не болѣе, какъ какими-то психопатами прописной морали, допускающими для своей пѣли всякую низость.

Какъ ни слабо драматическое произведеніе г. Чехова по своему художественному значенію и по своей морали, оно, все-таки, заслуживаетъ вниманія: и вполне понятно, что оно заставило говорить о себѣ болѣе, нежели другія произведенія автора. Затронувъ глубоко, немѣлою рукой нѣкоторыя изъ самыхъ больныхъ струнъ душевнаго настроенія современнаго интеллигента, драма невольно вызвала читателя на размышленія, на воспоминанія о недавнемъ прошломъ, на желаніе выяснить, что оставило оно переживаемому нами моменту. И то не дурно.

Г. Чеховъ вымолвилъ „свое“ слово, это правда, но это не истинно „оригинальное“ и вовсе ужъ не новое слово. Отрицаніе „безумныхъ дѣлъ, людей и мнѣній“ и идеализація „сѣренъкихъ“ будней — вещь очень старая, гораздо старѣе, нежели „глупыя и старыя“ мнѣнія, что среда нерѣдко заѣдаетъ хорошихъ людей...

Что, какъ не зерно „блистательныхъ химеръ“ было одной изъ первоначальныхъ причинъ того, что русскій мужикъ пересталъ быть во взглядахъ культурныхъ людей пейзажомъ, или святою скотиной, или скотиной прѣсто; что онъ пересталъ быть предметомъ фарисейскаго любованія однихъ, корыстнаго презрѣнія другихъ, а сдѣлался предметомъ серьезнаго изученія и заботъ передовой части дѣятельной интеллигенціи? Сколько „Ивановыхъ“, быть можетъ, полегли костью, чтобы про-

стая истина: „земледѣльцу нужна земля“ стала общимъ мѣстомъ въ экономической литературѣ, чтобы, наконецъ, общее мѣсто это нашло выраженіе въ устройствѣ хотя бы крестьянскаго банка. И мужикъ „схватился зубами“ за землю, не только вслѣдствіе простой, очевидной причины, что трудящемуся нуженъ хлѣбъ насущный, а и ради другаго, тоже простаго, психическаго мотива, о которомъ у насъ даже мало думаютъ въ данномъ случаѣ,—ради возможности быть болѣе свободнымъ человѣкомъ, а не постояннымъ объектомъ прижимки. Изъ-за этого, оказывается, онъ „хватаетъ зубами“ самую тощую, бесплодную землю, платитъ за нее дорогую цѣну, затрачиваетъ на нее неимовѣрный трудъ, за который она только спустя нѣсколько лѣтъ подаритъ его скуднымъ урожаемъ хлѣба и сѣна.

Объ этихъ фактахъ повѣствуется въ небольшомъ очеркѣ г. Э. Э. У смоленскаго мужика, напечатанномъ въ апрѣльской книгѣ *Сѣвернаго Вѣстника*. Простыя, безыскусственныя замѣтки автора производятъ грустное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, свѣжее впечатлѣніе, какъ всякое непосредственное соприкосновеніе съ дѣйствительностью, съ правдою жизни тысячъ людей. Обозрѣвая нѣсколько деревень Смоленской губ., купившихъ землю съ помощью крестьянскаго банка, авторъ описываетъ способы пользованія купленною землею, а также разговоры съ мужиками, изъ которыхъ становятся ясны причины, побуждающія крестьянъ покупать землю. Смоленщина—сторона тяжелая для земледѣльца: плохая земля, ельничекъ, березничекъ, да, къ тому же, большинство купленныхъ земель не расчищено подъ пашню, покрыто мелкимъ лѣсомъ и кустами. Чтобы сдѣлать эту землю сколько-нибудь годной для посѣва и покоса, нужно затратить въ теченіе многихъ лѣтъ массу самаго первобытнаго, яремнаго труда, какой врядъ ли еще можно найти въ другой какой-нибудь культурной странѣ. „Чистить“ малоплодородную почву изъ-подъ усѣявшихся ее кустовъ своими руками, безъ всякихъ приспособленій; „царапать“ землю „смыкомъ“ (родъ грубой бороны), чтобы не сѣять, а бросать въ нее нѣсколько зеренъ; наконецъ, разрыхлять ее просто *рукой*, вооруженной мотыкою,—вотъ каковъ трудъ смоленскаго мужика надъ землею, для которой пока еще даже примѣненіе сохи оказывается невозможнымъ. Между тѣмъ, пользуясь въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ только клочками пашни и покоса, пока мало-по-малу не расчистится весь купленный участокъ, мужикъ платитъ за всю землю и, притомъ, цѣну очень высокую. Крестьяне ради этого продаютъ скотъ и не останавливаются передъ платежемъ 48% въ годъ за ссуды, которыя даютъ имъ нѣкоторые обязательные землевладѣльцы для доплатъ банку. Цѣна земли настолько высока, что прежняя аренда этихъ же купленныхъ участковъ была дешевле. И, между тѣмъ, мужики не нарадуются тому, что купили дорогую, жестокую землю. Они изъ всѣхъ силъ стараются исправно платить за нее банку, да еще мечтаютъ прикупить такой же земли у сосѣднихъ Колупаевыхъ.

Что же побуждаетъ смоленскаго мужика хвататься за такую землю и платить за нее дороже аренды? „А что аренда была дешевле, — говорятъ мужики, — это точно; только посчитай вотъ что: какъ была аренда, такъ сколько хлопотъ, повуда покось-то снимешь? Ходишь, присишь, кланяешься, а тутъ, смотри—другіе перебьютъ, и оставайся безъ сѣна; посчитай, сколько это потратишь на ходьбу, да на поклоны, сколько досады, какъ перебьютъ!..“ „Оно, пожалуй, снимать-то и дешевле было, — говорили автору и въ другихъ мѣстахъ,—да хлопотъ много: кланяйся, да проси каждый годъ; а теперь спокойно... А то

еще потравы бываютъ. Сколько одного штрафа переплатишь. Вотъ купецъ Асахвовъ—тотъ не помилуетъ, за все сдереть...“ Поэтому мужики особенно зарятся на землю такихъ купцовъ, хотя она бываетъ много хуже купленной ими, но они готовы дать за нее еще болѣе дорогую цѣну, чтобы избавиться отъ кабалы сосѣда, который ихъ „жметъ“. „Съ земли немного возьметъ,—объясняютъ они,— насъ прижметъ—съ насъ и возьметъ. Развѣ онъ землю дорожить? Онъ нами дорожить“. Такимъ образомъ, „не доходъ покупаютъ, отъ сосѣдства откупаются,—прибавляетъ авторъ,— и говорятъ объ этомъ, какъ о дѣлѣ совершенно нормальномъ“.

Медленно движется жизнь. Посѣтивъ смоленщину черезъ 25 лѣтъ, г. Ф. Ф. не нашелъ въ деревнѣ никакихъ бытовыхъ переменъ: та же бѣдность, грязь, курныя избы, тотъ же „упражной“ мужикъ, бьющійся какъ рыба объ ледъ. Но все же и сюда проникъ лучъ свѣта, произошло новое, незнакомое дотолѣ явленіе, въ видѣ молодыхъ грамотныхъ парней, познаніями которыхъ гордятся старики. Оно выразилось и въ томъ, что въ этой бѣдной сторонѣ крестьяне на свой счетъ строятъ школы и дорожатъ ихъ судьбой. Съ любовью вспоминали учившіеся въ нихъ юноши нѣкоторыхъ своихъ учителей, изъ чего авторъ заключаетъ, что и въ эту мрачную сторону проникала теплая человѣческая струя. То были, вѣроятно, тоже какіе-нибудь „Донъ-Кихоты“, увлекавшіеся школами и горячими рѣчами.

На психическіе же мотивы нѣкоторыхъ экономическихъ явленій въ крестьянской жизни указывается и въ областныхъ замѣткахъ г. Ф. Андреева, которыя, очевидно, представляютъ рядъ интересныхъ статей публицистическаго характера по современнымъ вопросамъ народной жизни. Первая изъ нихъ, трактовавшая о „мужиковствующемъ пессимизмѣ“, была рассмотрѣна нами въ прошлый разъ. Настоящая, вторая глава — *Въ защиту крестьянской семьи*—посвящена вопросу о крестьянскихъ семейныхъ раздѣлахъ. Недостаточное знакомство и непродуманное отношеніе къ новымъ народно-бытовымъ явленіямъ приводитъ только къ рѣзкому, огульному порицанію ихъ, порождаетъ неосновательные пессимистическіе взгляды на народную жизнь. Такія нареканія и сомнѣнія вызвала, между прочимъ, и крестьянская семья. Въ ней стали видѣть разрушеніе старыхъ здоровыхъ патриархальныхъ началъ, разложеніе экономическихъ союзовъ, выразившееся въ увеличеніи семейныхъ раздѣловъ. Выступая въ защиту крестьянской семьи противъ шаблоннаго пессимизма, г. Андреевъ стремится доказать, что названное явленіе крестьянской жизни обуславливается измѣненіемъ всего строя отношеній, освобожденіемъ личности изъ-подъ власти авторитета. Задавленная при крѣпостномъ правѣ, задавленная въ патриархальной семьѣ, представлявшей собою весьма часто насильственный союзъ подъ властью большака, личность стремилась вырваться изъ-подъ гнетущей опеки, какъ только это ей позволили новыя теченія жизни. Характерно, что главную роль въ распространеніи новаго явленія играетъ самый консервативный элементъ семьи: женщинамъ обыкновенно принадлежитъ инициатива раздѣла большихъ крестьянскихъ семей. И это вполне понятно, потому что личность матери и жены младшихъ членовъ большесемейнаго хозяйства была наиболѣе подавлена и стѣснена въ самыхъ элементарныхъ и законныхъ своихъ проявленіяхъ. Крестьянскіе семейные раздѣлы являются, такимъ образомъ, логическимъ послѣдствіемъ историческаго прогресса, дѣйствующаго неудержимо и повсемѣстно. Но, кромѣ этихъ мотивовъ, г. Ф. Андреевъ указываетъ,

что дифференцирование больших семей произошло и вследствие экономических изменений: замѣны натурального хозяйства промысловымъ. Большая патриархальная семья не смогла совѣстить народившіяся вновь отрасли хозяйства въ одномъ кровномъ союзѣ съ хорошою технической подготовкой и удачнымъ раздѣленіемъ труда. Отъ этого пала и экономическая власть большаковъ, потому что на мѣсто однороднаго хозяйства съ однимъ неизмѣннымъ порядкомъ получила значеніе личная ловкость и умѣнье отдѣльныхъ членовъ семьи въ тѣхъ или иныхъ промысловыхъ занятіяхъ. Словомъ, „дробленіе производства породило и дробленіе большесемейныхъ хозяйствъ. Являясь, слѣдовательно, неизбѣжнымъ слѣдствіемъ двухъ новыхъ началъ русской жизни, противъ дѣйствія коихъ не помогутъ ни филиппики пессимистовъ, ни формальныя стѣсненія, крестьянскіе раздѣлы, въ то же время, конечно, не служатъ главною причиною обѣдненія, какъ это приписывается имъ нѣкоторыми экономистами. И при раздѣлахъ, и безъ раздѣловъ матеріальное благосостояніе народа обезпечивается, главнымъ образомъ, общими условіями существованія мелкаго хозяйства. „Крайнія формы индивидуализма, какъ кулачество, существовали и при большихъ семьяхъ. Съ другой стороны, съ разрушеніемъ послѣднихъ не разрушились еще ни разныя виды проявленія артельного начала, ни земельная община, ни возможность самостоятельнаго мелкаго народнаго хозяйства, ни вообще тѣ особенности въ экономическомъ и бытовомъ строѣ русской народной жизни, при наличности которыхъ Россія имѣетъ несомнѣнные и очень внушительные шансы на блестящее будущее“,—говоритъ авторъ въ заключеніе своей замѣтки.

Кіевская Старина, сентябрь 1888 г.—мартъ 1889 г. Первое мѣсто при разборѣ этихъ книжекъ *Кіевской Старины* должно по справедливости принадлежать прекрасному изслѣдованію С. А. Бершадскаго: *Аврамъ Езофовичъ Ребичковичъ, подскарбій земскій, членъ рады великаго княжества Литовскаго. Отрывокъ изъ исторіи внутреннихъ отношеній Литвы въ началѣ XVI в.* (сентябрь—декабрь). Изслѣдованіе начинается рѣзкою, но совершенно основательною критикою брошюры г. I. Вольфа, посвященной тому же лицу (*Евреи-министръ короля Сигизмунда*). Затѣмъ авторъ, по даннымъ литовской метрики, чрезвычайно тщательно и отчетливо возстановляетъ біографію земскаго подскарбія (министра финансовъ) начала XVI в. Умный еврей, начавшій карьеру на питейныхъ и таможенныхъ откупахъ и кончившій ее королевскимъ министромъ, Аврамъ Езофовичъ—необыкновенно интересная личность. Онъ былъ единственнымъ представителемъ кредита великаго княжества Литовскаго въ то время, когда государственнаго кредита не существовало и когда самому великому князю никто не повѣрилъ бы ни копѣйки безъ самаго солиднаго обезпеченія. Онъ былъ министромъ финансовъ въ то время, когда не существовало ничего похожаго на бюджетъ и княжество существовало буквально изо дня въ день, но когда потребность въ постоянномъ бюджетѣ начинала очень сильно чувствоваться въ виду новыхъ расходовъ на наемное войско для борьбы съ молдавскимъ господаремъ и упорнымъ московскимъ правительствомъ. Въ этомъ трудномъ положеніи Аврамъ Езофовичъ не только находилъ средства для текущихъ расходовъ, но пытался провести финансовую реформу, долженствовавшую обезпечить прочность финансовъ Литовскаго княжества въ будущемъ. Эта реформа—централизація финансоваго управленія, ограниченіе откупной системы—разбилась о насущныя потребности минуты и перестала существовать вмѣстѣ съ своимъ авторомъ: литовское пра-

вительство опять принуждено было возвратиться къ продажѣ впередъ своихъ доходовъ съ огромною потерей на дисконтѣ и къ ростовщическимъ займамъ подѣ залогъ княжескихъ имуществъ; но самая эта неудача ярко выдвигаетъ грандіозность проекта Аврама Езофовича, а временный успѣхъ этого проекта при его управленіи (1510—19 г.) свидѣтельствуешь о его колоссальной энергіи; въ виду этихъ фактовъ, нѣтъ надобности доказывать, что Аврамъ Езофовичъ не былъ зауряднымъ ростовщикомъ; хотя г. Бершадскому врядъ ли удалось доказать и другую крайность—что вся дѣятельность министра, сдѣлавшаго стѣть единственнымъ посредникомъ между казною и частными капиталами, была сплошнымъ патриотическимъ подвигомъ, безкорыстно предпринятымъ изъ любви къ великому князю. Выгоды, полученныя имъ, въ концѣ концовъ, дѣйствительно оказались меньше, чѣмъ можно было бы ожидать; въ значительной степени это произошло отъ того, что Ребичевичъ не спѣшилъ реализовать своихъ барышей, не отступалъ передъ рискомъ и, какъ истый финансистъ, всему предпочиталъ непрерывный оборотъ и безконечный ростъ капитала.

Другая капитальная статья разсматриваемыхъ книжекъ (сентябрь—октябрь), это — *Очеркъ кодификаціи малороссійскаго права до введенія Свода Законовъ* Ив. Теличенка. Большая часть этой статьи посвящена изслѣдованію (по документамъ южно-русскаго архива) состава и дѣятельности кодификаціонной комиссіи 1729—43 годовъ. До этой попытки кодификаціи въ Малороссіи дѣйствовали три различныхъ права: Литовскій статутъ, Магдебургское право и Саксонское зеркало. Литовскій статутъ употреблялся, какъ окончательно выясняетъ авторъ, еще въ редакціи 1588 г., которая распространялась въ спискахъ, но, со всѣмъ тѣмъ, была настолько рѣдка, что приходилось прибѣгать къ печатнымъ польскимъ изданіямъ, съ которыхъ и пришлось вновь переводить статутъ на русскій языкъ кодификаціонной комиссіи. Магдебургское право примѣнялось по сборнику польскихъ юристовъ (*Porządek Sądow y praw miejskich prawa magdeburskiego*). Саксонское зеркало извѣстно было также по латинской передѣлкѣ 1535 г. и по польской передѣлкѣ Павла Щербича: *Saxon, zew Prawa polsky Magdeburский narywaiące Speculum Saxonum* (1581 г.). Послѣ многихъ перерывовъ, комиссія, наконецъ, перевела части Статута, Порядка и Саксона и составила изъ нихъ общій сводъ по своему систематическому плану; но трудъ ея (*Права, по которымъ судился малороссійскій народъ*), высланный въ Петербургъ въ сенатъ, пролежалъ тамъ до 1756 г., затѣмъ переданъ былъ на разсмотрѣніе новой комиссіи (гетмана Разумовскаго) и окончательно забытъ послѣ распушенія этой комиссіи въ 1759 г. Магдебургское право вышло изъ употребленія вслѣдствіе рѣдкости книгъ, по которымъ оно должно было примѣняться, но закономъ отмѣнено только въ 1831 г.; Литовскій статутъ пережилъ его и примѣнялся вплоть до введенія въ 40-хъ годахъ *Свода Законовъ*. Въ результатъ попытка кодификаціи малорусскаго права не имѣла никакого практическаго значенія. *Права, по которымъ судился малороссійскій народъ*, напечатаны только въ последнее время покойнымъ проф. Кистяковскимъ.

Очень интересна обработанная проф. В. Антоновичемъ статья Лупулеску: *Русскія колоніи въ Добруджѣ* (историко-этнографическій очеркъ, январь—мартъ). Въ статьѣ сообщаются подробныя свѣдѣнія о южно-русскихъ эмигрантахъ за Дунаемъ. Южно-русская эмиграція въ Добруджу была особенно сильна въ 1714—28 гг., когда въ устьяхъ Дуная (въ Дунавцѣ) укрѣпилась Запорожская Сѣчь, прогнавъ отсюда некрасов-

цевъ. Послѣ уничтоженія Сѣчи и превращенія населявшихъ ее запорожцевъ въ азовское козачье войско, опустѣли на время и земледѣльческія поселенія („райя“) вокругъ Сѣчи; но затѣмъ эмиграція вновь усилилась и продолжалась до времени освобожденія крестьянъ, совпавшаго съ переселеніемъ въ Добруджу крымскихъ татаръ и черкесовъ съ Кавказа: тогда началась обратная колонизація въ Россію, извѣстная въ Добруджѣ подъ названіемъ „великой выходной“. Черезъ нѣсколько лѣтъ, однако, начинается опять эмиграція изъ Россіи и постепенно усиливается съ тѣхъ поръ до настоящаго времени. Авторъ подробно описываетъ занятія и бытъ скопившагося такимъ образомъ за Дунаемъ южно-русскаго населенія.

Нѣсколько статей посвящено воспоминаніямъ о Шевченкѣ. Назовемъ, прежде всего, статью проф. Н. Стороженка: *Первые четыре года ссылки Шевченка*; здѣсь вновь сообщены письма Шевченка къ княжнѣ В. Н. Репниной и рассказана исторія ихъ отношеній. Затѣмъ напечатаны съ новыми добавленіями и письмами Шевченка *Воспоминанія Н. И. Усковой*, дочери коменданта Новопетровскаго укрѣпленія, гдѣ Шевченко прожилъ 1853—7 годы. Наконецъ, въ статьѣ *На Сыръ-Дарыѣ у ротнаго командира* сообщаются воспоминанія о Шевченкѣ бывшаго ротнаго командира его въ томъ же Новопетровскомъ укрѣпленіи, Егора Тимоевича К—ва. Къ сожалѣнію, г. Н. Д. Н. пожелалъ сохранить въ статьѣ форму разговора съ Е. Т. К., что придало всему разсказу отъѣноу выдуманности и искусственности.

Съ января начались „воспоминанія“ М. К. Чалаго, очень интересно и живо написанныя. Любопытно въ воспоминаніяхъ г. Чалаго описаніе представленія „вертепа“ (полный текстъ мистеріи); живо описаны нравы захоустаннаго училища въ тридцатыхъ годахъ. Назовемъ здѣсь, кстати, еще статью, посвященную исторіи школьнаго дѣла: *Прошлое переяславскаго духовнаго училища* Памфила Левицкаго.

Критико-библиографическій отдѣлъ *Кіевской Старины* ведется очень интересно и занимаетъ обширное мѣсто въ журналѣ; къ сожалѣнію, въ обзорѣ нѣтъ возможности останавливаться даже на болѣе выдающихся критическихъ отзывкахъ. Отмѣтимъ только отдѣльную критическую статью г. Сер. Кр.: *Особенности статистическаго изслѣдованія Курской губернии*; въ статьѣ подвергнута детальному разбору работа г. Ип. Вернера: *Курская губ. Итоги статистическаго изслѣдованія*. Заканчивая обзоръ, не можемъ не упомянуть еще статьи г-жи Александры Ефименко: *Девятнадцать пунктовъ Вельяминова*. Нельзя не пожалѣть, что имя этой писательницы такъ рѣдко встрѣчается на страницахъ нашихъ специальныхъ журналовъ: все, что выходитъ изъ-подъ пера г-жи Ефименко, отличается продуманностью и силой выраженія, къ которымъ не приучила насъ отечественная историческая литература.

Экономическій Журналъ, январь — мартъ. *Экономическій Журналъ*, издаваемый подъ редакціею г. Субботина, заключаетъ въ вышедшихъ уже книжкахъ нынѣшняго года нѣсколько интересныхъ статей и много полезныхъ свѣдѣній и замѣтокъ. Изданіе посвящено и теоретическимъ, и практическимъ вопросамъ политической экономіи и науки о финансахъ. Много мѣста отводится въ *Экономическомъ Журналѣ* изученію Россіи въ экономическомъ отношеніи. Само собою разумѣется, что при этомъ попутно не могутъ не затрогиваться и другіе вопросы.

Первая книжка текущаго года открывается довольно интереснымъ очеркомъ города Калуги. Затѣмъ кн. Тумановъ разбираетъ причины промышленнаго застоя въ закавказскомъ краѣ. Авторъ сообщаетъ воз-

мутительныя подробности о злоупотребленіяхъ и корыстныхъ проискахъ мѣстной администраціи, положительно тормозящей культурное развитіе этого богатѣйшаго края. Бюрократическое хозяйство лишаетъ Россію возможности извлекать пользу изъ поистинѣ неисчерпаемыхъ сокровищъ Закавказья и возстановляетъ противъ насъ туземное населеніе.

Земское обозрѣніе январской книжки *Экономическаго Журнала* напоминаетъ объ исполненіи двадцатипятилѣтіи введенія у насъ начатковъ земскаго самоуправления. „Оглядываясь на пройденный земствомъ путь,—говоритъ почтенный журналъ,—мы видимъ такую массу оказанныхъ имъ услугъ, что передъ этимъ должны умолкнуть всякія нареканія“. Со стороны добросовѣстныхъ противниковъ земскихъ учрежденій такія нареканія и дѣйствительно умолкли, когда стали подводиться фактическіе итоги земской дѣятельности.

Удачно составлена популярная бесѣда г. Радцига: *Къ вопросу о покровительственной системѣ*. Авторъ высказываетъ свой основательный выводъ въ такихъ выраженіяхъ: „Национальный тарифъ—это лишь громкія слова, способныя запутать понятія людей, не думающихъ глубоко; подъ національнымъ благомъ можно понимать лишь общее благосостояніе, а оно возможно только при дешевизнѣ всѣхъ предметовъ, при изобиліи, отъ котораго промышленники и фабриканты желаютъ избавиться высокими пошлинами“.

Въ *Экономическомъ Журналѣ* помѣщаются интересныя свѣдѣнія и объ эконоическомъ и финансовомъ положеніи западно-европейскихъ государствъ. Хроника нашихъ бюджетовъ (государственного, земскаго, городского) ведется обстоятельно.

ОГЛАВЛЕНІЕ

„БИБЛИОГРАФИЧЕСКАГО ОТДѢЛА“.

I. Книги.

	<i>Стр.</i>
Беллетристика: „Сочиненія“ <i>Н. Златоврашскаго</i> .—„Рубин“. <i>Кн. Дм. Голицына (Муравлина)</i> .—„Кабзарь“. <i>Т. Г. Шевченки</i> .—„Сцена и жизнь въ провинціи“. <i>И. И. Лаврова</i>	183
Критика и публицистика: „Критико-біографическій словарь русских писателей и ученых“. <i>С. А. Венерова</i> .—„Основные пропросы политики“. <i>Л. Сломскаго</i>	187
Исторія: „И. И. Неплюевъ и Оренбургскій край“. <i>В. И. Витевскаго</i> . — „Всеобщая исторія“. <i>Георга Вебера</i>	188
Политическая экономія: „Исторія социальныхъ системъ“. <i>Д. Щелова</i>	189
Статистика: „Материалы для оцѣнки земельныхъ угодій Новгородской губ.“.	193
Юридическія книги: „Општы имовински Законникъ за княжевину Црну Гору“. — „Прокурорскій надзоръ въ его устройствѣ и дѣятельности“. <i>Н. В. Муравьева</i> . — „О преступленіяхъ и наказаніяхъ“. <i>Беккарія</i> . — „Въ судѣ“. <i>Эмфа</i>	196
Сельское хозяйство: „Руководство къ воздѣлыванію важнѣйшихъ хлѣбныхъ злаковъ“. <i>А. Новацкаго</i> . — „Краткое практическое виноградарство“. <i>И. И. Воинова</i> . — „Начатки помологии“. <i>Д-ра Э. Люкаса</i> . — „Устройство локомотива и молотилки“. <i>С. И. Иванова</i> . — „Бесѣды по земледѣлію“. <i>В. Г. Котельникова</i>	200
Учебники и книги для дѣтскаго чтенія: „Краткій синтаксисъ греческаго языка“. <i>Страхова</i> . — „Разказы изъ исторіи и мѣлологіи грековъ по Гомеру“. <i>Перев. И. Тихонравова</i>	208
Справочныя книги: „Ежегодникъ для учителей“. <i>М. В. Овчинникова</i>	206

II. Периодическія изданія.

„Вѣстникъ Европы“, <i>апрѣль</i> . — „Сѣверный Вѣстникъ“, <i>мартъ—апрѣль</i> . — „Кіевская Старина“, <i>сентябрь 1888 г. — мартъ 1889 г.</i> — „Экономическій Журналъ“, <i>январь—мартъ</i>	207
--	-----

Съ 1 ноября 1889 года будетъ выходить безъ предварительной цензуры

НОВЫЙ ЖУРНАЛЬ

„ВОПРОСЫ ФИЛОСОФІИ И ПСИХОЛОГІИ“.

При участіи Московскаго Психологическаго Общества.

Подъ редакціей проф. Московскаго унив. Н. Я. ГРОТА.

Издание А. А. Абрикосова.

Программа изданія предполагается слѣдующая: 1) Самостоятельныя статьи и замѣтки по философіи и психологіи. Въ эти понятія влючаются: логика и теорія знанія, этика и философія права, эстетика, исторія философіи и метафизика, философія наукъ, опытная психологія, физиологическая психологія и психопатологія. 2) Критическія статьи и разборы учений и сочиненій иностранныхъ и русскихъ философовъ и психологовъ. 3) Обще обзорныя литературы поименованныхъ наукъ и отдѣловъ философіи и библиографія. 4) Философская и психологическая критика произведеній искусства и научныхъ сочиненій по различнымъ отдѣламъ знанія. 5) Переводы на русскій языкъ классическихъ произведеній философіи древняго и новаго времени.

Въ изданіи, между прочимъ, обѣщали принять участіе слѣдующія лица:

1) Изъ числа специалистовъ по философіи: *Д. М. Лопатинъ*, *В. С. Соловьевъ*, *кн. С. Н. Трубецкой*, проф. *М. И. Владиславлевъ*, проф. *А. А. Козловъ*, проф. *М. М. Троицкій*, *П. Е. Астафьевъ*, *А. И. Введенскій*, *А. Н. Гиляровъ*, *А. П. Казанскій*, *геромонахъ Антоній*, *Н. Н. Ланге*, *В. В. Лесевичъ*, *В. П. Преображенскій*, *Э. Л. Радловъ*, *Е. И. Челмановъ*, *кн. Д. Н. Цертелевъ*, *В. Ф. Лотославскій* (магистръ Дерптскаго унив.) и *Ө. О. Масарикъ* (проф. философіи Пражскаго университета); 2) слѣдующіе члены Психологическаго Общества: *Д. Н. Аничинъ*, *А. П. Богдановъ*, *Н. В. Бугаевъ*, *В. П. Виноградовъ*, *В. А. Гриньмутъ*, *В. А. Гомцевъ*, *Д. А. Дриль*, *Н. А. Звѣревъ*, *Н. И. Карневъ*, *А. Я. Кожевниковъ*, д-ръ *С. С. Жорсаковъ*, *Л. Е. Оболенскій*, д-ръ *А. А. Токкарскій*, *Л. Н. Толстой*, *Н. Н. Страховъ*, *Н. И. Шишкинъ*, *В. И. Штейнъ*.

Журналь будетъ выходить четыре раза въ годъ книжками по 12—14 печатныхъ листовъ. Подписная цѣна въ годъ — 6 руб. съ доставкою въ Москвѣ; 6 руб. 50 коп. съ пересылкою въ другіе города Россіи; для членовъ Психологическаго Общества и для студентовъ университетовъ—4 руб., съ пересылкою—4 руб. 50 коп.

Подписка будетъ приниматься съ 1 сентября 1889 г. въ помѣщеніи редакціи (Новинскій бульваръ, д. Котлярева, кв. Грота), въ конторѣ журнала «Русская Мысль» и въ магазинахъ «Новаго Времени» (А. С. Суворина) въ Москвѣ, Петербургѣ, Харьковѣ и Одессѣ.

ВО ВСѢХЪ БНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

продаются слѣдующія книги

В. И. ВОДОВОЗОВА:

1. **КНИГА ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЧТЕНІЯ.** Часть 1-я. Изд. 18-е. Одобрена Ученымъ Ком. Мин. Народнаго Просвѣщенія. Ц. 45 к. Пересылка по почтѣ за $\frac{2}{3}$ ф.

2. **Служащая ей объясненіемъ, КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ.** Изд. 4-е. Одобр. Ученымъ Ком. Мин. Народнаго Просвѣщенія. Ц. 60 к. Пересылка за $\frac{2}{3}$ ф.

Обѣ книги, т.-е. Книга для первоначальнаго чтенія и Книга для учителей, заключающая объясненія на каждую статью, въ ней помѣщенную, удостоены С.-Петербургскимъ Педагогическимъ Обществомъ преміи въ память К. Д. Ушинскаго, большой золотой медали Императорскимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ, по присужденію Комитета Грамотности, и золотой медали по присужденію Ученаго Комитета Министерства Государственныхъ Имуществъ.

3. **КНИГА ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЧТЕНІЯ.** Часть 2-я. Изд. 2-е. Ц. 80 к. Пересылка за $1\frac{1}{2}$ фута.

4. **РУССКАЯ АЗБУКА** для дѣтей. Изд. 3-е. Одобр. Ученымъ Ком. Мин. Народн. Просвѣщенія. Ц. 30 к. Пересылка за $\frac{1}{3}$ ф.

5. **РУКОВОДСТВО КЪ РУССКОЙ АЗБУКѢ.** Практическіе уроки бесѣдъ, звуковаго разбора, черченія, письма и чтенія въ первый годъ обученія. Ц. 20 к. Пересылка за $\frac{1}{3}$ ф.

6. **ПРЕДМЕТЫ ОБУЧЕНІЯ ВЪ НАРОДНОЙ ШКОЛѢ,** для учителей. Изд. 2-е. Ц. 70 к. Пересылка за $\frac{2}{3}$ ф.

7. **ДѢТСКІЕ РАЗСКАЗЫ и СТИХОТВОРЕНІЯ,** съ картинками. Изд. 2-е. Ц. 75 к. Пересылка за $\frac{2}{3}$ ф.

8. **РАЗСКАЗЫ ИЗЪ РУССКОЙ ИСТОРИИ.** Вып. 1-й. Изд. 7-е. Одобр. Ученымъ Ком. Мин. Народн. Просвѣщенія. Ц. 40 к. Пересылка за $\frac{2}{3}$ ф.

9. **РАЗСКАЗЫ ИЗЪ РУССКОЙ ИСТОРИИ.** Вып. 2-й. Изд. 5-е. Одобр. Ученымъ Ком. Мин. Народн. Просвѣщенія. Ц. 60 к. Перес. за 1 ф.

10. **СЛОВЕСНОСТЬ** въ образцахъ и разборахъ. Изд. 4-е. Цѣна 1 р. 25 к. Пересылка за 1 фунтъ.

11. **НОВАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА.** (Отъ Жуковскаго до Гоголя включительно). Изд. 5-е. Ц. 1 р. 25 к. Пересылка за 1 ф.

12. **ОЧЕРКИ ИЗЪ РУССКОЙ ИСТОРИИ XVIII ВѢКА.** Содержаніе: До-Петровская Русь.—Переходное время. (Патріархъ Никонъ и Крижаничъ.—Западно-русскіе ученые и начало раскола).—Царствованіе Петра Великаго.—Отъ Петра I-го до Петра III (царствованіе Екатерины I, Петра II и Анны Іоанновны.—Правленіе Анны Леопольдовны.—Царствованіе Елизаветы Петровны).—Внутреннее состояніе Россіи послѣ Петра I.—Петръ III и Екатерина II.—Царствованіе Екатерины II. (Характеръ Екатерины и первые годы ея царствованія.—Наказъ.—Коммиссія Уложенія, внутреннія и виѣшнія дѣла.—Пугачевщина.—Внутреннее состояніе общества при Екатеринѣ II.—Положеніе различныхъ сословій и образованіе).—Царствованіе Императора Павла I и его время. Книга въ 548 стр. Ц. 1 р. 50 к. Пересылка за $1\frac{1}{2}$ ф.

13. **РУССКІЯ СКАЗКИ ВЪ СТИХАХЪ,** съ картинками, въ папѣ. Ц. 1 р. 50 к. Пересылка за 1 ф.

14. **ПЕРЕВОДЫ ВЪ СТИХАХЪ и ОРИГИНАЛЬНЫЯ СТИХОТВОРЕНІЯ.** Переводы изъ Сафо, Анакреона, Пиндара, Софокла, Еврипида, Катулла, Горація, Гёте, Байрона, Гейне, Веранже и оригинальныя посмертныя стихотворенія. 512 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Поступила въ продажу новая книга:

ВАСИЛІЙ ИВАНОВИЧЪ ВОДОВОЗОВЪ.

Библиографическій очеркъ, составленный *В. И. Семевскимъ.*

178 стр.; съ портретомъ. Ц. 50 к.

ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ

НОВОЕ ИЗДАНИЕ

И. О. Жиркова:

БЕСѢДЫ ОБЪ ОГОРОДѢ,

ДЛЯ

УЧАЩИХСЯ ВЪ СЕЛЬСКИХЪ ШКОЛАХЪ И
ГРАМОТНАГО НАРОДА.

108 стр. въ 8°, съ 26 рис. въ текстѣ.

Цѣна 25 коп.

ТОГО ЖЕ ИЗДАТЕЛЯ:

Аверкіевой, Е. Г. **Наша садовая яблоня.** Новый способ *корневой* прививки и др. опыты и наблюденія, относящіяся до культуры яблони. Съ 8 табл. рисунковъ. **Цѣна 1 рубль.**

Ея же. **Картофель** и его культура, огородная и полевая. **Цѣна 30 коп.**

Продаются во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Обращающіеся за книгами къ издателю (**И. О. Жиркову** въ Рязани) за пересылку не платятъ.

Книгопродавцамъ обычная уступка.

Земскія Управы и Училищные Совѣты при выискѣ отъ издателя, кромѣ бесплатной пересылки, пользуются скидкой въ 10%.

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ
НОВАЯ КНИГА:
НѢСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ
О СЦЕНИЧЕСКОМЪ ИСКУССТВѢ.

С. А. Юрьева.

Цѣна 60 коп. съ пересылкою.

Складъ изданія въ конторѣ журнала *Русская Мысль*
Москва, Леонтьевскій, 21).

КРИТИКО-БИОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ

(отъ начала русской образованности до нашихъ дней).

В. А. Венгерова.

Словарь состоитъ изъ краткихъ замѣтокъ о писателяхъ, отмѣчаемыхъ лишь ради полноты, или (если они наши современники) недостаточно еще опредѣлившихся, и изъ болѣе или менѣе пространныхъ этюдовъ и монографій о писателяхъ, имѣющихъ литературное значеніе.

Кромѣ С. А. Венгерова, которому принадлежатъ статьи критическаго и историко-литературнаго характера, въ Словарѣ принимаютъ участіе специалисты по разнымъ отраслямъ знанія.

По примѣру иностранныхъ объемистыхъ изданій и въ видахъ удобства пріобрѣтенія, „Критико-биографическій словарь“ выходитъ періодическими выпусками въ 3 печатныхъ листа (48 страницъ). Вышло до 15 ноября 14 выпусковъ.

Цѣна каждаго выпуска 35 коп., съ пересылкою 45 коп. При подпискѣ-же на 10 выпусковъ цѣна понижается до 2 р. 50 к. безъ пересылки и 3 р. съ пересылкою или доставкой.

Для подписывающихся на 10 или болѣе выпусковъ допускается разсрочка платежа, но не менѣе какъ по 1 р. въ мѣсяцъ, причѣмъ служащимъ, представляющимъ ручательство казначеевъ, выдаются разомъ всѣ вышедшіе выпуски, не представляющимъ-же такового ручательства—по мѣрѣ взносовъ.

Иногородные обращаются исключительно по адресу: С.-Петербургъ, Литейка, 47. Семѣну Аванасьевичу Венгерову.

Цѣна 35 коп.

XIII. ОЧЕРКЪ ИСТОРИИ РУССКАГО ТЕАТРА ДО 1812 г.—Н. П. Колюпанова	107
XIV. БЪ ВОПРОСУ О ПАДЕНИИ ПОЛЬШИ. (Н. Карчевъ: «Паденіе Польши въ исторической литературѣ»).—В. М.	125
XV. КУМЫСЪ ВЪ САМАРСКОМЪ КРАѢ.—Провинціала	133
XVI. ОЧЕРКИ РУССКОЙ ЖИЗНИ. XXXV.—Н. В. Шелгунова.	139
XVII. ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—В. А. Гольцева	159
XVIII. ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ: Смерть М. Е. Салтыкова.—Дѣятельность гр. Д. А. Тодстаго.—Назначеніе новаго министра путей сообщенія.—Вопросъ объ институтѣ этого вѣдомства.—Надзоръ надъ банкирскими конторами.—Мѣры въ Балтійскомъ краѣ.—Цензъ по образованію въ городскомъ представительствѣ	165
XIX. СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО. XVII передвижная выставка въ Москвѣ.—Двѣ картины г. Семирадскаго: <i>Фрина на праздникъ Посейдона</i> и <i>Передъ купаньемъ</i> .—Картины г. Брянскаго: <i>Божоматерь</i> .—Три картины Франца Жмурко.—Малый театръ: <i>Благодѣтельница дамы</i> , комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ г. Мансфельда; <i>Подъ властью сердца</i> , драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ г. Ладыженскаго.—Большой театръ: два спектакля въ пользу капиталы на памятникъ Гоголю.—Ан.	188
XX. СТРАШЕНЪ СОНЪ, ДА МИЛОСТИВЪ БОГЪ.—Н. Н. Михайловскаго	202
XXI. БИБЛОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ: I. Книги: Беллетристика.—Исторія.—Политическая экономія.—Статистика.—Юридическія книги.—Сельское хозяйство.—Учебники и дѣтскія книги.—Справочныя книги. II. Периодическія изданія: «Вѣстникъ Европы», апрѣль.—«Сѣверный Вѣстникъ», мартъ—апрѣль.—«Кіевская Старина», сентябрь 1888 г.—мартъ 1889 г.—«Экономическій Журналъ», январь—мартъ	183

„РУССКАЯ МЫСЛЬ“

ЕЖЕМЪСЯЧНОЕ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ.

Условія подписки на 1889 годъ

(двдддддддд годъ издавдддд).

	Годъ.	6 мѣс.	3 мѣс.	1 мѣс.
Съ доставкою и пересылкою во всѣ мѣста Россіи	12 р.	6 р.	3 р.	1 р.
За границу	14 >	7 >	3 > 50 к.	—

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подпискѣ, въ 1 апрѣля, 1 іюля и 1 октября по 3 рубля.

Книгопродавцамъ дѣлается уступка въ размѣрѣ 50 коп. съ каждаго годоваго экземпляра. Кредита и разсрочекъ по доставляемымъ ими подпискамъ не допускается.

За перемѣну адреса взимается слѣдующая плата: при переходѣ городскихъ подписчиковъ въ иногородніе, а равно иногороднихъ въ городскіе уплачивается по 50 коп. За перемѣну адреса на адресъ той же категоріи уплачивается 25 коп. При перемѣнѣ адреса на заграничный доплачивается разница подписной цѣны на журналъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

Въ Москвѣ: въ конторѣ журнала — Леонтьевскій пер., 21.

Въ Петербургѣ: въ отдѣленіи конторы журнала — при книжномъ магазинѣ Н. Фену и Б°, Невскій Просп., домъ Армянской церкви.

Редакторъ-издатель В. М. ЛАВРОВЪ.

**14 DAY USE
RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED
LOAN DEPT.**

This book is due on the last date stamped below,
or on the date to which renewed. Renewals only:
Tel. No. 642-3405
Renewals may be made 4 days prior to date due.
Renewed books are subject to immediate recall.

REC'D LD OCT 4 '72 -3 PM 9 7

INTERLIBRARY LOAN

JUL 11 1973

UNIV. OF CALIF., BERKE.

SEP 7 - 1973

LIBRARY USE MAR 20 '86

LIBRARY USE MAY 8 '86

LD21A-40m-3, '72
(Q1178810)476-A-82

General Library
University of California
Berkeley